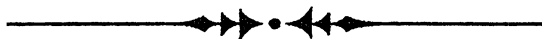


А. Ф. Кони

А. Ф. Кони

ИЗБРАННОЕ

А.Ф. КОНИ



ИЗБРАННОЕ



Москва
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1989

Составление, вступительная статья
и примечания Г. М. Миронова и Л. Г. Миронова
Художник М. Э. Шлосберг

Кони А. Ф.
К64 Избранное/Сост., вступ. ст. и примеч. Г. М. Ми-
ронова и Л. Г. Миронова.— М.: Сов. Россия, 1989.—
496 с.

В одномомнике замечательного русского и советского писателя, публициста, юриста, судебного оратора Анатолия Федоровича Кони (1844—1927) вошли его избранные статьи, публицистические выступления, описания наиболее примечательных дел и процессов из его богатейшей юридической практики. Особый интерес вызывают воспоминания о деле Веры Засулич, о литературном Петербурге, о русских писателях, со многими из которых Кони связывала многолетняя дружба, воспоминания современников о самом А. Ф. Кони. Со страниц книги перед читателем встает обаятельный образ автора, истинного российского интеллигента-демократа, на протяжении всей жизни превыше всего ставившего правду и справедливость, что и помогло ему на склоне лет сделать правильный выбор и уже при новом строе отдать свои знания и опыт народу.

К $\frac{4702010101-251}{M-105(03)89}$ 80—89

P1

ISBN 5—268—00133—7

«Я ЛЮБИЛ СВОЙ НАРОД, СВОЮ СТРАНУ...»

Два кризисных момента, два «звездных» поступка пришлось на большую, 83-летнюю жизнь Анатолия Федоровича Кони. Первый из них — громовое дело Веры Засулич, второй — неколебимый выбор между прошлым и будущим, когда в октябре семнадцатого он оказался вместе со своим мятежным народом, со своей страной, повернувшей на новый путь. И оба события были тесно связаны между собою, хотя их разделяли четыре десятилетия.

31 марта 1878 года Кони председательствовал на суде над революционеркой-террористкой Верой Засулич, двумя месяцами ранее стрелявшей в столичного градоначальника Ф. Ф. Трепова в отместку за товарища-революционера, которого генерал приказал подвергнуть телесному наказанию.

После блестящей речи защитника Александрова, затмившей бледную обвинительную, встал председательствующий Кони: быть может, никогда таким намеренно спокойным, столь логичным, внешне подчеркнуто беспристрастным не было его обращенное к присяжным резюме; каждый из этих «двенадцати сфинксов» не столько понимал, сколько чувствовал: от розог Треповых и впредь никому, в том числе и им, незнатным столичным обывателям, не будет пощады, если они осудят отважную мстительницу. В мертвой тишине зала отчетливо прозвучали слова председателя суда, в которых он удивительно четко сформулировал не только напутствие присяжным, но и свое гражданское и профессиональное кредо: «Обсудите дело спокойно и внимательно, и пусть в приговоре вашем окажется тот «дух правды», которым должны быть проникнуты все действия людей, исполняющих священные обязанности судьи»¹.

А ранее, перед тем как старшина присяжных получил в руки опросный лист, председательствующий напомнил: «Вы судите не отвлеченный предмет, а живого человека...»

Эти слова тоже были девизом служителя закона — именно *служителя*, а не лакея, не слуги, как это очень часто случалось в самодержавной России; и притом служителя *Закона* с большой буквы.

А когда из специальной комнаты гуськом вышли все двенадцать и первый произнес первые слова: «Нет! Не виновна...» — зал взорвался. Аплодировали справедливости, отомстившей беззаконию, даже сановники, не говоря о публике «попроще». Организация революционеров «Земля и воля» писала в специально выпущенной листовке: «31 марта 1878 года для России начался пролог той важной исторической драмы, которая называется судом народа над правительством»².

Вольным или невольным судьей в этот день действительно народ-

¹ Кони А. Ф. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1968. — Т. 2. — С. 168.

² Сб. «Революционное народничество семидесятых годов XIX века». — М., 1965. — С. 53—54.

ного суда, «суда улицы»¹ над бесправием оказался статский советник Кони. Он знал, на что шел: правительственные верхи только потому и предали революционерку не специальному, закрытому судилищу, а суду присяжных, что были уверены в обвинительном приговоре, и в том, что председательствующий не станет рисковать карьерой. От него ждут «не юридического, а политического»² поступка — Кони это понял и решительно отрекся от пособничества произволу.

Таким он оставался всю жизнь: слугой и адвокатом народа и общества, хотя свыше полувека состоял на коронной службе и об этом своем служении говорил с гордостью.

А когда третья русская революция очистительно грянула над страной, действительный тайный советник Кони, сановник второго класса, без сожаления снял шитый золотом сенаторский мундир, взял свои костыльки и, хромой, больной, пошел читать лекции матросам и красногвардейцам, врачам и студентам — об этике общежития, о законе и законности, вспоминать в своих речах о деятелях русской литературы, о выдающихся правоведах России.

Из своих 83-х 10 лет Анатолий Федорович прожил при Советской власти. Она лишила его, кажется, всего: высших чиновничьих званий и орденов, поста члена Государственного совета. Кроме, конечно, звания почетного академика по разряду изящной словесности, учрежденному к столетию со дня рождения Пушкина. Как всякое академическое звание, оно присваивалось выдающимся российским писателям пожизненно.

В самом начале первого года нового века вместе с Львом Толстым, Короленко, Чеховым — в ознаменование заслуг их в литературе — Кони был избран почетным академиком. Как известно, находившийся в оппозиции к царской власти и ее институтам Толстой вообще не принял этого звания, Короленко и Чехов демонстративно, в знак протеста против неизбрания в «почетные» Горького, сложили с себя это звание — Кони оставался «почетным», чем чрезвычайно гордился.

Едва ли не на протяжении всей своей жизни он выступал с докладами, речами, статьями о Пушкине, Лермонтове и Толстом, Тургеневе и Достоевском, Гончарове и Некрасове... Так что когда Российская академия наук перестала быть «императорской», Анатолий Федорович почетным ее академиком остался и его плодотворное сотрудничество с высшим научным органом страны — теперь уже России Советской — продолжалось.

Он считал себя нужным стране и народу — и продолжал свое служение им. Ему предложили поехать за рубеж на лечение (то было, как для Короленко, завуалированное предложение выбрать между голодной, воюющей, обновляющейся Родиной и сытым, комфортным Западом). Как и Короленко, старый Кони отказался.

А иначе не могло быть.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 4.— С. 407.

² Кони А. Ф. Собр. соч.— Т. 2.— С. 85.

Это не значило, что Анатолий Федорович принимал идеи партии, новой власти. Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский в эти годы считал Кони лишь «блестящим либералом», забывая о его демократизме, зачастую неотделимом от либерализма человека, вынужденно служившего в самом капище «судебного мира эпохи царей»¹ и тем не менее сумевшего сохранить гражданское лицо, нравственную независимость, уважение даже своих политических противников — «седых злодеев» Государственного совета и сената.

В первом «звездном часе» Кони надолго подвергся ostrакизму со стороны власть и силу имущих и заслужил прозвище «красный» за то, что противопоставил себя власти. Второй «звездный час» его совсем иной — он сам пришел к этой власти и предложил себя в ее распоряжение. Он не ставил никаких условий, не просил никаких привилегий. Старый правовед ограничился советами гражданина этой страны, кровно заинтересованного в благе Родины и ее народа. «Вам нужна железная власть, говорил он и прозорливо добавлял: — и против врагов, и против эксцессов революции, которую постепенно нужно одевать в рамки законности, и против самих себя... Придется резко критиковать самих себя. А сколько будет ошибок, болезненных ошибок, ушибов о разные непредвиденные острые углы! И все же я чувствую, что в вас действительно огромные массы приходят к власти»²

Интересам повышения культуры этих «огромных масс» все 10 последних лет жизни служил Кони. Никогда он так не нужен был народу, как теперь, в пору зарождения и становления народной власти. В своем полупроническом стиле он пишет знакомому: «...профессура, когда-то утраченная, вернулась в изобилии»³. Известно, что за 1917—1920 годы Кони прочел около тысячи публичных лекций⁴. В начале 20-х годов он ездил и в Москву, в столице читал лекции, выступал с воспоминаниями в Политехническом.

Его очень любила молодежь, тянулась к нему. В его личности, в его выступлениях связывались воедино две эпохи России — XIX век и новый, революционный.

Как много из прошлого в настоящее сумел перенести Кони — ученый, юрист-практик, литератор, лектор-просветитель. Через несколько лет будет юбилей — он к своим юбилеям был равнодушен, однако не забывал «круглых дат» выдающихся людей России: 9 февраля 1994 года исполнится 150 лет со дня его рождения, но многое в творческом наследии Кони не устарело.

¹ Луначарский А. В. Три встречи // Огонек. — 1927 — № 40. 2 окт., Воспоминания и впечатления. — М., 1968. — С. 297

² Там же, в сборнике. — С. 301.

³ Кони А. Ф. Собр. соч. — Т. 8. — С. 307.

⁴ Смолярчук В. И. Анатолий Федорович Кони. — М., 1982. С. 198.

Печататься он начал рано. Ему не было и двадцати двух, когда увидела свет его кандидатская диссертация «О праве необходимой обороны». Вообще надо сказать, что многое, очень многое в детстве, отрочестве, юности Анатолия складывалось необыкновенно счастливо.

Его отец был известный в 30—40-х годах литератор, журналист, издатель; мать тоже писала и издавала рассказы и повести, позднее стала известной в столицах и провинциях актрисой. И Федор Алексеевич Кони и Ирина Семеновна Юрьева (по сцене Сандунова) были людьми незаурядными, талантливыми многосторонне и столь же крепко преданными каждой своей профессии. Горько писать о том, что они расстались: по-видимому, артистические, художественные натуры их требовали большей самостоятельности и большей терпимости друг к другу...

Сохранился любопытный документ, характеризующий уровень воспитания отцом младшего сына (старший оказался способным, но слабо-вольным, непутевым, растратил казенные деньги, кончил печально...):

«Я, нижеподписавшийся! Сделал сего 1858 года от Р. Х. марта 11 дня условие с Анатолием Федоровым сыном Кони в том, что я обязуюсь издать переводимое им, Кони, сочинение Торквато, неизвестно чьего сына Тассо, «Освобожденный Иерусалим» с немецкого и обязуюсь издать его с картинами и с приличным заглавным листом на свой счет числом тысяча двести экземпляров (1200) и пустить их в счет по одному рублю серебром за экземпляр (1 р.с.); а также заплатить ему, Кони, за каждый переводимый печатный лист по десяти (10 р.с.) рублей серебром, а листов всех одиннадцать (11 числом)...

Руку приложил: переводчик Анатолий Кони, коллежский советник доктор философии Федор Кони...»¹

Мы не знаем, выполнил ли 14-летний переводчик эту работу, но, судя по твердости характера и настойчивости, которые проявлял А. Ф. Кони с детских лет и до последних дней жизни, он довел перевод до конца. Он окончил трехгодичную немецкую школу в своем родном Петербурге, три года проучился в гимназии, из 6-го, предпоследнего класса, подготовившись, сдал экзамены и поступил в университет на физико-математический факультет; знал несколько европейских языков; в студенческие годы существовал на средства, добываемые частными уроками, отказываясь от материальной поддержки небогатых, в общем, родителей не потому, что они не в состоянии были помогать, а потому, что считал: должен обеспечивать себя сам. А с учениками занимался по словесности и истории, по ботанике и зоологии (он учился на факультете по разряду естественных наук). И только после закрытия столичного университета по причине студенческих беспорядков перевелся в Московский, но уже на юридический.

Что побудило юношу к переводу на «престижный», как сейчас бы

¹ Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом). Ф. 134. Цит. с поправками по архивному экземпляру по: В. С. Соцкий и С. Кони. — М., 1988. — С. 28.

сказали, факультет? Только что прогремела «Великая реформа», готовились Земская и Судебная; к первой Кони навсегда сохранил благоговейное отношение, к последней и сам «руку приложил», предельно четко и последовательно претворяя в жизнь только что увидевшие свет судебные уставы (с 1864 года). Пожалуй, главную роль в выборе профессии правоведа сыграло время. Анатолий Федорович всегда считал себя сыном «святых шестидесятых» — и не изменил ни разу их лучшим заветам: гражданской честности, верности общественным идеалам, профессиональной этике, высоко нравственным порывам молодости, когда не личные выгоды, а высшие интересы стоят у человека на первом плане.

«Повезло» Анатолию Кони и в том смысле, что эпоха наложила отпечаток и на наставников его — среди них были замечательные юристы, в разной степени причастные к реформам суда: Н. И. Крылов и Б. Н. Чичерин, С. И. Баршев и В. Д. Спасович, отечественную историю с особым блеском читал С. М. Соловьев. Только с одним преподавателем в будущем недобро скрестился путь Кони, а симпатия ученика сменилась презрением гражданина: курс гражданского судопроизводства читал архимракобес К. П. Победоносцев...

О студенческих годах Кони оставил интересные, полные благодарной теплоты воспоминания (а равно, впрочем, и о годах юности), об учителях, о Москве. Как в школьные и гимназические годы в столице, в доме отца, Анатолий встречался и в Белокаменной с интересными людьми — писателями, историками, актерами; в старой столице он усердно посещал собрания знаменитого Общества любителей российской словесности, о котором отзывается впоследствии: «Они собирали всю прогрессивно мыслящую Москву». Еще усерднее занимался юный студент «своими» науками. Возможно, он стал бы неплохим естественником, продолжив учебу на физмате, но именно в правоведении он нашел себя — служителем Фемиды Кони оказался действительно блестящим.

Впервые это обнаружила его диссертация, после написания которой Анатолий не только был выпущен в службу со степенью кандидата прав, но и «в приложение» к ней получил множество неприятностей. Изданная как выдающаяся кандидатская работа в 1-м томе «Приложения к Московским университетским известиям» (издание, похожее на нынешние «Ученые записки»), она обратила на себя внимание не одних специалистов. Ею заинтересовалось министерство народного просвещения — после того, как цензурное ведомство усмотрело в диссертации нежелательные мысли и особенно — выводы, а затем «дело» легло на стол к министру внутренних дел Валуеву. «Власть не может требовать уважения к закону, когда сама его не уважает», — цитировал цензор и как посягательство на незабываемые устои власти со стороны диссертанта приводил одно из «крамольных» мест: «Граждане вправе отвечать на ее требования: «врачу, исцелися сам»¹. Чеканные, хотя и несколько тяжеловесные, характерные для Кони обо-

¹ Анатолий Федорович Кони. 1844—1924. Юбилейный сборник. — Л., 1925. — С. 76—77.

роты — он сохранил их навсегда — привели в ужас чиновника-доносителя: «...Употребление личных сил может быть допущено только при отсутствии помощи со стороны общественной власти...» «Народ, правительство которого стремится нарушить его государственное устройство, имеет в силу правового основания необходимой обороны право революции, право восстания»¹.

И это пишет человек, которого мы привычно окрестили в свое время жолубранной кличкой «либерал»!

У 22-летнего диссертанта — черным по белому: «Очевидно, что необходимая оборона, как сопротивление действиям общественной власти, может быть только в случае явного противодействия закону»². Анатолий Кони еще не служит, еще не чиновник, он едва отошел от «вольного сословия» студента. Но какая цепкая связь этой мысли и действий судьи через 12 лет: Треповым грубо нарушен закон — виновна ли Засулич, вышедшая с револьвером, как символ сопротивления беззаконию, господа присяжные?

Да, конечно, служа закону, Кони служил строю, несчетное число раз допускавшему нарушение им же декларируемого закона. Но каждый раз защищая интересы человека из народа, из общества, Кони занимал позицию не просто блюстителя закона — он, отстаивая достоинство простого человека, призывая видеть в нем личность, действовал с общедемократических позиций — и нередко демократ в нем побеждал либерала.

Неуклонно следуя закону, судья или прокурор Кони глубоко вникал в психологию провинившегося человека, всегда видел в нем не отвлеченную фигуру, к коей необходимо применить ту или иную статью Уложения о наказаниях, а «душу живу», тщательно анализировал все за и против, с последовательным гуманизмом и бесстрашием отстаивал право человека в тех случаях, когда оно поспиралось.

Однако всегда был непримирим к заведомым и бесстыдным закононарушителям.

Когда прокурор Кони принимался «распутывать» дело представителя определенного сословия, почему-то обижалось все сословие. Петербургский гильдейный купец миллионер Овсянников поджег собственную фабрику в корыстных целях и получил «при содействии Кони» сибирскую каторгу — затаили недоброе на неподкупного прокурора уверенные в силе золота толстосумы.

Осуждена игуменья Митрофания — недовольна церковь.

Спустя двадцать лет полиция обвиняет крестьян-вотяков села Старый Мултан в человеческом жертвоприношении. Оказывается, их вековое общение с русским народом, давнее обращение в христианство — ничто перед полицейскими обвинениями целого народа в кровавом изуверстве. В защиту крестьян выступает передовая интеллигенция, вмешивается писатель В. Г. Короленко, которого называют совестью нации, — против, заодно

¹ Кони А. Ф. О праве необходимой обороны: Приложение к Московским университетским известиям. — М., 1865. — Т. 1. — С. 205, 294.

² Там же. — С. 214.

с полицией и судом, невежественный мракобес поп Блинов. Церковь, когда-то возмущенная «делом игуменья», теперь напугана двойной кассацией Мултанского дела в сенате, поддержанной обер-прокурором Кони.

Правда и закон победили и на этот раз: крестьяне были оправданы и освобождены. Когда Кони и Короленко встретились после процесса, писатель поведал судебному деятелю: на последнем, третьем суде над несчастными удмуртскими мужиками заколебались русские мужики-присяжные: «Виновны или не виновны?» И все же победило исконное народное чувство: не могут соседи, такие же землепашцы, совершить человеческое жертвоприношение. И: «Не виновны!» После суда старшина присяжных подошел к Короленко: «Бжал я сюда с желанием закатыть вотских. Вы меня переубедили. Теперь сердце у меня легкое».

Привлечен к ответу за содержание игорного дома офицер Колемин, ему грозит Сибирь — и на Кони ополчаются военные: затронута честь мундира.

Если суд, в котором обвинение поддерживал Кони (как, например, дело об убийстве губернским секретарем Дорошенко харьковского мещанина Северина), признавал виновным дворянина-чиновника, на ноги поднималась вся помещичья рать, пытаясь ошельмовать или подкупить молодого товарища прокурора Харьковского окружного суда, осмелившегося «закатыть» представителя первого сословия империи.

Вышеупомянутые дела нашли отражение в очерках «Дело Овсяникова», «Игуменья Митрофания» и других, где правовые и моральные акценты были четко расставлены. В очерке «По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем» с болью и горечью, с глубоким сочувствием к судьбе простой русской женщины поведена ее горькая история, а, с другой стороны, в адрес «избаловавшегося» в городе ее мужа-отходника у автора, ведшего это дело, нет прямых негативных высказываний — цель Кони иная: не столько изобличить убийцу, сколько показать сложившийся под влиянием определенных социальных условий характер Емельянова, его постепенно окрепшую уверенность в собственной вседозволенности и животное равнодушие к судьбе жены.

Нелишне будет подчеркнуть внутреннюю связь публикуемой статьи «К истории нашей борьбы с пьянством» и трагедии семьи Емельяновых: в спаивании тысяч емельяновых виновны условия, когда сиюминутная выгода государственных целовальников ставится выше народного здоровья.

Непримиримый к сознательным нарушителям закона и снисходительный к «простолюдинам», пред коими он, будучи истым шестидесятиником, считал должником и себя как член интеллигентного общества, — Анатолий Федорович с высокой требовательностью относился к духовно близким ему единомышленникам, а к борцам за общественные интересы — с трогательной, самозабвенной дружбой. Одним из таких стал для него известный ученый и публицист профессор К. Д. Кавелин, чью весьма содержательную характеристику можно отнести к самому Кони.

«Бывают люди уважаемые и в свое время полезные. Они честно осу-

цествляли в жизни все, что им было «дано», но затем, по праву усталости и возраста, сложили порабатывшие руки и остановились среди быстро бегущих явлений жизни... Новые поколения проходят мимо, глядя на них, как на почтенные остатки чуждой им старины. Живая связь между их замолкнувшей личностью и вопросами дня утрачена или не чувствуется, и сердце их, когда-то горячее и отзывчивое, бьется иным ритмом, безучастное к явлениям окружающей действительности. Холодное уважение провожает их в могилу, и большое чувство незаменимой потери, незаместимого пробела не преследует тех, кто возвращается с этой могилы...

Но есть и другие люди — немногие, редкие. В житейской битве они не кладут оружия до конца. Их восприимчивая голова и чуткое сердце работают дружно и неутомимо, куда в них горит огонь жизни. Они умирают, как солдаты в ратном строю, и, уже чувствуя дыхание смерти, холодеющими устами еще шепчут свой нравственный пароль и лозунг. Жизнь часто не падает их, и на закате дней, в годы обычного для всех отдыха и спокойствия, наносит их усталой, но стойкой душе тяжелые удары. Но зато — ничего из области живых общественных вопросов не остается им чуждым. Вступая в жизнь с одним поколением, они делятся знанием с другим, работают рука об руку с третьим, подводят итоги мысли с четвертым, указывают идеалы пятому... и исходят со сцены всем им понятные, близкие, бодрые и поучительные до конца. Они не «переживают» себя, ибо жить для них не значит только существовать да порою обращаться к своим, нередко богатым воспоминаниям... Их чуждый личных расчетов внутренний взор с тревожною надеждою всегда устремлен в будущее, и в их многогранной душе всегда найдутся стороны, которыми она тесно соприкасается с настроением и стремлениями лучшей части современного им общества.

Одним из таких людей был К. Д. Кавелин¹.

А сам Кони? Он был глубоко искренен, когда в конце своих дней исповедно признал: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть... Я любил свой народ, свою страну, служил им, как мог и умел. Я не боюсь смерти. Я много боролся за свой народ, за то, во что верил»².

Мы смело можем прибавить к упомянутой Кони когорте «немногих, редких» его самого. Ближе соприкасавшиеся с ним люди либо отходили прочь, либо становились невольны или вольно в один с ним ряд честных служителей долга, о которых создал прекрасные очерки или воспоминания Анатолий Федорович: юрист и историк искусства Д. А. Ровинский, судебные деятели и поэты А. Л. Боровиковский и С. А. Андреевский.

Кони сочувственно цитирует прозаика и критика В. Ф. Одоевского — и тоже как бы о себе: «Перо писателя пишет успешно только тогда, когда в чернильницу прибавлено несколько капель крови его собственного сердца...»³ Сам он писал именно так.

¹ Речь А. Ф. Кони в мае 1885 г. на могиле Кавелина// Памяти Анатолия Федоровича Кони. — М.; Л., 1929. — С. 9—10.

² Цит. по: Чуковский К. И. Современники. — М., 1962. — С. 205.

³ Кони А. Ф. Собр. соч. — Т. 6. — С. 105.

С какой теплотой вспоминает Кони о людях, профессионально честно выполнявших свой долг, например об Иване Дмитриевиче Путилине или о судебных деятелях, чья нерядовая практика поднимала и возвышала в глазах народа и общества служителей Фемиды — равно и адвокатов (в их ряды несчетное количество раз был безрезультатно зван Кони теми, кто хотел иметь такого сильного и честного коллегу в условиях почти сплошного засилья врагов судебной перестройки).

Среди не очень многочисленных, но важных для понимания идейно-творческого облика Кони работ значительное место занимают его статьи о высших государственных деятелях России: Шувалове и Витте, предпоследнем и последнем русских самодержцах, о Петре Великом и Лорис-Меликове...

Анатолий Федорович, достигший на иерархической лестнице высших званий и наград исключительно благодаря своим природным дарованиям, в «сферах» (от царей до сиятельных чиновников) не пользовался благоволением, его лишь терпели, потому что таких умов в распоряжении самодержавного режима оказывалось очень и очень мало. Правая печать («Русский вестник» и «Гражданин» Каткова и Мещерского, суворинские «Московские ведомости», ряд откровенно реакционных и погромных органов) не упускали ни одной, хоть малой, возможности обрушиться, разбранить, кольнуть, укусить независимого, профессионально и правдиво неуживчивого, но душевно легко ранимого служителя права. «Жрец нигилистической демократии», «красный Кони», обвинения в скрытой или даже явной оппозиции правительству, недоверие либо недоброжелательство государей — и при всем том нежелание расстаться с этим замечательным человеком. Нужен, очень нужен был склоняющемуся к закату самовластительному правлению этот блестящий ум, энциклопедическая образованность, всеми признанная неподкупность, талантливое перо... Даже такой недалекий тяжелодумный правитель, как Александр III, и даже вовсе ограниченный Николай II понимали: в сонме посредственностей, лизоблюдов, лакеев, «холуев последнего сорта» (выражение Кони) должна быть эталонная личность, пусть оппозиционная, нежелательная, но от которой в кризисных ситуациях можно ожидать нелицеприятное мнение, бескорыстное исполнение сложнейшего поручения, чистейшую правду (вспомним хотя бы дело Засулич, порученное все-таки Кони; не забудем, что расследование причин катастрофы с царским поездом в Борках с ведома царя поручено было тому же Кони; а сколько предложений принять пост министра юстиции получил Анатолий Федорович от далеко не бесаланного истового монархиста Столыпина, которому крепко хотелось этой светлой личностью как-то загородиться от ненависти прогрессивно мыслящей России).

Да и сам Кони невысоко ставил многих из тех, кто на протяжении полувека вел российский государственный корабль на скалы, не желая того, готовил преступно бездарным и жестоким правлением грядущую народную революцию. Каких уничтожающе точных характеристик от

Кони — подлинно государственного деятеля и мыслителя — дождались коронованные или титулованные ничтожества, с которыми общался внимательный летописец своей эпохи, непримиримый враг ее злых гениев и друг — не за страх, а за совесть — добросовестных служителей.

Особое место в творческом наследии Кони по праву занимают его статьи и воспоминания о литераторах: от Пушкина и Лермонтова до Толстого и Короленко... Автор «Ледяного дома» Иван Лажечников и великий Иван Тургенев. Федор Кони, отец — журнальный деятель и драматург и Дмитрий Григорович, кого Кони считал в известном смысле предшественником Тургенева в развенчании рабства в России. «Если Тургенев умел возбудить в мало-мальски отзывчивом коллективном читателе чувства жалости и стыда, то Григорович возбудил чувства печали и гнева» своими повестями, «рисующими крепостной быт»¹. Более того, Кони справедливо отмечает, что «Григорович как бы разделил с Тургеневым задачу обрисовки наступившего разлада между отцами и детьми, избрав только другую область наблюдений» — например «между пахарем-отцом и городским-фабричным сыном»² в рассказе «Рыбаки». В заслугу писателю Анатолий Федорович ставит и поддержку молодого Чехова.

С необыкновенной любовью воссоздает Кони художественный и нравственный портрет писателя и актера Ивана Горбунова. В очерке о нем проявился с недюжинной силой демократизм самого автора, который не устает подчеркивать: герои рассказов, очерков, сценок Горбунова — труженики-крестьяне, мастеровые, негильдейные купцы, низшее духовенство, мелкое чиновничество. «Русского человека, — справедливо считает Кони, — им описываемого и выводимого, Горбунов глубоко понимал и любил горячо, без фраз и подчеркиваний, любил, потому что жалел». И автору близок демократизм Горбунова: его любовь к народу, к труженической городской и сельской интеллигенции сродни горбуновской — любить народ «не идеализируя его и не замалчивая его недостаток»³

Необыкновенно ярко написан портрет Тургенева. Читатель сможет оценить ту высокую степень любви и преклонения, которую вложил автор в описание внешности Ивана Сергеевича (нельзя не отметить: Кони был мастером словесного портрета) и в рассказ о драме любви писателя к выдающейся актрисе. Верный своему принципу повествовать о характерном, типичном для большого человека (это относится и к очеркам о Достоевском, Некрасове, Толстом, Гончарове), Анатолий Федорович решительно отбрасывает «неглавные черты». С какой воистину русской интеллигентской деликатностью живописует он встречу с Иваном Сергее-

¹ Кони А. Ф. Собр. соч. — Т. 6. — С. 128.

² Там же. — С. 129.

³ Там же. — С. 138. Интересно и важно для характеристики Кони, товарища и друга писателя, отметить: стараниями его было подготовлено и увидело свет лучшее из изданий Горбунова — его трижды выходивший в начале 900-х годов трехтомник, сопровождаемый в виде вступительной статьи данным очерком.

вичем в его парижской получужой обители. Боль за того, кто, по словам Некрасова, «любящей рукой не охранен, не обеспечен», у рассказчика не переходит в гнев, он находит акварельные тона в раскраске гаммы возвышенных чувств, владеющих Тургеневым, когда на лестнице их настигает голос поющей почти 60-летней Полины Виардо. «...Сказал мне, показывая глазами на дверь: «Какой голос! До сих пор!» Я не могу забыть ни выражения его лица, ни звук его голоса в эту минуту: такой восторг и умиление, такая нежность и глубина чувства выражались в них...»¹

В воспоминаниях о Некрасове читателю близка ненависть самого автора и его героя к судейской породе «скотов старых приказных времен»², понятен и дорог Некрасов в проявлениях «доброты и даже великодушной неалобивости» по отношению к чуждым ему людям. Его прекрасные, внимательные и участливые отношения к сотрудникам, его отзывчивая готовность «подвязывать крылья» начинающим даровитым людям очень импонировали Кони. Явно имея в виду известный эпизод, когда отчаянное положение любимого детища, журнала «Современник», толкнуло поэта ради его спасения составить приветственную оду Муравьеву-Вешателю, Кони с присущим ему мудрым пониманием души художника отмечает: «Не «прегрешения» важны в оценке нравственного образа человека, а то, был ли он способен сознавать их и глубоко в них каяться»³.

Язык Кони в воспоминаниях о писателях, в рассказах о встречах с ними обретает особую вдохновенную выразительность, стиль этого почетного академика по разряду изящной словесности ни с чьим другим не смешашь. Не просто читать его: масса иностранных афоризмов, ссылок, и в то же время по-своему лиричный язык, обладающий особой притягательностью, почти начисто лишенный канцеляризм, казалось бы, обязательных для чиновничьей письменной речи, тем более судейской.

Не только публикациями в прессе, книгами, но и речами, лекциями, выступлениями перед массовой аудиторией он неизменно вызывал восхищение и восторг публики. Зато его «служебные» речи — четкие, отточенные, неизменно строго логичные и неопровержимо доказательные — оказывали зачастую на старцев Государственного совета и сената действие обратное.

Вот несколько примеров стилистики Кони, пронизанной мощью и красотой родного языка. В статье о Достоевском юрист и литератор обращается к состоянию души героя «Преступления и наказания» в час его адской решимости: «Мысль об убийстве уже созрела вполне и всецело завладела им. Нужен лишь толчок — пустой, слабый, но имеющий непосредственную связь с этой мыслью — и все окрепнет, и решимость поведет Раскольникова «не своими ногами» на убийство... Так, поставленный под ночное тропическое небо, сосуд с водой, утративший свой

¹ Кони А. Ф. Собр. соч. — Т. 6. — С. 309.

² А. Ф. Кони приводит строки из письма к нему Некрасова. Собр. соч. — Т. 6. — С. 266.

³ Там же.

лучистый водород, ждет лишь толчка, чтобы находящаяся в нем влага мгновенно отвердела и превратилась в лед»¹.

А вот как тонко, даже с какой-то влюбленностью, разбирает Кони одно из лучших творений толстовского гения. «От рассказа «После бала» веет таким молодым целомудренным чувством, что этой вещи нельзя читать без невольного волнения. Нужно быть не только великим художником, но и нравственно высоким человеком, чтобы так уметь сохранить в себе до глубокой старости, несмотря на «охлажденные лета», и затем изобразить тот почти неуловимый строй наивных восторгов, чистого восхищения и таинственно-радостного отношения ко всему и всем, который называется первою любовью». И — сцена, когда отец Вареньки бьет солдата, «нанесшего слабый удар» проводимому сквозь строй замученному службой татарину, «этот роковой диссонанс, — скорбно и пронизательно отмечает Кони, читатель, прошедший жизнь за столом прокурора и судьи и насмотревшийся на людские драмы вдосталь, — действует сильнее всякой длинной и сложной драмы»².

Или примеры своеобразного «проповедничества», так полно характеризующие личность Кони.

«Огромное крестьянское население» дореформенной России, «осужденное на то, что можно назвать самобессудием»³, — пишет ярый сторонник неурезанных реформ 60-х правед литератор Кони, упорно не желающий говорить об их ограниченности, «без лести» преданный им. «На этом островке, — страстно говорит юрист-художник о Судебной реформе, — пятьдесят лет назад был зажжен впервые, как маяк, огонь настоящего правосудия». «Но когда наступили тяжелые времена, — добавляет он к либеральным несбывшимся упованиям толику демократического прозрения, — и волны вражды и вольного и невольного невежества стали заливать берега этого островка, отрывая от него кусок за куском, с него стали повторяться случаи бегства на более спокойный, удобный и выгодный старый материк, а число тех, кто с прежней верой, но с колеблющейся надеждой поддерживал огонь и проливаемый им свет, загораживая его собою от ветра, стало заметно уменьшаться»⁴.

Анатолий Кони никогда не сходил со своего «островка» законности и права, никогда не уставал нести «огонь» правды, справедливости и культуры в народ и в общество. Оттого отважный, даже дерзкий по мужественности переход из одной эпохи в другую стал для него выражением высшей творческой и гражданской любви к своей многолюдной, многонациональной России, к ее народу, от которых он никогда не мыслил ни отделить, ни отдалить себя.

¹ Кони А. Ф. Собр. соч. — Т. 6. — С. 412.

² Там же. — С. 489.

³ Кони А. Ф. Отцы и дети Судебной реформы. — Спб., 1914. — С. 17

⁴ Там же. — С. 5.

*Георгий Миронов,
Леонид Миронов*

I

ИЗ ЗАПИСОК И ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ



ДЕЛО ОВСЯННИКОВА

Не знаете ли вы чего-нибудь о причинах пожара этой огромной паровой мельницы на Измайловском проспекте против станции Варшавской дороги? — спросил меня министр юстиции граф Пален, прибавив, что, проезжая накануне вечером мимо, он был поражен грандиозностью картины этого пожара. «Вероятно, я получу в свое время полицейское извещение, если есть признаки поджога», — отвечал я и, приехав в прокурорскую камеру (я был в это время, т. е. в 1874 году, прокурором Петербургского окружного суда), действительно нашел коротенькое сообщение полиции о том, что признаков поджога, вызвавшего пожар мельницы коммерции советника Овсянникова, не оказывается. Меня смутила краткость этого заявления, его ненужность по закону и его поспешная категоричность в связи с рассказом графа Палена. Я поручил моему покойному товарищу, энергичному А. А. Маркову, поехать на место и произвести личное дознание.

Поздно вечером он привез мне целую тетрадь осмотров и расспросов на месте, из которых было до очевидности ясно, что здесь имел место поджог. Собранные на другой день сведения о договорных отношениях, существовавших между известным В. А. Кокоревым и С. Т. Овсянниковым по аренде мельницы, указывали и на то, что именно Овсянникову мог быть выгоден пожар мельницы и что есть основания сказать: «*is fecit cui prodest*»¹. Я предложил судебному следователю по особо важным делам, Книриму, начать следствие и немедленно произвести обыск у Овсянникова, а наблюдение за следствием принял лично на себя. Овсянников,

¹ сделал тот, кому выгодно (*лат.*).

не привыкший иметь дело с новым судом и бывший в былые годы в наилучших отношениях с местной полицией, причем за ним числилось до 15 уголовных дел, по которым он старым судом был только «оставляем в подозрении», не ожидал обыска и не припрятал поэтому многих немаловажных документов. Среди них, между прочим, оказался именной список некоторым чинам главного и местного интендантских управлений с показанием мзды, ежемесячно платимой им, влиятельным поставщиком муки, военному ведомству. Я отослал эту бумагу военному министру Д. А. Милютину.

Высокий старик, с густыми насупленными бровями и жестким взором серых пронизательных глаз, бодрый и крепкий, несмотря на свои 74 года, Овсянников был поражен нашествием чинов судебного ведомства. Он был очень невежлив, презрительно пожимал плечами, возражал против осмотра каждого из отдельных помещений, говоря: «Ну, тут чего еще искать?!» — и под предлогом, что в комнатах холодно, надел какое-то фантастическое пальто военного образца на генеральской красной подкладке. Но «*der lange Friedrich*»¹, как звали у нас Книрима, невозмутимо делал свое дело... Я подошел, между прочим, к оригинальным старинным часам в длинном деревянном футляре, вроде узкого шкапа. «Вот, изволите видеть, — сказал Овсянников, желая, вероятно, показать, что и он может быть любезен и владеть собою, — вот это большая редкость, это часы прошлого века. Таких, чай, немного». Подошел и Книрим. «А где ключ?» — спросил он. «Эй, малый! — крикнул Овсянников. — Подать ключ!» Книрим позвал понятых, отпер дверь футляра и стал исследовать его внутренность. Овсянников не вытерпел, грозно сдвинул брови и, энергически плюнув, отошел от часов.

Вечером в тот же день в камере следователя по особо важным делам был произведен допрос Овсянникова. Он отвечал неохотно, то мрачно, то насмешливо поглядывая на следователя и очень недоброжелательно относясь в своих показаниях к Кокореву. В конце допроса я отвел Книрима в сторону и сказал ему, что нахожу необходимым мерой пресечения избрать лишение свободы, так как иначе Овсянников, при своих средствах и связях, исказит весь свидетельский материал. «И я нахожу нужным то же», — отвечал Книрим. «Надо, однако, дать старику, ради здоровья, некоторые удобства, и если вы ничего не имеете против Коломенской части, где есть большие и светлые

¹ длинный Фридрих (нем.).

одиночные камеры, куда можно, с разрешения зрителя, поставить свою мебель, то я распоряжусь об этом немедленно» — «Прекрасно, — сказал Книрим, — а я напишу краткое постановление». — «Господин Овсянников, — сказал я, усаживаясь сбоку стола, на котором писал Книрим, — не желаете ли вы послать кого-нибудь из служителей к себе домой, чтобы прибыло лицо, пользующееся вашим доверием, для передачи ему тех из ваших распоряжений, которые не могут быть отложены». — «Это еще зачем?» — спросил сурово Овсянников. «Вы будете взяты под стражу и домой не вернетесь». — «Что? — почти закричал он. — Под стражу! Я? Овсянников? — и он вскочил с своего места. — Да вы шутить, что ли, изволите? Меня под стражу?! Степана Тарасовича Овсянникова? Первостатейного именитого купца под стражу? Нет, господа, руки коротки! Овсянникова!! Двенадцать миллионов капиталу! Под стражу! Нет, братцы, этого вам не видать!» — «Я вам повторяю свое предложение, а затем как хотите, только вы отсюда поедете не домой», — сказал я. «Да что же это такое! — опять воскликнул он, ударяя кулаком по столу. — Да что я, во сне это слышу? Да и какое право вы имеете? Таких прав нет! Я буду жаловаться! Вы у меня еще ответите!» Его прервал Книрим, который прочел краткое постановление о взятии под стражу и предложил ему подписать. Тут он смирился и послал на извозчике одного из сторожей за старшим сыном. Допрос, между тем, продолжался вследствие выраженного им желания дать еще некоторые разъяснения. С прибывшим сыном он обошелся очень сурово, и когда тот, по моему приглашению, хотел сесть, он так взглянул на него, что тот заколебался и сел лишь, когда отец крикнул ему: «Ну, садись, садись! Я не воспрещаю».

На свой арест Овсянников принес жалобы в окружной суд и затем в судебную палату. Жалобы эти были написаны хотя и кратко, но искусно, умелою рукою. Оказалось, что их писал известный талантливый цивилист Боровиковский, незадолго перед тем перешедший в адвокатуру из товарищей прокурора Петербургского окружного суда. За этот свой небольшой письменный труд, так как по жалобам такого рода поверенные не допускались к личным объяснениям, Боровиковский получил от Овсянникова 5 тысяч рублей. Известие об этом произвело некоторое волнение в петербургском обществе, очень чутко относившемся ко всему, что касалось дела Овсянникова. В огромном городе за небольшую работу многие были склонны видеть указание на то, что «король Калашниковской биржи» не остановится ни перед какими

жертвами для того, чтобы попытаться еще раз остаться в совершенно безвредном для него «подозрении». Некоторые применяли к поверенному обвиняемого стихи Некрасова: «Получив гонорар неумеренный, восклицал мой присяжный поверенный: перед вами стоит гражданин — чище снега Альпийских вершин». Это доходило до Боровиковского и действовало на его впечатлительную натуру удручающим образом, так что он пришел, наконец, ко мне — своему старому сослуживцу и бывшему начальнику — и заявил, что жалобы написаны им потому, что его убедили в невинности Овсянникова, сделавшегося жертвой общественного предубеждения, но что он готов возратить деньги для избежания дальнейших упреков. Я сказал ему, что Овсянников может не взять денег обратно, не желая пользоваться его безвозмездными услугами, и что, кроме того, огласкою возвращения этих денег назад Боровиковский бросит лишний груз на чашу обвинения во вред доверившемуся ему клиенту, так как это возвращение будет, без сомнения, истолковано как признание им, Боровиковским, виновности последнего. Поэтому лучше дожидаться решения присяжных и затем, подчинившись ему, пожертвовать такие деньги на какое-либо доброе дело, если приговор состоится против Овсянникова. Взволнованный Боровиковский не без труда согласился последовать этому совету. В день произнесения обвинительного приговора об Овсянникове он прислал в мое распоряжение, для употребления с благотворительной целью, 5 тысяч рублей, каковые я немедленно препроводил ректору Петербургского университета П. Г. Редкину для обращения, по его усмотрению, в пользу нуждающихся студентов.

У Овсянникова нашлись и другие заступники. Одним из них была напечатана заметка, в которой горячо доказывалось, что человек, жертвовавший большие суммы на церкви и казенные благотворительные учреждения, не мог совершить корыстного преступления, причем приводился и самый список таких пожертвований в довольно крупных суммах. Указание на такие жертвы нельзя было, однако, назвать удачным. Овсянников, как он сам выразился на суде, шел «с материнской колыбели» к широкому хлебному рынку, опираясь на крупные и выгодные интендантские подряды, и, наконец, сделался одним из самых могущественных обладателей этого рынка, окруженным лицемерным поклонением менее крупных поставщиков, среди которых он привык играть властительную роль, повелительно ставя свои условия. Но с начала 70-х годов многолетний подряд на

поставку муки петербургскому военному округу стал неразрывно связываться с обязанностью перемалывать хлеб на паровой мельнице, которой Овсянников был не собственником, а только арендатором, чувствующим себя в косвенной зависимости от собственника мельницы Кокорева, имевшего возможность отказать в продолжении аренды, т. е. лишить его долгосрочного контракта с казною и тем поколебать влиятельное положение честолюбивого и не знающего «препятствий своему нраву» старика, на восьмом десятке его жизни. Поэтому не корысть, а более сложные побуждения могли заставить его желать пожара мельницы перед истечением срока контракта — пожара, который обессилил бы его недруга Кокорева и заставил бы военное ведомство отказаться от ненавистного условия о временном перемоле хлеба на паровой мельнице. При том — щедрые пожертвования при надлежащей и услужливой огласке не менее щедро оплачивались различного рода почетными наградами и публичным возвеличиванием «маститого благотворителя». Не говоря уже об имевшихся в деле сведениях о суровом и черством отношении Овсянникова к тяжелому положению простых и незаметных людей, находившихся от него в трудовой зависимости, мне пришлось случайно убедиться в том, как мало трогало его горькое положение даже и таких людей, к которым он относился, по-видимому, доброжелательно.

Недели через две после арестования Овсянникова моя старая служанка, которой было категорически запрещено ходатайствовать за кого-либо или докладывать мне о каких-либо просителях по делам («чтобы никакого э х о не было», как она объясняла себе мое требование), после больших предисловий о том, что бог меня наградит и что много на свете несчастных людей, стала меня просить все-таки выслушать на дому одну бедную девушку, которая очень нуждается в моем совете, не зная, как ей быть от «мужского обмана», но в суд ко мне идти не решается, так как она «девушка порядочная и скромная и никогда по таким местам не ходила». Нечего делать, надо было уступить, и ко мне явилась миловидная, но болезненного вида девушка, лет 20, немного цыганского типа, с черными глазами и худенькими руками, одетая очень бедно. На ней был длинный темный платок, расходившиеся концы которого спереди она стыдливо и постоянно оправляла и сближала. Она печально потупляла голову, голос ее по временам дрожал, а глаза наполнялись слезами, которые она как-то трогательно и конфузливо собирала пальцами и стряхивала на

пол. «Мы живем с маменькой «честно-благородно» и занимаемся по швейной части. Нам, зная нашу бедность, помогал и часто заезжал к нам купец Тарасов, холостой, был очень добр и ласков, облегчал в нужде мамашу и меня: я его почитала как отца родного, и он обещал меня не оставить своей помощью. А потом вдруг перестал ездить — совсем нас позабыл, и по адресу Тарасова оказалось совсем другое лицо. Теперь же мы очень бедствуем: приходится жить штучной работой для рынка, а много ли так наработаешь?! Да и здоровье мое стало слабое, и в люди показаться стыдно, а о маменьке и говорить нечего. Мы узнали, что купец этот — Степан Тарасович Овсянников — находится в заточении. Так это нам прискорбно, что и сказать нельзя, а пойти к нему или написать не смеем: сказывают, начальство не допустит. Бог даст, соберемся с силами и работу постоянную найдем, так и поправимся, а теперь очень трудно. Опять же и лекарства для маменьки... просто хоть руки на себя наложить! Я уж и то хотела в Неву броситься, да маменьку жаль: она этого не переживет... А как сообщить о моем положении Степану Тарасовичу — не знаем: как бы его не прогневить в несчастии. Может у вас есть кто знакомый из начальства... Окажите божескую милость: научите, что делать?!» Ее слезы и неподдельное участие к судьбе «благодетеля» очень тронули меня, и я, предложив ей написать Овсянникову письмо с объяснением своего грустного материального положения, обещал это письмо не только передать ему, но и попросить его ответа. Она ушла несколько успокоенная, а на следующий день прислала письмо на имя «батюшки Степана Тарасыча», написанное довольно связно и начинавшееся так: «Осведомилась я, что вы, благодетель наш, попали в руки злодеев» и т. д. В некоторых местах буквы расплывались от пролитых над письмом слез. Оно кончалось словами: «День и ночь молюсь за вас и целую, припадаючи, ручки». Один из «злодеев» — в моем лице — передал письмо товарищу прокурора Вильямсону, заведовавшему арестантскими помещениями, с просьбой вручить его Овсянникову и спросить, не будет ли какого-либо ответа. Дня через два Вильямсон рассказал мне, что когда, приехав в Коломенскую часть, он заявил Овсянникову, что прокурор передал ему письмо на его имя с просьбой дать ответ, Овсянников чрезвычайно оживился, вострепнулся и быстро спросил: «Какое? какое письмо? от самого прокурора?» По-видимому, он вообразил себе, что старые судебные порядки снова для него оживают, хотя и в новых обликах. Он почти вырвал у Вильямсона письмо из рук и,

пытливо на него поглядывая, отошел к окну и стал читать. Затем насупился и начал большими тяжелыми шагами ходить по комнате. «Вы знаете эту девушку?» — спросил Вильямсон. Овсянников посмотрел на вопрошающего и затем недовольным голосом сказал: «Коли пишет, значит, знавал!» — «Что же может сказать прокурор писавшей?» — Овсянников молча подошел к топившемуся камину, разорвал письмо на четыре части, бросил его в огонь и, когда оно запылало, почти крикнул: «Мне теперь не до того! Вот мой ответ: пуцай горит!»

По следствию и на суде обнаружилось, что фактическим поджигателем был приказчик Левтеев, исполнивший при содействии сторожа Рудометова, заведомо для хозяина, неоднократно выраженное последним желание, чтобы мельница сгорела. Когда я предполагал быть обвинителем по этому громкому и трудному делу, я жалел, что не могу рассказать присяжным про несчастную девушку и про слова обвиняемого в камере Коломенской части. Это «пуцай горит» лучше всяких сложных соображений нарисовало бы перед присяжными движущие мотивы того, в чем обвинялся Овсянников. Уж если про жертву своей старческой забавы человек, располагавший миллионами, мог сказать «пуцай горит», то насколько понятнее и возможнее было сказано то же самое для того, чтобы отделаться от ненавистной мельницы и в то же время насолить врагу. Но вследствие назначения меня вице-директором департамента министерства юстиции мне не пришлось быть обвинителем. Меня заменил талантливый и тонкий судебный оратор В. И. Жуковский, внесший в свою речь свойственный ему глубокий и неотразимый сарказм, так соответствовавший его наружности, в которой было что-то мефистофельское. Гражданскими истцами в судебном заседании явились — Кокорев от своего собственного лица и Спасович от лица страховых обществ. Первый сказал скрипучим голосом чрезвычайно обстоятельную и умную речь с убедительным разбором мотивов деяния Овсянникова, а второй со своим угловатым жестом и как бы непокорным словом, всегда заключающим в себе глубокий смысл, превзошел, как принято говорить, само себя в разборе и сопоставлении улики и в оценке экспертизы, произведенной над обширную моделью мельницы, принесенной в зал суда. Особенное впечатление произвела нарисованная им картина «извивающегося, как дракон», из одного отделения мельницы в другое огня, сразу показавшегося в трех местах, причем его изгибы незаметны со стороны. Не менее удачна была характеристика подрядного дела с

казной, исполненного риска. Казна сбивает цены, подрядчики отчаянно, рискуя сделаться несамостоятельными, конкурируют между собою, и «с самого низу от последнего канцеляриста протягиваются руки, которые чувствуют пустоту и которые надо занять». Поэтому лишь податливый, привычный и знающий подрядчик сумеет установить и наладить «известную среднюю недобросовестность», причем «чиновники допускают товар не совсем еще негодный, а подрядчик старается, чтоб товар не был уже совсем плох». С особенной силой ответил Спасович на упрек защитника Овсянникова, что он строит все свои выводы на одних косвенных уликах, на чертах и черточках: «Н-да! черты и черточки! — воскликнул он. — Но ведь из них складываются очертания, а из очертаний буквы, а из букв слоги, а из слогов возникает слово, и это слово: поджог!»

Признанный виновным Овсянников был сослан в Сибирь на поселение, но оттуда постоянно ходатайствовал о помиловании и взывал к высокопоставленным влиятельным лицам о поддержке своих ходатайств. Через несколько лет ему было разрешено вернуться в Европейскую Россию, но не в столицы, и он прожил последние годы своей жизни в Царском Селе. Но и в Сибири он умел создать себе исключительное среди ссыльных положение. На эту мысль наводит статья товарища прокурора одного из прикамских окружных судов господина И. М. «Миллионер в ссылке», помещенная в декабрьской книжке «Недели» за 1897 год. В ней подробно описывается ряд отступлений от устава о ссыльных в пользу Овсянникова, с которыми тщетно боролся товарищ прокурора и почин которых принадлежал приказчику или какому-то родственнику ссылаемого, тратившему, по слухам, большие суммы для доставления ему всевозможных облегчений и удобств. Нет основания предполагать, чтобы родственники Овсянникова, участливо заботясь о нем в пути, могли оставить его на произвол судьбы и в месте ссылки.

Это дело было настоящим торжеством нового суда. Немецкая сатирическая печать даже не хотела верить, чтобы двенадцатикратный (zwölffache) миллионер Овсянников мог быть арестован, а если бы это и случилось, то выражала уверенность, что на днях станет известным, что одиннадцатикратный (elffache) миллионер Овсянников выпущен на свободу.

Мне вспоминается, как была поражена привезенная из Москвы для следственных действий знаменитая игуменья Митрофания, когда при ней привели в обширную камеру

Книрима не менее, хотя и в другом роде, знаменитого Овсянникова. Взглянув друг на друга и озираясь на свое еще недавнее прошлое, они могли воскликнуть: «Пан умер! великий Пан умер!»...

ИГУМЕНЬЯ МИТРОФАНИЯ

В конце января или в самом начале февраля 1873 года петербургский купец Лебедев лично принес мне, как прокурору Петербургского окружного суда, жалобу на пользовавшуюся большой известностью в Петербурге и Москве игуменью Владычье-Покровского монастыря в Серпухове Митрофанию, обвиняя ее в подлоге векселей от его имени на сумму в 22 тысячи рублей.

По объяснении Лебедеву, согласно 307-й статье Устава уголовного судопроизводства, ответственности за ложные доносы он подтвердил свою жалобу, указав на ряд веских и убедительных данных, заставивших его прийти к непоколебимому убеждению в виновности игуменьи Митрофании. Казалось бы, что дочь наместника Кавказа, фрейлина высочайшего двора, баронесса Прасковья Григорьевна Розен, в монастыре Митрофания, стоя во главе различных духовных и благотворительных учреждений, имея связи на самых вершинах русского общества, проживая во время частых приездов своих в Петербург в Николаевском дворце и появляясь на улицах в карете с красным придворным лакеем, по-видимому, могла стоять вне подозрений в совершении подлога векселей. Но доводы купца Лебедева были настолько убедительны, что я немедленно дал предложение судебному следователю Русинову о начатии следствия. Произведенная им экспертиза наглядно доказала преступное происхождение векселей, и, по соглашению со мной, он постановил привлечь игуменью Митрофанию в качестве обвиняемой и выписать ее для допросов в Петербург. В то время исполнение служебного долга, «невзирая на лица», одинаково понималось всеми судебными деятелями от министра юстиции до судебного следователя включительно. Поэтому личное сообщение мое о возбуждении мною преследования против влиятельной и поставленной в исключительные условия особы духовного звания не встретило со стороны графа Палена ни неприязненного, ни бесплодного сожаления, а лишь указание на то, что мне, вероятно, придется встретиться с попытками косвенных давлений на себя и на судебного следователя и с ходатайствами весьма высокопоставленных лиц ввиду того, что многочисленные по-

кровители Митрофании откажутся верить в возможность совершения ею преступления. Это предчувствовал и я, зная, кроме того, что между врагами нашего обновленного суда непременно начнет снова циркулировать излюбленная легенда о тенденциозности, сопровождаемая «покиванием глав» на ближе всего стоящих к делу судебных деятелей. Оказалось, однако, что ожидания и предчувствия обманули нас обоих...

Вызванная из Москвы Митрофания остановилась в гостинице «Москва» на углу Невского и Владимирской. Ее сопровождали две послушницы и ее верный друг, игуменья московского Страстного монастыря Валерия, проявившая во все время процесса трогательное отношение к своей подруге, в невинность которой она, по-видимому, искренне верила и с которой разделяла безропотно и даже радостно все неудобства и стеснения совместной жизни в шумной и — в то время — довольно грязной гостинице. Это была небольшая сухощавая женщина с задумчивыми глазами и тонкими, изящными чертами лица. Наоборот, наружность Митрофании была, если можно так выразиться, совершенно ординарной. Ни ее высокая и грузная фигура, ни крупные черты ее лица, с пухлыми щеками, обрамленными монашеским убором, не представляли ничего останавливающего на себе внимание; но в серо-голубых глазах ее под сдвинутыми бровями светились большой ум и решительность.

Когда Русинов окончил первый ее допрос и настало время принятия меры пресечения против уклонения от суда и следствия, мы с ним решили оставить ее ввиду не особенно значительной суммы могущего быть предъявленным гражданского иска под домашним арестом, предложив ей для этого переселиться в Новодевичий женский монастырь. Против этого она протестовала самым горячим образом. «Я умоляю вас, — сказала она, — не делать этого: этого я не перенесу! Быть под началом другой игуменьи — для меня ужасно! Вы себе представить не можете, что мне придется вынести и какие незаметные для посторонних, но тяжкие оскорбления проглотить. Тюрьма будет гораздо лучше!..» Ее отчаяние при мысли о возможности быть помещенной в монастырь было так искренне, что пришлось предоставить ей жить в гостинице под домашним арестом, установив осуществление полицейского надзора за нею незаметным для посторонних образом, так что с внешней стороны могло казаться, что она пользуется полной свободой и лишь по собственному желанию не выходит из своего помещения, но сама она знала, что находится под арестом и надзором,

и строго соблюдала вызываемые этим условия, не принимая никого в отсутствие лица прокурорского надзора и не прибегая к тайной переписке, чего нельзя было сказать про некоторых, немногих из уцелевших ее почитательниц, одна из которых приводила ее самое в отчаяние упорной посылкой ей коробочек с сардинками с нацарапанными на стенках непрошеными и нелепыми советами.

Подлог векселей Лебедева был, в сущности, преступлением довольно заурядным по обстановке и по свидетельским показаниям разных темных личностей, выставленных Митрофанией в свое оправдание, а троекратная экспертиза установила с несомненностью не только то, что текст векселей писан ею, но и что самая подпись Лебедева на векселях и вексельных бланках подделана — притом довольно не искусно — самой Митрофанией, не сумевшей при этом скрыть некоторые характерные особенности своего почерка. Но личность игуменьи Митрофании была совсем незаурядная. Это была женщина обширного ума, чисто мужского и делового склада, во многих отношениях шедшего вразрез с традиционными и рутинными взглядами, господствовавшими в той среде, в узких рамках которых ей приходилось вращаться. Эта широта воззрений на свои задачи в связи со смелым полетом мысли, удивительной энергией и настойчивостью не могла не влиять на окружающих и не создавать среди них людей, послушных Митрофании и становившихся, незаметно для себя, слепыми орудиями ее воли. Самые ее преступления — мошенническое присвоение денег и вещей Медынцевой, подлог завещания богатого скопца Солодовникова и векселей Лебедева, — несмотря на всю предосудительность ее образа действий, не содержали, однако, в себе элемента личной корысти, а являлись результатом страстного и неразборчивого на средства желания ее поддержать, укрепить и расширить созданную ею трудовую религиозную общину и не дать ей обратиться в праздную и тунеядную обитель. Мастерские, ремесленные и художественные, разведение шелковичных червей, приют для сирот, школа и больница для приходящих, устроенных настоятельницай Серпуховской Владычье-Покровской общины были в то время отрядным нововведением в область черствого и бесцельного аскетизма «христовых невест». Но все это было заведено на слишком широкую ногу и требовало огромных средств. Не стеснявшаяся в способах приобретения этих средств игуменья Митрофания усматривала их источники в самых разнообразных предприятиях: в устройстве на землях монастыря заводов «ги-

дравлической извести» и мыльного, в домогательстве о получении железнодорожной концессии на ветвь от Курской дороги к монастырю, в хлопотах об открытии в монастыре мощей нового святого угодника Варлаама и т. д. Когда из всего этого ничего не вышло, Митрофания обратилась к личной благотворительности. Ее связи в Петербурге, ее близость с высшими сферами и возможность щедрой раздачи наград благотворителям помогли ей вызвать обильный приток пожертвований со стороны богатых честолюбцев или людей, желавших, подобно скопцу Солодовникову, заставить официальный мир хоть на время позабыть о путях, которыми он и его товарищи по заблуждению думают спасти свою душу. Когда источники, питавшие такую благотворительность, были исчерпаны, приток пожертвований стал быстро ослабевать. С оскудением средств должны были рушиться дорогие Митрофании учреждения, те ее детища, благодаря которым Серпуховская обитель являлась деятельной и жизненной ячейкой в круговороте духовной и экономической жизни окружающего населения. С упадком обители, конечно, бледнела и роль необычной и занимающей особо влиятельное положение настоятельницы. Со всем этим не могла помириться гордая и творческая душа Митрофании, и последняя пошла на преступление.

Обвинительный приговор присяжных заседателей Московского окружного суда, в который было перенесено дело Лебедева после того, как в Москве были возбуждены преследования по более важным и сложным делам Медынцевой и Солодовникова, был несомненным торжеством правосудия и внушительным уроком будущим Митрофаниям, «дабы на то глядячи, им не повадно было так делать». Но нельзя не признать, что Владычне-Покровской игуменье пришлось выпить медлительно и до дна очень горькую чашу. Началось с того, что у нее совершенно не оказалось тех ожидаемых заступников, о которых я говорил выше. Никто не двинул для нее пальцем, никто не замолвил за нее слово, не высказал сомнения в ее преступности, не пожелал узнать об условиях и обстановке, в которой она содержится. От нее сразу, с черствой холодностью и поспешной верой в известия о ее изобличенности, отреклись все сторонники и недавние покровители. Даже и те, кто давал ей приют в своих гордых хоромах и обращавший на себя общее внимание экипаж, сразу вычеркнули ее из своей памяти, не пожелав узнать, доказано ли то, в чем она в начале следствия еще только подозревалась. Надо заметить, что это отношение к Митрофании возникло еще в такое время, когда,

кроме следствия по жалобе Лебедева, никаких других обвинений против нее не существовало, хотя, как оказалось впоследствии, уже и в то время в Москве были потерпевшие от других ее преступных действий. Когда в Москву пришли известия, что игуменья, про влиятельную роль которой ходили легендарные рассказы, привлечена в Петербурге, как простая смертная, к следствию, эти потерпевшие зашевелились, и в марте 1873 года возникло в Москве дело Медынцевой, а в августе — дело Солодовникова. Митрофанию два раза вызывали в Москву для допросов, а в августе того же года московская прокуратура потребовала дело Лебедева для одновременного производства и слушания с двумя упомянутыми выше делами, число свидетелей по которым, проживающих в Москве, значительно превышало число свидетелей по делу Лебедева.

В Москве следствие велось с большой энергией, причем у Митрофании, однако, явился сильный заступник в лице московского митрополита Иннокентия. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы это заступничество, истекавшее из искреннего убеждения московского иерарха в невинности Митрофании, было особенно умелым. Так, командированный им в качестве депутата духовного ведомства архимандрит московского Спасо-Андрониева монастыря в жалобах Петербургскому и Московскому окружным судам доказывал, вопреки закону, что следствия в Петербурге и Москве начаты совершенно неправильно, оскорбительны для звания игуменьи и производятся крайне пристрастно. Кроме того, в заявлениях, поданных им, он поведал, что самое учреждение прокурорского надзора есть учреждение не христианское, так как в духе христианской религии все прощать, а не преследовать, прочие же государства в этом отношении примером нам служить не могут, ибо, например, Англия — государство не христианское. По мнению его, о месте, которое заняли в общем мнении новые судебные учреждения, можно судить по тому, что, когда он, архимандрит Модест, желая посмотреть новый суд, просил на это разрешения своего высшего духовного начальства, то позволения не получил, «ибо скорее можно разрешить монашествующему посещение театров, чем новых судов, в коих слишком много соблазна». Он находил также, что экспертиза векселей Лебедева, произведенная в Петербурге, является незаконной, потому что была предпринята 25 марта, т. е. в день благовощения, который «вовсе не есть день, а великий праздник, когда никаких действий производить нельзя».

Подлежавшая, по постановлению московского следова-

теля, содержанию под стражей Митрофания была перевезена в Москву, где, если верить ее, вероятно преувеличенному, заявлению на суде, ни сану, ни полу, ни возрасту ее не было оказано уважения и законного снисхождения. Она неоднократно, во время производства дела в суде, жаловалась на тяжелое и крайне стеснительное для больной женщины содержание «в кордегардии под надзором мушкетеров». Еще находясь в Петербурге, оставленная всеми, кто не был заинтересован лично в ее оправдании, как спасении от своей собственной ответственности, она смутно предчувствовала новые грозящие ей обвинения в многодневном судебном заседании: и отказ лучших сил адвокатуры от ее защиты, и жестокое любопытство публики, и травля со стороны мелкой прессы, и коварные вопросы на суде, имевшие целью заставить ее проговориться и самой дать против себя оружие. Она не могла не понимать, что в ее лице будут подвергнуты суровому и красноречивому осуждению темные стороны монашеского смирения и фарисейская окраска официальной благотворительности — одним словом, все то, что вызвало впоследствии страстную отповедь одного из самых даровитых русских адвокатов Ф. Н. Плевако, воскликнувшего в конце первой своей речи: «Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не видно было дел, творимых вами под покровом рясы и обители!»

Все это, вместе взятое, в связи с изнурительным опуханием ног, отражалось на нравственном состоянии Митрофании во время нахождения ее в Петербурге и побуждало следователя Русинова — человека, который умел соединять с энергической деятельностью сердечную доброту, — по возможности избегать вызовов обвиняемой в камеры судебных следователей Петербурга, где ее появление, конечно, возбуждало бы усиленное и жадное внимание толпящейся в обширной приемной публики. Поэтому и мне, как наблюдавшему за следствием, приходилось не раз бывать у Митрофании в гостинице «Москва» и иметь с нею разговоры, причем я мог убедиться в уме и известного рода доброте этой, во всяком случае, выдающейся женщины. Если игуменья Митрофания, перед разбирательством ее дела в московском суде, была подвергнута некоторому бойкоту со стороны видных уголовных защитников и только один из них — присяжный поверенный Самуил Соломонович Шайкевич — нашел в себе мужество не отказать ей в своей трудной и искренней помощи, то в добровольцах при следствии, думавших пристегнуть свое безвестное имя к громкому процессу, недостатка не было. Однажды мне пришлось быть

свидетелем оригинальной сцены. Следовательно Русинов, окончив дополнительный допрос Митрофании, собирался уходить от нее, когда ей заявили, что присяжный поверенный, фамилии которого я до того не слышал, желает с нею объясниться. Так как посторонние не допускались к ней иначе, как в присутствии прокурорского надзора, то она просила нас остаться и дать ей возможность переговорить с этим господином. Вошел юркий человечек «с беспокройною ласковостью взгляда» и, к великому удивлению Митрофании, подошел к ней под благословение. «Что вы, мой батюшка?! — воскликнула она. — Я ведь не архиерей! Что вам угодно?» — «Я желал бы говорить с вами наедине», — смущенно сказал вошедший. «Я вас не знаю, — отвечала она, — какие же между нами секреты? Потрудитесь говорить прямо». — «Меня послали к вам ваши друзья: они принимают в вас большое участие и жаждут вашего оправдания судом, а потому упростили меня предложить вам свои услуги по защите, которую я надеюсь провести с полным успехом». — «Надеетесь? — сказала Митрофания ироническим тоном. — Да ведь вы моего дела, батюшка, не знаете!» — «Помилуйте, я уверен, что вы совершенно невиновны, что здесь судебная ошибка». — «А как же вы думаете меня защищать и что скажете суду?» — «Ну, это уж дело мое», — снисходительно улыбаясь, ответил адвокат. «Дело-то ваше, — сказала Митрофания, — но оно немножко интересно для меня. Я ведь буду судиться, а не кто другой!» — «Ах, боже мой! — заметил адвокат, переходя из слащавого в высокомерный тон. — Ну, разберу улики и доказательства и их опровергну». — «Да вот видите ли, батюшка, ведь уж если меня предадут суду, буде господь это попустит, так, значит, улики будут веские: их, пожалуй, и опровергнуть будет нелегко. Дело мое важное, вероятно, сам прокурор пойдет обвинять. А вы, чай, слышали, что здешний прокурор, как говорят, человек сильной речи и противник опасный». — «Мм-да!» — снисходительно ответил адвокат, очевидно, не зная меня в лицо. «Нет, мой батюшка, — сказала Митрофания, выпрямляясь, и некрасивое лицо ее приняло строгое и вместе с тем восторженное выражение, — не опровергать прокурора, а понять меня надо, вникнуть в мою душу, в мои стремления и цели, усвоить себе мои чувства и вознести меня на высоту, которую я заслуживаю вместо преследования...» По лицу ее пробежала судорога, и большие глаза наполнились слезами, но она тотчас овладела собой и, вдруг переменяя тон, сказала с явною насмешкою: «Так вы это, батюшка, сумеете ли? Да и позвольте вас спросить, кто эти

мои друзья, которые вас прислали?» — «Мм... они желают остаться неизвестными», — ответил смущенный адвокат. «Вот и видно, что друзья! Даже не хотят дать мне радость узнать, что теперь при моем несчастье есть еще люди, которые не стыдятся явно выразить мне свое участие! Нет уж, батюшка, благодарю и вас, и их; я уж как-нибудь обойдусь без этой помощи». И она поклонилась ему смиренным поклоном инокини.

Вскоре после этого ко мне в прокурорский кабинет пришел лохматый господин добродушного вида, назвавшийся кандидатом на судебные должности при прокуроре одного из больших провинциальных судов, и стал жаловаться на следователя Русинова, что тот не хочет отпустить на поруки игуменью Митрофанию без моего о том предложения. «Я дам охотно такое предложение, — сказал я, — но ведь предъявлен гражданский иск. Есть ли у ваших доверителей средства, обеспечивающие поручительство на такую сумму?» — «Какое обеспечение? — изумленно воскликнул пришедший. — Для чего?» И из последующего разговора выяснилось, что он не знает, что поручительство по Судебным уставам принимается лишь с денежным обеспечением, причем он с наивной назойливостью стал мне объяснять, что я ошибаюсь и смешиваю с поручительством залог. Шутливо погрозив ему написать его прокурору, какой у него невежественный кандидат, я посоветовал ему прочитать Устав уголовного судопроизводства и не мешать моим занятиям неосновательными жалобами на следователя. Через некоторое время он снова пришел ко мне опять с какой-то нелепой просьбой и снова стал незнание Судебных уставов валить с больной головы на здоровую, чем мне достаточно прискучил. Когда следствие стало приближаться к концу, Митрофания, после предъявления ей различных документов и актов, неожиданно сказала, что просит моего совета — к какому защитнику ей обратиться. Я ответил ей откровенно, что обвинение против нее ставится очень прочно и что я буду поддерживать его энергически, почему советую ей обратиться к какому-нибудь сильному и известному адвокату. Я назвал ей Спасовича, Герарда и Потехина, останавливаясь преимущественно на последнем, так как в деле был гражданский оттенок, а характер простой и исполненный здравого смысла, без всякого ложного пафоса, речи последнего казался мне наиболее подходящим для защиты. «А что вы скажете о... — и Митрофания назвала фамилию являвшегося ко мне кандидата, — если его пригласить?» — «Помилуйте, — отвечал я, — да ведь это человек, ничего не

знающий, неопытный и бестактный! Это значило бы идти на верную гибель. Уж лучше взять защитника по назначению от суда». — «Вот видите ли, батюшка, — сказала на это Митрофания, — я сама знаю, что он таков, но его покойная мать была моей подругой по институту, и он готовится быть адвокатом. Участие в таком деле, как мое, во всяком случае сделает его имя известным, а известность для адвоката, ох, как нужна! Если же господу угодно, чтобы я потерпела от суда, так тут ведь никто не поможет. Пускай же мое несчастье хотя кому-нибудь послужит на пользу...»

Когда наступило жаркое лето 1873 года, Митрофания стала чувствовать себя очень дурно в душевной гостинице в одном из самых оживленных и шумных мест Петербурга. Повторение ее допроса предвиделось не очень скоро, и я, по соглашению со следователем, решил удовлетворить ее просьбу и отпустить ее на богомолье в Тихвин, а затем, если позволит время и ход следствия, то и на Валаам. Поездка в Тихвин значительно укрепила ее и вызвала с ее стороны в письме ко мне выражение неподдельной признательности за «утешение в горьком положении». На суде в Москве, жалуюсь на «содержание в кордегардии», она сказала: «Пока я была в Петербурге, прокурор обращался со мною, как человек с сердцем, он не глядел на меня, как на осужденную, но смотрел, как на обвиняемую, которая может быть и оправдана. То же делали и товарищи прокурора Денисов и Вильямсон. Я питаю к ним и до сих пор благодарность». Эти слова не были тактическим приемом по отношению к московской прокуратуре, а были, очевидно, искренни, ибо в посмертных ее записках, напечатанных в «Русской старине» в 1902 году, она тепло вспоминает о нашем отношении к ней и наивно отмечает, что молилась в Тихвине, между прочим, и за раба божия Анатолия...

ТЕМНОЕ ДЕЛО

Перейдя в Петербург из Казани, в начале семидесятих годов, я нашел в производстве у следователя одно из тех мрачных дел, про которые можно сказать словами знаменитого Tardieu: *c'est ici que l'on désespère de l'humanité*¹.

В Петербурге жило семейство чиновника К., состоявшее из родителей, двух дочерей, замечательных красавиц, и забулдыги-брата. Старшая дочь была замужем тоже за чиновником, но не жила с ним. Семейство познакомилось

¹ Тардье: вот где приходится разочаровываться в человечестве (фр.).

с богатым банкиром, который среди петербургских развратников слыл за особого любителя и ценителя молодых девушек, сохранивших внешние признаки девства, за право нарушения которых старый и безобразный торговец деньгами платил большие суммы. Почтенная семья решила представить ему старшую дочь в качестве девственницы и, по видимому, получила кое-что авансом. Но, кем-то предупрежденный о готовившемся обмане, банкир потребовал точного исполнения условленного, грозя какими-то имевшимися у него компрометирующими родителей подложной девственницы документами. Тогда вся семья, за исключением младшей дочери Надежды, решилась принести ее в жертву современному Минотавру, причем старшая сестра ее играла самую активную роль и была посредницей в переговорах, выговорив себе за это часть из общего вознаграждения. Но несчастная Надежда К., которой только что минуло 19 лет, приходила в ужас от той роли, на которую ее обрекала развращенная семья. Кроме того, она была влюблена, хотя без доказательств взаимности, в красавца офицера лейб-гвардии Казачьего полка. Понадобились просьбы, слезы, настояния и всякого рода психическое принуждение и давление, чтобы побудить ее, наконец, согласиться отдаться в опытные и жадные объятия старой обезьяны. Для этого назначен был и день, в который сестра должна была приехать с нею к банкиру и затем, после роскошного ужина, оставить их вдвоем.

Но произошло нечто неожиданное.

Накануне своего жертвоприношения Надежда К. написала письмо любимому человеку в казармы, в котором просила приехать отобедать с нею в одном из загородных ресторанов. Около 5 часов дня она явилась в этот ресторан, взяла отдельный кабинет, заказала обед на двоих и приказала заморозить бутылку шампанского. Но ожидаемый сотрапезник не приехал. Прождав его до 9 часов вечера, не дотрагиваясь до обеда, но выпив несколько бокалов шампанского, Надежда К. уехала. Около 11 часов вечера она явилась в казачьи гвардейские казармы, где пожелала видеть своего знакомого. Его, однако, не было дома, и она, весело поболтав с тремя его товарищами, удалилась, сказав, что отправляется домой. На этом след ее потерялся. В 6 часов утра (дело было летом) какая-то дама, растрепанная и шатавшаяся, наняла на Знаменской площади извозчика и, подъехав к дому, где жило семейство К., дала извозчику полуимпериял, а на выраженное им недоумение махнула рукой и вошла в подъезд. Это была Надежда К. Она быстро

прошла через комнату спавшего брата, потревожив его своим появлением и тем, что чего-то искала в столе, ничего не ответив на его вопрос. Через несколько минут в ее комнате раздался выстрел. Пуля прошла снизу вверх, не задев сердца, но произведя жестокое повреждение спинного мозга, выразившееся в быстром нарастании паралича верхних конечностей и языка. Понесшая убыток благородная семья («а счастье было так возможно, так близко!») не дала, однако, знать полиции, а пригласила находившегося в близких отношениях со старшей сестрою доктора медицины, преподававшего студентам Медико-хирургической академии и известного некоторыми научными работами. Он подавал первую помощь несчастной девушке, покуда она еще обладала речью, но когда, через несколько часов, она уже не могла владеть ни руками, ни языком, было дано знать полицейскому врачу, который нашел Надежду К. в ужасном положении. Она не могла говорить и двигать руками, лицо ее выражало жесточайшее страдание, а когда врач, осматривая рану, обратил внимание на ее половые органы, то нашел, что они находятся в таком состоянии воспаления и даже омертвения, которое свидетельствует о том, что она сделалась жертвою, вероятно, нескольких человек, лишивших ее невинности и обладавших ею последовательно много раз. Никаких знаков насилия, однако, на ее теле найдено не было. Несчастная протрадала несколько дней, на расспросы полиции и следователя отвечала лишь слезами и стонами и, наконец, умерла от своей раны и от явлений острой уремии как последствия местного повреждения.

К следствию была привлечена старшая сестра, взятая на поруки упомянутым выше профессором, но, несмотря на все усилия следователя и сыскной полиции, открыть виновников совершенного над Надеждой К. злодеяния и вообще разъяснить эту драму не удалось. Существовал ряд предположений, розыски направлялись то в ту, то в другую сторону, но это не приводило ни к чему, и все обрывалось на роковом и вынужденном молчании покойной.

В начале октября того года, когда все это случилось, ко мне в камеру пришел поручитель за старшую дочь и с большим сознанием собственного достоинства сказал, что желает отказаться от поручительства за нее, так как разошелся и не хочет более иметь с нею ничего общего. Я сказал ему, что он может подать об отказе от поручительства заявление мне или следователю, но, воспользовавшись его пребыванием у меня, завел с ним разговор о существовании этого дела. Он согласился со мною, что оно ужасно, и когда я сказал

ему, в каких направлениях шли розыски, он заявил мне, что это все ложные пути и, если бы покойная могла теперь говорить, она бы рассказала другое, «весьма неожиданное», прибавил он, лукаво усмехаясь. «Но ведь вы были при ней, когда она еще говорила, конечно, расспрашивали ее, и, без сомнения, она вам сказала все, как другу семьи. Вы могли бы поэтому нас вывести из лабиринта, дать нам руководящую нить... ведь вы тоже возмущаетесь этим мрачным делом и не можете не жалеть несчастную девушку». — «Ну, само собой разумеется, — ответил он совершенно спокойно, — она мне все рассказала, и жаль мне ее, и возмущаюсь я, а все-таки помогать вам не хочу. Ее не воротить, а мне это невыгодно и неудобно. Впрочем, если вы дадите честное слово, — и он оглянулся на двери кабинета, — что не только не передадите никому того, что я вам скажу, но ни в каком случае и никаким способом этим не воспользуетесь, то я вам, как знакомому, для удовлетворения вашего любопытства, по дружбе, пожалуй, кое-что расскажу». — «Милостивый государь, я с вами говорю, как прокурор, а не по дружбе, которой между нами существовать не может, тем более, что я не имею чести быть с вами знакомым и вижу вас в первый раз». — «Ну вот, вы уж и сердитесь! Если так, то я вам, господин прокурор, заявляю, что я ничего по этому делу не знаю». — «Даже и того, что старшая сестра погибшей заявила, что подделка ее невинности для господина банкира должна была совершиться при вашем техническом содействии?» — «Нет, знаю!» — «Но разве это возможно?!» — «Почему же нет? Для этого есть разные способы, между прочим, некоторые вяжущие средства». — «Я не в этом смысле говорю о невозможности. Но разве мыслимо, чтобы врач, профессор, руководитель молодежи служил своими знаниями такому презренному предприятию. Ведь это безнравственно!» — «Э-э-эх, господин прокурор, зачем вы такие страшные слова употребляете: н р а в с т в е н н о, б е з н р а в с т в е н н о. Нравственность-то ведь есть понятие гуттаперчевое, растяжимое. Есть более реальные вещи: возможность, целесообразность, о них только и стоит говорить. Так то-с!» — и он с напускным добродушием протянул мне руку, а когда я ее не принял, то с насмешливым удивлением пожал плечами и неторопливой походкой пошел из кабинета.

Дело было прекращено судебной палатой.

ПРОПАВШАЯ СЕРЬГА

Несколько лет назад я — по профессии врач — был приглашен одним из судебных следователей Петербурга для осмотра и вскрытия трупа мещанки Эммы Герзау, отравившейся медным купоросом. Обстановка и причины этого самоубийства заинтересовали меня, и я просил у следователя позволения познакомиться с подлинным делом, когда оно будет окончено. Я выписал из дела дословно некоторые протоколы и документы и не раз задумывался над их печальным смыслом. Теперь, когда со времени этого происшествия прошло много лет, я полагаю, что не совершу особой нескромности, если напечатаю эти протоколы и документы в том порядке, в каком они следовали друг за другом в подлинном виде, вероятно, тлеющем теперь в архивной пыли. Я только изменил собственные имена и фамилии и кое-где сделал грамматические поправки.

Телеграмма. 20-го октября 188... года. 5 часов пополудни.— Судебному следователю N участка. «На углу N проспекта и N улицы, дом Иванова, отравилась ревельская мещанка Эмма Герзау. Жизнь в опасности». Помощник пристава N.

Телеграмма. 21-го октября 188... года. 10 часов пополудни.— Судебному следователю N участка. «Эмма Герзау скончалась. Отравилась медным купоросом. Предсмертное показание мною снято и следы преступления предохранены». Помощник пристава N.

Протокол допроса. 20-го октября. 7 часов вечера.— «Зовут меня Эмма, по отчеству Иванова, Герзау, 36 лет, незамужняя мещанка, под судом и следствием не была, грамотная, имею рожденных вне брака детей: Екатерину — 15 лет, Петра — 14 лет, Николая — 12 и Варвару — 7. Отравилась сама купоросом потому, что не в силах больше жить. К самоубийству побудило меня безвыходное положение, а главное — случай пропажи серьги у квартирантки моей Сидоровой, в краже которой обвиняется моя дочь Екатерина. Я убеждена, что не она украла ее. Записка, оставленная на столе, написана мною собственноручно, ночью на сегодняшнее число». — По прочтении этого показания, Эмма Герзау, подтвердив оное, от подписания его отказалась, отзываясь, что не может, и присовокупила: «Не мучьте, ради Христа». Помощник пристава, околоточный надзиратель, двое понятых.

Предсмертная записка Герзау.— «Нет сил больше бороться. Жизнь надоела. Причин тому много. Главным образом побуждает меня лишиться себя жизни история этих дней. Я верю, что не Катя серьгу украла, но одному богу известно, кто мог это сделать. Тяжело, очень тяжело расстаться с детьми! Что-то будет с ними — сохрани их, Господи! Письма отца их оставляю на столе. Эти дни я лишилась своей последней нравственной опоры. Я не была достойна того, что со мной сделали. У меня ничего не осталось для детей. Сил моих не хватает. Благодарю добрую Амалию Карловну за ее искреннее чувство ко мне. Она добрая душа, и я очень виновата перед нею, ставя ее в такое положение. Госпожа Сидорова в своем праве, но все-таки поступила со мной жестоко. Много оставляю долгов. При иных обстоятельствах поправила бы их, но теперь нет больше сил жить...»

Из письма господина NNN.— «Кавказ. 187... Милая Эмочка! Получил твои оба письма разом. Поздравляю с дочкой. Очень жаль, что тебе так много пришлось страдать. Много сокрушаюсь об этом и представь себе — не могу и утешить особенно. По приезде сюда захворал общим расстройством организма. Теперь поправился, но работы на постройке много. Поцелуй детей. Буду писать, а теперь некогда... Твой...» и т. д.

Через полгода, оттуда же.— «Вчера получил твое грустное письмо. Не могу я не понимать твоих страданий и вместе с тобою бедных деток. Сердце разрывалось при воспоминании о вас. Посылаю все, что могу — 50 р [рублей] с [серебром]. Дела свои запутанные все еще не могу устроить. Надо вооружиться терпением и энергией. Я хорошо понимаю твое тяжелое положение, но бессилен еще настолько, что не могу даже совета подать: действуй по своему усмотрению и благоразумию...»

Через год затем — оттуда же.— «...Как ты поживаешь и как живут детки? Посылаю 25 р. Жизнь веду отшельническую, замаливаю прежние грехи. Был я в Москве и так летал, что не успел захватить в Питер и написать тебе об этом. Время ужасно быстро скачет. До свидания — скоро увидимся. Некогда писать. Твой...» и т. д.

Через полтора года затем — оттуда же.— «Милая Эмочка, два твоих письма получил вчера. Не стану описывать впечатления, произведенного ими. Они раскрыли мне картину вашей жизни несколько живее, чем это было постоянно в моей душе. Бедные мученики — да хранит вас провидение! Как ни тяжела трудовая жизнь и лишения, но нравствен-

ные страдания еще хуже — тяжелым гнетом лежат они на душе и не дают ей покоя. Но довольно об этом — все это мы оба знаем. Новый год даст вам лучшее положение, мои милые труженики. Если есть возможность — потерпи немного, месяца через полтора обстановка будет яснее. Посылаю, что могу — 25 р.».

Через два с половиною года затем. Юг России. — «Добрый, милый друг. Я много виноват перед тобою и вообще против всех обязанностей человека. Если бы это продолжалось небольшое время, то было бы простительно, но на самом деле выходит, что я вовсе не такой порядочный человек, как думала ты и как думал я сам. До людей, впрочем, тут вообще нет дела. Они никогда не поймут, как надо. Все они, по большей части, глупы или злы, как собаки. Не следует быть простаком и судить по себе о них. В этом состоит большая ошибка, из-за которой много приходится страдать... Получив твою вторую телеграмму, с удовольствием отвечаю на нее, тем более, что могу действительно выслать с этим письмом 25 р., другие же постараюсь выслать на днях и вообще буду присылать непременно каждый месяц. Пора за ум взяться. Может быть, я еще успею сколько-нибудь загладить мои грехи перед вами... Много у меня долгов — вот я и верчусь, как муха на свечке: и греться надо, и крылья не сжечь... Так-то, милая Эмма, будем по-старому дружбу водить и переписываться не реже, как раз в месяц, если это будет удобно. А чувства мои открыты для вас всех. Милый Колюшка! Я рад за твои успехи, — ты уже порядочно пишешь, и я непременно буду высылать тебе деньги на школу. После первого числа получишь. Целую тебя, а ты поцелуй маму за меня. Твой папа».

Протокол осмотра. 21-го октября. — «...Тело Эммы Герзау лежит на кровати в вытянутом положении. Одето в белой холщовой рубашке и полубатистовой кофте и покрыто простынею. Посреди комнаты письменный стол, на нем распечатанные лекарства, записка Герзау и пачка с письмами г-на NNN. В соседней комнате много следов рвоты с зеленого цвета осадком купороса. По наружному осмотру тела оказалось: покойной, по-видимому, 35 лет, телосложения слабого, сильно изнуренная. Волосы на голове распушены, темно-русые, а глаза и рот закрыты, лицо бледно-исхудалое, грудь впалая с выдающимися ребрами, знаков наружного насилия на теле нет». Помощник пристава. Врач. Двое понятых.

Акт дознания полиции. «...Около двух лет назад покойная ездила на юг России для свидания с г. NNN и затем,

возвратясь в Петербург, не имела с ним больше переписки. Она терпела большую нужду. Добывала скудное насущное содержание белошвейною работою. В последние годы содержала также меблированные комнаты. В прошлом году покойная страдала женскою болезнью, от которой пользовалась в Максимилянвской лечебнице, по скорбному листу № 000. Пользовавший ее врач запретил работу на машине, вследствие чего нужда усилилась. 16-го октября квартировавшая у покойной дочь чиновника Сидорова заявила полиции о пропаже у ней серьги, оцененной в 50 р., обвиняя в краже 15-летнюю дочь Эммы Герзау. Это последнее обстоятельство очень повлияло на моральное состояние покойной, и она, в стесненных своих обстоятельствах, решилась на самоубийство. Свидетелями по делу могут быть бывшие жильцы квартиры Герзау. Дело о похищении бриллиантовой серьги у Сидоровой передано мировому судье N участка». Помощник пристава.

Протокол допроса свидетеля. — «Зовут меня Петр Иванович Высоколюб, 25 лет, дворянин, студент Технологического института. Я жил у Эммы Герзау около десяти месяцев, платя за квартиру по 15 р. в месяц. Хозяйка все время находилась в крайне стесненных материальных обстоятельствах. К этому присоединилось еще огорчение, причиненное тем, что старший сын не выдержал вступительного экзамена в реальное училище, а она страстно желала дать ему порядочное образование и во всем себе для этого отказывала. Незадолго до ее смерти старшая дочь ее была заподозрена в похищении бриллиантов у жилицы Сидоровой. По заявлению Сидоровой явилась полиция, и был составлен протокол, причем обнаружилось, что Эмма Герзау не вдова, за какую она себя выдавала, а незамужняя девушка. Оказалось также, что дети ее — все незаконнорожденные, о чем они тотчас и узнали. Это все привело Герзау в ужасное нравственное состояние, так что, уезжая вскоре затем к отцу в деревню, я говорил детям, чтобы они берегли свою мать, ввиду крайне расстроенного ее состояния...»

Протокол допроса свидетельницы. — «Зовут меня Александра Петровна Сидорова, 28 лет, дочь чиновника. Около двух лет жила я у Герзау, нанимая отдельную комнату. Лично я ее почти совсем не знала, но мне было известно, что она находилась в крайне стесненной материальной обстановке, с четырьмя детьми на руках и без всяких средств. 16-го октября у меня пропала бриллиантовая серьга. Заподозрив дочь Герзау, я заявила об этом полиции. За два дня до самоотравления Герзау я съехала у нее с квартиры. Раз-

бирая чрез несколько дней на новой квартире свои вещи, я отыскала между ними и серьгу, которую считала пропавшею».

ИЗ КАЗАНСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Если бы знаменитый криминолог Ломброзо увидел некое Нечаева, которого мне пришлось обвинять в Казани весной 1871 года, то он, конечно, нашел бы, что это яркий представитель изобретенного итальянским ученым преступного типа и прирожденный преступник-маттоид. Маленького роста, растрепанный, с низким лбом и злыми глазами, курносый, он всей своей повадкой и наружностью подходил к излюбленному болонским профессором искусственному типу. Он представлял вместе с тем и своего рода психологическую загадку по той смеси жестокости, нахальства и чувствительности, которые отражались в его действиях.

В 1871 году благовещение приходилось в пятницу на страстной неделе. «Свято соблюдая обычай русской старины», старик портной Чернов решил, вместо птицы, выпустить на свободу человека. Он отправился в тюремный замок и там узнал, что есть арестант — отставной военный писарь Нечаев, обвиняемый в краже и сидящий лишь за неимением поручителя на сумму 50 рублей. Чернов обратился к начальству тюрьмы, прося отдать ему на поруки Нечаева, и, по соблюдении формальностей, получил его на свои руки и немедленно привел к себе в мастерскую, подарив ему при этом две ситцевых рубашки и рубль серебром. С ними Нечаев немедленно исчез и вернулся лишь перед самой пасхальной заутреней, и конечно без рубашек и без рубля. Утром в день светлого воскресения он стал требовать еще денег, но Чернов отказал. В четыре часа дня последний оказался убитым, с кровоподтеками на виске и на лбу, причем шея его была почти совершенно перерублена топором, валявшимся тут же, а голова висела лишь на широком лоскуте кожи. Карманы платья Чернова были выворочены, и со стены исчезло его новое, только что сшитое пальто. Исчез и Нечаев. Он был обнаружен ночью в доме терпимости, причем на спине его, на рубашке, найдено было большое кровавое пятно; такое же пятно было и на подкладке пальто со стороны спинки. Нечаев ни в чем не сознавался и даже отрицал свое знакомство с Черновым и пребывание в его доме. Он держал себя чрезвычайно нагло. Когда его вели в сопровождении массы любопытствующего народа

на квартиру Чернова для присутствия при осмотре места преступления, он обратился к проезжавшему мимо губернатору со словами: «Ваше превосходительство, а что бы вам меня за деньги показывать? Ведь большая бы выручка была!»

Пред осмотром и вскрытием трупа убитого в анатомическом театре университета Нечаев прислал мне заявление о непременном желании своем присутствовать при этой процедуре. Во время последней он, совершенно неожиданно, держал себя весьма прилично и внимательно вглядывался и вслушивался во все, что делал и говорил профессор судебной медицины И. М. Гвоздев. Когда последний кончил, Нечаев спросил меня: «Как объясняет он кровоподтек на лбу?» Я попросил Гвоздева повторить обвиняемому это место его *visum repertum*¹ и заключения. «Этот кровоподтек должен быть признан посмертным, — сказал Гвоздев, — он, вероятно, получен уже умершим Черновым во время падения с нар, возле которых найден покойный, от удара обо что-нибудь тупое». Нечаев злобно усмехнулся и вдруг, обращаясь ко мне и к следователю, громко сказал: «Гм! После смерти?! Все врет дурак! Это я его обухом топора живого, а не мертвого; он еще после этого закричал». И затем Нечаев тут же, не без развязности, рассказал, как, затаив злобу на Чернова за отказ в деньгах, поджидал его возвращения с визитов и как Чернов вернулся под хмельком, но грустный, и жаловался ему, что у него сосет под сердцем, «точно смертный час приходит». «Тут я, — продолжал свой рассказ Нечаев, — увидел, что действительно его час пришел. Ударом кулака в висок сбросил я его с нар, на краю которых он сидел, схватил топор и ударил его обухом по лбу. Он вскрикнул: «Что ты, разбойник, делаешь?!» — а потом забормотал и, наконец, замолчал. Я стал шарить у него в карманах, но, увидя, что он еще жив, ударил его изо всей силы топором по шее. Кровь брызнула, как кислые щи, и попала на пальто, которое Чернов повесил на стену, повернув подкладкой кверху, потому что оно было новое. Я крови не заметил, когда надевал пальто; оттого у меня она и на спине оказалась. А вы, может, и поверили, что это из носу?» — насмешливо заключил он, обращаясь к следователю и напоминая свое первое объяснение этого пятна.

В тюрьме он себя держал спокойно и просил «почитать книжек». Но когда я однажды взошел к нему в камеру, он

¹ установленной картины преступления (лат.).

заявил мне какую-то совершенно нелепую жалобу на смотрителя и, не получив по ней удовлетворения, сказал мне: «Значит, теперь мне надо на вас жаловаться?» — «Да, на меня». — «А кому?» — «Прокурору судебной палаты, а еще лучше министру юстиции: он здесь будет через неделю». — «Гм, мое дело, значит, при нем пойдет?» — «Да, при нем». — «Эх-ма! В кармане-то у меня дыра, а то бы князя Урусова надо выписать. Дело мое ведь очень интересное. А кто меня будет обвинять?» — «Я». — «Вы сами?» — «Да, сам». — «Тот, я думаю, постарается! при министре-то?» — вызывающим тоном сказал он. «За вкус не ручаюсь, а горячо будет», — ответил я известной поговоркой. «А вы бы меня, господин прокурор, пожалели: не весело ведь на каторгу идти». — «Об этом надо было думать прежде, чем убивать для грабежа». — «А зачем он мне денег не дал? Ведь и я хочу погулять на праздниках. Я так скажу: меня не только пожалеть надо, а даже быть мне благодарным. Не будь нашего брата, вам бы и делать было нечего, жалованье не за что получать». — «Да, по человечеству мне и впрямь жаль», — сказал я. «А коли жаль, так у меня к вам и просьба: тут как меня выводили гулять или за нуждой, что ли, забралась ко мне в камеру кошка, да и окотилась; так я просил двух котятков мне отдать: с ними занятнее, чем с книжкой. Однако не дали. Прикажите дать, явите божескую милость!» Я сказал смотрителю, что прошу исполнить просьбу Нечаева.

В заседании суда, в начале июня, действительно присутствовал граф Пален, приехавший в Казань на ревизию. Нечаев держал себя очень развязно, говорил колкости свидетелям и заявил, что убийство совершилось «фоментально» (т. е. моментально). Присяжные не дали ему снисхождения, и он был приговорен к 10 годам каторги. В тот же день казанское дворянство и городское общество давали обед графу Палену в зале дворянского собрания. В середине обеда мне сказали, что приехал смотритель тюремного замка по экстренному делу. Я вышел к нему, и он объяснил, что Нечаев, привезенный из суда, начал буйствовать, вырвал у конвойного ружье и согнул штык (он обладал громадной физической силой), а затем выломал у себя в камере из печки кирпич и грозил разmozжить голову всякому, кто к нему войдет. Его удалось обезоружить, но смотритель находил необходимым заковать его в ручные и ножные кандалы, не желая, однако, это сделать без моего ведома, так как на мне лежали и обязанности старого губернского прокурора. Я отнесся отрицательно к этой крайней мере и посове-

товал ему подействовать на Нечаева каким-нибудь иным образом. «Что — котята еще у него?» — «У него — он возится с ними целый день и из последних грошей поит их молоком». — «Так возьмите у него в наказание котят». Смотритель, старый служака прежних времен, посмотрел на меня с недоумением, потом презрительно пожал плечами и иронически сказал: «Слушаю-с!»

Прошло три дня. Смотритель явился ко мне вновь. «Господин прокурор, позвольте отдать котят Нечаеву». — «А что?» — «Да никак невозможно». — «Что же? буйствует?» — «Какое, помилуйте! Ничего не ест, лежит у дверей своей камеры на полу, стонет и плачет горячими слезами. «Отдайте котят, — говорит, — ради Христа, отдайте! Делайте со мной, что хотите: ни в чем перечить не буду, только котяточек моих мне!» Даже жалко его стало. Так можно отдать? Он уж будет себя вести примерно. Так и говорит: «Отдайте: бога за вас молить буду!»

И котята были отданы убийце Чернова.

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ ПУТИЛИН

Начальник петербургской сыскной полиции Иван Дмитриевич Путилин был одной из тех даровитых личностей, которых умел искусно выбирать и не менее искусно держать в руках старый петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов. Прошлая деятельность Путилина, до поступления его в состав сыскной полиции, была, чего он сам не скрывал, зачастую весьма рискованной в смысле законности и строгой морали; после ухода Трепова из градоначальников отсутствие надлежащего надзора со стороны Путилина за действиями некоторых из подчиненных вызвало большие на него нарекания. Но в то время, о котором я говорю (1871—1875), Путилин не распускал ни себя, ни своих сотрудников и работал над своим любимым делом с несомненным желанием оказывать действительную помощь трудным задачам следственной части. Этому, конечно, способствовало в значительной степени и влияние таких людей, как, например, Сергей Филиппович Христианович, занимавший должность правителя канцелярии градоначальника. Отлично образованный, неподкупно честный, прекрасный юрист и большой знаток народного быта и литературы, близкий друг И. Ф. Горбунова, Христианович был по личному опыту знаком с условиями и приемами производства следствий. Его указания не могли пройти бесследно для Путилина. В качестве опытного пристава следственных дел Христианович

призывался для совещания в комиссию по составлению Судебных уставов. Этим уставам служил он как правитель канцелярии градоначальника, действуя, при пересечении двух путей — административного усмотрения и судебной независимости — как добросовестный, чуткий и опытный стрелочник, устраняя искусной рукой, с тактом и достоинством, неизбежные разногласия, могшие перейти в резкие столкновения, вредные для роста и развития нашего молодого, нового суда. На службе этим же уставам, в качестве члена Петербургской судебной палаты, окончил он свою не шумную и не блестящую, но истинно полезную жизнь. Близкое знакомство с таким человеком и косвенная от него служебная зависимость не могли не удерживать Путилина в строгих рамках служебного долга и нравственного приличия.

По природе своей Путилин был чрезвычайно даровит и как бы создан для своей должности. Необыкновенно тонкое внимание и чрезвычайная наблюдательность, в которой было какое-то особое чутье, заставлявшее его вглядываться в то, мимо чего все проходили безучастно, соединялись в нем со спокойной сдержанностью, большим юмором и своеобразным лукавым добродушием. Умное лицо, обрамленное длинными густыми бакенбардами, пронизательные карие глаза, мягкие манеры и малороссийский выговор были характерными наружными признаками Путилина. Он умел отлично рассказывать и еще лучше вызывать других на разговор и писал недурно и складно, хотя место и степень его образования были, по выражению И. Ф. Горбунова, «покрыты мраком неизвестности». К этому присоединялась крайняя находчивость в затруднительных случаях, причем про него можно было сказать, «qu'il connaissait son monde»¹, как говорят французы. По делу о жестоком убийстве для ограбления купца Бояринова и служившего у него мальчика он разыскал по самым почти неуловимым признакам заподозренного им мещанина Богрова, который, казалось, доказал свое alibi (инобытность) и с самоуверенной усмешечкой согласился поехать с Путилиным к себе домой, откуда все было им уже тщательно припрятано. Сидя на извозчике и мирно беседуя, Путилин внезапно сказал: «А ведь мальчишка-то жив!» — «Неужто жив?» — не отдавая себе отчета, воскликнул Богров, утверждавший, что никакого Бояринова знать не знает, — и сознался...

В Петербурге в первой половине семидесятых годов не

¹ что он знал свой мир (фр.).

было ни одного большого и сложного уголовного дела, в розыск по которому Путилин не вложил бы своего труда. Мне наглядно пришлось ознакомиться с его удивительными способностями для исследования преступлений в январе 1873 года, когда в Александро-Невской лавре было обнаружено убийство иеромонаха Иллариона. Илларион жил в двух комнатах отведенной ему кельи монастыря, вел замкнутое существование и лишь изредка принимал у себя певчих и поил их чаем. Когда дверь его кельи, откуда он не выходил два дня, была открыта, то вошедшим представилось ужасное зрелище. Илларион лежал мертвый в огромной луже запекшейся крови, натекшей из множества ран, нанесенных ему ножом. Его руки и лицо носили следы борьбы и порезов, а длинная седая борода, за которую его, очевидно, хватал убийца, нанося свои удары, была почти вся вырвана, и спутанные, обрызганные кровью клочья ее валялись на полу в обеих комнатах. На столе стоял самовар и стакан с остатками недопитого чая. Из комода была похищена сумка с золотой монетой (отец Илларион плавал за границей на судах в качестве иеромонаха). Убийца искал деньги между бельем и тщательно его пересмотрел, но, дойдя до газетной бумаги, которой обыкновенно покрывается дно ящиков в комодах, ее не приподнял, а под ней-то и лежали процентные бумаги на большую сумму. На столе у входа стоял медный подсвечник, в виде довольно глубокой чашки с невысоким помещением для свечи посередине, причем от сгоревшей свечи остались одни следы, а сама чашка была почти на уровень с краями наполнена кровью, ровно застывшей без всяких следов брызг.

Судебные власти прибыли на место как раз в то время, когда в соборе совершалась торжественная панихида по Сперанском — в столетие со дня его рождения. На ней присутствовали государь и весь официальный Петербург. Покуда в соборе пели чудные слова заупокойных молитв, в двух шагах от него, в освещенной зимним солнцем келье, происходило вскрытие трупа несчастного старика. Состояние пици в желудке дало возможность определить, что покойный был убит два дня назад вечером. По весьма вероятным предположениям, убийство было совершено кем-нибудь из послушников, которого старик пригласил пить чай. Но кто мог быть этот послушник, выяснить было невозможно, так как оказалось, что в монастыре временно проживали, без всякой прописки, послушники других монастырей, причем они уходили совсем из лавры, в которой проживал сам митрополит, не только никому не сказавшись, но даже, по

большей части, проводили ночи в городе, перелезая в одном специально приспособленном месте через ограду святой обители.

Во время составления протокола осмотра трупа приехал Путилин. Следователь сообщил ему о затруднении найти обвиняемого. Он стал тихонько ходить по комнатам, поглядывая туда и сюда, а затем, задумавшись, стал у окна, слегка барабанив пальцами по стеклу. «Я пошлю,— сказал он мне затем вполголоса,— агентов (он выговаривал а х е н т о в) по пригородным железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире, около станции». — «Но как же они узнают убийцу?» — спросил я. «Он ранен в кисть правой руки», — убежденно сказал Путилин. — «Это почему?» — «Видите этот подсвечник? На нем очень много крови, и она натекла не брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал старика со свечкой в руках: его руки были заняты — в одной был нож, а другою, как видно, он хватал старика за бороду». — «Ну, хорошо. Но почему же он ранен в правую руку?» — «А вот почему. Пожалуйста сюда к комоду. Видите: убийца тщательно перерыл все белье, отыскивая между ним спрятанные деньги. Вот, например, дюжина полотенец. Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывают страницы книги, и видите — на каждом свернутом полотенце снизу — пятно крови. Это правая рука, а не левая: при переворачивании левой рукой пятна были бы сверху...»

Поздно вечером, в тот же день, мне дали знать, что убийца арестован в трактире на станции Любань. Он оказался раненым в ладонь правой руки и расплачивался золотом. Доставленный к следователю, он сознался в убийстве и был затем осужден присяжными заседателями, но до отправления в Сибирь сошел с ума. Ему, несчастному, в неистовом бреду все казалось, что к нему лезет о. Илларион, угрожая и проклиная...

Путилин был очень возбужден и горд успехом своей находчивости. У судебного следователя, в моем присутствии, пустился он с увлечением в рассказы о своем прошлом. Вот что, приблизительно, как записано в моем дневнике, он нам рассказал тогда.

«Настоящее дело заурядное, да теперь хороших дел и не бывает; так все — дрянцо какое-то. И преступники настоящие перевелись — ничего нет лестного их ловить. Убьет и сейчас же сознается. Да и воров настоящих нет. Прежде,

бывало, за вором следишь, да за жизнь свою опасешься: он хоть только и вор, а потачки не даст! Прежде вор был видный во всех статьях, а теперь что? — жалкий, плюгавый! Ваш суд его осудит, и он отсидит свое, — ну, затем вышлют его на родину, а он опять возвращается. Они ведь себя сами «Спиридонами-поворотами» называют. Мои агенты на железной дороге его узнают, задержат да и приведут ко мне: голодный, холодный, весь трясется — посмотреть не на что. Говоришь ему: «Ты ведь, братец, вор». — «Что ж, Иван Дмитриевич, греха нечего таить — вор». — «Так тебя следует выслать». — «Помилуйте, Иван Дмитриевич!» — «Ну какой ты вор?! Вор должен быть из себя видный, рослый, одет по-почтенному, а ты? Ну посмотри на себя в зеркало — ну какой ты вор? Так, мразь одна». — «Что ж, Иван Дмитриевич, бог счастья не дает. Уж не высылайте, сделайте божескую милость, позвольте покормиться». — «Ну хорошо, неделю погуляй, покормись, а через неделю, коли не попадешься до тех пор, вышлю: тебе здесь действовать никак невозможно...» То ли дело было прежде, в сороковых да пятидесятых годах. Тогда над Апраксиным рынком был частный пристав Шерстобитов — человек известный, ума необыкновенного. Сидит, бывало, в штофном халате, на гитаре играет романсы, а канарейка в клетке так и заливается. Я же был у него помощником, и каких дел не делали, даже вспомнить весело! Раз зовет он меня к себе да и говорит: «Иван Дмитриевич, нам с тобою, должно быть, Сибири не миновать!» — «Зачем, — говорю, — Сибирь?» — «А затем, — говорит, — что у французского посла, герцога Монтебелло, сервиз серебряный пропал, и государь император Николай Павлович приказал обер-полицмейстеру Галахову, чтобы был сервиз найден. А Галахов мне да тебе велел найти во что бы то ни стало, а то, говорит, я вас обоих упеку куда Макар телят не гонял». — «Что ж, — говорю, — Макаром загодя стращать, попробуем, может, и найдем». Перебрали мы всех воров — нет, никто не крал! Они и промеж себя целый сыск произвели получше нашего. Говорят: «Иван Дмитриевич, ведь мы знаем, какое это дело, но вот образ со стены готовы снять — не крали этого сервиза!» Что ты будешь делать? Побились мы с Шерстобитовым, побились, собрали денег, сложились да и заказали у Сазикова новый сервиз по тем образцам и рисункам, что у французозов остались. Когда сервиз был готов, его сейчас в пожарную команду, сервиз-то... чтобы его там губами ободрали: пусть имеет вид, как бы был в употреблении. Представили мы сервиз французам и ждем себе награды. Только вдруг зо-

вет меня Шерстобитов. «Ну,— говорит,— Иван Дмитриевич, теперь уж в Сибирь всенепреренно».— «Как,— говорю,— за что?» — «А за то, что звал меня сегодня Галахов и ногами топал и скверными словами ругался. «Вы,— говорит,— с Путилиным плуты, ну и плутуйте, а меня не подводите. Вчера на бале во дворце государь спрашивает Монтебелло: «Довольны ли вы моей полицией?» — «Очень,— отвечает,— ваше величество, доволен: полиция эта беспримерная. Утром она доставила мне найденный ею украденный у меня сервиз, а накануне поздно вечером камердинер мой сознался, что этот же самый сервиз заложил одному иностранцу, который этим негласно промышляет, и расписку его мне представил, так что у меня теперь будет два сервиза». Вот тебе, Иван Дмитриевич, и Сибирь!» — «Ну,— говорю,— зачем Сибирь, а только дело скверное». Поиграл он на гитаре, послушали мы оба канарейку да и решили действовать. Послали узнать, что делает посол. Оказывается, уезжает с наследником-цесаревичем на охоту. Сейчас же к купцу знакомому в Апраксин, который ливреи шил на посольство и всю ихнюю челядь знал. «Ты, мил-человек, когда именинник?» — «Через полгода».— «А можешь ты именины справить через два дня и всю прислугу из французского посольства пригласить, а угощенье будет от нас?» Ну, известно, с вои люди, согласился. И такой-то мы у него бал задали, что небу жарко стало. Под утро всех развозить пришлось по домам: французы-то совсем очумели, к себе домой-то попасть никак не могут, только мычат. Вы только, господа, пожалуйста, не подумайте, что в вине был дурман или другое какое снадобье. Нет, вино было настоящее, а только французы слабый народ: крепкое-то на них и действует. Ну-с, а часа в три ночи пришел Яша-вор. Вот человек-то был! Душа! Сердце золотое, незлобивый, услужливый, а уж насчет ловкости, так я другого такого не видывал. В остроге сидел бесменно, а от нас доверием пользовался в полной мере. Не теперешним вораи чета был. Царство ему небесное! Пришел и мешок принес: вот, говорит, извольте сосчитать, кажись, все. Стали мы с Шерстобитовым считать: две ложки с вензелями лишних. «Это,— говорим,— зачем же, Яша? Зачем ты лишнее брал?» — «Не утерпел»,— говорит... На другой день поехал Шерстобитов к Галахову и говорит: «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, никаких двух сервизов и не бывало. Как был один, так и есть, а французы народ ведь легкомысленный, им верить никак невозможно». А на следующий день затем вернулся и посол с охоты. Видит — сервиз один, а прислу-

га вся с перепоя зеленая да вместо дверей в косяк головой тычется. Он махнул рукой да об этом деле и замолк».

«Иван Дмитриевич,— сказал я, выслушав этот рассказ,— а не находите вы, что о таких похождениях, может быть, было бы удобнее умалчивать? Иной ведь может подумать, что вы и до сих пор действуете по-шерстобитовски...» — «Э-э-эх! Не те времена, и не такое мое положение,— отвечал он.— Знаю я, что похождения мои с Шерстобитовым не совсем-то удобны, да ведь давность прошла, и не одна, а, пожалуй, целых три. Ведь и Яши-то вора — царство ему небесное! — лет двадцать как в живых уж нет».

II

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА



ПО ДЕЛУ ОБ УТОПЛЕНИИ КРЕСТЬЯНКИ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ ЕЕ МУЖЕМ

Господа судьи, господа присяжные заседатели! Вашему рассмотрению подлежат самые разнообразные по своей внутренней обстановке дела, где свидетельские показания дышат таким здравым смыслом, проникнуты такою искренностью и правдивостью и нередко отличаются такою образностью, что задача судебной власти становится очень легка. Остается сгруппировать все эти свидетельские показания, и тогда они сами собою составят картину, которая в вашем уме создаст известное определенное представление о деле. Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое боятся сказать, являя перед вами пример уклончивого недоговариванья и далеко не полной искренности. Я не ошибусь, сказав, что настоящее дело принадлежит к последнему разряду, но не ошибусь также, прибавив, что это не должно останавливать вас, судей, в строго беспристрастном и особенно внимательном отношении к каждой подробности в нем. Если в нем много наносных элементов, если оно несколько затемнено неискренностью и отсутствием полной ясности в показаниях свидетелей, если в нем представляются некоторые противоречия, то тем выше задача обнаружить истину, тем более усилий ума, совести и внимания следует употребить для узнания правды. Задача становится труднее, но не делается не разрешимой.

Я не стану напоминать вам обстоятельства настоящего дела; они слишком несложны для того, чтобы повторять их в подробности. Мы знаем, что молодой банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой

день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по мужу, и тело было предано земле, а дело — воле божьей. Этим, казалось бы, все и должно было кончиться, но в околотке пошел говор об утопленнице. Говор этот группировался около Аграфены Суриной, она была его узлом, так как она будто бы проговорила, что Лукерья не утопилась, а утоплена мужем. Поэтому показание ее имеет главное и существенное в деле значение. Я готов сказать, что оно имеет, к сожалению, такое значение, потому что было бы странно скрывать от себя и недостойно умалчивать перед вами, что личность ее не производит симпатичного впечатления и что даже вне обстоятельств этого дела, сама по себе, она едва ли привлекла бы к себе наше сочувствие. Но я думаю, что это свойство ее личности несколько не изменяет существа ее показания. Если мы на время забудем о том, как она показывает, не договаривая, умалчивая, трусая или скороговоркою, в неопределенных выражениях высказывая то, что она считает необходимым рассказать, то мы найдем, что из показания ее можно извлечь нечто существенное, в чем должна заключаться своя доля истины. Притом показание ее имеет особое значение в деле: им завершаются все предшествовавшие гибели Лукерьи события, им объясняются и все последующие, оно есть, наконец, единственное показание очевидца. Прежде всего возникает вопрос: достоверно ли оно? Если мы будем определять достоверность показания тем, как человек говорит, как он держит себя на суде, то очень часто примем показания вполне достоверные за ложные и, наоборот, примем оболочку показания за его сущность, за его сердцевину. Поэтому надо оценивать показание по его внутреннему достоинству. Если оно дано непринужденно, без постороннего давления, если оно дано без всякого стремления к нанесению вреда другому и если затем оно подкрепляется обстоятельствами дела и бытовою житейскою обстановкою тех лиц, о которых идет речь, то оно должно быть признано показанием справедливым. Могут быть неверны детали, архитектурные украшения, мы их отбросим, но тем не менее останется основная масса, тот камень, фундамент, на котором зиждутся эти ненужные, неправильные подробности.

Существует ли первое условие в показаниях Аграфены Суриной? Вы знаете, что она сама первая проговорила, по первому толчку, данному Дарьею Гавриловою, когда та спросила: «Не ты ли это с Егором утопила Лукерью?» Самое поведение ее при ответе Дарье Гавриловой и подтвержде-

ние этого ответа при следствии исключает возможность чего-либо насильственного или вынужденного. Она сделалась, — волею или неволею, об этом судить трудно, — свидетельницей важного и мрачного события, она разделила вместе с Егором ужасную тайну, но, как женщина нервная, впечатлительная, живая, оставшись одна, она стала мучиться, как все люди, у которых на душе тяготеет какая-нибудь тайна, что-нибудь тяжелое, чего нельзя высказать. Она должна была терзаться неизвестностью, колебаться между мыслью, что Лукерья, может быть, осталась жива, и гнетущим сознанием, что она умерщвлена, и поэтому-то она стремилась к тому, чтобы узнать, что сделалось с Лукерьей. Когда все вокруг было спокойно, никто еще не знал об утоплении, она волнуется как душевнобольная, работая в прачечной, спрашивает поминутно, не пришла ли Лукерья, не видали ли утопленницы. Бессознательно почти, под тяжким гнетом давящей мысли, она сама себя выдает. Затем, когда пришло известие об утопленнице, когда участь, постигшая Лукерью, определилась, когда стало ясно, что она не придет никого изобличать, бремя на время свалилось с сердца, и Аграфена успокоилась. Затем опять тяжелое воспоминание и голос совести начинают ей рисовать картину, которой она была свидетельницей, и на первый вопрос Дарьи Гавриловой она почти с гордостью высказывает все, что знает. Итак, относительно того, что показание Суриной дано без принуждения, не может быть сомнения.

Обращаюсь ко второму условию: может ли показание это иметь своею исключительною целью коварное желание набросить преступную тень на Егора, погубить его? Такая цель может быть только объяснена страшною ненавистью, желанием погубить во что бы то ни стало подсудимого, но в каких же обстоятельствах дела найдем мы эту ненависть? Говорят, что она была на него зла за то, что он женился на другой; это совершенно понятно, но она взяла за это с него деньги; положим, что даже и взяв деньги, она была недовольна им, но между неудовольствием и смертельною ненавистью целая пропасть. Все последующие браку обстоятельства были таковы, что он, напротив, должен был сделаться ей особенно дорог и мил. Правда, он променял ее, с которою жил два года, на девушку, с которой перед тем встречался лишь несколько раз, и это должно было задеть ее самолюбие, но чрез неделю или, во всяком случае, очень скоро после свадьбы он опять у ней, жалуется ей на жену, говорит, что снова любит ее, тоскует по ней. Да ведь это для женщины, которая продолжает любить, — а свидетеле-

ли показали, что она очень любила его и переносила его крутое обращение два года, — величайшая победа! Человек, который ее кинул, приходит с повинною головою, как блудный сын, просит ее любви, говорит, что та, другая, не стоит его привязанности, что она, Аграфена, дороже, краше, милее и лучше для него... Это могло только усилить прежнюю любовь, но не обращать ее в ненависть. Зачем ей желать погубить Егора в такую минуту, когда жены нет, когда препятствие к долгой связи и даже к браку устранено? Напротив, теперь-то ей и любить его, когда он всецело ей принадлежит, когда ей не надо нарушать «их закон», а между тем она обвиняет его, повторяет это обвинение здесь, на суде. Итак, с этой точки зрения, показание это не может быть заподозрено.

Затем, соответствует ли оно сколько-нибудь обстоятельством дела, подтверждается ли бытовою обстановкою действующих лиц? Если да, то как бы Аграфена Сурина ни была несимпатична, мы можем ей верить, потому что другие, совершенно посторонние лица, оскорбленные ее прежним поведением, не свидетельствуя в пользу ее личности, свидетельствуют, однако, в пользу правдивости ее настоящего показания. Прежде всего свидетельница, драгоценная по простоте и грубой искренности своего показания, — сестра покойной Лукерьи. Она рисует подробно отношения Емельянова к жене и говорит, что, когда Емельянов посватался, она советовала сестре не выходить за него замуж, но он поклялся, что бросит любовницу, и она, убедившись этою клятвою, посоветовала сестре идти за Емельянова. Первое время они живут счастливо, мирно и тихо, но затем начинается связь Емельянова с Суриной. Подсудимый отрицает существование этой связи, но о ней говорит целый ряд свидетелей. Мы слышали показание двух девиц, ходивших к гостям по приглашению Егора, которые видели, как он, в половине ноября, целовался на улице, и не таясь, с Аграфеною. Мы знаем из тех же показаний, что Аграфена бегала к Егору, что он часто, ежедневно по несколько раз, встречался с нею. Правда, главное фактическое подтверждение, с указанием на место, где связь эта была закреплена, принадлежит Суриной, но и оно подкрепляется посторонними обстоятельствами, а именно — показаниями слушающего в Зоологической гостинице мальчика и Дарьи Гавриловой. Обвиняемый говорит, что он в этот день до 6 часов сидел в мировом съезде, слушая суд и собираясь подать апелляцию. Не говоря уже о том, что, пройдя по двум инстанциям, он должен был слышать от председателя миро-

вого съезда обязательное по закону заявление, что апелляции на приговор съезда не бывает, этот человек, относительно которого приговор съезда был несправедлив, не только по его мнению, но даже по словам его хозяина, который говорит что Егор не виноват, «да суд так рассудил», этот человек идет любопытствовать в этот самый суд и просиживает там полдня. Действительно, он не был полдня дома но он был не в съезде, а в Зоологической гостинице. На это указывает мальчик Иванов. Он видел в Михайлов день Сурина в номерах около 5 часов. Это подтверждает и Гаврилова, которой 8 ноября Сурина сказала, что едет с Егором, а затем вернулась в 6 часов. Итак, частица показаний Суриной подтверждается. Таким образом, очевидно, что прежние дружеские, добрые отношения между Лукерьею и ее мужем поколебались. Их место заняли другие, тревожные. Такие отношения не могут, однако, долго длиться: они должны измениться в ту или другую сторону. На них должны были постоянно влиять страсть и прежняя привязанность, которые пробудились в Егоре с такою силою и так скоро. В подобных случаях может быть два исхода: или рассудок, совесть и долг победят страсть и подавят ее в грешном теле, и тогда счастье упрочено, прежние отношения возобновлены и укреплены, или напротив, рассудок подчинится страсти, заглохнет голос совести, и страсть, увлекающая человека, овладеет им совсем; тогда явится стремление не только нарушить, но навсегда уничтожить прежние тягостные, стесняющие отношения. Таков общий исход всех действий человеческих, совершаемых под влиянием страсти; на середине страсть никогда не останавливается; она или замирает, погасает, подавляется или, развиваясь чем далее, тем быстрее, доходит до крайних пределов. Для того чтобы определить, по какому направлению должна была идти страсть, овладевшая Емельяновым, достаточно взглянуть в характер действующих лиц. Я не стану говорить о том, каким подсудимый представляется нам на суде; оценка поведения его на суде не должна быть, по моему мнению, предметом наших обсуждений. Но мы можем проследить его прошедшую жизнь по тем показаниям и сведениям, которые здесь даны и получены.

Лет 16 он приезжает в Петербург и становится банщиком при номерных, так называемых «семейных» банях. Известно, какого рода эта обязанность; здесь, на суде, он сам и две девушки из дома терпимости объяснили, в чем состоит одна из главных функций этой обязанности. Ею-то, между прочим, Егор занимается с 16 лет. У него происходит перед гла-

зами постоянный, систематический разврат. Он видит постоянное беззастенчивое проявление грубой чувственности. Средства к жизни добываются не тяжелым и честным трудом, а тем, что он угождает посетителям, которые, довольные проведенным временем с приведенною женщиною, быть может, иногда и не считая хорошенько, дают ему деньги на водку. Вот такова его должность с точки зрения труда! Посмотрим на нее с точки зрения долга и совести. Может ли она развить в человеке самообладание, создать преграды, внутренние и нравственные, порывам страсти? Нет, его постоянно окружают картины самого беззастенчивого проявления половой страсти, а влияние жизни без серьезного труда, среди далеко не нравственной обстановки для человека, не укрепившегося в другой, лучшей сфере, конечно, не явится особо задерживающим в ту минуту, когда им овладевает чувственное желание обладания... Взглянем на личный характер подсудимого, как он нам был описан. Это характер твердый, решительный, смелый. С товарищами живет Егор не в ладу, нет дня, чтобы не ссорился, человек «озорной», беспокойный, никому спускать не любит. Студента, который, подойдя к бане, стал нарушать чистоту, он поколотил больно — и поколотил притом не своего брата мужика, а студента, «барина», — стало быть, человек, не очень останавливающийся в своих порывах. В домашнем быту это человек не особенно нежный, не позволяющий матери плакать, когда его ведут под арест, обращавшийся со своею любовницею «как палач». Ряд показаний рисует, как он обращается вообще с теми, кто ему подчинен по праву или обычаю. «Идешь ли?» — прикрикивает он на жену, зовя ее с собою; «Гей, выходи», — стучит в окно, «выходи» — властно кричит он Аграфене. Это человек, привыкший властвовать и повелевать теми, кто ему покоряется, чуждающийся товарищей, самолюбивый, непьющий, точный и аккуратный. Итак, это характер сосредоточенный, сильный и твердый, но развившийся в дурной обстановке, которая ему никаких сдерживающих начал дать не могла.

Посмотрим теперь на его жену. О ней также характеристичные показания: эта женщина невысокого роста, толстая, белокурая, флегматическая, молчаливая и терпеливая. «Всякие тиранства от моей жены, капризной женщины, переносила, никогда слова не сказала», — говорит о ней свидетель Одинцов. «Слова от нее трудно добиться», — прибавил он. Итак, это вот какая личность: тихая, покорная, вялая и скучная, главное — скучная. Затем выступает Аграфена Сурина. Вы ее видели и слышали: вы можете относиться к

ней не с симпатией, но вы не откажете ей в одном: она бойка и даже здесь за словом в карман не лезет, не может удерживать улыбки, споря с подсудимым, она, очевидно, очень живого, веселого характера, энергическая, своего не уступит даром, у нее черные глаза, румяные щеки, черные волосы. Это совсем другой тип, другой темперамент.

Вот такие-то три лица сводятся судьбою вместе. Конечно, и природа, и обстановка указывают, что Егор должен скорее сойтись с Аграфеною; сильный всегда влечется к сильному, энергическая натура сторонится от всего вялого и слишком тихого. Егор женится, однако, на Лукерье. Чем она понравилась ему? Вероятно, свежестью, чистотою, невинностью. В этих ее свойствах нельзя сомневаться. Егор сам не отрицает, что она вышла за него, сохранив девическую чистоту. Для него эти ее свойства, эта ее неприкосновенность должны были представлять большой соблазн, сильную приманку, потому что он жил последние годы в такой сфере, где девической чистоты вовсе не полагается; для него обладание молодою, невинною женою должно было быть привлекательным. Оно имело прелесть новизны, оно так резко и так хорошо противоречило общему складу окружающей его жизни. Не забудем, что это не простой крестьянин, грубоватый, но прямодушный, — это крестьянин, который с 16 лет в Петербурге, в номерных банях, который, одним словом, «хлебнул» Петербурга. И вот он вступает в брак с Лукерьею, которая, вероятно, иначе ему не могла принадлежать; но первые порывы страсти прошли, он охлаждается, а затем начинается обычная жизнь, жена его приходит к ночи, тихая, покорная, молчаливая... Разве это ему нужно с его живым характером, с его страстною натурою, испытавшею житье с Аграфеною? И ему, особенно при его обстановке, приходилось видывать виды, и ему, может быть, желательна некоторая завлекательность в жене, молодой задор, юркость, бойкость. Ему, по характеру его, нужна жена живая, веселая, а Лукерья — совершенная противоположность этому. Охлаждение понятно, естественно. А тут Аграфена снует, бегаёт по коридору, поминутно суется на глаза, подсмеивается и не прочь его снова завлечь. Она зовет, манит, туманит, раздражает, и когда он снова ею увлечен, когда она снова позволяет обнять себя, поцеловать, в решительную минуту, когда он хочет обладать ею, она говорит: «Нет, Егор, я вашего закона нарушать не хочу», — т. е. каждую минуту напоминает о сделанной им ошибке, корит его тем, что он женился, не думая, что делает, не рассчитав последствий, сглупив... Он знает при этом, что

она от него ни в чем более не зависит, что она может выйти замуж и пропасть для него навсегда. Понятно, что ему остается или махнуть на нее рукой и вернуться к скучной и молчаливой жене, или отдаться Аграфене. Но как отдаться? Вместе, одновременно с женою? Это невозможно. Во-первых, это в материальном отношении дорого будет стоить, потому что ведь придется и материальным образом иногда выразить любовь к Суриной; во-вторых, жена его стесняет; он человек самолюбивый, гордый, привыкший действовать самостоятельно, свободно, а тут надо ходить тайком по номерам, лгать, скрываться от жены или слушать брань ее с Аграфеною и с собою — и так навеки! Конечно, из этого надо найти исход. И если страсть сильна, а голос совести слаб, то исход может быть самый решительный. И вот является первая мысль о том, что от жены надо избавиться.

Мысль эта является в ту минуту, когда Аграфена вновь стала принадлежать ему, когда он снова вкусил от сладости старой любви и когда Аграфена отдалась ему, сказав, что это, как говорится в таких случаях, «в первый и в последний раз». О появлении этой мысли говорит Аграфена Сурина: «Не сяду под арест без того, чтобы Лукерья не было», — сказал ей Емельянов. Мы бы могли не совсем поверить ей, но слова ее подтверждаются другим беспристрастным и добросовестным свидетелем, сестрою Лукерья, которая говорит, что накануне смерти, через неделю после свидания Егора с Суриною, Лукерья передавала ей слова мужа: «Тебе бы в Ждановку». В каком смысле было это сказано — понятно, так как она отвечала ему: «Как хочешь, Егор, но я сама на себя рук накладывать не стану». Видно, мысль, на которую указывает Аграфена, в течение недели пробежала целый путь и уже облеклась в определенную и ясную форму — «тебе бы в Ждановку». Почему же именно в Ждановку? Вглядитесь в обстановку Егора и отношения его к жене. Надо от нее избавиться. Как, что для этого сделать? Убить... Но как убить? Зарезать ее — будет кровь, нож, явные следы, — ведь они видятся только в бане, куда она приходит почевать. Отравить? Но как достать яду, как скрыть следы преступления, и т. д.? Самое лучшее и, пожалуй, единственное средство — утопить. Но когда? А когда она пойдет провожать его в участок — это время самое удобное, потому что при обнаружении убийства он окажется под арестом и даже как нежный супруг и несчастный вдовец пойдет потом хоронить утопившуюся или утонувшую жену. Такое предположение вполне подкрепляется расска-

зом Суриной. Скажут, что Сурина показывает о самом убийстве темно, туманно, путается, сбивается. Все это так, но у того, кто, даже как посторонний зритель, бывает свидетелем убийства, часто трясутся руки и колотится сердце от зрелища ужасной картины: когда же зритель не совсем посторонний, когда он даже очень близок к убийце, когда убийство происходит в пустынном месте, осенью и сырою ночью, тогда немудрено, что Аграфена не совсем может собрать свои мысли и не вполне разглядела, что именно и как именно делал Егор. Но сущность ее показаний все-таки сводится к одному, т. е. к тому, что она видела Егора топившим жену; в этом она тверда и впечатление передает с силою и настойчивостью. Она говорит, что, испугавшись, бросилась бежать, затем он догнал ее, а жены не было; значит, думала она, он-таки утопил ее; спросила о жене — Егор не отвечал. Показание ее затем вполне подтверждается во всем, что касается ее ухода из дома вечером 14 ноября. Подсудимый говорит, что он не приходил за ней, но Анна Николаева удостоверяет противоположное и говорит, что Аграфена, ушедшая с Егором, вернулась через 20 минут. По показанию Аграфены, она как раз прошла и пробежала такое пространство, для которого нужно было, по расчету, употребить около 20 минут времени.

Нам могут возразить против показаний Суриной, что смерть Лукерьи могла произойти от самоубийства или же сама Сурина могла убить ее. Обратимся к разбору этих, могущих быть, возражений. Прежде всего нам скажут, что борьбы не было, потому что платье утопленницы не разорвано, не запачкано, что сапоги у подсудимого, который должен был войти в воду, не были мокры и т. д. Вглядитесь в эти два пункта возражений, и вы увидите, что они вовсе не так существенны, как кажутся с первого взгляда. Начнем с грязи и борьбы. Вы слышали показание одного свидетеля, что грязь была жидкая, что была слякоть; вы знаете, что место, где совершено убийство, весьма крутое, скат в 9 шагов, под углом 45° . Понятно, что, начав бороться с кем-нибудь на откосе, можно было съехать по грязи в несколько секунд до низу, и если затем человек, которого сталкивают, запачканного грязью, в текущую воду, остается в ней целую ночь, то нет ничего удивительного, что на платье, пропитанном насквозь водою, слякоть расплывается и следов ее не останется: природа сама выстирает платье утопленницы. Скажут, что нет следов борьбы. Я не стану утверждать, чтобы она была, хотя разорванная пола кацавейки наводит, однако, на мысль, что нельзя отрицать ее существования.

Затем скажут: сапоги! Да, сапоги эти, по-видимому, очень опасны для обвинения, но только по-видимому. Припомните часы: когда Егор вышел из дома, это было три четверти десятого, а пришел он в участок десять минут одиннадцатого, т. е. чрез 25 минут по выходе из дома и минут чрез 10 после того, что было им совершено, по словам Суриной. Но в часть, где собственно содержатся арестанты и где его осматривали, он пришел в 11 часов, через час после того дела, в совершении которого он обвиняется. В течение этого времени он много ходил, был в теплой комнате, и затем его уже обыскивают. Когда его обыскивали, вы могли заключить из показаний свидетелей, один из полицейских объяснил, что на него не обратили внимания, потому что он приведен на 7 дней; другой сказал сначала, что всего его обыскивал, а потом объяснил, что сапоги подсудимый снял сам, а он осмотрел только карманы. Очевидно, что в этот промежуток времени он мог успеть обсохнуть, а если и оставалась сырость на платье и сапогах, то она не отличалась от той, которая могла образоваться от слякоти и дождя. Да, наконец, если вы представите себе обстановку убийства так, как описывает Сурина, вы убедитесь, что ему не было надобности входить в воду по колени. Завязывается борьба на откосе, подсудимый пихает жену, они скатываются в минуту по жидкой грязи, затем он схватывает ее за плечи и, нагнув голову, сует в воду. Человек может задохнуться в течение двух-трех минут, особенно если не давать ему ни на секунду вынырнуть, если придержать голову под водой. При такой обстановке, которую описывает Сурина, всякая женщина в положении Лукерьи будет поражена внезапным нападением, в сильных руках разъяренного мужа не соберется с силами, чтобы сопротивляться, особенно если принять в соображение положение убийцы, который держал ее одною рукою за руку, на которой и остались синяки от пальцев, а другою нагибал ей голову к воде. Чем ей сопротивляться, чем ей удержаться от утопления? У нее свободна лишь одна рука, но перед нею вода, за которую ухватиться и опереться нельзя. Платье Егора могло быть при этом сыро, забрызгано водою, запачкано и грязью немного, но при поверхностном осмотре, который ему дали, это могло остаться незамеченным. Насколько это вероятно, вы можете судить по показаниям свидетелей: один говорит, что он засажен в часть в сапогах, другой говорит — босиком; один показывает, что он был в сюртуке, другой — в чуйке и т. д. Наконец, известно, что ему позволили самому явиться под арест, что он был свой человек в участке — станут

ли такого человека обыскивать и осматривать подробно?

Посмотрим, насколько возможно предположение о самоубийстве. Думаю, что нам не станут говорить о самоубийстве с горя, что мужа посадили на 7 дней под арест. Надо быть детски легковерным, чтобы поверить подобному мотиву. Мы знаем, что Лукерья приняла известие об аресте мужа спокойно, хладнокровно, да и приходиться в такое отчаяние, чтобы топить ввиду семидневной разлуки, было бы редким, чтобы не сказать невозможным, примером супружеской привязанности. Итак, была другая причина, но какая же? Быть может, жестокое обращение мужа, но мы, однако, не видим такого обращения: все говорят, что они жили мирно, явных ссор не происходило. Правда, она раз, накануне смерти, жаловалась, что муж стал грубо отвечать, лез с кулаками и даже советовал ей «в Ждановку». Но, живя в России, мы знаем, каково в простом классе жестокое обращение с женою. Оно выражается гораздо грубее и резче, в нем муж, считая себя в своем неотъемлемом праве, старается не только причинить боль, но и на шуметь, сорвать сердце. Здесь такого жестокого обращения не было и быть не могло. Оно, по большей части, есть следствие грубого возмущения какою-нибудь стороною в личности жены, которую нужно, по мнению мужа, исправить, наказуя и истязуя. Здесь было другое чувство, более сильное и всегда более страшное по своим результатам. Это была глубокая, затаенная ненависть. Наконец, мы знаем, что никто так не склонен жаловаться и плакаться на жестокое обращение, как женщина, и Лукерья точно так же не удержалась бы, чтобы не рассказывать хоть близким, хоть сестре, что нет житья с мужем, как рассказывала о нем накануне смерти. Итак, нет повода к самоубийству. Посмотрим на выполнение этого самоубийства. Она никому не намекает даже о своем намерении, напротив, говорит накануне противоположное, а именно: что рук на себя не наложит; затем она берет у сестры — у бедной женщины — кофту: для чего же? — чтобы в ней утопиться; наконец, местом утопления она выбирает Ждановку, где воды всего на аршин. Как же тут утопиться? Ведь надо согнуться, нужно чем-нибудь придержаться за дно, чтобы не всплыть на поверхность... Но чувство самосохранения непременно скажется — молодая жизнь восстала бы против своего преждевременного прекращения, и Лукерья сама выскочила бы из воды. Известно, что во многих случаях самоубийцы потому только гибнут под водою, что или не умеют плавать, или же несвоевременно придет помощь, которую они обыкновенно сами призывают. Всякий,

кто знаком с обстановкою самоубийства, знает, что утопление, а также бросание с высоты, — два преимущественно женских способа самоубийства, — совершаются так, что самоубийца старается ринуться, броситься как бы с тем, чтобы поскорее, сразу, без возможности колебания и возврата, прервать связь с окружающим миром. В воду «бросаются», а не ищут такого места, где бы надо было «входить» в воду, почти как по ступенькам. Топясь в Ждановке, Лукерья должна была войти в воду, нагнуться, даже сесть и не допустить себя встать, пока не отлетит от нее жизнь. Но это положение невыносимое! И зачем оно, когда в десяти шагах течет Нева, которая не часто отдает жизни тех, кто пойдет искать утешения в ее глубоких и холодных струях. Наконец, самое время для самоубийства выбирается такое, когда сама судьба послала ей семидневную отсрочку, когда она может вздохнуть и пожить на свободе без мужа, около сестры. Итак, это не самоубийство.

Но, может быть, это убийство, совершенное Аграфеной Суриной, как намекает на это подсудимый? Я старался доказать, что не Аграфене Суриной, а мужу Лукерьи можно было желать убить ее, и притом, если мы остановимся на показании обвиняемого, то мы должны брать его целиком, особенно в отношении Суриной. Он здесь настойчиво требовал от свидетелей подтверждения того, что Лукерья плакалась от угроз Суриной удавить ее или утюгом хватить. Свидетели этого не подтвердили, но если все-таки верить обвиняемому, то надо признать, что Лукерья окончательно лишилась рассудка, чтобы идти ночью на глухой берег Ждановки с такою женщиною, которая ей враг, которая грозила убить ее! Скажут, что Сурина могла напасть на нее, когда она возвращалась, проводив мужа. Но факты, неумолимые факты докажут нам противное. Егор ушел из бань в три четверти десятого, пришел в участок в десять минут одиннадцатого, следовательно, пробыл в дороге 25 минут. Одновременно с уходом из дому он вызвал Аграфену, как говорит Николаева. Следовательно, Сурина могла напасть на Лукерью только по истечении этих 25 минут. Но та же Николаева говорила, что Аграфена Сурина вернулась домой через двадцать минут после ухода. Наконец, могла ли Сурина один на один сладить с Лукерьею, как мог сладить с нею ее муж и повелитель? Вот тут-то были бы следы той борьбы, которой так тщетно искала защита на платье покойной. Итак, предположение о Суриной как убийце Лукерьи рушится, и мы приходим к тому, что показание Суриной в существе своем верно. Затем остаются неразъясненными два

обстоятельства: во-первых, зачем обвиняемый вызвал Аграфену, когда шел убивать жену, и, во-вторых, зачем он говорил, по показанию Суриной, что «брал девку, а вышла баба», и упрекал в том жену в последние моменты ее жизни? Не лжет ли Сурина? Но, господа присяжные, не одними внешними обстоятельствами, которые режут глаза, определяется характер действий человека; при известных случаях надо посмотреть и на те душевные проявления, которые свойственны большинству людей при известной обстановке. Зачем он бросил тень на честь своей жены в глазах Аграфены? Да потому, что, несмотря на некоторую свою испорченность, он живет в своеобразном мире, где при разных подчас грубых и не вполне нравственных явлениях существует известный, определенный, простой и строгий нравственный кодекс. Влияние кодекса этого выразилось в словах Аграфены: «Я вашего закона нарушать не хочу!» Подсудимый — человек самовлюбленный, гордый и властный; прийти просто просить у Аграфены прощения и молить о старой любви — значило бы прямо сказать, что он жену не любит потому, что женился «сдуру», не спросясь броду; Аграфена стала бы смеяться. Надо было иметь возможность сказать Аграфене, что она может нарушить закон, потому что этого закона нет, потому что жена внесла бесчестье в дом и опозорила закон сама. Не тоскующим и сделавшим ошибку, непоправимую на всю жизнь, должен он был прийти к Аграфене, а человеком оскорбленным, презирающим жену, не способную до свадьбы «себя соблюсти». В таких условиях Аграфена стала бы его, быть может, жалеть, но он не был бы смешон в ее глазах. И притом — это общечеловеческое свойство, печальное, но верное, — когда человек беспричинно ненавидит другого, несправедлив к нему, то он силится найти в нем хоть какую-нибудь, хотя вымышленную, вину, чтоб оправдаться в посторонних глазах, чтобы даже в глазах самого ненавидимого быть как бы в своем праве. Вот почему лгал Егор о жене Аграфене и в решительную минуту при них обоих повторял эту ложь, в виде вопроса жене о том, кому продала она свою честь, хотя теперь и утверждает, что жена была целомудренна.

Зачем он вызвал Аграфену, идя на убийство? Вы ознакомились с Аграфеною Суриною и, вероятно, согласитесь, что эта женщина способна вносить смуту и раздор в душевный мир человека, ею увлеченного. От нее нечего ждать, что она успокоит его, станет говорить как добрая, любящая женщина. Напротив, она скорей всего в ответ на уверения в прочности вновь возникшей привязанности станет драз-

нить, скажет: «Как же, поверь тебе, хотел ведь на мне жениться — два года водил, да и женился на другой». Понятно, что в человеке самолюбивом, молодом, страстном, желающем приобрести Аграфену, должно было явиться желание доказать, что у него твердо намерение обладать ею, что он готов даже уничтожить жену-разлучницу, да не на словах, которым Аграфена не верит и над которыми смеется, но на деле. Притом она уже раз испытала его неверность, она может выйти замуж, не век же находиться под его гнетом; надо ее закрепить надолго, навсегда, поделившись с нею страшною тайною. Тогда всегда будет возможность сказать: «Смотри, Аграфена! Я скажу все, мне будет скверно, да и тебе, чай, не сладко придется. Вместе погибать пойдем, ведь из-за тебя же Лукерья душу загубил...»

Вот для чего надо было вызвать Аграфену, удалив, во что бы то ни стало, плаксивую мать, которая дважды вызывалась идти его провожать. Затем могли быть и практические соображения: зайдя за ней, он мог потом, в случае обнаружения каких-нибудь следов убийства, сказать: я сидел в участке, а в участок шел с Грушей, что же — разве при ней я совершил убийство? Спросите ее! Она будет молчать, конечно, и тем дело кончится. Но в этом расчете он ошибся. Он не сообразил, какое впечатление может произвести на Сурина то, что ей придется видеть, он позабыл, что на молчание такой восприимчивой женщины, как Сурина, положиться нельзя... Вот те соображения, которые я считал нужным вам представить. Мне кажется, что все они сводятся к тому, что обвинение против подсудимого имеет достаточные основания. Поэтому я обвиняю его в том, что, возненавидев свою жену и вступив в связь с другою женщиною, он завел жену ночью на речку Ждановку и там утопил.

Кончая обвинение, я не могу не повторить, что такое дело, как настоящее, для разрешения своего потребует больших усилий ума и совести. Но я уверен, что вы не отступите перед трудностью задачи, как не отступила перед ней обвинительная власть, хотя, быть может, разрешите ее иначе. Я нахожу, что подсудимый Емельянов совершил дело ужасное, нахожу, что, постановив жестокий и несправедливый приговор над своею бедною и ни в чем не повинною женою, он со всею строгостью привел его в исполнение. Если вы, господа присяжные, вынесете из дела такое же убеждение, как и я, если мои доводы подтвердят в вас это убеждение, то я думаю, что не далее, как через несколько часов, подсудимый услышит из ваших уст приговор, конечно, менее строгий, но, без сомнения, более справедливый, чем тот, который он сам произнес над своею женою.

III

ВОСПОМИНАНИЯ О СУДЕБНЫХ ДЕЯТЕЛЯХ



КНЯЗЬ А. И. УРУСОВ И Ф. Н. ПЛЕВАКО

Впервые годы по введении судебной реформы в петербургском и московском судебных округах, блестяще опровергая унылые предсказания, что для нового дела у нас не найдется людей, выдвинулись на первый план четыре выдающихся судебных оратора. Это были Спасович и Арсеньев в Петербурге, Плевако и Урусов в Москве. Несмотря на отсутствие предварительной технической подготовки, они проявили на собственном примере всю даровитость славянской природы и сразу стали в уровень с лучшими представителями западноевропейской адвокатуры. Трое из них уже сошли со сцены, а последний, К. К. Арсеньев, не выступает более в судебных заседаниях, отдавшись всецело общественной деятельности журналиста и публициста. Федор Никифорович Плевако замолк позднее других, но, желая упомянуть его, невольно хочется попутно сопоставить с ним князя Александра Ивановича Урусова.

Они не походили друг на друга ни внешностью, ни душевным складом, ни характерными особенностями и свойствами своих способностей. Крупное лицо Урусова с иронической складкой губ и выражением несколько высокомерной уверенности в себе не приковывало к себе особого внимания. Это было одно из «славных русских лиц», на котором, как и на всей фигуре Урусова, лежал отпечаток унаследованного барства и многолетней культуры. Больше впечатление производил его голос, приятный высокий баритон, которым звучала размеренная, спокойная речь его с тонкими модуляциями. В его движениях и жестах сквозило прежде всего изысканное воспитание европейски-образованного человека. Даже ирония его, иногда жестокая и

беспощадная, всегда облакалась в форму особенной вежливости. В самом разгаре судебных прений казалось, что он снисходит к своему противнику и с некоторой брезгливостью разворачивает и освещает по-своему скорбные или отталкивающие страницы дела.

Иным представлялся Плевако. Скуластое, угловатое лицо калмыцкого типа с широко расставленными глазами с непослушными прядями длинных темных волос могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном выражении, то в доброй, львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз. Его движения были неровны и подчас неловки; неладно сидел на нем адвокатский фрак, а пришепетывающий голос шел, казалось, вразрез с его званием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе. Противоположность барину Урусову, Плевако во всей своей повадке был демократ-разночинец, познавший родную жизнь во всех слоях русского общества, способный, не теряя своего достоинства, подыматься до его верхов и опускаться до его «дна» — и тут и там все понимая и всем понятный, всегда отзывчивый и простой. Он не «удостаивал» дела своим «просвещенным вниманием», подобно Урусову, а вторгался в него, как на арену борьбы, расточая удары направо и налево, волнуясь, увлекаясь и вкладывая в него чаяния своей мятежной души. И если в Урусове чувствовался прежде всего талантливый адвокат, точно определивший и измеривший поле судебной битвы, то в Плевако, сквозь внешнее обличие защитника, выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшего взмах его крыльев со всей присущей им силой.

Различно было и проявление особенностей их ораторского труда. Основным свойством судебных речей Урусова была выдающаяся рассудочность. Отсюда чрезвычайная логичность всех его построений, тщательный анализ данного случая с тонкою проверкою удельного веса каждой улики или доказательства, но вместе с тем отсутствие общих начал и отвлеченных положений. В некоторых случаях он дополнял свою речь каким-нибудь афоризмом или цитатой, как выводом из разбора обстоятельств дела, но почти никогда он не отправлялся от каких-либо теоретических положений нравственной или социальной окраски. Его речь даже в области общих выводов можно было уподобить великолепному ballon

capitif¹, крепко привязанному к фактической почве дела. Но зато на этой почве он был искусный мастер блестящих характеристик действующих лиц и породившей их общественной среды. Достаточно вспомнить чудесную картину гнилой и преступной обстановки, в которой действовали в Петербурге разные темные «проводители дел» в официальных сферах, изображенную им по делу Гулак-Артемовской, или характеристику дружелюбно-взаимного неисполнения долга при ревизии частного акционерного общества в ущерб доверчивым акционерам, данную им в деле Общества взаимного поземельного кредита. Наряду с такими характеристиками блистал его живой и подчас ядовитый юмор, благодаря которому пред слушателями, как на экране волшебного фонаря, трагические и мрачные образы сменялись картинками, заставлявшими невольно улыбнуться над человеческою глупостью и непоследовательностью. Остроумные выходки Урусова иногда кололи очень больно, хотя он всегда знал в этом отношении чувство меры. Логика доказательств, их генетическая связь увлекали его и оживляли его речь. Он был поэтому иногда очень горяч в своих возражениях, хотя всегда умел соблюсти вкус и порядочность в приемах. Я помню, как в роли обвинителя, возражая защитнику, усиленно напиравшему на безвыходность денежного положения подсудимого, внушавшую ему мысль резать своего спутника, Урусов вдруг, в разгаре речи, остановился, оборвав свои соображения, замолк в каком-то колебании — и перешел к другой стороне дела. Во время перерыва заседания на мой вопрос о том, что значила эта внезапная пауза, не почувствовал ли он себя дурно, — он отвечал: «Нет! не то, но мне вдруг чрезвычайно захотелось сказать, что я совершенно согласен с защитником в том, что подсудимому деньги были нужны до разреза, — и я не сразу справился с собою, чтобы не допустить себя до этой неуместной игры слов...»

Но если речь Урусова пленяла своей выработанной стройностью, то зато ярко художественных образов в ней было мало: он слишком тщательно анатомировал действующих лиц и самое событие, подавшее повод к процессу, и заботился о том, чтобы точно следовать начертанному им заранее фарватеру. Из этого вытекала некоторая схематичность, проглядывавшая почти во всех его речах и почти не оставлявшая места для ярких картин, остающихся в памяти еще долго после того, как красивая логическая постройка выводов и заключений уже позабыта.

¹ привязной воздушный шар (фр.)

И совсем другим дышала речь Плевако. В ней, как и в речах Спасовича, всегда над житейской обстановкой дела, с его уликами и доказательствами, возвышались, как маяк, общие начала, то освещая путь, то помогая его отыскивать. Стремление указать внутренний смысл того или иного явления или житейского положения заставляло Плевако брать краски из существующих поэтических образов или картин или рисовать их самому с тонким художественным чутьем и, одушевляясь ими, доходить до своеобразного лиризма, производившего не только сильное, но иногда неотразимое впечатление. В его речах не было места юмору или иронии, но часто, в особенности, где дело шло об общественном явлении, слышался с трудом сдерживаемый гнев или страстный призыв к негодованию. Вот одно из таких мест в речи по делу игуменьи Митрофании: «Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымает настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма — биржа, вместо молящегося люда — аферисты и скупщики поддельных документов, вместо молитвы — упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра — приготовление к лживым показаниям — вот что скрывалось за стенами. Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру было не видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители!» Некоторые из его речей блистают не фейерверком остроумия, а трещат и пылают, как разгоревшийся костер. «Подсудимая скажет вам, — кончается та же речь: — да, я о многом не знала, что оно противозаконно. Я женщина. Верим, что многое, что написано в книгах закона, вам неизвестно. Но ведь в этом же законе есть и такие правила, которые давным-давно приняты человечеством как основы нравственного и правового порядка. С вершины дымящегося Синая сказано человечеству: «Не укради...» Вы не могли не знать этого, а что вы творите? Вы обираете до нищеты прибегнувших к вашей помощи. С вершины Синая сказано: «Не лжесвидетельствуй», — а вы посылаете вверивших вам свое спасение инокинь говорить неправду и губите их совесть и доброе имя. Оттуда же запрещено всуе призывать имя Господне, а вы, призывая Его благословение на ваши подлоги и обманы, дерзаете хотеть и обмануть правосудие и свалить с себя вину на неповинных. Нет, этого вам не удастся: наше правосудие молодо и сильно, и чутка судейская совесть!»

Из этих свойств двух выдающихся московских ораторов вытекало и отношение их к изучению дела. Урусов изучал дело во всех подробностях, систематически разлагая его обстоятельства на отдельные группы по их значению и важности. Он любил составлять для себя особые таблицы, на которых в концентрических кругах бывали изображены улики и доказательства. Тому, кто видел такие таблицы пред заседанием, было ясно, при слушании речи Урусова, как он переходит в своем анализе и опровержениях постепенно от периферии к центру обвинения, как он накладывает на свое полотно сначала фон, потом легкие контуры и затем постепенно усиливает краски. Наоборот, напрасно было бы искать такой систематичности в речах Плевако. В построении их никогда не чувствовалось предварительной подготовки и соразмерности частей. Видно было, что живой материал дела, развертывавшийся перед ним в судебном заседании, влиял на его впечатлительность и заставлял лепить речь дрожащими от волнения руками скульптора, которому хочется сразу передать свою мысль, пренебрегая отделкою частей, и по несколько раз возвращаться к тому, что ему кажется самым важным в его произведении. Не раз приходилось замечать, что и в ознакомление с делами он вносил ту же неравномерность и, отдавшись овладевшей им идее защиты, недостаточно внимательно изучал, а иногда и вовсе не изучал подробностей. Его речи по большей части носили на себе след неподдельного вдохновения. Оно овладевало им, вероятно, иногда совершенно неожиданно и для него самого. В эти минуты он был похож на тех русских сектантов мистических вероучений, которые во время своих радений вдруг приходят в экстаз и объясняют это тем, что на них «дух накатил». Так «накатывало» и на Плевако. Мне вспоминается защита им в сенате бывшего председателя одного из крупных судов, обвиняемого в преступном попустительстве растраты его непосредственным подчиненным денег, отпущенных на ремонт здания. Несчастный подсудимый, попавший с блестящего судебного пути на скамью подсудимых, убитый и опозоренный, постаревший за два года на двадцать лет, сидел перед сенаторами и сословными представителями, низко опустив свое исхудалое, пожелтевшее лицо. Во время перекрестного допроса обнаружилось, что защитник почти совсем не изучил дела, а, ограничившись одним обвинительным актом, путал свидетелей и сбивался сам. Но вот начались судебные прения. Обвинитель — товарищ обер-прокурора — сказал сильную, обстоятельную речь и закончил ее приглашением судей вспомнить, как вы-

соко стоял подсудимый на ступенях общественной лестницы и как низко он пал, и, применяя к нему заслуженную кару, не забыть, что «кому много дано, с того много и спросится». Фактическая сторона речи Плевако была, как и следовало ожидать по перекрестному допросу, довольно слаба, но зато картина родной, благодушной распущенности, благодаря которой легкомысленная доверчивость так часто переходит в преступное пособничество, была превосходна. Заклучая свою защиту, Плевако «нашел себя» и, вспомнив слова обвинителя, сказал голосом, идущим из души и в душу: «Вам говорят, что он высоко стоял и низко упал и во имя этого требуют строгой кары, потому что с него должно «спроситься». Но, господа, вот он пред вами, он, стоявший так высоко! Посмотрите на него, подумайте о его разбившейся жизни — разве с него уже не достаточно спрошено. Припомните, что ему пришлось перестрадать в неизбежном ожидании этой скамьи и во время пребывания на ней. Высоко стоял... низко упал... ведь это только начало и конец, а что было пережито между ними! Господа, будьте милосердны и справедливы и, вспоминая о высоте положения и о том, как низко он упал, подумайте о дуге падения!» В известном стихотворении Пушкина говорится о поэте: «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется — душа поэта вострепенеет, как пробудившийся орел». Но «божественный глагол» говорит сердцу чуткого человека не одними словами красоты и любви: он будит в нем и чувство прощения и милости. Такой голос, очевидно, прозвучал для Плевако и заставил его проснуться и вострепенеуться. Надо было слышать его в эти минуты, видеть его жест, описавший дугу, чтобы, по выражению его преобразившегося от внутреннего восторга лица, понять, что на него «накатило»...

Различно было и отношение каждого из них к великим благам судебной реформы. Для Урусова — западноевропейца в душе — Судебные уставы были сколком и проявлением одной из сторон дорогой его мечтам и еще не испытанной нами западной политической жизни, а суд присяжных являлся учреждением, пред которым, за неимением лучшего, можно было проявить свой ораторский талант и блеск своего общего образования. Для Плевако — Судебные уставы были священными вратами, чрез которые в общественную жизнь входила пробужденная русская мысль и народное правосознание. Для него суд присяжных являлся не только чем-то, напоминавшем старину, но и исходом для народного духа, призванного проявить себя в вопросах совести и в защите народного мировоззрения, на коренные начала обще-

ственного уклада. Поэтому он гораздо больше, чем Урусов, изучал Судебные уставы, вникая в нравственное и историческое содержание их отдельных частей и рассыпая в своих судебных речах и кассационных аргументах глубокие по мысли, прекрасные по форме определения значения и внутреннего смысла наших процессуальных институтов. Его взгляды и теории не всегда можно было разделить: проза буквы закона иногда лишала возможности согласиться с увлекательностью его положений и с его восторженными надстройками над Судебными уставами. Не думаю, однако, чтобы ему можно было когда-либо сделать упрек, обращенный мною однажды в шуточной форме к Урусову и который он впоследствии добродушно вспоминал в своих письмах ко мне. «Поменьше бы таблиц, побольше бы уставов», — сказал я ему, председательствуя в одном большом деле и рассматривая в перерыве заседания его излюбленные таблицы концентрических кругов. Теоретически ставя суд присяжных очень высоко, Урусов не верил ни в их непогрешимость, ни в свойственный им здравый смысл... Он допускал это лишь постольку, поскольку был согласен с приговором; в противном случае в речах и кассационных жалобах своих он не особенно скупился на ироническую критику не всегда удачных по форме ответов присяжных на поставленные им вопросы. Да и в речах его довольно часто и не без пользы для дела звучало поучение присяжных, конечно, более талантливое, чем то, которое давалось обыкновенно в бесцветных «руководящих напутствиях» председателей. В его речах к присяжным всегда сквозило широкое образование человека, знакомого в главных чертах с правовыми вопросами, который популяризировал свой взгляд на дело в целях влияния на собравшихся пред ним случайных людей, к низшей степени разнообразного развития которых он искусно принаровлял изложение хода своего мышления.

Иным было отношение к присяжным Плевако — отношение, если можно так выразиться, проникновенное и подчас умиленное. Для него они были указанные судьбою носители народной мудрости и правды. Он был далек от поучения их и руководства ими. Не отделяя себя от них, он входил своим могучим словом в их среду и сливался с ними в одном, им возбужденном, чувстве, а иногда и в вековом мирозерцании.

Не похоже было у них и начало их судебной карьеры. Плевако сразу пошел на адвокатскую деятельность и приобретал известность понемногу. Урусов вначале искал службы, готов был стать судебным следователем, и лишь счаст-

ливая судьба, в лице прокурора судебной палаты, убоявшегося его молодости и неопытности, не дала заглухнуть его силам в провинциальной глуши и толкнула его в адвокатуру. Но зато здесь его с первых же шагов ждал огромный, неслыханный дотоле, успех. Войдя в залу судебного заседания Московского окружного суда по делу Мавры Волоховой, обвиняемой в убийстве мужа, как скромный кандидат на судебные должности, назначенный защищать, он вышел из нее сопровождаемый слезами и восторгом слушателей и сразу повитый славой, которая затем, в течение многих лет, ему ни разу не изменила. Я был в заседании по этому делу и видел, как лямка кандидатской службы, которую был обречен тянуть Урусов, сразу преобразилась в победный лавровый венок. Несмотря на сильное обвинение, на искусно сопоставленные улики и на трудность иного объяснения убийства, чем то, которое давалось в обвинительном акте, Урусов восторжествовал на всех пунктах. Нет сомнения, что ему приходилось во время его долгой адвокатской карьеры говорить речи, не менее удачные и, быть может, гораздо более обработанные. Но, конечно, никогда не производил он своим чарующим голосом, изящной простотой речи, искренностью тона и силою критического анализа улик более сильного впечатления. Им овладевало вдохновение судебной борьбы, развитое и обостренное глубоким убеждением в правоте дела. Это слышалось, это чувствовалось. Умное, но не красавое лицо его, с широким носом, засветилось внутреннею красотою, а сознание своей силы и влияния на слушателей окрылило Урусова, и речь его летела, ширясь, развиваясь и блистая яркими вспышками находчивости и остроумия. Когда он кончил и суд объявил перерыв, публика довольно долго сидела тихо и молчаливо, как будто зачарованная. Прокурор не возражал, председательское слово было кратко, и присяжные недолго совещались, чтобы произнести оправдательный приговор. Когда подсудимая была объявлена свободной, публика дала волю своему восторгу. Волохову окружили, давали ей деньги, поздравляли. На Урусова сыпались ласковые слова, приветы, к нему протягивались руки, искавшие его рукопожатия, и я сам видел простых людей, целовавших его руку. Вчерашний скромный аспирант на должность следователя где-нибудь с медвежьим уголком с ее разъездами, ночевками в волостных правлениях или у станового, с ее невидимой кропотливой работой и однообразием, со вскрытиями и осмотрами, не глядя ни на какую погоду, — сразу занял выдающееся — и надолго первое в Москве — место в передовых

рядах русской адвокатуры, которая праздновала тогда свой медовый месяц. Речь Урусова по делу Волоховой уподобилась звукам индийского гонга, которые растут и усиливаются по мере того, как расширяется объем их волнообразного движения. Впечатление от нее, вызываемые ею мысли о невинности подсудимой и страстное желание ее оправдания нарастали все более и более во время судебной процедуры, следовавшей за речью, и накоплялись, как электрический заряд в огромной лейденской банке. Слова: «Нет, не виновата!» — разрядили эту банку в одном общем взрыве восторга и умиления. На другой день весь город говорил об успехе Урусова, дела, одно другого интереснее, посыпались как из рога изобилия — и он стал часто выезжать в провинцию для уголовных защит. Из московских его дел в первые месяцы его деятельности многим осталось памятным дело о сопротивлении и противодействии властям, по которому обвинялся кондитер Морозкин, не хотевший допустить полицейских чиновников к осмотру торгового помещения, который он считал несогласным с законом. Дело, в сущности, сводилось к оскорблению на словах, но ему почему-то была придана суровая окраска и значение «признака времени», будто бы состоявшего в колебании авторитета власти. Урусов необыкновенно искусно воспользовался присущим ему юмором, — под мягким по форме прикосновением которого иногда чувствовалось острое жало, — чтобы обратить в шутку грозные очертания обвинения против Морозкина. Сказав в своем приступе к своей речи: «Господа присяжные! Такого-то числа в Москве случилось необыкновенное происшествие: кондитер Морозкин арестовал почти всю московскую полицию!» и т. д., он продолжал все в том же строго выдержанном тоне, и «l'accusation croûla malgré l'appoint du président»¹, как было сказано в французских судебных отчетах. «L'appoint du président» встречался в это время, впрочем, очень редко. В большинстве случаев судьи относились с особым вниманием к речам Урусова и признавали, что талант имеет право иногда расправить свои крылья за пределы условных и формальных рамок.

Люди разного склада, Урусов и Плевако встретились через несколько лет в Рязани на громком процессе, где перед присяжными предстали принадлежавшие к высшему местному обществу полковник и его возлюбленная, употребившие средство, чтобы погасить молодую жизнь, ими данную и обличавшую их близость. Это был бой гигантов слова:

¹ обвинение рухнуло, несмотря на поддержку председателя суда (фр.).

защита одной противоречила защите другого, так как обвиняемые складывали не только тяжесть своего поступка, но и побуждения к нему друг на друга. Трудно отдать преимущество в этом состязании кому-либо из двух бойцов. Все, что могли дать красота, блеск и архитектурная гармония изложения и даже мало свойственный Урусову пафос для того, чтобы «склонить непокорную выю обвиняемого под железное ярмо уголовного закона», — все это было дано Урусовым. Все, что можно было взять из книги жизненной правды, из глубокой вдумчивости в сложную игру любви и ненависти, страха и мщенья для того, чтобы повернуть с удивительным искусством и заразительно искренностью возмущенное чувство в другую сторону, было взято Плевако. Знакомство с этим процессом следовало бы рекомендовать всем начинающим судебным ораторам: из речей обоих противников они могут увидеть, как в стремлении к тому, что кажется правдой, глубочайшая мысль должна сливаться с простейшим словом, как на суде надо говорить все, что нужно, и только то, что нужно, и научиться, что лучше и чего не сказать, чем сказать ничего.

Две точки зрения существуют на уголовную защиту. Она есть общественное служение, — говорят одни. Уголовный защитник должен быть, по словам Квинтилиана, «муж добрый, опытный в слове», вооруженный знанием и глубокой честностью, бескорыстный и независимый в убеждениях, стойкий и солидарный с товарищами; он правозаступник, но не слуга своего клиента и не пособник ему в стремлении уйти от заслуженной кары правосудия; он друг, он советчик человека, который, по его мнению, не виновен во все или вовсе не так и не в том виновен, как и в чем его обвиняют. Не будучи слугою клиента, он, однако, в своем общественном служении — слуга государства, и эта роль почтенна, так как нет такого преступника и падшего человека, в котором безвозвратно был бы затемнен человеческий образ и по отношению к которому было бы совершенно бесполезно выслушать слово снисхождения. Уголовный защитник, — говорят другие, — есть производительность труда, представляющего известную ценность, оплачиваемого в зависимости от тяжести работы и способности работника. Как для врача в его практической деятельности не может быть дурных и хороших людей, заслуженных и незаслуженных болезней, а есть больные, страдания которых надо облегчить, так и для защитника нет чистых и грязных, правых и неправых дел, а есть лишь даваемый обвинением повод противопоставить доводам прокурора всю силу и тон-

кость своей диалектики, служа ближайшим интересам клиента и не заглядывая на далекий горизонт общественного блага.

Каждая из этих точек зрения имеет свои достоинства и спорные стороны, и преобладание в деятельности защитника той или другой оправдывается не только темпераментом и личными вкусами, но в значительной степени задачами судебного состязания. Элемент общественного служения преобладал в деятельности Плевако. Он отдавал нередко оружие своего сильного слова на защиту «униженных и оскорбленных», на предстательство за бедных, слабых и темных людей, нарушивших закон по заблуждению или потому, что с ними поступили хотя и легально, но «не по Божью». Достаточно вспомнить дело о расхищении капитала киевских старообрядцев или знаменитое дело люторических крестьян, выступления по которому Плевако было, по условиям и настроениям того времени, своего рода гражданским подвигом. Он являлся и в роли обвинителя, когда за спиной отдельных личностей виднелся такой порядок вещей, которому в интересах общественного добра надо было наносить, выражаясь словами Петра Великого, «не милостивые побои». Таковы две его речи по делу игуменьи Митрофании, и в особенности вторая, напоминающая широкую и быструю реку, уносящую возражения противника, как брошенные в нее ветви. Урусов был скорее врач у постели больного, тот врач, который иногда, приложив все свое искусство к лечению и достигнув блестящего исцеления, едва ли особенно желает продолжения отношений личного знакомства с вырванным им из когтей болезни. Но ни один из них не подавал повода к справедливой тревоге, которая возникает в тех, к счастью, довольно редких случаях, когда защита преступника обращается в оправдание преступления, причем потерпевшего и виновного, искусно извращая перспективу дела, заставляют поменяться ролями. Оба оратора так же совершенно свободны были в своей деятельности от упрека в том, что они приносят действительно интересы обвиняемого в жертву эгоистическому желанию возбудить шумное внимание к своему имени и человека, а иногда и самый суд присяжных обращают в средство для своих личных рекламных целей. Не они искали громких и сенсационных дел: их искали эти дела...

Свойства дарования и приемы работы Урусова были слишком индивидуальны, чтобы создать ему учеников. Могли быть только подражатели, да и то, если бы судьба

их одарила и физически так же, как их образец. Но подражать Плевако было, по моему мнению, невозможно, как нельзя подражать вдохновению. Такое подражание всегда звучало бы фальшиво и резало бы ухо, не достигая сердца. Но учеников он создал в смысле умения подниматься от частного к общему и идти не только по прямой линии логических размышлений, но и к окружности по всем радиусам бытового и общественного явления во всей его цельности.

Так шли они — Урусов и Плевако, — разделяемые взглядами и симпатиями, сходясь и расходясь, в течение долгих лет с достоинством неся службу слову, которая привлекла их к себе на яркой заре Судебных уставов и которой они остались верны, когда для этих уставов наступили сумерки, предвещавшие недалекую тьму. Урусов не дожил до начала перерождения законодательного строя России и был лишен возможности воскликнуть вместе с Пушкиным, которого он — тонкий критик — сознательно любил и изучал: «Да здравствует разум, да скроется тьма!» Да и вообще, несмотря на блестящий успех первых шагов его деятельности, судьба не была милостива к Урусову, и он много выстрадал в жизни. Вынужденное бездействие, вследствие административной ссылки в Венден в самом разгаре блестящей деятельности, не могло не отразиться на его душевных силах. Медленное завоевание прежнего положения, причем он должен был пройти искусы пребывания в прокурорском надзоре и сопряженную с этим иерархическую подчиненность, стоило ему много. Когда он снова сделался адвокатом, у него уже не было бодрых молодых сил и подкупающей молодой отваги. Житейский опыт принес много разочарований и ничего не дал для дальнейшего развития таланта. Наставшая затем жизнь в Москве в среде друзей и любимых занятий литературой, искусством, коллекционерством, устройством своего home¹ могла бы дать позабыть грустные года насильственного молчания и искания исхода в мелкой журнальной работе. Но медленно, беспощадно и неотвратимо подкрался недуг и подточил его силы. Отняв устойчивость в ногах и слух, он сжал его в объятиях жестоких мучений, заставлявших этого человека, так любившего жизнь, жадно ждать смерти как «небытия». Нет сомнения, что, доживи он до наших представительных учреждений, он занял бы в них видное место в ряду прогрессивных деятелей. В его речах блистали бы уместные и умные цитаты, хорошо продуманные исторические примеры,

¹ домашний очаг (англ.).

тонкие и остроумные сравнения, стрелы его иронии больно задевали бы тех, на кого они направлялись, и веселили бы единомышленников, а по национальным и религиозным вопросам он, конечно, подымался бы на высоту общечеловеческих начал и гуманности. В его словах звучали бы подчас протест и сарказм Вольтера. Но едва ли ему довелось бы проявить большое влияние: политическое красноречие совсем не то, что красноречие судебное. В основании последнего лежит необходимость доказывать и убеждать, то есть, иными словами, необходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению. Но политический оратор немногого достигнет, убеждая и доказывая. У него та же задача, хотя и в других формах, как и у служителя искусства: он должен, по выражению Жорж Занд, «montrer et étonnoir»¹, то есть освещать известное явление всею силою своего слова и, умея уловить создающееся у большинства отношение к этому явлению, придать ему действующее на чувство выражение. Ему следует связать воедино чувства, возбуждаемые ярким образом, и дать им воплощение в легком по усвоению, полновесном по содержанию слове.

Для этой роли был создан Плевако. Уже больной и слабый, он успел произвести впечатление своею речью и уловить единодушное настроение нижней палаты своим предложением «выйти из рубашки ребенка и облечься в тогу мужа». Политическая речь должна представлять не мозаику, не поражающую тщательным изображением картину, не изящную акварель, а резкие общие контуры и рембрандтовскую «светотень». Легкий, но неотлучный скептицизм мешал бы в этом Урусову, и, наоборот, мне думается, что когда нужно было бы передать слушателям свою горячую веру и зажечь пламя в их душах, — одним словом, когда нужно было бы явиться не вождем единомышленных взглядов, но вождем сердец, Плевако был бы трудно заменим. Судьба замкнула его уста при первом шаге в обетованную землю, открывшуюся перед ним. Но уже и в том, что она открылась его взору, для человека его поколения было счастье. Русский человек до мозга костей, неуравновешенный и размашистый по натуре, мало читавший, но много думавший, глубоко религиозный, знаток и любитель Писания, он был типическим выразителем своей родины и москвичом «с ног до головы». И в то время, когда в мечтах об отдыхе у европейца Урусова, толкователя и поклонника Флобера, мастерски говорившего по-французски и с

¹ показывать и волновать (фр.).

успехом выступавшего пред Парижским судом в шапке и тоге адвоката, вероятно, носились весело озаренные солнцем Елисейские поля Парижа, оживленные движением пестрой, изящной толпы, мысли Плевако неслись на Воробьевы горы, витали вокруг старых стен и башен Девичьего монастыря и упивались воспоминанием о вечернем звоне «сорока сороков».

Их обоих уже нет. Они ушли, оставив по себе яркую и живую память истории русской адвокатуры и в тех, кто мог лично в них взглядеться и к ним прислушаться. Мы живем в серое время; серые, лишённые оригинальности люди действуют вокруг нас и своею массой затирают немногих выдающихся людей. Но эта полоса должна пройти! Урусов и Плевако были для своих современников людьми, показавшими, какие способности и силы может заключать в себе природа русского человека, когда для них открыт подходящий путь. Провидение ведет нашу родину дорогою тяжелых испытаний, но пути к проявлению сил и способностей понемногу все-таки расширяются. Поэтому должны, не могут не явиться новые их носители! Они были, и хочется думать, что тургеневский Увар Иванович, поиграв перстами и задумчиво поглядев вдаль, скажет еще раз: «будут!»



IV СТАТЬИ



К ИСТОРИИ НАШЕЙ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ

Последняя краткая сессия Государственной думы открылась речами, в одной из которых очень удачно было указано, что к воспрещению казенной продажи водки и спирта, вызванному войной, могут быть применены слова Пушкина о «рабстве, павшем по манию Царя». Действительно, снятие ига этого второго рабства в течение полугода принесло уже яркие и осязательные плоды. Порядок и спокойствие в деревне, очевидное и быстрое уменьшение преступности во всей стране, ослабление хулиганства и поразительный по своим сравнительно с прошлыми годами размерам приток взносов в сберегательные кассы — служат блестящими доказательствами благодетельности этой меры. А между тем, сколько лет по отношению к вопросу о борьбе с народным пьянством наше законодательство и, в значительной мере, общество и печать ходили «вокруг да около», намечая трудно осуществимые способы борьбы, в действительность которых они сами не верили, стыдливо и лицемерно умалчивая о главном источнике зла. Голоса немногих общественных учреждений и отдельных лиц, радевших о нравственном и физическом здоровье народа, терялись в согласном хоре официальных заявлений, из которых в одном, авторитетно сделанном в Государственной думе, даже говорилось, что водка составляет предмет первой необходимости для народа, в забвении того, что она грозит обратиться в предмет его конечной гибели. К этому хору присоединились голоса своекорыстных добровольцев из частных лиц, певших о том, что «все обстоит благополучно», и повторявших избитые ссылки на то, что «Руси» нет другого веселия, как «пити», и кощунственные указания на брак в Кане Галилейской и даже на Тайную Вечерю.

Надо заметить, что долгое время наше общество относилось к питейному вопросу весьма равнодушно. Оно оставалось, за малыми исключениями, посторонним зрителем смены картин и настроений в этом вопросе. Пред глазами прошел откупщик, провинциальный питейный меценат, финансовый друг отечества, безнаказанный фальсификатор народной отравы и легализированный насильник во имя своих прав на это, прошел корректный и безупречный чиновник акцизного ведомства. На его глазах «дешевка» заменила приправленную дурманом «сивуху», а затем, когда продавцом водки сделалась казна, открылись «винные лавки» с их атрибутами — чистотой, порядком и внутренним благочиением.

Пьянствующий русский человек, по большей части кажущийся безобидным и сознающий, в трезвом состоянии, что «ослабевать» грешно и стыдно, долгое время был созерцаем преимущественно со стороны анекдотической, без углубления в причины и последствия его печальной привычки.

Но в последние годы, когда пробудилось общественное сознание и стало с чувством тревожной критики относиться ко многим условиям и явлениям вседневной русской жизни, благодушный взгляд на пьяного сменился животрепещущим вопросом о пьянстве и о его победоносном, завоевательном шествии среди русской действительности.

Народное пьянство в России являлось истинным общественным бедствием, которое наравне с широко и глубоко внедряющимся сифилисом — *par nobile fratrum*¹ — составляло все более и более нарастающую опасность вырождения народа в духовном и физическом отношении, могущего оказать роковое, гибельное влияние на историю родины и на стойкость русского племени в охране своей самостоятельности при столкновении с другими племенами. Указание на сравнительно малое душевое потребление спирта в России не представляло ничего успокоительного, ибо важно не количество выпиваемого в год спирта, а способ его употребления, нравственно и физически разрушительный, легко и незаметно приводящий к пагубной привычке, для которой создавалась вполне благоприятная почва и против которой не принималось решительных мер борьбы. Среднее душевое потребление водки в 40% в России составляло 0,61 ведра в год на человека, и в ряду четырнадцати государств, где наиболее распространено употребление водки, Россия стояла на девятом месте, причем на первом

¹ благородная пара братьев (*лат.*).

месте стоит Дания, где приходится 1,72 ведра на человека. Но и Франция тоже стояла лишь на шестом месте (0,82 ведра на человека), а между тем, в ней развитие спиртного пьянства приводило к ужасающим выводам. Достаточно указать, что в ней расходовалось в 1873 году 7 тыс. гектолитров абсента, а в 1907 году уже 340 тыс. гектолитров и что в ее *maisons de santé*¹ в 1903 году на 10 тыс. сумасшедших приходилось 4 тыс. алкоголиков, причем с 1897 года число сумасшедших алкоголиков увеличилось на 57%. Эти цифры имеют грозное предостерегающее значение и для нас. Положение вещей, при котором с 1896 по 1906 год население Русской империи увеличилось на 20%, а питейный доход на 133%, причем в последнее время народ пропивал ежедневно почти 2 млн. руб., не могло быть признано нормальным. Необходимо принимать во внимание, что уже в девяностых годах прошлого столетия в Европейской России ежегодно — в среднем — сгорало и умирало от ожогов около 1000 человек, лишало себя жизни и отравлялось по неосторожности свыше 3200 человек, тонуло со смертельным исходом 7300 и опивалось смертельно свыше 5000 человек, причем, в числе погибших по первым трем категориям было, без сомнения, значительное число лиц, находившихся в состоянии опьянения или доведенных до самоубийства злоупотреблением спиртными напитками. В это же десятилетие среднее число преступлений и проступков, совершенных в нетрезвом виде, составляло 42% общего числа, 93% воинских проступков было результатом чрезмерной «выпивки», и, наконец, вскрытие мертвых тел лиц, скоропостижно умерших, давало 57% умерших от пьянства и его последствий. В одном апреле месяце 1908 года в Петрограде 55 мужчин прибегло к самоубийству, и из них 18 — под влиянием пьянства. Нужно ли поэтому говорить о разрушительном влиянии пьянства на семью, на личную и общественную нравственность? Нужно ли указывать на постоянное возрастание числа погибающих людей и утрачиваемых ими трудовых дней и средств, необходимых для удовлетворения насущных потребностей человеческой жизни, а не животного прозябания?! С причиною всего этого следовало бороться и не оправдывать слов митрополита Филарета: «Глубоко несчастно то время, когда о злоупотреблениях говорят все, а победить их никто не хочет».

Средствами для этой победы в законе и отдельных про-

¹ психиатрических больницах (фр.).

ектах предлагались: попечительства о народной трезвости; уменьшение процентного содержания алкоголя и увеличение размеров посуды; учреждение опеки и ограничение правоспособности для привычных пьяниц и затем ряд «маниловских» пожеланий, осуществление которых едва виднеется в тумане отдаленного будущего, окрашенного розовым цветом мечтаний, беспощадно разрушаемых грубою прозою жизни. Все это было предложением паллиативов, заставлявшее лишь на время зажимать глаза на корень зла. «Зеленому змию» всемерно избегалось наносить удар в сердце или даже напугать его, а все стремление было обращено на то, чтобы создать ему на его победном шествии некоторые — весьма им легко обходимые — затруднения и призрачные препятствия. Правда, против этого способа борьбы раздалась в Государственной думе по смелому и настойчивому призыву М. Д. Челышева и в Государственном совете по благородному почину усопшего В. П. Череванского решительные голоса. Первый из них в ряде сессий неумолчно и с страстной настойчивостью, заслуживающей величайшего уважения, вел борьбу против казенной продажи водки; второй и некоторые из его союзников доказывали несостоятельность и обманчивую практичность тех мер, которыми предполагалось ослабить народное пьянство. Если осуществится полное и действительное отрезвление народа, имена этих двух людей не могут, не должны быть забыты. Попечительства о народной трезвости, несмотря на некоторые несомненные достоинства этих учреждений, независимо притом от главной их цели по отношению к народному пьянству, осуществляли собою народную поговорку: «Под рублевый грех грошовой свечой подкатываться». И действительно, какое значение могли иметь для борьбы с пьянством ассигнования 4 или даже 5 млн. при доходе от казенной продажи свыше 700 млн.?! Эта милостыня, притом постепенно сокращаемая в сознании ее бесплодности, получала притом назначение, обратно пропорциональное силе проявлений народного пьянства. Так, например, на лечебницы для больных алкоголиков отделилось в 1908 году 28 тыс. руб. в год на всю Россию, т. е. около 1/280 процента 700 млн. Когда была введена казенная продажа вина, предполагалось, что кабак — сродоточие спаивания, заклада и ростовщичества — отжил свое время. Но это была иллюзия, и кабак не погиб, а лишь прополз в семью, внося в нее развращение и приучение жен и даже детей пить водку. Сойдя официально с лица земли, кабак ушел под землю, в подполье для тайной продажи водки, став от

этого еще более опасным. Трудно сказать, какое впечатление было тяжелее: от старого кабака, давно осужденного нравственным сознанием народа и терпимого как зло, или от позднейшей благообразной казенной винной лавки, у дверей которой в начале рабочего дня нетерпеливо толпились люди с изможденными лицами поставщиков питейного дохода, распивавших «мерзавчики» тут же на месте, причем взрослые часто служили посредниками для малолетних, получая зато право «глотнуть». Об издании обязательных постановлений городских дум и земских собраний, запрещающих единоличное публичное распитие, что-то было не слышно...

Надзор членов попечительств за тайной продажей вина был поставлен в совершенно неисполнимые условия и заранее обречен на существование лишь на бумаге. Устройство чайных, полезное само по себе в смысле доставления дешевого напитка имело весьма отдаленное отношение к борьбе с пьянством, ибо движущие побуждения к чаю и к водке вытекают из совершенно независимых друг от друга источников. Притом эти чайные, а также столовые сдавались весьма часто в аренду, причем нередко буфетчиками или заведующими ими являлись местные домохозяева, которым очень выгодно не платить за торговые документы и которые, конечно, более заботились о выгодной продаже припасов, чем о состоящих при некоторых чайных читальных. Устройство театральных представлений и разумных развлечений, если и служит на некоторое, очень короткое время отвлечением от трактира, то самостоятельное воздействие винной лавки на ее постоянных посетителей ими уже несколько не парализовалось. Учреждение попечительств имело в виду пополнить досуг народа здоровым и трезвым содержанием, в котором, конечно, должны были найти себе место и безобидная веселость, и поучительные зрелища, и научение путем бесед, картин и рассказов. Но практика в значительной степени извратила эту цель, на место разумного времяпрепровождения поставив развлечения, среди которых есть забавы, заключающие в себе очень мало облагораживающего элемента. Трудно искать последнего в пошлых по содержанию куплетах, в выходках клоунов, построенных на унижающих человеческое достоинство плевках, пинках и пощечинах, и в кинематографах, где такое большое место отводится изображению борьбы с ловкими преступниками, кончающейся торжеством порядка, но попутно наглядно преподающей методологию и систематику грабежей и убийств. И в остальных отраслях деятельности

попечительств плоды ее были спорны, сомнительны и во всяком случае очень невелики. Другого нельзя было и ожидать в деле борьбы с пьянством. Невозможно рассчитывать на одну гигиену в борьбе с заразной болезнью, как нельзя думать, что угольный угар можно обезвредить курительными свечками. В деле народного отрезвления посредством попечительств борющиеся стороны были далеко не равносильны. С одной стороны, здесь были порок, слабость воли, большие привычки и почти безграничный соблазн, всем доступный и легко осуществимый, а с другой — отдаленное нравственное влияние, далеко не равное по отношению к каждому и обреченное на бессильное столкновение с людским безразличием, закрепленным бюрократическими привычками и народными обычаями. В последнем отношении интересно отметить, что ходатайства попечительств об упразднении в некоторых местных казенных винных лавках были удовлетворяемы лишь в размере 30%. Вопрос об опеке над привычными пьяницами и принудительном их лечении был разработан в 1889 году особой комиссией общества охранения народного здоровья под председательством доктора Нижегородцева. Ею признано, что лица, доведшие себя употреблением спиртными напитками или другими опьяняющими веществами до такого болезненного состояния, что поступки их оказываются вредными или опасными, могут подлежать принудительному помещению на срок от шести месяцев до двух лет в особые лечебницы, ограничению правоспособности с учреждением над ними опеки, причем принятие этих мер может состояться не иначе, как на основании постановления судебного присутствия, намеченного проектом Опекунского устава. Это постановление комиссии вызвало против себя ряд теоретических нареканий, направленных в защиту личной свободы привычного пьяницы. Горячие порицатели, закрывая глаза на действительность, забывали, что проект комиссии гораздо более, чем существующие законы, оберегал бы личность алкоголика от постоянного вмешательства в его жизнь и в имущественные дела. Арестовать его нельзя: ни жена, ни родные, ни ближайшее начальство взять пьяницу в «за крепкий караул», как еще недавно говорилось у нас в XIV томе закона, не могли бы при всем своем желании. Для этого необходимо вмешательство окружного суда, в присутствии которого неременной и обязательной экспертизой врачей-специалистов было бы доказано, что дальнейшее до выздоровления пребывание привычного пьяницы в обществе невозможно. Порицатели в этом случае зло-

употребляли словом «свобода», быть может, не зная, что человек-зверь Калибан в «Буре» Шекспира, напившись водки, радостно кричит: «Свобода! Свобода!»

В настоящей заметке не место излагать те «трудные роды», с которыми было связано прохождение через наши законодательные учреждения проектов о передаче попечительств о народной трезвости земствам и городам и о мерах борьбы с народным пьянством, прикрытых мало обещающим названием «изменений и дополнений некоторых относящихся к продаже крепких напитков постановлений». Значительная часть времени, отданная этим проектам, была после длительного и томительного обсуждения их в особых комиссиях посвящена турнирам двух бывших министров финансов, сводившимся, в сущности, к защите винной монополии и отвергнутой жизнью целесообразности организации попечительств о народной трезвости. Боязнь ораторов нашей Верхней палаты лишиться, коснувшись корня зла, наш бюджет одной из самых существенных статей побуждала их наряду с оплакиванием результатов народного пьянства идти на различные уступки и компромиссы. Достаточно в этом отношении указать, что Россию предполагалось разделить на две большие области: на сельскую, где возможна и необходима борьба с пьянством посредством запретительных приговоров сельских обществ, и городскую, где это оружие борьбы у представителей населения отнималось. Между тем в городах пили в три раза больше, чем в сельских местностях, и процентное отношение спиртных напитков на горожанина значительно превосходило таковое же относительно сельчан. При этом забывалось, что город в последние полвека все больше и больше втягивает в себя сельское население своими отхожими ремеслами, фабриками и заводами и что именно это население подвергается особому соблазну пьянства в дни субботних расчетов, когда у ворот заводов и фабрик, тревожась за участь полуголодных и полуодетых детей, их матери ждут выхода мужей, чтобы спасти хоть часть выручки от пропивания ее целиком. Забывалось и существование целых своеобразных классов общества, известных у нас под названием «золоторотцев», «хитровцев», «босяков» и всякого рода хулиганов, грозящих общественному порядку и безопасности в своем непрерывном росте. Для этих *Katilinarische Existenzen*¹, как их назвал Бисмарк, венец заработка и цель дня состояли в выпивке, их невозможно было приучить к систематическо-

¹ деклассированных слоев населения (нем.).

му труду и оторвать от кабака, для которого добывались деньги милостыней, а иногда и насилем. И в то время, когда для борьбы с хулиганством в официальных совещаниях и даже в некоторых органах печати предлагалось ввести в употребление розги и когда одна из серьезных мер борьбы — рабочие дома с принудительным трудом мирно почивают в виде проектов в канцеляриях и Государственной думе, в борьбе с другим и главным источником зла — с пьянством у города отнималось самое действительное средство — запрещение казенной продажи, как будто одним усилением наказания за появление в публичном месте в состоянии явного опьянения можно было достигнуть чего-либо серьезного. Хотя в конце концов Верхняя палата после долгих прений и распространила право запрещения винной торговли на города, но, в общем, можно сказать, что гора пожеланий родила мышь практического осуществления.

В таком виде застала вопрос о народном пьянстве война. Раздалось властное и благотворное слово, сразу положившее предел законодательным колебаниям, финансовым сомнениям и рутинной привычке на место живых и решительных мер ставить гамлетовские «слова, слова, слова»... Последствия этого сделались так осязательны для всех и так радостны для тех, кто сознавал пучину гибели, в которую несли русский народ потоки выпиваемого им зелья, что многим общественным организациям не верилось в устойчивость и продолжительность нового порядка вещей... Надо надеяться, что на помощь благодетельному и действительному почину в борьбе с пьянством придет исключительная власть, настойчиво и неуклонно преследуя тайную торговлю, фальсификацию и суррогаты оплакиваемых некоторыми водки и пива, и что нестесняемая напрасными путями общественная самодеятельность широко разовьет духовное научение и научное практическое обучение народа в ряде крупных и мелких учреждений, заполнив его досуг и оградив его тем от развлечений азартом и нездоровыми зрелищами.



V

СТАТЬИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЯХ



«ПЕТР IV»

Покушение Каракозова на жизнь императора Александра II 4 апреля 1866 г. послужило поворотным пунктом для перехода нашей внутренней политики с пути преобразований на путь постепенно возмужавшего недоверия к обществу, подозрительного отношения к молодому поколению и сомнения в целесообразности уже осуществленных реформ. Государь был не только напуган, но и глубоко огорчен совершенной неожиданностью покушения. Окружавшие, по-видимому, не постарались его успокоить указанием на многочисленные и неподдельные проявления любви и преданности ему населения. Наоборот, таким его настроением воспользовались те, кому были не по душе «великие реформы» и кто, примирившись, скрепя сердце, с отменой крепостных порядков, мечтал о возвращении в той или другой форме возможности проявления крепостных навыков, сходясь в этом отношении со своим будущим глашатаем, издателем «Гражданина» князем Мещерским, проповедовавшим необходимость «поставить точку» к преобразованиям. Под их влиянием сошел со сцены активной государственной деятельности министр народного просвещения Головин, замещенный графом Д. А. Толстым с его «классицизмом» как оздоровляющей и отвлекающей от «злобы дня» системой гимнастических упражнений для ума. Ушел и министр юстиции Замятнин, повинный в введении зловредных начал, заключавшихся в только что введенных в действие Судебных уставах. Все «направление» внутренней политики и ее дальнейшее направление попали в руки нового шефа жандармов, графа Петра Андреевича Шувалова.

Перейдя из Казани в Петербург в 1871 году, я застал

Шувалова в полном разгаре могущества и влияния на государя, дававших себя чувствовать всем ведомствам. Лишь светски образованный и, конечно, далеко не государственный человек в настоящем смысле слова, он был, однако, не только умен, но, по отзывам близко его знавших, очень хитер. Он понял, что существование «Третьего отделения собственной его величества канцелярии» представляется в значительной степени эфемерным. Несмотря на всю свою грозную и мрачную силу, это учреждение не имело прочных корней и, как показал впоследствии граф Лорис-Меликов, могло быть уничтожено одним почерком пера. Поэтому Шувалов задался мыслью привить свое ведомство к прочным учреждениям, без существования которых немислимо никакое общество в современных условиях цивилизации. Наиболее подходящим в этом отношении, конечно, оказался суд в своей задаче исследования преступлений и осуществления карательного закона. И вот результатом давления Шувалова на одного из своих ставленников — министра юстиции графа Палена — оказался закон 19 мая 1871 года, в силу которого по политическим преступлениям, а также и по общим, в особо важных случаях, чины жандармского корпуса были поставлены в подчинение прокурорского надзора. Последствия этого закона были самые пагубные. Он не улучшил знаний и понимания жандармов, в большинстве случаев крайне невежественных в юридической области, и в то же время в значительной мере развратил прокуратуру, чины которой из наблюдателей за законностью действий нередко делались фактически активными производителями дознаний и на успешном производстве их строили свою карьеру, считая очень часто свои прямые обязанности публичных обвинителей делом второстепенным. В записке, представленной мною в 1878 году наследнику престола, будущему Александру III, подробно изложены мотивы и характер действий этих господ, нашедшие себе яркое выражение в так называемом Жихаревском деле. Поспешность возбуждения политических дознаний и невежество в их производстве остались, в сущности, теми же, лишь под легким прикрытием якобы законных форм, а прежнее русское добродушие, иногда встречавшееся у старых местных представителей жандармерии, сменилось чиновничьим бездушием и черствостью новоявленных «спасителей отечества». В старые годы, в моей провинциальной службе мне приходилось встречать жандармских штаб-офицеров, невольно возбуждавших к себе доброе чувство. Они напоминали своею деятельностью известный ответ графу Бенкендорфу импе-

ратора Николая, подавшего ему на просьбу об «инструкции» платок со словами: «Вот тебе инструкция: чем больше слез утрешь, тем лучше». Таков был в Харькове бесконечно добрый и оригинальный, с лицом, напоминавшим образ полишинеля, генерал Ковалинский, пользовавшийся всеобщим и непререкаемым уважением всего местного населения. Таков был в Казани полковник Ларионов, гроб которого местные жители — и в том числе многочисленные студенты — несли на руках от города до кладбища. Вероятно, последнего из представителей этого типа я встретил в 1895 году в лице генерала Янковского в Тифлисе во время производства мною ревизии судебных учреждений. Представляясь мне, он объяснил, что был учеником моего отца в дворянском полку, и процитировал неизвестное мне переводное четверостишие последнего:

Ты плакал, друг, на свет родясь,
А окружавшие смеялись!
Живи же так, чтоб умер ты смеясь,
А окружавшие в слезах остались.

По общим отзывам и по тем следам его деятельности, с которыми мне приходилось встречаться, он и в своей служебной жизни руководился этим четверостишием. Таких типов что-то не встречалось в прокуратуре, которая после пышного расцвета талантов в начале семидесятих годов стала быстро увядать, причем влиятельные места в ней, в качестве переходной ступени в будущие министерства, стали занимать лица, на недоумевающий вопрос о способностях и заслугах которых приходилось слышать: «Да он не выступал ни разу публично, но он произвел замечательное политическое дознание в Харькове, Киеве и т. п., и его только путем повышения можно было удержать в судебном ведомстве от блестящего перехода в администрацию». Таким был, между прочим, и Плеве.

Цель Шувалова была достигнута. Тесно переплетаясь с прокурорским надзором, чины жандармской полиции надолго обеспечили себе существование в государственном механизме, а их шеф получил возможность докладывать государю «о внутренних врагах», открытых и усмотренных уже не домыслием «синих тюльпанов», а совокупно их деятельностью с высокообразованными чинами судебного ведомства. Для того чтобы придать взглядам жандармерии внешний правовой характер, была даже учреждена особая должность юрисконсульта при шефе жандармов, на которую был назначен талантливый, но обуреваемый страстью «по-

жить» — прокурор Петербургского окружного суда М. Н. Баженов. «Какую должность занял Баженов?» — спрашивал меня остроумный член Харьковской судебной палаты Яблонский, женатый на сестре знаменитого Мечникова. «Юрисконсульта при шефе жандармов», — отвечал я. «Не понимаю, — заметил Яблонский, — не могу понять! Юрисконсульт при III отделении?! Да ведь это все равно, что сказать: «Протоиерей при доме терпимости».

Но прививка, предпринятая графом Шуваловым, не ограничилась прокурорским надзором и, следовательно, министерством юстиции. Он попробовал вплести жандармерию в министерство внутренних дел и притом по пересыльной части. Отдельный корпус внутренней стражи всегда возбуждал против себя нарекания и своим неуклюжим устройством и крайне низким уровнем своих офицеров. Несмотря на предпринятые преобразования, министерство внутренних дел очень тяготилось пересыльной частью тюремного дела, находившегося в его ведении. По почину Шувалова была образована комиссия по тюремной реформе, в которой он принял деятельное участие, совершенно заслоняя собою мягкого и тяжкодумного председателя, члена Государственного совета Зубова. В этой комиссии он предложил передать всю пересыльную часть в руки жандармского корпуса и таким образом сделать последний необходимым звеном в деятельности министерства внутренних дел. Наша обычная законодательная волокита затянула осуществление этого намерения на несколько лет, а затем Шувалов сошел со сцены. Его мысль, но только почти наоборот, осуществилась гораздо позже, когда вследствие совокупного представления министров — Горемыкина и Муравьева — состоялась, без всякого законодательного обсуждения, передача всего тюремного дела — в его статике и дидактике — в ведение министра юстиции. Скучный бюджет тюремного ведомства остался в основаниях своих прежним, личный состав тоже, но генерал-прокурор и блюститель правосудия, сделавшийся обер-тюремщиком и хозяйственным распорядителем по тюремной части, получил прибавку содержания и мундир тюремного ведомства с присвоенными ему золотыми жгутами и шашкой... Едва ли от этого тюремное дело улучшилось, что доказал ряд неурядиц и беспорядков, застигнутых событиями 1905—1906 годов.

В 1871 году в Петербурге возникло под моим прокурорским наблюдением дело о подделке акций Тамбовско-Саратовской железной дороги. Она совершалась в Брюсселе и так искусно, даже слишком искусно, что эксперты на суде

признали поддельные акции более тонкими по исполнению, чем настоящие. Этим делом занимался осужденный за организацию шайки письмоношцев для похищения ценных вложений в пакеты и бежавший за границу Феликс Ярошевич. Его снабжали необходимыми средствами библиотечарь Медико-хирургической академии доктор Никитин и бывший уездный врач и акушер Колосов, а посредником между ними и исполнителем различных поручений был сын Феликса Ярошевича Александр (Олесь). Для окончательной организации дела за границу ездил Колосов, предложивший тайной полиции свои услуги в качестве человека, могущего, по его словам, «выследить эмиграцию», изловить известного по политическому процессу 1870 года Нечаева и «выяснить личность и положение Карла Маркса (?)». Первая серия привезенных им из Брюсселя акций была передана Никитину и хранилась в обширной академической библиотеке. Вся эта преступная операция, вероятно, прошла бы для участников благополучно и с большой выгодой, но все дело рухнуло, потому что осуществился знаменитый афоризм: «*Cherchez la femme*»¹. Олесь был страстно влюблен в дочь чиновника той же Медико-хирургической академии Ольгу Иванову, которая, считаясь его невестой, восстанавливала его против Колосова, с которым в то же время состояла тайно от жениха в связи и ездила с ним за границу под предлогом получения дорогих бриллиантовых серег, если ей удастся при предлагаемой встрече с Нечаевым его «увлечь и заманить в Россию». Она успела поссорить их обоих и довести до крайнего раздражения, кончившегося кулачной расправой... и последовавшим показным примирением. Боясь мстительности Колосова и доверяя его рассказам о даваемых ему поручениях по политическому розыску между эмигрантами, которых Колосов со своей точки зрения разделял на шатких и мошенников, Ярошевич посвятил в свои опасения Никитина, и с общего согласия их обоих и Ивановой было решено уговорить Колосова вновь съездить в Брюссель вместе с Ярошевичем, причем по дороге, где-нибудь в удобной обстановке, Олесь должен был «прописать ему», по выражению Никитина, «ижицу», т. е. отравить его морфием и взять у него документы, удостоверяющие его личность. Но Колосов, по-видимому, догадался о грозившей ему опасности и просил у начальника III отделения защиты. Перехваченное затем письмо Никитина к Феликсу Ярошевичу, в котором весьма подробно описывалось, что

¹ ищите женщину (*фр.*).

предполагается сделать с Колосовым, присоединило к делу о подделке еще и обвинение в приготовлении к убийству. Ни Никитин, ни Олесь ни в чем не сознавались, но когда Иванова обратилась в прокурорский надзор с письмом на имя Ярошевича, в котором упрекала его в подговоре дать ложное показание при допросе в его пользу, — потрясенный этим коварным предательством своей невесты, Олесь решил раскрыть всю правду.

Когда по ходу этого дела пришлось произвести обыск в огромной библиотеке Медико-хирургической академии с целью выемки спрятанных там поддельных акций, для оцепления здания потребовалась многочисленная стража. Судебный следователь решил впервые воспользоваться законом 19 мая и пригласить к содействию при обыске чинов корпуса жандармов. Обыск продолжался всю ночь и дал блестящие результаты: акции были найдены. В эту ночь у шефа жандармов графа Шувалова был бал, на котором присутствовал и государь. Интересуясь ходом обыска, Шувалов неоднократно присылал справиться о нем у начальника командированных жандармов ротмистра Рёмера и поспешил немедленно доложить государю о достигнутом успехе как видимом доказательстве целесообразности и пользы нового закона, вероятно, приписав этот успех участию жандармских чинов, из которых некоторые в действительности лишь затрудняли следователя бестактными и неуместными вопросами.

Дня через два граф Пален сказал мне, что Шувалов жезлет лично от меня узнать о том, как действовали его чины, и просит меня заехать к нему. Шувалов встретил меня с утонченною любезностью в белом кабинете с колоннами знаменитого «здания у Цепного моста», рассыпался в похвалах успешной деятельности судебного ведомства и затем, неожиданно переменив тон, спросил меня: «Ну, а что мои скоты?» Я понял, о ком шла речь, но подобный вопрос со стороны человека, носившего жандармский мундир и светски воспитанного, показался мне до такой степени неприличным, что я его умышленно не уразумел и спросил Шувалова, о ком он говорит. Он понял мой намек. Его тонкое лицо слегка покраснело, он на мгновение презрительно прищурил глаза, оглянул меня с ног до головы, но затем тотчас овладел собою и с недоброю усмешкою сказал: «Я так резко выразился о бывших при обыске жандармских чинах: ведь они, вероятно, шагу ступить не умели?» — «Промахи во всяком новом деле возможны, но указания следователя были ими исполнены вполне усердно и по возможности тол-

ково». — «Очень приятно слышать такую оценку», — сказал он и, вдруг переходя в надменный тон и гордо закинув голову, прибавил: «А я со своей стороны должен объявить вам, что государь император изволил быть доволен вашими действиями по этому делу». И я в свою очередь понял, что хотел мне этим сказать «Петр IV»: «Ты задумал меня учить, как выражаться о моих подчиненных, — сквозило в его словах, — так я тебе напомним, что я могу говорить с тобою именем государя». Но я поднял перчатку, ответив, что мне будет очень приятно услышать об этом от министра юстиции, моего непосредственного начальника, которому, конечно, о высочайшем удовольствии уже сообщил он, граф Шувалов, для объявления мне. Шувалов скользнул по мне мимолетным взглядом, и мы простились молча.

Через полгода я видел его выходящим из кабинета графа Палена. Закон 19 мая был в полном разгаре, и в Петербурге производилось под руководством чрезвычайно исполнительного формалиста — товарища прокурора судебной палаты — искусственно вздутое «утирателями слез» дознание о кружках между учащимися, которым Шувалов, державшийся системы запугивания государя, был, по-видимому, вполне удовлетворен. Остановившись в дверях кабинета с провожавшим его Паленом, он, не стесняясь присутствием посторонних, сказал ему, громко называя товарища прокурора: «Пожалуйста, устройте мне его. Мне очень этого хочется. Не забудьте». И, горделиво подняв голову, он быстро прошел мимо, бросив на меня высокомерный взгляд, как на совершенно незнакомого ему человека. Через неделю его императивное желание было исполнено служебным повышением упомянутого им лица.

Прошло еще два года. Придворные недоброжелатели Шувалова сумели разными коварными намеками возбудить против него ревнивую подозрительность Александра II, и, как рассказывают, однажды за карточным столом государь сказал вздумавшему будто бы конкурировать с ним «Петру IV»: «А знаешь, я тебя назначил послом в Лондон». Через неделю после опубликования этого назначения я провожал кого-то из близких знакомых на Николаевскую дорогу и, проходя по платформе станции, увидел у последнего вагона первого класса генерала в конногвардейской фуражке, окруженного небольшой группой провожавших. Мне показалось, что это Шувалов, но нет! сказал я себе: тот был выше ростом и говорил более уверенным и низким голосом. Но когда я проходил второй раз мимо группы у вагона и стал вглядываться в генерала, последний мне приветливо

поклонился, и я узнал в нем действительно Шувалова. Но этот был совсем другой человек. Он поразительно изменился, согнулся и как-то весь поблек. Куда девались гордый подъем головы, надменное выражение лица и презрительное прищуривание глаз! Он имел вид человека, поколебавшегося в уважении к самому себе и пристыженного в глазах общества. А между тем звание посла при Сан-Джемском кабинете было, по широте и ясности задач, конечно, выше сомнительной прелести начальника III отделения и верховного наушника при русском государе. Но таково уже свойство многих русских людей, хлебнувших власти: не источник последней и не цели, ею преследуемые, заставляют их ценить свое положение, а исключительно ее объем и внешние атрибуты.

Мне вспоминается по этому поводу рассказ известного писателя Д. В. Григоровича об одном ничтожном бюрократе, который решительно ничего не делал по своему министерству, говоря лишь постоянно докладчикам: «Пожалуйста, покороче», и занимаясь интригами против других министров, причем он даже безобидного Набокова считал «вредным» и содействовал его падению. Когда председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич объявил ему, что он назначен председателем одного из департаментов Совета, этот министр пришел в совершенное отчаяние, чуть не со слезами просил оставить его в прежней должности, так как будто бы многие важные реформы им еще не закончены и т. д., а когда получил указание на то, что решение уже состоялось, то, приехав домой и с тоской объявив своим курьерам и швейцару: «Я больше не ваш министр», заперся и заболел. «Все от того, — прибавлял Григорович, — что лишился возможности раз в неделю быть в сфере зрения гатчинского ока и знать, что даже раз в неделю в его собственной приемной так же внутренне трепещут просители и подчиненные, как трепещет он пред тем, чтобы предстать перед монархом. Это — особое психологическое состояние». По-видимому, в таком же психологическом состоянии находился и граф Шувалов, когда я его видел на железной дороге. Ускользнувшая из рук возможность «терзать пугливое воображение» царя была ему слишком дорога, а как ею пользовались некоторые из его премников, я убедился в бытность мою вице-директором департамента министерства юстиции. Для какой-то служебной справки департаменту понадобилось подлинное производство дела о приготовлении к совершению крушения императорского поезда в Балте. Оказалось, что раздутое прокуро-

ром Пржецлавским приготовление сводилось к пропаже рельсовой накладки и окончилось ничем. Но на телеграмме Пржецлавского, где это происшествие рисовалось как успешно открытый злодейский замысел на жизнь монарха, переданной в копии от шефа жандармов министру юстиции, значилась помета первого из них: «Должено государю императору такого-то числа». Меня заинтересовало время доклада, а по сверке с календарем того года, когда это произошло, оказалось, что это был первый день пасхи и что почтенный и своеобразный охранитель верховной власти отравил своей ненужной и лукавой поспешностью бедному монарху примирительные часы светлого христианского праздника.

Я встретился с Шуваловым еще раз в начале восьмидесятих годов на рижском штронде. Он, по-видимому, сильно взял «лево руля!» и ядовито осуждал нашу тогдашнюю политику в Прибалтийском крае, не удовлетворявшую ни немцев, ни латышей и все более и более углублявшую существующую между ними пропасть. Затем, лет через десять нам пришлось быть у моего сослуживца по сенату графа Бобринского. Шувалов — так меняются времена — доказывал после обеда знаменитому Пазухину нелепость учреждения земских начальников и очень при этом горячился, попросив и выпив одну целую бутылку тяжелого бургундского вина. Но уже в конце восьмидесятих годов, 15 декабря, Валуев записывает в своем дневнике, что в заседании для обсуждения изменений в уставе о всеобщей воинской повинности Шувалов «обнаружил, до какой степени он измелчал умственно: говорил без надобности долго, привязчиво к мелочам и притом бестолково». В те же восьмидесятые годы мне пришлось сидеть под его председательством — в качестве члена от министерства юстиции — в комиссии для разбора претензий, заявленных известным одесским городским головою Новосельским к турецкому правительству по поводу причиненных принадлежавшему ему пароходу аварий во время бомбардирования турками в 1860 году Белграда. В заседаниях этой комиссии, происходивших по вечерам, бывший временщик приходил под очевидным влиянием послеобеденных возлияний, с трудом усваивал себе возникавшие вопросы и охотно уступал мне председательство, нередко начинал дремать в разгаре «обмена мнений». По-видимому, он искал забвения от восставших пред ним видений давно прошедшего властительства над судьбами русской внутренней политики и над душою напуганного покушением Каракозова государя.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРУ III В ГАТЧИНЕ

(В ноябре 1892 г.)

Двадцать второго октября 1905 г. Завтра предстоит в Петербурге торжественные похороны рабочих, убитых за последние дни при столкновениях с войсками и партий между собою. Революционные комитеты напечатали в газетах извещение, в котором приглашают граждан не мешать шествию своим появлением на улицах. Отовсюду приходят телеграммы с известиями о революционных и патриотических манифестациях, кончающихся потоками крови и проявлениями самой зверской злобы. То же может случиться завтра и в Петербурге. Это будет результатом — как и все происходящее — «бессмысленных мечтаний» о возможности остановить развитие целого народа и противопоставить близорукое и тупое, лишенное всякого сознания долга самовластие наплыву идей и чувств, питаемых и усиленно раздуваемых сдержанным гневом и готовым на все отчаянием. В последние 20 лет самодержавие, расчлняясь и мельчая по существу, становилось все более безусловным и ожесточающим по форме. Оно давно перестало быть не только Петровским служением народу или Екатерининской скрепкой общим величием единства разноплеменной страны, но оно выпустило из рук даже и охрану простого порядка. Оно перестало существовать, хотя бы и мнимой, на пользу России, а стало довлеть самому себе, как бездушный идол, который наводит страх только до тех пор, пока смелая нога решительным пинком не повергнет его в прах. С управлением России при ничтожном и упрямом Николае II повторилось то же, что было, по словам записки Панина «Екатерина II», при Петре III. «Сей эпох, — писал он, — более всего примечателен большими приключениями в малых делах и управлением припадочных людей». Когда припомнишь фигуры Дурново, Сипягина, великого князя Алексея, Воронцова, Клейгельса и т. п., зная, что в их руках было направление русской политики, душой овладевает ретроспективный страх. Мне хочется поэтому вспомнить мое представление Александру III по случаю назначения вторично обер-прокурором. В 1891 году, в июне, я был сделан сенатором и на мое место поступил прокурор московской палаты Н. В. Муравьев, очень быстро перебравшийся при помощи великого князя Сергея Александровича в государственные секретари. Министерство юстиции было в большом затруднении для замещения открывшейся вакансии, так как тогда еще счи-

талось, что кассационный обер-прокурор должен быть не простым усердным судебным чиновником, но и представителем научных знаний и авторитетом. Я принял предложение вернуться в прокуратуру с сохранением звания сенатора, а Манасеин победил недоумевающее упорство Александра III указанием на то, что до меня соединяли оба звания и Фриш и Бер.

21 октября состоялось мое назначение. Это было в 1892 году, в том году, который ознаменовался холерными беспорядками в различных местностях России вследствие полного отсутствия заботы о разъяснении невежественной толпе значения постигшего ее бедствия и условий борьбы с ним. Тогда погибло много самоотверженных врачей и сестер милосердия и был зверски растерзан толпою врач Молчанов во Хвалынске. В начале ноября я должен был представляться государю в Гатчине. В тоскливый, серый день представлявшиеся были привезены в неуклюжий дворец и, вследствие какого-то особого доклада у государя, вынуждены были ожидать приема часом позднее обычного, бродя по неприветливой и полутемной зале под сводами в нижнем этаже дворца. В эту залу вошел длинный, худой и гладко выбритый князь Голицын, прекрасный актер и придворный чтец, носивший странное звание «кавалера государыни императрицы».

Об этом «кавалере» у меня сохранились довольно оригинальные воспоминания. В 1873 году судебный пристав при мировом съезде препроводил мне, как прокурору окружного суда, протокол о том, что гофмейстер князь Голицын, приняв на хранение описанный у него по частному иску рояль, продал его в третьи руки, употребив деньги в свою пользу, и отказывается от всяких объяснений, ссылаясь на нездоровье своей жены. Дело было ясно, и мне оставалось предать его суду за сорвание печати, что грозило весьма серьезным наказанием и, конечно, разрушением его придворно-служебного положения. Совершить такой поступок мог только безумный или не ведающий, что творит. Я остановился на втором предположении, и мне стало жаль этого, совершенно незнакомого мне человека. Поэтому, не дав хода протоколу, я пригласил князя повесткой от канцелярии к себе в камеру. На другой день он вошел ко мне в кабинет с оскорбленным и вместе надменным видом, заявляя, что до крайности удивлен тем, что его побеспокоили явкой в такое место. Но когда я объяснил ему юридический характер его действий, он изменился в лице и дрожащим голосом сказал: «Помилуйте! Да ведь это гибель

всей моей карьеры! Боже мой! Боже мой! Если бы я это знал!» — «Я так и предполагал,— сказал я ему,— и потому оставляю этот протокол без движения в течение недели в ожидании сообщения судебного пристава, что рояль оказался на месте. А вы уже позаботитесь купить рояль обратно и попросить пристава вновь приложить к нему печать». — «Я сделаю все, что возможно,— сказал князь.— Я уверен, что рояль еще не перепродан». Я уполномочил его передать судебному приставу, что, предполагая здесь какое-либо недоразумение, я не дам хода протоколу в течение нескольких дней. Через три дня судебный пристав официальным рапортом просил меня оставить протокол о сорвании печати без движения, так как рояль снова находится на хранении у князя Голицына, которым был временно удален из своего помещения лишь по недоразумению. Пришедший затем узнать о судьбе дела князь Голицын рассыпался в благодарностях за то, что я не только спас его служебное положение, но, быть может, даже и жизнь его жены, которая тяжело больна и едва ли перенесла бы предание ее мужа суду. «Вы видите, князь,— сказал я,— что обижаться на вызов в такое место было преждевременно». Но затем через две недели, встретив меня на улице, он меня не узнал и то же повторил при нескольких последующих встречах. Через год мне пришлось бывать на празднествах по случаю бракосочетания великой княгини Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. На бале у великого князя Николаевича старшего, сыну которого я преподавал энциклопедию юридических наук, хозяин, относившийся ко мне всегда с большой симпатией и приходивший иногда слушать мои лекции, представил меня стоявшему у буфета наследнику престола, с которым мы и вступили в разговор. Среди окружающих нас на почтительном отдалении я заметил князя Голицына. Когда наследник обратился с разговором к покойному профессору Боткину, я отшел в сторону и встретился с Голицыным. На этот раз он меня узнал и с деланно-приветливой улыбкой меня приветствовал. Но на этот раз я его не узнал, и с тех пор он стал принимать при встречах со мною презрительно-гордый вид. Прошли годы, я уже был председателем гражданского департамента судебной палаты и вдруг получил длинное письмо от князя, умолявшего меня спасти его отсрочкой слушания дела о его несостоятельности. Оказалось, что он продолжал пребывать в прежнем состоянии позлащенной нищеты и делал долги без всякого соображения о том, чем их покрыть. На этот раз он оказывался несостоятельным на очень не-

большую сумму, причем главный кредитор был, сколько мне помнится, седельный мастер под фирмой «Вальтер и Кох». Очевидно, несчастный царедворец не успел извернуться и заткнуть одну из дыр своего эфемерного финансового положения. Я снова должен был вызвать его к себе и разъяснить ему, что не имею права откладывать слушание дела иначе, как по просьбе истцов или во всяком случае главнейших из них. Он был в совершенном отчаянии, растерянный и жалкий, объясняя, что через две недели он, наверно, будет иметь средства для удовлетворения своих кредиторов. Мне снова стало его жалко, я решил вызвать поверенного наиболее крупных кредиторов Трозинера и, объяснив ему, в чем дело, просил его подать заявление об отсрочке заседания на месяц, на что он любезно согласился, и признание Голицына несостоятельным не свершилось.

С этих пор оголтельный князь стал меня удостаивать уже неизменным приветом. Увидев меня в приемной зале, он любезно предложил мне, в ожидании приема у государя, представиться императрице Марии Федоровне, выразив на лице сострадание и удивление, когда я ему сказал, что еще ни разу у нее не был, несмотря на то что мое служебное положение неоднократно представляло к тому повод. Я видел императрицу, однако, несколько раз не в качестве собеседника, а в роли постороннего наблюдателя на похоронах баронессы Эдиты Раден и на больших придворных балах, причем на последних она принимала участие в танцах с нескрываемым удовольствием, которое очень оживляло ее незначительное лицо с блестящими глазами и густыми курчавыми волосами на лбу, сильно заставлявшими подозревать существование парика.

Приема у императрицы ожидало несколько человек, которых она приглашала по двое и по трое сразу. Для меня, однако, было сделано исключение: я был позван один. Очевидно, она хотела познакомиться с зловредным председателем по делу Засулич поближе. Но, увы. Это знакомство не послужило, по-видимому, к изменению, вероятно, сложившегося у нее предвзятого обо мне мнения. В небольшом и довольно темном кабинете меня встретила, подав мне приветливо красивую руку, женщина, которая могла бы казаться еще молодой, судя по здоровому цвету лица и стройной, тонкой фигуре. Но при ближайшем рассмотрении лицо ее оказалось старым, покрытым множеством тонких и мелких морщин, напоминавших потрескавшийся пергамент. Одни глаза были полны огня и жизни, составляя главное

украшение ее личности и невольно сосредоточивая на себе внимание. Темно-карне, большие и прекрасного рисунка, они смотрели ласковым, но неглубоким взглядом, в котором была известная доля нежной приветливости, но за которой не чувствовалось, однако, доброты. Этот взгляд манил к себе и как будто открывал двери в душу, но с порога этих дверей виднелись пустота, безразличие и довольно вульгарное желание всем понравиться и сыграть на очарование, как играют на бирже на повышение дутых ценностей. Привлекательной наружности не соответствовал голос, грубый и без всяких оттенков, с датским акцентом. Наш разговор, по-французски, был краток, но достаточно характерен. Очевидно, Голицын предупредил о поводе моего представления государю, и она начала беседу с вопроса о том, в чем состоит моя вновь принятая на себя обязанность. Получив надлежащее объяснение, Мария Федоровна спросила меня, попадают ли в мои руки дела со всей России или только из одного Петербурга, и, получив утвердительный в первом смысле ответ, поинтересовалась узнать, знаком ли я с делами *concernant les desordres causer par cholera*¹. И снова получив утвердительный ответ, воскликнула: «Какой ужас! В особенности дело этого доктора, которого даже труп был изуродован. Где это было и как его звали?» — «Было в Хвалынске, — отвечал я, — а звали Молчановым». — «Да, да. Молчанов — как это ужасно! Особливо, если знаешь, что все это политические происки нигилистов! *des menées politiques*»² — «Могу уверить, ваше величество, что в печальных делах о холерных беспорядках нет никаких следов политических преступлений». — «Ах, нет! Как же?! — воскликнула с живостью императрица. — Конечно, это дело нигилистов! Мне это сказал Иван Николаевич (министр внутренних дел Дурново)». — «Я изучил целый ряд таких дел и снова утверждаю, что в них нет ни малейшего следа (*aucune trace*)³ политических злоумышлений. Иван Николаевич ошибается или введен в заблуждение». — «Нет, как же. Он мне положительно сказал (*il a affirmé*)⁴, что все эти беспорядки — дело рук нигилистов. Вы увидите, что это так». И ласковые глаза посмотрели на меня недоброжелательно. Было очевидно, что представительный выездной лакей, попавший в силу злосчастной судьбы в министры

¹ касающихся беспорядков, вызванных холерой (*фр.*).

² политические происки (*фр.*).

³ никакого следа (*фр.*).

⁴ он утверждал (*фр.*).

внутренних дел и участвовавший вместе со всей бюрократией в умышленном держании народа в глубоком невежестве, желал закрыть вину своей непредусмотрительности отводом по неподсудности на нигилистов. «Я снова позволяю себе утверждать, что взгляд Ивана Николаевича не соответствует истине (il n'est pas dans le vrai!)». — «Чем же вы объясните эти беспорядки?» — недовольным голосом спросила императрица. «Madame, — отвечал я, — cette sauvagerie est le resultat de l'ignorance du peuple — qui n'est pas guidé dans sa vie, pleine de souffrance, ni par l'Eglise, ni par l'école»². — «Может быть (ça se peut³)», — сказала императрица, сухо и холодно со мною рассталась, прервав разговор словами: «Иван Николаевич мне сказал».

Через час, во время которого царская фамилия и бывшие представляться завтракали в разных помещениях, произошло представление. Александр III вышел, грузный и огромный, с чрезвычайно развитым сиденьем, с неприветливым видом. Я был старшим по званию, и ко мне он обратился к первому, посмотрев на меня недобрым взглядом.

«Вы опять заняли прежнее место, — сказал он. — Оно ведь гораздо труднее сенаторского». Зная его нелюбовь к сенату вообще, к которому он относился, по образному выражению Лорис-Меликова, как к кастановому маслу, я попытался заступиться за моих недавних сослуживцев, выразив мнение, что и кассационным сенаторам приходится много трудиться и в особенности много писать, тогда как обер-прокурор действует живым словом, которое не требует механической работы писания. «Да, — сказал государь, — это так, но все-таки ваша должность важнее. Вы ведь должны считать себя ответственным за верное понимание каждого дела, которое находится в вашем рассмотрении, чтобы его причины были объяснены согласно с тем, что было в действительности». «Ага, — подумал я, выслушав этот августейший своеобразный взгляд на кассационную деятельность, — успела пожаловаться датская очаровательница». «Я именно так и смотрю, ваше величество, стараясь уяснить для себя настоящие причины каждого преступления, чтобы избежать заблуждений, вызываемых ложными слухами, неосновательными догадками или умышленным искажением

¹ он не соответствует истине (*фр.*).

² Мадам, эта дикость — результат невежества народа, который в своей жизни, полной страданий, не руководится ни церковью, ни школой (*фр.*).

³ Это возможно (*фр.*).

истины», — отвечал я. Государь сказал что-то неопределенное и, бросив на меня еще раз холодный и неприветливый взгляд, перешел к моему соседу.

ОТКРЫТИЕ I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Комендантский подъезд Зимнего дворца запружен военными и гражданскими мундирами, и на каждом повороте лестницы приходится показывать свой входной билет. Чудная, невиданная в это время погода смотрит в окна тех зал, по которым приходится проходить вплоть до Георгиевской залы, посредине которой стоит аналой, а по бокам возвышения в две ступеньки для Думы и Совета; в глубине залы трон в виде старинного кресла, на которое наброшена горностаевая мантия; к нему ведут несколько ступенек, покрытых малиновым сукном, сзади виднеется обветшалый вышитый орел под балдахином. Все довольно неимпозантно. С боков трона вход в небольшую комнату, где стоит караул Московского полка и вдоль стен которой помещены две старинные картины, изображающие «преславную Полтавскую викторию». Скачущий на коне великий Петр является каким-то диссонансом в тот день, когда его жалкий слабовольный потомок дает вынужденную и омраченную мятежами и казнями конституцию через полгода после неслыханных поражений и небывалого позора России. Невольно с горечью думается, что всей этой напрасно пролитой крови можно было избежать и давным-давно двинуть Россию на путь политической свободы, если бы не считать ее «бесмысленным мечтанием», которое все-таки пришлось признать действительностью, и если бы поменьше заботиться об охране собственной особы и власти. Невольно вспоминаются и слова Петра перед «преславной викторией»: «...а о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, была бы счастлива Россия». В час в зале еще нет ни Государственного совета, ни Государственной думы, но сенат в сборе, хотя многие отсутствуют; нет старика Цеэ, нет палача Дейера, нет Желеховского... Но и за всем тем между собравшимися сенаторами достаточно людей, которым не хочется подавать руки, а подав оную по малодушной терпимости, приходится жалеть, что нельзя ее немедленно дезинфицировать. По этой части и сенаторы I департамента плюс первоприсутствующие, стоящие по правую руку от трона, и «прочие», как значится в церемониале, сенаторы, стоящие по левую сторону от трона, могут между собой поспорить. Но вот проходят министры: новый премьер Горемыкин с обычным ви-

дом мороженого леща раздает рукопожатия и старается каждому сказать что-нибудь приятное, и на мою долю достается: «Давно, давно мы с вами не видались»; господин Шванебах делает вид, что меня не замечает, но затем, вероятно, вспомнив о превратностях судьбы, разыскивает меня и сообщает, что мысленно был у меня много раз, но так занят, что... и т. д.; проходит приспешенный самим собою Коковцев и новый министр путей сообщения генерал Шауфус; с очень скромным и деловым видом и с унылым обликом двигается одиноко граф Ламздорф с противным лицом старой кокотки; наконец, появляется умное и жесткое лицо Стишинского и проходит смущенный Щегловитов, жалующийся мне на трудность своего положения... После министров в среде сенаторов появляется князь Ширинский-Шихматов и объявляет, к печальному изумлению многих, что он назначен сегодня обер-прокурором св. синода. Но вот и Государственный совет, в среде которого я тщетно ищу Шахматова; в его составе идет Витте с угрюмым выражением лица, огромный и грузный. Мы молча здороваемся. За красным распухшим лицом Таганцева и хамскою рожей Платонова следует Дурново, напоминающий мне о прошлом лете в Сестрорецке и с радостью заявляющий о том, что он более не министр. Государственный совет занимает приготовленное ему возвышение, причем впереди всех стоят, опираясь на палки, гр. Пален, исхудалый и состарившийся Фриш и полуслепой Половцев. Проходя мимо меня, Фриш мне приветливо кланяется и делает движение по направлению ко мне, но я холодно отвечаю на приветствие старого недруга. Входит Государственная дума. «Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний: из хат, из келий, из темниц сюда стеклись для совещаний», — хочется пародировать слова Пушкина. «Спиджаки», высокие сапоги, у некоторых запыленные чалмы и халаты инородцев, фиолетовая скуфья католического епископа, шапочка раввина, русские клобуки, фраки и белые галстуки, придворные и дворянские мундиры и устарелые военные формы сливаются в живописном беспорядке. У членов Думы серьезные и «истовые» лица. Густою толпою они занимают все отведенное для них возвышение и даже выступают за его предел. Ближе к сенату с возвышением виднеются самодовольное лицо Набокова и умное красивое лицо Муромцева, будущего председателя Думы. Набоков жалуется мне, что я его забыл и даже не прислал ему моей последней книги, а с Муромцевым мы говорим о важности сегодняшнего дня и о

том, что мы оба выстрадали в ожидании этого дня, и я чувствую, что у меня глаза на мокром месте. Вдалеке раздаются звуки народного гимна. Все становятся на свои места и я снова вглядываюсь в Государственный совет в его полном сборе. Сколько там знакомых лиц, выразивших мне не раз лицемерное сочувствие моим «убеждениям и способностям» и наносивших мне затем предательские удары заочным шипением и предательскою клеветой! Скольким из них я обязан бессонными ночами, скорбным сознанием погибающих сил и внезапными приливами презрения к людям и потери веры в них, с чем нужно было мучительно бороться, чтобы не утратить в своей душе мысли о заветах Христа. И теперь я стою перед ними в моем глупом красном мундире, среди ничтожных сослуживцев, которых даже превосхожу годами службы, стою устранный от возможности принять активное участие в работе по возрождению родины, службе которой бескорыстно и с явным ущербом для себя были отданы в течение сорока лет и труд, и знание, и способности, и, быть может, даже личное счастье. А еще между ними я не вижу сахалинской физиономии господина Муравьева... Но в душе моей нет ни злобы, ни мстительного чувства: я смотрю на них спокойно и думаю, что для всех нас скоро перестанет существовать настоящее и мы предстанем туда, где, выражаясь словами Горбунова, «все разберут».

В дверях залы в предшествии дворцовых гренадер появляются императорские регалии. И заплывший жиром, с короткой шейей, пыхтящий Игнатъев, гонитель штундистов и ревнитель синодальной веры, несет государственное знамя. Регалии становятся по бокам трона, и вслед за тем под звуки народного гимна идет в предшествии духовенства государь и вся царская фамилия. Начинается длинный и скучный молебен, во время которого члены Думы заслоняют от меня царскую фамилию. По окончании молебна великие князья становятся по правую сторону трона тесной и некрасивой кучкой, в которой виднеется исхудалое лицо Владимира в поседелых баках, напоминающее au laid¹ лицо его отца. С краю этой группы виднеется грузная фигура великого князя Алексея с бессмысленным взглядом и скотским выражением лица. На пустой груди его как-то особенно ярко блистает бриллиантовая Андреевская звезда. Женщины становятся на особое возвышение по правую сто-

¹ некрасивое (фр.).

рону трона. Я не вижу на лицах обеих императриц ни слез, ни особого выражения испуга (о которых так много высказывалось впоследствии). У Александры Федоровны обычный холодный вид и кислая недовольная складка рта, у Марии Федоровны безразлично-ласковый взор глупой, но доброй женщины. Они обе одеты с ослепительной роскошью и буквально залиты бриллиантами. За ними виднеется истомленное и сжавшееся в кулачок лицо Евгении Максимилиановны, одетой с большим вкусом в светло-сиреневый костюм. Сзади императриц тесной кучей стоят остальные принцессы крови, а в дверях, ведущих в смежную комнату, виднеется глупое и чрезвычайно важное лицо светлейшей княгини Голицыной.

Но вот и государь... Я не видал его близко с 1898 года и нахожу в нем мало перемен: он только более бледен, чем его приходилось видеть. Он идет ровно, неторопливой походкою к трону, как бы нерешительно входит на его ступени и садится... Наступает минута молчания. Он делает какой-то знак левой рукой, и министр двора Фредерик почтительно подает ему бумагу, кажется свернутую пополам. Государь встает, делает два шага вперед и при первых звуках своего голоса весь преобразается, выпрямляется и с оживленным лицом, внятными и громким голосом, в котором слышатся порою чуждые русскому уху, отдаленные звенящие звуки, читает свою речь к «лучшим людям» с большим мастерством, оттеняя отдельные слова и выражения и делая необходимые паузы. В одном месте, где говорится о сыне — наследнике престола, в голосе его звучат ноты тревожной нежности. Но вот он окончил и сделал легкий поклон на обе стороны. В зале звучит сперва негромко, но потом все возрастающее «ура», которое, мне кажется, исходит и от членов Думы, хотя многие при выходе из дворца меня и уверяют, что члены Думы вовсе не кричали, а некоторые даже демонстративно закрывали рот рукой.

Царская фамилия быстро удаляется, и все присутствующие пестрой и оживленной толпой спешат к выходу. Площадь запружена экипажами и извозчиками и под яркими лучами солнца представляет очень оживленный вид. Я еду домой со смутным чувством, сознавая, что присутствовал при не совсем ожидаемом для многих участников погребения самодержавия. У его еще отверзтой могилы я видел и трех его наследников: государя, Совет и Думу. Первый держал себя с большим достоинством и порадовал мое старое сердце, которое боялось увидеть русского царя объатым

недостойным страхом и забывающим, что *Caesarem licet standem mori*¹.

Второй — жалкое и жадное сборище вольноотпущенных холопов — не обещает многого в будущем, несмотря на свою сословную и торгово-промышленную примесь... Но Дума, Дума — что даст она? Поймут ли ее лучшие люди лежащую на них святую обязанность ввести в плоть и кровь русской государственности новые начала справедливости и порядка, как это успели сделать со своей задачей мировые посредники первого призыва? И пред этим роковым вопросом сердце сжимается с невольной тревогой и грустным предчувствием.

27 апреля 1906 г.

НИКОЛАЙ II

(Воспоминание)

Перебирая впечатления, оставленные во мне павшим так бесславно Николаем II и, быть может, обреченным на гибель, и воспоминания о его деятельности как человека и царя, я не могу согласиться ни с одним из господствующих о нем мнений.

По одним — это неразвитый, воспитанный и укрепившийся в безволии человек, соединявший упрямство с привлекательностью в обращении: «un charmeur»². По другим — коварный и лживый византиец, признающий только интерес своей семьи и их эгоистически оберегающий, человек недалекий по кругозору, неумный и необразованный. Большая часть этих определений неверна.

Умно и даже трогательно написанный отказ от престола, почему-то адресованный начальнику штаба, и мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что это человек несомненно умный, если только не считать высшим развитием ума разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий, а не развивать только свою мысль в одном исключительном направлении. Можно сказать, что из пяти стадий мыслительной способности человека: инстинкта, рассудка, ума, разума и гения, он обладал лишь средним и, быть может, бессознательно первым. Точно так же он не был ограничен и необразован. Я лично видел у него на письменном столе номер «Вестника Европы», заложённый

¹ Цезарю дано показать, как надо умирать (лат.).

² очарователь (фр.).

посредине разрезкой, а в беседе он проявлял такой интерес к литературе, искусству и даже науке и знакомство с выдающимися в них явлениями, что встречи с ним, как с полковником Романовым, в повседневной жизни могли быть не лишены живого интереса. Если считать безусловное подчинение жене и пребывание под ее немецким башмаком семейным достоинством, то он им, конечно, обладал. Я помню, как дрогнул от чувства и сдержанных слез его голос, когда, говоря свою речь в 1906 году перед открытием Государственной думы в тронном зале Зимнего дворца, он упомянул о своем сыне. Но поручение надзора за воспитанием ребенка какому-то матросу под наблюдением психопатической жены и отсутствие заботы о воспитании дочерей заставляют сомневаться в серьезном отношении его к обязанностям отца. Представители мнения о его умственной ограниченности любят ссылаться на вышедшую во время первой революции «брошюрку» «Речи Николая II», наполненную банальными словами и резолюциями. Но это не доказательство. Мне не раз приходилось слышать его речи по разным случаям. И я с трудом узнавал их потом в печати — до того они были обесцвечены и сокращены, пройдя сквозь своеобразную цензуру. Я помню, как по вступлении на престол он сказал приветственную речь сенату, умную и содержательную. По просьбе министра юстиции Муравьева я передал ему ее по телефону в самых точных выражениях и на другой день совершенно не узнал ее в «Правительственном вестнике». Мне думается, что искать объяснения многого, приведшего в конце концов Россию к гибели и позору, надо не в умственных способностях Николая II, а в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде его поступков. Достаточно припомнить посещение им бала французского посольства в ужасный день Ходынки, когда по улицам Москвы развозили пять тысяч изуродованных трупов, погибших от возмутительной по непредусмотрительности организации его «гостеприимства», и когда посол предлагал отсрочить этот бал.

Стоит вспомнить его злобную выходку о «бессмысленных мечтаниях» перед лицом земств и подтверждение в указе министру внутренних дел особого благоволения земским начальникам в ответ на восторженное отношение к нему и его молодой жене всего населения Петербурга после его вступления на престол, что очень напоминает издание закона о земских начальниках его отцом вслед за восторгом всей России по поводу спасения его семьи от крушения поезда в 1888 году. Достаточно, наконец, вспомнить равно-

душное отношение его к поступку генерала Грибского, утопившего в 1900 году в Благовещенске-на-Амуре пять тысяч мирного китайского населения, трупы которых затрудняли парходное сообщение целый день, по рассказу мне брата знаменитого Верещагина; или равнодушное попустительство еврейских погромов при Плеве; или жестокое отношение к ссылаемым в Сибирь духоборам, где они на севере обрекались как вегетарианцы, на голодную смерть, о чем пламенно писал ему Лев Толстой, лишению которого христианского погребения синодом «возлюбленный монарх» не воспрепятствовал, купив одновременно с этим на выставку передвигателей репинский портрет Толстого для музея в Михайловском дворце. Нельзя не вспомнить одобрения им гнусных зверств мерзавца — харьковского губернатора И. М. Оболенского при «усмирении» аграрных беспорядков в 1892 году.

Можно ли, затем, забыть Японскую войну, самонадеянно предпринятую в защиту корыстных захватов, и посылку эскадры Небогатова со «старыми калошами» на явную гибель, несмотря на мольбы адмирала. И это после почина мирной Гаагской конференции. Можно ли забыть ничем не выраженную скорбь по случаю Цусимы и Мукдена и, наконец, трусливое бегство в Царское Село, сопровождаемое расстрелом безоружного рабочего населения 9 января 1905 г. Этою же бессердечностью можно объяснить нежелание ставить себя на место других людей и разделение всего мира на «я» или «мы» и «они». Этим объясняются жестокие испытания законному самолюбию и чувству собственного достоинства, наносимые им своим соотрудникам на почве сомнения или даже зависти, которые распространялись даже на членов фамилии, как, например, на великого князя Константина Константиновича. Таковы отношения к Витте, таковы, в особенности, отношения к Столыпину, которому он был обязан столь многим и который для спасения его династии принял на душу тысячи смертных приговоров.

Неоднократно предав Столыпина и поставив его в беззащитное положение по отношению к явным и тайным врагам, «обожаемый монарх» не нашел возможным быть на похоронах убитого, но зато нашел возможным прекратить дело о попустителях убийцам и сказал, предлагая премьерство Коконцеву: «Надеюсь, что вы меня не будете заслонять, как Столыпин?» Такими примерами полно его царствование. Восьмидесятилетний Ванновский, взявший на свои трудовые плечи тяжкое дело народного просвещения в смутные годы, после ласкового и любезно встреченного доклада о преобразовании средней школы получил записку о своем

увольнении. Обер-прокурор синода Самарин, приехав на другой день после благосклонно принятого доклада в совете министров, прочел записку царя к Горемыкину, в которой стояло: «Я вчера забыл сказать Самарину, что он уволен. Потрудитесь ему сказать это». Несчастный Макаров, тщетно просившийся в отставку, получил ее по телеграфу из Ставки, лишь когда затрундился вопреки закону прекратить дело Манасевича-Мануйлова. Вечером того же дня, когда утром Кауфман-Туркестанский был удостоен лобзаний и приглашения к завтраку за то, что он рассказал об опасностях, грозящих России и династии, он получил увольнение от звания, давшего ему возможность личных свиданий с государем. Председателям Государственной думы, являвшимся с докладом о деятельности этого учреждения, оказывался «высокомилостивый прием» и вслед за тем Дума распускалась, причем промежутки в ее занятиях становились все длиннее. Предательство распространялось не только на лица, но и на учреждения. Относительно указа 17 октября 1905 г. практиковалось явное нарушение данных обещаний. Государственный совет упорно наполнялся крайними правыми, причем к 1 января 1917 г. был уволен Голубев и призвана шайка прохвостов, нарочно подобранных стараниями Щегловитова. Монарх принял с благодарностью значок «Союза русского народа» и приказывал оказывать поддержку клеветническим и грязным изданиям черносотенцев. Наконец, проявившие малейшую самостоятельность в пользу прав церкви иерархии Антоний и Владимир подвергались явному неблаговолению, несмотря на услужливость первого по вопросу о существующих мощах старца Серафима и о лишении христианского погребения Толстого. Наконец — и это очень характерно — когда старый Государственный совет постановил обратить внимание государя на своевременность отмены телесных наказаний, последовал отказ и резолюция: «Я сам знаю, когда это надо сделать!»

Ко всему этому нельзя не признать справедливой характеристику Николая II, сделанную в 1906 году одним из правых членов Государственного совета: «с'est un lâche, et un lâcheur»¹.

Трусость и предательство прошли красной нитью через все его царствование. Когда начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он начинал уступать поспешно и непоследовательно, с трусливой готовностью, то уполномочивая Комитет министров на реформы,

¹ это трусость, и (он) трус (фр.).

то обещая Совещательную Думу, то создавая Думу Законодательную в течение одного года. Чуждаясь независимых людей, замыкаясь от них в узком семейном кругу, занятом спиритизмом и гаданьями, смотря на своих министров как на простых приказчиков, посвящая некоторые досужие часы стрельбам ворон у памятника Александры Николаевны в Царском Селе, скупое и редко жертвуя из своих личных средств во время народных бедствий, ничего не создавая для просвещения народа, поддерживая церковно-приходские школы и одарив Россию избытком мощей, он жил, окруженный сетью охраны, под защитой конвоя со звероподобными и наглými мордами, тратя на это огромные народные деньги. Отсутствие сердечности и взгляд на себя как на провиденциального помазанника божия вызывали в нем приливы горделивой самоуверенности, заставлявшей его ставить в ничто советы и предостережения немногих честных людей, его окружавших или с ним беседовавших, и допустившей его сказать на новогоднем приеме японскому послу за месяц до объявления Японией пагубной для России войны: «Le Japon finira par me facher»¹. А между тем судьба посылала ему предостережения, на которые он, даже только как образованный человек, должен был обратить внимание, намятуя уроки истории. Между ними было главное — смутное время 1905—1908 гг., когда первая революция сыграла пролог ко второй, показав во внушительных размерах, чем может грозить русской культуре, единству, справедливости, порядку и человеколюбию «русский бунт — бессмысленный и беспощадный». Кровь массы неповинных жертв не возопила перед ним, и, освободившись от ненавистных ему Витте и Столыпина, он с особым тщанием стал выбирать руководителями внутренней политики таких ничтожных людей, как Горемыкин, Штюрмер и, наконец, безличный князь Голицын, давая им в помощь таких министров, как Маклаков, Алексей Хвостов и Протопопов, покупая минутное расположение думы увольнением в отставку неугодных ей министров и дразня ее увольнением вслед за тем таких людей, как Кривошеин, граф Игнатъев, Александр Хвостов (честный человек, несмотря на свои ошибки) и Поливанов. А между тем судьба была к нему благосклонна. Ему, по евангельскому изречению, вина прощалась семьдесят семь раз. В его кровавое царствование народ не раз объединялся вокруг него с любовью и доверием. Он искренно приветствовал его брак с «Гессен-

¹ Япония кончит тем, что меня рассердит (фр.).

Даршматской» принцессой, как ее назвал на торжественной ектинии протоиерей Исаакиевского собора. Народ простил ему Ходынку; он удивлялся, но не роптал против Японской войны и в начале войны с Германией отнесся к нему с трогательным доверием. Но все это было вменено в ничто, и интересы родины были принесены в жертву позорной вакханалии распутизма и избеганию семейных сцен со стороны властолюбивой истерички. Отсутствие сердца, которое подсказало бы ему, как жестоко и бесчестно привел он Россию на край гибели, сказывается и в том отсутствии чувства собственного достоинства, благодаря которому он среди унижений, надругательства и несчастья всех близких окружающих продолжает влачить свою жалкую жизнь, не умея погибнуть с честью в защите своих исторических прав или уступить законным требованиям страны. Этим же отсутствием сердца я объясняю и то отсутствие негодования или праведного гнева за судьбы людей и подданных, пострадавших от противозаконных и вредных действий его сатрапов. Достаточно припомнить безнаказанность виновников Ходынки, связанную с отобранием у графа Палена возложенного на него следствия, на безнаказанность целого ряда негодяев, облеченных званием столичного градоначальника, оставление без последствий бездействия в Москве в 1915 году придворного хама Сумарокова-Эльстона, допустившего грабеж на миллионы рублей. Невольно вспоминаются слова Столыпина: «Да рассердитесь же хоть раз, ваше величество!»

Обращаясь к непосредственным личным воспоминаниям, я должен сказать, что хотя я и был удостаиваем, как принято было писать, «высококомилостивым приемом», но никогда не выносил я из кабинета русского царя сколько-нибудь удовлетворенного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд газели, чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая. Мне особенно вспоминается представление ему в 1896 году, когда оказалось, что он не знает о завещанных ему Ровинским драгоценных собраниях офортов Рембрандта, несмотря на то что такие уже целый год как были переданы душеприказчиками в министерство двора. При этом он, предвкушая будущий заговор против меня господ Плеве и Муравьева, выразил сомнение, дадут ли мне возможность мои прямые служебные обязанности читать, как я предполагал, в университете курс судебной этики. В другой раз, в 1898 году, он, со свойственным Романовым лукавством, уномянув, что читал в газетах о том, что должна

состояться моя публичная лекция в зале генерал-прокурорского дома, спросил меня, в чью пользу и о чем я намерен говорить, хотя в газетном известии было с точностью обозначено, что лекция будет в пользу благотворительного общества судебного ведомства о Горбунове. Когда я упомянул о последнем, он тоном недоумевающего порицания спросил меня, что побудило меня избрать такую тему. Я понял, что это — результат глухого недовольства сенаторов на то, что их товарищ выступает публично, выходит на аплодисменты публики и, таким образом, унижает свое высокое звание вместо того, чтобы играть в Английском клубе до утра и платить штрафы. Выслушав, однако, мою ссылку на слова Пушкина: «Мы ленивы и нелюбопытны», с прибавкою от себя слов «и неблагодарны», и мое объяснение того значения, которое имеет Горбунов в литературе и искусстве, государь сказал мне, что вполне со мною согласен, и стал восхищаться старинным русским языком у Горбунова. Каждый раз, когда мне приходилось ему представляться и выслушивать его обычный вопрос: «Что вы теперь пишете и что теперь интересного в сенате или Совете?» — я присоединял к моему ответу, по возможности, яркое и сильное указание на ненормальные явления и безобразия нашей внутренней жизни и законодательства, стараясь вызвать его на дальнейшую беседу или двинуть в этом направлении его мысли. Но глаза газели смотрели на меня ласково, рука, от почерка которой зависело счастье и горе миллионов, автоматически поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь вопросом «из другой оперы». Мне пришлось его видеть и в тяжкие минуты первой революции в Александровском дворце, вокруг которого веяло отчужденностью и тревогой. После нескольких ласковых вопросов мне о состоянии моего здоровья ввиду предстоящей мне лечебной поездки за границу я попытался заговорить о задачах будущей деятельности Государственного совета и о том, что все успокоится, если только правительство нелицемерно исполнит обещание, данное государем в Манифесте 17 октября и в речи при открытии I Думы. На этот раз тусклый взгляд непроницаемых глаз сопровождал не прямой ответ: «Да! Это (конечно, подразумевалась смута) везде было. Все государства через это прошли: и Англия, и Франция...» Я едва удержался, чтобы не сказать: «Но ведь там вашему величеству отрубили голову!» С тех пор прошло 13 лет, и ни одно из обещаний, данных торжественно, не было осуществлено прямодушно и без задней мысли. И, в сущности, в пере-

носом смысле, глава монарха скатилась на плаху бездействия, безвластия и бесправия.

Наоборот всему, что сказано выше о Николае II, личные встречи с императрицей Александрой Федоровной могли бы оставить во мне чувство известного нравственного удовлетворения за лицо, которому могло предстоять благотворное влияние на монарха. В первый раз мне пришлось ее видеть в качестве члена попечительства в домах трудолюбия, основанных по ее желанию и под ее председательством. Она живо интересовалась этим делом, и все ее вопросы и замечания были проникнуты большой, хотя и, надо заметить, теоретической обдуманностью. Она, очевидно, старалась держаться в пределах предоставленной ей деятельности и избегала вмешательства в общегосударственные вопросы. Когда по поводу равнодушного отношения Петербургской городской думы к учреждению попечительства о бедных в противоположность Москве я заметил, что и там это дело обязано своим возникновением и развитием энергичной деятельности профессора Герье и может с его кончиной заглохнуть, она спросила меня, в чем кроется причина этого, и я ответил указанием на нелепое городское положение, в силу которого в Думу допускаются исключительно домовладельцы и промышленники, и, например, я лично — уроженец Петербурга и проживший в нем почти 50 лет — не имею права быть гласным думы, если не выправлю торгового или промыслового свидетельства хотя бы на торговлю спичками. «Но как же этому помочь?» — спросила она меня. «Madame, — ответил я, — pour choquer cet ordre qui n'est qu'un désordre, il y a un seul remède: la volonté, de votre auguste époux. Et vous n'avez qu'à lui parler la dessus»¹. Она быстро прервала разговор на эту тему и почти перебила меня словами: «Est-ce qu'en été vous habitez toujours Petersbourg?»², давая тем понять, что я рекомендую ей нежелательную роль. Но в делах попечительства она держалась самостоятельных взглядов и стояла всегда на разумной и целесообразной стороне. Это было нелегко для нее. Она была застенчива и выражалась с трудом, хотя всегда весьма определенно и решительно, несмотря на то что докладчиком и руководителем в заседаниях был лукавый царедворец Танеев, старавшийся держать ее в бюрократи-

¹ Мадам, чтобы изменить этот порядок, который является только беспорядком, есть единственное средство — воля вашего августейшего супруга. И вы должны только поговорить об этом (фр.).

² Вы летом всегда живете в Петербурге? (фр.).

ческом застенке, сводя некоторые вопросы к личной чиновничьей конкуренции с честным, но недалеким секретарем императрицы графом Ламздорфом. Этот в душевном отношении «moralisch hohler Mensch»¹ находил себе союзников в некоторых из членов Комитета и иногда в приглашенных министрах. Впервые ей пришлось проявить себя, помимо некоторых назначений и увольнений, шедших вразрез с иерархическими привычками бюрократии, в вопросе об общественных работах в помощь голодающим в 1900—1901 гг. Вопрос об этой помощи со стороны попечительства был возбужден мною, но встретил категорическое несочувствие членов Комитета, согласившихся с Танеевым, что задача попечительства ограничивается исключительно устройством мертворожденных и бесполезных домов трудолюбия, вместо работных домов с принудительным трудом, и немногочисленных Ольгинских приютов. Я остался при мнении, которое потребовал внести в журнал, вернувшийся от императрицы с надписью: «Вполне разделяю мнение сенатора Кони», и общественные работы были начаты энергически под руководством Галкина-Врасского. И потом неоднократно она умела прислушаться к правдивому голосу вопреки уверений угодливых советников или молчаливых попустителей напрасной траты народных денег, ежегодно ассигнуемых в распоряжение попечительства. Так, несмотря на предварительную обработку ее согласия, она в заседании Комитета согласилась со мной вопреки молчанию всех присутствующих, и в том числе Вите и Сипягина, о совершенной недопустимости уплаты графине Платер-Зибберг огромной суммы за ее фабрику плетеных изделий в Иллуkste под ложным предлогом, что это тоже дом трудолюбия. Так, в другом заседании, где обсуждалась просьба «сестры Варвары», поддержанная великой княгиней Елизаветой Федоровной и Танеевым, устроившим даже предварительное совещание, о выдаче ей значительной суммы на устройство кирпичного завода для обучения в трехдневный срок высылаемых из Петербурга бродяг и хулиганов (так называемых Спиридонов-Поворотов), Александра Федоровна, несмотря на молчаливое согласие всех, примкнула к моему отрицательному мнению и положила предел этой скверной затее.

Наконец, она искренно возмутилась, когда после доклада о наградах, полученных разными домами трудолюбия в Петербурге от Комитета Всероссийской промышленной выставки, ей пришлось выслушать положенный мною отчет

¹ пустой человек (нем.).

ревизионной комиссии этого же Комитета, из которого оказалось, что награды выданы за предметы, купленные со стороны или сделанные посторонними мастерами. Указание мое на повторение путешествия Екатерины Великой по Днепру с декоративными селениями вызвало с ее стороны требование, чтобы правлениям этих домов был сделан выговор, и о том было напечатано в «Правительственном вестнике». Наконец, она сделала крупное пожертвование для учреждения премии за лучшие сочинения и исследования по вопросам трудовой помощи. В каком трудном положении ей приходилось быть, показывает сделанная мною запись о заседании по ходатайству Виленского еврейского общества об учреждении дома трудолюбия, прилагаемая мною к этой тетради (см. в главе VII воспоминаний о крушении)¹.

Нельзя сказать, чтобы внешнее впечатление, производимое ею, было благоприятно. Несмотря на ее чудные волосы, тяжелой короной лежавшие на ее голове, и большие темно-синие глаза под длинными ресницами, в ее наружности было что-то холодное и даже отталкивающее. Горделивая поза сменялась неловким подгибанием ног, похожим на книксен при приветствии или прощанье. Лицо при разговоре или усталости покрывалось красными пятнами, руки были мясisty и красны.

Но если мои личные воспоминания о ней, относящиеся к периоду с 1898 до 1904 года, в общем и благоприятны, то я не могу того же сказать о ее деятельности в делах общегосударственных. Уже в конце 90-х годов я слышал от Е. А. Нарышкиной рассказы о ее различных *faits et gestes*², направленных к укреплению в муже идеи, что он как самодержавец имеет право на все, ничем и никем не стесняемый. Это настроение, по-видимому, усилилось с рождением наследника престола, и когда она пришла, бестактно залитая брильянтами, в тронную залу на объявление нашей кудрой конституции, кислое выражение ее по обычаю опущенных углов рта на бледном лице не обещало ничего хорошего, и действительно, затем началось постепенное воздействие на личные назначения, дошедшее до следования указаниям Распутина. Слепо доверявшаяся деланным телеграммам, заказанным «Союзом русского народа» и таким проходимцем, как Протопопов, и видя в них непреложное доказательство народной любви, она презрительно и высоко-

¹ Эта запись в тексте статьи отсутствует (см. т. 1. Собр. соч. А. Ф. Кони).

² проделках, поступках (*фр.*).

мерно относилась к просвещенной части русского общества, к Государственной думе и даже к членам своей фамилии, пытавшимся указать ей на надвигавшуюся опасность, не останавливаясь даже перед мстительными жалобами, как, например, против княгини Васильчиковой, высланной затем из Петербурга. Я не имею основания думать, чтобы суеверная, полурелигиозная и полуполовая экзальтация, вызвавшая у нее почти обоготворение Распутина, имела характер связи. Быть может, негодяй влиял на ее материнское чувство к сыну разными предсказаниями и гипнотическим воздействием, которое попадало на бессознательную почву нервной возбудимости. Едва ли даже «старец» имел через нее то влияние на назначения, которое ему приписывалось, так как именно после его убийства ее роковое влияние на дела возросло с особой силой. Деловое влияние Распутина в значительной степени создавалось раболепством и хамскими происками лиц, получавших назначения, причем он являлся лишь ловким исполнителем и отголоском их вожделений. Поэтому в этой сфере вредное влияние императрицы, быть может, было менее, чем его рисовали. Но ей нельзя простить тех властолюбия и горделивой веры в свою непогрешимость, которые она обнаружила, подчиняя себе мысль, волю и необходимую предусмотрительность своего супруга. Она не любила русский народ, признавая в нем хорошим, как мне говорила Нарышкина, лишь монашество и отшельничество; она презирала его и ставила ниже известных ей европейских народов, что особенно резко выразилось в ее разговоре с Е. В. Максимовым по поводу женщин-работниц. Еще более нельзя ей простить и даже понять введение дочерей в круг влияния Распутина, послужившее лет семь назад поводом к выходу в отставку фрейлины Тютчевой. Опубликованные в последнее время письма несчастных девушек к наглому и развратному «старцу» и их имена на иконе, оказавшейся на шее его трупя, показывают, в какую бездну внутреннего самообмана, ханжества и кликушества и внешнего позора огласки и двусмысленных комментариев повергла своих дочерей «Даршматская принцесса», ставшая русской царицей и почему-то воображавшая, что ее обожает презираемый ею русский народ...

VI

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ



СТРАНИЧКА ИЗ ЖИЗНИ ПУШКИНА

На вершине одной из крутых скал, окружающих Карлсбад, стоит крест, срубленный и поставленный, по преданию, Петром Великим. Возле него надпись из стихов князя Вяземского: «Великий Петр, твой каждый след — для сердца русского есть памятник священный». Сюда вечный работник на троне ходил молиться и отдавать отчет богу в своих мыслях, чувствах и действиях для осуществления «предназначения» России. Он был счастлив в своей земной загробной жизни: потомство признало величие его личности и благотворную глубину его дела; он нашел себе восторженного певца и истолкователя в лице великого русского поэта. По отношению к последнему можно сказать, что и его «каждый след для сердца русского есть памятник священный». Вот почему является радостное чувство при мысли, что есть возможность огласить один из таких следов — в виде обнаруженного мною летом настоящего года неизвестного еще письма Пушкина, которое, входя в серию его писем второй половины 1826 года, объединяет их и освещает в них некоторые неясные места.

Но прежде чем обратиться к этому письму, следует очертить, по отношению к Пушкину, то время, когда оно написано.

1826 год застал Пушкина на принудительном жительстве в селе Михайловском, Опочецкого уезда, Псковской губернии, куда он был выслан из Одессы. Пребывание в Михайловском было одним из звеньев в цепи его насильственных скитаний. Было бы, однако, несправедливо, с точки зрения результатов, сурово упрекать судьбу за это.

Являясь мачехой по отношению к личной свободе поэта, она была тяжким млатом, необходимым для развития его

душевных свойств. Она выковала его талант и, заставив поэта углубиться в самого себя, дала ему богатый материал для поэтических образов и поставила его в живое, чуткое и отзывчивое соприкосновение с народом.

Первая ссылка Пушкина выразилась в его командировке в распоряжение генерала Инзова и благодаря доброте и благородству последнего дала возможность Пушкину познакомиться с Крымом и Кавказом, с Украиной и Бессарабскими степями, создать «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Братьев-разбойников» и задумать «Евгения Онегина». Инзов не верил, чтобы из Пушкина мог выйти добропорядочный чиновник, но допускал, однако, что он «по крайней мере, может быть великим писателем». Но на смену Инзову явился Воронцов, нравственный склад и практический государственный ум которого не мирился с резвостью и свободолюбием пушкинской музыки. Для Воронцова Пушкин был лишь «слабым подражателем далеко не почтенного образца», т. е. Байрона. Разлад между ним и Пушкиным не замедлил обнаружиться. «Воронцов думает, что я коллежский секретарь, — писал Пушкин, — но я мыслю о себе выше». Посылка на саранчу, вызвавшая едкую шутку Пушкина, и гоголевский почтмейстер, бессмертный и любознательный почтмейстер, сделали свое дело.

В то время, когда Александр I, этот, по выражению князя Вяземского «сфинкс, неразгаданный до гроба», все более и более погружался в пучину сомнений в себе и в людях, подпадая под влияние Аракчеева и мрачного изувера Фотия, — перехваченное письмо поэта, заявившего, что он берет уроки чистого атеизма, звучало как тяжкое обвинение. Чувя опасность, Пушкин просился в отставку. Его, однако, не пустили, и он имел основание говорить:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье...
Уснув, не знаю, где проснусь.

29 июля 1824 года, дав накануне подписку о безотлагательном, нигде не останавливаясь, следовании в Псков и чудными стихами простившись с морем, он был выслан в родовое село свое Михайловское. Здесь под тройным надзором — предводителя дворянства Пещурова, настоятеля Успенского Святогорского монастыря и своего отца — в забытой «глуши, во мраке заточенья», «в обители пустынных вьюг и хлада» потекли для него тусклые и тяжелые дни, особенно омраченные ссорами с отцом, взбалмошным и слез-

ливым эгоистом. «Поэта дом опальный» подчас до того становился для него невыносимым, что он писал Жуковскому: «Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем», и думал о самоубийстве, находя, что «глупо час от часу вязнуть в тине жизни». Но с начала 1825 года в этом печальном существовании стали являться просветы, приносившие с собою успокоение и жизнерадостную бодрость.

В феврале Пушкина посетил И. И. Пущин — «мой первый друг бесценный», — которому через 33 года после этого слезы мешали писать о их радостном свидании; затем отозвалась княгиня Е. К. Воронцова, талисманом которой так дорожил воспевший ее Пушкин, произошла вторичная встреча с Керн, сказалась гостеприимная доброта тригорского дома и вступила в свои трогательные права заботливость старой няни Арины Родионовны, недаром внушившей Пушкину слова: «голубка дряхлая моя», «подруга дней моих суровых». Все это повлияло на душевное настроение Пушкина. Его душе «настало пробужденье»; она стала жить и получила дар слез и любви. Именно в это время он, по собственным словам, почувствовал, что «дух его вполне развился и он может творить». Из-под пера его вылились: ряд глав «Евгения Онегина», сцены из «Фауста», «Цыганы» и ряд удивительных лирических произведений, между которыми достаточно назвать «19 октября», «Я помню чудное мгновенье», «Подражания Корану», «Пророк» и «Андрей Шенье».

Поэтому, когда 8 сентября 1826 года, доставленный в Москву по высочайшему повелению, Пушкин предстал перед императором Николаем I, он сознавал, как уже мною было однажды высказано, что от земной власти могли зависеть многие существенные условия его личной жизни и даже объем содержания тем для его творчества, но не его «предназначенье». Он чувствовал, что его призвание — быть «пророком» своей родины, «глаголом жечь сердца людей» и ударять по ним «с невиданною силой». Его ждало загадочное и тревожившее его разрешение его судьбы, но он не забывал, что ему, «избранному небом певцу», нельзя «молчать, потупя очи долу». Он взял с собою, по словам Веневитинова, для оставления государю стихии, кончавшиеся словами: «Восстань, восстань, пророк России, — позорной ризой облекись», и, верный своей ненависти ко лжи до забвения собственной опасности, «мужаясь, презирая обман и стезею правды бодро следуя», на роковой вопрос: «Принял ли бы он участие в мятеже 14 декабря 1825 года?» — отвечал утвердительно, ссылаясь на свою дружбу с заговорщиками.

Государь оценил прямодушие поэта, «почтил его вдохновение и освободил его мысль». Пушкин получил свободу жить в Москве. Он не мог еще предвидеть, как — согласно народной поговорке «жалует царь, да не жалует псарь» — лукаво и оскорбительно для него извратит шеф жандармов Бенкендорф обещание государя быть самому его цензором, извратит до такой степени, что Пушкину придется в 1835 году все униженно просить цензурный комитет об урегулировании своих отношений к цензуре и скрывать имя автора при печати «Капитанской дочки».

Уже в ноябре 1826 года Бенкендорф стал между двумя царями — царем русской земли и царем русской поэзии, — ограничивая добрые намерения первого и стесняя великий талант второго. Но в сентябре этого еще не было, и Пушкин после 8 сентября сразу окунулся в шумную, по случаю коронационных торжеств, жизнь московского общества. «Москва приняла Пушкина, остановившегося у приятеля своего Соболевского, с восторгом, — пишет в своих воспоминаниях Шевырев, — его везде носили на руках, во всех обществах, на всех балах первое внимание устремлялось на него, в мазурке и котильоне дамы выбирали поэта непрерывно».

«Однозвучный жизни шум» не мог, однако, увлечь Пушкина и наполнить его жизнь. Он жаждал делиться последними плодами своего торжества и проверять его в кружках истинных ценителей и судей. Он трижды читал у князя Вяземского и Веневитинова «Бориса Годунова», относительно которого ему был впоследствии преподан, под влиянием записки Бенкендорфа, внушительный совет свыше «переделать свою комедию, по нужном очищении, в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта». Слушатели чтений — Веневитинов, Баратынский, Мицкевич, Хомяков, братья Киреевские, Шевырев, князь Вяземский — не разделили, однако, такого взгляда, находя, по-видимому, что подражать Вальтеру Скотту в том, что достойно Шекспира, не следует. «О, какое удивительное было утро, оставившее следы на всю жизнь! — восклицает Погодин, вспоминая через 40 лет об одном из таких чтений. — Не помню, как мы разошлись, как dokonчили день, как улеглись спать; да едва ли кто и спал в эту ночь: так были мы потрясены...»

В начале ноября Пушкин на очень краткое время покинул Москву и 9-го уже сообщает из Михайловского князю Вяземскому о «поэтическом наслаждении возвратиться вельным в покинутую тюрьму». Но 21 ноября он опять в

Москве, оттуда пишет Языкову по поводу сотрудничества его в «Московском вестнике». Это вторичное пребывание его в Москве было, очевидно, очень непродолжительным, так как в конце ноября он уже собирается из Михайловского приехать в Москву к 1 декабря, но болезнь задерживает его во Пскове, откуда ему удается выбраться лишь около половины декабря.

В письме к князю Вяземскому от 9 ноября Пушкин, между прочим, говорит: «Долго здесь не останусь. В Петербург не поеду; буду у вас к 1-му [декабря]... она велела. Милый мой, Москва оставила во мне неприятное впечатление, но все-таки лучше с вами видеться, чем переписываться». Ему же пишет он из Пскова от 1 декабря: «Еду к вам и не доеду. Какой! Меня доезжают... во Пскове вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрывал в штос четвертную. Не забавно!..» В конце ноября, из Пскова он посылает Соболевскому какое-то письмо на имя Зубкова, говоря: «Перешли письмо Зубкову, без задержания малейшего. Твои догадки гадки, виды мои гладки. На днях буду у вас, покамест сижу или лежу в Пскове».

Письмо к Зубкову, которому Пушкин придавал такое значение, ныне найдено. Оно находилось в обладании выдающегося русского политического мыслителя и ученого, Бориса Николаевича Чичерина, в феврале 1904 года похищенного смертью у науки и русского общества, правосознанию которого он служил всеми силами своей благородной и непреклонной души.

Василий Петрович Зубков, родившийся 14 мая 1800 года, воспитывался дома и обучался затем в основанной и руководимой генералом Н. Н. Муравьевым «школе для колонновожатых». Это замечательное заведение, содержимое на частные средства своего учредителя, с чрезвычайно разумной и целесообразно-практической программой, готовило молодых людей главным образом к деятельности, ныне свойственной офицерам генерального штаба. Но из него вышло несколько выдающихся деятелей не на одном военном поприще, сохранивших о Муравьеве самые благодарные воспоминания. По словам одного из них (А. Ф. Вельтмана), учение в школе шло «свободно, легко и весело», увлекала «молодые чувства, полные стремлений к жизни, к деятельности, к участию в общественной пользе». Здесь «наука воплощалась в опыт — мысль и слово в дело, — а голова не была в разлуке с мышцами, требующими движения». Тяжелое нездоровье заставило, однако, Зубкова оставить служ-

бу в колонновожатых, которые считались состоящими в свите государя, и перейти в коллегию иностранных дел, откуда в 1823 году он поступил на службу по судебному ведомству советником Московской палаты гражданского суда. В 1825 году на него пало подозрение в участии в одном из тайных обществ, подготовивших заговор, выразившийся в событиях 14 декабря. Существуют записки Зубкова на французском языке, с рисунками пером и карандашом, к сожалению, до сих пор не напечатанные. Они исполнены исторического и бытового интереса. Приемы допроса декабристов, условия содержания подследственных, личности членов следственной комиссии охарактеризованы в них очень метко, переплетаясь с чертами из общественной жизни того времени. Зубков подробно описывает в них свой арест в Москве 3 января 1826 г., вызванный, по его догадкам, его близостью к Пушкину, Калошину и в особенности к Кашкину, — и настроение разных слоев московского общества, выразившееся, с одной стороны, в сочувствии к арестованным и недопущении мысли, чтобы их могли везти в крепость, а с другой стороны, резкими проявлениями малодушия и трусости, доходившими до написания на портретах Орлова и Никиты Муравьева их бывшими подчиненными слова «*traître*»¹ и выкинутием их из гостиной в подвал. Он пробыл в Петропавловской крепости около шести недель и после тяжелых нравственных страданий — у него была семья в Москве — был отпущен на свободу как никем не оговоренный... В 1843 году он был уже обер-прокурором общего собрания московских департаментов, в 1851 году — обер-прокурором первого департамента, а в 1855 году сделан сенатором, но в том же году, по болезни, уволен в отставку.

Человек всесторонне образованный, продолжавший интересоваться наукою в обширном смысле слова, до конца дней, приветливый и добрый, он вносил в разрешение дел в сенате строгое, беспристрастное и нелицемерное стремление к правосудию, умея пользоваться трудом и практическим знанием канцелярских дельцов старого покроя, не давая им в то же время возможности злоупотреблять своим положением. Под его влиянием в восьмом департаменте сената создалась плодотворная школа для молодых юристов, между которыми были такие замечательные цивилисты, как К. П. Победоносцев, и немало будущих деятелей судебной реформы. По выходе в отставку Зубков переселился в Москву, где и скон-

¹ предатель (*фр.*).

чался в 1862 году. В молодые годы он вращался в светском обществе Москвы и был близок с Пушкиным, князем В. Ф. Одоевским и князем Вяземским. О нем вспоминает в своих записках И. И. Пущин, рассказывая, как князь Юсупов, увидя в 1824 году на балу у московского генерал-губернатора неизвестного «штатского», танцующего с дочерью хозяина, спросил Зубкова о том, кто это такой? — и узнав, что это судья надворного суда Пущин («освятивший собою избранный сан», по выражению Пушкина), воскликнул: «Как! Надворный судья и танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-нибудь необыкновенное»...

Василий Петрович Зубков был женат на воспитаннице Екатерины Владимировны Апраксиной, Анне Федоровне Пушкиной, очень дальней родственнице поэта. Зубкова была, по воспоминаниям Елизаветы Петровны Янковой, изящна, как фарфоровая саксонская куколка. Ее сестра, Софья Федоровна, тоже воспитанница Апраксиной, была настоящей красавицей. Стройная, высокая ростом, с прекрасным греческим профилем и черными, «как смоль», глазами, эта умная и милая в обращении девушка произвела сильное впечатление на Пушкина во время его пребывания в Москве осенью 1826 года. К ней относятся в письме его к князю Вяземскому слова: «она велела», и можно не без основания предположить, что именно о ней говорит поэт в стихотворении, написанном 1 ноября 1826 года в Москве и относимом Анненковым то к Кюхельбекеру, то к Плещеву.

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В уныньи робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней!
Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный! будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

Пушкин останавливался, по предположению П. О. Морозова, в один из своих приездов в Москву в 1826 году у Зубкова. У него же написал он свои «Стансы», вызвавшие несправедливые нарекания «друзей», и чудесный его ответ им в 1828 году: «Нет, я не льстец...», который он заключает полными глубокого смысла словами:

Нет, братья, лъстец лукав.
Он горе на царя накличет...
Он из его державных прав —
Одну лишь милость ограничит.

Вот письмо Пушкина, написанное на листе плотной почтовой сероватой бумаги большого формата, без водяных знаков, с золотым обрезаем.

«Дорогой Зубков, вы не получили письма от меня, и вот этому объяснение: я сам хотел 1 декабря, т. е. сегодня, прилететь к Вам, как бомба, так что выехал тому пять-шесть дней из моей проклятой деревни на перекладной, ввиду отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня. У меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать. Взбешенный — я играю и проигрываю. Но довольно: как только мне немного станет лучше, буду продолжать мой путь почтой.

Ваши два письма прелестны. Мой приезд был бы лучшим ответом на размышления, возражения и т. д. Но так как я, вместо того, чтобы быть у ног Софи, нахожусь на постоялом дворе во Пскове, то поболтаем, т. е. станем рассуждать.

Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, т. е. познать счастье. Вы мне говорите, что оно не может быть вечным: прекрасная новость! Не мое личное счастье меня тревожит, — могу ли я не быть самым счастливым человеком с нею, — я трепещу, лишь думая о судьбе, быть может ее ожидающей, — я трепещу перед невозможностью сделать ее столь счастливою, как это мне желательно. Моя жизнь, такая доселе кочующая, такая бурная, мой нрав — неровный, ревнивый, обидчивый, раздражительный и, вместе с тем, слабый — вот что внушает мне тягостное раздумье.

Следует ли мне связать судьбу столь нежного, столь прекрасного существа с судьбою до такой степени печальною, с характером до такой степени несчастным? — Боже мой, до чего она хороша! И как смешно было мое поведение по отношению к ней. Дорогой друг, постарайтесь изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажите ей, что я разумнее, чем имею вид, и доказательство тому — что тебе в голову придет. Мерзкий этот Панин: два года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе, — а я вижу ее раз в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь! Если она полагает, что Панин прав, она должна думать, что я сошел с ума, не правда ли? Объясните же ей, что прав я, что увидев ее — нельзя колебаться, что, не претендуя увлечь ее собою, я прекрасно сделал, прямо придя к развязке, — что, полюбив ее, нет возможности по-

любить ее сильнее [моего], как невозможно впоследствии найти ее еще прекраснее, ибо прекраснее быть невозможно... Ангел мой, уговори ее, настрашай ее Паниным скверным и жени меня!

А. П.

В Москве я Вам кое-что расскажу. Я дорожку моей бирюзой, как она ни гнусна. Поздравляю графа Самойлова».

В объяснение последней приписки надо заметить, что поэт был суеверен. Он верил в приметы и талисманы. В качестве последних у него было несколько перстней. Гаевский указывает на четыре таких: один с сердоликом, подаренный Пушкину графиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, принадлежавший впоследствии И. С. Тургеневу и пожертвованный госпожою Виардо Пушкинскому музею Лицея; другой, подаренный вдове Пушкина Далу, с изумрудом, находящийся ныне у великого князя Константина Константиновича; третий — с бледной, грушевидной бирюзой, подаренный поэту Нащокиным и снятый секундантом Пушкина Данзасом уже с его похолодевшей руки, — и четвертый с маленькою бирюзой.

Быть может, в приписке к письму Пушкина Зубкову речь идет именно об этом последнем перстне, так как, по удостоверению Анненкова, другой перстень с бирюзой был заказан уже в тридцатых годах.

Граф Николай Александрович Самойлов, которого поздравляет Пушкин в приписке к письму, был последним в роде, который пресекал с его смертью, в июле 1842 года. В 1825 году он женился на графине Юлии Павловне фон дер Пален.

Нужно ли говорить о прелести содержания и языка письма Пушкина Зубкову? Благородные стороны пылкой природы поэта и блеска его искрометного ума ярко отразились в этом письме. Но оно имеет еще и особое значение для оценки личности того, кого, в роковом извещении о его кончине, Краевский решил назвать «солнцем русской поэзии», за что и получил выговор. Мы находим в нем характеристику Пушкиным самого себя, сделанную в выпуклых, несмотря на свою сжатость, чертах. Отзывы о самом себе, рассыпанные в его переписке, некоторые места из «Воспоминания», «Коварности» и других стихотворений связаны или с внешними событиями его жизни или отрывочны и неопределенны; «Mon portrait»¹ и «Моя эпитафия», написанные в от-

¹ Мой портрет (*фр.*).

роческие годы поэта, содержат в себе лишь указания на его молодую резвость и беззаботность и не раскрывают нам свойств его души. В письме же к Зубкову — на пороге между молодостью и зрелым возрастом, уже изведав жизнь и познав себя, — Пушкин дает совершенно определенный отзыв о своем характере, указывая на противоречивые черты в нем и определяя его, как несчастный.

Но, кроме того, это письмо служит прекрасным ответом на тот «друзей предательский привет», который, вместе с «неотразимыми обидами» «хладного света», не раз вливал отраву в многострадальную жизнь Пушкина. В этом отношении первое место, по праву, принадлежит запискам барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. Ссылаясь на свою дружбу (?) с Пушкиным, на совместную жизнь в течение пяти лет и снисходя до признания в нем поэтического дарования, барон Корф содрогается всеми фибрами своей «умеренности и аккуратности» пред нравственным образом Пушкина. «Бешеный, с необузданными африканскими страстями» Пушкин не имел, по его словам, ничего любезного и привлекательного в своем обращении; в Лицее он предавался распутствам всякого рода, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Хорош, однако, должен был быть Лицей, «святую годовщину» которого вспоминал с умилением Пушкин, — Лицей, имевший во главе такого замечательного человека и педагога, как Энгельгардт, и выпустивший, на разнородное служение России, одновременно с Пушкиным, князя Горчакова, а впоследствии Салтыкова-Щедрина, Рейтерна, Головнина, братьев Грот и др., — хорош он был, если в нем возможно было учредить непрерывную цепь оргий и вакханалий! Барон Корф ставит Пушкину в вину не только то, что у автора «Безверия» и целого ряда проникнутых глубокою и сознательною верою произведений — не было внутренней религии, но даже и то, что он не имел и какой-то специальной и вероятно подчас не безвыгодной внешней религии. На счет Пушкину дружескою рукою ставится и то, что его сестра «в зрелом возрасте ушла и тайно обвенчалась», причем строки, содержащие это известие, принадлежат не дворянину миргородского повета Ивану Никифоровичу Довгочуну в его прошении в суд, а выдающемуся по своему служебному положению сановнику, который до апогея в своей «горькой правде» о Пушкине, заявляя, что последний «не имел даже порядочного фрака»!

Однако, несмотря на свою развращенность и на отсутствие порядочного фрака, Пушкин был проникнут глубоким

уважением к семейной жизни и к браку. «Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным», — писал он. Увлечения пылкой его натуры никогда не затемняли в нем семейного идеала. «Храните верные сердца — для нег законных и стыдливых», — говорил он в «Подражаниях Корану», и жадное желание семейного счастья звучит во всей его переписке с половины двадцатых годов. И письмо к Зубкову служит блестящим подтверждением желания Пушкина свить себе гнездо. Едва почувствовав относительную свободу, окруженный общим вниманием и ухаживанием, он не меняется на мелкую монету, не находит самоудовлетворения в мимолетных и ни к чему не обязывающих успехах. Его, употребляя оригинальное выражение одной из речей известного адвоката Спасовича, «так и клонит к браку». Прими Софья Федоровна — вышедшая в 1827 году за Валериана Александровича Панина и имевшая от него трех сыновей и дочь — предложение Пушкина, быть может, его творчество было бы поставлено в лучшие условия и не было бы прервано так рано, так жестоко...

Наконец, в этом письме, наряду с восторгом перед красотой Софьи Федоровны, в сомненьях и тревогах Пушкина звучит голос свойственного ему благородного альтруизма, заставлявший его «не почитать других нулями — а единицами себя» и постоянно думать о человеческом достоинстве и возможных страданиях тех, кто встречался ему на жизненном пути...

ИРИНА СЕМЕНОВНА КОНИ,

по сцене Сандунова, актриса и писательница, родилась 5 мая 1811 года в семействе помещика Полтавской губернии Юрьева, умерла 24 сентября 1891 года в Москве, где воспитывалась и провела свои молодые и преклонные годы. В 1837 году под влиянием и по совету своего родственника, известного писателя А. Ф. Вельтмана, выступила на литературное поприще, издав сборник рассказов о «простых случаях жизни» под названием «Повести девицы Юрьевой», — и вслед за тем поступила на императорскую сцену, на которой — сначала в Москве, а потом с выходом замуж за Федора Алексеевича Кони в Петербурге — оставалась более 15 лет, с талантом и тонким пониманием исполняя преимущественно комические женские роли. Сотрудничая в «Лите-

ратурной газете» Краевского, «Репертуаре и Пантеоне» и «Пантеоне» (1852—1856) своего мужа, она поместила в них под фамилией Юрьевой ряд повестей («Воля и доля», «Сапожный снаряд», «Целковый», «Пуля-дура», «Цыганка», «Купеческая дочка»), посвященных описанию столкновений между светскими условностями и житейскою правдою и фактов из жизни незаметных, но глубоко чувствующих людей. К этим, написанным простым и вместе красивым языком и проникнутым теплою верою в лучшие стороны человека, рассказам Кони присоединила уже в начале шестидесятых годов два очерка «Морская пена» и «Новый управитель», напечатанные в журнале «Самообразование». Она же переделала в 1850 году с французского драму «Порыв и страсть». Покинув сцену, Кони продолжала служить драматическому искусству, помогая своим опытом и знаниями устройству спектаклей с благотворительными целями и сама приняв участие в устроенных в начале 60-х годов в Петербурге Литературным фондом спектаклях, в которых играли выдающиеся писатели — Тургенев, Писемский и др. Исполнение ею ролей Кабанихи в «Грозе», свахи в «Женитьбе» и городничихи в «Ревизоре» дало ей, судя по воспоминаниям П. И. Вейнберга, возможность проявить выдающийся талант. До конца дней своих сохранила она искренний интерес ко всему и отзывчивость на всякое горе, оставив в обширном кругу знавших ее прочные воспоминания о жизни своего ума и горячности сердца, не поддавшихся ни глубокой старости, ни недугам.

ТУРГЕНЕВ

В первый раз я близко встретился с Тургеневым в 1874 году, в один из его кратковременных приездов в Петербург. Его вообще интересовали наши новые суда, а затем особое его внимание остановил на себе разбиравшийся в этом году при моем участии, в качестве прокурора, громкий, по личности участников, процесс об убийстве помещика одной из северных губерний, соблаздившего доверчивую девушку и устроившего затем брак ее со своим хорошим знакомым, от которого он скрыл свои предшествовавшие отношения к невесте. [...]

Переписка участников этой драмы, дневник жены и личность убийцы, обладавшего в частной и общественной жизни многими симпатичными и даже трогательными свойствами, представляли чрезвычайно интересный материал для глубокого и тонкого наблюдателя и изобразителя жизни, каким

был Тургенев. Он хотел познакомиться с некоторыми подробностями дела и со взглядом на него человека, которому выпало на долю разбирать эту житейскую драму перед судом. Покойный Виктор Павлович Гаевский привел Тургенева ко мне в окружной суд и познакомил нас. Как сейчас вижу крупную фигуру писателя, сыгравшего такую влиятельную роль в умственном и нравственном развитии людей моего поколения, познакомившего их с несравненной красотой русского слова и давшего им много незабвенных минут душевного умиления, — вижу его седины с прядью, спускавшейся на лоб, его милое, русское, мужичье, как у Л. Н. Толстого, лицо, с которым мало гармонировало шелковое кашне, обмотанное по французскому обычаю вокруг шеи, слышу его мягкий «бабий» голос, тоже мало соответствовавший его большому росту и крупному сложению. Я объяснил ему все, что его интересовало в этом деле, прения по которому он признавал заслуживающими перевода на французский язык, а затем, уже не помню по какому поводу, разговор перешел на другие темы. Коснулся он, между прочим, Герцена, о котором Тургенев говорил с особой теплотой. [...]

Когда Гаевский напомнил, что Иван Сергеевич хотел бы посмотреть самое производство суда с присяжными, я послал узнать, какие дела слушаются в этот день в обоих уголовных отделениях суда. Оказалось, что там, как будто нарочно, разбирательство шло при закрытых дверях и что в одном рассмотрении дела уже кончалось, а в другом еще продолжалось судебное следствие. Я повел Тургенева в это последнее отделение и, оставив его на минуту с Гаевским, вошел в залу заседания, чтобы попросить товарища председателя разрешить ему присутствовать при разборе дела. Но этот тупой формалист заявил мне, что это невозможно, так как Тургенев не чин судебного ведомства, и он может дозволить ему присутствовать лишь в том случае, если подсудимый — отставной солдат, обвинявшийся в растлении 8-летней девочки, — заявит, что просит его допустить в залу, как своего родственника. В надежде, что Тургенев, вероятно, почетный мировой судья у себя в Орловской губернии, я обратился к нему с вопросом об этом, но получил отрицательный ответ. Мне, однако, трудно было этому поверить, и я послал в свой кабинет за списком чинов министерства юстиции; к великой моей радости и к не меньшему удивлению самого Тургенева, оказалось, что он давно уже почетный мировой судья и даже по двум уездам. Он добродушно рассмеялся, заметив, что это с ним случается не в первый

раз и что точно так же он совершенно случайно узнал о том, что состоит членом-корреспондентом Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Я увидел в этом нашу обычную халатность: даже желая почтить человека, мы обыкновенно не умеем этого делать до конца...

Введенный мною в «места за судьями» залы заседания, Тургенев чрезвычайно внимательно следил за всеми подробностями процесса. Когда был объявлен перерыв и судьи ушли в свою совещательную комнату, я привел туда Тургенева (Гаевский уехал раньше) и познакомил его с товарищем председателя и членами суда. В составе судей был старейший член суда, почтенный старик-труженик, горячо преданный своему делу, но кроме этого дела ничем не интересовавшийся. Он имел привычку брзжать, говорить в заседаниях сам с собою и обращаться к свидетелям и участвующим в деле с вопросами, поражающими своей неожиданной наивностью, причем вечно куда-то торопился, прерывая иногда на полуслове свою отрывистую речь. «Позвольте вас познакомить с Иваном Сергеевичем Тургеневым,— сказал я ему и прибавил, обращаясь к нашему гостю,— а это один из старейших членов нашего суда — Сербинович». Тургенев любезно протянул руку, мой «старейший» небрежно подал свою и сказал, мельком взглянув на Тургенева: «Гм! Тургенев? Гм! Тургенев? Это вы были председателем казенной палаты в...» — и он назвал какой-то губернский город. «Нет, не был»,— удивленно ответил Тургенев. «Гм! А я слышал об одном Тургеневе, который был председателем казенной палаты». — «Это наш известный писатель»,— сказал я вполголоса. «Гм! Писатель? Не знаю...» — и он обратился к проходившему помощнику секретаря с каким-то поручением.

В следующий приезд Тургенева я встречал его у М. М. Стасюлевича и не мог достаточно налюбоваться его манерой рассказывать с изящной простотой и выпуклостью, причем он иногда чрезвычайно оживлялся.

Я помню его рассказы о впечатлении, произведенном на него скульптурами, найденными при Пергамских раскопках. Восстановив их в том виде, в каком они должны были существовать, когда рука времени и разрушения их еще не коснулась, он изобразил их нам с таким увлечением, что встал с своего места и в лицах представлял каждую фигуру. Было жалко сознавать, что эта блестящая импровизация пропадает бесследно. Хотелось сказать ему словами одного из его «Стихотворений в прозе»: «Стой! Каким я теперь тебя вижу, останься навсегда в моей памяти!» Это

желание, по-видимому, ощутил сильнее всех сам хозяин и тотчас же привел его в исполнение зависящими от него способами. Он немедленно увел рассказчика в свой кабинет и запер его там, объявив, что не выпустит его, покуда тот не напишет все, что рассказал. Так произошла статья Тургенева: «О Пергамских раскопках», очень интересная и содержательная, но, к сожалению, все-таки не могущая воспроизвести того огня, которым был проникнут устный рассказ.

Раза два, придя перед обедом, Тургенев посвящал небольшой кружок в свои сновидения и предчувствия, проникнутые по большей части мрачной поэзией, за которую невольно слышался, как и во всех его последних произведениях, а также в старых — «Призраках» и «Довольно», — ужас перед неизбежностью смерти. В его рассказах о предчувствиях большую роль, как и у Пушкина, играли «суетверные приметы», к которым он очень был склонен, несмотря на свои пантеистические взгляды.

Зимой 1879 года Тургенев был проездом в Петербурге и жил довольно долго в меблированных комнатах на углу тогдашней Малой Морской и Невского. Старые, односторонние, предвзятые и подчас продиктованные личным нерасположением и завистью, нападки на автора «Отцов и детей», вызвавшие у него крик души в его «Довольно», давно прекратились, и снова симпатии всего, что было лучшего в русском мыслящем обществе, обратились к нему. Особенно восторженно относилась к нему молодежь. Ему приходилось убеждаться в заслуженном внимании и теплом отношении общества почти на каждом шагу, и он сам с милой улыбкой внутреннего удовлетворения говорил, что русское общество его простило. В этот свой проезд он очень мучился припадками подагры и однажды просидел несколько дней безвыходно в тяжелых страданиях, к которым относился, впрочем, с большим юмором, выгодно отличаясь в этом отношении от многих весьма развитых людей, которые не могут удержаться, чтобы прежде всего не нагрузить своего собеседника или посетителя целой массой сведений о своих болезненных ощущениях, достоинствах врачей и качествах прописанных медикаментов. Придя к нему вместе с покойным А. И. Урусовым, мы встретили у него Салтыкова-Щедрина и присутствовали при их, поразившей нас своей дипломатичностью, беседе, что так мало вязалось с бранчливой повадкой знаменитого сатирика. Было очевидно, что есть много литературных, а может быть, и житейских вопросов, по которым они резко расходились во

мнениях. Но было интересно слышать, как они оба тщательно обходили эти вопросы не только сами, но и даже и тогда, когда их возбуждал Урусов.

В конце января этого года скончался мой отец — старый литератор тридцатых и сороковых годов и редактор-издатель журнала «Пантеон», главным образом посвященного искусству и преимущественно театру, вследствие чего покойный был в хороших отношениях со многими выдающимися артистами того времени. В бумагах его, среди писем Мочалова, Щепкина, Мартынова и Каратыгина, оказался большой дагерротипный портрет Полины Виардо-Гарсия с любезной надписью. Она изображена на нем в костюме начала пятидесятих годов, в гладкой прическе с пробором посередине, закрывающей наполовину уши, и с «височками». Крупные черты ее некрасивого лица, с толстыми губами и энергичным подбородком, тем не менее привлекательны благодаря прекрасным большим темным глазам с глубоким выражением. Среди этих же бумаг я нашел стихотворение забытого теперь поэта Мятлева, автора «Сенсаций госпожи Курдюковой дан л'этранже»¹, пользовавшихся в свое неприязнительное время некоторой славой и представляющих скучную, в конце концов, смесь «французского с нижегородским». В таком же роде было и это его стихотворение, помеченное 1843 годом. Вот оно:

Что за в е р-д о, что за в е р-д о,—
Напрасно так певичу называют.
Неужели не понимают,
Какой небесный в ней кадо²?
Скорее слушая сирену,
Шампанского игру и пену
Припомним мы. Так высоко
И самый лучший вев Клик³
Не залетит, не унесется,
Как песнь ее, когда залетит
Соловушкаю.— Э в р е м я⁴
Пред ней водица и Креман!
Она в Сомнамбуле, в Отелло —
Заткнет за пояс Монтебелло,
А про Моет и Силлери
То даже и не говори!

По времени оно относилось к тем годам, когда впервые появилась на петербургской оперной сцене Виардо и когда

¹ за границей (*фр.*).

² дар (*cadeau — фр.*).

³ «вдова (*veuve — фр.*) Клик» — знаменитая в то время марка шампанского.

⁴ *Eh vraiment* — и поистине (*фр.*).

с нею познакомился Тургенев, сразу подпавший под обаяние ее чудного голоса и всей ее властной личности. Восторг, ею возбуждаемый в слушателях, нашел себе выражение в приведенных стихах Мятлева, но для массы слушателей Виардо он был, конечно, преходящим, тогда как в душу Тургенева этот восторг дошел до самой сокровенной ее глубины и остался там навсегда, повлияв на всю личную жизнь этого «однолюба» и, быть может, в некоторых отношениях исказив то, чем эта жизнь могла бы быть. Несомненно, что описание Тургеневым внезапно налетевшей на некоторых из его героев любви, вырвавшей, подобно буре, из сердца их слабые ростки других чувств, и те скорбные, меланхолические ноты, которые звучат в описаниях душевного состояния этих героев в «Вешних водах», «Дыме» и «Переписке», имеют автобиографический источник. Недаром он писал, в 1873 году, госпоже Комманвиль: «Votre jugement sur «Les Eaux du Printemps» est parfaitement juste; quant à la seconde partie, qui n'est ni bien motivée, ni bien nécessaire, je me suis laissé entraîner par des souvenirs»¹. Замечательно, что более чем через 35 лет после первых встреч с Виардо — в сентябре 1879 года — Тургенев начал одно из своих чудных «Стихотворений в прозе» словами: «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти: «Как хороши, как свежи были розы». Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча; я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит: «Как хороши, как свежи были розы». Оказывается, что забытое Тургеневым и слышанное им где-то и когда-то стихотворение принадлежало Мятлеву и было напечатано в 1843 году под названием «Розы». Вот начальная строфа этого произведения, звучавшая чрез три с половиной десятилетия своим первым стихом в памяти незабвенного художника, вместе с Мятлевым восхищавшегося Виардо-Гарсией:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодной рукой!

В этот свой приезд Тургенев снова часто бывал у М. М. Стасюлевича и много рассказывал с большим ожив-

¹ Ваше суждение о «Вешних водах» совершенно справедливо, что же касается второй части, недостаточно обоснованной и не вполне необходимой, то я позволил себе увлечься воспоминаниями (фр.).

лением и жизненной бодростью в голосе и взоре. Выше всех и краше всего для него был Пушкин. Он способен был говорить о нем целые часы с восторгом и умилением, приводя обширные цитаты и комментируя их с особой глубиной и оригинальностью. В этом сходилась он с Гончаровым, который также благоговел перед Пушкиным и знал наизусть не только множество его стихов, но и выдающиеся места его прозы. На почве преклонения перед Пушкиным произошел у Тургенева незабвенный для всех слушателей горячий спор с Кавелиным, который ставил Лермонтова выше. Романтической натуре Кавелина ропщущий, негодующий и страдающий Лермонтов был ближе, чем величавый в своем созерцании Пушкин. Но Тургенев с таким взглядом примириться не мог, и объективность Пушкина пленяла его гораздо больше субъективности Лермонтова. Он с любовью останавливался на указаниях Пушкина на источники и условия поэтического творчества, поражался их верностью и глубиной и с восторгом цитировал изображение Пушкиным прилива вдохновения, благодаря которому душа поэта становилась полна «смятения и звуков». В словах его с очевидностью звучало, что и он в своем творчестве не раз испытал такое смятение.

Почти всегда в бодром настроении духа, он бывал в это время неистощим в рассказах из своей жизни и своих наблюдений. Так, например, он рассказал нам, как однажды, идя по улице уездного города — кажется, Обояни или Мценска — вместе с известным по «Запискам охотника» Ермолаем, он встретил одного из местных мещан, которому Ермолай поклонился, как знакомому. «Что это, — спросил Тургенев, когда тот прошел мимо, — лицо-то у него как царрапано, даже кровь сочится!» — «И впрямь! — ответил Ермолай, — спросить надо. Эй! Семеныч, подожди малость!» И когда они оба подошли к остановившемуся, то Ермолай сказал ему: «Что это у тебя лик-то какой: весь в царрапинах?» Мещанин провел рукой по лицу, посмотрел на следы крови на ладони, вздохнул, вытер руку об изнанку полы своей чуйки и, мрачно посмотрев на Тургенева, вразумительным тоном сказал: «Жена встретила!» В другой раз, описывая свое студенческое житье в Петербурге, Тургенев, с удивительной живостью подражая голосу своей квартирной хозяйки-немки, передавал, как она, слушая его ропот на судьбу, не баловавшую его получением денег из отчего дома, говаривала ему: «Эх, Иван Сергеевич, не надо быть грустный, *man soll nicht traurig sein*; жисть — это как мух: пренеприятный насеком! Что делайт! Тэрпэйт надо!»

Когда настал день отъезда Тургенева, то, желая доставить ему удовольствие и в то же время избавить его от каких-либо личных объяснений, я послал ему портрет Виардо, принадлежавший моему отцу. Но он успел мне ответить. «Любезнейший Анатолий Федорович! — писал он мне 18 марта 1879 года. — Я не хочу уехать из России, не поблагодарив вас за ваш для меня весьма драгоценный подарок. Дагерротип моей старинной приятельницы, перенося меня на тридцать лет назад, оживляет для меня то незабвенное время. Примите еще раз мое искреннее спасибо. Позвольте дружески пожалить вашу руку и уверить вас в чувствах неизменного уважения преданного вам Ив. Тургенева».

Летом того же года мне пришлось быть в Париже одновременно с М. М. Стасюлевичем и его супругой. Тургенев жил в это время там: (Rue de Douai, № 4), и Стасюлевич пригласил нас обоих завтракать к Вуазену, где готовили каких-то особенных куропаток, очень расхваливаемых Иваном Сергеевичем. Было условлено, что я заеду за Тургеневым и мы вместе в назначенный час приедем к Вуазену. На мой звонок мне отворил весьма неприветливый concierge¹ и, узнав мою фамилию, указал мне на верхний этаж, куда вела лестница темного дерева с широким пролетом в середине, и отрывисто сказал мне: «Vous êtes admis»². Проходя мимо дверей того этажа, который у нас называется бельэтажем, я услышал за ними чей-то довольно резкий голос, выделявшийся вокальные упражнения, прерываемые по временам чьими-то замечаниями. Наверху меня встретил Иван Сергеевич и ввел в свое помещение, состоявшее из двух комнат. На нем была старая, довольно потертая бархатная куртка. Царившая в комнатах «оброшенность» неприятно поразила меня. На маленьком закрытом рояле и положенных на него нотах лежал густой слой пыли. Штора старинного прямого образца одним из своих верхних углов оторвалась от палки, к которой была прикреплена, и висела поперек окна, загораживая отчасти свет, очевидно, уже давно, так как и на ее складках замечался такой же слой пыли. Расхаживая во время разговора с хозяином по комнате, я не мог не заметить, что в соседней небольшой спальне все было в беспорядке и не убрано, несмотря на то что был уже второй час дня. Мне невольно вспомнился стих Некрасова: «Но тот, кто любящей рукой не охранен, не обеспечен...» Видя, что

¹ привратник (фр.).

² Вас примут (фр.).

оживленная беседа с Тургеневым, очень интересовавшимся событиями и ходом дела на родине, может нас задержать, я напомнил ему, что нас ждут. «Да, да,— заторопился он,— сейчас я оденусь!» — и через минуту вошел в темно-сером пальто из какой-то материи, напоминавшей толстую парусину. Продолжая говорить, он хотел застегнуться и машинально искал пуговицу, которой уже давно на этом месте не было. «Вы напрасно ищите пуговицу,— заметил я, смеясь,— ее нет!» — «Ах! — воскликнул он,— и в самом деле! Ну, так мы застегнемся на другую», — и он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступавшая наружу подкладка. Он добродушно улыбнулся и, махнув рукою, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать. Когда, спускаясь с лестницы, мы стали приближаться к дверям бельэтажа, за ним раздались звуки сильного контральто, тоже, как казалось, передававшие какое-то вокальное упражнение. Тургенев вдруг замолк, шепнул мне: «Ш-ш!» — и сменил свои тяжелые шаги тихой поступью, а затем остановился против дверей, быстрым движением взял меня ниже локтя своей большой, покрытой редкими черными волосами рукою и сказал мне, показывая глазами на дверь: «Какой голос! До сих пор!» Я не могу забыть ни выражения его лица, ни звук его голоса в эту минуту: такой восторг и умиление, такая нежность и глубина чувства выразались в них... За завтраком он был очень весел, много рассказывал о Золя и о Додэ и ядовито посмеивался над первым из них, когда я обратил его внимание на то, что одна из последних корреспонденций Золя в «Вестнике Европы» о наводнениях в долине Луары есть в сущности повторение того, что рассказано автором в одном из ранних его произведений, в «Contes à Ninon»¹, под названием «Histoire du grand Médéric». «Да, да,— сказал он,— Золя не прочь быть именинником и на Онуфрия и на Антона!» Под конец наша собеседница как-то затронула вопрос о браке и шуточно просила Тургенева убедить меня наложить на себя брачные узы. Тургенев заговорил не тотчас и как бы задумался, а потом поднял на меня глаза и сказал серьезным и горячим тоном: «Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда поневоле приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получить ласковое отношение к себе, как милостыню, и быть в положении старого пса, которого не прогоняют толь-

¹ «Сказки Нинов» (фр.).

ко по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее!» Все это было сказано с таким плохо затаенным страданием что мы невольно переглянулись. Тургенев это заметил и вдруг стал собираться уходить, по-видимому, недовольный вырвавшимся у него заявлением. Мы стали его удерживать, но он сказал: «Нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь m-me Viardot больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку». И, запахнув свое пальто, он торопливо распростился с нами и ушел. Впоследствии, просматривая его письма к Флоберу и прочитав письмо от 17 августа 1877 года, где говорится: «Caen? pourquoi Caen? — *direz-vous, mon cher vieux. Que diable veut dire Caen! Ah, voilà! Les dames de la famille Viardot doivent passer quinze jours au bord de la mer. soit à Luc, soit à St.-Aubin, et l'on m'a envoyé en avant pour trouver quelque chose*»¹, — я вспомнил слова Тургенева за нашим завтраком.

Лет двенадцать тому назад я передал свои впечатления от этой встречи с Тургеневым покойному Борису Николаевичу Чичерину, и он вспомнил, что однажды при нем и при Тургеневе, в первой половине шестидесятых годов, вышел разговор о необходимости выходить из фальшивых положений, оправдывая тем изречение Александра Дюма-сына «*On traverse une position équivoque, on ne reste pas dedans*»². — «Вы думаете?! — с грустной иронией воскликнул Тургенев. — Из фальшивых положений не выходят! Нет-с, не выходят! Из них выйти нельзя!»...

В последний раз я видел его в Москве, в июне 1880 года, на открытии памятника Пушкину. Это открытие было одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но во всяком случае более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха — и все постепенно стало

¹ «Кан? Почему Кан? — спросите вы, мой дорогой старина? Что означает этот Кан? Ну, вот! Дамы из семейства Виардо должны провести пятнадцать дней на берегу моря, в Люке или в Сант-Обене — и меня послали вперед подыскать что-нибудь подходящее» (фр.).

² «Из ложного положения выходит, в нем не остается» (фр.).

оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве. Мне пришлось в нем участвовать в качестве представителя Петербургского юридического общества и начать испытывать прекрасные впечатления, им вызванные, с самого момента выезда в Москву. Дело в том, что открытие памятника было первоначально назначено на 26 мая, но смерть императрицы Марии Александровны заставила отнести это открытие на 2 июня, а какое-то недоразумение при вторичном докладе о том председателя комиссии по сооружению памятника, принца Петра Георгиевича Ольденбургского, вызвало новую отсрочку до 6 июня. Между тем управление Николаевской железной дороги объявило об отправлении экстренного удешевленного поезда в Москву и обратно для желающих присутствовать при открытии памятника. К 24 мая на поезд записалась масса народу. Когда последовала отсрочка, большинство тех, кого поездка интересовала исключительно своею дешевизной, а в Москву привлекали личные дела, отказалось от взятия записанных на себя билетов, хотя все-таки осталось довольно много желавших ехать. Но после второй отсрочки записавшимися на поезд оказались исключительно ехавшие для участия в открытии памятника. А поэтому поезд, отправившийся из Петербурга 4 июня в четыре часа, носил совершенно своеобразный характер. В его вагонах сошлись очень многие видные представители литературы и искусства и депутаты от различных обществ и учреждений. Общность цели скоро сблизила всех в одном радостном ощущении того, что впоследствии А. Н. Островский назвал в своей речи «праздником на нашей улице». Хорошему настроению соответствовал прекрасный летний день, сменившийся теплым и ясным лунным вечером. В поезде оказался некто Мюнстер, знавший наизусть почти все стихотворения Пушкина и прекрасно их декламировавший. Когда смерклось, он согласился прочесть некоторые из них. Весть об этом облетела поезд, и вскоре в длинном вагоне первого класса на откинутых креслах и на полу разместились чуть не все ехавшие. Короткая летняя ночь прошла в благоговейном слушании «Фауста», «Скупого рыцаря», отрывков из «Медного всадника», писем и объяснений Онегина и Татьяны, «Египетских ночей», диалога между Моцартом и Сальери. Мюнстер так приподнял общее настроение, что, когда он окончил, на середину вагона выступил Яков Петрович Полонский и прочел свое прелестное стихотворение, предназначенное для будущих празднеств и начинавшееся словами: «Пушкин — это старейший

сказка». За ним последовал Плещеев, тоже со стихотворением *ad hoc*¹, — и все мы встретили, после этого поэтического всенощного бдения, восходящее солнце растроганные и умиленные.

В день приезда в Москву последовал торжественный прием deputаций в зале городской думы и чтение адресов и приветствий, причем вследствие того, что юридические общества прислали представителей, не озаботясь снабдить их адресами, я прочел петербургский адрес как приветствие от всех русских юридических обществ, в группе представителей которых внимание привлекла доктор прав Лейпцигского университета Анна Михайловна Евреинова. На другой день, с утра, Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные deputации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего — для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестра, исполнявшего коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания: городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала и, под восторженные крики «ура» и пение хоров, запевших «Славься» Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собой и временное забвение. У многих на глазах заблестали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножия его стала быстро расти гора венков.

Через час, в обширной актовом зале университета, наполненной так, что яблоку негде было упасть, состоялось торжественное заседание. На кафедру взошел ректор университета, Н. С. Тихонравов, и с обычным легким косноязычием объявил, что университет, по случаю великого праздника русского просвещения, избрал в свои почетные члены председателя комиссии по сооружению памятника академика Якова Карловича Грота и Павла Васильевича Анненкова, так много содействовавшего распространению и критической разработке творений Пушкина. Единодушные

¹ к данному случаю (*лат.*).

рукоплескания приветствовали эти заявления. «Затем,— сказал Тихонравов,— университет счел своим долгом просить принять это почетное звание нашего знаме...», но ему не дали договорить. Точно электрическая искра пробежала по зале, возбудив во всех одно и то же представление и заставив в сердце каждого прозвучать одно и то же имя. Неописуемый взрыв рукоплесканий и приветственных криков внезапно возник в обширном зале и бурными волнами стал носиться по ней. Тургенев встал, растерянно улыбаясь и низко наклоняя свою седую голову с падающею на лоб прядью волос. К нему теснились, жали ему руки, кричали ему ласковые слова, и когда до него, наконец, добрался министр народного просвещения Сабуров и обнял его, утихавший было шум поднялся с новой силой. В лице своих лучших представителей русское мыслящее общество как бы венчало в нем достойнейшего из современных ему премников Пушкина. Лишь появившийся на кафедре Ключевский, начавший свою замечательную речь о героях произведений Пушкина, заставил утихнуть общее восторженное волнение.

В тот же день на обеде, данном городом членам депутатов, произошел эпизод, вызвавший в то время много толков. На обеде, после неизбежных тостов, должны были говорить Аксаков и Катков. Между представителями петербургских литературных кругов стала пропагандироваться мысль о демонстративном выходе из зала, как только начнет говорить редактор «Московских ведомостей», в это время уже резко порвавший с упованиями и традициями передовой части русского общества и начавший свою пагубную проповедь исключительного культа голыи власти как самодовлеющей цели, как власти *an und für sich*¹. Но когда, после красивой речи Аксакова, встал Катков и начал своим тихим, но ясным и подкупающим голосом тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — никто не только не ушел, но большинство — временно примиренное — двинулось к нему с бокалами. Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу, которого перед тем он допустил жестоко «изобличать» и язвить на страницах своей газеты за денежную помощь, оказанную им бедствовавшему Бакунину. Тургенев отвечал легким наклоном головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл

¹ в себе и для себя (исм.).

свой бокал ладонью руки. После обеда я подошел к Тургеневу одновременно с поэтом Майковым. «Эх, Иван Сергеевич, — сказал последний с мягким упреком, — ну зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть!» — «Ну, нет, — живо отвечал Иван Сергеевич, — я старый воробей, меня на шампанском не обманешь!»

Впрочем, в зале Дворянского собрания был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли пред горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами навывкате, Писемский. Вышел, наконец, и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, чтобы особенно искусно, «Последнюю тучу рассеянной бури», но на третьем стихе запнулся, очевидно, его позабыв и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всей залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, — весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками «браво». На следующий день, в торжественном заседании Общества любителей российской словесности в том же Дворянском собрании, Иван Сергеевич читал свое слово о Пушкине с большим одушевлением и чувством, и заключительные слова его о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому поставлен только что открытый накануне памятник, простой русский человек ответит: «Учителю!» — снова вызвали бурную овацию. [...]

С этих пор я больше не видел Тургенева, но получал от него из Парижа поклоны через М. М. Стасюлевича. Он разрешил последнему показать мне осенью 1882 года в рукописи «Стихотворения в прозе». Среди них были ненапечатанный тогда «Порог» (разговор Судьбы с русской девуш-

кой) и полная добродушного юмора вещица, кончавшаяся словами: «но не спорь с Владимиром Стасовым», шумным и яростным спорщиком, приводившим Тургенева в отчаяние своими нападками на Пушкина. Она, сколько мне известно, не была никогда напечатана, а «Порог» Тургенев сам просил Стасюлевича выкинуть, говоря в своем письме: «Через этот «Порог» вы можете споткнуться... особенно если его пропустят, а потому лучше подождать». Рукопись дана была мне поздно вечером, и я провел всю ночь, читая и несколько раз перечитывая эти чудные вещи, в которых не знаешь, чему более удивляться, — могучей ли прелести русского языка, или яркости картин и трогательной нежности образов. Я высказал все это в письме к Стасюлевичу, выразив лишь сомнение, правильно ли в «Конце света» употреблено слово «круч» вместо «круча», а он, как оказалось, послал мое письмо в подлиннике Тургеневу. «Спасибо за сообщенное мне письмо К., — писал ему 25 октября 1882 года Иван Сергеевич. — Очень оно меня тронуло, и я буду хранить его, как документ. И «круч» — и «круча» существуют, но круча, я думаю, грамматически правильнее».

Менее чем через год Иван Сергеевич опочил, после тяжелых страданий, а 27 сентября 1883 года грандиозная похоронная процессия проводила его дорогой прах на Волково кладбище и опустила в землю, где через два года упокоился и Кавелин. [...]

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

Редко кто из выдающихся писателей возбуждал при жизни и после смерти столько разноречивых оценок, как Н. А. Некрасов. Рядом с восторженным изображением его, как «печальника горя народного», существуют отзывы о нем, как о тенденциозном стихотворце, в произведениях которого «поэзия и не ночевала», как о лицемере, негодующее слово которого шло вразрез с черствостью его сердца и своекорыстием. Здесь не место разбирать его произведения и доказывать при этом, как односторонни, пристрастны и несправедливы такие взгляды на его творчество и личность. Достаточно указать на задачу, поставленную им всякому общественному деятелю своим заветом: «Иди к униженным, иди к обиженным — там нужен ты», которому он и сам следовал, будя в читателе негодование на мрачные и жестокие стороны крепостного права, рекрутчины и бюрократического бездушия. Он знакомил так называемое «общество» и городскую молодежь с русским сельским бы-

том и, хотя и разными с Тургеневым приемами, вызывал в ней сочувствие к простому русскому человеку и веру в жизненность его духовных сил. Нужно ли говорить о красоте, сжатости и выразительности его языка, о богатстве глубоких по содержанию прилагательных, рисующих целые картины, об искусных звукоподражаниях, о ярких образах, щедрою рукою рассыпанных в его произведениях? Можно ли забыть о тяжелых впечатлениях его детства, протекшего «среди буйных дикарей», под звон цепей каторжников, проходивших «по Владимирке», и унылое пение бурлаков на Волге, и в частых горьких слезах, разделяемых им со страдальцей матерью, воспетой им с такой захватывающей скорбью?

Все это не входит, однако, в задачу настоящего очерка: хочется поделиться с читателями простыми личными воспоминаниями, касающимися Некрасова.

Еще в раннем детстве, когда ни о каком знакомстве моем с поэзией Некрасова не могло быть и речи, да она и не успела еще развернуться во всю свою ширь, я уже интересовался им по рассказам своего отца, издателя-редактора «Литературной газеты» в 1840—1841 годах и «Пантеона и репертуара» с 1843 почти вплоть по 1851 год, когда последний журнал был переименован в «Пантеон» и очень расширил свою литературно-художественную программу. Время издания «Литературной газеты» совпало с годами тяжелых испытаний и крайних лишений в жизни Некрасова. Ему приходилось очень бедствовать, подчас подолгу голодать и на себе испытывать ту нищету, бесприютность и неуверенность в завтрашнем дне, которые отразились на содержании многих его стихотворений. Он, очевидно, знал по личному опыту, как тяжело проживание в петербургских углах, описанном им в одном из сборников, им изданных. Существовать приходилось изо дня в день составлением книжек для мелких издателей-торгашей и торопливым писанием на заказанные темы о чем придется и как придется. В этот период его жизни с ним познакомился редактор «Литературной газеты» и предложил ему в своем издании хороший по тогдашним временам заработок, цена молодого писателя, давая ему иногда по целым неделям приют у себя и оберегая его от возвращения к привычкам бродячей и бездомной жизни.

В письме из Ярославля от 16 августа 1841 года по поводу какого-то недоразумения, вызванного сплетнями одного из «добрых приятелей» Некрасова, он писал моему отцу: «Неужели Вы почитаете меня до такой степени испорченным

и низким... Я помню, что был я назад два года, как я жил... я понимаю теперь, мог ли бы выкарабкаться из сору и грязи без помощи Вашей... Я не стыжусь признаться, что всем обязан Вам: иначе бы я не писал этих строк, которые навсегда могли бы остаться для меня уликою».

Большая часть работ Некрасова в «Литературной газете» была подписана псевдонимом «Перепельский». Себя и редактора он изобразил в «Водевильных сценах из журнальной жизни» под именем Пельского и Семячко и вложил в уста последнего следующее *profession de foi*¹ по поводу приемов тогдашней газетной травли, руководимой знаменитым в своем роде Булгариным: «Я литератор, а не торговец с рынка. Я [...] не намерен [...] пятнать страницы моей газеты тою ржавчиною литературы, которую желал бы смыть кровью и слезами». Когда Некрасов вышел на широкую литературную дорогу, его добрые отношения с моим отцом продолжались, хотя виделись они довольно редко.

В первый раз мне пришлось его увидеть в конце пятидесятых годов на Невском, при встрече его с моим отцом. Я жадно всматривался в его желтоватое лицо и усталые глаза и вслушивался в его глухой голос: в это время имя его мне говорило уже очень многое. В короткой беседе разговор — почему, уже не помню — коснулся исторических исследований об Иване Грозном и его царствовании как благодарном драматическом материале. «Эх, отец! — сказал Некрасов (он любил употребить это слово в обращении к собеседникам), — ну чего искать так далеко, да и чего это всем дался этот Иван Грозный! Еще и был ли Иван-то Грозный?..» — окончил он, смеясь.

Осенью 1861 года я был на литературном вечере в память только что схороненного Добролюбова. Некрасов читал трогательные стихотворения покойного, еще не появившиеся в печати. Его глухой голос как нельзя более соответствовал скорбному тону того, что он выбрал для чтения. «Пускай умру — печали мало, одно страшит мой ум больно, чтобы и смерть не разыграла обидной шутки надо мной», — говорил он, и казалось, что это — замогильный голос самого Добролюбова. Впечатление было сильное. Мне пришлось опять слышать чтение Некрасова десять лет спустя, на вечере, устроенном М. Е. Ковалевским у себя, в пользу колонии для малолетних преступников. Тогда готовились к печати «Русские женщины», и этим произведением, отдельные места которого глубоко трогательны, по-

¹ «символ веры» (*бука.*); изложение своих убеждений (*фр.*).

делился со слушателями Некрасов. Аудитория была изысканная в смысле умственного развития, и мне показалось, что он, всегда спокойный и сдержанный, читая, волновался и по временам в его голосе слышались слезы. Другие подтвердили мое замечание. Очевидно было, что он, которого так часто упрекали в неискренности, прочувствовал и переживал душевно за княгиню Волконскую, и в особенности за Трубецкую, те нравственные страдания их, которые были им воспеты с такой силой и вместе простотой.

С начала 1872 года я стал довольно часто встречать Некрасова в доме его большого приятеля, Александра Николаевича Еракова (ему посвящено Некрасовым большое стихотворение «Недавнее время»), воспитанием дочерей которого руководила сестра Некрасова, Анна Алексеевна Буткевич. Ераков был живой, образованный, чрезвычайно добрый и увлекающийся человек, обладавший тонким художественным вкусом. В его гостеприимном доме любимыми посетителями были: Салтыков, Алексей Михайлович Унковский, Плещеев и Некрасов. Последний часто навещал сестру и приносил ей свои только что написанные стихотворения. Благодаря этому и моему близкому знакомству с семейством Ераковых, я читал почти все произведения Некрасова, появившиеся после 1871 года, еще в рукописи и иногда в первоначальном их виде. Некрасов очень любил сестру и относился к ней с большим вниманием и участием. В ее строгом лице, со следами замечательной красоты, были черты сходства с братом. Она, по-видимому, не прошла, однако, подобно ему, годов лишений и нравственных уколов, испытываемых человеком, стоящим на границе, за которую начинается уже несомненная и неотвратимая нищета, грозящая бесповоротно увлечь «на дно». Поэтому «борьба за существование» меньше отразилась на ней, на ее статной и изящной фигуре, на цвете ее лица. Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске, в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость и, если можно так выразиться, надорванность его молодости. Недаром говорил он про себя: «Праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда...»

Мы возвращались как-то, летом 1873 года, вдвоем из Ораниенбаума, где обедали на даче у Еракова. На мой вопрос, отчего он не продолжает «Кому на Руси жить хорошо», он ответил мне, что, по плану своего произведения,

дошел до того места, где хотел бы поместить наиболее яркие картины из времен крепостного права, но что ему нужен фактический материал, который собирать некогда, да и трудно, так как у нас даже и недавним прошлым никто не интересуется. «Постоянно будить надо — без этого русский человек способен позабыть и то, как его зовут», — прибавил он. «Так вы бы и разбудили, кликнув клич между знакомыми о доставлении вам таких материалов, — сказал я. — Вот, например, хотя я и мало знаком с жизнью народа при крепостных отношениях, а, думается мне, мог бы рассказать вам случай, о котором слышал от достоверных людей...»

— А как вы познакомились с русской деревней и что знаете о крепостном праве? — спросил меня Некрасов.

Я рассказал ему, что в отрочестве мне пришлось провести два лета вместе с моими родителями в Звенигородском уезде Московской губернии и в Бельском уезде Смоленской. В последнем я видел несколько безобразных проявлений крепостного права со стороны семьи одного помещика, не чуждого, в свое время, литературе. Гораздо ближе познакомился я с русским сельским бытом, когда, будучи московским студентом, жил летом 1863 года «на кондициях» в Пронском уезде Рязанской губернии, в усадьбе Панькино, в семействе бывшего профессора А. Н. Драшусова, младшего сына которого готовил к поступлению в гимназию и дочери которого давал впоследствии в Москве уроки. Почти все время, свободное от уроков и от беседы с хозяйкой дома — умной и очень образованной женщиной, бывшей в переписке со многими выдающимися людьми Западной Европы, я проводил на селе, живо интересуясь только что совершившимся переломом в крестьянском быту под влиянием великой реформы 19 февраля и внимательно прислушиваясь к постепенно умолкшим отголоскам недавних крепостных отношений. С чувством теплого уважения вспоминаю я прекрасную личность мирового посредника первого призыва, отставного майора Федюкина, одного из тех благороднейших деятелей, которые внезапно появились в России под благовест освобождения и нередко беспощадно к себе и бескорыстно вложили всю душу свою в новое дело. И как контраст ему рисуется в моих воспоминаниях местная молодая титулованная помещица, вечно воевавшая с ненавистным ей Федюкиным, со злобной настойчивостью преследовавшая своих крепостных за каждую охалку хвороста, собранного в ее лесу, и за каждый, как выражался мировой посредник, «намеки на потраву». Она привозила по временам в Панькино откуда-то добываемый ею герценовский

«Колокол» и с ликованием читала в нем резкие и язвительные выходки против императора Александра II. Когда однажды я заметил ей крайнее несоответствие ее домашнего образа действия и негодования на Федюкина, часто становившегося на сторону крестьян,— с восхищениями перед упомянутыми выходками, она пожала плечами с выражением презрительного сожаления о моем умственном развитии и решительно отрезала мне: «Никакого несоответствия нет, и удивляться нечему! Мне нравится, когда его ругают, поделом ему! Зачем он освободил крестьян и позволил разным Федюкиным помогать нас грабить!..»

Я бывал на заседаниях волостного суда и на сельских сходах, бродил подолгу с крестьянином-охотником Данилой и просиживал с ним до рассвета в лесу, «подвывая» волков, на что он был большой мастер, и вел долгие беседы со сторожем волостного правления, прозвище которого, к сожалению, теперь не помню. Его звали Николай Васильевич. Это был высокий старик с шапкою седых волос и подслеповатыми глазами, ездивший в Москве в извозчиках еще до того, как туда «приходил француз». Большой любитель моих папирос, словоохотливый старик подолгу рассказывал мне о прошлом, вплетая в свои рассказы, без всякой предвзятой мысли, яркие картины из крепостной эпохи. Он не видел во мне «барина» и относился поэтому ко мне с полным доверием, которое поколебалось лишь однажды. «Тебе какое же, родимый, положение идет за то, что ты учишь барчука?» — полюбопытствовал он узнать. «Двадцать рублей». — «В год?» — «Нет, в месяц». — «Ой ли?! Да за что же это так много?» — «Как за что? Занимаюсь с ним, готовлю в гимназию. Вот скоро ему будет в Москве экзамен». — «Ну а ешь-то ты что? То же, что господа?» — «Конечно! Что же мне другое есть, когда я с ними и обедаю и ужинаю». — «С ними?! — сказал он недоверчиво и потом решительно прибавил: — Врешь ты, родимый!..» Из его слов я увидел, как иногда в прежнее время — но, конечно, не в семье Драшусовых — смотрели на учителя.

«А где ж ты там, парень, живешь? — спросил он меня в другой раз. — В господском доме?» — «Нет, я живу отдельно, на дворе, в комнате при старой бане. Мне там очень хорошо: тихо, просторно, и никто не мешает. Я там и уроки даю». — «В бане? — задумчиво сказал старик. — И тебе не боязно! Она-то по ночам не ходит? Не пугает тебя?» — «Кто она? Какая она?» — «Да ведь тут у нас в старые годы, давно уж тому, помещица была, лихая такая: девкам

дворовым от нее житья не было. Очень уж она на одну сердца. Косу ей обрезать велела и другое разное такое — совсем со свету сживала. Та возьми да с горя и удавись. Суд приехал. В бане ее и «коронили» — значит, потрошили. А к чему это — неизвестно. А потом схоронили за оградой, потому что руки на себя наложила. После нее сундучок с вещами остался, а она была сирота. Так сундучок-то поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что она по ночам ходит сундук свой смотреть. Ну как же не боязно?!» Выслушав это, я понял, почему прислуга, когда я вечером желал остаться у себя (я готовился к отложенному на осень экзамену у Бабста из политической экономии и статистики и внимательно изучал Рошера), принося мне чай или молоко, ставила их на крылечке и, постучав в окно, быстро удалялась, несмотря на то что днем любила заходить ко мне и побеседовать с учителем. Вернувшись к себе, я пошел на чердак и в углу его действительно увидел покрытый пылью старый небольшой сундучок, перевязанный веревкой и запечатанный печатью пронского земского суда. Нужно ли говорить, что в первую же затем ночь мое нервно настроенное воображение заставило меня услышать чьи-то шаги на чердаке? Но затем молодость взяла свое, и несчастная самоубийца уже не тревожила мой крепкий сон.

В другой раз тот же старик рассказал мне с большими подробностями историю другого местного помещика, который зверски обращался со своими крепостными, находя усердного исполнителя своих велений в своем любимом кучере — человеке жестоком и беспощадном. У помещика, ведшего весьма разгульную жизнь, отнялись ноги, и силач-кучер на руках вносил его в коляску и выносил из нее. У сельского Малюты Скуратова был, однако, сын, на котором отец сосредоточил всю нежность и сострадание, не находимые им в себе для других. Этот сын задумал жениться и пришел вместе с предполагаемой невестой просить разрешения на брак. Но последняя, к несчастью, так приглянулась помещику, что тот согласия не дал. Молодой парень затосковал и однажды, встретив помещика, упал ему в ноги с мольбою, но, увидя его непреклонность, поднялся на ноги с угрозами. Тогда он был сдан в зачет в солдаты, и никакие просьбы отца о пощаде не помогли. Последний запил, но недели через две снова оказался на своем посту, прощенный барин, который слишком нуждался в его непосредственных услугах. Вскоре затем барин поехал куда-то к соседям со своим Малютою Скуратовым на козлах. Почти от

самого Панькина начинался глубокий и широкий овраг, поросший по краям и на дне густым лесом, между которым вилась заброшенная дорога. На эту дорогу, в овраг, называвшийся Чертово Городище, внезапно свернул кучер, не обративший никакого внимания на возражения и окрики сидевшего в коляске барина. Проехав с полверсты, он остановил лошадей в особенно глухом месте оврага, молча, с угрюмым видом, — как рассказывал в первые минуты после пережитого барин, — отпряг их и отогнал ударом кнута, а затем взял в руки вожжи. Почувяв неминуемую расправу, барин, в страхе, смешивая просьбы с обещаниями, стал умолять пощадить ему жизнь. «Нет! — отвечал ему кучер, — не бойся, сударь, я не стану тебя убивать, не возьму такого греха на душу, а только как ты нам солон пришелся, так тяжело с тобой жить стало, что вот я, старый человек, а через тебя душу свою погублю...» И возле самой коляски, на глазах у беспомощного и бесплодно кричащего в ужасе барина, он влез на дерево и повесился на вожжах.

Выслушав мой рассказ, Некрасов задумался, и мы доехали до Петербурга молча. Он предложил мне довести меня в своей карете на Фурштадтскую, где я жил, и, когда мы расстались, сказал мне: «Я этим рассказом воспользуюсь», — а через год прислал мне корректурный лист, на котором было набрано: «О Якове верном — холопе примерном», прося сообщить: «так ли?» Я ответил ему, что некоторые маленькие варианты нисколько не изменяют существа дела, и через месяц получил от него отдельный оттиск той части «Юму на Руси жить хорошо», в которой изображена эта пронская история в потрясающих стихах.

Мне пришлось несколько раз посетить Некрасова в доме Краевского на Литейном и раза два у него обедать в обществе сотрудников «Отечественных записок», где всех оживлял своими веселыми и образными рассказами покойный «друг писателей» Михаил Александрович Языков. Юмор и подвижность его были особенно ценны ввиду его весьма преклонного возраста, а память его просто поражала способностью хранить в себе многое из давно-давно прошедшего. Иногда на вопрос удивленного собеседника: «А сколько вам, Михаил Александрович, лет?» — он, с комической важностью, горделиво отвечал, пародируя знаменитые слова Людовика XIV: «L'état c'est moi»¹. За этими обедами мне пришлось слышать весьма интересные рассказы хозяина о

¹ Буквально: «Государство — это я» (*фр.*). Здесь игра слов: L'état (государство) произносится как русское «лета».

литературных нравах конца сороковых и первой половины пятидесятых годов и о тех невероятных, но вместе с тем достоверных издевательствах цензуры над здравым смыслом и трудом писателя в те времена, когда «жизнь была так коротка для песен этой лиры — от типографского станка до цензорской квартиры!» и когда поэт отвечал типографскому рассыльному Минаю, приносившему корректуру, испещренную красными крестами, и говорившему: «Сойдет-де и так». — «Это кровь [...] проливается! Кровь моя, — ты дурак!»...

Тогда же я познакомился с будущей женою Некрасова, Феклой Анисимовной, которую он называл более благозвучным уменьшительным именем Зины и к которой обращены многие его предсмертные стихи, полные страдальческих стонов и нежности. От нее веяло душевной добротой и глубокой привязанностью к Некрасову. За обедом, где из женщин присутствовала она одна, Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: «Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать», — и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут. Однажды, сообщая мне о том, что он начал ездить, в сопровождении Зины, в водолечебницу доктора Крейзера в Адмиралтействе, он сказал: «После моей водяной операции мы обыкновенно сидим некоторое время на Адмиралтейском бульваре. Это совпадает с временем обычной прогулки государя по набережной Невы, причем, незаметно для него, ему предшествуют и его сопровождают агенты тайной полиции, проживающие в здании Адмиралтейства. Мы уже привыкли их видеть выходящими на службу. Однажды один из них вышел в сопровождении жены с ребенком на руках и, помолившись на собор Исаакия, нежно поцеловал жену и перекрестил ребенка. Это очень растрогало Зину. «Ведь вот, — сказала она, — шпионина, а душу в себе имеет человечью!» Вдова Некрасова после его смерти жила в уединении, в самой скромной обстановке в Саратове, в последнее время нуждаясь и стойко замыкаясь в себя против назойливых покушений разных репортеров. Она умерла в 1914 году, свято чтя память своего мужа.

Иногда Некрасов обращался ко мне с просьбою о совете по тому или другому литературному делу, которое, в дальнейшем своем развитии, могло грозить осуществлением в реальной действительности того, что с таким юмором изобразил он в своем остроумном стихотворении «Суд». У меня

сохранилось его письмо от 7 апреля 1874 года. «Разрешите, пожалуйста,— писал он,— должны ли мы напечатать предлагаемое объяснение судьи Загибалова? И может ли выйти что-либо неприятное для редактора (в случае, если б мир[овой] судья, не видя объяснения напечатанным, принес жалобу) или нет? [...] Надо заметить, что судья этот, должно быть, скотина старых приказных времен, ибо наполнил свою заметку кляузами и бранью, которые я откинул. [...] Ответ ваш необходим сегодня. [...] Очень обяжете. [...] Искренно преданный Вам Н. Некрасов».

У Некрасова было много врагов, и на его счет распространялись самые злоречивые слухи, сосредоточиваясь главным образом на его крупных выигрышах в карты в Английском клубе. Порожденные этими слухами легенды живут, к сожалению, и по настоящее время в обществе. «Calomniez, calomniez — il en restera toujours quelque chose!»¹ По этому поводу мне пришлось однажды иметь большую беседу с самим Некрасовым.

В 1874 году сильное впечатление в Петербурге произвело возбуждение мною, по должности прокурора, дела о штабс-ротмистре Колеmine, содержавшем игорный дом и завлекавшем к себе роскошным угощением обыгрываемую им молодежь, причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись. Ввиду полной изобличенности Колемина, я предложил судебному следователю наложить на основании 512-й статьи XIV тома арест на деньги Колемина, хранившиеся на текущем счету в Волжско-Камском банке в сумме 49 500 рублей и представлявшие, согласно составленным Колеминым записям, чистый его выигрыш. Арест был наложен, и суд утвердил эту меру. Кто-то, по невежеству юридическому, а может быть с дурным и злорадным умыслом, уверил Некрасова, будто бы достоверно известно, что я намерен возбудить дела о всех лицах, выигравших крупные суммы в общественных собраниях и клубах, и предложить суду отобрать у них эти деньги для обращения их в пользу колонии и приюта для малолетних преступников в окрестностях Петербурга. Встревоженный Некрасов, сознававший, что такая мера могла бы губительно отразиться на средствах издания «Отечественных записок», как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность. Я, конечно, его разуверил и постарался рассеять его опасения, объяснив всю нелепость дошедшего до него слуха. При этом я подробно рассказал ему про по-

¹ «Клевещите, клеветайте — что-нибудь да останется!» (фр.).

воды к возбуждению дела о Колемяне и выяснил ему, что именно понимает закон под словами «устройство игорного дома» и как он исторически сложился. Некрасов успокоился и, долго просидев у меня, подробно рассказал мне, как образовались его значительные средства, возбуждавшие в столь многих ожесточенную зависть. В своем повествовании, довольно беспощадном к самому себе, он раскрыл передо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влекущую его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а своеобразное сознание своего превосходства и упоение победы...

Рассказы о «нечистой игре» Некрасова были несомненной клеветой — такую же, как стремление представить его бессердечным эгоистом и человеком, двулично драпирующимся в тогу друга народа и служителя «музы мести и печали», в то время, когда до народных скорбей ему, в сущности, нет никакого дела и он, широко тратя легко достающиеся деньги на себя, остается глух и слеп к чужому горю и несчастью. Из рассказов ряда писателей, а также его сестры, женщины правдивой до суровости, мне были известны нередкие случаи проявления им доброты и даже великодушной незлобивости по отношению к чуждым ему людям. Его прекрасные, внимательные и участливые отношения к сотрудникам, его отзвучивая готовность «подвизывать крылья» начинающим даровитым людям и его трогательная нежность к сестре служат лучшим опровержением шипения злобы, которая при жизни его и по смерти прикрывалась услужливыми словами «говорят, что...». «Несть человек, аще поживет и не согрешит. Ты один кроме греха...» — говорится в чудном ритуале нашей панихиды. Не «прегрешения» важны в оценке нравственного образа человека, а то, был ли он способен сознавать их и глубоко в них каяться. Стоит вспомнить вырвавшиеся из глубины души Некрасова, орошенные внутренними слезами, крики, которыми он оплакивал случаи своего кратковременного падения или минутного малодушия, когда ему приходилось сознавать, что «погрузился [...] в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей» и что «ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая головой...» — стоит их вспомнить, чтобы видеть, что он был человеком искренним.

Последние скорбные стихи были отголоском глубоко уязвивших Некрасова нареканий по поводу его стихотвор-

ного приветствия графу Муравьеву-Виленскому, диктаторская власть которого грозила в 1866 году прекращением наиболее выдающихся журналов. Слишком доверчиво полагаясь на умягчающее влияние своего поступка на сурового «усмирителя», Некрасов жестоко ошибся. «Современник», коего он был редактором, и «Русское слово» окончили свое существование, но несомненно, что он не преследовал никаких личных целей, а рисковал своей репутацией, чтобы спасти передовые органы общественной мысли от гибели.

Тот, кто наблюдал жизнь, кому приходилось иметь дело с живыми людьми, должен, мне кажется, признать, что существует большая разница между человеком дурным и человеком, впавшим в порочную слабость или увлеченным страстью. Нередко под оболочкой почти безупречной «умеренности и аккуратности», дающей повод к лицемерному самолюбованию, таится несомненно дурной человек, и наоборот, иной игрок, пьяница или «явный прелюбодей», которого наши старые судопроизводственные законы не допускали даже до свидетельства на суде, вне пределов своей порочной склонности бывают людьми великодушными, благородными и добрыми, в особенности добрыми. Недаром Достоевскому приписываются слова, что у нас добрые люди обыкновенно пьяные люди и пьяные люди почти всегда добрые люди... Литературные и нравственные заслуги Некрасова перед русским обществом так велики, что пред ними должны совершенно меркнуть его недостатки, даже если бы они и были точно доказаны. Это прекрасно выразил покойный Боровиковский в стихах «Его судьям», в которых, обращаясь к непреклонному моралисту, сующему «с миной величавой его ошибок скорбный лист», он говорит: «Ты сочитал на солнце пятна и проглядел его лучи!..»

Во время долгой и тяжелой предсмертной болезни Некрасова я был у него несколько раз и каждый раз с трудом скрывал свое волнение при виде того беспощадного разрушения, которое совершил с ним недуг. Последнее время он мог лежать только ничком, в очень неудобной позе, под одной простыней, которая ясно обрисовывала его страшно исхудалое тело. Голос был слаб, дрожащая рука — холодна, но глаза были живы, и в них светилось все, что оставалось от жизни, истерзанной страданием. В последний раз, когда я его видел, он попенял мне, что редко к нему захожу. Я отчасти заслужил этот упрек, но я знал от его сестры, что посещения его утомляют, и притом был в это время очень занят, иногда не имея возможности дня по три подряд выйти из дому. На мои извинения он ответил, говоря с тру-

дом и тяжело переводя дыхание: «Да что вы, отец! Я ведь это так говорю, я ведь и сам знаю, что вы очень заняты, да и всем живущим в Петербурге всегда бывает некогда. Да, это здесь роковое слово. Я прожил в Петербурге почти сорок лет и убедился, что это слово — одно из самых ужасных. Петербург — это машина для самой бесплодной работы, требующая самых больших — и тоже бесплодных — жертв. Он похож на чудовище, пожирающее лучших из своих детей. И мы живем в нем и умираем, не живя. Вот я умираю — а, оглядываясь назад, все и всегда было некогда. Некогда думать, некогда чувствовать, некогда любить, некогда жить душою и для души, некогда думать не только о счастье, но даже об отдыхе, и только умирать есть время...»

Хотя и давно ожидаемая, вследствие сообщений газет о трудной операции, произведенной Бильротом, и о тяжелых страданиях, смерть Некрасова произвела в Петербурге, да и во многих местах России, сильное впечатление, заставила восторгнуться во многих любовь к угасшему и вызвала неподдельное чувство боли, заставив на время смолкнуть наветы недругов и злобные шуточки лицемерных друзей. Это настроение нашло себе яркое выражение в прекрасных стихах того же Боровиковского, написанных накануне похорон и начинавшихся словами:

Смолкли поэта уста благородные...

Самые похороны были очень многолюдны и, сколько помнится, были вторыми неофициальными похоронами в Петербурге, в которых — после торжественных похорон знаменитого артиста Мартынова 13 сентября 1860 года — приняли участие с горячим порывом самые ранообразные круги общества. Обстановка этих похорон и характер участия в них молодого поколения указывали, что ими выражается не только сочувствие к памяти покойного, но и подчеркивается живое активное восприятие основного мотива его поэзии. Надо, впрочем, заметить, что по торжественности и внешнему, свободно установленному, порядку эти похороны значительно уступали тому, что пришлось впоследствии видеть при похоронах Достоевского и отчасти Тургенева. Мне вспомнился вечер 30 декабря 1877 года, — день похорон Некрасова, — проведенный в доме редактора «Вестника Европы». Все были полны одним чувством, но с особой силой оно сказывалось у Кавелина — большого поклонника покойного поэта, любившего его «за каплю крови, общую с народом».

Русский человек до мозга костей, знаток быта и глубокий исследователь явлений истории своего народа, Кавелин нежно и беззаветно любил этот народ. Он светло смотрел вперед, не смущаясь за будущую роль своего отечества. Ему нравилось, когда его называли в этом отношении оптимистом. «Да, я оптимист,— говаривал он с тихой и уверенною радостью во взоре,— я верю, что, какие бы уродливые и болезненные явления ни представляло русское общество, простой русский человек поймет свои задачи, разовьет свои богатые духовные силы и вынесет на своих плечах Россию». Он не отрицал темных и грубых сторон нашего сельского быта, на котором, как на устоях, должна, по его мнению, стоять Россия,— но он восставал против поспешных и мрачных обобщений. «Эти недостатки — недостатки молодости, не перебродившего переходного положения, наносная и поверхностная плесень»,— говаривал он... «Сердцевина здорова, и ее живительные соки залечат больные места в коре; пусть только дадут им выход, не мудрствуя лукаво, не навязывая народу чуждых ему учреждений и не заключая его в бюрократические тиски... Надо верить в русский народ, надо его любить,— без этого жить нельзя!» Он часто доказывал, что о народе следует судить не по его нравам и привычкам, а по его идеалам, и с удовольствием повторял процитированное перед ним однажды изречение Монтескье: «Le peuple est honnête dans ses goûts, sans l'être dans ses moeurs...»¹

Всякий истинный слуга народа был ему дорог. Понятно, как ему, с этой точки зрения, был близок усопший поэт. Он умел так настроить и направить довольно многочисленный кружок, что весь вечер был всецело посвящен памяти усопшего. В растроганном настроении внимали все Кавелину, читавшему слегка дрожащим голосом и с влажными глазами «Тихину» и «Несчастных», в которых с такой силой и красотой вылилась любовь Некрасова к родине и к русскому человеку.

Первым пунктом завещания Некрасова, составленного в январе 1877 года и утвержденного Петербургским окружным судом 20 января 1878 года, в бытность мою председателем этого суда, все авторские права, рукописи и частные письма к нему разных лиц завещаны в собственность Анне Алексеевне Буткевич, а именье близ села Чудово при усадьбе «Лука» оставлено в собственность жене с тем, чтобы она выделила из него половину незастроенной земли брату

¹ «Народ честен в своих стремлениях, но не в своих нравах...» (Фр.)

завещателя, Константину. Анна Алексеевна купила у вдовы брата доставшуюся ей усадьбу с землей. В этой усадьбе проводил покойный часто подолгу время в последние десять лет своей жизни, охотясь и работая; здесь, между прочим, написал он значительную часть своей поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Анна Алексеевна относилась с благоговением к памяти брата и издала его стихотворения в 1879 году в четырех томах, в подготовку которых к печати вложила много любви и личного труда. В 1881 году она повторила издание в одном большом и компактном томе. Она умерла в 1882 году, и все три года ее жизни, прошедшие после смерти брата, были сплошным служением его памяти. В эти годы я сильнее прежнего сблизился с ней, в особенности после того, как мне удалось вывести ее из довольно затруднительного положения, вызванного ее несколько запутанными личными и семейными отношениями. «Получив ваше письмо, — писала она мне в апреле 1879 года, — я хотела сейчас ехать к вам, чтобы лично поблагодарить вас за спокойствие, которое вы мне устроили, но боязнь отвлечь вас от занятий удержала меня от демонстрации моей радости. Вы связали оказанную вами услугу с воспоминанием о моем брате... Да! В этом вы заменили мне его, и вы не поверите, каким вы стали дорогим для меня человеком». Она разбирала со мною бумаги и черновые наброски стихотворений брата. В двадцатых числах января 1882 года она заболела тяжелым плевритом и, пригласив меня к себе, просила быть ее душеприказчиком и позаботиться об устройстве в «Луке» училища в память брата. Слабое пожатие ее горячечной руки было последним для меня в ее жизни, которая угасла 20 февраля.

С грустным чувством приходится завершить мои отрывочные воспоминания повествованием о судьбе задуманного Анною Алексеевной увековечения памяти ее брата.

Согласно ее завещанию, на устройство и содержание этого училища должны были быть переданы мне деньги, вырученные книжным складом Стасюлевича от продажи изданных ею сочинений брата. Весною 1882 года я вступил в сношении с новгородским земством о передаче ему по дарственной записи усадьбы «Лука» со всею находящеюся в ней движимостью, с условием устроить в ней школу имени Некрасова, при обещании представителей земства сохранить в неприкосновенном виде его кабинет с письменным столом, креслом и превосходным портретом работы Ге. Земство приняло пожертвование с благодарностью и вскоре ассигновало на поддержание школы пятьсот рублей ежегод-

но, но затем зачались разные затруднения и проволочки как относительно типа школы ее назначения, так и относительно большего ее материального обеспечения. Для увеличения последнего я принял на себя ходатайство пред министром государственных имуществ М. Н. Островским об удовлетворении просьбы земства о ежегодной субсидии этой школе, если она будет сельскохозяйственного типа. Островскому, который в это время круто стал отрешаться от своих прежних взглядов и литературных симпатий, не было симпатично название школы, но после некоторых колебаний он согласился, и школе со дня ее открытия было назначено пособие в тысячу рублей ежегодно. Затем, вследствие новых заявлений земства о недостаточности средств, я вошел в 1884 году в сношение с А. А. Краевским и М. Е. Салтыковым о передаче новгородскому земству шести тысяч шестисот семидесяти трех рублей, собранных редакцией «Отечественных записок» на устройство школы в память Некрасова в месте его родины. Я был уверен, что эти деньги вместе с арендной платой с земли при «Луке», субсидиями от министерства государственных имуществ и от земства и с 4500 рублями, вырученными от продажи сочинений Некрасова, могут, наконец, обеспечить существование некрасовской школы. К сожалению, какой-то злой рок тяготел над открытием этой школы, которая в проекте переделывалась из сельскохозяйственной в ремесленную и наоборот и предназначалась к открытию то в «Луке», то в имении одного из местных помещиков, а в действительности не была открыта в течение девяти лет. Это побудило меня обратиться к председателю губернской земской управы с письмом следующего содержания: «Милостивый государь! Вследствие состоявшегося в 1882 году между мною, как душеприказчиком вдовы полковника Анны Алексеевны Буткевич, и представителями новгородского губернского и уездного земства соглашения, мною было передано земству для устройства школы в память Н. А. Некрасова завещанное госпожою Буткевич имение, состоящее из дома и 82 десятин земли при усадьбе «Лука», близ Чудова, и препровождены затем 11 173 рубля серебром. При возникшей по поводу устройства этой школы переписке между мною и господами председателями губернской и уездной земских управ я неоднократно высказывал, что, в качестве душеприказчика А. А. Буткевич, я не имею никаких возражений ни против типа или характера школы, ни против местности, в которой земству угодно будет ее открыть, озабочиваясь лишь скорейшим выполнением желаний завещательницы, хотевшей

связать память о своем брате с посильною пользой народному образованию в местности, где последний часто жил и создал многие из своих поэтических произведений. К сожалению, однако, школа имени Некрасова до настоящего времени не учреждена, а появляющиеся в повременных изданиях известия заставляют предполагать, что при настоящем положении вопроса нельзя даже и предвидеть с точностью времени ее открытия, несмотря на то, что, помимо земли и дома, на этот предмет у земства имеется уже капитал, превышающий четырнадцать тысяч рублей серебром. Не считая себя вправе входить в обсуждение причин и условий такого неблагоприятного для осуществления воли госпожи Буткевич положения дела, я не могу, однако, оставлять обязанности, возложенной ею на меня, неисполненною и ограничиться одним лишь формальным исполнением ее воли путем передачи ее имения и завещанных ею средств земству, тем более что 6673 рубля испрошены мною у господ Салтыкова и Краевского именно для устройства задуманной госпожою Буткевич школы. Поэтому и в виду предстоящего губернского земского собрания имею честь обратиться к вам с покорнейшею просьбой оказать зависящее с вашей стороны содействие — к безотлагательному и действительному разрешению вопроса о некрасовской школе — или же, буде новгородское земство считает приняты на себя по дарственной записи 1883 года обязательства невыполнимыми, — к возбуждению вопроса о возвращении мне всего, предоставленного для устройства школы, дабы я мог передать эти средства министерству народного просвещения с той же целью».

Наконец, в 1892 году Некрасовская сельскохозяйственная школа была открыта при доме поэта в «Луке», причем из вещей Некрасова, вследствие плохого надзора, как удостоверил в «С.-Петербургских ведомостях» за 1902 год Жилкин, остался в доме лишь его портрет. По последующим известиям, если верить корреспонденции «С.-Петербургских ведомостей», в 1904 году школа находилась в таком неприглядном виде, что очередное земское уездное собрание постановило: признать школу в настоящем ее виде нежелательною и поручить управе разработать вопрос или о реорганизации ее, или о совершенном закрытии, передав портрет поэта в Музей императора Александра III и заменив его копией. В 1906 году — школа закрыта вовсе, а усадьба Некрасова сдана в аренду подрядчику рабочей артели с ближайшей плитной ломки...

Весною 1845 года начинающий, впоследствии очень известный, писатель Григорович взял у своего сотоварища по воспитанию в Инженерном училище рукопись его первого литературного труда и отнес ее к Некрасову, собиравшему материалы для «Петербургского сборника».

Чтение рукописи привело их в восторг и вызвало у сдержанного вообще Некрасова слезы. С известием об этом впечатлении, самым ранним утром, Григорович поспешил к автору, а затем вместе с Некрасовым отправился к знаменитому русскому критику. «Белинский! — вскричал один из них, входя. — Новый Гоголь народился!»

«Эк у вас Гоголи-то как грибы растут», — сурово ответил Белинский, однако взял рукопись, а вечером в тот же день пришел к ним сказать, что совершенно восхищен этим произведением и непременно желает видеть молодого автора, которого затем приветствовал самым душевным образом и, так сказать, благословил на дальнейшую писательскую деятельность. Этот молодой автор был Достоевский, а произведение его называлось «Бедные люди», в котором затронутые Гоголем душевные переживания скромного труженика, «униженного и оскорбляемого» и людьми и судьбой, изображены с гораздо большей широтой и берущей за сердце глубиной.

Гейне говорит, что человек в разгаре своей деятельности похож на солнце. Чтобы его рассмотреть как следует, надо видеть его при восходе и при закате. То же следует сказать и про деятельность выдающегося человека. Восход и закат Достоевского как писателя были яркие и приковывавшие к себе общее внимание, но разгар его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и отсутствия справедливости в отношении к нему критики. Улыбнувшись ему и даже вскружив ему голову блестящим успехом, судьба повела его затем тяжким и тернистым путем, сначала на Семеновский плац, заставив пережить муки ожидания смертной казни, потом по долгой «Владимирке» в сибирскую каторгу и оренбургские линейные батальоны. После «Бедных людей» талант его, как это встречается у многих писателей, стал как будто постепенно слабеть, гаснуть и под влиянием материальной нужды грозить размениться на мелкую монету вынужденного заработка. Но пребывание в «Мертвом доме» не озлобило его, не убило для жизни и не заставило возгордиться, доведя, как это бывало у некоторых, до самолюбования. Он вернулся из

каторги примиренный с жизнью, просветленный пониманием смысла и значения последней. В душе надломленных, но не обезличенных товарищей по острогу и даже в самых закоренелых злодеях он сумел найти признаки человечности. Ему было дано проникновенно затронуть роковые и противоположные вопросы тяжкого отсутствия уединения и насильственного одиночества. Любовь к страждущим и сострадание к людям стали затем господствующей и несомолкающей нотой в его творчестве.

В его «Мертвом доме» далекая, туманная и малоизвестная сибирская каторга встала в живых образах и со всеми своими сторонами, не превзойденная никакими последующими описаниями, хотя бы и очень талантливыми. Как бедны и односторонни наряду с «Мертвым домом» прославленные страницы «Моих темниц» Сильвио Пеллико, и какой верой в лучшие свойства человека веет от дышащих правдой заметок и наблюдений Достоевского, сделанных им в русской «Citta dolente»¹!

По возвращении к обычной жизни ему пришлось писать свои сочинения, созревшие в чуткой и «взыскующей града» душе, в тягостных условиях. Создавая свой удивительный по богатству и глубине содержания роман «Преступление и наказание», он писал своему брату: «Работа из-за денег задавила и съела меня. Эх, хотя бы один роман написать, как Толстой или Тургенев, — не наскоро и не наспех». И так пришлось ему работать всю жизнь, испытывая высокомерное к себе отношение некоторых из редакторов влиятельных журналов — оценку своего таланта как «жестокого» и упреков в «мучительстве» читателя (как будто совесть — «незванный гость, докучный собеседник, заимодавец лютый», — которую пробуждал Достоевский в читателе, не бывает жестокая?). Недаром тонкий ценитель его дарования, Вогюэ, называет его «собирателем русского сердца, умевшим окунуться в скорбь жизни». Эта скорбь чувствуется даже в названиях его произведений: «Мертвый дом», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Бедные люди», «Записки из подполья» и т. д., и в его языке, тревожном, нервном, страстном, напоминающем перебой большого сердца, и, наконец, в частом возвращении к одним и тем же картинам, заставляющим вспомнить слова поэта: «О память сердца! ты сильнее — рас судка памяти печальной».

¹ Поэтическое обозначение ада, употребляется в значении «тюрьма» (ит.).

Нужно ли говорить о смелости созданных им образов, с их глубокими сомнениями и их восторженной верой, о переходах от описаний умиляющих душевных проявлений к изображению страстей и пороков в их крайнем развитии, причем он идет к павшим, погрязшим и несчастным с чувством жалости, не брезгая ими и не гнушаясь, а не разглядывая их, как это иногда делается в современной беллетристике, с холодным любопытством в увеличительное стекло.

В январе 1866 года я зашел к А. Н. Майкову, с которым познакомился еще в Москве, когда он посещал небольшой кружок студентов Петербургского университета, перешедших в Москву после закрытия последнего и группировавшихся вокруг филолога Н. Н. Куликова — милого, доброго и разностороннего человека. Занятые лекциями и даванием уроков, мы собирались обыкновенно по субботам и засиживались до поздней ночи в оживленной беседе о всяких «злобах дня». Никого из десяти членов этого кружка, кроме меня, нет уже в живых. Бывая в Москве, Майков любил заходить пить скромный студенческий чай на наши субботние сборища и охотно читал нам свои новые, еще не напечатанные произведения. Так, между прочим, нам пришлось слышать в его мастерском и одушевленном чтении «Смерть Люция» в первоначальной редакции, которая оставляет далеко за собою позднейшую.

Майков встретил меня под впечатлением прочитанной им в только что вышедшей книжке «Русского вестника» первой части «Преступления и наказания». «Послушайте, — сказал он мне, — что я вам прочту. Это нечто удивительное!» — и, заперев дверь кабинета, чтобы никто не помешал, он прочел мне знаменитый рассказ Мармеладова в питейном заведении, а затем отдал мне на несколько дней и самую книжку. До сих пор, по прошествии стольких лет, при воспоминании о первом знакомстве с этим произведением оживает во мне испытанное тогда и ничем не затемненное и не измененное чувство восторженного умиления, вынесенного из знакомства с этой трогательной вещью. Великий художник с первых слов захватывает в ней своего читателя, затем ведет его по ступеням всякого рода падений и, заставив его перестрадать их в душе, мирит его в конце концов с падшими, в которых сквозь преходящую оболочку порочного, преступного человека сквозят нарисованные с любовью и горячей верой вечные черты несчастного брата. Созданные Достоевским в этом романе образы не умрут не только по художественной силе изобра-

жения, но и как пример удивительного умения находить «душу живую» под самой грубой, мрачной, обезображенной формой — и, раскрыв ее, с состраданием и трепетом показывать в ней то тихо тлеющую, то распространяющую яркий, примиряющий свет искру божию.

Критика того времени, однако, не благоволила к Достоевскому. Его роману не было посвящено, сколько мне помнится, ни одного серьезного разбора, в то время как произведениям «идейных беллетристов», именам которых ныне «ты, господи, веши», оказывалось милостивое внимание. В некоторых пренебрежительных отзывах о романе даже указывалось, что это «клевета на молодое поколение», которое будто бы воплощено в Раскольникове, представляющем из себя простого убийцу для грабежа. Находились даже люди, с развязностью утверждавшие, что Достоевский написал «донос на молодежь». Но «il tempo — e un galantuomo»¹, — говорят итальянцы, — и оно поспешило действительными событиями жизни подтвердить творческий вымысел автора «Мертвого дома» и «Униженных и оскорбленных». 12 января 1866 года, когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет («Русский вестник» всегда выходил со значительным опозданием), в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку, — а через тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг. Это умышленное и злостное непонимание глубокого смысла «Преступления и наказания», которому лишь в восьмидесятых годах пришлось, наконец, быть оцененным по достоинству не только у нас, но в западноевропейской литературе, — в то время чрезвычайно волновало мою молодую и еще не приглядевшуюся к житейской несправедливости душу и было даже однажды причиной резкого спора с одним из грубых и невежественных порицателей «доносчика», спора, едва не окончившегося у барьера².

Через много лет, в начале семидесятых годов, в бытность мою прокурором окружного суда в Петербурге, сестра моего друга Куликова, лично знакомая с Достоевским, написала

¹ «время — честный человек» (ит.).

² Достаточно упомянуть, как сильно отразилось «Преступление и наказание» на приемах и содержании некоторых произведений Габриэль Д'Аннуцио и Поля Бурже, указать на критические отзывы Вогюэ, на разбор его в социально-криминологических очерках Ферри, на лекциях французского судебного деятеля Аталена, говорящего своим слушателям: «Читайте, читайте Достоевского» и т. п. (Примеч. автора.)

мне, что Федор Михайлович находится в крайне затруднительном положении. Он был в это время редактором «Гражданина», имевшего другой характер, чем позднейшая постыдная газета того же имени, и допустил напечатание в нем сведения о путешествии государя, не испросив на то предварительного разрешения министра двора, как то требовалось цензурными правилами, вследствие чего суду пришлось приговорить его к аресту на две недели на гауптвахте. Приговор, войдя в законную силу, был обращен к исполнению. Между тем предпринятое Достоевским лечение и разные другие обстоятельства личного характера делали для него это кратковременное лишение свободы до крайности неудобным именно в то время, когда приговор подлежал осуществлению. Отвечая Куликовой, я просил ее передать Федору Михайловичу, что приговор будет обращен к исполнению лишь тогда, когда он сам найдет это по своим соображениям удобным. За любезным письмом Достоевского с выражением благодарности последовало его посещение, отвечая на которое, я убедился воочию, в какой скромной и даже бедной обстановке жил, мыслил и творил один из величайших русских писателей. При этом нашем свидании он вел довольно долгую беседу, очень интересуясь судом присяжных и разницею в оценке преступления со стороны городских и уездных присяжных.

15 октября 1876 года в Петербургском окружном суде слушалось дело крестьянки Екатерины Корниловой, которая, будучи беременной на четвертом месяце, раздраженная упреками своего мужа и замечаниями, что первая его жена была лучшею «хозяйкою», выбросила назло ему из окна четвертого этажа свою 6-летнюю падчерицу, каким-то чудом оставшуюся живую и отделавшуюся лишь крайним испугом. Дело это чрезвычайно заинтересовало Достоевского. В удивительных по глубине психологического анализа, по знанию природы русского человека и по возвышенному и вместе трезвому взгляду на задачи суда строках своего «Дневника писателя» он выразил сомнение во вменяемости Корниловой ввиду частых ненормальностей в душевных движениях и порывах беременных. Рисуя, со свойственным ему знанием народного быта, сцену предстоящего расставания отца уцелевшей девочки с приговоренной на каторгу женой с новорожденным младенцем на руках, он спрашивал: «А неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка...» Вместе с тем он стал горячо хлопотать о таком смягчении и бывать для этого у меня в министерстве юстиции.

Конечно, ему было мною обещано всевозможное содействие в смысле выработки и направления представления о помиловании Корниловой или о значительном смягчении ей наказания. Но давать ход этому представлению не пришлось. Решение присяжных было кассировано сенатом, и при вторичном рассмотрении дела, с вызовом компетентных врачей-экспертов, она была оправдана.

Замечательно, что через двадцать лет Л. Н. Толстой в своем романе «Воскресение» в уста крестьянина, сопровождающего в Сибирь свою жену, осужденную за покушение на отравление его, влагает глубоко трогательный рассказ о душевном состоянии этой женщины, «присмолившейся» впоследствии к мужу.

Строки, которыми Достоевский приветствовал оправдание Корниловой в своем «Дневнике писателя», дышат самой горячей, захватывающей радостью и справедливой гордостью человека, одиноко поднявшего голос против совершившейся ошибки.

Три рода больных, в широком и в техническом смысле слова, представляет жизнь: в виде больных волею, больных рассудком, больных, если можно так выразиться, от неудовлетворенного духовного голода. О каждом из таких больных Достоевский сказал свое человеческое веское слово в высокохудожественных образах. Едва ли найдется много научных изображений душевных расстройств, которые могли бы затмить их глубоко верные картины, рассыпанные в таком множестве в его сочинениях. В особенности разработаны им отдельные проявления элементарных расстройств психической области — галлюцинации и иллюзии. Стоит припомнить галлюцинации Раскольниковова после убийства закладчицы или мучительные иллюзии Свидригайлова в холодной комнате грязного трактира в парке. Провидение художника и великая сила творчества Достоевского создали картины, столь подтверждаемые научными наблюдениями, что, вероятно, ни один психиатр не отказался бы подписать под ними свое имя вместо имени поэта скорбных сторон человеческой жизни.

Вскоре после дела Корниловой Достоевский снова появился в стенах министерства юстиции. Он в это время уже приобрел обширное влияние на молодежь и всякого рода «униженных и оскорбленных», без малодушной лести первой и без сентиментальной потачки тому дурному, что иногда встречалось во вторых. К нему шли за советом, утешением, нравственную помощь — ему поверяли свои сомнения и терзания, ему открывали омраченную или смущен-

ную душу... Некто А. Бергеман — добрая и отзывчивая на людское горе женщина — обратилась к нему в декабре 1876 года, прося его содействия и совета в деле спасения 11-летней девочки, брошенной матерью на попечение развратного и пьяного отставного солдата, с которым ей самой жить «стало невозможно». Старик посылал девочку собирать милостыню, сам поджидая жатвы в ближайшем кабаке и нещадно колотя голодного и озябшего ребенка, если принесенного оказывалось мало. Дальнейшая судьба, ожидавшая девочку, была ясна и несомненна, тем более что мать, работавшая на бумагопрядильной фабрике, разысканная госпожою Бергеман, рассказала ей, что муж уже обещал ей старшую внебрачную дочь и хвастался, что сделает то же и с бедной Марфушей (так звали девочку), когда она «поспелет»... Достоевский за это дело принялся горячо и с сосредоточенною настойчивостью, доставая мне необходимые справки и присылая полученные им сведения. Помочь ему и госпоже Бергеман в их благородном беспокойстве за девочку было довольно трудно, так как в то время ничего подобного «Обществу защиты детей от жестокого обращения» не существовало. После личных сношений с прокурором и градоначальником дело кончилось, однако, тем, что девочка была освобождена от своего мучителя и развратителя. Попечением госпожи Бергеман она была помещена сначала в Елисаветинскую детскую больницу, а после того, как немного укрепилась, в детский приют.

Достоевского очень интересовала колония для малолетних преступников на Охте, за пороховыми заводами, и по его желанию я свез его туда в один из летних дней 1877 года.

В первоначальном устройстве колонии, открытой в конце 1871 года, было немало недостатков. Она разделялась на собственно колонию (земледельческую) и на ремесленный приют. Первое время каждое из этих учреждений было вверено особому лицу в качестве совершенно самостоятельного руководителя. Связующего и объединяющего звена между ними не было, и каждый из двух весьма известных педагогов, расходясь друг с другом во взглядах, проводил в жизнь свою теорию воспитания. Вследствие этого образовались две пограничные области, разделенные, сколько помнится, лишь небольшим ручьем или канавкой, резко различные по своему устройству и порядку управления. В одной малолетние почти не чувствовали над собой твердой власти и, образуя нечто вроде маленького, своеобразного суда присяжных, сами определяли, в случае про-

ступков товарищей, их виновность (и, надо сказать, почти всегда справедливо и всегда строго); в другой существовала осязательная дисциплина и наказания налагались руководителем. В одной уборка комнат, топка печей и все хозяйственные работы исполнялись питомцами, старшим из которых разрешалось курение, — в другой эти работы исполнялись наемными слугами, и курение было воспрещено безусловно. В одной господствовали руководство и наставление, в другой — указание и приказание. Можно себе представить, какую неустойчивость представляло при этом воспитание питомцев, постоянно входивших и даже вводимых в общение между собою. И тем не менее, по идее своей колония была прекрасным учреждением, и открытие ее составляло один из первых шагов благородной деятельности русского общества по исправлению и постановке на путь честного труда тех несчастных, к которым, вследствие грустных условий их детской жизни, уже успело привиться преступление. В создание колонии вложил массу труда, хлопот, затрат и самой горячей любви известный юрист-практик и один из составителей Судебных уставов, сенатор Михаил Евграфович Ковалевский. Он принимал непосредственное, живое участие в устройстве колонии, в горестях и радостях ее пестрого населения. Библиотека, мастерские, отдельные домики и красивая в своей простоте церковь — все это устроено первоначально под его руководством и надзором. Колония, где все его знали и любили, относясь к нему доверчиво и просто, долго была предметом его постоянной заботы, местом его отдыха и его любимым детищем. В свободное время он проводил там целые дни, изучая характеры отдельных «колонистов», вводил и обсуждал разные хозяйственные меры. Когда в колонии устраивался на праздниках домашний театр или какое-нибудь развлечение для детей, сдержанный и с виду холодный судебный сановник, окруженный шумливою толпою питомцев колонии, радовался детской радостью и бывал счастлив, когда кто-нибудь приезжал ее с ним разделить... Ковалевский сам сознавал недостатки в устройстве колонии и непригодность двойственности последнего, но, с одной стороны, он не хотел обидеть твердой критикой ни одного из двух педагогов, руководивших делом, к которому они относились с любовью и увлечением, — а с другой — он находил, что торопливость реформы может не дать проявиться поучительным плодам вполне выясненного опыта. Впоследствии двоевластие в колонии выразилось в таких крайних разногласиях между соправителями, что на место их пришлось призвать новое

лицо — на началах единовластия. Оно исподволь стало водворять новые порядки, но при посещении колонии Достоевским старый строй был во многих отношениях еще в силе.

Достоевский внимательно приглядывался и прислушивался ко всему, задавая вопросы и расспрашивая о мельчайших подробностях быта питомцев. В одной из больших комнат он собрал вокруг себя всю молодежь и стал расспрашивать ее и беседовать с нею. Он давал ей ответы то на пытливые, то на наивные вопросы, но мало-помалу эта беседа обратилась в поучение с его стороны, глубокое и вместе вполне доступное по своему содержанию, проникнутое настоящей любовью к детям, которая так и светит со всех страниц его сочинений, говорящих о «малых сих»... Его иногда прерывали и вступали с ним в спор, но слушали, конечно, даже и не подозревая, кто он, с напряженным вниманием, дав раза два подзатыльник одному из шаловливых и нетерпеливых слушателей. Он произвел сильное впечатление на всех собравшихся вокруг него — лица многих, уже хлебнувших отравы большого города, стали серьезными и утратили напускное выражение насмешки и того молодечества, которому «на все наплевать»; глаза некоторых затуманились.

Когда мы вышли, чтобы пойти осмотреть церковь, все пошли гурьбою с нами, тесно окружив Достоевского и непрерывно сообщая ему о своих житейских приключениях и о проделках и взглядах на порядки колонии своих товарищей. Чувствовалось, что между автором скорбных сказаний о жизни и ее юными бессознательными жертвами установилась душевная связь и что они почуяли в нем не любопытствующего только посетителя, но и скорбящего друга.

Церковь, довольно обширная, с простыми деревянными, ничем необделанными стенами внутри, была обильно снабжена иконами. Ковалевский выпросил для нее образа, похищенные или почему-либо отобранные у старообрядцев, хранящиеся много лет без востребования или возвращения в качестве вещественных доказательств в кладовых упраздненных судебных мест старого устройства. С икон, развешанных по стенам, смотрели коричневые лики и тощие условные фигуры старого письма, в одеждах «празелень» и с бородами «до чресл», окруженные неправдоподобными горами, среди которых ютились не менее странные города и обители. Но иконостас был новый, расписанный красивыми традиционными изображениями во вкусе итальянской школы.

Когда мы поехали назад в город, Федор Михайлович долго и сосредоточенно молчал, а затем мягко сказал мне: «Не нравится мне эта церковь. Это музей какой-то! К чему это обилие образов? Для того чтобы подействовать на душу входящего, нужно лишь несколько изображений, но строгих, даже суровых, как строга должна быть вера и суров долг христианина. Да и напоминать они должны мальчику, попавшему в столичный омут и успевшему в нем загрязниться, далекую деревню, где он был в свое время чист. А там в иконостасе обыкновенно образа неискусного, но верного преданиям письма. Тут же в нем все какая-то расфранченная итальянщина. Нет, не нравится мне церковь... Да и еще не нравится, — прибавил он, — эта искусственная и непонятная детям из народа манера говорить им вы — оно, быть может, по-нашему, по-господскому, и вежливей, но холоднее, гораздо холоднее. Вот я им говорил всем ты, а ведь проводили они нас тепло и искренно. Чего им притворяться? Да и непритворны они еще пока — ни в добром, ни в злом...» И действительно, колонисты провожали его шумно и доверчиво, окружив извозчика, на которого мы садились, и крича Достоевскому: «Приезжайте опять! Непременно приезжайте! Мы вас очень будем ждать».

В 1880 году в Москве состоялось давно жданное открытие памятника Пушкину, совпавшее с наступлением временного просвета во внутренней политике. По оживлению населения, по восторженному настроению представителей литературы, искусства и просветительных учреждений, в большинстве входивших в состав разных депутатов с хоругвями и венками, по трогательным эпизодам, сопровождавшим это открытие, — оно представляло незабываемое событие в памяти каждого из сознательно при нем присутствовавших.

Три дня продолжались празднества, причем главным живым героем этих торжеств являлся, по общему признанию, Тургенев. Но на третий день его заменил в этой роли Федор Михайлович Достоевский. Тому, кто слышал его известную речь в этот день, конечно, с полной ясностью представилось, какой громадной силой и влиянием может обладать человеческое слово, когда оно сказано с горячей искренностью среди назревшего душевного настроения слушателей. Сутуловатый, небольшого роста, обыкновенно со слегка опущенной головой и усталыми глазами, с нерешительным жестом и тихим голосом, Достоевский совершенно преобразился, произнося свою речь. Еще накануне, слушая его на вечере превосходно читающим «Как весенней раннею порою» и декламирующим пушкинского «Пророка»,

нельзя было предвидеть того полного преобразования, которое с ним произошло во время его речи, хотя стихи были сказаны им прекрасно и производили сильное впечатление, особенно в том месте, где он, вытянув перед собой руку и как бы держа в ней что-то, сказал дрожащим голосом: «И сердце трепетное вынул!» Речь Достоевского в чтении не производит и десятой доли того впечатления, которое она вызвала при произнесении. Содержание ее, в свое время, дало повод к ряду не лишенных основания возражений. Но тогда, в Пушкинские дни, с эстрады Дворянского собрания, пред нервно настроенной и восприимчивой публикой, она была совсем иною. Участники этих дней не только особенно горячо любили в это время Пушкина, но многие простаивали подолгу перед его памятником, как бы не в силах будучи наглядеться на бронзовое воплощение «властителя дум» и виновника общего захватывающего одушевления. В мыслях о судьбе и творчестве безвременно погибшего поэта сливались скорбь и восторг, гнев и гордость истинною, непрекаемую славой русского народного гения. Эти чувства, без сомнения, глубоко влияли и на Достоевского, которому лишь в конце его «судьбой отсчитанных дней» пришлось испытать общее признание после долгих лет тяжких страданий, материальной нужды, упорного труда и вольного и невольного непонимания со стороны литературных судей. На эстраде он вырос, гордо поднял голову, его глаза на бледном от волнения лице заблестали, голос окреп и зазвучал с особой силой, а жест стал энергическим и повелительным. С самого начала речи между ним и всею массой слушателей установилась та внутренняя духовная связь, сознание и ощущение которой всегда заставляют оратора почувствовать, а затем расправить свои крылья. В зале началось сдержанное волнение, которое все росло, и когда Федор Михайлович окончил, то наступила минута молчания, а затем, как бурный поток, прорвался неслыханный и невиданный мною в жизни восторг. Рукоплескания, крики, стук стульями сливались воедино и, как говорится, потрясли стены зала. Многие плакали, обращались к неизвестным соседям с возгласами и приветствиями; многие бросились к эстраде, и у ее подножия какой-то молодой человек лишился чувств от охватившего его волнения. Почти все были в таком состоянии, что казалось, пошли бы за оратором по первому его призыву куда угодно... Так, вероятно, в далекое время умел подействовать на собравшуюся толпу Савонарола. После Достоевского должен был говорить Аксаков, но он вышел пред продолжавшею волноваться пуб-

ликой и, назвав только что слышанную речь «событием», заявил, что не в состоянии говорить после Федора Михайловича. Заседание было возобновлено лишь через полчаса. Речь Достоевского поразила даже иностранцев, которые, однако, не могли чувствовать таинственных нитей, связывающих некоторые ее места и выражения с сердцем русских людей в его сокровенной глубине. Профессор русской литературы в Парижском университете Луи Лежэ, приехавший специально на Пушкинские празднества, говорил мне вечером в тот же день, что совершенно подавлен блеском и силой этой речи, весь находится под ее обаянием и желал бы передать свои впечатления во всем их объеме («au Maître»¹, т. е. Виктору Гюго, в таланте которого, по его мнению, так много общего с дарованием Достоевского).

После Пушкинских дней популярность Достоевского достигла своего апогея, и каждое его появление на эстраде в благотворительных концертах и чтениях сопровождалось горячими и бесконечными овациями. Он завоевал, думается мне, как никто из пишущей братии до него, симпатии всех слоев общества...

30 января 1881 года был назначен в зале дома Кононова вечер в пользу Литературного фонда в память Пушкина. На нем должен был читать и Федор Михайлович.

Придя в этот день в окружной суд, где я был председателем, я пригласил одного из моих секретарей, молодого правоведа Лоренца, сына главного врача психиатрической больницы «Всех скорбящих» на девятой версте Петергофского шоссе, начать доклад вновь поступивших бумаг и стал писать на них свои резолюции. Вскоре Лоренц стал запинаясь, голос его дрогнул, и он внезапно замолчал на полуслове. Я поднял голову и вопросительно взглянул на него. Глаза его были полны слез, и рот кривила судорога сдерживаемого плача. «Что с вами? Вы больны?!» — воскликнул я... — «Достоевский, Достоевский умер!» — почти закричал он, поражая меня этим неожиданным известием, и залился слезами. И таково было в большей или меньшей степени впечатление и настроение всей обширной судебной семьи, работавшей в этот день в суде, — и преимущественно младших ее членов. Мысль о том, что мы обязаны принять участие в отдании последнего долга усопшему, зародилась сразу у всех и не допускала ни колебаний, ни возражений. В этот и в ближайшие затем дни Достоевский был в полном смысле «властителем дум» почти всего общества, как, в зна-

¹ мэтру (фр.).

чительной степени, был им в два последние года своей жизни, особенно после появления «Братьев Карамазовых».

Я приехал поклониться его праху. На полутемной, неприветливой лестнице дома на углу Ямской и Кузнечного переулка, где в третьем этаже проживал покойный, было уже довольно много направлявшихся к двери, обитой обтрепанной клеенкой. За нею темная передняя и комната с той же скудной и неприветливой обстановкой, которую я уже видел однажды. Федор Михайлович лежал на невысоком катафалке, так что лицо его было всем видно. Какое лицо! Его нельзя забыть... На нем не было ни того как бы удивленного, ни того окаменело-спокойного выражения, которое бывает у мертвых, окончивших жизнь не от своей или чужой руки. Оно говорило — это лицо, оно казалось одухотворенным и прекрасным. Хотелось сказать окружающим: «*Nolite flere, non est mortuus, sed dormit*»¹. Тление еще не успело коснуться его, и не печать смерти виднелась на нем, а заря иной, лучшей жизни как будто бросала на него свой отблеск... Я долго не мог оторваться от созерцания этого лица, которое всем своим выражением, казалось, говорило: «Ну да! Это так — я всегда говорил, что это должно быть так, а теперь я знаю...»

Вблизи гроба стояла девочка, дочь покойного, и раздавала цветы и листья со всех прибывших венков, и это чрезвычайно трогало приходивших проститься с прахом человека, умевшего так тонко и с такой «проникновенной» любовью изображать детскую душу.

Достоевский скончался в один день с Пушкиным и Карлейлем — 29 января. Вечер в память Пушкина состоялся, но вместо Достоевского вышел Орест Федорович Миллер и сказал теплое слово, а затем на эстраду вынесли и поставили сделанный углем, поразительный по сходству, набросок Репина с умершего. В антракте портрет хотели унести, но присутствовавшие запротестовали — и он остался... Весь антракт стояла перед ним в благоговейном молчании масса народу, охваченная одним чувством. Так память о Пушкине, которому поклонялся Достоевский, слилась в этот вечер с полной скорбного волнения памятью о нем самом.

Весть о его смерти быстро облетела весь Петербург, и на его квартиру началось настоящее паломничество. У его гроба сошлись, — позабыв различие направлений и всякие злобы дня, — все, кто не мог не чтить в усопшем не только высоко талантливую творца «Униженных и оскорб-

¹ «Не плачьте — он не умер, он только спит» (лат.).

ленных», но и горячего их заступника, друга и — нередко — утешителя. Его праху поклонились все, кто испытал на себе хоть однажды то чувство бесконечной жалости к несчастью, то чувство всепрощающей и всепонимающей любви к страдающему, к скорбящему и болезненно возбужденному, которым были проникнуты лучшие из сочинений замолкнувшего навек художника-мыслителя. Он умер среди разгара противоположных мнений, им вызванных, — умер, готовясь наносить и получать полемические удары от лиц, не согласных с его политическими идеалами. Но в эти печальные и трогательные минуты никто не мог и думать говорить об этих спорах. И они, и данные, их вызвавшие, были еще слишком близки, слишком еще мало было по отношению к ним спокойствия и беспристрастия, создаваемого временем, которое одно, развернув туманное будущее, могло показать, насколько верно смотрел на призвание и свойства своей родины глубоко и горячо любивший ее покойный. Живучесть его политических идеалов была еще вся в будущем, в нем — их сила или слабость, но образы, им созданные, — уже жили полной жизнью, вылившись из «жаждавшей и алкавшей правды» души своеобразного и несравненного мастера. Эти образы, невидимо, но понятно для окружающих, возникали вокруг его гроба и указывали на тяжесть и значение понесенной утраты. Они, вероятно, двигались вереницею в уме каждого, подходившего к нему, и напоминали ту негодующую скорбь и те слезы дрогнувшего сердца, которыми для многих сопровождалась умственная встреча с ними. Было ясно, что и трогательный в своей нежной любви Макар Деушкин, со своею оборвавшеюся пуговкою вицмундира, — и «бледненькая, худенькая, со слабеньким голоском» Соня Мармеладова, — и сам Мармеладов, «образа звериного и печати его», — и истерзавшийся Раскольников, и его мать, и карамазовский штабс-капитан с «мочалкою», — и «вечный муж», и все эти исстрадавшиеся, опустившиеся, нервные и мрачные люди, которых так умел описывать Достоевский, — не умрут среди образов, созданных русской литературой, пока в ней будет жить желание найти в самой омраченной, самой озлобленной душе задатки любящего примирения. И для всех искателей этого — Достоевский образец и великий учитель. У него надо изучать и приемы тончайшего, проникающего в самую глубину, анализа душевных движений натур усталых, ослабевших, надломленных в житейской борьбе, — и изумительного изображения тонких и сложных психических состояний, свойственных людям, находящимся на границах действи-

тельности и целого мира грез и болезненной игры фантазии. Со страниц его сочинений всегда будет звучать призыв к внимательному и любящему изучению детской души, приходящей в столкновение с суровым реализмом жизни. Эта черта его — общая с великим английским романистом Диккенсом — всегда будет бросать особый свет на его произведения. Уметь так просто, правдиво и задушевно описать волнения и страсти «маленького героя» и порывы негодования ребенка при виде истязаемой лошади, — уметь создать «Ильюшечку» и написать его сцену с оскорбленным и поруганным отцом — мог только художник, носивший в груди умеющее нежно любить, чутко отзывчивое сердце.

Если бы нужно было охарактеризовать одним словом общее чувство всех бесчисленных посетителей, приходивших ко праху Достоевского, я сказал бы, что это была «осиротелость», едкая почти до боли и тем более тяжелая, чем неожиданной она налетела. Андреевский совершенно верно выразил это чувство, сказав в своем стихотворении «У гроба Достоевского»:

Кто повторит слова любви
Несчастливым, павшим, маловерным?
Кто им, в пылу нелицемерном,
Подымет взоры от земли?!
Туманный день, больной и хмурый,
Как скорбный склад его ума,
Весь заслонен его фигурой...
И жизнь печальна, как тюрьма,
Куда вносил он утешенье...
Прими немое поклоненье
За жизнь страданья и заслуг,
Разбитых душ любимый друг!

Похороны Достоевского — настоящее общественное событие — были чем-то в таком размере дотоле невиданным. Полное отсутствие полицейских «мероприятий» — и полный порядок непрерывного громадного шествия, поддерживаемый цепью из учащих, — трогательное пение многочисленных импровизированных хоров, — воспитанники и воспитанницы средних учебных заведений, стоящие шпалерами на пути, — бесконечные венки с трогательными надписями, несомые особыми депутациями, — и свободно выливавшаяся из души торжественность настроения у участников и зрителей — придавали процессии величественный вид и незабвенный характер. Тут сказывались — единство идеи и общность потери, сплотившие самых разнообразных по своим

взглядам, положению и деятельности людей. В то время, когда гроб выносили из квартиры Достоевского, первая группа депутатов с венками была уже на Знаменской площади, на пути к Александро-Невской лавре. Шествие длинной и широкой лентой растянулось по Владимирской и Невскому, и грустная гармония всего происходившего ничем не была нарушена. Пред выносом между участниками депутаций раздавался листок с воспроизведением на нем автографа покойного, а первыми, взявшимися за ручки гроба, который всю дорогу затем несли, окруженные широкою гирляндой цветов, укрепленных на шестах, постоянно сменявшиеся желающие, — были Пальм и Плещеев, за 32 года перед тем вместе с усопшим возведенные на эшафот на Семеновском плацу для выслушивания приговора по делу Петрашевского. В день похорон вышел первый номер «Дневника писателя» за 1881 год, начинавшийся словами: «Господи! Неужели и я, после трех лет молчания, выступлю в возобновленном Дневнике моем...» Этот номер был последним словом Достоевского русскому обществу.

Обычное у нас временное забвение не коснулось Достоевского. О нем не пришлось напоминать. Интерес к его трудам и взглядам не ослабел — они, напротив, стали все больше и больше привлекать к себе вдумчивость критиков и мыслителей — и отзывчивость работников в области изучения острых проявлений душевной жизни.

Быть может, недалеко время, когда у нас образуется особое литературное общество имени Достоевского, подобно недавно еще существовавшему Пушкинскому и ныне действующим Толстовскому и Тургеневскому.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

I

Большинство путешественников, посещавших Швейцарию, конечно, знает высокую гору на озере Четырех кантонов, с которой на высоте шести тысяч футов открывается удивительный вид на лежащую внизу равнину, изрезанную железными дорогами, на поэтический Люцерн, на зеленновато-голубые озера, обрамленные гордыми скалами, и на цепь Альп Бернского Оберланда. Величественным блистаньем их белоснежных вершин при восходе солнца ездят специально любоваться, проводя для этого ночь на вершине Риги, в гостиницах, устроенных на площадке, именуемой Риги-Кульм.

Раннее утро и холодный воздух большой горной высоты заставляет обыкновенно всех ежиться и кутаться, быть хмурыми и скупиться на слова, покуда внезапно брызнувшие лучи восходящего солнца не заблестят на алмазных коронах окружающих гигантов и не вызовут выражение общего и шумного восхищения. Не раз наслаждался этой незабываемой картиной и я, ожидая, среди собравшихся со всех концов света туристов, торжественного момента, когда над сгустившимся в долинах и ущельях туманом и предрассветными тенями весело загорятся и заблестят снежные выси. У всех в это время на устах — да, вероятно, и на уме — бывало одно и то же, потому что над всем личным господствовала одна общая мысль о том, что должно вот-вот произойти... Но когда я посетил Риги-Кульм в последний раз летом, в начале прошлого десятилетия, произошло нечто необычное. Собравшиеся в очень раннее утро на вершине обменивались оживленными вопросами и замечаниями, в которых сквозила несомненная тревога по поводу чего-то, что должно было неминуемо, к общей печали, свершиться. Это что-то было напечатанное в вечерних газетах известие, что Лев Николаевич Толстой, бывший в это время тяжело болен, находится в безнадежном состоянии и что ежечасно надо ожидать его кончины. И люди, съехавшиеся из разных стран, — немцы, англичане, испанцы и, в особенности, американцы, — были удручены одним и тем же. Их, перед восходом векового светила, тревожила мысль о том, что, быть может, в это время уже закатилось духовное светило, лучами которого столь многие, чуждые ему по языку и по племени, надеялись осветить запросы неудовлетворенной души и смущенного сердца. И после великолепного зрелища, — заставившего некоторых, без сомнения, почувствовать то, что чувствовал Кант, созерцая звездное небо, — за ранним завтраком продолжались разговоры о Толстом, причем, узнав, что я русский (и на этот раз единственный в отеле), многие обращались ко мне с вопросами о том, знаю ли я его лично и можно ли верить газетному известию, — и далеко не одно простое любопытство слышалось в их словах.

Судьба, обыкновенно жестоко лишаящая нашу родину выдающихся ее сынов в самом расцвете их сил, едва они успеют расправить свои крылья во всю меру своих способностей, на этот раз была необычайно милостива и сохранила нам Толстого еще на несколько лет. Приближается 80-летие его жизни, и он еще творит, как бы оправдывая могущий быть примененным к нему стих покойного Жемчужникова:

Но в нем, в отпор его недугам,
Душевных сил запас велик!

К этому дню, от предполагавшегося юбилейного чествования которого он отказался по таким трогательным, глубоким и задушевным основаниям, появится множество статей с оценкой творчества и деятельности, личности и значения «великого писателя земли русской». Представить верную и подробную его характеристику как писателя и деятеля, однако, очень трудно. Он еще живет среди нас, он слишком еще вплетен своими творениями в нашу ежедневную действительность, чтобы можно было говорить о нем вполне объективно. Вместе с тем большинство русских развитых людей, — не ослепленных бессильной по отношению к нему злобой и умышленным непониманием, — может сказать вместе с поэтом: «Сей старец дорог нам, он блещет средь народа...», и поэтому трудно говорить о нем совершенно беспристрастно.

Вот почему простые воспоминания о встречах с ним могут оказаться более своевременными, давая посильный материал для будущего историка и критика. Этот материал будет представлять собою нечто вроде отдельных кусочков мозаики, самих по себе не имеющих цены, но в своей совокупности, в руках искусного мастера, дающих возможность создать цельную, продуманную и гармоническую картину. Желая дать несколько таких кусочков, я решился записать настоящие свои воспоминания о встречах и беседах с Львом Николаевичем. Но прежде, чем обратиться к ним, мне хочется сказать два-три слова о том взгляде на Толстого, который предшествовал нашему личному знакомству, двадцать с лишком лет назад, и остался у меня неизменным до сих пор.

Соединение глубины пронизательного наблюдения с высоким даром художественного творчества отражается во всех произведениях Толстого и дает ряд незабываемых типических образов. Будучи вполне национальным писателем по мастерскому умению освещать бытовые явления народной жизни, давая, как никто до него, понимать их внутренний смысл и значение, он в то же время был всегда и прежде всего вдумчивым исследователем человеческой души в о о б щ е, независимо от условий места и времени. Его сочинения — это целые эпопеи, в которых индивидуальная жизнь его героев сплетается с жизнью и движениями массы. Достаточно в этом отношении указать на его «Севастопольские рассказы» и на его удивительную по замыслу и исполнению «Войну и мир», в которых индивидуальное

и общественное начала идут рядом, взаимно дополняя и освещая друг друга. Глубокая наблюдательность Толстого, которую отнюдь не надо смешивать с острой проникновенностью психологического анализа Достоевского, дает ему возможность в самых разнообразных явлениях жизни и в действиях самых разнородных людей подметить и изобразить стороны или черты, ускользающие во вседневной жизни от взора читателя. И последний остается пораженным их знаменательною правдивостью, иногда впервые увидав воплощенным в ярких художественных образах то, что он много раз на своем веку в иде л, но никогда сознательно не замечал.

На все человеческие отношения отозвался Толстой, — и что бы он ни изображал, везде и во всем звучит голос неотразимой житейской правды. Он сам, в одной из первых повестей своих, развертывая яркую картину одновременного проявления в группе людей, призванных на защиту Севастополя, высоких порывов человеческого духа и низменных сторон человеческой природы, определил задачу и основное свойство своего творчества. «Тяжелое раздумье одолевает меня, — говорит он. — Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его. Где выражение зла, которого надо избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей? Кто герой ее? Все хороши и все дурны... Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Но не одному изображению правды посвятил Толстой свой могучий талант. Он — даже в ущерб интересам литературы и объему своего художественного творчества — отдался исканию правды. Эта вторая сторона его деятельности не менее значительна, чем первая. Бестрепетною рукою всегда стремился он — в своих драматических произведениях, сказках, рассказах и повестях, в своих философских и этико-политических сочинениях — снять обманчивые и заманчивые покровы с житейской и общественной лжи, в чем бы эта ложь ни проявлялась — в теориях и практике, в традициях и учреждениях, в обычаях и законах, в условной морали и безусловном насилии. Взывая к внутреннему человеку, призывая его «совлечь с

себя ветхого Адама», он страстными и убежденными страницами стремится доказать, что «царство божие» зиждется на вечных потребностях и запросах человеческой души, независимо и даже вопреки тем условиям, в которые хочет их поставить извратившееся в своих стремлениях человеческое общежитие. Можно не соглашаться с некоторыми отдельными его положениями или сильно сомневаться в возможности их целесообразного осуществления на практике, но нельзя не отнестись с горячим уважением к писателю, который не удовлетворяется заслуженною славой великого художника, а стремится всею силою своего таланта служить разрешению назревающих вопросов жизни, во имя и с целью уменьшения страданий и господства действительной, а не формальной только справедливости.

Ко всем вопросам, выдвигаемым жизнью или возникающим в глубине души, начиная с вопроса о семье и воспитании и кончая отношением к смерти, Толстой подходит с глубокой верой в нравственную ответственность человека перед пославшим его в мир, с убежденным словом о необходимости духовного самоусовершенствования, независимо от политических форм, среди которых приходится жить. Он будит совесть, ставя ее — и ее одну — верховным судьей жизни, побуждений и деятельности человека. Что бы ни писал Толстой, он обращается к голосу, живущему в тайниках человеческой души, и, действуя страстным словом или яркими образами, блестящими правдивостью, заставляет этот голос звучать настойчиво и долго. Этим, конечно, объясняется популярность его имени и трудов далеко за границами России и то внимание, которое возбуждает к себе в Западной Европе и в Америке каждое его, даже незначительное по объему, произведение.

II

В ясное теплое утро 6 июня 1887 года я сел на станции Ясенки, Московско-Курской железной дороги, в присланную за мною рессорную тележку и направился в Ясную Поляну. Я ехал туда по любезному и настойчивому приглашению Александра Михайловича Кузминского, который, будучи женат на сестре графини Толстой, Татьяне Андреевне Берс (авторше нескольких прекрасных рассказов из народного быта), жил в те годы каждое лето в Ясной Поляне. Он был моим преемником по званию председателя Петербургского окружного суда, и у него в доме я слышал удивительное чтение А. А. Стаховичем «Власти тьмы» — чтение,

всецело захватившее присутствовавших и взволновавшее собравшееся светское общество изображением глубокой драмы в среде, где предполагалось, на взгляд поверхностного наблюдателя, все простым и грубо-обыденным. Там же пришлось уже мне самому читать по рукописи «Крейцерову сонату» — и иногда останавливаться от внутреннего волнения, сообщавшегося и слушателям этого удивительного произведения, с которым следовало настоятельно знакомить всех молодых людей, вступающих в жизнь.

Есть произведения, оказывающие властное влияние на все мирозерцание, когда они своевременно воспринимаются молодой душой. Если верно замечание, что в смысле характера «дитя есть отец взрослого», то в смысле политических и общественных идеалов очень часто юноша — отец будущего деятеля. Недаром великий немецкий поэт напоминает юноше о необходимости, став взрослым мужем, относиться с уважением к «снам своей молодости», а Гоголь восклицает: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге: не подымете потом!»

Такою книгою в годы моей ранней молодости было превосходное произведение Лабулэ «Париж в Америке», содержащее в себе, в увлекательном изложении и отчасти в фантастической форме, целый катехизис политической, общественной и даже, во многих отношениях, частной жизни. Таким может и должен являться рассказ Позднышева, способный установить чистый и облагородить уже установившийся взгляд на отношение к женщине и в то же время заставить молодого человека очень и очень призадуматься пред браком, заключаемым у нас столь часто с легкомысленною поспешностью при полном, под влиянием плохо прикрытой чувственности, забвении о налагаемых им нравственных обязанностях по отношению к создаваемой «на скорую руку» семье.

Чувство смущения и некоторой досады на себя владело мною, покуда я ехал среди милых картин среднерусской природы. Я знал, что увижу Льва Толстого, — и не мелком только, как было в 1863 году в Москве, в гимнастическом заведении [Бильо] на Большой Дмитровке, — проживу под одной с ним кровлей два или три дня и узнаю его ближе; и эта-то именно неизбежность короткого знакомства и вызвала во мне некоторое недовольство на свою поспешную готовность откликнуться на приглашение в Ясную Поляну. Я по опыту знал, что знаменитых или вообще пользующихся

известностью людей лучше знать издали и рисовать себе их такими, какими они кажутся по всем деяниям и писаниям. В этом отношении мне не раз приходилось убеждаться, что и «тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман». Конечно, каждый раз в таком случае приходилось легко находить широкие «смягчающие обстоятельства», но я предпочел бы не видеть таких сторон в жизни и личных свойствах некоторых из этих людей, которые шли вразрез с составившимся о них отвлеченным, восторженным или умиленным представлением. Вот и теперь, думалось мне, я увижу человека, пред глубиной таланта, пред искренностью и глубокой наблюдательностью которого я издавна привык преклоняться, и, быть может, и даже весьма вероятно, увезу с собою другой образ со столь часто встречающимися мною в других отталкивающими чертами самолюбования, недоброжелательного отношения к товарищам по оружию и фантастической нетерпимости к чужим убеждениям. Особенно в последнем отношении тревожила меня встреча с Толстым. Его мне часто рисовали ярым спорщиком и человеком, не допускавшим несогласия со своими этическими или религиозными взглядами, а я не люблю спорить, давно уже разделив убеждение, что мнения людей, создавшиеся самостоятельно, похожи на гвозди: чем сильнее по ним бить, тем глубже они входят. Соглашаться же безусловно и быть лишь почтительным слушателем мне не хотелось.

Проехав сквозь обветшалую каменную ограду въезда в Ясную Поляну, я остановился у флигеля, в котором жил А. М. Кузминский. Было еще очень рано. Лишь через час пришел мой гостеприимный хозяин и увел меня на длинную прогулку, а затем, уже в десятом часу, все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузминского. Во время общего разговора кто-то сказал: «А вот и Лев Николаевич!» Я быстро обернулся. В двух шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской «Илиады», творец «Войны и мира». Две вещи бросились мне прежде всего в глаза: пронизательный и как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пытливой справедливости, чем ласкающей доброты, — и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой «шапоньки» и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычай-

но просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце семидесятых годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и невольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь встретились после продолжительной разлуки. После чая мы пошли гулять втроем, но Толстого постоянно останавливали различные лица из домашних и из окрестных жителей, так что в первый день я мог более ознакомиться с его обстановкой, чем с ним самим.

Жизнь в Ясной Поляне в это время отличалась большой регулярностью и, если можно так выразиться, разумным однообразием. Все, и в том числе Лев Николаевич, вставали для деревни довольно поздно, около девяти часов утра. До одиннадцати продолжалось питье чая, иногда в несколько приемов, ввиду того что в Ясной Поляне одновременно жили дети, молодежь, взрослые и старики. В одиннадцать часов Лев Николаевич шел к себе, читал почту и газеты и принимал посетителей, которые наезжали в Ясную ежедневно. Одни приносили действительно измученное сердце, терзаемое каким-нибудь роковым вопросом, ответа на который они жадно ждали от Толстого; другие, преимущественно иностранцы, — бескорыстное, но подчас назойливое любопытство; третьи — тщеславное намерение иметь основание похвастаться разговором с «великим писателем земли русской»; четвертые являлись просто просителями денежной помощи, представлявшими из себя целую гамму отношений к хозяину Ясной, начиная от застенчивой скромности и кончая напускною развязностью, иногда граничившею с вымогательством; пятые — корыстную любознательность репортеров и интервьюеров, которая сквозила в «беспокойной ласковости» их взгляда, как будто перелавшего, в быстром соображении, каждую слышанную фразу или предмет обстановки в то или другое количество печатных строчек. Толстой сносил их всех без благодушной и услужливой чувствительности или безразличного сочувствия, но терпеливо и, где нужно, с серьезным участием, а жена его, Софья Андреевна, нередко простирала на приезжих свое хлебосольное гостеприимство. К часу все собирались завтракать, и вслед за тем Лев Николаевич уходил к себе, запи-

рался и становился невидимым для всех до пяти часов, когда он выходил пройтись по деревне и по парку после усиленного труда за письменным столом. В шесть часов все обедали сытно и вкусно, причем хозяину подавали блюда растительной пищи. Полчаса после обеда проводили на террасе, выходящей в сад, за питьем кофе и курением. Приезжали знакомые из Тулы, приходили деревенские дети, чтобы играть под руководством детей Льва Николаевича или бегать с криками нескрываемого восторга на гигантских шагах. Лев Николаевич слушал детский шум и хохот, обменивался короткими фразами с окружающими и... курил папиросу самодельной работы! Тогда он еще позволял себе эту «слабость». После семи часов все общество поднималось и под его предводительством совершало обширную, более чем двухчасовую прогулку. В это время, то отставая от всех, то их опережая, Лев Николаевич вел оживленную беседу с кем-либо из гостей или рассказывал что-либо той манерой, о которой я скажу ниже. Около половины десятого все возвращались к самовару, простокваше и легким закускам, и начиналась непринужденная общая беседа, иногда прерываемая желанием послушать пение молодежи, которая исполняла хором цыганские песни или знакомила нас с местными «частушками», вытесняящими, к несчастью, старую русскую песню. Лев Николаевич весело улыбался, прислушиваясь к тому, как молодые голоса выводили: «Били-били в барабан по всем городам», «Конфета моя леденистая, полюбила меня — молодца раменистого», «Наше сердце не картошка — его не выбросишь в окошко», «Дайте ножик, дайте вилку — я зарежу свою милку», «Стоит миленький дружок — с выражением лица» и т. д. Около полуночи все расходились.

Все происходило в обширном флигеле, уцелевшем от сгоревшего когда-то большого дома. На всем виднелись следы былого прочного довольства и зажиточности. Но все — и обстановка, и стены, и двери, и лестницы — было сильно тронута временем и, очевидно, давно не знало эстетического ремонта. Мебель была старая, хотя и довольно удобная, но в небольшом количестве. Нигде не было никаких признаков роскоши и чего-либо похожего на разные *bibelots* и *petits-riens*¹, которыми полны наши гостиные, а развешанные без всякой симметрии по стенам портреты предков довольно угрюмо выглядывали из старых и местами облезлых рам.

¹ безделушки (*фр.*).

Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузминским, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части. В первой, большей, с выходом на маленькую террасу и в сад, стояли шкафы с книгами и висел, сколько мне помнится, портрет Шопенгауэра. Тут же, у стены, в ящике лежали материалы и орудия сапожного мастерства. В меньшей части комнаты находился большой письменный стол, за которым были написаны в свое время «Анна Каренина» и «Война и мир». У полок с книгами в этой части комнаты для меня была поставлена кровать. Здесь в течение дня работал Лев Николаевич. Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копошился в большей ее части, покуда я разделся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели. Так поступил и Толстой. Сел на краешек, начал задумчивый разговор — и обдал меня сиянием своей душевной силы.

С тех пор все дни моего пребывания в Ясной проводились и оканчивались описанным образом. Иногда, простившись со мною, Толстой уходил за перегородку и там что-нибудь разбирал, вновь начинал разговор, но, затронутый или заинтересованный каким-либо моим ответом, снова входил в мое отделение, и прерванная беседа возобновлялась. Один из таких случаев остался у меня в памяти. «А какого вы мнения о Некрасове?» — спросил он у меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова и считаю, что он принес огромную пользу русскому молодому поколению, родившемуся и воспитанному в городах, тем, что, вместе с Тургеневым, научил его знать, ценить и любить русскую сельскую природу и простого русского человека, воспев их в берущих за душу стихах; что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то что он был игрок, еще не дает права ставить на его личность крест и называть его дурным человеком. «Он был, — продолжал я, — одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но порочный человек не всегда дурной человек. Нередко, вне узких рамок своей пагубной страсти, порочные люди являют такие стороны души, которые многое искупают. Наоборот, так называемые

хорошие люди подчас, при внешней безупречности, проявляют грубый эгоизм и бессердечие. Жизненный опыт дает частые подтверждения этому. Игроки нередко бывают смелыми и великодушными людьми, чуждыми низменной скупости и черствой расчетливости; пьяницы часто отличаются, в трезвом состоянии, истинною добротой. Недаром Достоевский сказал, что в России добрые люди — почти всегда пьяные люди. Наконец, история нам оставила примеры «явных прелюбодеев», проникнутых глубоким человеколюбием и вне служения своим страстям явивших образцы гражданской доблести и глубины мысли». Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на краешек, сказал мне радостно: «Ну вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил, — это различие необходимо делать!» — и между нами снова началась длинная беседа на эту тему с приведением фактических ссылок и доказательств в подтверждение нашей общей мысли.

Меня, конечно, очень интересовало отношение Толстого к крестьянам, про которое ходило столько разнообразных и оригинальных слухов. Как нарочно, пред тем я совершил поездку по России и видел несколько типических отношений господ к мужику. Мне пришлось быть в имении в Малороссии и наблюдать шутливо-иронические разговоры между теми и другими в их взаимных сношениях, за которыми, однако, не чувствовалось не только никакой теплоты и искренности, но, напротив, виднелось большое взаимное недоверие и отчуждение, близкое к ненависти. Я провел неделю в поместье средней руки в середине России, где наблюдал фамильярно-заискивающее отношение помещика к зажиточным крестьянам-арендаторам и окружающим имение однодворцам, причем невольно бросилось в глаза вынужденное установление и соблюдение некоторого равенства не во имя какого-либо общего начала, а исключительно в целях выгод и удобства неотвратимого сожительства. Я прожил несколько дней в великолепном громадном поместье моего старого сослуживца, в черноземной полосе, и наблюдал то снисходительное и холодно-милостивое отношение к крестьянам, в котором виднелась полная обособленность двух миров — барского и мужичьего, — напоминавшая те отношения, которые, вероятно, существовали у медиатизированных немецких принцев к их бывшим подданным.

Ничего подобного я не нашел в Ясной Поляне. Отношения между семьею графа и соседями были просты и естественны. Обитатели яснополянского дома были старыми и

добрými знакомыми, готовыми во всякое время прийти на помощь в болезни, несчастии и недостатке, — лечить и советовать, похлопотать и понять чужую скорбь. Все это, однако, совершалось без заигрыванья и заискиванья и без холодного, брезгливого исполнения долга по отношению к «меньшему брату». Таким же характером отличалось и обращение крестьян со Львом Николаевичем. Преувеличенные рассказы о кладке печей, пахании и т. п., дававшие повод к дешевому иронизированию со стороны высокомерных составителей фельетонных очерков и статей, сводились, в сущности, к тому, что в лице Толстого крестьяне могли видеть не городского верхогляда и не деревенского лежебоку, а человека, которому знакомы по опыту тяжелый труд и условия их жизни. В их глазах Толстой был не только участливый, но и сведущий человек. Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили: «Это мужик умственный, хотя и барин». В одну из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется, в Киев или в Оптину пустынь, — причем спутники считали его за своего и поэтому не стеснялись его присутствием, — с тонким юмором рассказывал мне про презрительные отзывы о «господишках», которые ему приходилось слышать в пути и на постоялых дворах. Было несомненно, что яснополянские крестьяне ни в каком случае не считали его одним из этих «господишек», а в их глазах он был, по праву наследования и по личным своим свойствам, старший, самый знающий и заслуживающий наибольшего уважения человек, называвшийся баринoм лишь потому, что жил в своем доме среди обширного поместья, а не в избе, и что к нему с почтением относилось начальство и всякого рода «господишки». Такой взгляд на него был очевиден и сказывался в ряде внешних проявлений, когда он, гуляя со мною, вступал в беседу с крестьянами или заходил в их дома. Всюду встречали его уважение и доверие и ни малейшего следа угодливой почтительности и льстивой суетливости. Иногда в беседе крестьян с ним звучали и задумчивые нотки.

Эти беседы припомнились мне с особенной яркостью несколько лет спустя в Москве, когда мне пришлось присутствовать при небольшом споре Толстого по поводу смысла брака как начала семейной жизни. Нахмуриw брови, слушал он, как при нем один из присутствующих говорил о р и с к о в а н н о м браке знакомой девушки, вышедшей замуж за человека «без положения и средств». «Да разве это нужно для семейного счастья?» — спросил Толстой. «Конечно, —

отвечал стоявший на своем собеседник, — вы-то, Лев Николаевич, считаете это вздором, а жизнь показывает другое. С вашей стороны оно и понятно. Вы ведь и семейную жизнь готовы отрицать. Стоит припомнить вашу «Сонату Крейцера». Толстой пожал плечами и, обращаясь ко мне, сказал: «Я понимаю семейное счастье иначе и часто вспоминаю мой разговор в Ясной Поляне, много лет назад, с крестьянином Гордеем Деевым: «Что ты невесел, Гордей, о чем закручинился?» — «Горе у меня большое, Лев Николаевич: жена моя померла». — «Что ж, молодая она у тебя была?» — «Нет, какой молодая! На много лет старше: не по своей воле женился». — «Что ж, работница была хорошая?» — «Какое! Хворая была. Лет десять с печи не слезала. Ничего работать не могла». — «Ну так что ж? Тебе, пожалуй, теперь легче станет». — «Эх, батюшка Лев Николаевич, как можно легче! Прежде, бывало, приду в какое ни на есть время в избу с работы или так просто — она с печи на меня, бывало, посмотрит да и спрашивает: «Гордей, а Гордей! Да ты нынче ел ли?» А теперь уже этого никто не спросит...» Так вот какое чувство дает смысл и счастье семье, а не «положение», — заключил Толстой.

Несколько дней, проведенных мною в Ясной Поляне, прошли очень быстро, но до сих пор, через двадцать лет, составляют одно из самых светлых воспоминаний моей жизни. Конечно, все это время для меня было наполнено Толстым, общением с ним, разговорами и радостью сознания, что бог привел мне не только узнать вблизи возвышенного мыслителя и великого писателя, но и ни на одну минуту не почувствовать, по отношению к нему, ни малейшего житейского диссонанса, не уловить в своей душе и тени какого-либо разочарования или недоумения. Все в нем было ясно, просто и вместе с тем величаво тем внутренним величием, которое сказывается не в отдельных словах или поступках, а во всей повадке человека. По мере знакомства с ним чувствовалось, что и про него можно сказать то же, что было сказано о Пушкине: «Это — великое явление русской жизни», отразившее в себе все лучшие стороны исторически сложившегося русского быта и русской духовной природы. Даже в отрицании им начал национальности и современного экономического строя сказалась ширина и смелость русской природы и свойственная ей, по выражению Чичерина, безграничность в смысле отсутствия пределов, полагаемых опытом прошлого и осторожностью перед грядущим. Даже и пугавшая меня нетерпимость его к чужим мнениям, о которой так много писали, оказалась на деле

лишь твердым высказыванием своего взгляда, облеченным, по большей части, даже в случае серьезного разногласия, в весьма деликатную форму.

Несколько раз во время наших прогулок нам приходилось говорить «о непротавлении злу», которое его в то время сильно занимало. Со свойственной ему красивой простотой он развивал свою великодушную и нравственно заманчивую теорию и приводил известный евангельский текст. Я шутиливо напоминал ему ответ графа Фалькенштейна (Иосифа II) на вопрос герцогини Роган о том, как нравится ему надвигавшаяся в конце восемнадцатого столетия во Франции революция: «Madame, mon métier est d'être royaliste»¹, — и говорил, что mon métier d'être juge² лишает меня возможности согласиться на непротавление тому, чему я противился и противлюсь двадцать пять лет моей жизни. В ответ на его ссылку на текст я приводил изгнание торжников из храма и проклятие смоковницы, а также слова Христа: «Больше сия любви несть, аще кто душу свою положит за други своя», причем на церковнославянском языке «положить душу» — значит, пожертвовать жизнью, что невозможно без наличности борьбы, то есть протавления. Толстой мягко возражал, что в связи с призывом «не протавиться» подразумевается слово «насилием». Я приводил резкие примеры из жизни, где насилие неизбежно и необходимо и где отсутствие его угрожает последователю непротавления возможностью сделаться попустителем и даже пособником злого дела. Толстой не уступал и утверждал, что в переводном (в XVI веке) еврейском тексте не говорится о вервии, взятом Христом для изгнания торжников, а лишь о длинной тонкой ветви или хворостине, которая была необходима для удаления скота из храма, и что сказание о смоковнице, лишенное ясного смысла, попало в евангелие по недоразумению, вследствие какой-либо ошибки переписчика. На мои доводы из жизни он сказал мне, что в одном из вопиющих случаев, мною приводимых, быть может, и он прибег бы к насилию, по истинктивному порыву на защиту своих ближних, но что это было бы слабостью, которую с нравственной точки зрения нельзя оправдать. Каждый из нас остался при своем, но во все время спора он не проявил никакого стремления насиловать мои взгляды и навязывать мне свое убеждение. То же было и в спорах о значении Пушкина, к которому

¹ «Мадам, мое ремесло быть роялистом» (фр.).

² мое ремесло быть судьбою (фр.).

тогда он относился недружелюбно, хотя и признавал его великий талант. Он находил, что последний был направлен против народных идеалов и что Тютчев и Хомяков глубже и содержательнее Пушкина. И в этом длинном споре Лев Николаевич был чрезвычайно объективен и, встречая во мне восторженного поклонника Пушкина, видимо, старался не огорчить меня каким-либо резким отзывом или суровым приговором.

Вообще я не раз имел случай убедиться и почувствовать, что Лев Николаевич имеет редкий дар «*de faire connaître l'hospitalité de la pensée*»¹, — так выразился Альбер Сорель в своей академической речи в Тэне. Только раз при мне он отступил от своего спокойного и примирительного тона. Однажды в саду, за послеобеденной беседой, зашел разговор о том, что самое тяжелое в жизни. Указывали на роль слепого случая, который разбивает все планы и так часто в корне подрывает целое существование. Один из приезжих случайных гостей, из тех «добрых малых», у которых слово иногда бежит впереди мысли, а не сопутствует ей, стал утверждать, что всего больше ему было бы тяжело материальное изменение его личного положения вроде внезапного разорения или потери службы, сопряженных с непривычными для него лишениями. В это время подошел Толстой и спросил, в чем дело. «Случайность не должна иметь значения в жизни, — сказал он, — надо жить самому, воспитывать детей и приготавливать окружающую среду так, чтобы для случайности оставалось как можно менее места. Для этого надо направлять всю жизнь к уничтожению в ней понятия о несчастье. Человек обязан быть счастливым, как обязан быть чистоплотным. Несчастье же состоит прежде всего в невозможности удовлетворять своим потребностям. Поэтому чем меньше потребностей у человека, тем меньше поводов быть несчастным. Только когда человек сведет свои потребности к минимуму необходимого, он вырвет жало у несчастья и обезвредит последнее, и тогда в самом сознании, что им устранены условия несчастья, он почерпнет сознание счастья». Один из собеседников пробовал возражать, что эта теория применима лишь к материальным, а не к духовным потребностям, и что нельзя, например, свести к минимуму потребность любви матери к своему ребенку, отнимаемому у нее беспощадно смертью. На это, вероятно, Толстой ответил бы мыслями, высказанными им в его чудном, вызывающем слезы умиления, рассказе «Молитва».

¹ дать почувствовать гостеприимство мысли (*фр.*).

Но приезжий, которому очень хотелось высказаться, снова овладел своей темой, наставительно сказав Толстому: «Вам хорошо это проповедовать, когда вы не имеете никаких потребностей, а каково привыкшему к удобствам жизни? Поверьте, что спать на рогоже, привыкнув к тонкому белью, вовсе не составляет счастья». — «Не надо приучать себя к тонкому белью», — строго посмотрев, сказал Толстой, но собеседник не слушал его и продолжал: «Вам хорошо, вы себя до того довели, что вам теперь непонятно, что значит, когда человеку чего-нибудь недостает. Вы себе устроили всякие лишения, и больше вам для себя нечего придумать, вот вы и на других хотите их распространить». — «Мне еще многого недостает», — сказал сурово Толстой. — «Вот отлично! Еще чего-то недостает? Ну чего же вам недостает?» Толстой молчал. «Ну, чего, чего?» — продолжал приставать «добрый малый». Толстой вдруг покраснел, в глазах его вдруг вспыхнул огонек, и он с резкою откровенностью объяснил, чего ему недостает, чтобы достигнуть буддистского презрения к телесным удобствам и сострадания даже к паразитным насекомым... Наступило молчание; он овладел собою и смягченным голосом, как бы извиняясь за внезапную вспышку, заметил: «Мы слишком заботимся о своей внешней чистоте и холим нашу плоть, а я давно заметил, что тот, кто заботится о своей чистоте, обыкновенно небрежет о чужой...» И он стал приводить примеры из своих воспоминаний о том, как распускают себя у нас люди высшего общества и их подражатели из разных выскочек, доводя себя до претензий крайней роскоши, граничащей с развратом.

Мне трудно припомнить все наши разговоры и все узоры той роскошной ткани мыслей, образов и чувств, которыми было полно все, что говорил Толстой. Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни. Я помню Писемского. Он не говорил, а играл, изображая людей в лицах, — жестом и голосом. Его рассказ не был тонким рисунком искусного мастера, а был декорацией, намалеванною твердою рукой и яркими красками. Совсем другою была речь Тургенева с его мягким и каким-то бабьим голосом, высокие ноты которого так мало шли к его крупной фигуре. Это был искусно распланированный сад, в котором широкие перспективы и сочные поляны английского парка перемежались с французскими замысловатыми стриженными аллея-

ми, в которых каждый поворот дороги и даже каждая тропинка являлись результатом целесообразно направленной мысли. И опять иное впечатление производила речь Гончарова, напоминая картины Рубенса, написанные опытной в своей работе рукою, сочными и густыми красками, с одинаковою тщательностью изображающею и широкие очертания целого и мелкие подробности частных. Я не стану говорить ни про отрывистую бранчивость Салтыкова, ни про сдержанную страстность Достоевского, ни про изысканную, поддельную простоту Лескова, потому что ни один из них не оставлял цельного впечатления и в качестве рассказчика стоял далеко ниже автора написанных им страниц. Совсем иным характером отличалось слово Толстого. За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно просто по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключались его цель и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него, как от истока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо и глубокое дно...

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в моем дневнике и подтверждаются во многом последующими его письмами. Многое из этого, в переработанном виде, вошло, конечно, в его позднейшие произведения, но мне хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально выливалось из уст Льва Николаевича. «В каждом литературном произведении,— говорил он,— надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного совершенства сам собою». У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники, а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви.

У современной критики (конец восьмидесятых годов) писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать pour le gros du public¹ Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать. Наоборот, сатира и ирония не найдут себе отклика в массе. Для того, чтобы вполне оценить и понять Салтыкова-Щедрина, нужно принадлежать к особому кругу читателей, печень которых увеличена от постоянного раздражения, как у страсбургского гуся.

Язык большей части русских писателей страдает массою лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц бледный и огромный» — что противоречит действительности, или — «сжатые зубы виднелись сквозь открытые губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писательниц. Чем они бездарней, тем они болтливей. Прочитав иногда несколько страниц такой болтовни, хочется сказать: молчала бы ты лучше, а то вот теперь все узнают, какая ты умница! Настоящий учитель литературного языка — Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно представить себе, каким языком каждое из них должно говорить.

Природа лучше человека. В ней нет раздвоения, она всегда последовательна. Ее следует везде любить, ибо она везде прекрасна и везде и всегда трудится. Тургенев рассказывал, что, охотясь, он проводил иногда на опушке леса целую ночь без сна, прислушиваясь к тому, как природа работает ночью. И ему казалось, что она тяжело дышит и по временам в своем творческом труде говорит: «Уф! уф!» Самарские степи, например, днем, под палящим солнцем, однообразны и могут наскучить. Но какая прелесть ночью, когда земля дышит полною грудью, а над нею раскинут

¹ для широкой публики (фр.).

необъятный купол неба, и к нему несутся с земли нежные звуки, издаваемые жабами... Человек, однако, все умеет испортить, и Руссо вполне прав, когда говорит, что все, что вышло из рук творца — прекрасно, а все, что из рук человека — негодно. В человеке вообще нет цельности. Он роковым образом осужден на раздвоение: если в нем побеждает скот, то это нравственная смерть; если побеждает человеческое, в лучшем смысле слова, то эта победа часто сопровождается таким презрением к самому себе и отчаянием за других, что почти неизбежна смерть, и притом очень часто от собственной руки. Но бояться смерти не надо. Надо о ней думать как можно чаще: это облагораживает человека и часто удерживает его от падения. Но большинство смотрит не так. Обыкновенно, когда человек подымается над плоскостью обыденной жизни, он ясно видит с этой высоты вдали бездну смерти. Напуганный этим, он тотчас опускается в житейскую пошлость — старается занять такое положение, чтобы не видеть этой бездны, и готов сидеть все время на корточках, только бы забыть о ней. А ведь, в сущности, труднее понять, как можно жить, чем как можно умереть. То, что дается опытом жизни, чувствуется, но редко может быть доказано. Поэтому старые люди часто замыкаются в себе и уединяются. Но это не потому, что им нечего сказать, а потому, что молодость, которая не имеет чувства опыта, их не понимает.

У нас легко раздают титул добрых людей и любят замалчивать ужасные общественные явления, после того как они перестали существовать, как будто они не могут повториться, только в другой форме. Так у нас началось замалчиванье крепостного права и его ужасов, как только крестьяне были освобождены. И люди и отношения были покрыты забвением. Я знал, например, одного вице-губернатора, пользовавшегося всеобщей любовью и считаемого очень добрым. Он прекрасно вышивал шелками по канве и был «душою общества», а между тем за ним считалось несколько засеченных насмерть крестьян. Вообще человеческая жестокость часто только лишь меняет формы или внешне проявляется там, где ее никак нельзя было ожидать. В конце семидесятых годов один очень крупный сановник, слышавший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит госу-

дарству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их навсегда безвредными. «Я его, — прибавил, окончив этот рассказ, Толстой, — попросил больше меня не посещать».

[У нас носятся с народной любовью к самодержавию, но никакой действительной любви народ не имеет. И человек, проезжающий в трех поездах чрезвычайной скорости, причем крестьян гонят в шею при малейшем приближении к линии охраны, — для них совершенно чужой. Самодержавие рухнет в один прекрасный день, как глиняная статуя, и все, что говорится и пишется об отношении к нему народа, как к чему-то священному, не что иное, как сказки Laboulé, названные им «Contes pour entendre debout»...¹

Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям и рассказывать Толстому, как нередко я видел на практике осуществление справедливости мнения о том, что почти всякое прегрешение против нравственного закона наказывается еще в этой жизни на земле. Между этими воспоминаниями находилось одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича.]

Когда я был прокурором Петербургского окружного суда, в первой половине семидесятых годов, ко мне в камеру пришел однажды молодой человек с бледным, выразительным лицом, горящими глазами, обличавшими внутреннюю тревогу. Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора, заведовавшего тюремными помещениями и отказавшего ему в передаче письма арестантке по имени Розалия Онни, без предварительного его прочтения. Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава и отступление от него не представляется возможным, ибо составило бы привилегию одним, в ущерб другим. «Тогда прочтите вы, — сказал он мне, волнуясь, — и прикажите передать письмо Розалии Онни». Это была чухонка-прости-

¹ «Сказки, которые следует слушать стоя» (фр.).

тутка, судившаяся с присяжными за кражу у пьяного «гостя» ста рублей, спрятанных затем ее хозяйкой — вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной, где сеанс животной любви оценивался чуть ли не в пятьдесят копеек. На суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с циническою откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую «мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока», но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на четыре месяца тюремного заключения. «Хорошо, — сказал я пришедшему, — я даже не буду читать вашего письма. Скажите мне лишь в самых общих чертах, о чем вы пишете?» — «Я прошу ее руки и надеюсь, что она примет мое предложение, так что мы можем скоро и перевенчаться». — «Нет, этого не может быть так скоро, ибо ей придется высидеть весь свой срок, и браки с содержащимися в тюрьме разрешаются тюремным начальством лишь в исключительных случаях, когда один из брачующихся должен оставить Петербург и быть сослан или выслан на родину. Вы ведь дворянин?» — «Да», — ответил он и на дальнейшие мои расспросы назвал мне старую дворянскую фамилию из одной из внутренних губерний России, объяснив, что кончил курс в высшем привилегированном заведении и состоит при одном из министерств, занимаясь в то же время частными работами. «Вот видите, — сказал я, — после вашего бракосочетания Розалию пришлось бы перевести в отделение привилегированных по правам состояния женщин, а что они такое — вы сами можете себе представить. Между тем там, где она находится ныне, среди непривилегированных арестанток, устроены превосходно организованные работы и к окончанию срока она будет знать какое-либо ремесло, что при превратностях судьбы ей может пригодиться. Притом же перевод ее в господское отделение неминуемо произвел бы дурное нравственное впечатление на содержащихся с нею вместе. Поэтому лучше было бы не настаивать на отступлении в данном случае от общего правила. Если она примет ваше предложение, я прикажу допустить вас до свиданий с нею без свидетелей и когда хотите». Он передал мне письмо и собирался уходить, когда я снова пригласил его присесть и, испросив его разрешения говорить с ним как частный человек и откровенно, вступил с ним в следующий разговор: «Где вы познакомились с Розалией Онни?» — «Я видел ее в суде». — «Чем же она вас по-

разила? Наружностью?» — «Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел». — «Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней?» — «Я дело знаю: я был присяжным заседателем по нему». — «Думаете ли вы, выражаясь словами Некрасова, «извлеки ее падшую душу из мрака заблужденья», переродить ее и заставить ее забыть свое прошлое и его тяжелые нравственные условия?» — «Нет, я буду очень занят и, может быть, буду приходить домой только обедать и ночевать». — «Считаете ли вы возможным познакомить ее с вашими ближайшими родными и ввести ее в их круг?» Мой собеседник покачал отрицательно головой. «Но в таком случае она будет в полной праздности. Не боитесь ли вы, что прошлое возьмет над нею силу, на этот раз уже без некоторого оправдания в бедности и бесприютности? Что может между вами быть общего, раз у вас нет даже общих воспоминаний? Ваша семейная жизнь может представить для вас, при различии вашего развития и положения, настоящий ад, да и для нее не станет раем! Наконец, подумайте, какую мать вы дадите вашим детям!» Он встал и начал ходить в большом волнении по моему служебному кабинету, дрожащими руками налил себе стакан воды и, немного успокоившись, сказал отрывисто: «Вы совершенно правы, но я все-таки женюсь». — «Не лучше ли вам, — продолжал я, — ближе узнать ее, устроить ей по выходе из тюрьмы благоприятные условия жизни и возможность честного заработка, а затем уже, увидев, что она сознала всю грязь своей прежней жизни и искренне вступила на другой путь, связать свою жизнь с нею навсегда? Как бы не пришлось вам раскаиваться в своем поспешном великодушии и начать жалеть о сделанном шаге! Ведь такое запоздалое сожаление, без возможности исправить сделанное, составляет очень часто корень взаимного несчастья и озлобления. Спасти погибающую в рядах проституции девушку — дело высокое, но мне не думается, чтобы женитьба была в данном случае единственным средством, и я боюсь, что приносимая вами жертва окажется бесплодной или далеко превзойдет достигнутые ею результаты. Не лучше ли сначала приглядеться к той, о ком мы говорим... Мне в качестве прокурора приходилось слышать в этом самом кабинете признания и заявления о совершающемся или имеющем совершиться преступлении, движущие побуждения к которому иногда были вызваны именно жертвами, напрасными с одной стороны и непонятными с другой...» Мой собеседник очень задумался, молча и крепко пожал мне руку и ушел.

На другой день я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за мой с ним разговор, говоря, что, несмотря на то что я, по-видимому, немногим старше его, ему в моих словах слышался голос любящего отца, который совершенно прав в своих опасениях. Подтверждая, однако, свою твердую решимость жениться, он просил меня, в виде исключения, все-таки оказать своим влиянием содействие к тому, чтобы тюремное начальство не препятствовало ему немедленно венчаться с Розалией. Я не успел еще ответить на это письмо, как поступил ответ Розалии Онни, переданный смотрителем тюрьмы, в котором она безграмотными каракулями заявляла о своем согласии вступить в брак. А через день после этого я получил от моего собеседника крайне резкое и почти ругательное письмо, в котором он критиковал мое, как он выражается, «вмешательство в его личные планы». Не желая содействовать несчастию, к которому стремился этот нервно возбужденный человек, я, несмотря на это письмо, все-таки уклонился от участия в осуществлении его желания и твердо отклонил оказанное на меня в этом отношении давление со стороны дамского тюремного комитета и одной из великих княгинь, которую, по-видимому, разжалобил мой собеседник романтической стороною своего намерения. Между тем наступил пост, и вопрос о немедленном браке упал сам собою. Мой собеседник стал видаться довольно часто с Розалией, причем в первое же свидание она должна была ему объяснить, что вызвана из карцера, где содержалась за неистовую брань площадными словами, которую она осыпала заключенных вместе с нею. Он возил ей разные предметы для приданого: белье, браслеты и материи. Она рассматривала это с восторгом, и затем все принималось на хранение в цейхгауз на ее имя. В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. Ее жених был, видимо, поражен известием об этой смерти, когда явился на свидание,— и в память Розалии пожертвовал подготовленное для нее приданое в пользу приюта арестантских детей женского пола. Затем он сошел с моего горизонта, и лишь через много лет его фамилия промелькнула передо мною в приказе о назначении вице-губернатора одной из внутренних губерний России. Но, быть может, это был и не он. Месяца через три после этого почтенная старушка, смотрительница женского отделения тюрьмы, рассказала мне, что Розалия, будучи очень доброй девушкой, ее полюбила и объяснила ей, почему этот господин хочет на ней жениться. Оказалось, что она была дочерью вдовца, арендатора в одной из финляндских

губерний мызы, принадлежавшей богатой даме в Петербурге. Почувствовав себя больным, отец ее отправился в Петербург и, узнав на амбулаторном приеме, что у него рак желудка и что жить остается недолго, пошел просить собственницу мызы не оставить его будущую круглую сироту — дочь. Это было обещано, и девочка после его смерти была взята в дом. Ее сначала наряжали, баловали, портили ей желудок конфетами, но потом настали другие злобы дня или она попросту надоела и ее сдали в девичью, где она среди всякой челяди и воспитывалась до 16-летнего возраста, покуда на нее не обратил внимание только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек — родственник хозяйки, впоследствии жених тюремной сиделицы. Гостя у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда сказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с негодованием вон... не родственника, как бы следовало, а Розалию. Брошенная своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала опускаться со ступеньки на ступеньку, покуда, наконец, не очутилась в притоне около Сенной. А молодой человек между тем, побывав на родине, в провинции, переселился в Петербург и тут вступил в общую колею деловой и умственной жизни. И вот в один прекрасный день судьба послала ему быть присяжным в окружном суде, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву своей молодой и эгоистической страсти. Можно себе представить, что пережил он, прежде чем решиться пожертвовать ей во искупление своего греха всем: свободой, именем и, быть может, каким-либо другим глубоким чувством. Вот почему так настойчиво требовал он осуществления того своего права, которое великий германский философ называет правом на наказание.

Глубокий и сокровенный смысл этого происшествия оставил во мне сильное впечатление. На мой взгляд, это было не простым случаем, а было откровением нравственного закона, было тем проявлением высшей справедливости, которая выражается в пословице: «Бог правду видит, да не скоро скажет»... Посмотри! Это дело твоих рук. Это ты сделал! В этом ты виновен и суди ее, и скажи, что она виновата, когда ты знаешь, что это не она, а ты! Но вместе с тем, наряду с тяжким испытанием ему, провидение послало ей великую радость без всякой примеси горечи. Она снова обрела человека, которого впервые полюбила: он тут, он возле, он будет ее мужем! Будут наряды, украшения... Начинается жизнь по-господски!.. И накануне начала

взаимных разочарований и чувства раскаяния, так легко могущего перейти с его стороны в ненависть, господь опустил занавес над ее житейской драмой и прекратил биение бедного сердца, только что пережившего высокое и последнее в жизни блаженство. И к нему он был милосерден, не простерев до конца свою карающую десницу. Возродив его духовно, дав испытать заснувшей, быть может, душе нравственный толчок и подъем, он не допустил ее вновь опустить крылья под влиянием житейской прозы и семейных сцен самого грубого характера. Он возродил. Он дал урок, но не покарал и не уничтожил своим отмщением.

Рассказ о деле Розалии Онни был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал мне, что ночью много думал по поведению его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне советовал написать этот рассказ для «Посредника» и писал вскоре после моего отъезда П. И. Бирюкову: «Сообщите А[натолию] Ф[едоровичу] К[они] статью Хилкова о духоборцах... Он обещал написать рассказ в «Посредник», от которого я жду многого, потому что сюжет прекрасный...» А месяца через два после моего возвращения из Ясной Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивал меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ? Я отвечал обращенной к нему горячею просьбою написать на этот сюжет произведение, которое, конечно, будет иметь глубокое моральное влияние. Толстой, как я слышал, принимался писать несколько раз, оставлял и снова приступал. В августе 1895 года, на мой вопрос, он писал мне: «Пишу я, правда, тот сюжет, который вы рассказывали мне, но я так никогда не знаю, что выйдет из того, что я пишу, и куда оно меня заведет, что я сам не знаю, что пишу теперь». Наконец, через одиннадцать лет у него вылилось его удивительное «Воскресение», произведшее, как мне известно из многих источников, сильнейшее впечатление на души многих молодых людей и заставившее их произвести по отношению к самим себе и к житейским отношениям нравственную переоценку ценностей.

Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенною яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей верстах в семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил идти пешком и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахму-

рился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: «Уйдем!» Мы так и сделали, удалившись по английскому обычаю, не прощаясь. Но когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти назад пешком, ибо в этот день мы уже утром сделали большую полуторачасовую прогулку, причем Толстой, с удивительной для его лет гибкостью и легкостью, избегал на пригорки и перепрыгивал через канавки быстрыми и решительными движениями упругих ног. Мы сели в лесу на полянке в ожидании «катков» (так называется в этой местности экипаж вроде длинных дрог или линейки). Опять потекла беседа, и так прошло более получаса. Наконец мы слышали вдалеке шум приближающихся «катков». Я сделал движение, чтобы выйти на дорогу им навстречу, но Толстой настойчиво сказал мне: «Пойдемте, пожалуйста, пешком!» Когда мы были в полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжествующе понес ее домой в руках, причем исходивший из нее сильный зеленоватый, фосфорический свет озарял его оживленное лицо. Он и теперь точно стоит передо мною под теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой души.

Я пробыл в Ясной Поляне пять или шесть дней. В день отъезда рано утром мы вышли со Львом Николаевичем пешком на станцию Козловка-Засека и там сердечно простились. Я долго смотрел из окна удалявшегося поезда на его милую типическую фигуру с незабываемым русским мужицким лицом, стоящую на платформе. Сердце мое было исполнено благодарностью судьбе, пославшей мне не одно близкое духовное общение с ним, но и сознание, что я увожу в моей душе его образ не только не потускневшим, но даже выше и краше, чем тот, который рисовался мне, когда между строк его великих произведений я старался разглядеть душу автора. Поезд без пересадки примчал меня в Петербург, и я вступил в обычную колею своей трудовой жизни, в которой не было недостатка ни в серьезных интересах, ни в интересных людях. Тем не менее мне было душно в этой жизни первые дни. Все казалось так мелко, так условно и, главное, так... так ненужно... Я чувствовал себя в этой обычной нравственной атмосфере так, как должен себя чувствовать человек, быстро спустившийся с чистых альпийских высот в шумный и пыльный город и вошедший в душную комнату, где сильно накурено табаком,

пахнет неконченной трапезой и слышатся раздраженные голоса спорящих. Это чувство прошло не скоро, оставив во мне после себя ясное сознание, что, даже не во всем соглашаясь с Толстым, надо считать особым даром судьбы возможность видеться с ним и совершить то, что я впоследствии не раз называл дезинфекцией души.

III

После первого знакомства с Л. Н. Толстым между нами установились добрые и сочувственные личные отношения. С моей стороны в этом не было ничего удивительного. В моем представлении к образу великого писателя и тонкого наблюдателя жизни присоединился и возвышенный образ человека, способный оставлять глубокое впечатление, даже если бы этому человеку и не предшествовала столь заслуженная слава. Несмотря на узкое и нелепое «критиканство» разных зоилов и проповедников сыска в частной и домашней жизни, я нашел в Ясной Поляне удовлетворение давнишней жажды встретить человека, который олицетворял бы в словах, стремлениях, побуждениях и поступках неуклонную правду — *la vérité sans phrases*¹, столь редкую среди житейской обычной лжи, лукавства и притворства. Но его отношение ко мне я могу объяснить лишь тем, что он не усмотрел в моих взглядах и деятельности проявления того, что вызывало его несочувственный взгляд на наше судебное дело и суровое осуждение им некоторых сторон в деятельности служителей последнего. «Воскресение» послужило впоследствии выражением такого его взгляда. Со сдержанным негодованием передавал он мне эпизоды из своего призыва в качестве присяжного заседателя в Тулу и свои наблюдения над различными эпизодами судебного разбирательства и над отдельными лицами из судебного персонала и адвокатуры. Показная и, если можно так выразиться, в некоторых случаях спортивная сторона в работе обвинителей и защитников всегда меня от себя отталкивала, и, несмотря на неизбежные ошибки в моей судебной службе, я со спокойной совестью могу сказать, что в ней не нарушил ни одного из основных правил кантовской этики, то есть не смотрел на человека как на средство для достижения каких-либо, хотя бы даже и возвышенных, целей. Быть может, это почувствовал Толстой, и на этом построилось его доброе ко мне отношение, несмотря на его отрицательный взгляд на суд. Напечатать

¹ правду без фраз (*фр.*).

«Общие основания судебной этики», я послал ему отдельный оттиск. «Судебную этику я прочел,— писал он мне в 1904 году,— и хотя думаю, что эти мысли, исходящие от такого авторитетного человека, как вы, должны принести пользу судейской молодежи, но все-таки лично не могу, как бы ни желал, отрешиться от мысли, что как скоро признан высший нравственный закон — категорический императив Канта,— так уничтожается самый суд перед его требованиями. Может быть, и удастся еще повидаться, тогда поговорим об этом. Дружески жму вашу руку». А. М. Кузминский сказал мне: «Вы знаете, ведь Лев Николаевич терпеть не может «судебных» и, например, ни за что не хочет знать своего дальнего родственника NN, а вас он искренно любит». Эта приязнь Толстого выразилась, между прочим, и при наших, сравнительно редких последующих свиданиях, и в многочисленных письмах, с которыми он ко мне обращался впоследствии, очевидно, видя во мне не только «судейского чиновника». Ниже я расскажу и содержание этих писем, во многом рисующих Толстого. Теперь же скажу о наших встречах и свиданиях.

После 1887 года каждый раз, проезжая через Москву, я заходил ко Льву Николаевичу и проводил вечер в его семействе. Он был — как всегда — интересен и глубоко содержателен, много говорил об искусстве, но нам почти не удавалось быть наедине... Только раз, в 1882 году, на пасхе, провожая меня, он в передней задержал мою руку в своей и сказал мне: «А мне давно хочется вас спросить: боитесь ли вы смерти?» — и ответил теплым рукопожатием на мой отрицательный ответ. Этот вопрос возникал у нас с ним несколько раз. Так, в 1895 году, он писал мне: «Утешаю себя мыслью, что доктора всегда врут и что ваше нездоровье не так опасно, как вы думаете. Впрочем, думаю и от всей души желаю вам этого, если у вас его нет, веры в жизнь вечную и потому бесстрашия перед смертью, уничтожающего главное жало всякой болезни». Гораздо позднее, через одиннадцать лет, он писал мне: «О себе могу сказать, что чем ближе к смерти, тем мне все лучше и лучше. Желаю вам того же. Любящий вас Л. Т.» В том же 1892 году, осенью, в разговоре о холерных беспорядках, которыми тогда омрачена была русская жизнь, он объяснял их — в тех случаях, когда они направлялись на принятые против холеры меры,— инстинктивным отвращением народа к малодушным опасениям в ожидании смертельной болезни.

Во время этих посещений я заставал женскую часть семьи Льва Николаевича обыкновенно в полном сборе. Каж-

дая из дочерей Льва Николаевича представляла из себя особую индивидуальность, оставляющую впечатление самостоятельного развития, не стесненного предвзятыми взглядами светского воспитания. В общем — они походили наружностью на отца, но типические черты последнего и его строгий взгляд смягчались у них чистой прелестью той кроткой женственности, которая присуща настоящей русской женщине. Постоянная и по временам тревожная забота о муже не мешала, однако, проявлениям радушия графини Софьи Андреевны. Дом в Хамовниках был полон, — быть может, слишком полон, — домочадцами и посетителями, и заставить Льва Николаевича одного, кроме тех часов, когда он запырался для работы, было очень трудно. А в другое время молодая жизнь нередко мешала своим бурным потоком спокойной беседе в нем. Иногда, когда мы сидели вдвоем или втроем с моим старым слушателем по училищу правовередения М. А. Стаховичем, в соседних комнатах раздавались взрывы неудержимого молодого веселья или звуки балалаек, и по временам через гостиную мчалась, как вихрь, толпа юнцов и юниц.

Поэтому мои воспоминания об этих встречах довольно отрывочны, но помнится, что в одно из этих посещений мне рассказывали у Толстых о проживавшей на покое в Ясной Поляне престарелой горничной бабушки Льва Николаевича Высокая, сухая и прямая старуха, строптивая, решительная и независимая, эта Агафья Михайловна (в молодости Глаша) представляла своеобразный и ныне исчезающий тип. Верная до самозабвения своим господам, она знала только две веры и две службы: в бога и богу, в них и им. Чрез это преломлялись все ее житейские отношения. «Вот, батюшка, какое у меня горе, — рассказывала она, — церковь у нас далеко, и церковных свеч купить негде, так что иногда и к образу поставить нечего. Раз приходит ко мне управляющий да и говорит: «Агафья Михайловна! Ведь какая у нас беда: молодого барина Сергея Львовича собаки убежали на село. Пожалуй, чью-нибудь овцу разорвут, да коли и не разорвут, все равно Лев Николаевич прикажет заплатить, что с него эти разбойники ни спросят. Одно разорение! Послали ловить на село, да где тут! Разве сами прибегут». Ушел он, а я и думаю: поставлю свечку Николаеугоднику! Пошла в комод. Глядь, а свечки-то у меня нет! Последнюю за полчаса поставила ему же, чтоб барышнин брат Берс экзамен в правовередении выдержал. Как тут быть?! Я стала перед образом, прекрестилась да и говорю: «Батюшка! Батюшка, угодничек божий! Это что за молодого барина

поставлена свечка — так это потом будет, теперь это за то, чтоб собаки вернулись и крестьянских овец не рвали». Она проводила время в вязании носков, любила и умела бывать сиделкой при больных и со страстной нежностью относилась к животным. В последние годы жизни она стала путать время. Тогда Лев Николаевич подарил ей простые стенные тульские часы с маятником. Она была им чрезвычайно рада, но дня через три принесла назад. «Нет, батюшка, возьми их обратно, — сказала она. — Я человек старый, — как лягу, так думаю о божественном да о свете господнем, а не то, чтобы все о себе, да только о себе. А они тут, проклятые, как нарочно над головой знай себе все одно: «что ты?! кто ты?! что ты?! кто ты?! что ты?! кто ты?! кто ты?!» Ну их совсем!»

Мы виделись затем в 1898 году, причем мне пришлось иметь спор с Львом Николаевичем по поводу Федора Петровича Гааза, которого он упрекал в том, что он не отряс прах с ног своих от тюремного дела, а продолжал быть старшим тюремным врачом. В конце концов, однако, он согласился со мною в оценке нравственной личности святого доктора. В это время он писал свое сочинение об искусстве и ходил, между прочим, в театр присутствовать при репетиции. С непередаваемым юмором рассказывал он свои впечатления и описывал, как хористы поют какую-то чувствительную бессмыслицу, а ближайший руководитель уже вовсе не сентиментально на них покрикивает. В день отъезда я заехал к нему проститься, но слуга сказал мне, что Лев Николаевич уехал кататься на велосипеде и вернется лишь часа через два. Я не мог ожидать и думал, что в этот раз его больше не увижу. Но перед самым моим отъездом из гостиницы «Континенталь», на Театральной площади, к крыльцу подкатил всадник, и это оказался Толстой, которому уже было семьдесят лет.

Мы виделись, впрочем, еще перед этим в 1897 году в Петербурге, куда Толстой приезжал проститься с Чертковым, которого в то время постыдной религиозной нетерпимости высылали за границу. Часов в одиннадцать вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу, развлекаемый долетавшими из соседней квартиры, — где жило семейство, занимавшееся торговлею под фирмою «парфюмерия Росс», — звуками музыки, командными словами танцев и топотом ног. Там справляли нечто вроде нашего старинного девичника, называемого у немцев «Polteabend». Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его

зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я «мужика» в кабинет, и мы побеседовали целый час, причем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир. Я не обратил внимания, что музыка у соседей затихла, но когда Толстой стал уходить и я вышел его проводить на лестницу, то мы увидели, что на ней в ожидании столпились гости «парфюмерии Росс» — декольтированные барышни и молодые люди во фраках. Толстой нахмурился, надвинул на самые глаза шапку и почти бегом побегал вниз. Оказалось, что служанка, увидев радостную почтительность, с которою я принял неизвестного мужика, усомнилась в его подлинности, стала из-за дверей вглядываться в его фигуру и вдруг была поражена сходством пришедшего с большим фотографическим портретом, подаренным мне Репиным. Она догадалась, в чем дело, торжественно провозгласила об этом в кухне, и — «пошла писать губерния»...

В этот же его приезд в Петербург одна моя знакомая девушка ехала с даваемого ею урока на службу по «конке». В вагон вошел одетый по-простонародному старик, на которого она не обратила никакого внимания, и сел против нее. Она читала дорогою купленную ею книжку о докторе Гаазе. «А вы знаете автора этой книги?» — вдруг спросил ее старик, рассмотрев обложку. И на ее утвердительный ответ он просил ее передать мне поклон. Только тут, вглядевшись в него, она поняла, с кем имеет дело. «Мне захотелось, — рассказывала она, — броситься тут же в вагоне перед ним на колени, и я невольно воскликнула: «Вы, вы — Лев Николаевич?!» — так что все обратили на нас внимание. Толстой утвердительно наклонил голову, подал ей руку и поспешно вышел из вагона.

Неотложные занятия, частое нездоровье и нередкие тревоги личной жизни лишали меня, несмотря на горячее желание, возможности посещать Толстого так часто, как бы я хотел. А один раз в последние годы, когда я совсем собрался ехать в Ясную Поляну, пришло письмо от графини Софьи Андреевны о том, что домашний пожар должен вызвать отсрочку этой поездки. Поэтому лишь в 1904 году, на пасхе, я снова посетил и, быть может, уже в последний раз Ясную Поляну.

Я нашел на этот раз Льва Николаевича физически

сильно состарившимся, осунувшимся и похудевшим. Было очевидно, что предшествующие годы болезни оставили на нем глубокий след, но след, конечно, физический, а не духовный. В последнем отношении я заметил в нем только одну особенность против прежнего. Он стал еще мягче и снисходительнее к другим и строже к самому себе. Рисуй иногда двумя-тремя глубокохудожественными фактически штрихами чью-либо личность, он тщательно воздерживался от неблагоприятных выводов и однажды, когда слово осуждения вырвалось у него неволью, внезапно нахмурился, покраснел и с видимым неудовольствием сказал: «Нет! Нет, не нужно злословить, не будем осуждать!» Он весь был против пагубной войны, на которую высокомерная «волоки-та» нашей дипломатии и наша самонадеянная неподготовленность и презрение к урокам истории толкнули Японию с давно ею затаенным оскорблением своего национального чувства. Но его русское сердце сжималось с тоскою и тревогой по поводу результатов предстоящей бойни. При мне пришло известие о гибели Макарова, чрезвычайно его расстроившее. Он интересовался всеми телеграммами, ездил за ними сам в Тулу верхом и постоянно возвращался в разговорах к случившемуся. Дурная погода и весенний разлив мешали нам предпринимать прогулки, и он проводил большую часть дня дома, где все, кроме него, вставали довольно поздно. Мы же сходились утром вдвоем за чаем в восемь часов и подолгу беседовали вечером в его маленьком кабинете, куда он зывал меня перед сном и где опять повторялись старые душевные разговоры, как семнадцать лет назад, только на этот раз уже я сживал около его постели. По вечерам он иногда читал вслух с удивительной простотой и в то же время выразительностью. Так, мне помнится особенно ярко чтение им рассказа Куприна «В казарме». Он признавал большой талант за этим писателем.

В эти памятные для меня дни он дал мне прочесть в рукописи три своих произведения: «Божеское и человеческое», «После бала» и «Хаджи-Мурат» и неоконченный трактат о Шекспире. С последним трудно было согласиться, хотя и там были яркие и глубокие мысли. Драма, по мнению Толстого, должна быть непременно религиозной. Такою и была древняя драма, ибо человеческие страсти, страдания и самая судьба составляли содержание античной религии. Потом драма утратила этот характер, и когда ее пожелали возобновить, то взяли лишь античную форму без ее содержания. Немцы, под влиянием Гете, отвращаясь от этого псевдоклассицизма, обратились к Шекспиру и поло-

жили начало особому шекспировскому культу. Но у Шекспира, по мнению Толстого, прежде всего бросается в глаза отсутствие искренности, грубое и низменное содержание, облеченное в неудачную форму. Обилие грубости в устах действующих лиц, один и тот же язык, которым говорят все, и полное отсутствие резко очерченных характеров ставят даже знаменитых Лира и Отелло ниже их иностранных первообразов. Я возражал Толстому как умел, будучи безусловным поклонником Шекспира и находя в его творениях не только удивительное изображение именно характеров, но разрешение многих важнейших проблем человеческого духа. Но Толстой, приводя исключительные примеры, стоял на своем с внешней мягкостью, но с внутренним упорством, носившим на себе даже оттенок некоторого раздражения. Я думаю, что литературный кружок, в который он вошел после Севастополя, чрезмерно старался — в лице Дружинина, Тургенева и Анненкова — начинить молодого офицера фетишизмом по отношению к великому драматургу и свойственная натуре Толстого реакция приняла грубую и неискоренимую форму. Но зато три остальные вещи заставили меня провести чудные минуты и — откровенно говоря — не раз вызывали умиление перед величием таланта автора и его способностью «заражать» читателя своим настроением. Трудно передать всю глубину и всю прелесть простоты этих произведений. Мне невольно приходит на память Ганс Мемлинг в Брюгге с его миниатюрами из жизни святой Урсулы, где все так жизненно, правдиво и просто, недостижаемо просто! В нарисованных Толстым в «Божеском и человеческом» образах — южного генерал-губернатора, матери приговоренного Анатолия Светлогуба, ее сына, раскольника, ищущего истинную веру, и террориста Меженецкого нет ни одной лишней черты. L'élimination du superflu¹, составляющее необходимое условие всякого художественного произведения, доведено до совершенства, и впечатление получается огромное. Глубокой верой звучит этот рассказ с лаконическим описанием казни, где за физическим ужасом, за болью и прекращением ее следует восторг нового рождения и возвращения к тому, от кого человек исшел и к кому шел, умирая, — в связи с приводимым Толстым текстом от Иоанна... От рассказа «После бала» веет таким молодым целомудренным чувством, что этой вещи нельзя читать без невольного волнения. Нужно быть не только великим художником, но и нравст-

¹ Исключение излишнего (фр.).

венно высоким человеком, чтобы так уметь сохранить в себе до глубокой старости, несмотря на «охлажденные лета», и затем изобразить тот почти неуловимый строй наивных восторгов, чистого восхищения и таинственно-радостного отношения ко всему и всем, который называется первой любовью. Эта любовь, возникшая внезапно в сердце молодого студента, налетевшая на него, как шквал, и заставившая его с одинаково умиленным чувством относиться и к красавице девушке и к танцующему с нею на бале мазурку отцу ее, воинскому начальнику, — не выдерживает столкновения с ужасающей действительностью, когда утром после бала не могущий заснуть от взволнованного очарования студент видит, совершенно неожиданно, этого отца управляющим прогнанием сквозь строй татарина-дезертира и бьющим по лицу нанесшего слабый удар молодого солдата со словами: «Я тебя научу мазать; будешь?» Этот роковой диссонанс действует сильнее всякой длинной и сложной драмы. Наконец, «Хаджи-Мурат» по разнообразию картин и положений, по глубине и яркости изображений и по этическому своему характеру может, по моему мнению, стать наравне с «Войной и миром» в своих несравненных переходах от рубки леса к балу у наместника Кавказа, от семейной сцены в отдаленной русской деревне к кабинету императора Николая Павловича и к сакле горного аула, где мать Хаджи-Мурата поет народную песню о том, как она залечила тяжелую рану, нанесенную ей в грудь кинжалом, приложив к ней своего маленького сына. Особенно сильно было в этом рассказе изображение Николая Павловича с его наружностью, взглядом, отношением к женщинам, к полякам, в действиях которых он старается найти оправдание себе в принимаемых против них суровых мерах, и с его мыслями о том, «что была без меня Россия...» Говорю: было, потому что Толстой считал главу о Николае Павловиче неоконченной и даже хотел вовсе ее уничтожить, опасаясь, что внес в описание нелюбимого им монарха слишком много субъективности в ущерб спокойному беспристрастию. Можно опасаться, что он осуществит свой скептический взгляд, столь пагубный со времен Гоголя для русской литературы.

Смена родных, приезд знакомых и разных иностранцев мешали мне насладиться Львом Николаевичем «всласть». Но тем не менее и на этот раз я увез из Ясной Поляны несколько художественных образов, мелькнувших в рассказах Толстого, и теплое воспоминание о наших беседах. Последние часто касались вопросов веры. В обсуждение их

Лев Николаевич вносил особую задушевность. Видно было, что в том возрасте, в котором большинство склонных к мышлению людей обращается по отношению к интересовавшим их когда-то нравственным и религиозным вопросам в то, что Бисмарк называл «eine beurlaubte Leiche»¹, Толстой живет полной жизнью. Его тревожат и волнуют эти вопросы, и он является «взыскующим града», пытливо вдумываясь в их наиболее приемлемое душою объяснение. Так, однажды вечером он сказал мне, что его интересует вопрос о том, возможно ли и мыслимо ли за гробом индивидуальное существование души или же она сольется со всем остальным миром и существование ее будет, так сказать, космическое. Я рассказал ему об одном своем приятеле, который твердо и горячо убежден, что душа сохранит или, вернее, выразит свою земную индивидуальность, воплотившись в какую-нибудь неведомую, но, конечно, более совершенную форму, причем для нее, как это бывает в сновидениях, не будет двух ограничительных в нашем земном бытии условий: времени и пространства. Утром на другой день Толстой сказал мне при первой нашей встрече, что много думал ночью о нашем разговоре и согласен со взглядом моего приятеля. «Да! — прибавил он. — За гробом будет индивидуальное существование, а не нирвана и не слияние с мировой душой».

«Меня интересует, — сказал он в другой раз, — как представляете вы себе наши отношения к Хозяину и считаете ли, что должно существовать возмездие в будущей жизни?» Я высказал ему свой взгляд на веру в бога как на непреклонное убеждение в существовании вечного и неизбежного свидетеля всех наших мыслей, поступков и побуждений, благодаря чему человек никогда и ни при каких обстоятельствах не бывает один. Это сознание вместе с мыслью о смерти и следующей за нею жизни, в которой наступит ответственность, должно руководить земною жизнью человека и связывать его с Хозяином. Не быть в этом отношении «рабом ленивым и лукавым» — нравственная задача человека. Ответственность и возмездие, конечно, не могут быть понимаемы в материальном смысле или в образах, созданных необходимостью подействовать на воображение. Как «царство божие внутри нас есть», так и ад и рай внутри нас... Мне думается, что наша душа, освобожденная от брэнного футляра — тела, получит возможность великого по своему объему и глубине созерцания и увидит земную

¹ «уволенный в отпуск труп» (нем.).

жизнь свою сразу во всем ее течении, как реку на ландкарте, со всеми ее извилами и разветвлениями. Пред лицом вечной правды и добра познает она свои умышленные заблуждения и сознательно причиненное зло, но увидит также и добрую струю, оплодотворившую прибрежную почву. И в этом будет ее радость, и в этом будет мзда, потому что сознание зла, которого нельзя уже исправить и заменить добром, есть тяжкое возмездие. «Как я рад,— сказал Толстой,— что вы так смотрите и что мы так сходимся во взгляде на будущую жизнь. Я всегда так рад, когда встречаю людей, на верящих в смерть как в уничтожение. Мне нравится и это изображение реки. Да, реки! Именно река!» И между нами долго еще продолжалась одна из тех бесед, после которых жить становится легче и бодрее.

И в это мое посещение я мог снова убедиться в той благородной терпимости и деликатности, с которыми Лев Николаевич относится к чужим убеждениям и чувствам, даже когда они идут вразрез с его взглядом, но если только они искренни и не вредоносны сами по себе. Известен его взгляд на Христа и на многие коренные догматы, вытекающие из пророчеств и из творений евангелистов. Строго разграничивая этическое содержание евангелия от исторического и учение Иисуса Христа от его жизни и личности и ставя его на первое место в ряду великих нравственных мыслителей, как заведывавшего миру вековечный и непревзойденный закон кротости и человеколюбия, Толстой не может не встречать горячих и упорных возражений со стороны тех, кто считает, что невозможно выбирать из евангелия лишь часть — этическое учение — и, восторженно воспринимая ее, одновременно отвергать все остальное и тем вырывать из сердца таинственные и пленительные образы, делающие из этого учения предмет не только сочувствия, но и веры. Мне пришлось испытать, как мягко в обмене мнений об этом относится Лев Николаевич к тому, что он считает «заблуждением», и как тщательно избегает он того, что может оскорбить или уязвить религиозное чувство своего «совопросника». Мне казалось, что, даже считая свою точку зрения непоколебимою, он разделяет прекрасные слова Герцена о том, что есть целая пропасть между теоретическим отрицанием и практическим отречением — и что сердце плачет и не может расстаться, когда холодный рассудок уже постановил свой приговор...

С таким отношением к собеседнику идет как бы вразрез страстный и беспощадный подчас способ выражений, употребляемый, особенно в последние годы, Львом Николаевичем

чем в своих произведениях, касающихся вопросов политики или религии. Но это объясняется тем, что, имея перед собою безличного, собирательного читателя, настроение и степень восприимчивости которого неизвестны, и притом не споря с ним, а лишь излагая свое мнение, он не имеет повода стесняться выбором выражений, заботясь лишь о том, чтоб возможно сильней и глубже высказать свою мысль. Притом он постоянно думает о смерти (это сквозит, а иногда и прямо выражено во многих письмах его ко мне), а частые тяжелые болезни заставляют его считать ее близкою. А между тем душа его не стареет, живет, горит любовью, волнуется справедливым гневом на то, что Христос имеет множество слуг и мало последователей,— жаждет и ищет правды и отвергает всякую условность и житейские компромиссы. Мера того, что накапливается в ней, что надо высказать, гораздо больше меры «судьбой отсчитанных дней»,— приходится торопиться и страстным словом закрепить то, что еще хочется и можно успеть сказать перед уходом... Есть очень выразительная испанская поговорка: «Кричать устами своей раны (per la bocca de su herida)». Так иногда устами своей раны кричит этот изведавший жизнь старец...

При мне пришло известие о кончине графини Александры Андреевны Толстой, приходившейся, несмотря на близкое равенство возраста, теткою Льву Николаевичу. Я был лично знаком с этой оригинальной и симпатичной по своему душевному складу женщиной. Грузная, с тройным подбородком и умными темными глазами, она производила впечатление родовитой и самостоятельной, несмотря на свое высокое придворное положение (она была воспитательницей великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской) и связанную с этим зависимость, личности, в которой лоск европейского воспитания не стер милых свойств коренной русской природы...

Одинаково хорошо и сильно владея родным и французским языком, она умела выражать на нем результаты своих дум и выводы своей тонкой наблюдательности. Еще не будучи с нею знаком, я с великим удовольствием прочел ее горячие, трогательные и красноречивые строки в ответ на брошюру некоего господина Лафертэ «L'empereur Alexandre II. Détails inédits sur sa vie intime et sa mort»¹, в которой услужливый писака, рисуя в восторженных выраже-

¹ «Император Александр II. Незданные материалы о его интимной жизни и смерти» (фр.).

ниях особу, сообщившую ему интимные подробности, позволил себе пренебрежительное отношение к памяти той, которую она заместила, не заменив. «M. Laferté, — писал «un russe du grand monde» (таков был псевдоним графини Толстой), — en cherchant à faire sortir la princesse du role de silence et d'obscurité qui incombe a sa position actuelle et qui lui aurait valu la faveur de l'oubli — et faisant ainsi l'apologie d'une existence en dehors des voies régulières, n'a-t-il jamais pensé qu'il pourrait évoquer une ombre sainte qui vit et rayonne encore dans les coeurs, entourée d'une auréole de pureté et de vertu lumineuse, devant laquelle la princesse devrait se prosterner, en implorant son pardon, le front courbé dans la poussière» (Quelques mots sur la brochure de M. Laferté. Paris 1892)¹.

Беседа с графиней Александрой Андреевной Толстой, всегда перевитая ее живыми воспоминаниями из доступной немногим области, была интересна и во многом поучительна. Здесь не место приводить что-либо из этих воспоминаний, но для характеристики их можно указать, например, на рассказ ее о том, что будущий германский император, тогда еще только прусский король Вильгельм, был в обыденной жизни довольно скучен, так что Бисмарк, приходивший пить чай к гостившим в Баден-Бадене двум великим княгиням, сказал однажды ей, Толстой: «Croyez vous, comtesse, qu'il est facile de gouverner avec un vieux comme sa?!»²

Я не могу судить о том, как принял в глубине души Лев Николаевич известие о ее кончине... Он был слишком удручен общим горем — войною, и, кроме того, при его взгляде на смерть и на будущую жизнь, разделяемом и мною, можно скорбеть, если к тому есть повод, лишь об оставшихся, а не об ушедших. «Кончена жизнь!» — говорят вокруг Ивана Ильича... «Нет, смерть кончена!» — хочет он воскликнуть и умирает.

В начале 1903 года графиня А. А. Толстая пожертвовала

¹ «Г Лафертэ, — <писал> «представитель русского большого света», пытался избавить княгиню от той безмолвной и незаметной роли, на которую ее облекало нынешнее положение и которое могло бы ей принести спасительное забвение, — и тем самым всячески восхвалял и защищал существование, не освященное законом, но разве ему никогда при этом не приходило в голову, что таким образом он вызвал бы святую тень, которая еще сияет и живет в наших сердцах, окруженная ореолом чистоты и незапятнанного целомудрия, перед которой княгиня должна была пасть ниц, моля о прощении» (Несколько слов о брошюре г Лафертэ. Париж, 1892) (фр.)

² «Вы думаете, графиня, что при старике такого рода легко управлять?!» (фр.)

Академии наук свои записки об отношении своих к Льву Николаевичу с тем, чтобы они были напечатаны с благотворительною целью. Избранная Академией комиссия, рассмотрев эти записки, ценные по биографическим данным и письмам, в них приводимым, возложила на меня редактирование издания и все по этому предмету распоряжения. Объективный тон, теплота чувства, искусный подбор и освещение подробностей производят в этих воспоминаниях графини А. А. Толстой о далеких годах ее и Льва Николаевича молодости прекрасное впечатление. Но оно, для меня, по крайней мере, не остается таким до конца. Дело в том, что дружеские нежные отношения ее и Льва Николаевича, в описании которых чувствуются следы некоторой с их стороны *amitié amoureuse*¹, встретили с течением времени на своем пути строго ортодоксальные и не допускающие никаких колебаний убеждения графини. Лев Николаевич со свойственной ему страстностью в искании правды стал делиться своими «открытиями» с теткой и рассказывать ей словесно и письменно о том, как церковность «спадает ветхой чешуей» с души его и как беспощадно к себе и к своим недавним верованиям он совлекает с себя «ветхого Адама». Между ними разгорелась полемика, в которой мало-помалу они стали говорить на различных языках и в которую постепенно проникло взаимное раздражение, подготовлявшееся долгим разладом во взглядах... Это раздражение с особенной яркостью сказалось в последних страницах записок княгини Толстой. Характеризуя в них друга своей молодости, она, конечно, совершенно искренно и с душевной болью находит, что «не успев уяснить себе свои собственные мысли, он отверг святыне, неоспоримые истины», впал в мнимо-христианское учительство и дошел до ужасного: возненавидел церковь, плодом чего явился «бешеный пароксизм невообразимых взглядов на религию и на церковь, с издевательством надо всем, что нам дорого и свято». Признавая, что Лев Николаевич «хуже всякого сектанта» и что после того, как злой дух, древний змий, вложил в его душу отрицание, за стулом его, как писателя, «стал сам Люцифер — воплощение гордости», — графиня постановляет суровый окончательный приговор о Льве Николаевиче.

Незадолго перед этим в газетах появилось известное постановление о признании Толстого св. синодом не принадлежащим к церкви, и ему еще при жизни стала грозить возможность быть лишенным христианского погребения.

¹ влюбленной дружбы (*фр.*).

Этим была вызвана целая бомбардировка его ожесточенными и укорительными письмами с проклятиями и угрозами. Около того же времени в многолюдном собрании Философского общества при Петербургском университете был сделан доклад, в котором с внешним блеском талантливости и внутреннею односторонностью высказывалась мысль, что в своей частной жизни и произведениях Толстой является нигилистом и резким отрицателем, идеалы которого можно, пожалуй, найти в мирозозерации старика Ерочки в «Казаках» или лакея Смердякова в «Братьях Карамазовых». Обычная непоследовательность русской жизни сказалась и тут, и, одновременно с объявлением об отлучении Толстого от церкви, на его известном портрете, сделанном Репиным и привлекавшем к себе общее внимание на передвижной выставке в С.-Петербурге, появилась надпись о приобретении его для Музея императора Александра III. Я призадумался над исполнением поручения академии, находя крайне несвоевременным печатание обличительных записок такого рода. Академии наук не следовало содействовать той нетерпимости, предметом которой становился Толстой. Такое содействие, не согласное с ее авторитетом вообще, являлось бы уже совершенно неуместным по отношению к ее члену-корреспонденту и почетному академику. Это было бы вместе с тем лишено оправдания и с точки зрения исторической, так как оба корреспондента еще находились в живых и история для них еще не наступила... Соображения мои были разделены покойным А. Н. Веселовским и А. А. Шахматовым, и графиня Александра Андреевна выразила после объяснения с последним желание, чтобы печатание ее записок было на некоторое время отложено.

И в это наше свидание в Ясной Поляне я видел, как по-прежнему останавливали на себе вдумчивое внимание Льва Николаевича житейские картины, таившие в себе внутренний смысл или нравственное поучение, и как постарому же блистал произвольным юмором его рассказ, когда он бывал в духе. Так, например, он высказал ряд глубоких мыслей о той жадной и близорукой погоне за суетным житейским счастьем, которое так часто, со справедливой безжалостностью, прерывается внезапно налетевшею смертью. Это было вызвано рассказом моим об одном петербургском сановнике, человеку в душе не дурном и вовсе не злом, но который, снедаемый честолюбием, всю жизнь хитрил, лицедействовал, ломал свое сердце и совесть, напускал на себя желательную и угодную, по его мнению, суровость, стараясь выставить себя «опорой» в

сфере своей деятельности, имевшей дело с живым и чувствующим материалом. Человек бедный и семейный, он долгое время не мог собраться со средствами, чтобы «построить» себе дорогой, вышитый золотом мундир, и откладывал для этого особые сбережения. Наконец, мундир был готов, и его оставалось надеть на придворный бал или торжественный выход, чтобы, в горделивом сознании своего официального величия, проследовать между второстепенными сановниками и городскими дамами. Но ни бала, ни выхода в скором времени не предстояло, а между тем наступало лето, и он собственноручно, с величайшей осторожностью, уложил свой восьмисотрублевый мундир в ящик, посыпав его, оберегая от моли, нафталином. Осенью, 26 ноября, ко дню Георгиевского праздника, он вынул мундир — предмет стольких вождедений, — и, о ужас! Все драгоценное золотое шитье оказалось черным от нафталина. Через полчаса его служебно-акробатические упражнения прекратились навсегда. За бортом гроба, на высоком катафалке, виднелось восковое бритое лицо покойника, с длинным заострившимся носом и недоумевающей складкой тонких губ. Казалось, что ирония судьбы способна пойти еще дальше и, пожалуй, могла бы надоумить прислугу положить его в гроб именно в мундире с почерневшим шитьем. «Этот образ, — сказал мне Толстой, — говорит гораздо больше, чем длинные рассуждения, и этой мыслью следовало бы когда-нибудь воспользоваться».

Как память о моем пребывании в Ясной Поляне в 1904 году у меня остался снятый графиней Софьей Андреевной портрет Льва Николаевича и мой, на котором чрезвычайно удалась прекрасная в своем патриархальном величии фигура Льва Николаевича. Отголоском этого посещения явилось письмо ко мне Софьи Андреевны Толстой от 26 июня 1904 года. В нем она, между прочим, писала: «Лев Николаевич под гнетом военных и семейных событий (обе дочери его разрешились мертвыми младенцами, и младший сын ушел на войну) как будто еще более похудел, согнулся и стал тих и часто грустен. Но все та же идет умственная работа и все тот же правильный ход жизни. Очень мы оба радуемся вашему обещанию приехать к нам в сентябре. Пожалуйста, будьте здоровы и не раздумайте исполнить ваше намерение. Что-то будет в сентябре? Как мрачно стало жить на свете и как холодно!..»

Выше я говорил о нашей переписке с Львом Николаевичем. Почти все его письма ко мне имеют деловой характер и часто представляют собою образчики содержательного лаконизма. Переписка у него огромная, и ему, без сомнения, некогда влагать свои мысли в форму условного пустословия, которое обыкновенно занимает немалое место в письмах. Пересматривая те тридцать шесть писем, которые у меня сохранились (к сожалению, некоторые письма конца восьмидесятых годов выпрошены у меня неотступными собирателями автографов), я вижу, что господствующая в них тема есть постоянное и горячее заступничество за разных «униженных и оскорбленных», «труждающихся и обремененных», во имя справедливости и человечности. Большая часть тех, о ком хлопочет Толстой, прося помощи, совета, разъяснения или указания, суть жертвы той своеобразной веротерпимости, которая господствовала у нас до 17 апреля 1905 года и не имела ничего общего со свободой совести. В силу такой веротерпимости — наше законодательство, начальственные усмотрения и затем, как неотвратимое несчастье, судебные приговоры ограждали господствующую церковь рядом стеснительных, суровых и подчас жестоких мер и предписаний, направленных против «несогласно мыслящих» и к принудительному удержанию на лоне господствующей церкви тех, кто ей чужд сердцем и совестью. Высочайше утвержденный журнал комитета министров прозвучал 17 апреля 1905 года над русской землей как благовест признания святейших потребностей и прав человеческого духа, дотоле безжалостно и бездушно попираемых.

Но в те годы, к которым относится большая часть писем Льва Николаевича, людей, имевших смелость, повинуюсь голосу совести, не желать укладывать свое религиозное чувство в установленные и окаменелые рамки, ждали всякого рода стеснения, обидные прозвища, домогательства носителей меча духовного и воздействия меча светского. И люди эти не были представителями изуверного сектантства, заблуждения которых идут вразрез с требованиями общежития и нравственности: это были по большей части люди глубоко верующие, преданные заветам отцов и дедов и выгодно отличавшиеся от окружающего населения своею трезвостью, любовью к труду, домоводством и нередко строгою семейною жизнью, ныне столь расшатанною... Их страдальческая судьба, испытываемые ими гонения и разрушение их семейного быта, в виде отнятия детей и насиль-

ственной отдачи их в монастыри, возмущали и волновали Льва Николаевича. Он писал письма к власть имущим, хлопотал о составлении прошений и обращался со словами трогательного заступничества к тем, кому предстояло сказать свое слово по этого рода делам. В числе последних бывал и я.

«Вы, может быть, слышали про возмутительное дело, совершенное над женою князя Хилкова, у которой отняли детей и отдали матери ее мужа, — писал он мне в 1894 году. — Она хочет подать прошение, его ей написал ее свояк, и мне оно не нравится. Сам я не только не сумею написать лучше, но считаю и бесполезным и нехорошим учтиво просить о том, чтобы люди не ели других людей. Но вы именно тот человек, который, глубоко чувствуя всю возмутительность неправды, может и умеет в принятых формах уличать ее». Так в 1897 году он просит принять несколько молокан, у которых отняты дети, и помочь им советом. То же повторяется и в 1899 году, относительно таких же молокан, причем он извещает меня, что написал одному из них прошение как умел. «Передадут вам это письмо, — пишет он в 1900 году, — сектант А. К. (полуслепой) и его провожатый. В сущности, он мало располагает к себе, но не жалко ли, что его гонят за веру. Вероятно, вы почувствуете то же, что и я, и, если можете, избавите его гонителей от греха». Таких писем больше всего. Почти во всех содержатся трогательные извинения за причиняемое беспокойство и просьба не отвечать, если некогда или нельзя помочь. «Если вам почему-либо нельзя ничего сделать для этого хорошего молодого человека, — пишет он в 1894 году, — то, пожалуйста, не стесняйтесь этим и не трудитесь мне отвечать. Я знаю, что вы и без моей просьбы помогли бы ему, и думаю, что вы и для меня пожелаете сделать что можно, поэтому вперед знаю, что не сделаете, то только потому, что нельзя». «Та, о заступничестве за которую я вас прошу, — пишет он в 1898 году, — молоденькое и наивное, как ребенок, существо, так же похожее на заговорщика и так же опасное для государства, как похож я на завоевателя и опасен для спокойствия Европы. Вот я и снова к вам с просьбой. Но что же делать? *Noblesse (des sentiments) oblige*¹, а кроме того, мне не к кому обратиться в Петербурге». Даже тяжкая болезнь не умаляет его забот о других. Так, в ноябре 1901 года в письме из Кореиза в Крыму он говорит: «...пишу вам не своей рукой потому, что все хвораю и после

¹ Благородство (чувств) обязывает (*фр.*).

своей обычной работы так устаю, что даже и диктовать трудно. Но дело, о котором пишу вам, так важно, что не могу откладывать. Моя знакомая и сотрудница во время голодного года, самое безобидное существо, находится в тех тяжелых условиях, которые описаны в прилагаемой выписке письма, которое переписано слово в слово. Пожалуйста, *remuez ciel et terre*¹, чтобы облегчить участь этой хорошей и несчастной женщины. Вам привычно это делать и исполнять мои просьбы. Сделайте это еще раз, милый Анатолий Федорович».

В письмах рассыпаны известия о себе и о своих трудах, приглашения приехать в Ясную Поляну, милые сетования на то, что мне не удастся этого сделать, и ряд добрых пожеланий. «Я жив и здоров, — пишет он в сентябре 1905 года. — Все одно и то же говорю людям, которые не обращают на мои речи никакого внимания, но я все продолжаю, думая, что я должен это делать». «Очень сожалею о том, что ваша речь в академии о русском языке вызвала неосновательные возражения. То, что вы сказали, было очень естественно и вполне целесообразно. Надо выучиться не обращать на это внимание, впрочем, вы это знаете лучше меня» (1900 г.). «Мне жалко вас за ваше нездоровье. Дай бог вам переносить его как можно лучше, то есть не переставая служить людям, что вы и делаете. Это самое лучшее и верное лекарство против всех болезней» (1904 г.). «...Желаю вам духовного спокойствия, а телесное здоровье в сравнении с этим благом, как щекотка при здоровом теле» (1906 г.). «...Вчера утром, получив ваше письмо, я не вспомнил сразу по почерку на конверте, чей именно это почерк, решил, однако, что это от человека, которого я люблю, и отложил, как я обыкновенно это делаю, письмо это под конец; когда же распечатал и узнал, что письмо от вас, порадовался своей догадливости», — значится в одном из его последних писем ко мне.

V

Таковы мои воспоминания о Л. Н. Толстом. В них не выражено главного, трудно поддающегося описанию: его влияние на душу собеседника, того внутреннего огня его, к которому можно приложить слова Пушкина: «Твоим огнем душа палима, отвергла мрак земных сует». Тот, кто узнал его ближе, не может не молить судьбу продлить его жизнь. Она дорога для всех, кому дорого искание правды

¹ употребите все средства (*фр.*).

в жизни и кому свойственно то, что Пушкин называл «роптаньем вечным души», а Некрасов — «святым беспокойством» ... Можно далеко не во всем с ним соглашаться и находить многое, им проповедуемое, практически недостижимым. Можно, в некоторых случаях, не иметь сил или умения подняться до него, но важно, но успокоительно знать, что он есть, что он существует как живой выразитель волнующих ум и сердце дум, как нравственный судья движений человеческой мысли и совести, относительно которого почти наверное у каждого, вошедшего с ним в общение, в минуты колебаний, когда грозят кругом облепить житейские грязь и ложь, настойчиво и спасительно встает в душе вопрос: «А что скажет на это Лев Николаевич? А как он к этому отнесется?»

Со многих сторон восставали и восстают на него. Ревнители неподвижности сложившихся сторон человеческих отношений упрекают его за смелость мысли и за разрушительное влияние его слова, ставя ему в строку каждое лыко некоторых из его неудачных или ограниченных последователей. Ему вменяют в вину провозглашение им, без оглядки и колебаний, того, что он считает истиной и по отношению к чему лишь осуществляет мнение, высказанное им в письме к Страхову: «Истину... нельзя урезывать по действительности. Уж пускай действительность устраивается, как она знает и умеет по истине». Но не сказал ли некто, что «истину, хотя и печальную, надобно видеть и показывать и учиться у нее, чтобы не дожить до истины более горькой, уже не только учащей, но и наказующей за невнимание к ней?» А ведь этот некто — был знаменитый московский митрополит Филарет...

Некоторые из людей противоположного лагеря относятся к Толстому свысока, провозглашая его носителем «мещанских идеалов», ввиду того что во главу угла всех дел человеческих он ставит нравственные требования, столь стеснительные для многих, которые в изменении политических форм, без всякого параллельного улучшения и углубления морали, видят панацею от всех зол. Вращаясь в своем узком кругозоре, они забывают при этом, что даже наиболее радикальная политико-экономическая мера, рекомендуемая ими, — национализация земли — в сущности, указана и разъяснена у нас Толстым, но с одной чрезвычайно важную прибавкою, а именно: без насилия...

Путешественники описывают Сахару как знойную пустыню, в которой замирает всякая жизнь. Когда смеркается, к молчанию смерти присоединяется и тьма. И тогда идет

на водопой лев и наполняет своим рыканьем пустыню. Ему отвечают жалобный вой зверей, крики ночных птиц и далекое эхо — и пустыня оживает. Так бывало и с этим Львом. Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия...

В. Г. КОРОЛЕНКО И СУД

Кончина Владимира Галактионовича Короленко вызвала ряд некрологов и воспоминаний, в которых всесторонне и ярко обрисовывается образ этого высокоталантливого писателя, из произведений которого настойчиво и «проникновенно» звучат — призыв к человеколюбию, к уважению человеческой личности и к свободе и нежная, глубокая любовь к чудесно описываемой природе. Но в них почти совершенно умалчивается про участие Короленко в так называемом Мултанском деле, которому он посвятил много труда и энергии во имя торжества справедливости. Хочется напомнить об этой его деятельности, которая дорисовывает благородную и возвышенную в своих стремлениях личность усопшего.

В 1894 году в округе Сарапульского окружного суда было возбуждено следствие об одиннадцати крестьянах села Старый Мултан, обвиняемых в убийстве нищего Матюнина с целью приношения его внутренностей в жертву языческим богам. Из преданных Сарапульскому окружному суду присяжными признаны виновными семь подсудимых, приговоренных к каторжным работам. Рассмотрев принесенную на этот приговор кассационную жалобу, сенат нашел, что при производстве дела было нарушено равноправие сторон и, вопреки требованию закона, допущены показания свидетелей «по слуху», — и отменил состоявшийся приговор, передав дело для слушания в Елабугу. Там тоже последовало обвинительное решение присяжных заседателей, состоявшееся при целом ряде нарушений, препятствовавших всестороннему рассмотрению и правильному разрешению вопроса о действительном существовании человеческого жертвоприношения у вотяков, как двигающего побуждения обвиняемых. На это решение была опять принесена кассационная жалоба защитника подсудимых. Рассмотрение ее состоялось 22 декабря 1895 года при большом стечении публики. Ввиду важности этого дела и повторности нарушений, шед-

ших вразрез с истинными целями правосудия, я высказал в моем обер-прокурорском заключении, что нарушения, допущенные при ведении уголовных дел в суде, представляют особую важность в тех случаях, где суду приходится иметь дело с исключительными общественными и бытовыми явлениями и где вместе с признанием виновности подсудимых судебным приговором устанавливается и закрепляется, как руководящее указание для будущего, существование какого-либо мрачного явления в народной или общественной жизни, послужившего источником или основанием для преступления. Таковы дела о новых сектах, опирающихся на вредные или безнравственные догматы и учения; дела о местных обычаях, приобретающих, с точки зрения уголовного дела, значение преступления, как, например, насильственный увод девиц для брака, родовое кровомщение и т. п.; таковы дела об организованных обществах для систематического истребления детей, принимаемых на воспитание, дела о ритуальных убийствах и человеческих жертвоприношениях и т. д. В этого рода делах суд обязан с особой точностью и строгостью выполнить все предписания закона, направленные на получение правосудного решения, памятуя, что приговор его является не только решением судьбы подсудимого, но и точкой опоры для будущих судебных преследований и вместе с тем доказательством существования такого печального явления, самое признание которого судом устраняет на будущее время сомнение в наличности источника для известных преступлений исключительно бытового и религиозного характера в той или другой части населения. Усматривая в деле четыре коренных нарушения в разных стадиях процесса, разобрав их подробно и указав на полное неприличие представленного сенату объяснения председательствующего о том, что принесение в жертву языческим богам Матюнина отрицается только бывшим на суде представителем прессы, корреспондентами да защитником, помогающимися во что бы то ни стало полного оправдания всех подсудимых, которого они, может, когда-нибудь и добьются, я предложил сенату вторично кассировать приговор по Мултанскому делу и передать его для нового рассмотрения в Казанский окружной суд.

Одновременно с этим меня посетил Владимир Галaktionович (это была первая наша встреча в жизни; последующие были лишь в первых заседаниях разряда изящной словесности в Академии наук), причем он объяснил мне, что следил за этим делом ввиду его общественного значения с самого его возникновения, и рассказал, с какой

предвзятой односторонностью велись по нему и предварительное и судебное следствия, как забывал обвинитель свою обязанность «не представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого, и не преувеличивая значения имевшихся в деле доказательств и улик или важности рассматриваемого преступления», что определено предписывается Судебными уставами, и как он возбуждал племенные страсти, начав свою речь с указания на «общеизвестность» извлечения еврейми необходимой для ритуала крови убиваемых христианских младенцев и кончив напоминанием присяжным, что оправдательным приговором они укажут тысячам вотяков на возможность продолжать и впредь свои человеческие жертвоприношения. Все сообщенные мне Короленкой данные должны были войти в подробный отчет, в составлении которого он принимал живейшее участие и который появился в печати в Москве в 1896 году. В нашей беседе он сообщил мне, что хочет принять на себя участие в защите подсудимых при разбирательстве дела в Казани, что им и было осуществлено, по современным отзывам, с большим знанием дела и свойственной ему теплотою и силой слова. Подсудимые были оправданы, но поднятая против вотяков травля прекратилась не тотчас, о чем свидетельствует следующее письмо Короленки ко мне:

«Многоуважаемый Анатолий Федорович.

Вы принимали такое выдающееся участие в юридической стороне известного Мултанского дела, что, вероятно, Вас не может не интересовать и другая его сторона, ставшая в последнее время вновь предметом обсуждения общей прессы. На X съезде естествоиспытателей и врачей, а затем в отдельном издании вятский священник Н. Н. Блинов выступил с новыми якобы доказательствами существования человеческих жертвоприношений в вотской среде. «Московские ведомости», «Новое время» и другие издания, занимающиеся травлей инородцев вообще, — тотчас же, конечно, примкнули к взглядам, высказанным Н. Н. Блиновым. Прилагаемые при этом две статьи, кажется, достаточно раскрывают характер этой «ученой работы». Глубочайшее невежество, грубые искажения печатных текстов и крайнее, почти ребяческое, легковерие к тем самым «толкам и слухам», которые так трудно было разоблачать во время процесса и которые, однако, были в конце концов разоблачены, — таковы черты этой работы, прекрасно дополняющей инквизиционную картину. Это — теория той практики, кото-

рой держалась полиция и, к сожалению, также судебные власти в этом деле.

Но здесь есть одна сторона, которая особенно интересна и которую я старался по мере сил (и цензурной терпимости) подчеркнуть в обеих статьях (так как не имею оснований скрывать от Вас, что и вторая статья, подписанная «П. Зырянов», — тоже написана мною). А именно: во время Мултанского дела обвинитель Раевский утверждал, что только благодаря взяточничеству прежних судов человеческие жертвоприношения оставались нераскрытыми. Н. Н. Блинов утверждает, что в начале Мултанского дела в том же уезде, стане и участке, значит, те же власти, покрыли опять заведомое убийство. Было ли это в начале дела или в конце его (как сначала предположил я) — безразлично. Факт все-таки остается: те же власти (в том числе и обвинитель Раевский?!) повинны в покрытии заведомого убийства, что, по словам докладчика, «обошлось не дешево» вотякам. И это напечатано в «Вятке», значит, процenzуровано администрацией, и самая книга продается в «Вятском статистическом губернском комитете», то есть опять-таки в учреждении официальном. Но ведь это значит, что в покрытии «жертвоприношения» или иного убийства повинна уже вся и высшая администрация, которая не может же не знать того, что так недавно совершилось в губернии (и теперь оглашается печатью), — и, однако, не возбуждает и теперь никакого дознания о виновных в убийстве и в сокрытии оно за взятку! По-моему, это самая изумительная черта этого дела.

Разумеется, будет не особенно трудно разоблачить сказки, вновь повторяемые Н. Н. Блиновым, но роль полиции и товарища прокурора Раевского в этих действительно темных делах, к сожалению, разоблачить гораздо труднее, хотя печать и пыталась сделать что могла. Но, конечно, она не могла почти ничего.

Впрочем, простите это излишнее многоглаголанье и примите уверение в искреннем моем уважении.

1898, 6/XI

Спб., Пески, 5-я ул., д. 4.

Вл. Короленко».

Вторичная отмена обвинительного приговора по делу вотяков возбудила в петербургских официальных сферах значительное неудовольствие. При первом служебном свидании со мною министр юстиции Муравьев выразил мне свое недоумение по поводу слишком строгого отношения

сената к допущенным судом нарушениям и сказал о том затруднительном положении, в которое он будет поставлен, если государь обратит внимание на то, что один и тот же суд по одному и тому же делу два раза поставил приговор, подлежащий отмене. А что такой вопрос может быть ему предложен, Муравьев заключил из того, что Победоносцев, далеко не утративший тогда своего влияния, никак не может примириться ни с решением сената вообще, ни в особенности с тем местом моего заключения, где я говорил, что признание подсудимых виновными в человеческом жертвоприношении языческим богам должно быть совершено с соблюдением в полной точности всех форм и обрядов судопроизводства, так как таким решением утверждается авторитетным словом суда не только существование ужасного и кровавого обычая, но и неизбежно выдвигается вопрос, были ли приняты достаточные и целесообразные меры для выполнения Россией, в течение нескольких столетий владеющей Вотским краем, своей христиански-культурной просветительной миссии. «Я думаю, — сказал я ему, — что в этом случае ваш ответ может состоять в простом указании на то, что кассационный суд установлен именно для того, чтобы отменять приговоры, постановленные с нарушением коренных условий правосудия, сколько бы раз эти нарушения ни повторялись, примером чему служит известное дело Гартвиг по обвинению в поджоге, кассированное три раза подряд». В этом же смысле высказывался при встрече со мною Плеве.

На месте вторичная отмена приговора, и в особенности мотивы сенатского решения, произвела, как видно из письма Короленки, большое впечатление. Председатель суда выехал в Петербург для каких-то оправданий перед министром юстиции, был, по словам Муравьева, очень расстроен и хотел быть у меня, чтобы «разъяснить мне всю правильность действий суда по этому делу», но, к моему удовольствию, не привел свое намерение в исполнение, избавив меня от необходимости в частной беседе высказать ему мое мнение вне официальной сдержанности и условности.

С сочувствием и с глубоким уважением к памяти покойного Владимира Галактионовича вспоминаю я его живое и проникнутое предвидением участие в Мултанском деле, заставлявшее его справедливо тревожиться за пагубный прием разрешения бытовых и племенных вопросов путем судебных приговоров и за обращение суда в орудие для достижения чуждых правосудию целей, поэтому я испытал особое удовольствие, получив от него вскоре после испол-

нившегося пятидесятилетия моей общественно-служебной деятельности нижеследующее письмо:

«Полтава. 8 октября 1915 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Федорович.

Позвольте мне, отсталому провинциалу, присоединить к многочисленным голосам, приветствовавшим Вас в Вашу годовщину, и мой несколько запоздалый голос. Есть много сторон Вашей работы на почве русского правосудия, вызывающих уважение и благодарность. Мне лично по разным причинам пришлось особенно сильно почувствовать в Вас защитника вероисповедной свободы. В истории русского суда до высшей его ступени — сената Вы твердо заняли определенное место и устояли на нем до конца. Когда сумерки нашей печальной современности все гуще заволакивали поверхность судебной России, — последние лучи великой реформы еще горели на вершинах, где стояла группа ее первых прозелитов и последних защитников. Вы были одним из ее виднейших представителей; теперь, в дни ритуальных процессов и темных искажений начал правосудия, трудно разглядеть эти проблески. Хочется думать, однако, что закат ненадолго расстался с рассветом. Желаю Вам увидеть новое возрождение русского права, в котором Россия нуждается более, чем когда бы то ни было.

Искренне Вас уважающий *Вл. Короленко*».

ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕХОВЕ

В минувшем году исполнилось двадцать лет с тех пор, как мы лишились Антона Павловича Чехова, в самый разгар злополучной японской войны, которая так тревожила его на закате дней. С тех пор грозные испытания постигли нашу родину, заслонив и затуманив собою многое из прошлого. Но память о Чехове пережила это. Его вдумчивое, глубокое по содержанию и сильное по форме творчество в своем былом проявлении переживает многое, что появилось с тех пор с горделивой претензией на художественность, в сущности сводящуюся к беззастенчивому натурализму. И в моем воспоминании образ его стоит как живой — с грустным, задумчивым, точно устремленным внутрь себя взглядом, с внимательным и мягким отношением к собеседнику и с внешне спокойным словом, за которым чувствуется биение горячего и отзывчивого на людские скорби сердца. Чувство благодарности за большое духовное наслаждение,

доставленное мне его произведениями, сливается у меня с мыслью о той не только художественной, но и общественной его заслуге, которая связана с его книгой о Сахалине.

Долгое время недра Сибири, принимавшие в себя ежегодно тысячи осужденных, которых народ сердобольно называл «несчастливыми», были для русского общества и в значительной мере даже для правящих кругов чем-то малоизвестным, неинтересным или загадочным по своей отдаленности. Представление о Сибири, как месте ссылки и принудительных работ «в мрачных пропастях земли», слагалось у большинства зачастую так же смутно и тревожно, как и народное представление о «погибелном Кавказе». Губернские тюремные комитеты, учрежденные в 1829 году, ведали — и притом в очень ограниченных размерах — лишь местное тюремное дело и вовсе не влияли ни на положение ссылных во время бесконечно длинного и тяжкого пути «по Владимирке», ни на условия их содержания в отдаленных острогах Сибири. Чтобы оживить их деятельность и придать ей заботливый, а не чисто формальный характер, нужны были человеколюбивые бойцы и труженики, вроде «утрированного филантропа» доктора Гааза, посвятившего свою жизнь попечению о ссылных. Жизнь его представляет поучительный пример того, сколько упорства, трогательного самозабвения, душевной теплоты и неустанной энергии требовалось, чтобы часто не опустить рук в сознании своего бессилия перед официальным «тупосердием» и бездушными утверждениями, что все обстоит благополучно. Но такие, как Гааз, были наперечет! Только в начале шестидесятих годов Достоевский своими «Записками из Мертвого дома» привлек внимание к положению каторжников и в ярких, незабываемых образах ознакомил с отдаленным сибирским острогом и его населением. Затем, в 1891 году, появилась за границей книга Кеннана с описанием сибирских тюрем и господствовавших там порядков, верная в подробностях, но ошибочно приписывавшая многие безобразные явления обдуманной системе, тогда как они были самостоятельными проявлениями личного произвола и насилия. Особенное внимание, возбужденное этой книгой за границей, и вызванные ею негодующие отзывы о русских порядках недостаточно отразились в нашем общественном мнении, так как ни книга, ни ее автор не были допущены в Россию, а перевод ее появился лишь через шестнадцать лет. Значительно сильнее подействовали вести о самоубийстве сосланной в каторгу по политическому процессу Сигиды, подвергшейся, за нарушение тюремной дисциплины, по распоряжению властей,

телесному наказанию, причем примеру ее последовало несколько человек из единомышленных с нею товарищей по заточению. Затем, в 1896 году, вышли полные «трезвой правды» очерки Мельшина (Якубовича) «Мир отверженных», рисующие тяжкие картины Карийской и Акатуевской каторги. Таким образом, выяснилась постепенно картина Сибири как места наказания, и явились твердые, почерпнутые не из буквы закона, а из самой жизни данные, дающие полную возможность судить, как осуществляется на месте это наказание.

Иначе обстояло дело с каторгой, учрежденной в 1875 году на присоединенном к России, в обмен на Курильские острова, Сахалине. О том, что и как там делалось, получало сведения только тюремное ведомство, да и то, конечно, в канцелярской, бесцветной обработке.

Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль узнать и поведать о том, что происходит не на сказочном «море-окияне, на острове Буяне», а в далекой и отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств. Эту задачу взял на себя А. П. Чехов. Его живому характеру и пытливому уму была свойственна некоторая непоседливость на месте, то свойство, которое прекрасно изобразил граф Голенищев-Кутузов в своем романе «Даль зовет». Он ясно сознавал практическую непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы и наших сибирских острогов, для которых, по его словам, «прославленные шестидесятые годы» ничего не сделали и где мы с нашими пересыльными тюремными порядками «сгноили... миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; гоняли людей по холоду, в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных смотрителей». Ему казалось, что Сахалин, как поле для целесообразной и благотворной колонизации, может представить могучее средство против большинства из этих зол. Он предпринял, с целью изучения этой колонизации на месте, тяжелое путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся губительно на его здоровье. Результат этого путешествия — его книга о Сахалине — носит на себе печать чрезвычайной подготовки и беспощадной траты автором времени и сил. В ней, за строгой формой и деловитостью

тона, за множеством фактических и цифровых данных, чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя. Эта печаль слышится в разочаровании главной целью путешествия — изучения колонизации, ибо на Сахалине никакой колонизации не оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми ее характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, не приспособленном ни в географическом, ни в климатическом отношении к земледелию. На нем не оказалось, по выражению Чехова, «никакого климата», а лишь «вечная дурная погода», связанная с постоянно надвигающимися с моря сплошною стеною туманами. Недаром поселенцы говорили про Сахалин: «Кругом море, а в середине горе». Это горе, изображенное Чеховым в ряде ярких картин, стало другою причиной печали Чехова, присоединив к его разбитым надеждам ужасы очевидной и осязательной действительности.

Вот Сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми, — с разбитыми стеклами в окнах, невыносимую вонюю в камерах и традиционной «парашей» — и с надзирательской комнатой, где непривычному посетителю ночевать совершенно невозможно: стены и потолок ее покрыты «каким-то траурным крепом, который движется как бы от ветра, и в этой кишащей и переливающейся массе слышится шуршание и громкий шепот, как будто тараканы и клопы спешат куда-то и совещаются...»

Вот камеры для семейных, т. е. каторжных и ссыльных, за которыми, составляя сорок один процент всех женщин острова, пришли, влекомые состраданием и обманутые надеждами, жены и привели с собой детей. Они, по выражению многих из них, мечтали «жизнь мужей поправить, но вместо того и свою потеряли». В этой камере нет возможности уединиться, ибо кругом идет свирепая картежная игра, раздается невообразимая и омерзительная в своей изобретательности ругань, постоянно слышатся наглый смех, хлопанье дверьми, звон оков. В одной из таких, малых по размерам, камер сидят вместе и спят на одних сплошных нарах пять каторжных: два поселенца, три свободные, т. е. пришедшие за мужьями, женщины и две дочери их — пятнадцати и шестнадцати лет; в другой такой же камере содержатся десять каторжных, два поселенца, четыре свободные женщины и девять детей, из которых пять девочек...

Вот «больничные околотки», где среди самых первобыт-

ных условий содержатся сумасшедшие и одержимые опасными заразными болезнями, причем последним поручено щипать корпию для необходимых хирургических операций,— и лазареты, где оказывают помощь фельдшера, выдающие для внесения в церковные книги такого рода сведения об умерших: «умер от неразвитости к жизни», или «от неумеренного питья», или «от душевной болезни сердца», или «от телесного воспаления» и т. п.

Вот поразительные картины торговли своим телом, производимые поселенками и свободными женщинами от юного до самого преклонного возраста (шестидесяти лет), и вот девочки, продаваемые родителями «с уступочкой», едва они достигают четырнадцати — пятнадцати лет, причем попадают и девяти-, и десятилетние. Вот быстро сгорающие уроженцы юга, Кавказа и Туркестана, для которых сахалинское «отсутствие климата» заведомо губительно. Вот два палача из ссыльных, исхудалые, с гноящимся телом, вследствие того, что, будучи конкурентами и ненавистью поэтому друг друга, «постарались друг на друге» при наказании плетью. Вот насаждение крестьянских хозяйств посредством раздачи прибывших ссыльных женщин для «домообзаведения» в сожительство отбывшим каторгу поселенцам, обязанным за это построить себе домик или покрыть уже существующий тесом; вот сарай, куда сгоняются эти белые рабыни на осмотр и выбор, причем чиновники берут себе «девочек», а оставшиеся затем рассылаются по дальним участкам вследствие просьб «отпустить рогатого скота для млекопитания и женского пола для устройства внутреннего хозяйства».

Вот, наконец, ссылка в отдаленные поселки, куда нет обыкновенно ни прохода, ни проезда, провинившейся каторжанки или поселенки — одной на тридцать человек холостых и одиноких мужчин. Рядом с этим, как редкие светлые блики на темном и мрачном фоне, описывает Чехов случаи обнаруженного им примирительного света в загрубелых сердцах с их жаждой справедливости и ожесточенным пессимизмом при ее отсутствии, — с трогательным уходом за сумасшедшими или парализованными сожительницами «по человечности», с их тоскою по материке и по родной земле. Он дает яркую картину «свадьбы», заставляющей участников и гостей на краткий срок забыть свою тяжелую долю, и рядом изображает местного мирового судью, ощущающего радостное и своеобразное удивление, когда среди переполняющих сахалинскую жизнь побегов, разбоев и убийств ему приходится встретиться, как с редким оази-

сом в пустыне, с делом о простой, «совершенно простой краже»!

Книга о Сахалине еще не была издана, когда, в декабре 1893 года, меня посетил Чехов, с которым я при этом впервые лично познакомился. Он произвел на меня всей своей повадкой самое симпатичное впечатление, и мы провели целый вечер в задушевной беседе, причем он объяснил свой приход полученным им советом поговорить со мной о Сахалине: вынесенными оттуда впечатлениями он был полон. Картины, о которых мною упомянуто выше, разворачивались в его рассказе одна за другою, представляя как бы мозаику одного цельного и поистине ужасающего изображения.

Я был в 1891 году членом Общества попечения о семьях ссыльно-каторжных, во главе которого стояла его учредительница Е. А. Нарышкина, вносящая в осуществление целей Общества сердечное их понимание и большую энергию. Благодаря последней Общество получило, путем призыва к пожертвованиям, довольно значительные средства и могло открыть в Горном Зерентуе Забайкальской области приют на 150 детей, попавших в обстановку Нерчинской каторги, — и затем устроить его филиальные отделения еще в двух поселениях. Она же под влиянием вестей о расправе с несчастной Сигидой предприняла весьма решительные и настойчивые шаги, чтобы возбудить во властных сферах сознание необходимости отменить телесное наказание для сосланных в Сибирь женщин, и своим влиянием, просьбами и убеждениями дала несомненный толчок к последовавшему в 1893 году решению Государственного совета о такой отмене. Я предложил Чехову познакомить его с Нарышкиной в уверенности, что она примет горячо к сердцу сообщаемые им факты и возбудит вопрос о расширении на Сахалине деятельности Общества попечения и о предоставлении ему для этого необходимых средств. Несмотря на полное согласие на это Чехова, свидание не состоялось, так как он должен был уехать в Москву, написав мне следующее письмо: «Я жалею, что не побывал у г-жи Нарышкиной, но мне кажется, лучше отложить визит к ней до выхода в свет моей книжки, когда я свободнее буду обращаться среди материала, который имею. Мое короткое сахалинское прошлое представляется мне таким громадным, что когда я хочу говорить о нем, то не знаю, с чего начать, и мне всякий раз кажется, что я говорю не то, что нужно. Положение сахалинских детей и подростков я постараюсь описать подробно. Оно необычайно. Я видел голодных детей, видел тринадцатилетних содержанок, пятнадцатилетних бе-

ременных. Проституцией начинают заниматься девочки с 12 лет, иногда до наступления менструаций. Церковь и школа существуют только на бумаге, воспитывают же детей среда и каторжная обстановка. Между прочим, у меня записан разговор с одним десятилетним мальчиком. Я делал перепись в селении Верхнем Армудане; поселенцы все поголовно нищие и слывут за отчаянных игроков в штосс. Вхожу в одну избу: хозяев нет дома; на скамье сидит мальчик, беловолосый, сутулый, босой; о чем-то задумался. Начинаем разговор.

Я: «Как по отчеству величают твоего отца?» — Он: «Не знаю». — Я: «Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно». — Он: «Он у меня не настоящий отец». — Я: «Как так — не настоящий?» — Он: «Он у мамки сожитель». — Я: «Твоя мать замужняя или вдова?» — Он: «Вдова. Она за мужа пришла». — Я: «Ты своего отца помнишь?» — Он: «Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила».

Со мной на амурском пароходе ехал на Сахалин арестант в ножных кандалах, убивший свою жену. При нем находилась дочь, девочка лет шести, сиротка. Я замечал, когда отец с верхней палубы спускался вниз, где был ватер-клозет, за ним шли конвойные и дочь; пока тот сидел в ватер-клозете, солдат с ружьем и девочка стояли у двери. Когда арестант, возвращаясь назад, взбирался вверх по лестнице, за ним карабкалась девочка и держалась за его кандалы. Ночью девочка спала в одной куче с арестантами и солдатами. Помнится, был я на Сахалине на похоронах. Хоронили жену поселенца, уехавшего в Николаевск. Около вырытой могилы стояли четыре каторжных носильщика — *ex officio*¹, я и казначей в качестве Гамлета и Горацио, бродивших по кладбищу от нечего делать, черкес — жилец покойницы — и баба каторжная; эта была тут из жалости: привела двух детей покойницы — одного грудного и другого — Алешку, мальчика лет четырех, в бабьей кофте и в синих штанах с яркими латками на коленях. Холодно, сыро, в могиле вода, каторжные смеются. Видно море. Алешка с любопытством смотрит в могилу; хочет вытереть озябший нос, но мешают длинные рукава кофты. Когда закапывают могилу, я его спрашиваю: «Алешка, где мать?» Он машет рукой, как проигравшийся помещик, смеется и говорит: «Закопали!» Каторжные смеются, черкес обращается к нам и спрашивает, куда ему девать детей, он не обязан их кормить.

¹ по долгу службы (*лат.*).

Инфекционных болезней я не встречал на Сахалине, врожденного сифилиса очень мало, но видел я слепых детей, грязных, покрытых сыпями, — все такие болезни, которые свидетельствуют о забросе. Решать детского вопроса, конечно, я не буду. Я не знаю, что нужно делать. Но мне кажется, что благотворительностью и остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не поделаешь; по-моему, ставить вопрос в зависимость от благотворительности, которая в России носит случайный характер, и от остатков, которых не бывает, — вредно. Я предпочел бы государственное казначейство... Позвольте мне поблагодарить Вас за радушие и за обещание побывать у меня».

Я дал Нарышкиной прочесть это письмо и рассказал ей все то, что слышал от Чехова. Вскоре и подросла книга о Сахалине. Результатом всего этого было распространение деятельности Общества на Сахалин, где им было открыто отделение Общества, начавшее заведовать призреием детей в трех приютах, рассчитанных на 120 душ. В 1903 году были выстроены новые приют и ясли на восемьдесят человек. Еще ранее на средства Общества был открыт на Сахалине Дом трудолюбия, при деятельном и самоотверженном участии сестры милосердия Мейер. В Доме работали от 50 до 150 человек, и при нем была учреждена вечерняя школа грамотности. Обществом попечения был задуман ряд коренных реформ положения семейств ссыльных на острове, составлены по этому поводу обстоятельные записки, и Нарышкиной было обещано внимательное и сочувственное отношение к намеченным в записке мерам при обсуждении последней в предположенном особом совещании министров... Но грянувшая война обратила все задуманное в этом отношении в ничто. Занятие Сахалина победоносными японцами и дальнейшая его уступка по Портсмутскому договору прекратили работу всех этих учреждений на острове, и дети были выселены японцами в Шанхай, а оттуда перевезены в Москву.

Книга Чехова не могла не обратить на себя внимания министерства юстиции и главного тюремного управления, нашедших, наконец, нужным через своих представителей ознакомиться с положением дел на месте. Отсюда — поездки на Сахалин в 1896 году ученого-криминалиста Д. А. Дриля и в 1898 году тюрьмоведа А. П. Саломона. Их отчеты, к сожалению не сделавшиеся достоянием печати, вполне подтвердили сведения, сообщенные русскому обществу Чеховым, присоединив к ним несколько характерных особенностей.

Прошло три года со времени моего свидания и беседы с Чеховым. На «базаре» в городской думе в пользу высших женских курсов я встретил В. Ф. Комиссаржевскую, которую, будучи знаком с ее отцом, я знал, когда она была еще ребенком. Мы разговорились о драматической сцене, уровень и содержание которой не удовлетворяли замечательную артистку, и она советовала мне прийти на первое представление новой пьесы Чехова «Чайка», намечающей иные пути для драмы. Я последовал ее совету и видел это тонкое произведение, рисующее новые творческие задачи для «комнаты о трех стенах», как называет в нем одно из действующих лиц театр. Чувствовалось в нем осуществление мысли автора о том, что художественные произведения должны отзываться на какую-нибудь большую мысль, так как лишь то прекрасно, что серьезно. Столкновение двух мечтателей — Треплева, который находит, что надо изображать на сцене жизнь не в обыденных чертах, а такую, какую она должна быть — предметом мечты, — и Нины, отдающей всю душу созданному ею образу выдающегося человека, — с тем, что автор называет «пескарною жизнью», оставляло глубокое и трогательное впечатление. Драма таится в том, что, с одной стороны, публика, на которую хочет воздействовать своими мыслями и идеалами Треплев, его не понимает и готова смеяться, а с другой — богато одаренный писатель, весь отдавшийся «злобе дня», рискует оказаться ремесленником, едва поспевающим исполнять не без отвращения заказы на якобы художественные произведения, а также безвольным человеком, приносящим горячее сердце уверовавшей в него девушки в жертву своему самолюбию. Сверх всякого ожидания, на первом представлении образ подстреленной «Чайки» прошел мимо зрителей, оставив их равнодушными, и публика с первого же действия стала смотреть на сцену с тупым недоумением и скукой. Это продолжалось в течение всего представления, выражаясь в коридорах и фойе пожатием плеч, громкими возгласами о нелепости пьесы, о внезапно обнаружившейся бездарности автора и сожалениями о потерянном времени и обманутом ожидании. Такое отношение публики, по-видимому, отражалось и на артистах. Тот подъем, с которым прошли на сцене два первых действия, видимо, ослабел, и «Чайка» была доиграна без всякого увлечения, среди поднявшегося шиканья, совершенно загнувшего немногие знаки сочувствия и одобрения.

Я вернулся домой в негодовании на публику за ее непонимание прекрасного произведения и в грустном раздумье о

том, как это отразится на авторе. Мне ясно представлялось, какие ощущения он должен был пережить, если бы был в театре, или, если отсутствовал, что перечувствовать, когда «друзья» (как известно, это одна из их специальных обязанностей, исполняемая с особой готовностью) донесут ему о давно неслыханном провале его пьесы. Мне хотелось сказать ему несколько одобрительных слов и показать тем, что не вся публика грубо и непродуманно ополчилась на его творение и что в ней, вероятно, есть немало людей, оценивших его талант и в «Чайке». Мне вспомнился при этом Глинка, которого восторженно приветствовали после первого представления «Жизни за царя» и в театре, и в печати, и в тот же вечер на квартире у князя Одоевского, где даже была спета кантата, написанная в честь его Пушкиным и начинавшаяся словами: «Вышла новая новинка, — веселится русский хор, — этот Глинка, этот Глинка — уж не глинка, а фарфор». А на первом представлении «Руслана и Людмилы» не только публика демонстративно зевала, шикала, но даже музыканты, исполнявшие эту дивную музыку, шикали из оркестра ее автору, и когда он, смущенный всем этим и не зная, выходить ли на сцену на требование небольшой группы зрителей, обратился к находившемуся вместе с ним в директорской ложе начальнику Третьего отделения, генералу Дубельту, то последний внушительно сказал ему: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше твоего страдал». Вспомнился мне и рассказ о свистках и ропоте публики, которыми сопровождалось первое представление оперы Бизе «Кармен», что тяжело отразилось на сердечной болезни талантливого композитора и свело его через три месяца в могилу. А каким успехом пользовались потом обе эти оперы! Ночью я написал письмо Чехову, в котором, если не ошибаюсь, говорил об этих двух фактах, а когда утром прочел в нескольких газетах рецензию на «Чайку» с прямым злоречием, умышленным непониманием или лукавым сожалением о том, что талант автора явно потухает, я поспешил отправить мое письмо. Через несколько дней я получил следующий ответ: «Вы не можете себе представить, как обрадовало меня Ваше письмо. Я видел из зрительной залы только два первых акта своей пьесы, потом сидел за кулисами и все время чувствовал, что «Чайка» проваливается. После спектакля, ночью и на другой день, меня уверяли, что я вывел одних идиотов, что пьеса моя в сценическом отношении неуклюжа, что она неумна, непонятна, даже бессмысленна и проч. и проч. Можете вообразить мое положение — это был провал, какой мне даже и не

снился! Мне было совестно, досадно, и я уехал из Петербурга полный всякий сомнений. Я думал, что если я написал и поставил пьесу, избылиющую, очевидно, чудовищными недостатками, то я потерял всякую чуткость и что, значит, моя машинка испортилась вконец. Когда я был уже дома, мне писали из Петербурга, что 2-е и 3-е представление имели успех; пришло несколько писем, с подписями и анонимных, в которых хвалили пьесу и бранили рецензентов; я читал с удовольствием, но все же мне было совестно и досадно, и сама собою лезла в голову мысль, что если добрые люди находят нужным утешать меня, то, значит, дела мои плохи. Но Ваше письмо подействовало на меня самым решительным образом. Я Вас знаю уже давно, глабоко уважаю Вас и верю Вам больше, чем всем критикам, взятым вместе,— Вы это чувствовали, когда писали Ваше письмо, и оттого оно так прекрасно и убедительно. Я теперь покоен и вспоминаю о пьесе и спектакле уже без отвращения. Комиссаржевская чудесная актриса. На одной из репетиций многие, глядя на нее, плакали и говорили, что в настоящее время в России это лучшая актриса. На спектакле же и она поддалась общему настроению, «враждебному» моей «Чайке», и как будто оробела, спала с голоса. Наша пресса относится к ней холодно, не по заслугам, и мне ее жаль. Позвольте поблагодарить Вас за письмо от всей души. Верьте, что чувства, побуждавшие Вас написать мне его, я ценю дороже, чем могу выразить это на словах, а участие, которое Вы в конце Вашего письма называете «ненужным», я никогда, никогда не забуду, что бы ни произошло. Искренно Вас уважающий и преданный А. Чехов».

С того времени мы изредка писали друг другу. Он, между прочим, просил меня выслать в таганрогскую городскую библиотеку, которой он состоял попечителем, мою фотографическую карточку с автографом, ссылаясь на то, что в библиотеке имеются мои сочинения, и прибавляя, конечно, из любезности: «Вас очень любят в родном моем городе и уважают уже давно». Мы снова свиделись в апреле 1901 года в Ялте, которую он, в сущности, не любил за ее, как он писал, «коробкообразные гостиницы с чахоточными», за «наглые хари татарских проводников» и за нестерпимый «парфюмерный запах», распространяемый приезжими гуляющими дамами. Принадлежавший ему дом, выстроенный на одной из окраин, имел какой-то неприятный вид, а записки на стенах передней и кабинета с просьбой «не курить» указывали, что с хозяином что-то не ладно. И действительно, застегнутое на все пуговицы пальто Антона

Павловича, его задумчивый по временам вид и выразительное молчание или встречный вопрос из другой области в ответ на желание узнать о его здоровье показывали, что он чувствует, как жизненные силы постепенно покидают его. Это сказывалось особенно в его взгляде, тревожно-вопросительном при встрече с новым лицом, хотя он держал себя бодро и отзывчиво по отношению ко всему окружающему. Но безнадежность, часто сквозившая в его умных глазах, и неожиданные задумчивые паузы в разговоре давали понять, что он предчувствует свой неотразимо близкий конец, как врач, и, быть может, оставаясь сам с собою, слушает звучащую в душе одну из мрачных раскольничьих песен: «Смерть, а смерть, это ты?» — «Это я, это я!» — «А откуда ты пришла?» — «Где была, где была!» — «А пришла ты не за мной?» — «За тобой, за тобой!» — «А уйдем мы далеко?» — «Далеко, далеко!» Часто на морской набережной или на террасе дома Прохаски, куда он не раз заходил ко мне и где мы сживали, он — греясь на солнце, а я поджариваясь, — я, смотря на него, невольно вспоминал слова Некрасова: «Завтра встану и выбегу жадно — встречу первому солнца лучу, — снова все улыбнется отрадно и мучительно жить захочу, — а недуг, подрывающий силы, будет так же и завтра томить и о близости темной могилы так же внятно душе говорить». Иногда к нам присоединялся Миролюбов, и в беседе время летело незаметно. Чехова очень интересовали мои личные воспоминания и психологические наблюдения из области свидетельских показаний. Однажды, по поводу лжи в их показаниях, я привел несколько интересных житейских примеров «мечтательной лжи», в которой человек постепенно переходит от мысли о том, что могло бы быть, к убеждению, что оно должно было быть, а от этого к уверенности, что оно было, — причем на мое замечание, что я подмечал этот психологический процесс в детях, он сказал, что то же бывает с некоторыми очень впечатлительными женщинами. С большим вниманием слушал он также рассказы о виденных мною житейских драмах и иронии судьбы, которая в них часто проявлялась.

Вскоре после моего отъезда из Ялты, с подаренным мне прекрасным его портретом, где он одет в обычное теплое пальто, несмотря на надпись: «7-го мая, в ясный теплый день в Ялте», я получил от него письмо, в котором он говорил: «Сегодня я получил от поэта И. А. Бунина книгу стихов с просьбой послать ее на Пушкинскую премию. Будьте добры, научите меня, как это сделать, по какому адресу послать. Сам я когда-то получил премию, но книжек своих не

посылал. Простите, пожалуйста, что беспокою Вас такими пустяками. Я нездоров и решил, что выздоровею не скоро». Следующее письмо я получил уже от 12 июня из Аксенова, Уфимской губернии. В нем он писал: «В самом деле, многуважаемый Анатолий Федорович, Ваша фотография, которую я только что получил, очень похожа, это одна из удачнейших. Сердечное Вам спасибо и за фотографию, и за поздравление с женитьбой, и вообще за то, что вспомнили и прислали мне письмо. Здесь, на кумысе, скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, публика неинтересная, кругом башкиры, и если бы не природа, не рыбная ловля и не письма, то я, вероятно, бежал бы отсюда. В последнее время в Ялте я сильно покашливал и, вероятно, лихорадил. В Москве доктор Щуровский — очень хороший врач — нашел у меня значительное ухудшение; прежде у меня было притупление только в верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину лопатки. Это немножко смутило меня, я поскорее женился и поехал на кумыс. Теперь мне хорошо, прибавился на 8 фунтов, только не знаю от чего, от кумыса или от женитьбы. Кашель почти прекратился. Ольга шлет Вам привет и сердечно благодарит. В будущем году, пожалуйста, посмотрите ее в «Чайке» (которая пойдет в Петербурге), там она очень хороша, как мне кажется».

Улучшение здоровья Антона Павловича было, однако, непродолжительным, и по мере роста его славы, как выдающегося и любимого писателя, уменьшались его силы и подступала смерть. Она пришла к нему в далеком Баденвейлере, во время страстных порывов вернуться в Россию, куда его постоянно тянуло. Судьба с обычной жестокостью относительно выдающихся русских людей не дала ему увидеть родину, за которую и с которой он столько болел душой, и равнодушно приютила в недрах чужой земли его горячее русское сердце.

Вспоминая характерные свойства личности Чехова и впечатления от большинства его произведений, я нахожу, что он был во многом сходен с покойным Эртелем, столь поучительным и своеобразным в своих письмах и столь несправедливо у нас забытым. В обширной переписке Чехова, в личных о нем воспоминаниях сказывается его духовная самостоятельность. Уже смолоду в нем чувствуется сознание своего человеческого достоинства, не склонного рабствовать перед чужим умственным авторитетом или унижаться, с боязливymi оговорками и оглядками по сторонам, перед авторитетом материальной силы. Он следовал

завету Пушкина «идти дорогою свободной, куда влечет свободный ум». Еще юношей семнадцати лет он писал своему брату: «Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед богом, пожалуй, пред умом, красотой, природой, но не перед людьми». И всю жизнь он был поклонником духовной свободы, свободы, как он говорил Плещееву, от давления ходячих идей, навязанных лозунгов, суждений по шаблону, одним словом, от того, что столь ошибочно называется общественным мнением, которое редко бывает проявлением общественной совести, но зачастую является выражением общественной страсти, слепой в увлечении и жестокой при разочаровании. Недаром для него Канитолыйский холм и Гарпейская скала находятся в очень близком друг от друга расстоянии. Он знал, какую цену имеют иногда громко провозглашаемые принципы, вовсе не применяемые на практике, и по горькому опыту говорил: «Фарисейство и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках, я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи». Поэтому он сознавался, что относится с отвращением к «умственным эпидемиям». Тщательно охраняя свою душевную свободу от «всепокоряющего» чувства любви, он пессимистически начертал в своей записной книжке: «Любовь. Это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, — или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь». Не сквозит в его произведениях и страха смерти, чем он существенно отличается от Тургенева, в целом ряде произведений которого звучит ужас перед неотвратимостью и жестокостью смерти, и от Л. Н. Толстого, постоянное возвращение которого к мысли о смерти и к заботе о том, что будет после нее, указывает на обширное место, занимаемое мыслью о ней в его душе. И тургеневское и толстовское отношение к смерти имело бы, конечно, не менее оснований гнездиться в душе Чехова: во всю вторую половину своей недолгой жизни он — неизлечимо больной — был приговорен к смерти и знал об этом, как врач, лишь стараясь утешать близких и друзей, скрывая от них возможность скорого исполнения этого приговора. В нем не было угрюмой отчужденности от людей или сосредоточения внимания исключительно на себе — напротив, он, как видно из его писем, отзывчиво и чутко относился к людям, хотя и не пускал к себе в душу безразлично всякого мимо идущего. Не раз проявляя искреннюю деятельную доброту, он сердечно заботился о помощи разным несчастливцам, голодающим, чахоточным — со-

действовал учреждениям, которые работали в их пользу, и помогал отдельным лицам, попавшим в Ялту по болезни и впадшим в нужду, и делал все это так, что «левая рука не ведала, что совершала правая».

Стоит затем припомнить его отношение к детям, полное нежного чувства, глубокой мысли и заботливости о смягчении суровых впечатлений жизни, не ускользающих от внимания детей и оставляющих в их душе неизгладимые рубцы. Характерно и не раз встречающееся у него, очевидно вынесенное из житейской вдумчивости, отношение к «жертвам общественного темперамента», чуждое слащавой чувствительности, но проникнутое глубоким состраданием, при котором банальное удивление: «Как могут они (женщины)?!» — замолкает перед гневным удивлением: «Как могут они (мужчины)?!»

И к природе он умел относиться с тонким пониманием ее красоты и примиряющего значения. Достаточно указать на описание растительности и в особенности цветов на Сахалине и на многие места в его сочинениях, которые можно назвать «очными ставками с природой».

К творчеству Чехова вполне применимы образные слова о том, что жизнь сеет семена, а творчество, при посредстве воображения, выращивает плод. В литературе встречаются нередко две противоположности: почти фотографические, взятые с живых определенных лиц образы вплетаются в совершенно неправдоподобное, вымученное и нарочито сочиненное содержание, — или, наоборот, полное житейской правды содержание замыкает в себе совершенно отвлеченных, безжизненных и автоматически мертвых действующих лиц. У Чехова обилие сюжетов, почерпнутых из жизни в самых разнообразных ее проявлениях, как о том свидетельствует его записная книжка, соединялось с тонкой наблюдательностью, умеющей из подмеченных черт отдельных лиц создавать полные жизни целостные образы, причем глубокая вдумчивость и чувство меры идут у него рука об руку, не переходя, по выражению Л. Н. Толстого, «в пересоленную карикатуру на человеческую душу».

Наряду с его творчеством не меньшего внимания заслуживает его язык — ясный и простой, меткий и скупой там, где всякий излишек слов повредил бы силе впечатления и где необходима та «*élimination du superflu*»¹, которая так блестяще достигнута братьями Гонкур, Доде и Мопассаном. Если припомнить, до какой степени искажается в наше

¹ устранение излишеств (фр.).

время в разговорном и литературном отношении русский язык; как вторгаются в него, без всякой нужды, иностранные слова и обороты, в забвении его законов и источников, — как втискиваются в него сочиненные словечки, лишённые смысла и оскорбляющие ухо, как вообще на этот язык, который должен считаться народной святыней, смотрят многие, вопреки заветам Пушкина и Тургенева, как на нечто, с чем можно не церемониться, — то нельзя не признать большой заслуги Чехова в его внимательном и почтительном отношении к русскому языку. Его возмущали и столь часто встречаемая у нас небрежность переводов с чужих языков, самовольные прибавки к подлинному тексту там, где не хватает умения передать его в точности, и самодовольный покровительственный тон предисловий «от переводчика». В своей «Скучной истории» он зло, но справедливо указывает на недостаток большинства современных ему литературных произведений, в которых или все умно и благородно, но не талантливо, или талантливо и благородно, но не умно, или, наконец, умно и талантливо, но не благородно. Если прибавить к этому еще ряд произведений, которые изображают собою пересохший ручей мысли в пустыне вымученных слов, то нельзя не почувствовать, каким светом, ароматом и теплом веет от произведений Чехова. Его сравнивали нередко с Мопассаном, как по выбору сюжетов, так и по способу изложения, сразу захватывающего зрителя. В этом, конечно, много верного. Но преобладающая черта их творчества разная. У Мопассана господствующая нота — ирония над человеческой глупостью, жадностью и низменностью натуры. У Чехова — печаль по поводу этих и других отличительных свойств русского человека. Тургенев нарисовал «лишних» людей, ненужных для общества и несчастных в своем личном существовании; через несколько лет, когда начала заниматься заря общественной жизни, он же изобразил нам бесполезных людей, непригодных для опередившего их времени («догорай, бесполезная жизнь!» Лаврецкого). Чехов застал уже хмурых или, вернее, унылых и тусклых людей, современниками которых мы долгое время были, — способных многого желать, но не умеющих ничего хотеть, не имеющих «вчерашнего дня» и проводящих настоящий день в бесплодных жалобах и жадном ожидании завтрашнего дня без ясного представления о том, что же предпринять, чтобы он — этот желанный день — наступил, и что надо делать, когда он наступит. Он прозорливо сознавал, как тонок у нас слой истинно культурных людей, пролегающий между шумливыми кри-

тиками без всякой способности к созиданию и упорными «охранителями» без критического отношения к своим действиям и их неизбежным последствиям. Недаром он находил, что в нас «достаточно фосфору, но совсем нет железа» (как видел в этом врач!), что «нам необходим темперамент, а не кисляйство», и его возмущала «куцая, бескрылая жизнь общества, в представителях которого так много житейской беспомощности». И это были не теоретические положения, а практические выводы, приобретенные на тернистом житейском пути от веселого «Чехонте», которому приходилось по пяти раз стучаться в маленькие редакции за получением заработанных трехрублевков, до выдающегося глубокого «Чехова», которому на первых шагах, по нашему обычному недоброжелательству ко всякому таланту, никто не подвязывал творческих крыльев, пока он сам их не вырастил и не развернул во всю ширь...



VII МЕМОАРЫ



ПЕТЕРБУРГ. ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА

Не один Петербург настоящих дней — пустынный, безжизненный и «оброшенный», — но и тот огромный и густо населенный, роскошно обстроенный город, полный торгового и уличного движения, каким он был перед злополучной войной до 1915 года, во многом отличается от Петербурга с начала пятидесятых до половины шестидесятых годов, не только своим внешним видом, обычаями и условиями жизни, но даже и названием. Историческое имя, связанное с его основателем и заимствованное из Голландии, напоминающее «вечного работника на троне», заменено, под влиянием какого-то патристического каприза, ничего не говорящим названием Петрограда, общего с Елизаветградом, Павлоградом и другими подобными. Старый город Святого Петра иногда возникает в памяти старожила в своем прежнем оригинальном виде, и хочется, «перебирая четки воспоминаний», пройти по нему с посетителем и познакомить его с этими, отошедшими в область безвозвратного прошлого, воспоминаниями.

Перед нами Знаменская площадь и вокзал Петербургско-Московской железной дороги, за постепенной постройкой которого в конце сороковых годов с жадным вниманием и сочувствием следил Белинский, живший на берегу Лиговки близ Невского, в небольшом деревянном доме, выходявшем окнами на строящееся здание. Проведение нынешней Николаевской железной дороги в начале пятидесятых годов составляло событие государственной важности. Первоначально ее предполагалось вести через Новгород, но Николай I провел прямую линию между Петербургом и Москвой и приказал строить дорогу, руководствуясь ею, не стесняясь никакими препятствиями. Оставшийся в стороне от большо-

го движения Новгород захирел и стал, в сущности, лишь памятником старины в своих церквях, монастырях и урочищах, к которому недаром Добролюбов обратился со словами: «Все гласит в тебе о прошлом, вольной жизни край! — даже мост твой с надписаньем: «Строил Николай».

Быть может, на решение Николая I действовали и тяжелые воспоминания о Грузине (усадебя Аракчеева) и о бунте военных поселян. С открытием дороги, постройку которой охарактеризовал в своих скорбных стихах Некрасов, забыто и запустело старое шоссе между Петербургом и Москвой, по которому прежде было большое почтовое движение и на котором была станция, прославившаяся в нашем кулинарном деле пожарскими котлетами. Николаевская дорога была по времени сооружения второю в России. Первою построена Царскосельская железная дорога, как кажется, третья, по времени, в Европе. Первая была между Нюрнбергом и Фюртом; вторая — между Парижем и Версалем, и на ней произошло первое тяжелое железнодорожное несчастье от свалившегося под насыпь и объятого пламенем поезда.

У нас публика относилась с недоверием и страхом к новому средству сообщения. Бывали случаи, что остановленные у переездов через рельсы крестьяне крестили приближавшийся локомотив, считая его движение нечистой силой. Для обращения этих страхов в более веселое настроение первые месяцы впереди локомотива устраивался заводной органчик, который играл какой-нибудь популярный мотив. Вагоны третьего класса на Царскосельской дороге, до начала шестидесятых годов, были открытые с боков, что представляло некоторую опасность для глаз пассажиров от летящих из трубы искр. Управляющий движением этой дороги отличался большой оригинальностью — говорили, что на его визитных карточках было напечатано: «Directeur du chemin de fer de Pétersbourg à Tzarskoye Selo et retour»¹.

Посередине железнодорожного пути между Петербургом и Москвой находилась станция Бологое. Здесь сходились поезда, идущие с противоположных концов, и она давала, благодаря загадочным надписям на дверях «Петербургский поезд» и «Московский поезд», повод к разным недоразумениям комического характера. Движение было сравнительно медленное: почтовый поезд шел тридцать часов, причем всех интересовал и тревожил переезд по Веребьинскому мосту,

¹ Директор железной дороги Петербург — Царское Село и обратно (фр.)

перекинутому через Волхов на очень большой высоте и покоившемуся на сложных деревянных устоях. Вагоны не имели отдельных купе и женских отделений. Места первого класса состояли из длинных кресел, раскидывавшихся на ночь для сна пассажиров. Билеты представляли длинный лоскут бумаги с наименованием станций. Кондуктора носили военную форму и особые каски. Перед отправлением поезда звонили три раза, затем наступало томительное молчание, раздавался зычный голос обер-кондуктора «готово!», за ним следовал свисток, поезд дергался для испытания трудоспособности локомотива и двигался наконец в путь.

С таким поездом приезжает впервые в Петербург ожидаемый мною посетитель, сгорающий нетерпением познакомиться с «Северной Пальмирой», в ее подробностях и особенностях, и мы начинаем наше странствование по городу.

Знаменская площадь обширна и пустынна, как и все другие, при почти полном отсутствии садов или скверов, которые появились гораздо позже. Двухэтажные и одноэтажные дома обрамляют ее, а мимо станции протекает узенькая речка, по крутым берегам которой растет трава. Вода в ней мутна и грязна, а по берегу тянутся грубые деревянные перила. Это Лиговка, на месте нынешней Лиговской улицы. На углу широкого моста, ведущего с площади на Невский, стоит обычная для того времени будка — небольшой домик с одной дверью под навесом, выкрашенный в две краски: белую и черную, с красной каймой. Это местожительство блюстителя порядка — будочника, одетого в серый мундир грубого сукна и вооруженного грубой алебардой на длинном красном шесте. На голове у него особенный кивер внушительных размеров, напоминающий большое ведро с широким дном, опрокинутое узким верхом вниз. У будочника есть помощник, так называемый подчасок. Оба они ведают безопасностью жителей и порядком во вверенном им участке, избегая, по возможности, необходимости отлучаться от ближайших окрестностей будки. Будочник — весьма популярное между населением лицо, не чуждое торговых оборотов, ибо, в свободное от занятий время, стирает у себя нюхательный табак и им не без выгоды снабжает многочисленных любителей.

Направо от станции начинается Старый Невский. Поезд пришел рано утром, и нам дорогу пересекает не совсем обычная процессия, окруженная солдатами в коротких мундирах с фалдами сзади, в белых полотняных брюках (дело происходит летом), с двумя перекрещивающимися на груди

кожаными перевязями, к которым прикреплены пастронная сумка и неуклюжий тесак, с тяжелыми киверами «пруссского образца». Среди них движется колесница, к утвержденному на которой столбу привязан человек в арестантском платье. На груди у него доска с названием преступления, за которое он судился. Сзади едут официальные провожатые — священник, нередко врач и секретарь суда, решившего судьбу этого несчастливца. Под звуки барабанной дробы мы идем в некотором отдалении за этим поездом и вступаем на Старый Невский. Он обстроен окруженными заборами невысокими деревянными домами с большими и частыми перерывами. Никакой из ныне существующих в этой части Невского улиц еще нет. Есть лишь безымянные переулки, выходящие в пустырь, в глубине которого виднеются красивые здания казацких казарм. По левой стороне улицы мы подходим к обширной площади, называемой Конной от производящегося на ней в определенные дни конского торгова и служащей для исполнения публичной казни, производимой всенародно. Процессия останавливается, солдаты окружают эшафот кольцом, и на него входит чиновник, читающий приговор. Если осужденный «привилегированного сословия», палач ломает над его головой шпагу, если же он «не изъят по закону от наказаний телесных», то над ним совершается казнь плетью. Палач, вооруженный плетью, становится в нескольких шагах от обнаженного по пояс и привязанного в соответствующем положении осужденного и, крикнув: «Поддержись, ожгу!» — начинает наносить удары, определенные в приговоре, после чего истерзанного везут в тюремный лазарет, а по выздоровлении заковывают в ручные и ножные кандалы, выжигают на лице его клеймо и ссылают в Сибирь. Мы проходим быстро мимо этого отталкивающего и развращающего зрелища, уничтоженного лишь в 1863 году, вместе с варварским наказанием шпицрутенами. Последнее описано у Ровинского в его исследованиях о старом суде и изображено в потрясающей картине у Л. Н. Толстого, в его рассказе «После бала».

Идем далее по направлению к Александрo-Невской лавре. Навстречу нам мчится запряженная четверкою, с форейтором и двумя лакеями в треугольных шляпах на запятках, карета. Сквозь стекла ее дверец виднеется белый клубок с бриллиантовым крестом. Это митрополит, отправляющийся на утреннее заседание синода. Подходя к монастырю, мы видим редкие каменные здания и между ними здание духовной консистории, где чинится расставшимися с соблаз-

нами мира монахами своеобразное правосудие по бракоразводным делам, нередко при помощи «достоверных лжесвидетелей», и проявляется начальственное усмотрение под руководством опытной канцелярии по отношению к приходскому духовенству, вызвавшее весьма популярное в его среде якобы латинское изречение: «Consistorium protopoporum, diaconorum, diatchorum, ponomarorum — que obdiratio et oblutatio est»¹.

Возвращаясь назад, мы встречаем богатые похороны. На черных пополах лошадей нашиты, на белых кругах, нарисованные гербы усопшего. На «штангах», поддерживающих балдахин, стоят в черных ливреях и цилиндрах на голове «официанты», как это значилось в счетах гробовщиков. Вокруг колесницы и перед нею идут факельщики в черных шинелях военного покроя и круглых черных шляпах с огромными полями, наклоненными вниз. В руках у них смоляные факелы, горящие, тлеющие и дымящие. Так как за всей процессией не ведут верховую лошадь в длинной черной попоне, то, очевидно, хоронят не «кавалериста», а штатского. Процессия имеет печальный характер, более соответствующий значению ее, чем современные, — декоративные, с электрическими лампочками и грязноватыми белыми фраками на людях, несущих вместо факелов фонари. Гроб — всегда деревянный, обшитый бархатом или глазетом с позументами. Металлических гробов тогда не было.

Вступая на Невский, перейдя Лиговку, мы встречаем довольно широкие тротуары, в две плиты, постепенно затем расширенные до их настоящего вида. У тротуаров, в двух саженях одна от другой, поставлены невысокие чугунные тумбы, выкрашенные в черную краску. Перед большими праздниками их жирно красят вновь, причиняя тем некоторый ущерб платьям проходящих и задевающих за них франтих. В дни иллюминаций на них и около них ставятся зажженные и портящие воздух едким дымом плошки. На Невском, Морской и некоторых из главных улиц стоят на солидных чугунных столбах газовые фонари. Все остальные местности в городе освещаются масляными фонарями на четырехугольных столбах, выкрашенных подобно будкам. Такой фонарь имеет четыре горелки перед металлическими щитками, но свет дает лишь на очень близком расстоянии вокруг себя. В узкой Галерной улице такие фонари висят довольно высоко на веревках, протянутых от домов с обеих

¹ «Консистерские протопопы, дяконы, дячки, пономари — обдиратели и облупатели» (шутливая имитация латинской фразы).

сторон улицы. По улице в разных направлениях движутся со скоростью, всегда удивлявшею иностранцев, дрожки, коляски и кареты самых разнообразных фасонов. Кареты — часто четырехместные — на сложных рессорах, с высокими козлами и откидной ступенькой у дверей. Площадка сзади кузова обыкновенно утыкана гвоздями, обращенными острием кверху, или она заменяется обручем с остроконечными зубцами. Это делается для того, чтобы уличные ребятишки не устраивались сзади кареты, что подало повод в свое время Некрасову сказать: «Не сочувствуй ты горю людей, не читай ты гуманных книжонок, но не ставь за каретой гвоздей, чтоб, вскочив, накололся ребенок...»

Кареты знатных лиц запряжены обыкновенно четверкой цугом, с фрейтором на передней паре, кричащим обычное в то время: «Пади!» или «Эй, берегись!» На кучере цветная четырехугольная шапка, обшитая по краям шнурком с завитками. У кучеров царской фамилии она голубая. На козлах карет высоких военных лиц, рядом с кучером, помещается лакей в шишаке¹, в синевато-серой шинели, капюшон которой обшит двумя широкими красными полосами, а если это экипаж иностранного посланника, то рядом с кучером в кафтане, обшитом по борту позументом, сидит егерь в охотничьем наряде, нередко с полусаблей на черной лакированной перевязи. Другой вид экипажей составляют пролетки, с довольно узким сиденьем, заставляющим едущих вдвоем держаться друг за друга. Пролетка — на стоячих рессорах и с низенькой спинкой, не дающей возможности к ней прислониться. У богатых и деловых людей пролетка более удобна. Иногда она имеет очень узкое сиденье, исключительно для одного человека, и называется «эгоисткой». В «собственные» пролетки нередко запряжены две лошади: в корню и на пристяжке. Передняя низко наклоняет голову к земле и, извиваясь, обыкновенно забрасывает седока пылью и комьями грязи.

В свободное от постов время встречаются кареты, сквозь окна которых виднеются перины, одеяла и подушки. У кучера на правой руке сделана перевязь из полотенца, а иногда из лент, которыми украшаются и гривы лошадей. Это торжественно везут какое-нибудь купеческое приданое к предстоящей свадьбе.

Наряду с дрожками существует «калибер», или «гита-

¹ Этот шишак состоял из обыкновенной военной каски, наверху острия которой было у бомбы срезано пламя. Такие же шишаки присвоены были в начале шестидесятых годов городовым. (Примеч. автора.)

ра», своеобразно устроенная машина для передвижения, на продолговатом сиденье которой нужно помещаться, если ехать вдвоем, боком друг к другу и обращенными лицами в противоположные стороны, а если ехать одному, то для большей устойчивости нужно сидеть верхом. Этот род передвижения особенно дешев в пятидесятых годах; от Знаменской площади до Адмиралтейства или до Сенной площади можно доехать за десять копеек. На спине извозчиков висит на ремешке белый жестяной билет с номером.

На Невском нет ни трамваев, ни конно-железной дороги, а двигаются грузные, пузатые кареты огромного размера, со входною дверцей сзади, у которой стоит, а иногда и сидит, кондуктор; это омнибусы, содержимые много лет кучищем Синебрюховым и курсирующие преимущественно между городом и его ближайшими окрестностями — селом Александровским на Шлиссельбургском тракте, Полюстровом возле Охты и т. д. Неуклюжие и громоздкие, запряженные чальми лошадьми, они вмещают в себе до двадцати пассажиров и движутся медленно, часто останавливаясь для приема и выпуска таковых.

В первой половине шестидесятых годов появляются на улицах изящные одноконные каретки «товарищества общественных экипажей». Для них установлена такса. На козлах сидит, в сером цилиндре и гороховом пальто, бритый кучер с длинным бичом в руках; лошади в шорах и английской упряжи. В населении быстро установилось, ввиду схода бича с удочкой, популярное название и кучера и экипажа «рыболовом». Разные злоупотребления со стороны публики и самих рыболовов прекратили, за разорением товарищества, этот кратковременный способ передвижения.

Между проходящими часто можно встретить бравого молодца, одетого в форменный короткий сюртук военного образца, в черной лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и большой черной сумкой через плечо. Это почталъон, которому популярный в сороковых годах, ныне забытый, поэт Мятлев посвятил стихотворение, начинающееся так: «Скачет, форменно одет, вестник радостей и бед; сумка черная на нем, кивер с бронзовым орлом. Сумка с виду хоть мала — много в ней добра и зла: часто ядом там лежит и банкротство и кредит...» и т. д.

Среди идущих много военных: солдаты в длинных серых шинелях, надетых в рукава, офицеры в шинелях светлосерого сукна с пелеринами внакидку. У высших чинов высокие треугольные шляпы с пучком черных или пестрых петушиных перьев наверху. К половине пятидесятых годов

эти шляпы заменяются касками, а затем — кепи, шинели заменяются пальто, а генералам присвоены ярко-красные брюки с золотым лампасом.

На улицах много разносчиков с лотками, свободно останавливающихся на перекрестках для торговли игрушками, сбитнем, мочеными грушами, яблоками. Пред Гостиным двором и на углах мостов стоят продавцы калачей и саек, дешевой икры, рубцов и вареной печенки. У некоторых на головах лотки с товаром, большие лохани с рыбой и кадки с мороженым. Они невозбранно оглашают улицу и дворы, в которые заходят, восхвалением или названием своего товара: «По грушу — по варену!», «Штокфиш!» и т. д. Торговцам фруктами посвящен был в те годы популярный романс: «Напрасно, напрасно, ты в окна глядишь, под бременем тягостной ноши; напрасно ты голосом громким кричишь: «Пельцыны, лимоны, хорóши!» Эти пельцыны и лимоны привозились тогда на кораблях и были гораздо большей редкостью, чем в последнее время.

К разносчикам присоединяются торговцы платьем и татарами, и дворы больших домов оглашаются громкими предложениями: «Старого платья продать!» и «Халат, халат, халат!»

До шестидесятих годов прохожие не курят — это строго воспрещается.

Переходя через Знаменскую площадь, мы оставляем направо ряд параллельных улиц, застроенных деревянными домами, напоминающими далекую провинцию. Некоторые из них со ставнями на окнах, задернутых днем густыми занавесками, имеют незавидную репутацию, на которую завлекательно указывают большие лампы с зеркальными рефлекторами в глубине всегда открытого крыльца. Эти улицы, в которых обычно поселялись разного рода ворожеи и гадалки, пересекаются одной, сравнительно широкой, с большим пустырем и ведущей к Смольному монастырю, — Слоговой, названной так потому, что на ней когда-то помещался особый двор для слонов, неоднократно даримых русским императрицам персидским шахом. Ныне это Суворовский проспект.

Невский вплоть до Аничкова моста вымощен булыжником. Мы встретим торцовую мостовую, лишь перейдя последний. Вступая на Невский, мы оставляем влево, на берегу Лиговки, деревянный одноэтажный с садиком дом Галченкова, в котором, «упорствуя, волнуясь и спеша», работал и умер Виссарион Григорьевич Белинский. В этом доме происходил у него живой обмен мыслями с небольшим

кругом людей, умевших понять и оценить великого критика. Здесь писались глубокие и возвышенные страницы его отзывов о различных явлениях литературной жизни. Сюда незадолго до его смерти пришло приглашение явиться «для беседы» с хозяином его в знаменитое Третье отделение. Здесь Тургеневу пришлось выслушать рисующий Белинского упрек, обращенный им к жене, напоминавшей, что стынет поданный обед: «Как можно думать об этом, когда мы еще не кончили спора о бытии бога». Отсюда прах Белинского в 1848 году отвезли на далекое Волково кладбище, а его имени нельзя было упоминать в печати. Могила долгое время была оставлена без ухода, и даже «память благородная друзей дороги к ней не проторила...» (Некрасов).

Дома на Невском в значительной степени имеют однообразный бесцветный характер, постепенно по направлению к Аничкову мосту увеличиваясь в объеме и высоте. С правой стороны — ряд домов, в которых помещаются экипажные заведения, с выставкою за стеклами широких окон обширных помещений карет, колясок и дрожек. Чередуясь с ними, идут в нижних этажах глубокие темноватые помещения, в которых часто находятся театры марионеток, случайные выставки и кабинеты восковых фигур, очень популярные в то время.

Нынешняя Надеждинская улица не так длинна, как теперь: на линии теперешней Жуковской, тогда Малой Итальянской, существует сплошная стена разных построек.

Пройдя мимо нее, мы встречаем двухэтажный дом Меняева, разделенный на два флигеля, среди которых открывается обширный двор, с деревянным красивым домиком посредине. На балконе одного из каменных флигелей, выходящем на Невский, сидит в халате, с длинной трубкой в руках и пьет чай толстый человек с грубыми чертами обрюзглого лица. Это популярный Фаддей Венедиктович Булгарин, издатель и редактор «Северной пчелы» — единственной в то время газеты, кроме «Русского инвалида» и «Полицейских ведомостей», — печатный поноситель и тайный доноситель на живые литературные силы, пользующийся презрительным покровительством шефа жандармов и начальника Третьего отделения. Газета его, благодаря исключительноному положению, пользуется распространением, помещая иногда, в легковесных фельетонах бойкого редактора, рекомендации различных угодных ему магазинов и предприятий. Для характеристики «Видока Фиглярина», как назвал его Пушкин, намекая на известного француз-

ского сыщика Видока, достаточно припомнить стихи того же поэта: «Двойной присягою играя, поляк в двойную цель попал: он Польшу спас от негодя и русских братством запятнал».

На углу Невского и Литейной, в угловом доме, помещается известный и много посещаемый трактир-ресторан «Палкин», где в буфетной комнате, с нижним ярусом оконных стекол, в прозрачных красках изображающих сцены из «Собора Парижской богородицы» Гюго, любят собираться одинокие писатели, к беседе которых прислушиваются любознательные посетители «Палкина». Здесь бывали нередко поэт Мей и писатель Строев и, с начала шестидесятых годов, заседал Н. Ф. Щербина, остроумная и подчас ядовитая беседа которого составляет один из привлекательных соблазнов этого заведения.

Почти рядом дом графа Протасова, в лице которого звание гусарского полковника оригинальным образом оказалось соединенным с должностью обер-прокурора святейшего синода. В конце этой стороны Невского высится большой и многолюдный дом купца Лыткина, в котором обитают многие из артистов Александринской сцены.

В нем произошла в половине пятидесятых годов одна из житейских драм, произведшая сильное впечатление. На верх парадной лестницы с широким пролетом, ведшей в четвертый этаж, забралась старая, седая женщина, почему-то позвонила у ближайших дверей и, бросившись вниз, разбила выступавший на толстой чугунной трубе газовый фонарь, погнула самую трубу и убила до смерти, плавая в луже крови, которая всосалась в пол из песчаника и оставила трудно смываемое пятно. Оказалось, что несчастная жила в отдаленном углу Петербурга с нежно любимой воспитанницей, молодой девушкой. Со всем жаром последней и запоздалой страсти она влюбилась в посещавшего их почтового чиновника. Он сделал предложение воспитаннице, и старуха, скрывая свои чувства, хлопотала о приданом для нее, о приготовлениях к свадьбе и присутствовала на бракосочетании, но на другой день ушла из своей опустевшей квартиры, бродила по Петербургу и, так как реки и каналы были покрыты льдом, облюбовала широкий пролет в доме Лыткина, чтобы покончить со своей невыносимой тоской. Пятно внизу пролета, которого нельзя было миновать проходящим жильцам, производило тягостное впечатление, и самоубийство постепенно создало ряд фантастических рассказов в то бедное общественными интересами время. В доме стали рассказывать, что старуха появляется

по ночам на лестнице и раскрывает свои безжизненные объятия поздно возвращающимся домой, и один из жильцов, человек суеверный и нередко нетрезвый, под влиянием этих рассказов даже выехал из дома.

Левая сторона Невского проспекта представляет необычный для настоящего времени вид. Там, где теперь начинается Пушкинская улица, названная первоначально Новой, тянется длинный забор, а за ним огороды. Новая улица создавалась лишь в половине семидесятых годов. Узкая, с маленькой площадкой, на которой позже поставлен ничтожный памятник Пушкину, обставленная громадными домами, она с самого своего открытия привлекла многолюдное население, среди которого были настолько частые случаи самоубийства, что пришлось ввиду того, что в то время о каждом самоубийстве производилось следствие со вскрытием трупа, командировать к местному судебному следователю нескольких помощников. Быть может, скученность обитателей и какой-то угрюмый вид этой улицы оказались не без влияния на омраченную и истрадавшуюся душу тех, кто находил, что «*mori licet, cui vivere non placet*»¹

Первая улица налево — Николаевская (по-новому улица Марата) называлась прежде Грязною и была немоценная до своего переименования после смерти Николая I. С нее был ход на Ямскую, называвшуюся так от близлежавшей Ямской слободы на Лиговке, где были обширные извозчицьи дворы и стойла для почтовых лошадей. Эта слобода во второй половине пятидесятых годов выгорела, причем в ужасном пожаре, продолжавшемся несколько дней, сгорело много лошадей, упиравшихся от страха, когда их пытались вывести из горящих зданий. Ямская улица была впоследствии переименована в улицу Достоевского, ибо здесь находился дом казарменного типа, лестница которого с железными перилами вела к обшитым войлоком и продранной клеенкой дверям в квартиру, где в скромной обстановке, граничившей с бедностью, жил и умер Достоевский.

От 29 до 31 января 1881 года эта лестница была запрожена лицами всех возрастов и общественных положений, стремившихся ко гробу, в котором, с лицом исхудалым и проникнутым глубоким выражением, похожим на радость, почивал великий писатель и столь же великий страдалец.

У Аничкова моста с левой стороны и в то время уже высился монументальный дом князей Белосельских-Белозерских, впоследствии дворец великого князя Сергея Александр-

¹ лучше умереть тому, кому не хочется жить (лат.)

ровича. Дойдя до этих мест, мы сворачиваем на Литейную, где узкий тротуар идет мимо редких, но красивых казенных каменных домов, перемежающихся с деревянными. На углу Бассейной и Литейной — двухэтажный дом издателя «Отечественных записок» А. А. Краевского, опытного и деятельного литературного предпринимателя, у которого долго работал Белинский. В этом доме много лет жил Н. А. Некрасов, после ряда тяжелых годов житейских испытаний, когда ему приходилось голодать и холодать, ходить зимой в соломенной шляпе, расписываться за неграмотных в Казенной палате и предлагать на Сенной свои услуги желающим написать прошение, — когда он с полным основанием мог сказать, что «праздник жизни — молодости годы — я убил под тяжестью труда, и поэтом, баловнем свободы, другом лени — не был никогда». Этот труд, в связи с большим поэтическим даром, вдохновляемым «музой мести и печали», создал ему видное положение, и уже в шестидесятых годах у крыльца его квартиры стоял собственный экипаж издателя и редактора влиятельного «Современника», а в двери квартиры ходили такие люди, как Тургенев, Анненков и Добролюбов. У подъезда этой квартиры в 1877 году собралась огромная толпа поклонников поэта и во внушительном шествии проводила его многострадальный прах на кладбище. В этом же доме жил, до переселения на юг России, знаменитый хирург и педагог Николай Иванович Пирогов — один из тех людей, которые составляют настоящую славу России. Вероятно, отсюда хотел он навсегда уехать за границу, после того как, вернувшись с Кавказа, где в течение девяти месяцев на полях сражения по целым дням производил свои изумительные операции и применял для обезболивания эфир, был самым грубым образом принят военным министром, князем Чернышевым, и должен был выслушать, во враждебной ему конференции Медико-хирургической академии, строгий выговор за несоблюдение состоявшегося в его отсутствие приказа о каких-то выпущках или петличках на мундире.

Идя далее по направлению к Неве, мы встречаем на углу Кирочной одноэтажный, выкрашенный в темную краску, узкий деревянный дом, в котором жил военный министр Александра I — Аракчеев. На этом месте теперь стоит громадный Дом армии и флота, в котором происходил в 1917 году процесс другого, зловещей памяти, военного министра — Сухомлинова. Далее, перед деревянным Литейным мостом через Неву, против Арсенала с выдвинутыми перед ним старинными пушками, стоит Старый арсенал, построенный при Екатерине II, довольно заброшенный и неприятный. В нем в

1866 году были открыты новые судебные установления, пришедшие на смену старых безгласных и продажных судов, служивших бездушной канцелярской волоките, называвшейся, вопреки истине, правосудием.

Литейный мост манит нас перейти на Выборгскую сторону, где тянутся здания Медико-хирургической академии, в одной из длинных и невзрачных одноэтажных построек которой помещается госпиталь для душевнобольных, в совершенно несоответствующей своему назначению обстановке, несмотря на которую там, с начала шестидесятых годов, читает, иногда сидя на кровати больного, увлекательные лекции сухощавый человек с пронизательным взором дышащих умом глаз. Это отец русской психиатрии — Иван Михайлович Балинский.

От академии мы сворачиваем вправо и по длинной Симбирской улице, совершенно провинциального типа, очень хорошо описанной Гончаровым в «Обломове», приходим, миновав Новый арсенал, в пригородную местность, носящую название Полюстрово — от близлежащего селения, в котором находятся железистые минеральные воды, ныне заброшенные, но в то время довольно усердно посещаемые. Полюстрово, около которого часто бродят группы цыган, отделяется от Невы обширным парком, с искусственными развалинами средневекового замка и с великолепным домом с башенками графа Куселева-Безбородко. К этому дому в пятидесятых годах подъезжали и подплывали многочисленные посетители, привлекаемые гостеприимством хозяина, сделавшегося первым издателем «Русского слова» и любившего играть роль мецената. У него, между прочим, бывал Александр Дюма-отец, во время посещения им Петербурга перед поездкой по России, послужившей поводом для ряда совершенно неправдоподобных выводов и рассказов в описании им своего путешествия. Свойственник домохозяина, один из довольно известных в пятидесятых годах поэтов, усиленно предававшийся «бесу пьянства», на одном из таких обедов, сильно нагружившись уже за закуской, после настойчивых намеков о желании присутствующего светского общества услышать какой-нибудь экспромт, встал, пошатываясь, и к ужасу хозяина произнес: «Графы и графини! Счастье вам во всем, мне ж — в одном графине, и притом большом», — и грузно опустился на свое место.

На противоположном берегу Невы, из-за лесных складов, с которых по ночам раздается переключка сторожей «слуша-а-ай», виднеется Таврический дворец — местопребывание не находящихся на действительной службе престарелых

фрейлин. Там живут, между прочим, две старушки С., про высокомерие старшей из которых злые языки рассказывают, что, верная своей привычке, она, даже представ пред вечным судьей, наведет на него лорнет и скажет по-французски: «Очень рада вас видеть. Я много раз слышала о вас в доме Татьяны Борисовны Потемкиной (известной своим богомольством аристократки). Представьте мне ваших архангелов».

Обширный парк при дворце, недоступный для публики, окружен глубоким рвом и обнесен деревянным, заостренным наверху частоколом. Эта местность считается почти загородной. От нее идут: Сергиевская, Фурштадская и Кировная улицы, и отсюда же, с пустой площади, на которой впоследствии был выстроен манеж Саперного батальона, обращенный затем в церковь Косьмы и Дамиана, начинается Знаменская улица. Здесь на углу, недалеко от пустынного тогда Преображенского плаца, жил долгое время поэт Алексей Николаевич Апухтин, несправедливо определяемый критикой как светский писатель, несмотря на его глубокие по содержанию и превосходные по стижу «Реквием», «Сумасшедший», «Недостроенный памятник», «Год в монастыре» и «Из бумаг прокурора». Одержимый болезненной тучностью и страдая от какой-то непережитой за всю жизнь сердечной драмы, Апухтин, в сущности, был весь, и в жизни, и в произведениях, проникнут печальным настроением, сквозь которое иногда пробивались остроумные выходки. Он сам посмеивался над собой, находя печальным положение человека, для которого жизнь прожить легче, чем перейти поле, и рассказывая об удивленном вопросе маленькой девочки, показывающей на него пальцем и спрашивающей: «Мама, это человек или нарочно?» Знаменскую пересекают Бассейная и Озерный переулок, носящие свои названия от обширного бассейна, находящегося на границе Песков, впоследствии засыпанного с разведением на его месте сада. В Озерном переулке существует до сих пор уединенный, с садом, обнесенным прочным забором, деревянный дом с мезонином. Это местопребывание в двадцатых годах Кондратия Селиванова, основателя и главы скопческой ереси. В этом доме до конца семидесятых годов, а может быть и позже, был так называемый «скопческий корабль», происходили радения и, вероятно, производились безумные членовредительства, основанные на ложном понимании слов Христа. Здесь, по легенде, бывал и Александр I, сначала благосклонно относившийся к Селиванову, место погребения которого в Шлиссельбурге сделалось потом

предметом благочестивых паломничеств сектантов, называвших себя «белыми голубями».

Пройдя Бассейную и перейдя с Литейной в Симеоновский переулок, мы оставляем вправо Моховую улицу, которая в восемнадцатом столетии называлась Хамовой. В конце нее, в доме № 3, поселился в пятидесятых годах Иван Александрович Гончаров. Часто можно было видеть знаменитого творца «Обломова» и «Обрыва», идущего медленной походкой, в обеденное время, в гостиницу «Франция» на Мойке или в редакцию «Вестника Европы» на Галерной. Иногда у него за пазухой пальто сидит любимая им собачка. Апатичное выражение лица и полузакрытые глаза пешехода могли бы дать повод думать, что он сам олицетворение своего знаменитого героя, обратившегося в нарицательное имя. Но это не так. Под этой наружностью таится живая творческая сила, горячая, способная на самоотверженную привязанность душа, а в глазах этих по временам ярко светится глубокий ум и тонкая наблюдательность. Старый холостяк, он обитает тридцать лет в маленькой квартире нижнего этажа, окнами на двор, наполненной вещественными воспоминаниями о фрегате «Палада». В ней бываю редкие посетители, но подчас слышится веселый говор и смех детей его умершего слуги, к которым он относится с трогательной любовью и сердечной заботливостью.

Симеоновский мост через Фонтанку приводит нас на Караванную, где много лет, на месте разрушенного впоследствии памятника великому князю Николаю Николаевичу, стоит круглое обширное деревянное здание «панорамы Палермо», уступившее затем, в начале шестидесятых годов, свое место цирку.

Караванная выводит нас к Аничкову дворцу и к Фонтанке. Мы останавливаемся на мосту, и тогда уже украшенном четырьмя бронзовыми фигурами лошадей, отлитыми по проекту барона Клодта. За мостом начинается самая красивая часть Невского. Но, не переходя мост, хочется остановиться на мимолетном знакомстве с Фонтанкой. На Фонтанке ряд мостов, впоследствии переделанных. Большая часть из них одного типа, который ныне сохранен лишь в несколько расширенном против прежнего Чернышевом мосту и на Екатерининском канале против бывшего Государственного банка. На обоих концах речки мосты своеобразной архитектуры, висящие на цепях. Один, у Летнего сада, название носит «Цепного». Около него, на левом берегу Фонтанки, помещается знаменитое Третье отделение, центр наблюдений и действий тайной полиции. Когда это

отделение было впервые организовано и поставлено под высшее начальство шефа жандармов, то, как говорит предание, первый шеф — граф Бенкендорф — просил у Николая I инструкции относительно действий вверенного ему управления и в ответ получил носовой платок со словами: «Вот тебе моя инструкция: чем больше слез утрешь, тем лучше». Однако вскоре деятельность Третьего отделения, присвоившего себе вмешательство во внутреннюю жизнь обывателя и «обуздание печати», от утирания слез направилась к возбуждению их пролития, так что недаром поэт (кажется, Огарев), намекая на слухи о некоторых чувствительных способах назидания в этой деятельности, восклицал: «Будешь помнить здание у Цепного моста!»

На другом конце Фонтанки помещается так называемый Египетский мост, тоже висячий и очень красивый, во вкусе египетских сооружений. Он провалился под тяжестью проходившего отряда кавалерии в начале девятисотых годов и не возобновлен в прежнем виде.

Вода Фонтанки сравнительно чистая, не напоминающая теперешнюю гнилую и вонючую бурду. Устроенные на ней купальни перемежаются с многочисленными на ней рыбными садками. Зимой по покрывающему ее льду устраивается непрерывный санный путь. В остальное время по ней вдоль и поперек совершается плавание на яликах своеобразной конструкции, с нарисованными по бокам носа дельфинами. Воду из Фонтанки пьют «ничтоже сумняшеся» окрестные обыватели, причем водовозы (водопроводов до начала шестидесятих годов еще нет) доставляют ее в зеленых бочках, в отличие от белых, в которых развозят воду из Невы. Недаром сатирический поэт в «Колоколе» жалуется Зевсу: «Громовержец, я ли без усердия пью из Фонтанки воду, чтобы петь потом серую природу...»

Фонтанка впадает в Финский залив, выделяя из себя рукав Черной речки. В этой местности находится Екатерингоф, ныне совершенно заброшенный, но в то время представлявший совершенно благоустроенный обширный парк, окружавший старинные петровские постройки. Первого мая там происходило традиционное гулянье, на которое приезжала царская фамилия и стекались в лодках и экипажах массы гуляющих, чрезвычайно оживляя своим движением воды и берега Фонтанки.

От Измайловского моста на Фонтанке начинается Измайловский проспект, пересекаемый улицами, носящими название рот Измайловского полка, с большими пустырями

и жалкими домишками. На проспекте против собора еще не существует бездарного подражания не менее бездарной колонне «Победы» в Берлине, а в конце, до начала шестидесятых годов, еще нет вокзала Варшавской железной дороги.

За Египетским мостом начинается нынешний Ново-Петергофский проспект с Кавалерийским училищем, носившим название школы гвардейских подпоручиков и кавалерийских юнкеров. В этом училище, когда оно помещалось на месте нынешнего Мариинского дворца, учился Михаил Юрьевич Лермонтов, и, благодаря основанному впоследствии музею его имени, о нем сохранилась живая и осязательная память. Уже здесь в великом поэте крепла и окончательно создалась та «таинственная повесть» его жизни, которая определила его поэтический пессимизм и мизантропию, за что он с такой сильной горечью упрекал бога в своем «Благодарю...».

На правом берегу Фонтанки, начиная от Невы, — Летний сад, перед которым, на Царицыном лугу, весной обыкновенно происходил блестящий «майский» парад для всех гвардейских войск столицы и ее окрестностей, оканчивавшийся прохождением перед царской ставкой рысью конвоя, состоявшего из уроженцев Кавказа, в их красных костюмах, с острыми меховыми шапками и откидными синими рукавами над желтыми кафтанами у лезгин, кольчугами и круглыми шлемами у чеченцев и т. п. Вид стройно движущейся пехоты и проходящая разными аллеями конница, «сиянье шапок этих медных», «лоскутья сих знамен победных», вызывают в зрителях сильное и горделивое впечатление. Кто мог предвидеть пророческие слова Владимира Соловьева, сказанные за десять лет до злополучной японской войны, что «желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен».

В саду же стоит памятник Крылову, и вокруг него всегда резвятся дети. На них, однако, довольно пессимистически глядел поэт Шумахер, посвятивший памятнику следующие стихи: «Лукавый дедушка с гранитной высоты глядит, как резвятся вокруг него ребята, и думает себе: «О, милые зверята, какие, выросши, вы будете скоты!» Монументальная решетка сада, составлявшая, по рассказам, предмет удивления иностранцев, еще не испорчена безвкусной, совсем в другом стиле часовой с горделивой надписью: «Не прикасайся к помазаннику моему», так жестоко опровергнутой дальнейшими событиями, подобно находящейся над фронтоном дворца императора Павла I

надписи: «Дому твоему подобает святыня господня в долготу дней».

В духов день Летний сад представлял своеобразное зрелище. Согласно укоренившемуся обычаю представители среднего торгового сословия приходили сюда всей семьей с нарядно одетыми взрослыми дочерьми и гуляли по средней аллее, а на боковых дорожках прогуливались молодые франты, жаждавшие «цепей Гименея» и нередко сопряженного с этим денежного приданого. Они приглядывались к проходившим барышням, а сновавшие между ними юркие женщины, в косынках на голове и пестрых шалях, сообщали интересующимся надлежащие сведения и предлагали свои услуги для знакомства с возможными брачными последствиями. Это были свахи. Кажется, этот обычай прекратился после громадного петербургского пожара в 1862 году. По этому же берегу, за Летним садом, следовал Михайловский замок, обнесенный со всех сторон рвом с подъемными мостами, впоследствии засыпанными.

У Аничкова моста пред дворцом идет, выходя на Невский, открытая галерея с колоннами, впоследствии обращенная в жилые помещения. Она служила излюбленным местом для прогулок няней с детьми в дурную погоду.

За Чернышевым мостом начинался Апраксин рынок, состоявший главным образом из деревянных рядов со всевозможными видами торговли, примыкавший к выходявшему на Садовую длинному казенному зданию, вмещавшему в себе ряд лавок, отличавшихся от магазинов Гостиного двора большей дешевизной цен и развязностью приказчиков, настойчиво зазывавших к себе покупателей восклицаниями: «Пожалуйте к нам! У нас покупали», «Товар самый английский» и т. п.

Вспыхнувший в 1862 году громадный пожар, захвативший и противоположный берег Фонтанки, истребил Апраксин рынок как раз в духов день, когда хозяева многих торговых помещений гуляли со своими расфранченными дочками.

Возвращаемся назад, к галерее Аничкова дворца. Пройдя ее и миновав один придворный дом, попадаем в узкий и пустынный Толмазов переулок. Он пересекает Александринскую площадь и выходит на Большую Садовую, в которой сосредоточивается главная торговля Петербурга, не имеющая характера оптовой. Магазины и ряды, здания с лавками следуют одни за другими непрерывно, уступая место лишь Государственному банку и Пажескому корпусу. На середине пути по Садовой лежит обширная Сенная площадь

с легкими навесами, бараками и ларями, не имеющими ничего общего с большим крытым рынком, возникшим здесь впоследствии. Это центральное место сбыта пищевых продуктов по сю сторону Невы. Перед рождеством и пасхой здесь, как выражается народ, стоит «неотолченная труба» покупателей, рядами и горами высятся всякая снедь, среди которой перед рождеством преобладают в огромном количестве гуси и замороженные свиные туши, распиленные пополам. Их вид поддал Н. И. Пирогову, часто проезжавшему мимо, мысль замораживать и распиливать так же трупы, для показания расположения внутренних частей человеческого тела. Атлас рисунков с этих препаратов долгое время составлял драгоценное приобретение каждого медицинского учреждения, имевшего собственную библиотеку.

Когда мы подходим к концу Сенной площади, нам пересекает дорогу идущая со стороны Демидова переулка большая группа людей, одетых в серые куртки с бубновыми тузами на спине. Это ссыльно-каторжные из пересыльной тюрьмы, помещающейся в Демидовом переулке. Они идут, звеня цепями, в серых войлочных шапках на полубритых головах, понурые и угрюмые, а сзади на повозках едут следующие за ними жены, часто с детьми. Отряд войск окружает эту группу. Прохожие останавливаются и подают калачи, булки и милостыню «несчастливым». Они следуют на двор Петербургско-Московской дороги, где их рассадят по арестантским вагонам и отвезут в Московский пересыльный замок. Там, если только он еще жив, их встретит сострадательное участие «святого доктора» Гааза, но затем они двинутся по лежащей через Владимир дороге в Сибирь, перенося и зной и холод, скудное питание и насильственное сообщество в течение долгих месяцев пешей ходьбы, куда не достигнут Тобольска, где особый приказ распределит их в места назначения, и для них потянется долгая жизнь страданий, принудительной работы и сожительства с чуждыми, озлобленными и нередко порочными в разных отношениях людьми. Передвижение по этапу, то есть от одной грязной, тесной и вонючей казармы для ночевки до другой, обозначалось в народе словом «идти по Владимирке», и лишь развитие железных дорог и пароходства, а впоследствии приспособление для пересылки арестантов судов добровольного флота изменило картину «Владимирки» и внесло некоторое улучшение в дело населения Сибири пересыльными. Однако это совершалось весьма медленно, и еще в первое десятилетие девятисотых годов благороднейший борец за свободу совести и веротерпимости, вовсе

еще не старый член Государственной думы Караулов мог сказать отцу Вераксину, крикнувшему во время его речи — «Каторжник!»: «Да, почтенный отец, я шел, приговоренный за желание изменить существующий строй без употребления насильственных средств, звеня цепями и с бритой головой и кандалами на ногах по бесконечной «Владимирке» за то, что смел желать и говорить о том, чтобы вы были собраны в этом собрании. То, что я был каторжник, составляет мою гордость на всю мою жизнь. В этой могучей волне, которая вынесла нас в эту залу, есть капля моей крови и моих слез». Эти слова были приведены на его могильной плите, но, по требованию святейшего синода, закрыты — заделаны металлической доской.

На Большой Садовой, близ Кокушкина моста, помещалась в пятидесятых годах редакция «Библиотеки для чтения». После беспринципного, но талантливое Сенковского (Барона Брамбеуса) редакторство перешло к Алексею Феофилактовичу Писемскому. Грузный, неуклюжий, с растрепанными черными волосами и большими, навывкате умными глазами, с костромским выговором на «о», Писемский был несомненно, одним из самых выдающихся русских писателей как по своей наблюдательности, так и по самобытному характеру своего творчества. Его «Тысяча душ» служила как бы продолжением «Мертвых душ» в более современной бытовой обстановке и представляла ряд мастерски очерченных характеров и общественных условий, почерпнутых из самой жизни без идеализации и преувеличения. Оригинальный во всей своей повадке и самостоятельный во взглядах, он пришелся не по вкусу тогдашней критике, на травлю которой ответил «Взбаламученным морем», в котором, по своим словам, изобразил если не всю современную ему Россию, то, во всяком случае, всю ее ложь.

Еще далее по Садовой, на углу Екатерингофского проспекта, против Юсупова сада, жил до самой своей смерти Аполлон Николаевич Майков. В его сухощавой фигуре и тонких чертах продолговатого лица было нечто, напоминающее изображения древних подвижников, которых он с такой любовью описывал в своих стихах. Глубокий знаток античного мира и властитель гармонии стиха, он оставил нам замечательную поэму из римской жизни во время первых проявлений христианства — «Смерть Люция», и горячо, хотя и ненадолго, приветствовал эпоху великих реформ. Он жил замкнуто, но умел знакомить своих редких посетителей с лучшими произведениями современных писателей, превосходно их читая и искренно ими восхищаясь.

Пройдя через пересекающий Садовую Вознесенский проспект, мы выходим к Мариинскому дворцу и на Большую Морскую. Дворец еще принадлежит герцогине Лейхтенбергской, Марии Николаевне, дочери Николая I, и последний каждый день в определенные часы медленной и величавой походкой ходит на свидание с любимой дочерью, давая разными своими встречами материал к рассказам полудостойного свойства, которыми чрезвычайно любило услаждаться тогдашнее петербургское общество во всех своих слоях, за отсутствием других интересов. В этом человеке уживались узкость и односторонность государственных взглядов с остроумной находчивостью, формальное бездушие и смелая решимость, верность традициям с ненавистью к свободной мысли. Деятельность его в каждой из этих областей давала обильный материал для таких рассказов. Памятник, поставленный ему в конце пятидесятых годов на Мариинской площади, с великолепной лошадей работы Клодта, своими барельефами наглядно указывает на бесплодность его царствования, из которого художник Рамазанов не мог извлечь ничего, кроме сцены на Сенной площади во время холеры и издания «Свода законов», в котором в обилии заключались статьи, служившие явным отрицанием настоящего смысла аллегорических женских фигур Правосудия, Веры и т. д., утвержденных по бокам постамента. Рассказывали, что вскоре после открытия памятника какой-то «дерзновенный искусник» ухитрился прикрепить скачущему коню кусок картона с надписью: «Не догонишь!» — очевидно, имея в виду скачущего по ту сторону Исаакиевского собора Петра Великого. Этот собор постоянно был окружен лесами и был освящен лишь в 1858 году, после чего леса снова стали возвышаться то у одной, то у другой из его сторон.

Направляясь по Морской к Поцелуеву мосту, мы встречаем, на месте нынешней реформатской церкви, длинное деревянное здание, в котором одно время помещался зверинец Зама, а затем, во второй половине пятидесятых годов, подвизалась в пении и плясках знаменитая Юлия Пастрана — красиво сложенная женщина, с приятным голосом и с лицом большой мохнатой обезьяны, напоминавшей нечто среднее между гориллой и павианом. Затем здесь же был открыт и долгое время существовал весьма богатый анатомический музей.

За Поцелуевым мостом на площади стояли два театра — Большой, огромное здание с прекрасной акустикой, которое было потом переделано в Консерваторию, с акустикой неза-

видной, и «Театр-цирк», о внутренней жизни которых мы поговорим далее.

А теперь переходим по только что отстроенному Благовещенскому, ныне Николаевскому, мосту, на котором еще нет часовни, на Васильевский остров. Вскоре после его открытия он послужил местом для одной сцены несколько тетрального характера, которые любил и умел делать Николай I, чтобы влиять на воображение обывателей. Во время проезда его по набережной на мост въезжали одинокие дроги с крашеным желтым гробом и укрепленной на нем офицерской каской и саблей. Никто не провожал покойника, одиноко простившегося с жизнью в военном госпитале и везомого на Смоленское кладбище. Узнав об этом от солдата-возничего, Николай вышел из экипажа и пошел провожать прах неизвестного офицера, за которым вскоре, следуя примеру царя, пошла тысячная толпа.

Васильевский остров почти такой же, как и ныне. Там перемен мало, только вокруг стоявшего на пустынной площади памятника Румянцеву разведен сад. Тут же неподалеку, в Первой линии, три замечательных дома. В одном жил долгое время баснописец Иван Андреевич Крылов, в двух комнатах большой запущенной квартиры, среди весьма непоэтического беспорядка, в объятиях той лени и неподвижности, которые много лет мешали ему перевесить криво висевшую над его любимым местом и угрожавшую падением на голову картину. Рядом дом, где жил знаменитый историк Николай Иванович Костомаров, изобразитель в художественных образах нашей старой жизни и ее деятелей. Еще далее по Кадетской линии, отделенный от здания Первого кадетского корпуса, стоит двухэтажный каменный дом, дорогой по воспоминаниям для всех, кому близко гражданское развитие родины. Здесь, в конце пятидесятых годов, под председательством графа Ростовцева, заседали редакционные комиссии, выработавшие план и осуществление освобождения крестьян, то есть отмену того ига рабства, которым, по выражению Хомякова, была клеймена Россия. В здании Академии художеств происходили осенние выставки картин. В пятидесятых и начале шестидесятых годов на них толпится публика, чтобы видеть знаменитую картину Иванова «Явление Христа народу» и «Княжну Тараканову» Флавицкого. В нижнем этаже здания, окнами на Неву и «сих громадных сфинксов», проживает вице-президент академии, престарелый граф Федор Петрович Толстой — автор глубоко талантливых и тонких гравюр, и между прочим «Душеньки» во вкусе Флаксмана. Двери его обиталища

гостеприимно открыты для представителей науки и искусства, среди которых частым посетителем является желчный и даровитый поэт Н. Ф. Щербина. Недалеко от академии, не доходя до Шестой линии, на набережной дом с выдающимся балконом-фонарем, где живет очень популярный в Петербурге старый адмирал Петр Иванович Рикорд. Он устраивал Петропавловск-на-Камчатке и командовал затем эскадрой, предназначенной защищать Кронштадт против англо-французского флота в 1854 и 1855 годах, когда грозные по тому времени гранитные укрепления Кронштадта и подводные мины держали вдали винтовые неприятельские корабли на почтительном расстоянии от наших деревянных трехдечных парусных кораблей. Рикорд, живший летом обыкновенно в Полуострове, на своей даче, ворота которой состояли из двух громадных челюстей кита, вывезенных с Камчатки, был человек очень оригинальный. Его величавая наружность, густая серебряная седина, привычка постоянно вставлять в свою речь слова «выходит — вылазит» и интересные рассказы из прошлого невольно привлекали к себе особое внимание слушателей. Он любил вспоминать первые годы XIX века, когда ему пришлось служить под начальством первого морского министра маркиза де Траверсе, в память которого моряки долгое время называли ближайшую к Петербургу часть Финского залива «Маркизовой лужей». Вспоминая о последнем, Рикорд охотно рассказывал характерный случай из служебных нравов того времени. В Кронштадте умер моряк-вдовец, оставивший на попечение своего друга, тоже моряка, двух сирот. Пенсии тогда не существовало, и, истощив свои личные средства, моряк пришел на прием министра просить помощи сиротам, но получил отказ за неимением свободных средств. На следующий прием он пришел опять и выслушал резкое повторение того же. На следующий затем прием он явился снова. Войдя в кабинет и увидев его в числе посетителей, вспыльчивый и раздражительный Траверсе пошел, минуя всех, прямо к нему и закричал: «Ты что же, смеяться надо мной приходишь, несмотря на то что тебе два раза уже отказано?» — и когда моряк горячо повторил просьбу, Траверсе, потерявший самообладание, со словами: «Вот тебе ответ!» — дал ему пощечину и, как это бывает со вспыльчивыми людьми, сразу пришел в себя и остановился, пристыженный, на месте. Получив удар, моряк первое мгновение схватился было за свой кортик, но затем поднес руку к зардевшейся щеке и, бросив на Траверсе печальный взгляд, сказал, показывая на щеку: «Хорошо, ваше сиятельство,

это мне, ну а сиротам-то что же?» Траверсе заплакал, схватил его за руку, и... сироты получили пособие.

Пред университетом были таможенные склады, окруженные узкой полосой чахлого сада с решеткой, на месте нынешнего Гинекологического института. Это так называемый Биржевый сквер, где весной, с приходом кораблей, разными иностранцами открывалась торговля раковинами, черепахами, золотыми рыбками, попугаями и обезьянами. Сюда в это время стекались покушники и молодежь, для которой еще не существовало Зоологического сада. Тут иногда происходили забавные сцены и недоразумения. Рассказывают, что какой-то простолудин из украинцев, любовавшийся серым попугаем и узнавший от продававшего итальянца, что такой стоит 100 рублей, на другой день принес продавать большого петуха и потребовал у желавшего купить тоже 100 рублей, отвечая на его удивление указанием на попугая. «Да ведь он может говорить, — сказал тот, — так за то и такая цена». — «А мой не говорит, но даже думает», — ответил украинец.

Нынешнего Биржевого моста не существовало, и на Петербургскую сторону, имевшую совершенно провинциальный вид, можно было переходить исключительно по Тучкову мосту. Большой проспект, с одной стороны, и запущенный Александровский парк — с другой, вели на Каменноостровский проспект, состоявший из редких построек, перемежавшихся с длинными заборами, за которыми были обширные огороды. Единственное большое каменное здание на этом берегу был Александровский лицей. Строгановский мост соединял Петербургскую сторону и Аптекарский остров с Каменным островом, на котором в июле каждого года, с половины пятидесятых годов, в день семейного праздника царской фамилии давался блистательный фейерверк, причем пускалось сразу громадное количество ракет.

Возвращаемся к деревянному Дворцовому мосту, плывучему, как и все другие на Неве, за исключением Благовещенского, и переходим к Зимнему дворцу. Перед ним большая Дворцовая площадь и другая, менее обширная, примыкающая к набережной Невы. На ней еще не было сада и производились разводы, а во время Крымской войны смотр маршевым батальонам. При одном из таких смотров произошел, по словам Герцена, характерный по тому времени случай, долго служивший темой для разговоров. Проходя по фронту, Николай I заметил у одного из солдат на груди два Георгиевских креста. На вопрос его, когда и где они получены, георгиевских кавалер, из сданных в солдаты се-

минаристов, вспомнив уроки риторики, ответил: «Под победоносными орлами вашего величества». Николай, недовольный такими цветами красноречия, нахмурился и пошел далее, но сопровождавший его генерал подскочил к солдату и, поднося сжатые кулаки к его лицу, прошипел: «В гроб заколочу Демосфена».

Направо от Дворцовой площади начинается скудный бульвар, отделяющий Адмиралтейство от длинной и обширной площади, где впоследствии возник нынешний сад. На этой площади, до разведения сада, строились на масленицу и пасху балаганы, карусели и зимою ледяные горы. Все это представляло чрезвычайно оживленный и оригинальный вид. Голоса сбитенщиков и торговцев разными сластями, звуки шарманок, громогласные нараспев шутки и прибаутки раешников (например: «А вот, извольте видеть, сражение: турки валяются, как чурки, а наши здоровы, только безголовы») и хохот толпы в ответ на выходки «дедов» с высоты каруселей сливались в нестройный, но веселый хор. Представления в некоторых балаганах, например Легата и Лемана, отличались большой роскошью обстановки. В некоторых из них ставились специально написанные патриотические пьесы с эволюциями и ружейной пальбой. В конце тридцатых годов в одном из таких балаганов, двери которого по печальной непредусмотрительности отворялись внутрь, произошел пожар. Публика бросилась бежать, завалила собой все выходы и задохлась в дыму. Очевидцы не могли забыть страшной картины, представившейся им, когда после работы пожарных одна из стен балагана была повергнута на землю.

Гуляющие «на балаганах», по тогдашнему выражению, с любопытством ожидали проезда институток. Их обвозили вокруг площади в придворных четырехместных каретах с лакеями в красных ливреях. Из окон выглядывали молодые лица с выражением бесплодного любопытства, а окружающая мужская молодежь громко расточала комплименты, сердившие хмурых классных дам.

Выходим на Невский, мало с тех пор изменившийся, и идем через Полицейский мост, слишком узкий и послуживший местом печальной катастрофы в конце пятидесятых годов, когда собравшаяся на иллюминацию, по случаю совершеннолетия наследника престола, толпа стеснилась на мосту, так что под напором вновь подхлотивших сломались перила моста, причем многие утонули в Мойке.

Перед Казанским собором площадь лишена растительности. Часовни перед Гостиным двором еще нет, а самый

Гостиный двор представляет собой неуклюжее здание, лишенное нынешних орнаментов. При крайних входах в него расположены лотки торговцев ситниками, баранками и кренделями. В проходах по бокам средних ворот ютятся торговцы пирогами, нередко укоризненно отвечающие потребителю, выражающему неудовольствие на найденный в начинке обрывок тряпки: «А тебе за три копейки с бархатом, что ли?»

Перед Гостиным двором, между зданием и тротуаром, на вербной неделе устраивается пестрый торг игрушками, сластями и предметами домашнего хозяйственного употребления. Любимым развлечением для детей служат длинные узкие стеклянные трубки с водой и стеклянными же чертиками внутри, который опускается вниз при давлении на замыкающую трубку резинку. В конце пятидесятих годов впервые появляются резиновые красные шары, наполненные газом, стоящие первое время по 5 рублей штука и привлекающие общее любопытство, в особенности когда кто-нибудь по недосмотру упустит из рук подобный шар. Пред рождеством это же место наполняется праздничными елками с бумажными гирляндами и другими украшениями.

Против Гостиного двора — Пассаж, составляющий предмет удивления приезжих провинциалов. Внутри его три этажа: в нижнем — магазины и помещения для небольших выставок. Во втором этаже разные мастерские и белошвейные, к которым применимы слова Некрасова из «Убогой и нарядной»: «Не очень много шили там, и не в шитье была там сила». В третьем этаже помещаются частные квартиры, хозяева которых вывешивают под близкий стеклянный потолок клетки с птицами, пением которых постоянно оглашается Пассаж, служащий почему-то любимым местом прогулки для чинов конвоя в их живописных восточных костюмах. Конвертная и театральная зала Пассажа во второй половине пятидесятих годов становится ареной очень интересных собраний и представлений: в ней происходят первые собрания акционеров возникающего общества водопроводов, причем собравшиеся производят такие беспорядки, что председатель, известный финансист Евгений Иванович Ламанский, закрывает собрание заявлением, что мы еще не созрели для публичности. Вслед за тем в Петербурге происходит диспут Костомарова с приехавшим из Москвы академиком Погодиным о происхождении Руси от варягов или от Литвы. Противники оживленно спорят, делая взаимные уступки, при живейшем внимании публики, и Погодин заключает собеседование, указывая на это внимание

как на явный признак того, что мы созрели. Вслед затем по Петербургу ходят шуточные стихи: «Мы созрели, мы созрели, веселись, счастливый росс: из Москвы патент на зрелость академик нам привез».

Вскоре затем в Пассаже начинается ряд литературных чтений, на которых выступают наши выдающиеся писатели. Достоевский с захватывающим искусством и чувством читает эпизоды из «Бедных людей», Писемский играет, ибо иначе нельзя назвать его чтение отдельных мест из «Тысячи душ». Бледнолицый и еще худощавый Апухтин декламирует свои стихи, и Майков постоянно выступает со своими «Полями», причем злые языки шуточно сообщают, будто при появлении на эстраде поэта публика, которой надоело одно и то же стихотворение, встречает автора возгласами из его же произведения: «А там поля, опять поля». Вслед за тем начинаются спектакли в пользу только что образовавшегося Литературного фонда: ставятся «Женитьба» и «Ревизор». Роль Подколесина и городничего превосходно исполняет Писемский, а в числе «аршинников-самоварников» находятся Тургенев, Островский, Некрасов и др. Хлестакова играет П. И. Вейнберг, и необыкновенным талантом отличается безвременно скончавшийся студент Ловягин.

Рядом с Гостиным двором в большой думской зале читаются в 1862 году первые публичные лекции в Петербурге, из предметов университетского курса. На кафедре переполненного зала появляются профессора Петербургского университета, закрытого перед тем вследствие «студенческих беспорядков»: Кавелин, Костомаров, Спасович, Стасюлевич и другие. Лекции пользуются чрезвычайным успехом, но, к сожалению, через два с половиной месяца прекращаются, по почину группы распорядителей, делающей из этого прекращения бесцельную и вредную для просвещения демонстрацию.

Александринская площадь заключает в себе плохо содержимый сквер, окруженный весьма не изящной чугунной решеткой. В нем, в особом павильоне, помещается вафельное заведение госпожи Гебгардт, заседающей за прилавком в своем национальном голландском наряде и в кружевном чепце над металлическими бляхами на висках. Впоследствии она расширяет свои операции и кладет основание Зоологическому саду.

Сзади возвышается прекрасное здание Александринского театра. В то время театр был, в сущности, единственным местом для выражения общественных вкусов, настроений, симпатий и антипатий. Несмотря на то что в первой поло-

вине пятидесятих годов репертуар состоял, за исключением классических пьес, и то с большим цензурным разбором, из пьес псевдопатриотического характера и водевилей, в веселую ткань водевиля, с необходимой его принадлежностью — куплетами, вплеталась иногда ироническая шутка по поводу того или другого общественного явления. Даже такой строгий критик, как Белинский, не мог отказать некоторым из водевилей в признании такого их достоинства. Декорации в Александринском театре были стары и постоянно, невзирая на время и место действия, повторялись. Бутафория была недостаточная и бедная. Освещение не удовлетворяло всем требованиям сценической постановки. Механические приспособления были довольно примитивны, но труппа в общем своем составе была превосходная. Братья Каратыгины, В. В. Самойлов, Брянский, Максимов-первый, Сосницкий и в особенности незабвенный для тех, кто имел счастье его видеть, Мартынов высоко держали знамя своего искусства и видели в своей деятельности не профессию, а призвание. Их появление на сцене заставляло забывать всю неприглядную обстановку тогдашнего драматического театра: самовластие директора, канцелярские и закулисные интриги, нередко непонимание лучших свойств того или другого артиста, цензурные «обуздания», нелепость и неуместность «дивертисмента» и зазывательный характер афиши. Чтобы оценить театральную цензуру, достаточно указать на то, что для постановки «Месяца в деревне» Тургенева было предъявлено требование, чтобы замужняя героиня этого произведения, увлекающаяся студентом, была превращена во вдову. Для характеристики афиш стоит привести лишь названия некоторых пьес: «Вот так пилюли, или Что в рот, то спасибо», «Дон Ранудо де Калибрадос, или Что и честь, коли нечего есть» или «В людях ангел — не жена, дома с мужем — сатана» и т. д.

Самым выдающимся по разносторонности своего таланта был Самойлов. В некоторых ролях своих он был неподражаем. Трогательный до слез в своем безумии, в венке из пучков соломы, король Лир; внезапно просыпающийся из притворного бессилия и слабости Людовик XI; вкрадчивый и грозный в своем властолюбии кардинал Ришелье — надолго запечатлевались благодаря его исполнению в памяти зрителей, и рядом с этим в той же памяти звучал акцент изображаемых им инородцев и необыкновенное умение оттенить комические стороны в водевиле. Каратыгин был артист классической школы, умный и очень образованный, что в то время в этой среде встречалось не часто,

атлетического сложения, с могучим голосом и глубоко обдуманной мимикой. В трагических сценах он производил чрезвычайный эффект, как, например, в последнем действии драмы «Тридцать лет, или Жизнь игрока» или в «Тарасе Бульбе», переделанном для сцены. Но выше всех их был Мартынов. Воспитанник театральной школы, предназначенный для балета и случайно успешно сыгравший в каком-то водевиле, он занял комические роли и достиг в них необыкновенного совершенства. Его мимика, голос, манера держать себя на сцене, смешить, не впадая в карикатуру, сделали из него заслуженного любимца зрительной залы. Один его выход из-за кулис уже вызывал радостную улыбку у зрителей. В упомянутой выше пьесе «Дон Ранудо» в первом действии, изображая старого слугу обедневшего испанского гранда, он появлялся в самой глубине сцены, в конце улицы и, неся кастрюльку в руках, представлял хохочущего. Еще звуков его смеха не было слышно, а уже при одном его появлении театр неудержимо хохотал... И тем не менее комизм не был его настоящим призванием. Это проявилось в конце пятидесятых годов, когда, под влиянием Островского, бытовая драма вытеснила прежнюю сентиментальную и ходульную мелодраму, как, например, «Эсмеральду» и «Материнское благословение», а с ней вместе постепенно упразднила и водевиль. Появление Мартынова в пьесе Чернышева «Испорченная жизнь» и в роли Тихона в «Грозе» открыло в нем такую глубину драматического таланта, такую вдумчивость и «заразительность» влияния его таланта на зрителей, что он сразу недостигаемо вырос, и стало даже как-то странно думать, что этот артист, исторгающий слезы у зрителей и потрясающий их душу, еще недавно шутил на сцене и пел куплеты. Тот, кто слышал обращение Тихона в «Грозе» у трупа утопившейся жены к матери: «Маменька, вы ее погубили! Вы, вы, вы...» — забыть этого не может. Достигнув апогея своего дарования, Мартынов угас. Всенародные похороны его были первым событием такого рода в Петербурге. В них выразилась любовь к артисту, независимая от всякой официальности и нежданно для нее. Это был трогательный порыв настоящей общественной скорби.

И женский персонал труппы стоял на большой высоте. Хотя уже не было Асенковой, но достаточно назвать Снеткову, Жулеву, сестер Самойловых, Читау, Линскую и Гусеву для роли старух. Наконец, в самом начале шестидесятых годов появился на сцене Горбунов, непревзойденный рассказчик сцен из народного быта, умевший с тонким

чувством воздержаться от смехотворных изображений входивших в состав России инородцев: евреев, поляков, армян и финнов, от чего не был свободен даже такой артист, как Самойлов, игравший роль Кречинского с подчеркнутым польским выговором. Не обходилось, конечно, и без некоторых диссонансов в общей стройной гармонии александринской труппы. Среди артистов был некто Т., игравший преимущественно роли «злодеев», никак не могший выучить слово парламент и в одной пьесе, изображающей ожесточенную борьбу парламентских партий, заявивший, несмотря на все усилия суфлера, вместо авторского: «пойду в парламент» — «пойду в департамент», и в знаменитой сцене Миллера с женой в «Коварстве и любви», не найдя пред собой забытой бугафором скрипки, воскликнувший: «Молчи, жена, или я тебе размозжу голову той скрипкой, которая у меня в той комнате», и т. д.

В начале шестидесятых годов веселый и жизнерадостный водевиль сменила оперетка с ее двусмысленностями и опошлением серьезных исторических сюжетов. От оперетки невольный переход к опере и, следовательно, к Большому театру на Театральной площади. И та же цензура простерла свою длань над названиями европейских опер. Из комических, якобы политических соображений, они были переименованы: «Вильгельм Телль» — в «Карла Смелого», «Моисей» — в «Зора», «Пророк» — в «Осаду Гента», «Немая из Портичи» — в «Фенеллу», «Гугеноты», вопреки всякому историческому смыслу, в «Гвельфов и гибелинов». В итальянской опере блистали Тамберлик и Марио, Кальцолари и Ронкони и в конце сороковых годов — певица Альбони, по поводу крайней толщины которой и удивительного голоса остряки говорили, что это слон, проглотивший соловья, а затем — Полина Виардо-Гарсиа, сыгравшая такую роль в жизни Тургенева, и Бозио, трогательно воспетая Некрасовым. Нашему Мартынову в его комическом ампула соответствовал известный бас Лаблаш — большого роста и толщины, иногда в шуточку вставлявший в итальянские речитативы исковерканные русские фразы и большой поклонник Мартынова, говоривший: «Языка его я не понимаю, но его — понимаю». Эта опера посещалась преимущественно великосветским обществом или завзятыми меценатами. Они брезгали русской оперой, которой не особенно занималась и дирекция театров, но которую посещал с любовью средний обыватель, ценивший такие слабые произведения, как «Аскольдова могила», и не понимавший в течение долгого времени красот «Руслана и Людмилы». Самая «Жизнь

за царя» давалась в довольно жалкой обстановке, и ее вывозил лишь талант Петрова. Она все-таки держалась на сцене и в известные дни давалась по установленному ритуалу. Первое же представление «Руслана» было встречено холодно, а когда уехал из театра Николай Павлович, то послышалось шиканье не только из зрительной залы, но даже из оркестра. Бледный и растерявшийся Глинка не знал, выходить ли ему на сцену на жидкие вызовы «автора!», но сидевший с ним в директорской ложе начальник Третьего отделения Дубельт сказал ему: «Иди, иди, Михаил Иванович, Христос больше тебя страдал». Роль Вани в «Жизни за царя» в пятидесятых годах исполняла талантливая певица Леонова. Перед оставлением казенной сцены в шестидесятых годах она, чрезвычайно пополневшая, была заменена другой певицей, очень сухощавой. В одной из современных карикатур они были изображены обе с надписью: «Госпожа NN и ее футляр». В конце пятидесятых годов в русской опере был поставлен «Трубадур» Верди, имевший чрезвычайный успех благодаря талантливой игре и пению тенора Сетова, который затем производил сильное впечатление в роли Елеазара в «Жидовке» Галеви.

Нынешний Мариинский театр имел внутри широкую, круглую арену и, предназначенный для конских представлений, акробатов и вольтижеров, носил название «Театра-цирка». Рядом с ареной была обширная сцена, и все было обставлено весьма роскошно. Лучшие европейские цирковые труппы сменяли одна другую, нередко оставляя в рядах аристократии своих выдающихся наездниц. В театре-цирке давались патриотические пьесы, где к игре актеров присоединялись конские ристания, джигитовка, ружейная — и даже нечто вроде пушечной — пальба. Особенно эффектно была поставлена «Блокада Ахты», по поводу которой рассказывали, что на вопрос проезжавшего мимо государя, что идет в этот день, часовой театра-цирка будто бы ответил: «Блокада Ахвы», объяснив затем такое искажение названия невозможностью сказать царю: «ах-ты!..» На этой арене особенно отличался клоун Виоль, чрезвычайно гибкий и ловкий артист, исполнявший, между прочим, роль орангутанга в пьесе «Жако, или Бразильская обезьяна». Театр-цирк просуществовал, однако, недолго. Он давал большой дефицит, да и публика к нему охладела. В противоположность русской опере в Большом театре ставились с большой роскошью балеты, в которых особенно отличалась Андреева, вместе с подвизавшимися наряду с ней разными иностранными знаменитостями во главе с Фанни Эльслер и

Карлоттой Гризи. Особенно любимыми балетами были «Война женщин» со множеством военно-хореографических эволюций и «Сатанилла» с изображением ада и огромного, извивающегося через всю сцену змея в последнем акте.

Короткая Михайловская улица приводит к Михайловскому дворцу (впоследствии музей Александра III) и Михайловскому театру, где дают представления французская и немецкая труппы. Первая из них заключает в себе перwokлассных артистов, как Бертон, Лемениль и мадам Вольнис, тонкая игра которых доставляет истинное наслаждение. Особенно выдается Лемениль, во многом напоминающий Мартынова, но, конечно, с французским складом. В забавной пьесе «Les rommes du voisin»¹ изображен ряд комических положений, попадая в которые заезжий в новый для него город товарищ прокурора (substitut) воображает себя совершающим различные преступления. Романтические приключения его оканчиваются благополучно, но этому концу предшествует совершение им воображаемого убийства, с самыми мрачными подробностями. В первых двух действиях заставляет публику неудержимо смеяться, но в последнем действии, считая себя бесповоротно вступившим на путь ужасных преступлений, он переставал смешить и возбуждал видом своих душевных переживаний в зрителях и ужас, и сострадание.

В Михайловском дворце проживает великая княгиня Елена Павловна, к которой применимы слова, обращенные Апухтиным к Екатерине II («Недостроенный памятник»); «Я больше русскою была, чем многие, по крови вам родные». Представительница деятельной любви к людям и жадного стремления к просвещению в мрачное николаевское царствование, она, вопреки вкусам и поведению своего мужа, Михаила Павловича, всей душой отдававшегося культуре выправки и военного строя, являлась центром, привлекавшим к себе выдающихся людей в науке, искусстве и литературе, «подвизывала крылья» начинающим талантам и умела умом и участием согреть их. Она проливает в это время вокруг себя самобытный свет среди окружающих безмолвия и тьмы. В то время, когда ее муж — в сущности, добрый человек — ставит на вид командиру одного из гвардейских полков, что солдаты вверенного ему полка шли не в ногу, изображая в опере «Норма» римских воинов, в ее кабинете сходятся знаменитый ученый Бэр, астроном Струве, выдающийся государственный деятель граф Киселев,

¹ «Яблоки соседа» (фр.).

глубокий мыслитель и филантроп князь Владимир Одоевский, Н. И. Пирогов, Антон Рубинштейн и другие. С последним она вырабатывает планы учреждения Русского музыкального общества и Петербургской консерватории и энергично помогает их осуществлению в жизни личными хлопотами и денежными средствами. Благодаря этому в России начал развиваться вкус к серьезной музыке, который до того удовлетворялся модными романсами «Скажите ей» и «Когда б он знал» на одну и ту же музыкальную тему и очень популярными «Голосистым соловьем» Алябьева, «Гондольером» и другими подобными... А когда в начале пятидесятих годов впервые появились в продаже папиросы, то часто исполнялся романс «Папироска, друг мой тайный, как тебя мне не любить?.. Не по прихоти ж случайной стали все тебя курить!» Она же сердечным участием, после истории с князем Чернышевым, удерживает Пирогова от отъезда из России и привлекает к задуманному ею устройству первой в Европе Крестовоздвиженской общины военных сестер милосердия, отправляемых потом под руководством знаменитого хирурга в Севастополь, где их самоотверженная деятельность встречается грязными намеками главнокомандующего князя Меншикова. В ее гостиной собираются и будущие деятели освобождения крестьян во главе с Николаем Милютиным. «Нимфа Эгерия» нового царствования, она всеми силами содействует отмене крепостного права не только своим влиянием на Александра II, но и личным починком по отношению к своему личному имению Карловка.

Невдалеке от дворца, перейдя Мойку, в переулке, ведущем мимо круглого рынка в Большую Миллионную, мы встречаем громадную гранитную глыбу, изображающую в неотделанном виде сидящего колосса, когда-то предполагавшегося к постановке где-то в Петербурге, но подломившего под собою перевозочные приспособления, осевшего почти посредине узкой улицы и так и оставшегося. Лишь в конце семидесятых годов эта безобразная каменная масса была куда-то увезена и, может быть, раздроблена на части.

Идя по Большой Миллионной, мы доходим до Дворцовой площади, влево от которой Певческий мост и близ него на Мойке дом, в котором мучительно окончил свои страдальческие годы Пушкин. Обычное у нас равнодушие к тому, что было светлого в нашем прошлом, сказалось по отношению к последнему обиталищу великого поэта, обратно тому, как это сделано в Германии и Англии относительно Гете и Шекспира. Хотя Тютчев в трогательных стихах, обраща-

ясь к только что убитому Пушкину, говорит: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет», обиталище это не было сохранено и охранено в благоговейном внимании в прежнем виде, и в нем в последнее время помещалось какое-то учреждение полицейского характера.

Еще Некрасов к характеризующим Петербург местам прибавлял: «необозримые кладбища», и если мы захотим их посетить, то прежде всего наше внимание остановит кладбище Александро-Невской лавры, тянущееся по обеим сторонам дороги, ведущей от ворот к внешней ограде монастыря. На правой руке мы найдем могильные памятники, красноречиво говорящие о тех, кто под ними погребен. Достаточно указать на имена Ломоносова, Сперанского, Крылова, Карамзина, Державина, Баратынского и Жуковского, Гнедича и Глинки. Слева надгробные плиты и памятники более отдаленного времени. Вот между ними могила своеобразно знаменитой приближенной фрейлины Екатерины II, Перекусихиной, и вот плачущая мраморная женщина у разбитого молнией дуба, под которым лежит младенец. Эти последние фигуры связаны с трагической судьбой красавца гвардейца Охотникова и печальным существованием жены Александра I, Елизаветы Алексеевны. Вот могила мрачного и зверского Шешковского, начальника тайной канцелярии при Екатерине II, и, наконец, могила президента академии и строгого ревнителя русского языка адмирала Шишкова. Под полом церквей — могилы выдающихся военных и гражданских деятелей.

Впоследствии, в конце шестидесятых годов, когда почти окончательно заполняются эти кладбища памятниками с громкими именами лежащих под ними, постепенно разрастается почти до самой Невы обширное Никольское кладбище. Там есть имена выдающихся деятелей литературы и эпохи великих реформ, но во время нашего обхода Петербурга это кладбище существует еще в самом зачатке. За Обводным каналом — Волково кладбище, богатое впоследствии громкими литературными именами. Достаточно сказать, что на нем лежат Добролюбов и Белинский. Там же могилы Полевого и знаменитого Радищева. Здесь впоследствии нашли последнее упокоение Тургенев, Кавелин, Салтыков, Костомаров и другие. Смоленское кладбище на Васильевском острове приняло в свои недра многих артистов. Мы находим на нем могилы артиста Дюра, мужа и жены Каратыгиных, Мартынова, О. А. Петрова (первого Сусанина в «Жизни за царя») и, наконец, Варвары Николаевны Асенковой, любимой артистки сороковых годов, к которой, через двенадцать лет после ее

кончины, Некрасов обращался со следующими словами: «Но ты, к кому души моей летят воспоминания, я бескорыстней и светлей не видывал создания... Увы, наивна ты была, вступая за кулисы, — ты благородно поняла призвание актрисы... Душа твоя была нежна, прекрасна, как и тело, клевет не вынесла она, врагов не одолела!»

На католическом кладбище Выборгской стороны лежит скончавшаяся в начале шестидесятых годов Бозио — итальянская певица и артистка с удивительным голосом. К ней обращены горестные слова Некрасова: «Дочь Италии! С русским морозом трудно ладить полуденным розам. Перед силой его роковой ты поникла челом идеальным, и лежишь ты в отчизне чужой на кладбище пустом и печальном. Позабыл тебя чуждый народ в тот же день, как земле тебя сдали, и давно там другая поет, где цветами тебя осыпали».

Внутренняя жизнь Петербурга в то время представляет много особенностей, очень отличающих его от недавнего Петербурга девятисотых годов перед роковой войной. В начале пятидесятих годов в городе 450 тысяч жителей. К началу шестидесятих — 600 тысяч. Жизнь общества и разных учреждений начинается и кончается ранее, чем теперь. Обеденный час, даже для званных трапез, четыре часа, в исключительных случаях — пять, причем по отношению к кушаньям и закускам, за исключением особо торжественных случаев, обилие не сопровождается роскошью, как с начала девяностых годов. То же самое и относительно напитков. Далеко не всякий званный обед требует шампанского. В обыкновенные дни на столе у большинства даже зажиточных людей стоят квас и кислые щи.

В пятидесятих годах была чрезвычайно распространена на вечерах игра в лото, а также доверчивое занятие с говорящими столиками. Под влиянием пришедших с Запада учений о спиритизме многие страстно увлеклись этим занятием, ставя на лист бумаги миниатюрный, нарочито изготовленный столик, с отверстием для карандаша, и клали на него руки тех, через кого невидимые духи любили письменно вещать «о тайнах счастья и гроба». Иногда такими посредниками при этом выбирались дети, приучившиеся таким образом к лжи и обману, в чем многие из них впоследствии трагически раскаивались. В гости на званный вечер приезжают в восемь-девять часов, а не на другой день, как это часто случилось впоследствии. Уличная жизнь тоже затихает рано, и ночью на улицах слышится звук сторожевых трещеток дворников.

В начале описываемого периода дамы носят по несколько шумящих крахмальных юбок. Под платьями, снабженными

рядами волагов, высокий корсет, стянутый до крайности, чтобы талия была «в рюмочку». Он в большом употреблении и даже злоупотреблении, с несомненным вредом для здоровья. На него надевали лиф, заканчивающийся книзу острым шипом. Чулки у дам нитяные или шелковые, белые; цветные или полосатые предоставляются лицам, не принадлежащим к так называемому обществу. Подвязки, часто на пружинах, носятся ниже колен. Обувь — башмаки без каблуков, с завязками, или из козловой кожи или материи и прюнелевые ботинки. Кожаные сапожки и туфли на безобразно высоких каблуках явились гораздо позже. Шляпки представляют нечто вроде корзиночки, завязанной у самого горла бантом из широких цветных лент. К шестидесятым годам женские моды круто меняются. От многочисленных юбок остаются только одна-две, а их заменяет кринолин, доходящий иногда до совершенно нелепого и неудобного объема. Шляпы приобретают разнообразный фасон, и среди них одно время выделяются *chapeaux mousquetaires*¹ со средней величины полями, обшитыми вокруг широкой полосой черных кружев.

Мужские моды более устойчивы. С новым царствованием, в половине пятидесятых годов, исчезают у мужчин остроконечные воротнички у рубашек и тугие высокие атласные галстуки на пружинах, заменяясь отложными или просто стоячими воротниками и тонкими узкими галстучками. Почти исчезают и узкие брюки со штрипками, заменяясь одно время очень широкими светло-серыми. В костюмах штатских людей преобладает черный цвет. Длинное пальто «пальмерстон» чередуется с накидкой «крылаткой». Николаевская шинель с пелериной постепенно отходит в область прошлого. Нет обилия всевозможных мундиров, как было в последнее время, и люди менее обвешиваются всевозможными орденами, русскими, иностранными и экзотическими, медалями и значками своей принадлежности к разным благотворительным и спортивным обществам. Праздничный вид петербуржца более скромный, чем впоследствии, когда часто оправдывался рассказ о маленьком ребенке, который на вопрос матери, указывающей на приехавшего с праздничным визитом господина: «Ты знаешь, кто этот дядя?» — отвечал: «Знаю, это елка».

По воскресеньям на Невском и на набережной Невы против дворца происходят обыкновенно гулянья. В начале пятидесятых годов, если появляется на улице барышня «из общества», ее непременно сопровождает слуга в ливрее или

¹ шляпы мушкетеров (*фр.*).

компаньонка. В начале шестидесятых годов эти провожатые исчезают, и появляется фигура «нигилистки», с остриженными волосами и нередко в совершенно ненужных очках. Она заменяется затем скромным видом девушки трудового типа, не находящей нужным безобразить свою наружность для вывески своих убеждений.

Уличные вывески очень пестры, разнообразны и занимают без соблюдения симметрии большие пространства на домах. У парикмахерских, или «цирулен», почти неизбежны изображения банки с пиявками и нарядной дамы, опирающейся рукой на отлете на длинную трость, причем молодой человек, франтовато одетый, пускает ей из локтевой ямки идущую фонтаном кровь. У табачных магазинов непременно два больших изображения: на одном богатый одетый турок курит кальян, на другом негр или индеец, в поясе из цветных перьев и таком же обруче на голове, курит сигару. Нередки вывески «привилегированной» повивальной бабки. Попадают на Старом Невском лаконические вывески «духовного портного». В Большой Мещанской улице есть гробовщик, предлагающий «гробы с принадлежностями» и переводящий это тут же на немецкий язык: «Grabu mit prinadlegnosten». У некоторых публичных зданий и ворот попадают загадочные надписи: «Здесь вообще воспрещается», разъясняемые надписью у ворот летнего немецкого клуба на Фонтанке: «Кто осквернит сие место, платит штраф». Очень много вывесок зубных врачей с плодовитыми фамилиями Вагенгеймов и Валенштейнов. Фотографий мало, и между ними выдвигаются Левицкого и Даутендея.

Уличные развлечения представлены главным образом итальянцами-шарманщиками или савоярами с обезьянкой и маленьким органчиком. До конца пятидесятых годов эти шарманки имеют спереди открывающуюся маленькую площадку, на которой под музыку танцуют миниатюрные фигурки и часто изображаются умирающий в постели Наполеон и плачущие вокруг него генералы. В дачных местностях на окраинах Петербурга водят медведя, который под прибаутки поводырей и звуки кларнета пьет водку и показывает, «как баба горох собирает».

Часто во дворы заходят бродячие певцы, является «петрушка» с ширмами, всегда собирающий радостно хохочущих зрителей, или приходит мальчишка, показывающие сидящего в коробке ежа или морскую свинку и громко возглашающие: «Посмотрите, господа, да посмотрите, господа, да на-а зверя морского!» Местом летних вечерних развлечений для более зажиточной публики служат искусственные минеральные

воды в Новой деревне, где изобретательный И. И. Излер открыл при заведении минеральных вод увеселительный сад с концертным залом, в котором поют тирольский и цыганский хоры. Ярко иллюминированный сад и концерты очень посещаются публикой, которую доставляют из Летнего сада пароходы предпринимателя Тайвани до смены их, гораздо позже, Финляндским пароходством.

При воспоминаниях петербургского старожилы о времени пятидесятых и первой половины шестидесятых годов невольно возникают живые образы людей, пользовавшихся, если можно так выразиться, городской популярностью не по занимаемому ими в обществе, на службе или в науке выдающемуся положению, но потому, что их оригинальная наружность и своеобразная «вездесущность» с массой анекдотических о них рассказов делала их имя чрезвычайно известным. Описание их выходит за пределы нашей статьи, но для примера можно остановиться на одном из них. Это был брат карикатуриста, служивший в театральной дирекции, Александр Львович Невахович, хотя и толстый, но очень подвижный, с добродушным лицом и живыми глазами, всегда и неизменно одетый во фрак. Он славился как чрезвычайный гастроном и знаток кулинарного искусства. Изображение его в карикатурах брата в сборнике «Ералаш» наряду с рассказами об его оригинальностях создали ему большую популярность в самых разнообразных кругах Петербурга. Брат нарисовал его, между прочим, очень похожим, говорящим с маленьким сыном по поводу лотереи-аллегри, которая была одно время очень в моде. «Папа, — говорит мальчик, — на моем выигрышном билете значит обед на двенадцать персон. Где же он?» — «Я его съел!» — отвечает добродушно Александр Львович. Он пользовался особенным расположением министра двора графа Адлерберга, и когда тот со смертью Николая I оставил свой пост, то Невахович уехал за границу. В 1869 году один русский писатель в вагоне железной дороги из Парижа в Версаль встретил его в неизбежном фраке и с отпущенной седой бородой и, услышав его жалобу на скуку заграничной жизни и тоску по России, спросил его, отчего же он не вернется в Петербург. «Невозможно, — отвечал Невахович, — я за тринадцать лет отсутствия растерял почти все знакомства, и меня в Петербурге уже почти не знают, а я был так популярен! Кто меня не знал!.. Возвращаться в этот город, ставший для меня пустыней, мне просто невозможно. Знаете ли как я был популярен? Раз встречаю на улице едущего театрального врача Гейденрейха и кричу ему: «Стой, немец, привезли устрицы, пойдем в

Милютины лавки, угощу!» — «Не могу, отвечает, еду к больному». А когда я стал настаивать, то говорит: «Иди туда, а я приеду». — «Врешь, говорю, немец, не приедешь». — «Ну так пойдем к больному, а оттудова поедем. Я скажу, что ты тоже доктор». Поехали мы. Слуга отворяет дверь, говорит: «Кажется, кончается». А в зале жена больного плачет, восклицая: «Доктор, он ведь умирает!» Вошли мы в спальню. Больной, совсем мне незнакомый, мечется на кровати, стонет. Гейденрейх стал считать его пульс и безнадежно покачал головой. Взглянув на стоявшую в головах больного плачущую жену, стал все-таки утешать больного, который все твердил, что умирает. «Это пройдет, — говорит Гейденрейх, — это припадок». — «Что вы меня обманываете, — проговорил больной, — какой припадок, я умираю». — «Да нет, — говорит Гейденрейх, — вот и другой доктор вам то же скажет», — и указывает на меня, стоящего в дверях. «Какой это доктор?» — спрашивает больной. Остановился на мне глазами да вдруг как крикнет: «Разве это доктор!! Это Александр Львович Невахович!» — и с этими словами повернулся на кровати и испустил дух. Так вот как я был популярен в Петербурге. Так где же уж тут возвращаться...»

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕЛЕ ВЕРЫ ЗАСУЛИЧ

Глубокий возраст, принося свои тягости, вместе с тем дает то преимущество, которое достигается во время путешествий восхождением на большую горную высоту, а теперь, вероятно, дается поднятием на аэроплане; там горизонт перед взором расширяется настолько, что вдруг вместо уголка известной местности она становится видной вся, и то, что оставалось в тени и представлялось навсегда лишенным солнца, оказывается закрытым от его лучей лишь временным туманом.

Целые десятилетия жизни некоторых современников прошли перед глазами, но лишь в совокупности утро, полдень и вечер их жизни рисуют верный образ каждого из них. И приходится видеть иногда, как точно туча закрывала от взора того или другого единственное ценное, вечное и возвышенное, ради чего стоит жить и бороться, что является самым источником жизни! И если бы не дожить еще десяток лет, фигура оцениваемого человека, о котором записаны воспоминания, явилась бы нарисованной иначе. Таков граф Пален, о котором я пишу особо в послесловии. То же можно сказать и об условиях, окружающих человека. Истори-

ческие личности, вырванные из общего уклада своего времени, представляются совсем иными тем читателям, которые не сообразуются с мирозерцанием эпохи, в которой они жили, оценивая их действия отдельно от него. Так Петр I, с нашей точки зрения, представляется олицетворением жестокости, но по сравнению со своей эпохой он в этом отношении таков, как все, и даже в Западной Европе.

Многие могут проверить этот взгляд на себе, вспомнив себя (и окружающих) до германской войны и во время нее. До войны гибель «Титаника» вызывала общий ужас многочисленностью своих жертв: повешение главарей шайки рецидивистов-конокрадов, как саранча опустошавших крестьянские хозяйства в Харьковской губернии, вызывало бессонную ночь и душевные терзания у всех, кого нельзя было назвать «мертвые души». А затем во время войны на нас наросли душевные мозоли, и тот, кто, не пережив всего пережитого, прочел бы почти спокойные сообщения друг другу о гибели целых десятков тысяч человек, мог бы сказать, что в наше время не осталось более не «мертвых душ» среди живых людей.

Важно, чтобы читающий записку мог установить в себе угол зрения того времени, понять взгляды той эпохи.

Нельзя не согласиться с французским историком Gabriel Hannoto (в своей книге «I, Histoire et les Historiens») в том, что миссия истории состоит в собирании плодов с векового опыта и в передаче достижений человечества из поколения в поколение. Вот почему, смотря с этой точки зрения на мемуары и записи прошлого, я печатаю то, что написано мною 45 лет назад, не изменяя ни одного слова. Читая записку о деле Засулич, надо стать на точку зрения людей того времени. Это — подлинные переживания тогдашнего председателя окружного суда (семидесятых годов), которому было в то время около 35 лет, который был во всеоружии всех своих душевных сил и макал перо не в чернила, а в сок своих нервов и кровь своего впоследствии больного сердца, чтобы запечатлеть на бумаге то, что, казалось ему, вписывается как начало новой страницы ее истории в жизнь России.

Этот документ был передан мною в Академию наук для опубликования через 50 лет после моей смерти. Но шаги истории в дни моей старости стали поспешнее, чем можно было это предвидеть, и в лихорадочном стремлении сломать старое ее деятели, быть может, скорее, чем я мог предполагать, будут нуждаться в справках о прошлом ради знакомства с опытом или ради понятной любознательности. Вот почему

я не считаю себя вправе поддаваться желанию кое-что смягчить, кое из чего сделать в ней же выводы. Я не меняю ни одного слова, написанного 45 лет назад, а беседы, встречи и отношения с некоторыми из названных мною лиц описываю в послесловии и надеюсь, что читатель сделает из него напрашивающийся сам собою вывод.

Многие лишь в конце жизни бесплодно относительно всех, в ком вызывали они горькие слезы, раскаялись в том, что не воспользовались тою счастливою возможностью, когда могли бы их не вызвать, а «утереть». Но они раскаялись или выстрадали сами те страдания, от которых хотелось бы видеть человечество избавленным, и резкие слова зрелого возраста в старости хотелось бы вычеркнуть.

...Небо ясно.
Под небом места много всем.
Зачем всечасно и напрасно
Враждует человек... Зачем?

Лермонтов

Итак, вот что записано бывшим председателем по делу Засулич 45 лет тому назад.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

6 декабря 1876 года, прилегши отдохнуть перед обедом у себя в кабинете, в доме министерства юстиции, на Малой Садовой, я был вскоре разбужен горько-удушливым запахом дыма и величайшею суматохою, поднявшеюся по всему огромному генерал-прокурорскому дому. Оказалось, что в канцелярии от неизвестной причины (день был воскресный) загорелись шкафы и пламя проникло в верхний этаж. Горел пол в кабинете помощника правителя канцелярии Корфа и начал прогорать и у меня, в обширной пустой комнате, которая называлась у моего предместника по должности вице-директора А. А. Сабурова «детской».

На внутренней лестнице толпились испуганные чиновники, курьеры; вскоре показались во всех углах пожарные, пришел встревоженный министр, граф Пален, мелькнула фигура градоначальника Трепова. Опасность была устранена очень быстро. Пожарные действовали мастерски, и Пален, в порыве великодушия, на казенный счет велел им выдать 1000 рублей серебром в счет скудных остатков по министерству юстиции за сметный год. Из этой же суммы было почерпнуто и пособие, тоже в одну или полторы тысячи, на поправление сгоревшего кабинета барона Корфа, хотя и до

и после пожара этот кабинет неизменно состоял из дрянной сборной мебели, двух-трех старых столов и бесчисленного количества папиросных мундштучков всех форм и величин, лежавших на них.

Еще не утихли беготня и беспорядок в моих комнатах и на прилегающих лестницах, еще у меня в кухне старались привести в чувства захлебнувшегося дымом пожарного, как Пален прислал за мною, прося прибыть немедленно. Я застал у него в кабинете: Трепова, прокурора палаты Фукса, товарища прокурора Поскочина и товарища министра Фриша. Последний оживленно рассказывал, что, проходя час тому назад по Невскому, он был свидетелем демонстрации у Казанского собора, произведенной группой молодежи «нигилистического пошиба», которая была прекращена вмешательством полиции и народа, принявшегося бить демонстрирующих... Ввиду несомненной важности такого факта в столице, среди бела дня, он поспешил в министерство и застал там пожар и Трепова, подтвердившего, что кучка молодых людей бесчинствовала и носила на руках какого-то мальчика, который помахивал знаменем с надписью: «Земля и воля». При этом Трепов рассказал, что все они арестованы — один сопротивлявшийся был связан — и некоторые, вероятно, были вооружены, так как на земле был найден револьвер. То же повторили Фукс и Поскочин, приступившие уже к политическому дознанию по закону 19 мая 1871 года.

Пален после обычных «охов» и «ахов», то заявляя, что надо зачем-то ехать тотчас же к государю, то снова интересуясь подробностями, спросил, наконец, Фриша и меня, как мы думаем, что следует предпринять? Вопрос был серьезный. Министр был в нерешительности и подавлен непривычностью неожиданного события, а Трепов, который, конечно, в тот же день и во всяком случае не позже утра следующего дня стал бы докладывать государю и притом в том смысле, как бы на него повлияло совещание у министра юстиции, ждал и внимательно слушал. Революционная пропаганда впервые выходила на улицу, громко о себе заявляя, и сохранить по отношению к ней хладнокровие и спокойную законность значило проявить не слабость, а силу и дать камертон всем делам подобного рода на будущее время. Я ждал ответа Фриша с тревогою, зная по многократным прежним опытам, что для удержания Палена от необдуманного или поспешного и произвольного шага на него надежда плохая. «Что делать?» — сказал Фриш, и, медленно оглянув всех своим холодным, стальным взглядом, он приподнял обе руки, сжал их указательные и большие пальцы и, быстрым движением от-

дернув одну от другой книзу, как будто вытягивая шнурок, сделал выразительный щелчок языком... «Как? — невольно вырвалось у меня. — Повесить? Да вы шутите?!» Не отвечая мне, он наклонил голову по направлению к Палену и сказал спокойно и решительно: «Это — единственное средство!» Прирожденная порядочность и сердечная доброта Фукса проступили сквозь тину слепого усердия по политическим дознаниям, в которую он погрузился, к счастью, лишь на время, и он, растягивая слова и выражаясь по обыкновению запутанно, стал, однако, протестовать против такого взгляда. Пален взглянул на меня вопросительно, и я сказал, что для меня это дело так еще не ясно, что даже и начатые дознания по закону 19 мая кажутся мне преждевременным. То, что произошло на Казанской площади, представляется нарушением порядка на улице, по которому следует предоставить полиции произвести обыкновенное расследование. Если обнаружатся признаки политического преступления, то никогда не поздно передать дело жандармам. Все арестованы, вещественные доказательства взяты, следовательно, правосудие и безопасность ничего потерять не могут, а общественное спокойствие и достоинство власти только выиграют, если дело не будет преждевременно раздуто до несвойственных ему размеров. Что же касается до взгляда Фриша, то я думаю, что он не говорит и не думает в данном случае серьезно... Фукс и Поскочин стали доказывать, что дознание уже начато, а Фриш холодно сказал: «Я уже высказал свое мнение: оно основано на статье Уложения о наказаниях». Пален, видимо, не разделяя его мнения, опять поохал и поохал; по обыкновению, с детской злобою в лице, назвал участников демонстрации «мошенниками» и, ни на что не решившись, отпустил нас...

Этот день был во многих отношениях роковым для многих из нас, и, в сущности, из всех связанных с ним последующих событий один лишь Фриш выбрался благополучно. И вот ирония судьбы: Фуксу, смутившемуся предложением Фриша и бывшему всегда, по совести, противником смертной казни, пришлось через четыре с половиною года подписать смертный приговор Желябову, Перовской и их товарищам и все-таки вызвать против себя упреки свыше «за неуместную мягкость», выразившуюся в том, что он позволил уже признанным виновными подсудимым поговорить между собою на скамье подсудимых, покуда особое присутствие писало неизбежную резолюцию о лишении их жизни через повешение. А Фриш через пять с половиною лет, забыв свое многозначительное «щелканье», подписал журнал Комиссии по со-

ставлению нового Уложения о наказаниях, в котором приводились всевозможные доводы против смертной казни, и хотя она и удерживалась ввиду исключительных обстоятельств для особо важных политических преступлений, но мудрости Государственного совета коварно и лукаво предоставлялось разделить взгляды Комиссии и отменить смертную казнь и по этим преступлениям, а, идя со мною за гробом М. Е. Ковалевского через шесть лет, он же доказывал, что казнь «мартисов» была политической ошибкой и что Россия не может долго существовать с тем образом правления, которым ее благословил господь... *Tempora mutantur!*¹

Демонстрация 6 декабря 1876 года, совершенно беспочвенная, вызвала со стороны общества весьма равнодушное к себе отношение, а со стороны «народа» — кулачный отпор. Извозчики и приказчики из лавок бросались помогать полиции и бить кнутами и кулаками «господ и девок в платках» (плетках). Один наблюдатель уличной жизни рассказывал Боровиковскому про купца, который говорил: «Вышли мы с женою и дитею погулять на Невский; видим, у Казанского собора драка... я поставил жену и дите к Милютиным лавкам, засучил рукава, влез в толпу и — жаль только двоим и успел порядком дать по шее... торопиться надо было к жене и дитю — одни ведь остались!» — «Да кого же и за что вы ударили?» — «Да кто их знает, кого, а только как же, помилуйте, вдруг вижу, бьют: не стоять же сложа руки?! Ну, дал раза два кому ни на есть, потешил себя — и к супруге...» «*Si non è vero, è ben trovato!*»²

Но в истории русских политических процессов демонстрация эта играет важную роль. С нее начался ряд процессов, обращавших на себя особое внимание и окрасивших собою несколько лет внутренней жизни общества. Громадный процесс по жихаревскому делу еще только подготавливался, а процессы о пропаганде, или, как они назывались даже у образованных лиц из прокуратуры, «о распространении пропаганды», велись неслышно, без всякого судебного «спектакля», в Особом присутствии сената. Это были отдельные, не связанные между собою дела о чтении и распространении «вредных книг», вроде «Сказки о четырех братьях», «Сказки о копейке» или «Истории французского крестьянина», очень талантливо переделанной из романа Эркман-Шатриана. В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего «образа мыслей», в деле же о пре-

¹ Времена меняются (*лат.*).

² Если это и неверно, то хорошо придумано (*ит.*).

ступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее «образ действий».

Эти отдельные процессы не привлекали ничего внимания, кроме кружка юристов, среди которых иногда ходили слухи, что первоприсутствующий Особого присутствия с 1874 года сенатор Александр Григорьевич Евреинов ведет себя неприлично — раздражительно, злобно придираясь к словам подсудимых и вынося не в меру суровые приговоры. Слухи эти были не лишены основания. Сухой, изможденный старик, с выцветшими глазами и лицом дряхлого сатира, Евреинов представлял все задатки «судии несправедливого», пригодного для усердного и успешного ведения политических дел. Я помню, что раз, летом 1875 года, я встретил его утром на петергофском пароходе, шедшем в Петербург. «Вот еду судить этих мерзавцев, — сказал он мне, — опять с книжками попались, да так утомлен, что не знаю, как и буду вести дело. Вчера государю было угодно потребовать институток Смольного института в Петергоф, ну и я, как почетный опекун, должен был с ними кататься и всюду разъезжать, а потом после обеда в Монплезир приехал он с великими князьями и приказал институткам танцевать, шутил, дарил им конфеты и т. д. Пришлось все время быть на ногах, а тут еще сам подходит ко мне и с улыбкой спрашивает: «А ты, старик, что же не идешь плясать?» Я отвечаю: «Прикажете, государь, и я танцевать стану!» — «Нет, не нужно», — милостиво ответил мне он. А тут вот это дело — суди эту сволочь, уж где мне после вчерашнего-то дня!»

Но, как бы то ни было, процессы эти велись как-то особо от хода всей судебной жизни и нимало на нее не влияли. Совершенно иначе дело стало с 6 декабря. [...]

Вслед за процессом по казанскому делу слушался в феврале 1877 года процесс «50-ти», подготовленный в Москве и обнимавший разные группы обвиняемых, довольно искусственно между собою связанные по существовавшему в Москве методу соединять однородные дела в одно, придавая ему громкое название, вроде «дело червонных валетов», и т. д. По делу «50-ти» судебное следствие велось очень бурно. Обвиняемые делали разные заявления резкого свойства, судьи теряли самообладание... В воздухе носились тревога и озлобление, и впервые новый суд делался ареною личных препирательств между судьями и утратившими доверие к их беспристрастию раздраженными подсудимыми. Многие из этих подсудимых явно выказывали полное равнодушие к ожидавшему их наказанию и лишь пользовались случаем высказать излюбленные теории и мрачноутопические надеж-

ды. Особенно потрясающее впечатление произвела своею грубою энергией речь рабочего Петра Алексева, и смущенный и растерявшийся председатель выслушал, не останавливая его, воззвание о скорейшем приходе того времени, когда мозолистый кулак рабочего сотрет с лица русской земли самодержавное самовластие и все гнилые учреждения, которые его поддерживают. На подобные выходы судьи отвечали явным проявлением раздражения и гнева и принимали невольно характер стороны в процессе, не могущей относиться хладнокровно к разворачивающейся перед нею судебной драме.

И в этом, и в последующих процессах этого рода выдающуюся роль играл по своей придирчивости и совершенно не судейской односторонности сенатор Николай Оттович Тизенгаузен. Он принадлежал к тем правоведам, которые, будучи возмущены самодурными выходками графа Панина, уходили в другие ведомства и, преимущественно в начале нового царствования, в либеральное морское министерство. Там пробыл он до самой судебной реформы и был, как говорили, сотрудником «Колокола» в его лучшие годы. Как бы то ни было, в правоведческом мире он слыл за «красного». Но этот «красный» ввиду красного сенаторского мундира радикально переменял окраску. В 1877 году по рукам в Петербурге ходили «Подписи к портретам современников» Боровиковского. К портрету Тизенгаузена относились следующие, к сожалению, справедливые строки:

Он был горячим либералом...
Когда б, назад пятнадцать лет,
Он чудом мог полюбоваться
На свой теперешний портрет?!
Он даже в спор с ним не вступил бы,
Сказал бы крепкое слово
И с величайшим бы презреньем
Он плюнул сам себе в лицо.

Обвинителями в этих двух процессах выступали Поскочин и Жуков. В сущности, они вели себя порядочно, особенно в сравнении с тем, что пришлось впоследствии слышать с прокурорской трибуны. Поскочина, впрочем, обвиняли в каких-то инквизиторских приемах при дознании и даже сочинили по этому поводу целую скабрёзную историю, мало правдоподобную и имевшую характер злобной клеветы. Относительно же Жукова случилось следующее довольно комическое совпадение. Он был запутан в долгах по горло. Для того чтобы спасти его имение от окончательной гибели, над ним была учреждена по высочайшему повелению опека,

и указ о ней был напечатан в «Правительственном вестнике» в день начатия процесса «50-ти», так что некоторые из защитников, шутя, готовились протестовать против требований прокурора, если ввиду суда не будет на них согласия его опекунов. Во всяком случае было странно видеть обвинителем увлекающейся и увлеченной молодежи зрелого человека, не имеющего вследствие своего легкомыслия даже правоспособности к управлению собственными имущественными делами.

Судьи Особого присутствия для этих дел назначались ad hoc¹ из наиболее «преданных» сенаторов. То же делалось и по отношению к сословным представителям. На месте городского головы, когда-то занятого в этих процессах, Погребова, вполне подтверждавшего слова Достоевского, что «на Руси люди пьяные — всегда и люди добрые, и добрые люди — всегда люди пьяные», прочно утвердилась темная личность одесского Новосельского, который тем горячее писал и проповедовал в петербургских гостиных (куда являлся вечно в вицмундире со звездой) о своей готовности «искоренять и карать», чем громче раздавались в местной одесской печати толки о неблагоприятных сделках одесского городского головы с английскими предпринимателями городского водопровода.

В качестве губернского предводителя приглашался сначала нижегородский предводитель С. С. Зыбин. Сын богатых родителей, он в 1861 году, во время студенческих волнений в Петербурге, весьма либеральничал, ходил умышленно в грязном и разорванном платье, кипел негодованием при виде карет с красными придворными лакеями и подарил мне, как товарищу по университету, свою карточку, изображавшую его в рубахе-грешневике и высоких сапогах, со штофом и огурцом в руках... После закрытия университета он удалился в деревню, а в 1876 году камергер Зыбин являлся к министру юстиции заявлять, что «если нужно», то он готов послужить отечеству в составе Особого присутствия по политическим делам. Его услугами воспользовался Пален в течение целого года, но неосмотрительность канцелярии лишила его этого добровольца благонадежности. Летом 1877 года Зыбину было вновь послано приглашение принять участие в политическом процессе, но по ошибке на конверте он, особа IV класса «зауряд», был назван лишь высокородием; это его так оскорбило, что он возвратил приглашение «как не к нему относящееся» и написал обижен-

¹ для данного случая (лат.).

ное письмо к Палену. Тот нашел, что Зыбин *est trop difficile*¹, и с тех пор в этих процессах стали появляться черниговский предводитель Неплюев и старая, но «твердая в вере» развалина — тверской князь Борис Мещерский.

Как характеристика того, из среды каких людей назначались судьи в Особое присутствие, мне вспоминается вечер, бывший в феврале 1877 года у принца Ольденбургского для воспитанников и преподавателей учебных заведений, состоявших под его покровительством (я был в это время профессором в Училище правоведения). На вечере были государь и, конечно, все министры. Государь был очень весел, играл в карты и, когда в зале раздались звуки мазурки, прошел, улыбаясь, среди почтительно расступившихся рядов в залу, удлинняя в такт мазурки шаги. В зале он, между прочим, подозвал к себе Палена и стал с ним говорить в амбразуре окна. В это время кто-то взял меня за локоть. Это был сенатор Борис Николаевич Хвостов, бывший вице-директор и герольдмейстер, фактотум и креатура Замятнина. «Как я рад, что вас вижу, — сказал он мне, — мне хочется спросить вашего совета; ведь дело-то очень плохо!» — «Какое дело?» — «Да процесс 50-ти... Я сижу в составе присутствия, и мы просто не знаем, что делать: ведь против многих нет никаких улик. Как тут быть? а? Что вы скажете?» — «Коли нет улик, так оправдать, вот что я скажу...» — «Нет, не шутите, я вас серьезно спрашиваю: что нам делать?» — «А я серьезно отвечаю: оправдать!» — «Ах, боже мой, я у вас прошу совета, а вы мне твердите одно и то же: оправдать да оправдать; а коли оправдать-то неудобно?!» — «Ваше превосходительство, — сказал я, взбешенный, наконец, всем этим, — вы — сенатор, судья, как можете вы спрашивать, что вам делать, если нет улик против обвиняемого, то есть если он невиновен? Разве вы не знаете, что единственный ответ на этот вопрос может состоять лишь в одном слове — оправдать! И какое неудобство может это представлять для вас? Ведь вы — не административный чиновник, вы — судья, вы — сенатор!» — «Да, — сказал мне, не конфузясь нисколько, Хвостов, — хорошо вам так, вчуже-то говорить, а что скажет он?..» — и он мотнул головою в сторону государя, продолжавшего говорить с Паленом. «Кто? Государь?» — спросил я. «Ах, нет, какой государь! — отвечал Хвостов. — Какой государь! Что скажет граф Пален?!»

Весною, в конце марта или начале апреля, государь

¹ предельно труден в общении (*фр.*).

обратил внимание на увеличение случаев открытой пропаганды и приказал министрам юстиции, внутренних дел, народного просвещения и шефу жандармов обсудить в Особом совещании меры для предупреждения развития пропаганды с тем, чтобы предварительно, до начатия совещания, ему была представлена программа занятий гг. Палена, Тимашева, Толстого и Потапова. Для выработки программы, в свою очередь, было условлено собрать каждому по своему ведомству выдающихся лиц и с ними обсудить программу и меры. Задумано это было недурно, и если бы было честно выполнено, то могло бы привести к весьма серьезным результатам. Но какой-то злой гений тяготел над внутренней жизнью России, да и надежды, впрочем, на прямодушное и откровенное изложение пред государем всего, что было бы высказано на предварительных совещаниях, было мало. Самый честный между этими министрами был Пален. Он стоял все-таки выше своих товарищей по совещанию: бездушного и пустого царедворца Тимашева, злостного и стоящего на рубеже старческого слабоумия Потапова, всегда проездом останавливавшегося в Майнце, чтобы, как он рассказывал Палену, «показать язык статуе Гуттенберга», и злого гения русской молодежи — Толстого. Но и он был прежде всего типичный русский министр — не слуга своей страны, а лакей своего государя, дрожащий и потерянный пред каждым докладным днем и счастливый после каждого доклада тем, что еще на целую неделю ему обеспечены казенная квартира и услуги предупредительного экзекутора.

В четверг на страстной неделе 1877 года, вечером, были собраны у Палена за круглым столом в кабинете: Фриш, прокуроры палат Жихарев, Фукс, Евреинов и Писарев, правитель канцелярии Капнист и я. Несколько позднее явился директор департамента Адамов — толстый правовец, вскормленный департаментом, ловкий и отлично знавший языки исполнитель, человек без всяких убеждений, женившийся на чрезвычайно богатой дочери генерала Шварца и имевший вследствие этого до ста тысяч рублей серебром годового дохода, что давало ему право ненавидеть республику во Франции и сочувствовать роялистам, причем о той и о других он составлял себе, как сам выражался, понятие по своей любимой газете «Фигаро».

Пален начал с речи о том, что государю угодно знать, какие же, наконец, меры следует предпринять против пропаганды, и что он, Пален, желает знать наше мнение, ничего не предпреляя, однако, заранее.

Первым стал говорить Евреинов (прокурор одесской

судебной палаты), человек вообще весьма порядочный, несмотря на то что общее увлечение политическими дознаниями и страстью «искоренять» захватило и его, приводя порой к предложению таких мер, которые сводили его к роли главы сыщиков, подсылаемых в разные слои общества. Так, в том же 1876 году он просил министра юстиции снести с шефом жандармов о командировании в его распоряжение, с ассигнованием особой суммы, четырех сыщиков, которых можно было бы ввести в среду студентов, в среду еврейской молодежи, в общество и т. д., причем каждый из них должен был обладать соответствующим средним образованием и внушать к себе доверие. Эти лица должны были действовать по его непосредственным указаниям для раскрытия виновников бесчеловечного и ужасного обезображения Гориновича. Я не дал этой бумаге хода, щадя достоинство прокурорского надзора... Но все-таки в среде «волкодавов», которые делали себе карьеру в то время, Евреинов выделялся своею порядочностью и посылал подобные просьбы, подавленный господствующим на Руси приглушением нравственного чувства и, быть может, «не ведая, что творит». Но в совещании у Палена он поразил всех. «Я думаю,— сказал он,— что для того, чтобы говорить о мерах, необходимо быть уверенным в их действительности, а таковая бывает лишь при единстве министров, знающих притом общественные нужды, что, в свою очередь, возможно лишь при их ответственности и началах представительства; теперь же, без этого, все меры будут нецелесообразны...» Пален вспыхнул: «Ваше превосходительство говорите о конституции?! Государь этим не уполномочил вас заниматься! Мы не имеем права рассуждать об этом!» После нескольких лишенных значения замечаний Писарева, вертевшихся в заколдованном круге политических дознаний, стал говорить скучно, вяло и очень неопределенно Фукс, в котором неудачная конкуренция с Жихаревым и нелепое, хотя искреннее, поклонение пред величием Шувалова как государственного человека совсем затмили, к счастью не навсегда, симпатичный и благородный образ старого харьковского председателя. Указывая, что пропаганда идет из Швейцарии, он предлагал «лишить пропаганду почвы, вырвать с корнем ее побеги, погасить ее очаг», но какими мерами это сделать, не объяснял. Меня раздражила эта фразистика, лишенная содержания, и я спросил Палена, не предлагает ли прокурор с.-петербургской палаты объявить войну Швейцарии, где, по его мнению, все эти очаги и корни пропаганды, идущей из-за границы, и не следовало ли бы нам при-

гласить представителя от министерства иностранных дел для советов по этому международному вопросу. Пален укоризненно покачал мне головой, а Фукс обиженно огрызнулся и пошел тянуть ту же туманную и беспочвенную канитель. Ему отвечал Жихарев, доказывавший, что вся причина пропаганды в том, что народ можно поддеть на вопросе о малоземелье, которое будто бы вызывается общинным устройством сельского быта. Надо-де его уничтожить, и всякая пропаганда исчезнет за неимением почвы. Фриш хитро помалкивал, Пален принимал усталый вид, а будущий попечитель московского учебного округа Капнист, красный и сонный, переваривал свой обед и старался под столом снять свои ботинки, которые ему вечно жали ноги. Когда очередь дошла до меня, я указал на то, что революционная партия, переменяв тактику и перестав обращаться, как было в 60-х годах, непосредственно к обществу, приглашая его произвести переворот (прокламации, «Колокол» и т. д.), и увидев невозможность сделать это своими собственными средствами (нечаевские кружки), вербует новые силы среди молодежи и посылает ее «в народ», возбуждая в ней благородное сострадание к народным бедствиям и желание ему помочь. Народу же она твердит постоянно и всеми путями две вполне понятные ему и очень чувствительные для него вещи: «мало земли», «много податей». Школа в том виде, как она у нас существует, не только не парализует этого уловления молодежи, но еще, со своей стороны, бездушным приемом и узостью содержания преподаваемого содействует ему. Чем в действительности можно повлиять на ум, на душу молодого человека, юноши — честного и увлекающегося, которого влечет на ложный и опасный путь доктрины «хождения в народ» и его дальнейших последствий? 1) Указанием на историю и дух русского народа, который существенно монархичен, понимает революцию лишь во имя самодержца (самозванцы, Пугачев, Разин, со ссылкой на сына царя Алексея Михайловича) и способен только произвести отдельные вспышки русского бунта «бессмысленного и беспощадного». Но родной истории почти не преподают в наших классических гимназиях, а народный дух узнается из языка, литературы, пословиц народа, между тем все это в загоне и отдано на съедение древним языкам. 2) Указанием на органическое развитие государственной жизни, на постепенность и историческую преемственность учреждений, на невозможность скачков ни в физической природе страны, ни в политической ее природе. Но с органическим развитием знакомит изучение природы, а естественные

науки тщательно изгнаны из наших гимназий. И наконец, 3) указанием на то, что организация законодательной деятельности государства дает исход, законный и спокойный, пожеланиям народного блага и удовлетворению нужд страны. Но сможет ли мало-мальски думающий человек по совести сказать, что, несмотря на давно общесознанные потребности страны, наше законодательство не спит мертвым сном или не подвергается гниению «в действии пустом»? Молодой человек среди множества примеров этому может, например, со злою ирониею указать на то, что гонимый малоземельем, чрезмерными сборами (а они чрезмерны!) и отсутствием правильной организации переселения крестьянин вынужден покидать семью и хозяйство и массами уходить в отхожие промыслы в город. Но там просрочка паспорта, или его утрата, или злоупотребления волостного писаря и т. д. и т. п. влекут за собою высылку по этапу и медленное, но верное его возвращение, а придя на родину и отыскивая фабричную или просто поденную работу, он становится в положение вечной войны с нанимателем, ибо юридические отношения их ничем не определены и последствия их ничем не обеспечены... Для устранения или уменьшения этого зла учреждены по существующему порядку комиссии: в 1873 году под председательством Игнатьева о рабочей книжке и о личном найме; в 1871 году под председательством Сольского об изменениях паспортной системы, а еще в 1868 году под председательством Валуева об изменении системы податей и о замене подушной подати другою, более справедливою системою сборов. Первая из них выработала правила о найме и положение о рабочей книжке как регуляторе и следе юридических отношений нанимателя и наемника; вторая проектировала отмену паспортов и замену их свидетельствами о личности, легко получаемыми раз навсегда; третья... третья ничего не проектировала. Но что же вышло из этих работ? Ничего, кроме пожизненной пенсии членам игнатьевской комиссии. Введение рабочей книжки отложено до разрешения паспортного вопроса, так как она регулирует лишь отношения, вытекающие уже из осуществления договора о найме, а паспорт служит не только соединением платежной единицы с платежным центром, но и обеспечением исправности нанявшегося на работы в его явке и обеспечении данного ему задатка; паспорта же не отменены, несмотря на полное согласие таких компетентных лиц, как с.-петербургский градоначальник и министр финансов, потому что для платежа подушной подати паспорт с его невыдачею из волости не-

доимщику есть единственная гарантия, и, следовательно, надо думать, чем заменить подушную подать так, чтобы подать платилась там, где получается доход от труда; подушная же подать не отменена (1877 г.) потому, что комиссия о податях ничего не сделала, и т. д. «Где же ваша законодательная деятельность, могущая доставить удовлетворение чувству, возмущенному зрелищем народных тягот и лишений?» — скажет молодой человек... Мы ему ответим, что надо погодить, что придет время, что когда-нибудь законодательная наша машина двинется скорее и т. д. Но так, господа, может рассуждать человек, охлажденный годами, в котором сердце бьется медленно и для которого пожизненная пенсия может уже сама по себе представляться завидным и вполне отрадным результатом занятий законодательной комиссией, но так не думает, так не может думать человек, в котором «сил кипит избыток». Он отвертывается в сторону, где вместо слов предлагают дело, и бросается в объятия революционера, который его давно сторожит и указывает ему на путь, на котором написаны заманчивые для молодого сердца слова: «борьба», «помощь народу», «самопожертвование» и т. д. Поэтому две меры в высшей степени необходимы: пересмотр системы среднего образования в смысле уменьшения преподавания классицизма и возвращения к гимназиям уваровского типа и оживление, действительное и скорое, законодательного аппарата новыми силами и новым устройством, при котором будут, наконец, энергически двинуты назревшие и настоятельные вопросы народной жизни, без вечных недомолвок и соображений о том: «ловко ли?», «удобно ли?» и т. д. Относительно же лиц, уже обвиняемых в пропаганде, необходима большая мягкость. Указания на ст. ст. 250—252 Уложения о наказаниях слишком жестоки. Эти поселения, эти годы каторги, которая заменяется каменным гробом центральных тюрем, — это все убивает молодые силы, которые еще пригодились бы в жизни страны, ожесточая до крайности тех из общества, кто по родству, знакомству или занятиям близок осужденным, и смущает совесть самих судей. Можно даже обойтись без уменьшения максимума этих наказаний, пусть только будет понижен минимум до ареста на один месяц. Тогда судам можно будет прилагать справедливое, а не жестокое наказание. Это сделать необходимо и возможно без всякой законодательной ломки Уложения. Теперешняя же система очень часто необдуманного и жестокого преследования не только не искоренит зла, но лишь доведет озлобление и отчаяние преследуемых до крайних пределов...

Против меня восстал с необыкновенной горячностью Адамов. Его флегматическая фигура совершенно преобразилась. «Граф, — сказал он, задыхаясь от волнения, — то, что говорит г-н вице-директор, очень красноречиво, но совершенно не относится к делу. У него оказываются виноватыми все, кроме действительно виновных! Виновато правительство, виноват Государственный совет, виноваты мы сами с нашими судами. Нет, не о послаблениях надо думать, не о смягчениях, а надо бороться с этими господами всеми средствами! Я откровенно скажу: я их ненавижу и рукоплещу всем мерам строгости против них. Эти люди — наши, мои личные враги. Они хотят отнять у нас то, что нажито нашим трудом (Адамов, получивший средства богатою женьтибою, очевидно, понимал труд в очень широком смысле!), и все это во имя народного блага! Нет, граф, умоляю вас: не поддавайтесь этим теориям. Я нахожу, что Особое присутствие недостаточно еще строго к ним относится...» И, запыхавшись, весь бледный, он остановился. Жихарев довольно улыбнулся, а Пален вытаращил на Адамова глаза и обратился к Фришу. «Я нахожу, — сказал тот холодно и решительно, — что из соображений, здесь высказанных, лишь одно имеет практическое значение: это — уменьшение минимума наказаний за государственные преступления. Но это затрагивает слишком важный вопрос о пересмотре Уложения, каковой является теперь несвоевременным; притом же уменьшение наказания, сделанное вне пересмотра всего Уложения, будет несправедливо по отношению к тем, кто уже осужден...» — «Но ведь им тоже можно смягчить в путях монаршего милосердия», — возразили мы с Евреиновым. «Какие смягчения! Какие смягчения! — завопил Адамов. — Я вполне согласен с его превосходительством Эдуардом Васильевичем!» — «Да! это все надо сообразить... сразу нельзя...» И он позвонил. Вошли слуги с холодным ужином à la fourchette..., и совещание окончилось.

Во время ужина произошел маленький эпизод, оставивший во мне суеверное воспоминание. Адамов отказался от ужина. «Отчего? — спросил Пален. — Разве вы не ужинаете?» — «О! нет, — отвечал Адамов, — я люблю ужинать, но сегодня страшной четверг, и я ем постное...» Меня возмутило его фарисейство, и, раздраженный всем происходившим, я громко сказал, обращаясь к Палену: «Вот, граф, Владимир Степанович считает грехом съесть ножку цыпленка и не считает грехом настаивать на невозможности снисходительно и по-человечески отнестись к увлечениям молодежи...» — «Позвольте мне иметь свои религиозные

убеждения! — вскричал Адамов. — И свои политические мнения!» — «Да я и не мешаю вам их иметь и, к сожалению, не могу помешать, но только вот что, — сказал я, теряя самообладание, — быть может, недалек тот час, когда вы предстанете перед судьей, который милосерднее вас; быть может, несмотря на ваше гигантское здоровье, этот час уже за вашими плечами и уже настал, но еще не пробил... Знаете ли, что сделает этот судья, когда вы предстанете перед ним и в оправдание своих земных деяний представите ему список своих великопостных грибных и рыбных блюд?.. Он развернет пред вами Уложение и грозно покажет вам на те статьи, против смягчения которых вы ратовали с горячностью, достойной лучшей цели!..» — «Господа, господа, — заговорил начавший уже дремать Пален. — Анатолий Федорович, прошу вас, перестаньте спорить; прения окончены, это уже личности...» Через несколько времени мы разошлись. Пален удержал меня на минуту. «Да, вот видите, любезный Анатолий Федорович, и вы, и Евреинов правы, но вот видите, это... это невозможно... и никто не примет на себя смелости сказать это государю... и во всяком случае не я. Нет, покорнейший слуга, покорнейший слуга!» — сказал он, иронически раскланиваясь и разводя руками...

Через два дня я узнал, что Адамов внезапно заболел, ходит в полубреду и чрезвычайной испарине по комнатам и чувствует себя очень слабым. В первый день пасхи, зайдя к его жене, я встретил в дверях хмурого и озабоченного Боткина, а на другой день получил письмо Адамова с просьбою вступить за него в управление департаментом... У него открылась острая Брайтова болезнь — последствие бывшей в детстве скарлатины, и час его смерти наступал неминуемо и неотвратимо... Он пробил для него через три месяца, в далекой Баварии, в шарлатанском заведении пресловутой Wunderfrau, которая была в страшном негодовании на то, что раздутое водянкою тело блестящего гофмейстера и богача перестало жить прежде, чем покинуло ее гостеприимный и целебный кров...

Совещание министров так и не состоялось. Я не знаю, созывали ли они по принадлежности своих «сведующих людей», в лице попечителей, губернаторов и жандармских штаб-офицеров, но только на мой вопрос: не составить ли краткий журнал нашего совещания, Пален махнул безнадежно рукою, сказав: «Ах, нет, до того ли теперь!» И действительно, отношения к Турции принимали грозный оборот, и 12 апреля была объявлена ей война. Внутренние обстоя-

тельства отошли на задний план, и началась кровавая трагедия, предпринятая будто бы с целью удовлетворить общественное мнение, на которое прежде не обращалось, однако, никакого внимания и выразителями которого теперь являлись полупьяные и свихнувшиеся с пути добровольцы и проникнутые воинственным азартом газеты, ко взглядам которых в прежние годы и по вопросам, близко касавшимся России, правительство, внимательное ныне, оставалось обыкновенно презрительно глухо.

Эта же зима, с декабря 1876 года по апрель 1877 года, ознаменовалась и особою агитациею в пользу употребления телесных наказаний против политических преступников. Мысль о возможности наказывать их розгами бродила еще с 1875 года. При вступлении моем в должность вице-директора Пален дал мне для прочтения записку, составленную, по его словам, Фришем, тогда еще обер-прокурором сената, об учреждении особых специальных тюрем для политических преступников, где предполагалось подвергать мужчин в случаях дисциплинарных нарушений телесному наказанию до ста ударов по постановлению особого совета, состоявшего при каждой из таких тюрем. Пален, передавая мне эту записку для хранения впредь до востребования, уменьшил число ударов до шестидесяти и зачеркнул слова « мужского пола ». Это были, однако, лишь неопределенные и сравнительно робкие попытки ввести телесное наказание для уже приговоренных политических преступников, и притом не за их преступления, а за дисциплинарные нарушения... Но в конце 1876 года за эту мысль, освобожденную уже от всяких стеснительных условий, взялись совершенно беззастенчивые руки. Летом этого года я встретил вечером у баронессы Раден статс-секретаря князя Д. А. Оболенского, типического барича, слегка будирующего правительство, вспоминающего о своих друзьях — Николае Милютине, Черкасском, Соловьеве и т. п. и с большим интересом рассказывающего о кружке великой княгини Елены Павловны, в котором он был, по-видимому, видным и уважаемым членом. При этом он с грустью говорил о том неудовольствии, которое возбудил он в государе, прямодушно раскритиковав годичный отчет министра народного просвещения графа Толстого, переданный на рассмотрение его как члена Государственного совета. В ламентациях его на свое положение слышалась тайная похоть к какому-либо министерскому портфелю; но в общем он производил впечатление довольно порядочного и очень интересного человека. Мы заболтались до поздней ночи и вышли вместе,

продолжая разговор среди наступавшего рассвета. Мне не хотелось спать; разговаривая, мы пошли по Невскому и дошли до дома графини Протасовой, где он жил. Здесь он стал упрашивать меня зайти хоть на минутку, желая мне прочесть что-то, что «вылилось у него из души». Я вошел; заспанные и несколько удивленные лакеи подали вино, и он стал читать записку, которая начиналась пышным вступлением о мудрости Екатерины Великой и знании ею людей. Затем, после нескольких красиво округленных, но бессодержательных фраз, делался внезапный переход к политическому движению в России и рекомендовалось подвергать политических преступников вместо уголовного взыскания телесному наказанию без различия пола... Эта мера должна была, по мнению автора, отрезвить молодежь и показать ей, что на нее смотрят как на сборище школьников, но не серьезных деятелей, а стыд, сопряженный с сечением, должен был удерживать многих от участия в пропаганде. «Что вы скажете?» — спросил он меня, обращая ко мне красивое и довольное лицо типа хищной птицы с крючковатым носом... «Кому назначается эта записка?» — спросил я, приходя в себя от совершенной неожиданности всего, что пришлось выслушать. «Государю! Пусть он услышит голос своего верного слуги. Но я хочу знать ваше мнение, я вас так уважаю». — «Вы или шутите, — отвечал я, — или совершенно не понимаете нашей молодежи, попавшей на революционную дорогу, если думаете испугать и остановить ее розгами. Опозорив правительство, возмутив против него массу порядочных людей, вы все-таки не достигнете цели. Политические преступники будут свивать себе мученические венцы из розог, будут указывать на свои истязания как на лучшее оправдание своей ненависти к правительству и не только не станут скрывать своего сечения, но найдутся и такие, которые будут *a titre d'estime*¹ вымышлять даже, что их секли. Вы вызовете яростное ожесточение в молодежи и глубокое негодование в людях, чуждых революционным тенденциям. Какой отец простит вам сечение своей взрослой дочери? Какой «сеченый» сочтет возможным стать впоследствии другом порядка, каким он легко и без позорного забвения своего унижения может стать даже после годов каторги? Наказывайте подданного, когда он нарушает положительный закон, но не убивайте чувства собственного достоинства в человеке! И можно ли советовать такую меру государю,

¹ чтобы снискать уважение (*фр.*)

отменившему телесное наказание?! Нет, князь, вы выбрали плохое средство снять с себя неудовольствие государя...» Оболенский очень сконфузился, стал защищаться, доказывать, что это лишь проект, что ничего определенного он сам не решил, что мое мнение ему очень важно и т. д.¹

Уже взошло солнце, когда я вышел от этого милого господина, который, как оказалось, сумел, сверх Государственного совета, забраться на теплое местечко председателя совета учетного и ссудного банка с 25 000 рублей жалованья «за представительство» и, готовя розги для девушек, которых полуголодное неразумение толкало на чтение и распространение запрещенных книжек, в то же время объяснял, что его дочь, выходя замуж, будет иметь всего лишь 25 000 (рублей) дохода, восклицая с отчаянием: *mais c'est presque la misère!*²

Вылившаяся из души Оболенского мысль потекла по петербургским салонам и кабинетам quasi³ государственных людей, принимая в себя сочувственные ручейки. Чаще и чаще стали заговаривать о необходимости отнять у политических преступников право считать себя действительными преступниками, опасными для государства, а поставить их в положение провинившихся школьников, заслуживающих и школьных мер исправления: карцера и розги... даже прекрасные уста наших великосветских дам не брезгали этим предметом... «Да, скажите, — говорила изящная и по-своему добрая графиня К., — скажите, почему же нельзя сечь девушек, если они занимают пропагандой? Я этого не понимаю!» — «Если вы, милая, образованная женщина и мать семейства, мать подрастающих дочерей, не понимаете, почему нельзя сечь взрослых девушек, и спрашиваете это у меня, у мужчины, то я не могу вам этого объяснить... Представьте себе лишь, что вашу бы дочь, лет восемнадцати, высекли...» — «О! — отвечала мне моя собеседница с выражением презрительной гордыни, — мои дочери в пропаганду не пойдут!»

Вскоре явились у князя Оболенского и конкуренты отно-

¹ Князь Оболенский пошел дальше по пути предположений об уголовных реформах. В 1887 г. в Ясной Поляне наш великий писатель граф Л. Н. Толстой рассказывал мне, что в начале 80-х годов он встретился по какому-то поводу с ним и князь Оболенский серьезно ему доказывал, что для сокращения побегов важных преступников их следовало бы ослеплять и тем отнимать у них физическую возможность бежать... что было бы и дешево и целесообразно. (*Примеч. автора.*)

² но это — почти нищета (*фр.*).

³ будто бы (*лат.*).

сительно предложения спасительного сечения. Особенно между ними выдвигался председатель с.-петербургского окружного суда Лопухин, родственник Оболенского, человек несведующий и безнравственный, «хищник последней формации», о котором еще будет речь впереди. Он тоже носился с какой-то запискою, читал ее даже некоторым сослуживцам своим по суду и поднес ее графу Палену. В ней проект сечения был разработан по пунктам, и, помнится, оно должно было производиться без различия пола секомых «чрез полицейских служителей». Пален тоже начинал под влиянием всего этого что-то проричать относительно сечения и на мои возражения, приведенные выше, отвечивал обыкновенно, что «это все теории»...

Я удержал у себя прилагаемый к этой рукописи рапорт прокурора полтавского суда «об открытии лиц, принадлежащих к революционным партиям», на котором рукою Палена положена следующая резолюция: «Необходимо исходатайствовать закон, на основании которого училищному начальству предоставляется право подвергать телесному наказанию всякого студента или ученика, занимающегося пропагандою».

Начавшаяся война положила предел этим проектам. Но они образовали свой осадок, всплывший в свое время на поверхность... К эпохе сладких мечтаний о розге относится очень характеристичный случай, рассказанный мне Верою Аггеевною Абаза. Оболенский опоздал на обед у члена Государственного совета К. К. Грота, где был и один из вреднейших людей царствования Александра II, тормозивший всю законодательную деятельность, хитрый и умный российский Полоний — князь Сергей Николаевич Урусов, председатель департамента законов и начальник II Отделения. Извиняясь, Оболенский объяснил свой поздний приезд пребыванием в суде, на процессе «50-ти», причем сказал: «Ну вот, на что это похоже? Девчонке какой-то, обвиняемой в пропаганде, председатель говорит: «Признаете ли вы себя виновною? Что вы можете сказать по поводу этого свидетеля?» и т. д. А та рисуется и красуется!.. Эх, думал я... разложил бы я тебя да высыпал бы тебе сто штук горячих, так ты бы иначе заговорила, матушка! Вся дурь прошла бы! Право! Поверьте, вышла бы из нее добрая мать семейства, хороший человек за себя замуж взял бы!» Все потупились и молчали... «Извините меня, ваше сиятельство, князь Д. А., — прервал молчание Урусов, низко, по обыкновению, кланяясь, — извините меня! Я на сеченой не женюсь!»

Утром 13 июля 1877 года я был в Петергофе, где накануне обедал с И. И. Шамшиным у Сольского, а затем ночевал у моего старого товарища Пассовера. Я собирался уехать на десятичасовом пароходе, но в Нижнем саду было так заманчиво хорошо, Пассовер был в таком ударе, его замечательный ум так играл и блистал, а день был воскресный, что я решился остаться до часа... Когда я вернулся домой, в здание министерства юстиции, мне сказали, что у меня два раза был Трепов, поджидал довольно подолгу и, наконец, уехал, оставив записку: «Жду вас, ежели возможно, сегодня в пять часов откушать ко мне». Вслед затем пришел Фукс, несколько расстроенный, и рассказал мне, что Трепову не поклонился в доме предварительного заключения Боголюбов и был за то по приказанию Трепова высечен, что произвело чрезвычайный переполох в доме и крайнее возбуждение среди арестантов. То же подтвердил приехавший вслед за Фуксом товарищ прокурора Платонов, заведовавший арестантскими помещениями. Он рассказал все подробности. Оказалось, что Трепов, приехав часов в десять утра по какому-то поводу в дом предварительного заключения, встретил на дворе гуляющими Боголюбова и арестанта Кадьяна. Они поклонились градоначальнику; Боголюбов объяснялся с ним; но когда, обходя двор вторично, они снова поровнялись с ним, Боголюбов не снял шапки. Чем-то взбешенный еще до этого, Трепов подскочил к нему и с криком: «Шапку долой!» — сбил ее у него с головы. Боголюбов оторопел, но арестанты, почти все политические, смотревшие на Трепова из окон, влезая для этого на клозеты, подняли крик, стали протестовать. Тогда рассвирепевший Трепов приказал высечь Боголюбова и уехал из дома предварительного заключения. Сечение было произведено не тотчас, а по прошествии двух часов, причем о приготовлениях к нему было оглашено по всему дому. Когда оно свершилось под руководством полицеймейстера Дворжицкого, то нервное возбуждение арестантов, и преимущественно женщин, дошло до крайнего предела. Они впадали в истерику, в столбняк, бросались в бессознательном состоянии на окна и т. д. Внутреннее состояние дома предварительного заключения представляло, по словам Платонова, ужасающую картину. Требовалась помощь врача, можно было ожидать покушений на самоубийства и вместе с тем каких-либо коллективных беспорядков со стороны арестантов. Боголюбов, вынесший наказание безмолвно, был немедленно переведен в Литовский замок. Прокуратура, как видно было из рассказов Фукса и Платонова, ограничилась

слабыми и недействительными протестами и, по-видимому, потеряла голову...

Все эти известия произвели на меня подавляющее впечатление. Я живо представлял себе этот отвратительный дом предварительного заключения, с его душными, лишенными света камерами, в которых уже четыре года томились до двухсот человек политических арестантов, преимущественно по жихаревскому делу. Тоска одиночества сделала их изобретательными: они перестукивались и разговаривали в отверстия ватерклозетных ящиков, задыхаясь от испарений, чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность сказать и услышать живое слово. Годы заключения сделали свое дело и разрушительно подействовали на организм большинства из них. Одиночество, неизвестность, томительность ожидания, четыре года почти без света и движения (в первый год существования дома прогулки были организованы так, что на каждого заключенного приходилось не более десяти минут в месяц!), подавленные страсти в самый разгар их пробуждения — все это, сопутствуемое цингой, доводило арестантов до величайшего нервного раздражения и душевного возбуждения. Недаром с начала жихаревского политического дела в одиночных камерах русских тюрем насчитывалось 68 человек умерших, лишивших себя жизни или сошедших с ума политических арестантов. И тут-то, среди такого болезненно чувствительного, нервно расстроенного населения, разыгралась отвратительная сцена насилия, ничем не оправдываемого и безусловно воспрещаемого законом. Еще за месяц до этого сенат разъяснил категорически, что телесному наказанию за дисциплинарные нарушения приговоренные к каторге подлежат лишь по прибытии на место отбытия наказания или в пути, при следовании этапным порядком. Приговор же о Боголюбове еще не вошел в законную силу, ибо еще не был получен Особым присутствием указ об оставлении его кассационной жалобы без последствий. Я пережил в этот печальный день тяжкие минуты, перечувствовал те ощущения отчаяния и бессильного негодования, которые должны были овладеть невольными свидетелями истязания Боголюбова при виде грубого надругательства силы и власти над беззащитным человеком, который притом, будучи студентом, конечно, далеко уже ушел от взгляда «отчего и не посець мужика»... Я ясно сознавал, что все это вызовет бесконечное ожесточение в молодежи, что сечение Боголюбова будет эксплуатироваться различными агитаторами в их целях с необыкновенным успехом и что в политических процессах с 13 июля начи-

нает выступать на сцену новый ингредиент: между судом и политическими преступниками резко вторгается грубая рука административного произвола.

Глубоко огорченный всем этим, я пошел к Палену, которого застал в беседе с одним хитроумным Улиссом правоведческого мира — Голубевым. «Какая тяжелая новость!» — сказал я ему. «Да! И кто мог этого ожидать так скоро, — отвечал Пален. — Как жаль, что все это случилось! Я очень, очень огорчен». — «Я не только огорчен, я просто возмущен, граф, и уверяю вас, что эта отвратительная расправа будет иметь самые тягостные последствия». — «Какая расправа? О чем вы говорите?» — изумленно спросил меня Пален. «О происшествии в доме предварительного заключения». — «Ах, помилуйте, я совсем о другом! Наш достойнейший Владимир Степанович Адамов умер! Вот телеграмма его жены; какое несчастье!» — «Ну, это несчастье еще не большое и легко поправимое, но то, что произошло в доме предварительного заключения, действительно несчастье! — сказал я. — Разве вы не знаете, граф, что там наделал Трепов?» Пален вспыхнул и запальчиво сказал мне: «Знаю и нахожу, что он поступил очень хорошо; он был у меня, советовался, и я ему разрешил высечь Боголюбова... Надо этих мошенников так!» — и он сделал энергический жест рукою... Хитроумный Улисс поспешил удалиться от щекотливого разговора, в котором, пожалуй, пришлось бы высказать свое мнение... «Но знаете ли, граф, что там теперь происходит?» И я рассказал ему все, что передал мне Платонов. «Ах! — продолжал горячиться Пален, размахивая сигарой. — Ну что же из этого? Надо послать пожарную трубу и обливать этих б... холодной водою, а если беспорядки будут продолжаться, то по всей этой дряни надо стрелять! Надо положить конец всему этому... Я не могу этого более терпеть, они мне надоели, эти мошенники!» — «Это не конец, а начало, — сказал я ему, теряя самообладание, — вы не знаете этих людей, вы их вовсе не понимаете, и вы разрешили вещь совершенно противозаконную, которая будет иметь ужасные последствия; этот день не забудется арестантами дома предварительного заключения; *c'est plus qu'un crime, c'est une faute*¹, это не только ничем не оправдываемое насилие, это — политическая ошибка...» — «Ах! оставьте меня в покое, — вышел Пален из себя. — Какое в ам дело до этого? Это не касается департамента министерства юстиции; позвольте мне действовать,

¹ это больше чем преступление, это — ошибка (фр.)

как я хочу, и не подвергаться вашей критике; когда вы будете министром, действуйте, как знаете, а теперь министр — я и в советах не нуждаюсь...» — «Вы говорили мне не то, граф, когда настаивали на моем переходе в министерство юстиции из прокуратуры, и роль, которую вы мне предлагали, не была ролью пассивного свидетеля мер, против которых нельзя не возражать». — «Ах! вы так смотрите на вашу службу...» — пробормотал Пален. Наступило тяжелое молчание... Я передал ему некоторые спешные бумаги и вышел, взволнованный и возмущенный тупым озлоблением этого человека, который мнил себя руководителем правосудия и ухмылялся с видимым удовольствием, когда узнал, что по-польски он титулуется «minister sprawiedliwości»¹.

Целый день провел я в чрезвычайном удручении, и мысль выйти в отставку соблазняла меня не раз. Но что было бы этим достигнуто? Со смертью благородного, твердого и умелого товарища министра Эссена в министерстве юстиции не было никого, кто составлял хотя бы некоторый противовес Палену в его сумасбродных выходках и мнениях. Преемник Эссена — Фриш ставил своею задачею лишь приискивать и придавать законную форму этим мнениям, упорно уклоняясь от всяких разногласий со своим патроном. Все остальное по своему положению не могло иметь влияния, и хотя законодательным отделением и управлял вполне честный и добрый человек Андрей Александрович Бенкендорф, но я не имел уверенности, что проведу его в вице-директора на свое место. Уйти теперь — значило разнуздать совершенно прокуроров палат относительно применения закона 19 мая и оставить массу вопросов первостепенной важности на жертву бездушной канцелярской формалистики, представители которой стали бы праздновать победу. Я решил ждать, пока хватит терпения...

Три дня я не ходил с бумагами к Палену, посылая их ему при кратких записках. Он возвращал мне их довольно медленно, но с согласием на мои предложения. Секретарь министерства передавал мне, что министр после столкновения со мною был тоже расстроен, на другой день казался нездоровым и вообще был очень не в духе... Когда мы увиделись и вели объяснения на чисто формальной почве, он сказал мне: «Я прошу вас продолжать исправлять должность директора... я хочу остановиться с назначением преемника Адамову», давая тем понять, что он признает не-

¹ «министр справедливости» (пол.), т. е. министр юстиции.

возможным назначением меня директором, несмотря на мое несомненное на то право. Меня это только порадовало, избавляя от неприятных объяснений при отказе от должности, которая приковывала бы меня надолго к ненавистному департаменту. Но в самом департаменте то, что я не был назначен директором, произвело большую сенсацию, и вокруг меня началось то неуловимое чиновничье «играй назад», которое испытывал всякий бюрократ, вставший в немилость. Вообще с рокового дня 13 июля давно уже натянутые отношения между мною и Паленом обострились окончательно. Он только терпел меня, тяготясь мною и, видимо, все более и более склоняясь на сторону нелюбимых им когда-то правоведов, с их покладистым мирозерцанием и исполнительностью. Еще в мае того же года, ввиду предстоящего увеличения состава кассационных департаментов, он предлагал мне место прокурора харьковской палаты. Не желая принимать эту искаженную законом 19 мая должность и покидать мою скромную кафедру в Училище правоведения, я отказался, но заявил, что с удовольствием принял бы место председателя с.-петербургского окружного суда. Теперь и я, и, по-видимому, он нетерпеливо ждали скорейшего окончания реформы в сенате, которая избавила бы его от моего, как он говорил, «постоянного противодействия», а мне раскрыла бы снова потерянный рай любимой судебной деятельности...

14 июля днем ко мне приехал Трепов узнать, отчего я не хотел у него обедать накануне. Я откровенно сказал ему, что был и возмущен и расстроен его действиями в доме предварительного заключения, и горячо объяснил ему всю их незаконность и жестокость не только относительно Боголюбова, но и относительно всех содержащихся в доме предварительного заключения, измученных нравственно и физически долгим и томительным содержанием, которое и сам он не раз признавал таковым, собираясь даже жаловаться государю на переполнение тюрем политическими арестантами. Трепов не стал защищаться, но принялся уверять меня, что он сам сомневался в законности своих действий, и поэтому не тотчас велел высечь Боголюбова, который ему будто бы и а г р у б и л, а поехал посоветоваться к управляющему министерством внутренних дел князю Лобанову-Ростовскому, но не застал его дома. От Лобанова он отправился к начальнику III Отделения Шульцу, который, лукаво умывая руки, объявил ему, что это — вопрос юридический, и направил его к графу Палену. До посещения Палена он заходил ко мне, ждал меня, чтобы посоветовать-

ся, как со старым прокурором, и, не дождавшись, нашел в Палене человека, принявшего его решение высечь Боголюбова с восторгом, как проявление энергической власти, и сказавшего ему, что он не только не считает это неправильным, но разрешает ему это как министр юстиции... Несколько смущенный этою не совсем ожидающею поддержкою Палена и, быть может, желая услышать совершенно противоположное, чтобы с честью выйти на законном основании из ложного положения, он, Трепов, снова зашел ко мне, но меня не было... Медлить долее было неудобно, надо было выполнить то, что он пообещал в доме предварительного заключения, и полицеймейстеру Дворжицкому было поручено «распорядиться». «Клянусь вам, Анатолий Федорович, — сказал Трепов, вскакивая с кресла и крестясь на образ, — клянусь вам вот этим, что, если бы Пален сказал мне половину того, что говорите вы теперь, я бы призадумался, я бы приостановился, я бы иначе взыскал с Боголюбова... Но, помилуйте, когда министр юстиции не только советует, но почти просит, могу ли я сомневаться? Я — солдат, я — человек неученый, юридических тонкостей не понимаю! Эх, зачем вас вчера не было?! Ну, да ничего, — прибавил он затем, — теперь там уже все спокойно, а им на будущее время острастка... Боголюбова я перевел в Литовский замок. Он здоров и спокоен. Я ничего против него не имею, но нужен был пример. Я ему послал чаю и сахару. А в доме предварительного заключения теперь все успокоились. И когда это окончится, это проклятое жихаревское дело?! Да, трудное наше положение. Я так и государю скажу, когда он придет... Я ведь — солдат, я юридических тонкостей не понимаю. Я спрашивал совета у министра юстиции. Он разрешил! Если что неправильно — это его вина. Вы ведь знаете: когда мне объяснят, что «закон гласит», я всегда послушаюсь, так вы на меня не сердитесь!.. Ведь мое положение трудное, надо столицу охранять... о ни все на войне, а я тут сиди да соблюдай порядок, когда все распущено! И зачем они эту войну затеяли?» и т. д. И Трепов удалился, по-видимому, тоже чувствуя себя не по себе... Я не знаю, пил ли Боголюбов треповский чай и действительно ли он — студент университета — чувствовал себя хорошо после треповских розог, но достоверно то, что через два года он умер в госпитале центральной тюрьмы в Ново-Белгороде, в состоянии мрачного помешательства.

История в доме предварительного заключения не осталась безгласной. В «Новом времени», в № 502, она была рассказана довольно подробно и перепечатана в других газе

тах. Но в это время она прошла довольно незаметно. Только что произошли две несчастные «Плевны», и общество, устремив жадные и испуганные взоры за Дунай, мало интересовалось своими внутренними делами. Иное значение, как оказалось впоследствии, имела эта история в среде революционной партии. Не с процесса Засулич, как думали близорукие и тупоумные политики, а с сечения Боголюбова надо считать начало возникновения террористической доктрины среди нашей «нелегальной» молодежи. С этого момента идея «борьбы» затемняется идеєю «мщения», и, оскорбляемая уже не одним произволом, но доведенная до отчаяния прямым и грубым насилием, эта молодежь пишет на своем знамени «око за око...». Видимое спокойствие, водворившееся в доме предварительного заключения после 13 июля, было, как оказалось впоследствии, лишь покрывалом для самых возмутительных насилий со стороны расшатавшегося местного начальства. 19 июля я получил от Е. А. Гернгросс — доброй и сострадательной женщины — письмо на ее имя от старушки Волховской, матери политического арестанта. Письмо это было написано «слезами и кровью».

«Простите великодушно смелость, — писала она, — что, имея чести знать вас лично, но только слыша о вас постоянно, как о человеке, во всякое время готовом прийти на помощь ближнего; смелость эту дало мне отчаяние, переполняющее мою скорбную душу. Вчера я имела свидание с сыном, находящимся в доме предварительного заключения, и нашла его в ужасном положении как физически, так и нравственно. Его, человека измученного трехлетним одиночным заключением, человека больного, с окончательно расстроенными нервами, страдавшего всю зиму невралгией, оглохшего совершенно, его били городовые! Били по голове, по лицу, били так, как только может бить здоровый, но бессмысленный, дикий человек в угоду и по приказу своего начальника, — человека, отданного их произволу, беззащитного и больного узника. Потом они втолкнули его в какой-то темный карцер, где он пролежал беспомощный до тех пор, пока кому-то, из сострадания или страха, чтобы он там не умер, угодно было освободить его. Все эти побои производились городовыми в присутствии полицейского офицера, состоящего помощником начальника тюрьмы, и когда мой сын обратился к нему с вопросом, за что и почему его так жестоко оскорбляют, и просил его обратить внимание на то, что он никакого сопротивления не делает, что готов идти добровольно, куда желают, тот только махнул рукой, и они

продолжали свое жестокое, бесчеловечное дело до тех пор, пока его не заперли в карцер. Каково его нравственное состояние, я не берусь да и не сумею описать вам. Состояние же моей истерзанной души вы, как мать, как женщина с сердцем, вы поймете легко и простите, что я обращаюсь к вам, прошу вас, умоляю вас всем, что для вас свято и дорого, научите меня, куда и кому мне прибегнуть, у кого искать защиты от такого насилия, насилия страшного, потому что оно совершается людьми, стоящими высоко и до сего дня стоявшими и во мнении всего общества так же высоко. Молчать я не могу, видя, как хладнокровно точат нашу кровь! Я пойду всюду, куда бы вы мне ни указали! Прежде я да и все мы надеялись, что дети наши окружены людьми, что начальство — люди развитые и образованные, но вот те, которые поставлены выше других, выше многих, не постыдились поднять руку на безоружных, связанных по рукам и ногам людей, не задумались втоптать в грязь человеческое достоинство! Где же гарантия? Нам говорят, что осужденный не есть человек, он — ничто; но ведь мой сын еще не осужден, он еще может быть [и] оправдан! Но мне кажется, что для человека и осужденный все остается человеком, хотя он и лишен гражданских прав. А мы удивляемся туркам. Чем же мы счастливее тех несчастных, на помощь которым так охотно идет наш народ, идем мы все и во главе народа ося царская семья? И в то же время наших детей в отечественных тюрьмах замучивают пытками, забивают посредством наемных людей, сажают в нетопленные карцеры без окон, без воздуха и дают глотками воду, да и то изредка! Разве это не жуткая пытка? Много бы еще сказала я вам, но сил душевных недостает мне вспоминать все эти ужасы. Скажите, такими ли способами успокаивают молодые, горячие головы? С истинным почтением и полным уважением к вам, ваше превосходительство, остаюсь Екатерина Волховская. 17 июля 1877 г.»

Письмо говорило само за себя, и я послал его Платонову, прося разъяснить мне, ввиду его сообщений, что в доме предварительного заключения все успокоилось и вошло в свою колею. «Письмо г-жи Волховской, — отвечал он мне, — содержит в себе, к нашему величайшему стыду, сущую правду». Далее в письме указывалось, что смотритель даже на требование его, Платонова, не хотел освободить Волховского из карцера и что вообще факт с ним — лишь один из многих в том же роде, о которых будет сказано в особом представлении по начальству. 29 июля вследствие этого представления к Палену поступил рапорт Фукса, где содер-

жались указания на самые вопиющие злоупотребления и прямые злодейства начальства дома предварительного заключения. Оказалось, что, ободренное сечением Боголюбова, оно устроило повальную расправу с политическими арестантами. Их сажали огулом в карцер, не обращая внимания на правого и виноватого в произведенном 13 июля шуме, и держали там по нескольку дней. При этом многих из них били, били жестоко и с разными ухищрениями, надевая, например, на голову мешки, чтобы заглушить крик. Из карцеров по целым дням не выносились нечистоты, и для наиболее неугодных начальству арестантов был даже устроен особый тесный и темный карцер, рядом с паровую топкою, нагревающею все здание, вследствие чего температура в карцере становилась при отсутствии всякой вентиляции невыносимою. Посаженым в этот карцер не ставили воды, а изредка лишь давали «отпивать». Товарищ прокурора, посетивший эти карцеры, дважды впадал в дурноту от удушающего воздуха и смрада «параши» и продуктов разложения, в которых завелись черви. Фукс взывал о вмешательстве Палена, ссылаясь на то, что начальство дома предварительного заключения не слушается прокуратуры, а жалобы на него градоначальнику и в комитет для высшего заведования домом остаются без последствий. И действительно, председатель этого комитета князь Лобанов-Ростовский, недовольный назначением в комитет своего личного врага — Трепова, не собирал членов в заседания, и сообщения прокурора палаты клались вследствие этого под сукно. Пален, очевидно, сознавая, что он связал себя данным Трепову разрешением сечь Боголюбова, ограничился лишь препровождением рапорта Фукса градоначальнику по 1085-й статье, а тот ограничился лишь сменой смотрителя Курнеева с зачислением в штат полиции.

Я прилагаю к настоящей записке в копии рапорт Фукса. Быть может, этот документ когда-нибудь в руках спокойного историка внутренних политических смут, которые так взволновали нашу жизнь за последние годы, послужит ценным указанием на то, где надо искать начало тому жестокосердному отчаянию, которого мы были затем свидетелями. «Кто сеет ветер — пожнет бурю», — гласит св. писание, и этот рапорт, при всей своей официальной сухости, наглядно рисует нам, как и когда сеялся тот ветер, из которого выросла кровавая буря последующих лет...

Осень 1877 года застала общество в самом удрученном состоянии. Хвастливые надежды, возлагавшиеся на нашу боевую силу, заставлявшие даже в «высоких сапогах» ви-

деть сильно действующее на турок средство и признавать военный гений даже в великом князе Николае Николаевиче-старшем, не осуществились.

Три «Плевны», одна неудачнее другой, нагромоздившие целые гекатомбы безответных русских солдат (этой, по циническому выражению генерала Драгомирова, «серой скотины»), доказывая, что у нас нет ни плана, ни единства действий и что победа вовсе не связана с днем высочайшего тезоименитства, были у всех на глазах, наболели у всех на сердце... Самодовольная уверенность в несомненном поражении «врагов святого креста» сменилась страхом за исход войны, и все начинали невольно прислушиваться к зловещим предсказаниям западной прессы... Наступали всеобщее уныние и тревога. Политический кредит России за границей падал, а во внутренней ее жизни все замолкло, как будто всякая общественная деятельность прекратилась. Но в этой тишине министерство юстиции торопливо ставило на подмостки судебной сцены громадный политический процесс по жихаревскому делу. Обвинительный акт, над составлением которого товарищ обер-прокурора Желеховский прохладился ровно год, был окончен и отпечатан.

В октябре предстояло разбирательство этого процесса, умышленно раздутого «спасителями отечества» до чудовищных размеров, причем должна была развернуться искусственно созданная картина такого внутреннего разложения России, которое заранее, в глазах недоброжелательной Европы, обрекало на четвертую «Плевну» и на ряд поражений эту будто бы обуреваемую анархическими движениями бессильную внутри и бестолковую извне страну. Было очевидно, что время для ведения процесса избрано самое неудобное. Это понял великий князь Константин Николаевич. В 20-х числах сентября он пригласил к себе Фриша и доказывал ему совершенную неуместность большого политического дела в разгар внешних затруднений и поражений России. Он хотел прекращения этого дела и просил Фриша обдумать этот вопрос. Вернувшись от великого князя Константина Николаевича, Фриш пригласил меня и Желеховского на совещание вечером к себе на квартиру. Я приветствовал мысль великого князя и, разделяя ее вполне, доказывал, что прекращение дела мотивированным указом, данным сенату, произвело бы превосходное впечатление на общество, было бы делом справедливым и человеколюбивым и, вероятно, даже привлекло бы многих из обвиняемых в действующую армию в качестве сестер милосердия и санитаров. Желеховский — воплощенная желчь, — бледнее от

прилива злобы, настаивал на продолжении дела, играя на общественной безопасности и достоинстве государства. Узкий, мало образованный и несчастный в семейной жизни правовед, он давно составил себе славу ярого (и, по-видимому, искреннего) обвинителя. Еще в 1867 году он отличился при обвинении Рыбаковской (Биби-Ханум-Омар-Бековой) в убийстве любовника, причем одним из доказательств ее безнравственности приводил то, что она забеременела, уже находясь в тюрьме, чем и вызвал напоминание Арсеньева, что тюрьма и поведение в них арестантов находятся под надзором прокуратуры. В бытность мою прокурором в С.-Петербурге он пришел ко мне однажды, печальясь, что проиграл дело, но утешая себя тем, что он все-таки «вымазал подсудимому всю морду сапогом». В это же время я должен был удалить его от надзора за арестантскими помещениями, так как своею придирчивостью и бездушием он приводил арестантов в ожесточение, грозившее опасными последствиями... Узнав о предположениях великого князя, что почти двести человек, над которыми можно будет всячески изощряться, строя на их несчастье свой твердый облик «защитника порядка», ускользают из рук, и горячо иронизируя и инсинуируя против моей «гуманности», он ратовал за прекращение дела. Фриш не высказывался, но затем, объявив, что разрешение этого вопроса надо предоставить графу Палену, отпустил Желеховского. Мы продолжали о том же, и в конце концов Фриш, по-видимому, согласился с моими доводами и просил меня поехать к Палену в его митавское имение и лично переговорить с ним. На другой день я уехал, увозя с собою письмо Фриша и радуясь, что на этот раз мы оба — я словесно, а он письменно — будем убеждать Палена в одном и том же. На станции Ауц, Риго-Митавской [железной] дороги, меня встретил экипаж и доставил в имение Палена Гросс-Ауц. Встревоженный моим приходом, Пален встретил меня на крыльце великолепного дома, расположенного на берегу топкого и илистого озера. Два дня, проведенные мною в Гросс-Ауце, были наполнены разговорами о предмете моей миссии. Пален колебался, неистовствовал против «мошенников», сердился на Константина — «и зачем он вмешивается!», — соглашался со мною в отдельных посылках, но спорил против вывода и по вечерам впадал в сонливое состояние, из которого по временам выходил с испуганными возгласами. В нем, очевидно, происходила внутренняя борьба. На второй день графиня Пален (наивно удивлявшаяся описанию домашнего быта

тургеневских «Фимочки и Фомочки» — «разве он это все видел?..», но отлично умевшая вести свои домашние и придворные дела и имевшая огромное влияние на мужа) пригласила меня гулять и стала горячо оспаривать мои доводы за предположение Константина. Она видела в нем какую-то интригу против мужа и не хотела понять простых и практических побуждений, руководивших Константином. Особенно ее возмущало то, что они останутся без наказания. Она говорила с глубочайшим презрением о привлеченных к жихаревскому делу, подозревала всех прикосновенных к нему девушек в грубейшем разврате, и ее прекрасное лицо искажалось недобрым чувством. Все это было дурным признаком. Вечером Пален, уклоняясь от дальнейшей беседы об этом деле, объявил, что еще ничего не решил и что желает лично объясниться с Константином. На рассвете мы выехали с большою остзейскою помещичьею помпой. Нам обоим не спалось, мы уселись в салон директорского вагона, отданного «под министра», и при унылом свете начинающегося серого и сырого сентябрьского дня я повел против Палена последнюю атаку, всеми силами стараясь склонить его к соглашению с Константином Николаевичем, пробуя затронуть в нем струны отца семейства и проектируя в подробной форме самое содержание указа сенату. Он должен был начинаться признанием преступного характера действий привлеченных. Эта преступность и вынудила простереть над ними карающую десницу закона. Но возникшая война дала возможность молодому поколению ознаменовать себя подвигом беззаветной храбрости на поле брани и самоотверженною деятельностью у одра больных и умирающих. Русское молодое поколение показало себя достойным любви и доверия своего монарха, и, желая явить доказательство таковых, он во имя честных и доблестных слуг отечества, отдавших ему свою молодую жизнь, не отвращает лица своего от заблудших и дает им свое отеческое прощение, призывая их на законный путь служения родине, ныне подъявшей на себя трудный и высокий подвиг... Этот указ, говорил я, обезоружит большинство этой раздраженной преследованием молодежи и, что главное, примирит с правительством массу семейств, ныне оплакивающих своих исторгнутых членов. Это будет акт высокой политической мудрости. Наоборот, представьте себе, граф, положение правительства в случае нового постыдного поражения на Дунае! И без того все теперь уже негодуют и исполнены упреков. Какой удобный повод говорить: вот правительство, безумное в предприятиях и бездарное в их

осуществлении, которое только и способно, что на постыдную подъяческую войну с нашими детьми за то, в сущности, что они с увлечением, свойственным молодости, указывали на его негодность, ныне столь блистательно доказанную. И неужели можно думать, что уголовный приговор над двумястами молодых людей, подписанный, быть может, одновременно с условиями бесславного мира, послужит к чести и укреплению правительства? Да если мы и победим, в чем, как видно, сомневается даже великий князь Константин, то и тогда не будет ли такой приговор диссонансом? Нет, граф, не упорные преследования после четырех лет страданий за идеи, за книжки, за кружки, а прощение, прощение и примирение!.. Даже спокойный и холодный ум Э. В. Фриша склоняется к прекращению, и я чрезвычайно рад, что на этот раз имею его своим союзником. «Вы думаете?» — спросил Пален, казалось, поддавшийся моим убеждениям. — Вы думаете? Ну, вы ошибаетесь! Эдуард Васильевич пишет мне именно, что, по его мнению, этого дела никак прекращать нельзя...» Разговор наш продолжался еще очень долго; Пален со свойственною ему логикою доказывал мне, что, уговаривая его согласиться на прекращение, я хочу конституции для России, но что теперь еще не время и т. д. Но, во всяком случае, он прибыл в Петербург, не совершенно отвергая мысль о прекращении. Задавленная опасением за прочность своего служебного положения и всевозможными придворно-бюрократическими наслоениями, природная доброта его начинала пробиваться наружу и при благоприятных условиях могла бы парализовать противоположные внушения... но, к несчастью... Константин принял Палена надменно, заставил долго прождать в биллиардной среди представлявшихся лиц и стал ему «импонировать». Пален обиделся, увидел в этом покушение на свою самостоятельность и достоинство и решительно отказался прекратить дело... Константин не стал настаивать и махнул рукой... Желеховский торжествовал, и в зале 1-го отделения с.-петербургского окружного суда начались переделки и приспособления ее для двухсот подсудимых...

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

В октябре 1877 года открылись заседания Особого присутствия под председательством сенатора Петерса и продолжались почти до рождества 1877 года. При открытии заседаний в «Правительственном вестнике» было напечатано сообщение с кратким обзором имеющего слушаться дела

и с обещанием печатать подробный отчет о всем происходящем в заседании. Обвинительный акт занял много номеров «Правительственного вестника», но затем, вопреки обещанию, известия о судебном следствии стали без исправления передаваться в совершенно бессмысленном по своей краткости виде, в следующем роде: «В заседании 20 октября допрошены свидетели: Иванов, Петров и Сидоров; заслушано заявление прокурора о применении 620-й статьи Устава уголовного судопроизводства и объяснения защиты, а затем допрошены эксперты Кузьмин и Григорьев». Газетам было запрещено печатать свои собственные стенограммы, а разрешено лишь перепечатывать из «Правительственного вестника» его лаконические известия, составлявшие насмешку над гласностью судебного производства. Это недостойное уважающего себя правительства явное неисполнение печатно данного обещания было вызвано, но, конечно, не оправдано проявлением крайнего раздражения подсудимых, которое выражалось в самых неприятных и даже отталкивающих сценах. Тут говорились дерзости суду; явно высказывалось по адресу сенаторов, что их считают холопами и не верят в возможность беспристрастия с их стороны; между подсудимыми и свидетелями происходили пререкания самого резкого свойства, и однажды даже дошло до драки между подсудимыми и полицией, причем в публике, пускаемой по билетам, которые тотчас же были подделаны, поднялась суматоха, а один из защитников лишился чувств. Места за судьями вечно были полны сановных зевак; в залах суда были во множестве расставлены жандармы, и ворота здания судебных установлений, как двери храма Януса, — заперты накрепко, будто самый суд находился в осаде. О том, что происходило в суде, распространялись по городу самые неправдоподобные, но тем не менее возбуждающего характера слухи с партийной окраской. Некоторые сановные негодяи распространяли, например, слухи, будто бы исшедшие от очевидцев, что подсудимые, стесненные на своих скамьях и пользуясь полумраком судебной залы, совершают во время следствия половые соития; с другой стороны, рассказывали, что подсудимые будто бы заявляют об истязаниях и пытках, которым их подвергают при допросах в тюрьме, но что жалобы их остаются «гласом вопиющего в пустыне» и т. п. Молчание газет и лаконизм «Правительственного вестника» давали простор подобным слухам, которые в болезненно-возбужденном обществе расходились с необыкновенною быстротой и всевозможными вариантами. Во всем чувствовалось, что потеряно равновесие, что бо-

лезненное озлобление подсудимых и известной части общества, близкой им, дошло до крайности. Искусственно собранные воедино, подсудимые, истощенные физически и распаленные нравственно, устроили, уже на суде, между собою нечто вроде круговой поруки и с увлечением выражали свое сочувствие тем из своей среды, кто высказывался наиболее круто и радикально. Взятые в одиночку, разбросанные и по большей части незнакомые между собою, набранные со всей России, они не представляли собою ничего опасного и, отделившись в свое время разумно-умеренным наказанием, давно бы в большинстве обратились к обычным занятиям. Но тут, соединенные вместе, они представляли целую политическую партию, опасную в их собственных глазах для государства. Мысль о принадлежности к такой партии открытых борцов против правительства отуманивала их и бросалась им в юную, воспаленную голову. Место неопределенной и скорее теоретической, чем практической, вражды к правительству занимал открытый бой с этим правительством — на глазах товарищей, пред лицом суда, в присутствии публики... Обвинительная речь Желеховского, длинная и бесцветная, поразила всех совершенно бестактною неожиданностью. Так как почти против ста подсудимых не оказывалось никаких прочных улик, то этот судебный наездник вдруг в своей речи объявил, что отказывается от их обвинения, так как они были-де привлечены лишь для составления фона в картине обвинения остальных. За право быть этим «фоном» они, однако, заплатили годами заключения и разбитою житейскою дорогою! Такая беззастенчивость обвинения вызвала разнообразный отпор со стороны защиты и подсудимых и подлила лишь масла в огонь. Защитительные речи обратились в большинстве в обвинительные против действий Жихарева и аггелового, а последние слова подсудимых оказывались проникнутыми или презрительною ирониею по отношению к суду, или же пламенным изложением не защиты, а излюбленных теорий. Между прочим, будущий герой засуличевского процесса — Александров — погрозил Желеховскому потомством, которое прибьет его имя к позорному столбу гвоздем... «И гвоздем острым!..» — прибавил он. Наконец, процесс был окончен. Общество с изумлением узнало, что из 193 привлеченных осужденных, оказывается, виновны лишь 64 человека, что остальные от суда освобождены, то есть понесли досудебное наказание — и наказание тяжелое — задаром, и что даже за 27 из приговоренных сенат ходатайствует перед государем о милосердии.

Негодование в образованных кружках было единодушное; повсюду ходили по рукам стихи Боровиковского, воспевавшего страдания недавних подсудимых и бичевавшего суд и общество поддельным по чувству, но звучным по форме стихом, и повсюду начались под разными вымышленными предлогами сборы денег в пользу осужденных и оправданных для доставления им средств уехать на родину...

Так наступил 1878 год...

24 января я вступил в должность председателя окружного суда. Для меня, казалось, начиналась после ряда беспокойных годов деятельность, чуждая неожиданных тревог, заранее определенная и ясная. Нервное возбуждение и хлопотливость прокурорских занятий и бесплодно протестующая, опутанная канцелярской паутиной роль «советника при графе Палене» оставались позади. Открывался широкий горизонт благородного судейского труда, который в связи с кафедрой в Училище правоведения мог наполнить всю жизнь, давая, наконец, ввиду совершенной определенности положения несменяемого судьи возможность впервые подумать и о личном счастье...

В день вступления в должность я принимал чинов канцелярии, судебных приставов и нотариусов и должен был ввиду распушенности, допущенной моим предместником Лопухиным, вовсе не занимавшимся внутренними порядками суда, решительно высказать собравшимся мой взгляд на отношение их к суду и к публике. Когда вся эта церемония была окончена, собравшиеся у меня в кабинете члены суда принесли весть, что какая-то девушка стреляла в это утро в градоначальника и его, как водится говорить в подобных рассказах под первым впечатлением, смертельно ранила...

Окончив неотложные занятия по суду, я поехал к Трепову, который незадолго пред тем переселился в новый дом против Адмиралтейства. Я нашел у него в приемной массу чиновного и военного народа, разных сановников и полицейских, врачей. Старику только что произвели опыт извлечения пули, но опыт неудачный, так как, несмотря на повторение его затем, пуля осталась неизвлеченною, что давало впоследствии Салтыкову-Щедрину, жившему с ним на одной лестнице, повод ругаться, говоря, что при встречах с Треповым он боится, что тот в него «выстрелит». Старик был слаб, но ввиду его железной природы опасности не предвиделось. Тут же, в приемной, за длинным столом, против следователя Кабата и начальника сыскной полиции Пути-

лина, сидела девушка среднего роста, с продолговатым бледным, нездоровым лицом и гладко зачесанными волосами. Она нервно пожимала плечами, на которых неловко сидел длинный серый бурнус, с фестонами внизу по борту, и, смотря прямо пред собою, даже когда к ней обращались с вопросами, поднимала свои светло-серые глаза вверх, точно во что-то всматриваясь на потолке. Этот взор, возведенный «горе» из-под нахмуренных бровей, сжатые тонкие губы над острым, выдающимся подбородком и вся повадка девушки носили на себе отпечаток решимости и, быть может, некоторой восторженной рисовки... Это была именовавшая себя Козловою, подавшая прошение Трепову и выстрелившая в него в упор из револьвера-бульдога. Она заявила, что решилась отомстить за незнакомого ей Боголюбова, о поругании которого узнала из газет и рассказов знакомых, и отказалась от дальнейших объяснений. Это была Вера Засулич... В толпе, теснившейся вокруг и смотревшей на нее, покуда только с любопытством, был и Пален в сопровождении Лопухина, с половины декабря назначенного прокурором палаты и уже успевшего в здании судебных установлений устроить себе казенную квартиру и даже завести казенных лошадей на счет сокращения служительских квартир и курьерских лошадей... Когда я подошел к ним, Пален сказал: «Да! Анатолий Федорович проведет нам это дело прекрасно». — «Разве оно уже настолько выяснилось?» — «О, да, — ответил за Палена Лопухин, — вполне; это дело личной мести, и присяжные ее обвинят, как пить дадут». К удивлению моему, и Пален что-то несвязно стал прорицать о том, что присяжные себя покажут, что они должны отнестись строго и т. д. Уходя, я заметил суматоху и волнение в передней: по лестнице шел государь навестить Трепова, останавливаясь почти на каждой ступеньке и тяжело дыша, с выражением затаенного страдания на добром лице, которому он старался придать грозный вид, несколько выпучивая глаза, лишённые всякого выражения... Рассказывали, что Трепов, страдавший от раны, исход которой еще не был вполне выяснен и мог грозить смертью, продолжал все-таки «гнуть свою линию» и сказал на слова участия государя: «Эта пуля, быть может, началась за вас, ваше величество, и я счастлив, что пришил ее за вас», — что очень не понравилось государю, который больше у него не был и вообще стал к нему заметно холодеть, чему, быть может, способствовали и преувеличенные слухи о чрезвычайном состоянии, которое должно будет остаться после раненого градоначальника.

«Что следствие? — спросил я дня через три Лопухина. — Нет признаков политического преступления?» — «Нет, — утвердительно отвечал Лопухин, — это дело простое и пойдет с присяжными, которым предстоит случай отличиться...» Между тем у него уже была не приобщенная к следствию телеграмма прокурора одесской палаты, полученная еще 25 января, о том, что по агентурным сведениям прокурора, «преступницу», стрелявшую в Трепова, зовут Усулич, а не Козловой, из чего оказывалось, что одесским революционным кружкам уже заранее было известно, кто должен совершить покушение на Трепова. Эта телеграмма была Лопухиным скрыта от следователя, так как Козлова уже объявила свое настоящее имя. Никакого исследования связи Усулич с одесскими кружками, в то время вообще начинавшими проявлять весьма активную деятельность, не было произведено. Точно так же о прошлом Засулич, переплетенном почти десятилетним участием в тайных сообществах, к следствию не было приобщено никаких сведений, и даже я лично услышал о нем впервые лишь на суде, а о телеграмме узнал лишь после суда. В тупой голове Палена и в легкомысленном мозгу образцового ташкентца, стоявшего во главе петербургской прокуратуры, образовалась *idée fixe*¹ — вести это дело судом присяжных для какого-то будто бы возвеличения и ограждения этого суда от нападок. Всякий намек на политический характер из дела Засулич устранился *avec un parti pris*² и с настойчивостью, просто странною со стороны министерства, которое еще недавно раздувало политические дела по ничтожнейшим поводам. Я думаю, что Пален первоначально был искренне убежден в том, что тут нет политической окраски, и в этом смысле говорил с государем, но что потом, связанный этим разговором и, быть может, обманываемый Лопухиным, он уже затруднялся дать делу другое направление... Какие цели были у Лопухина — мне не ясно и до сих пор, если только здесь были цели, а не простое легкомыслие и упорство в раз высказанном необдуманном взгляде на дело. Во всяком случае, из следствия было тщательно вытравлено все, имевшее какой-либо политический оттенок, и даже к отысканию несомненной сообщницы Засулич, купившей для нее револьвер, не было принято никаких серьезных мер... Лопухин кричал всюду, что министр юстиции столь уверен в суде присяжных, что смело передает ему т а к о е дело, хотя мог бы

¹ навязчивая идея (*фр.*).

² с предвзятым намерением (*фр.*).

изъять его путем особого высочайшего повеления. Таким образом, неразумно и с легковесною поспешностью подготавливался процесс, который должен был иметь во многих отношениях роковое значение для дальнейшего развития судебных учреждений.

Поступок Засулич произвел большое впечатление в обществе. Большинство, не любившее Трепова и обвинявшее его в подкупности, в насилиях над городским самоуправлением посредством высочайших повелений, возлагавших на город неожиданные тяготы, радовалось постигнутому его несчастью. «Поделом досталось!» — говорили одни... «старому вору», — прибавляли другие. Даже между чинами полиции, якобы преданными Трепову, было затаенное злорадование против «Федьки», как они звали его между собою. Вообще, сочувствия к потерпевшему не было, и даже его седины не вызвали особого сожаления к страданиям. Главный недостаток его энергической деятельности в качестве градоначальника — отсутствие нравственной подкладки в действиях — выступал пред общими взорами с яркостью, затемнявшею несомненные достоинства этой деятельности, и имя Трепова не вызывало в эти дни ничего, кроме жестокого безучастия и совершенно бессердечного любопытства. Да и впоследствии по отношению к нему общее мнение мало изменилось, хотя между его преемниками — злобно-бездарным Зуровым, глупым Федоровым, трагикомическим шарлатаном Барановым и развратным солдафоном Козловым — и им была целая пропасть в смысле ума, таланта и понимания своих задач. В этом отношении, как ретроспективная характеристика времени, очень любопытна оценка Трепова как предполагавшегося начальника Верховной полиции, сделанная в благонамереннейшей газете «Минута» через четыре года после дела Засулич редактором Баталиным, бывшим чиновником «Секретного Отделения» (1882 г., № 141, 3 июня). Вот что, между прочим, говорилось в передовой статье «Нужен ли Ф. Ф. Трепов?» после указаний на его преклонный возраст, огромные имения, приобретенные на службе, административную торопливость, необразованность его и т. п.: «Едва ли в среде подчиненных и в среде общества генерал Т. поддержал бы свою прежнюю авторитетность. Как бы ни были дики инстинкты у известной части общества, все-таки целое общество не стадо овец и оно никогда бы не пошло рукоплескать по известному делу. Значит, тут была задета сторона, чувствительная для людей вообще, кто бы они ни были, но если у них есть сердце. В интересах правды надо согласиться, что поступок

генерала с осужденным к тяжкому наказанию преступником не мог не быть осужден единодушным общественным мнением людей, не лишенных сердца. Что же мудреного, что этот неосторожный поступок привел в ярость зверей, а затем бешеная ярость последовательно возрастала и теперь необходим другой усмиритель для тех львов, тигров и шакалов, которых одно появление на сцену прежнего укротителя может привести в безумную ярость».

Отношение к обвиняемой было двоякое. В высших сферах, где всегда несколько гнушались Треповым, находили, что она — несомненная любовница Боголюбова и все-таки «мерзавка», но относились к ней с некоторым любопытством. Я помню, что на бале у графа Палена в половине февраля среди зал, только что отделанных роскошным образом на выпрошенные из обессиленного войною государственного казначейства 18 тысяч рублей серебром, фотографические карточки «мерзавки», находившиеся у графини Пален, ходили по рукам и производили известный эффект. Иначе относилось среднее сословие. В нем были восторженные люди, видевшие в Засулич новую русскую Шарлотту Корде; были многие, которые усматривали в ее выстреле протест за поруганное человеческое достоинство — грозный призрак пробуждения общественного гнева; была группа серьезных людей, которых пугала доктрина кровавого самосуда, просвечивавшаяся в действиях Засулич. Они в тревожном раздумье качали головами и, не отказывая в симпатии характеру Засулич, осуждали ее поступок как опасный прецедент... Мнения, горячо дебатлируемые, разделялись: одни рукоплескали, другие сочувствовали, третьи не одобряли, но никто не видел в Засулич «мерзавку» и, рассуждая разное о ее преступлении, никто, однако, не швырял грязью в преступницу и не обдавал ее злобной пеной всевозможных измышлений об ее отношениях к Боголюбову. Сечение его, принятое в свое время довольно индифферентно, было вновь вызвано к жизни пред равнодушным вообще, но впечатлительным в частностях обществом. Оно — это сечение — оживало со всеми подробностями, комментировалось как грубейшее проявление произвола, стояло пред глазами втайне пристыженного общества, как вчера совершенное, и горело на многих слабых, но честных сердцах как свеженанесенная рана. Если и встречались лица, которые, подобно славянофильскому генералу Кирееву, спрашивавшему меня: «Что же, однако, делать, чтобы Засуличи не повторялись?» — и получившему лаконический ответ: «Не сечь!», — удивленно и негодуя пожимали

плечами, то большинство по своим воззрениям разделяло ходившие тогда по рукам стихи:

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился божий бич,
И упал градоправитель,
Как подстреленная дичь!

В конце февраля следствие было окончено, и по просьбе Палена, переданной мне через Лопухина, дело назначено было к слушанию на 31 марта. Я советовал пустить его летом, среди мертвого сезона, когда возбуждение, вызванное Засулич, утихнет и успокоится, но Пален настаивал на своей просьбе, утверждая, что и государь, на которого он вообще любил ссылаться, желает скорейшего окончания дела. Трепов между тем поправился, вступил в должность и ездил в коляске по городу, всюду рассказывая, что если он и высек Боголюбова, то по совету и поручению Палена, и лицемерно заявляя, что он не только не желает зла Засулич, но даже будет рад, если она будет оправдана. Пален негодовал на эти рассказы в тесном кружке искательных друзей и знакомых, но решительно опровергнуть Трепова не смел.

В половине марта 1878 года, сидя в заседании общего собрания окружного суда, я получил совершенно неожиданно официальное письмо от министра юстиции, в котором я извещался, что государь император изволит принять меня в ближайшее воскресенье после обедни. Представление совершилось с обычными приемами. Длинная обедня в малой церкви дворца, едва слышная в круглой комнате, где происходил болтливо-шепотливый раут прилизанных людей со свежепробритыми подбородками, одетых в новенькие мундиры; затем препровождение всех представлявшихся в боковую комнату, опрос их престарелым и любезным оберкамергером, графом Хрептовичем, молчаливое ожидание, обдергивание, подтягивание себя... Затем бегущие араны, оставливающиеся у широко распахнувшихся половинок дверей... удвоенное внимание... и — сам самодержец в узеньком уланском мундире, с грациозно сгибающейся талией, красиво колеблющеюся походкою и *roug le mèrite*¹ на шее. Старая любовь, вынесенная из далекого детства, когда еще в день 18 февраля 1855 года мы с братом венчали его бюстик бумажными цветами среди радостно вздохнувшего и с надеждою смотревшего вперед литературного мирка, собрав-

¹ Прусский орден «За заслуги».

пегося у отца; благодарные, неизгладимые воспоминания о 19 февраля и судебной реформе, озарившие молодость моего поколения своим немеркнущим светом; живое чувство радости, испытанное мною со всеми без исключения в Петербурге в восторженные дни после 4 апреля,— все это прихлынуло сразу к сердцу и заставило забыть хоть на время скорбь, вызванную многими бездушными мерами последних лет. Я не успел еще всмотреться в царя, в его усталое лицо, доброе очертание губ и впалые виски, как он, сказав два слова представлявшемуся Строганову (Григорию Александровичу) и молча слегка поклонившись пяти сенаторам и директору департамента министерства юстиции Манасеину, очутился предо мною. Едучи во дворец, я смутно надеялся на разговор по поводу дела Засулич, которое, по словам Палена, так живо интересовало государя, и решился рассказать ему бестрепетно и прямодушно печальные причины, создавшие почву, на которой могут вырастать подобные проявления кровавого самосуда. По приему сенаторов я увидел, как несбыточны мои надежды сказать слово правды русскому царю, и ждал молчаливого полупоклона. Вышло ни то, ни другое. Государь, которому назвал меня Хрептович, остановился против, оперся с усталым видом левою рукою, отогнутою несколько назад, на саблю и, спросив меня, где я служил прежде (причем я по рассеянности ответил, что был прокурором окружного суда), сказал в неопределенных выражениях, устремив на меня на минуту тусклый взгляд, что надеется, что я и впредь буду служить так же успешно и хорошо и т. п. Остальных затем он обошел молча и быстро удалился. Хрептович с сочувствием пожал мне руку, я уловил несколько завистливых взглядов и понял, что мне оказано официальное отличие. Вслед за тем подошел Арсеньев, воспитаннику которого — великому князю Сергею Александровичу — я показывал года за два перед тем петербургские тюрьмы во всей их неприглядной наготе, чем вызвал крайнее неудовольствие в сферах Зимнего дворца. Он предложил мне посмотреть в кабинете императрицы Реуфа-пашу, который привез ратификованные султаном прелиминарные условия Сан-Стефанского договора. И я видел сквозь трельяж, за которым толпились любопытствующие сановники, знакомую мне по Красному Кресту болезненную фигуру императрицы и пред нею человека высокого роста, с очень маленькою головою, в феске, належавшей на уши и бросающей тень на умное, грустное, бледное лицо, обрамленное маленькою черною бородою. Зимнее солнце лило яркие косые лучи в обширный кабинет и, играя

на пахучих гиацинтах, освещало политический мираж, принимавшийся тогда многими за победную действительность.

На другой день Пален, пригласив меня к себе и спросив, доволен ли я приемом государя, приступил прямо к делу. «Можете ли вы, Анатолий Федорович, ручаться за обвинительный приговор над Засулич?» — «Нет, не могу!» — ответил я. «Как так? — точно ужаленный, завопил Пален. — Вы не можете ручаться?! Вы не уверены?» — «Если бы я был сам судьей по существу, то и тогда, не выслушав следствия, не зная всех обстоятельств дела, я не решился бы вперед высказать свое мнение, которое притом в коллегии не одно решает вопрос. Здесь же судят присяжные, приговор которых основывается на многих неуловимых за ранее соображениях. Как же я могу ручаться за их приговор? Состязательный процесс представляет много особенностей, и при нем дело не поддается предрешению, так что в известном рассказе [Лабулэ] о подсудимом, который на вопрос судьи о том, «s'il coupable ou non?»¹ — отвечал: «Voilà une étrange question! Ni vous, ni moi n'en savons rien avant d'avoir entendu les témoins!»² — содержится верный, хотя и оригинально выраженный, взгляд на современный процесс. Я предполагаю, однако, что здравый смысл присяжных подскажет им решение справедливое и чуждое увлечений. Факт очевиден, и едва ли присяжные решатся отрицать его. Но ручаться за признание виновности я не могу!..» — «Не можете? Не можете? — волновался Пален. — Ну так я доложу государю, что председатель не может ручаться за обвинительный приговор, я должен это доложить государю!» — повторил он с неопределенною и бесцельною угрозою. «Я даже просил бы вас об этом, граф, так как мне самому крайне нежелательно, чтобы государь возлагал на меня надежды и обязательства, к осуществлению которых у меня как у судьи нет никаких средств. Я считаю возможным обвинительный приговор, но надо быть готовым и к оправданию, и вы меня весьма обяжете, если скажете государю об этом, как я и сам бы сказал ему, если бы он стал меня спрашивать по делу Засулич». — «Да-с, — горячился Пален, — и я предложу государю передать дело в Особое присутствие, предложу государю изъять его от присяжных! Вот ваши любезные присяжные! Вам это, конечно, будет очень неприятно, вы их ставите так! — И он показал рукою, как я

¹ признает ли он себя виновным (фр.).

² Вот странный вопрос! Ни вы, ни я не можем знать об этом ничего, не заслушав свидетелей (фр.).

ставлю присяжных...— Но вы сами виноваты! Вы — судья, вы — беспристрастие, вы — не можете ручаться... Ну! что делать! Нечего делать! Да! Вот... ну что ж!» и т. д. «Граф,— сказал я, прерывая его речь, обратившуюся уже в поток бессмысленных междометий,— я люблю суд присяжных и дорожу им; всякое выражение недоверия к нему, особливо идущее от государя, мне действительно очень больно; но если от них требуется непременно обвинительный приговор и одна возможность оправдания заставляет вас — министра юстиции — уже выходить из себя, то я предпочел бы, чтобы дело было у них взято; оно, очевидно, представляет для этого суда больше опасности, чем чести. Да и вообще, раз по этому делу не будет допущен свободный выбор судейской совести, то к чему и суд! Лучше изъять все дела от присяжных и передать их полиции. Она всегда будет в состоянии вперед поручиться за свое решение... Но позвольте вам только напомнить две вещи: прокурор палаты уверяет, что в деле нет и признаков политического преступления; как же оно будет судиться Особым присутствием, созданным для политических преступлений? Даже если издать закон об изменении подсудности Особого присутствия, то и тут он не может иметь обратной силы для Засулич. Да и, кроме того, ведь она уже предана суду судебною палатою. Как же изменить подсудность дела, после того как она определена узаконенным местом? Теперь уже поздно! Если серьезно говорить о передаче, то надо было думать об этом, еще когда следствие не было закончено...» — «О, проклятые порядки! — воскликнул Пален, хватая себя за голову.— Как мне все это надоело, как надоело! Ну что же делать?» — спрашивал он затем озабоченно. «Да ничего, думаю я, не делать; оставить дело идти законным порядком и положиться на здравый смысл присяжных; он им подскажет справедливый приговор...» — «Лопухин уверяет, что обвинят, наверное...» — говорил Пален в унылом раздумье. «Я не беру на себя это утверждать, но думаю, что скорее обвинят, чем оправдают, хотя снова повторяю — оправдание возможно». — «Зачем вы мне прежде этого не сказали?» — укоризненно говорил Пален. «Вы меня не спрашивали, и разве уместно было мне, председателю суда, приходиться говорить с вами об исходе дела, которое мне предстоит вести. Все, за что я могу ручаться, это — за соблюдение по этому делу полного беспристрастия и всех гарантий правильного правосудия...» — «Да! правосудие, беспристрастие! — иронически говорил Пален.— Беспристрастие... но ведь по этому проклятому делу правительство вправе ждать от суда и от вас особых

услуг...» — «Граф, — сказал я, — позвольте вам напомнить слова d'Aguesseau королю: «Sire, la cour rend des arrêts et pas des services»¹. — «Ах, это все теории!» — воскликнул Пален свое любимое словечко, но в это время доложили о приезде Валуева, и его красиво-величаява фигура прервала наш разговор...

Вдумываясь в тогдашнее настроение общества в Петербурге, действительно трудно было сказать утвердительно, что по делу Засулич последует обвинительный приговор. Такой приговор был бы несомненен в Англии, где живое правосознание развито во всем населении, где чувство законности и государственного порядка вошло в плоть и кровь общества и где, наверное, все, что было понятного в возмущении Засулич поступком Трепова и трогательного в ее самопожертвовании, повлияло бы только на мягкость приговора, но не на существо его, не заслонив собою преступности кровавого самосуда. Но надо заметить, что в Англии, да и во всякой свободной стране, злоупотребление Трепова давно уже вызвало бы запросы в палате, оценку по достоинству в печати и, вероятно, соответствующее взыскание или, по крайней мере, неодобрение правительства. Быть может, как говорят, в Англии секут арестантов и с точки зрения англичан данный поступок Трепова был и правилен, но дело в том, что он был противен русским законам и оскорблял сложившиеся в лучшей части общества за последние двадцать лет взгляды на личное достоинство человека... и если бы поступок Трепова имел эти же свойства в Англии, то во взыскании с него или в порицании его, выраженном публично, общественное мнение нашло бы значительное удовлетворение. L'incident seraint clos², и оставалась бы одна Засулич со своим самосудом, то есть несомненным преступлением и правом лишь на некоторое снисхождение... Но так ли было у нас?! Несмотря на закон, на разъяснения сената, сечение связанного студента, который еще не был каторжником, оставалось без всяких последствий для превысивших свою власть; главный виновный не только продолжал стоять на своей служебной высоте, но ему не было сделано ни замечания, ни намека по поводу его дикой расправы.

Выстрел Засулич обратил внимание общества на совершившийся в его среде акт грубого насилия в то время,

¹ Ваше величество, суд постановляет приговоры, а не оказывает услуг (фр.).

² Инцидент был бы исчерпан (фр.).

когда все его внимание было обращено на театр войны. И настроение общества в Петербурге в это время вовсе не было столь благодушным, чтобы думать, что оно отказалось от суровой критики правительственных действий... Наоборот, именно в начале весны 1878 года в петербургском обществе проявлялась раздражительная нервность и крайняя впечатлительность. Наши присяжные являлись очень чувствительным отголоском общественного настроения; они во многих отношениях были похожи на мультипликатор, указывающий на силу давления паров, подавляющих в данную минуту возможность зрелой и бесстрастной деятельности собирательного общественного мозга. В этом их достоинство, но в этом и их великий недостаток, ибо вся нетвердость, поспешность и переменчивость общественного настроения отражаются и на присяжных, искренность не есть еще правда, и приговоры русских присяжных, всегда почтенные по своей искренности, далеко не всегда удовлетворяли чувству строгой правды; их всегда можно было объяснить, но с ними иногда трудно было согласиться...

На нервное состояние общества очень повлияла война. За первым возбуждением и поспешными восторгами по поводу Ардагана и переправы через Дунай последовали тяжелые пять месяцев тревожного ожидания падения Плевны, которая внезапно выросла на нашем пути и все более и более давила душу русского человека, как тяжелый, несносный кошмар. Падение Карса блеснуло светлым лучом среди этого ожидания, но затем снова все мысли обратились к Плевне, и горечь, негодование, гнев накапливали на сердце многих. Известие о взятии Плевны вызвало громадный вздох облегчения, вырвавшийся из народной груди. Точно давно назревший нарыв прорвался и дал отдых от непрестанной, ноющей боли... Но место, где был нарыв, слишком наболело, и гной не вытек... Утратилась вера в целесообразность и разумность действий верховных вождей русской армии. И когда наше многострадальное, увенчанное дорого купленной победой, войско было остановлено у самой цели, перед воротами Константинополя, и обречено на позорное и томительное бездействие; когда размахисте написанный Сан-Стефанский договор оказался только проектом, содержащим не «повелительные грани», установленные победителями, а гостинодворское запрашивание у Европы, которая сказала: «nie poswalam»¹; когда в ответ на робкое русское «vae victis»² Англия и Австралия ответили

¹ не позволю (пол.).

² горе побежденным (лат.).

гордым «*vae vistoribus*»¹, тогда в обществе сказалась горечь напрасных жертв и тщетных усилий. Наболевшее место разгорелось новою болью. В обществе стали громко раздаваться толки, совершенно противоположные тем, которые были до войны. Стали говорить о малодушии государя, о крайней неспособности его братьев и сыновей и мелочном его тщеславии, заставлявшем его надеть фельдмаршальские жезлы и погоны, когда, в сущности, он лишь мешал да ездил по лазаретам и «имел глаза на мокром месте». Стали рассказывать злые анекдоты про придворно-боевую жизнь и горькие истины про колоссальные грабежи, совершавшиеся под носом у глупого главнокомандующего, который больше отличался шутками дурного тона, чем знанием дела. К печальной истине стала примешиваться клевета, и ее презренное шипенье стало сливаться с ропотом правдивого неудовольствия. Явился скептицизм, к которому так склонно наше общество, скептицизм даже и относительно самой войны, которую еще так недавно приветствовали люди самых различных направлений. «Братушки» оказывались, по общему единодушному мнению военных, «подлецами», а турки, напротив, «добрыми честными малыми», которые дрались, как львы, в то время как освобождаемых братьев приходилось извлекать из «кукурузы» и т. д. Да и самая война начала иногда приписываться лишь личному и затаенному издавна желанию государя вернуть утраченные в 1856 году области и тем удовлетворить своему оскорбленному исходом Крымской войны самолюбию. Забывалось, как все толкали его на эту войну, так как она признавалась «святою задачею России» и «великим делом освобождения славян». Циркулировала чья-то игра слов, что вся эта война определяется одним словом: «О-шипка!» [О, Шипка!]

В Москве еще хранился жар, там еще возбуждался вопрос о добровольном флоте, но Петербург охладел и, обращая свои взоры на внутренние дела, не мог не видеть весьма неутешительной картины. Курс падал стремительно и, несмотря на недавние успехи, стоял 203—203,5 марки за 100 рублей, государственный долг возрос чрезвычайно, и со всех сторон доносили вести о злоупотреблениях властей, особенно разнуздавшихся во время пребывания «набольших» за Дунаем. С запада, из Минской губернии, шли рассказы о возмутительных действиях губернатора Токарева и члена совета министерства внутренних дел Лошкарева по

¹ горе победителям (лат.).

логишинскому делу, где была разыграна целая сатурналия в честь и при участии розог; с востока получались сведения о свирепствах казанского сатрапа Скарятина, который предался чудовищным жестокостям над татарским населением, среди которого он искоренял сочиненный им бунт... Это делалось в стране, правительство которой имело гордыню утверждать, что оно ведет свой народ на величайшие материальные и кровавые жертвы, чтобы доставить свободу славянским братьям. Свобода выражается на практике тройко: в благосостоянии экономического, веротерпимости и самоуправления. Но какое самоуправление несли мы с собою, оставляя у себя простор скарятиным и токаревым и убивая самым фактом войны начатки народного представительства в Турции? О каких принципах веротерпимости могла быть речь, когда турки лишь не позволяли звонить в колокола, а мы в Седлецкой губернии силою и обманом обращали в православие униатов и проливали их кровь, когда они не хотели отдавать последнее имущество, описанное за недостаточно поспешное обращение «на лоно вселюбящей матери-церкви»? И какой мрачной иронией дышало пролитие крови русского солдата, оторванного от далекой курной избы, лаптей и мякины, для обеспечения благосостояния «братушки», ходящего в сапогах, раздобывшего на мясе и кукурузе, узде и тщательно запрятывающего от взоров своего «спасителя» плотно набитую кубышку в подполье своего прочного дома с печами и хозяйственными приспособлениями! Да! это так, но надо было обеспечить все это от «турецких зверств», т. е., в сущности, от жестокого укрощения турецким правительством бунта подвластной народности, подстрекаемой извне, против своего законного государя... А Польша? А Литва? Диктатура Муравьева, ссылки тысяч поляков в Сибирь? А 1863 год и гордые ответы Горчакова иностранным державам, что «сей старинный спор» есть домашнее дело осуществления державных прав монарха над своими мятежными подданными? И по мере того, как проходил чад ложнопатриотического увлечения среди скептически настроенного общества, яснее и яснее чувствовалась лицемерная изнанка этой истощающей войны, которая, добыв сомнительные для России результаты, не дала никакого улучшения в ее домашних делах...

И это чувство раздражало общественные нервы. Успокаивающих элементов вокруг не было. Система классического образования с «камнем мертвых языков» вместо хлеба живого знания родины, языка и природы по-прежнему тяготела над семьей, тревожа ее и раздражая. А исход

большого политического процесса заставлял пугаться за все, что было в этой семье живого и выходящего из ряда по живости и восприимчивости своего характера. Из тысячи почти человек, привлеченных и наполовину загубленных Жихаревым, оказались осужденными [на каторгу] лишь двадцать семь, да и о тех сенат ходатайствовал пред государем. Правда, это ходатайство было по бездушному докладу Палена отвергнуто, и высоким судьям, которые, постановляя суровый приговор, взывали к помощи монарха для успокоения своей смущенной совести, было сказано, что они ошиблись в своей надежде, что в них видят облеченную в красный мундир и хорошо оплаченную машину для наказания, а не людей, которые понимают, что *qui n'est que juste est cruel!*¹ Но это едва ли могло содействовать успокоению общества.

Освобожденные от суда в значительном числе оставались в Петербурге, приходили в соприкосновение с обществом, и их рассказы, слухи о самоубийствах и сумасшествиях в их среде и вольные и невольные преувеличения их друзей и семейств поддерживали глухое недовольство и омерзение к судебной процедуре по политическим делам. Тяжкие дни террора были еще далеко, семена его еще зрели в ожесточенных сердцах, а общество после происшедшего в тумане безгласности процесса знакомилось с целями и приемами заговорщиков или по их личным односторонним рассказам, или же в большинстве случаев по беллетристическим произведениям. Из только что вышедшей «Нови» общество узнавало, что они во многом нелепы, незнакомы ни с народом, ни с его историей, что к наиболее цельным из них примазываются разные фразистые пошляки, что у них нет ясных и прямых целей. Но из той же «Нови» общество узнавало, что они — преступные перед законом, невежественные и самонадеянные перед историей и ее путями — не бесчестные, не своекорыстные, не низкие и развратные люди, какими их старались представить с официальной стороны. И общество не верило официальным глашатаям, а вручало свое сердце и думу великому художнику, который так умел угадывать его духовные запросы... Но если «Новь» устанавливала спокойный и примирительный взгляд на эту молодежь, то появившийся в мартовской книжке «Вестника Европы» за 1878 год рассказ Луканиной «Любушка» бил с чрезвычайной силой и блестящим талантом уже прямо по струнам горячего сострадания и симпатии к

¹ кто только справедлив — жесток (фр.).

ним. Впечатление этого рассказа, одного из *chef d'oeuvre* русской литературы, рассказа старой няни о том, как ее дитяtko, ее Любушка, ушла в пропаганду и погибла «так, за ничто, за слова...», было потрясающее. Он читался повсюду нарасхват и вызывал слезы у самых сдержанных людей... В то время весь Петербург ходил смотреть в величавой и освещенной сверху зале Академии художеств картину Семирадского и останавливался, прикованный мастерством художника, пред засмоленными и подожженными христианами, умирающими за то, во что они верят, пред тупоживотным взором возлежащего на перламутровых носилках откормленного Цезаря; в то же время Росси будил заснувшие чувства и исторгал слезы своею мастерской игрой в великих произведениях Шекспира, а удивительный «Христос» Габриеля Макса смотрел в темной комнате клуба художников — то закрытыми, то открытыми глазами — прямо в смущенную душу погрязших в обыденной суете и деловом бессердечии многочисленных зрителей... Все соединялось вместе, действовало на нервы с разных сторон, и среднее общество Петербурга, из которого должны были выйти будущие судьи Засулич, было напряжено, расстроено и болезненно-восприимчиво.

А 31 марта приближалось... Этому дню предшествовало несколько процессуальных эпизодов, из которых один особенно характерен. Дело вступило в суд, и вызванная для получения обвинительного акта Засулич заявила, что избирает своим защитником присяжного поверенного Александрова. На другой же день, 24 марта, он подал заявление с ходатайством о вызове нескольких лиц, которые, содержась в доме предварительного заключения летом 1877 года, видели действия Трепова и все последующее, послужившее мотивом к совершению ею выстрела. В распорядительном заседании я не находил оснований для вызова этих свидетелей, так как их показания не имели прямого отношения к делу и только его осложняли. На это товарищи мои, составлявшие присутствие, члены суда Ден и Сербинович, доказывали, что в многолетней практике суда было принято не отказывать обвиняемому в вызове свидетелей, представляя ему полную свободу в выборе средств защиты, и что, кроме того, в обвинительном акте как мотив преступления были указаны рассказы знакомых Засулич и известия газет о сечении Боголюбова, так что сама прокуратура дает повод к более точному разъяснению мотива. К этому взгляду присоединился и товарищ председателя Крестьянов. Я настаивал, однако, что того указания

на мотив, которое сделано в обвинительном акте, достаточно и что ввиду неотрицания никем факта наказания Боголюбова нет и оснований дополнять сведения о нем разными подробностями, которые могут внести в дело только излишнюю примесь раздражения. Члены суда склонились к моему мнению, и вечером в тот же день было написано мною подробное определение, находящееся в деле, об отказе в ходатайстве защитника на основании 575-й статьи Устава угол[овного] суд[опроизводст]ва. В тот же вечер зашли ко мне Ден и Крестьянов. Они говорили, что их тревожит состоявшееся определение, что оно идет вразрез с практикой суда и в деле столь щекотливом как будто заранее ставит судей на сторону обвинения, связывая руки защите. Я не согласился с ними и успокоил их тем, что по 576-й статье Устава угол[овного] суд[опроизводст]ва подсудимая имеет право в семидневный со дня отказа срок заявить суду о предоставлении просимых свидетелей лично или о вызове их на ее счет... По точному смыслу этой статьи, как она понималась и практиковалась всею русскою судебною практикою уже двенадцать лет, не было никакого сомнения, что при таком заявлении подсудимой председатель обязан немедленно сделать распоряжение о вызове просимых свидетелей. Начертывая 575-ю и 576-ю статьи, законодатель имел в виду не стеснять подсудимого в его защите, а лишь оградить свидетелей от напрасной траты времени и отвлечений от занятий по одному лишь неосновательному желанию подсудимого. Поэтому он и поставил подсудимого в неизбежность — или согласить лично этих несущественных, по мнению суда, свидетелей на явку, или же принять издержки их вызова на свой счет. Поэтому подсудимая могла после объявления ей об отказе все-таки ходатайствовать о вызове свидетелей по 576-й статье. Этот взгляд, казавшийся всем судебным деятелям того времени ясным, не подлежавшим спору и подтвержденным рядом случаев из судебной практики, успокоил моих товарищей в их благородной тревоге.

На другой день постановление суда было объявлено. а часа в четыре ко мне в кабинет пришел расстроенный товарищ прокурора Андреевский и взволнованным голосом рассказал историю назначения обвинителя по делу Засулич. Первоначальный выбор Лопухина остановился на товарище прокурора Жуковском. Умный, образованный и талантливый Мефистофель петербургской прокуратуры был очень сильным и опасным обвинителем. Его сухая, чуждая всяких фраз, пропитанная беспощадной желчью, но всегда очень

обдуманная краткая речь как нельзя больше гармонировала с его жидкой фигурой, острыми чертами худого, зеленовато-бледного лица, редкою, заостренною бородкою, тонкими ядовитыми губами и насмешливо приподнятыми бровями над косыми глазами, из которых светился недобрым блеском озлобленный ум. Вкрадчивым голосом и редким угловатым жестом руки с исхудалыми цепкими пальцами вил он обвинительную, нерасторжимо-логическую паутину вокруг подсудимого и, внезапно прерывая речь, перед ее обычным заключением, садился, судорожно улыбаясь и никогда не удастаивая ответом беспомощного жужжания растерянного защитника. Его всегдашняя сухая сдержанность подвергалась печальному испытанию лишь тогда, когда винные пары попадали ему в голову. Тогда он терял самообладание, становился груб, придирчив, и в его цинически откровенных словах выбивалась наружу его уязвленная жизнью и исполненная презрения душа. Страшный недуг талантливых русских людей коснулся и его концом своего крыла и раз был причиною почти испорченной служебной карьеры его, начавшейся блистательно. В половине 60-х годов он был костромским губернским прокурором и участвовал в качестве официального лица в проводах жандармского штаб-офицера, получившего другое назначение. За обедом он сохранил свою служебную сдержанность, но когда свежий волжский воздух на пристани, куда все поехали провожать голубого офицера, усилил действие винных паров, он неожиданно для всех брякнул провожаемому, который хотел с ним поцеловаться: «Ты куда лезешь?! Чего тебе, е. т. м.!! Стану я с тобою, со шпионом, целоваться! Прочь, с. сын!» и т. д. На товарищеских обедах, бывавших в среде петербургской прокуратуры, он нередко пьянел от очень небольшого количества вина и тогда из чрезвычайно остроумного и блестящего импровизатора обращался быстро в несносного и дерзкого задиралу. Лучшими его речами в Петербурге были речи по делу Марквордта, обвинявшегося в поджоге, и по знаменитому делу Овсянникова. В первом случае подсудимый, содержатель сарептского магазина, открытие которого готовилось замысловатыми рекламными, был предан суду вопреки заключению прокуратуры о совершенной недостаточности улики и был настолько уверен в своем оправдании, что явился в суд во фраке и белом галстуке. Жуковский произвел такое действие своею речью, что обвиненный «без снисхождения» Марквордт, препровожденный под арест в Литейную часть, вонзил себе в грудь перочинный нож по самую рукоятку и имел еще силы отломить ее и взойти

на лестницу, где и упал... мертвый... Когда, испуганный этим трагическим исходом и страшаясь за душевное настроение Жуковского, я поспешил к нему рано утром, то нашел его еще в постели усталого, но весело острящего над тем, что «этот дурак» вздумал привести над собой в исполнение приговор более строгий, чем тот, который постановлен судом. Речь его по делу Овсянникова была великолепна и не теряла даже от сравнения с блестящей диалектикой Спасовича, который в качестве гражданского истца восклицал: «Нам говорят, что это все одни лишь предположения, одни черточки, одни штрихи, а не серьезное обвинение. Ну да! Это — штрихи, это — черточки, но из них составляются линии, а из линий — буквы, а из букв — слоги, а из слогов — слово, и это слово — «поджог»!..» Когда после окончания дела Овсянникова Пален собрал у себя лиц, возбудивших [меня], исследовавших [Маркова и Книрима] и проводивших это дело [Жуковского], и торжественным голосом объявил нам о монаршем удовольствии по поводу действий, давших возможность довести до обвинительного приговора миллионера-самодура, в деянии которого полиция видела лишь случай, Жуковский остался верен себе и с ядовитой иронией, весьма мало гармонировавшей настроению бывшего псковского губернатора, очутившегося министром юстиции, сказал: «Да, ваше сиятельство, мы именно этим и отличаемся от администрации: мы всегда бьем стоячего, а она всегда — лежачего...»

Таков был будущий обвинитель Засулич. Но ему не понравилось бить стоячую в оправдание тех, кто бил лежачего, и, ссылаясь на то, что преступление Засулич имеет политический характер и что, обвиняя ее, он, Жуковский, поставит в трудное и неприятное положение своего брата, эмигранта, живущего в Женеве, он наотрез отказался от предложенной ему чести. Тогда Лопухин обратился к Андреевскому. Мягкий и гуманный, поэт в жизни и в литературе, «говорящий судья» на обвинительной трибуне, независимый и всегда благородный в приемах, С. А. Андреевский составлял полную противоположность Жуковскому и, в силу известного закона о противоположностях, был тоже выдающимся по своей деловитости обвинителем. На предложение Лопухина, сделанное в присутствии прокурора окружного суда Сабурова, он ответил вопросом о том: может ли он в своей речи признать действия Трепова неправильными? Ответ был отрицательный. «В таком случае я вынужден отказаться от обвинения Засулич, — сказал он, — так как не могу громить ее и умалчивать о действиях Трепова. Слово

осуждения, сказанное противозаконному действию Трепова с прокурорской трибуны, облегчит задачу обвинения Засулич и придаст ему то свойство беспристрастия, которое составляет его настоящую силу...» Лопухин стал его уговаривать, то тупо иронизируя над либеральным знаменем, которым прикрывался Андреевский, то уговаривая его и упрасывая, то показывая когти и внутренне скрежеща зубами, то заверяя его, что это не служебный, а частный разговор, «Зачем вы меня уговариваете,— сказал ему, наконец, Андреевский,— когда вы можете мне предписать? Дайте мне письменный ордер, и я уже тогда увижу, что мне делать: подчиниться или...» — «Оставить службу? — перебил его Лопухин.— Да я этого не хочу, что вы?!» И уверив его еще раз, что разговор имеет совершенно частный характер, он отпустил его и потребовал к себе Кесселя... На другой день от Андреевского и Жуковского было официально потребовано объяснение, на каком основании они отказались от обвинения. А Кессель, зайдя ко мне в кабинет, объявил, что он вынужден был принять поручение обвинять Засулич.

Я знал Кесселя давно. Застав его в 1871 году чрезвычайно строптивым исполняющим должность следователя и предупрежденный Паленом еще в Казани, что при первой моей жалобе Кессель будет причислен к министерству юстиции, я защищал его против нареканий прокуратуры и при первой возможности взял прямо в городские товарищи прокурора на высший оклад, поручал ему большие обвинения, поощрял его литературные работы в «Судебном вестнике» и, уйдя из прокуратуры, рекомендовал его для командировки с особыми правами на место Тилигульской железнодорожной катастрофы; избавляя его от столкновений с Фуксом, устроил ему занятия при Гарткевиче по собиранию материалов для будущего уголовного уложения. По странной aberrации чувства я питал совершенно незаслуженную симпатию к этому угрюмому человеку. Мне думалось, что за его болезненным самолюбием скрываются добрые нравственные качества и чувство собственного достоинства. Но я никогда не делал себе иллюзий относительно его обвинительных способностей. Поэтому и увидев совершенно убитый вид Кесселя, я немало удивился выбору Лопухина и живо представил, какую бесцветную, слабосильную и водянистую обвинительную речь услышит Петербург, нетерпеливо ждавший процесса Засулич. Из разговора с Кесселем оказалось, что его обуял малодушный страх пред тем, как отнесутся в обществе и в кругу товарищей к тому,

что после отказа двух из них от обвинения он все-таки принял его на себя, и он приискивал разные резоны в свое оправдание. Я старался его успокоить, внушая ему, что отказы товарищей основаны на исключительных соображениях, которых он может не иметь или не разделять; что, проведя обвинение спокойно, без задора и громких фраз, он исполнит лежащую на нем, как на лице прокурорского надзора, обязанность и что восприятие обсуждать действия Трепова лишь затрудняет его и без того трудную задачу, но не изменяет ее существа... Но он совершенно упал духом, и, жалея его, а также предвидя скандальное неравновесие сторон на суде при таком обвинителе, я предложил ему, если представится случай, попробовать снять с него эту тяжесть. Он очень просил меня сделать это, хотя в глазах его я заметил то виляющее выражение, которое так хорошо определяется русской поговоркой: «И хочется, и колется, и маменька не велит». Случай говорить о нем да и о многом по делу Засулич представился скоро.

На другой же день, 27 марта, меня пригласил к себе Пален по какому-то маловажному делу, которое, очевидно, служило лишь предлогом. Разговор почти немедленно перешел на предстоящий процесс, и после разных упреков по адресу Андреевского и Жуковского и заявления, что «пусть только пройдет дело, а там мы еще поговорим», Пален сказал мне: «Ну, Анатолий Федорович, теперь все зависит от вас, от вашего умения и красноречия». — «Граф, — ответил я, — умение председателя состоит в беспристрастном соблюдении закона, а красноречивым он быть не должен, ибо существенные признаки резюме — бесстрашие и спокойствие... Мои обязанности и задачи так ясно определены в уставах, что теперь уже можно сказать, что я буду делать в заседании...» — «Да, я знаю — беспристрастие! Беспристрастие! Так говорят все ваши «статисты» (так называл он людей, любивших ссылаться на статьи судебных уставов), но есть дела, где нужно смотреть так, знаете, политически; это проклятое дело надо спустить скорее, и сделать на всю эту проклятую историю так (он очертил рукой в воздухе крест), и я говорю, что если Анатолий Федорович захочет, то он так им (то есть присяжным) скажет, что они сделают все, что он пожелает! Ведь так, а?!» — «Граф, влиять на присяжных должны стороны, это их законная роль; председатель же, который будет гнуть весь процесс к исключительному обвинению, сразу потеряет всякий авторитет у присяжных, особенно у развитых, петербургских, и, я могу вас уверить по бывшим примерам,

окажет медвежью услугу обвинению». — «Да, но повторяю, от вас, именно от вас правительство ждет в этом деле услуги и содействия обвинению. Я прошу вас оставить меня в уверенности, что мы можем на вас опереться... Что такое стороны? Стороны — вздор! Тут все зависит от вас!..» — «Но позвольте, граф, ведь вы высказываете совершенно невозможный взгляд на роль председателя, и могу вас уверить, что я не так понимал эту роль, когда шел в председатели, не так понимаю ее и теперь. Председатель — судья, а не сторона, и, ведя уголовный процесс, он держит в руках чашу со святыми дарами. Он не смеет наклонять ее ни в ту, ни в другую сторону — иначе дары будут пролиты... Да и если требовать от председателя не юридической, а политической деятельности, то где предел таких требований, где определение рода услуг, которые может оказать иной, не в меру услужливый, председатель? Нет, граф! Я вас прошу не становиться на эту точку зрения и не ждать от меня ничего, кроме точного исполнения моих обязанностей... Я понимаю, впрочем, ввиду общественного настроения, ваши тревоги и, становясь на время в старое положение вице-директора, позволяю себе дать вам один совет. Вы знаете, что суд отказал в вызове свидетелей, могущих разъяснить факты, внушившие Засулич мысль о выстреле в Трепова. Но на днях истекает неделя с объявления ей об этом, и она может обратиться и, вероятно, обратится с требованием об их вызове на ее счет. Оно будет для суда обязательно. Мы не имеем права отказать ей в этом. Но свидетели такого рода, несомненно, коснутся факта сечения Боголюбова, рассказы о котором так возбудили Засулич. Этим будет дан защитнику очень благодарный и опасный в умелых руках материал. Вы знаете Александрова больше, чем я, и не станете отрицать за ним ни таланта, ни ловкости. Несомненно, что он напряжет все свои силы в этом деле, сознавая, что оно есть пробный камень для адвокатской репутации... Против такого защитника и по т а к о м у вообще очень благодарному для защиты делу необходим по меньшей мере равносильный обвинитель — холодный, спокойный, уверенный в себе и привыкший представлять суду более широкие горизонты, чем простое изложение улик. Он может, и даже должен, отдать защите факт наказания Боголюбова, не пытаясь опровергать его возмутительность. Да, граф, возмутительность и незаконность!.. Он мог бы даже от себя прибавить слово порицания и решительно отвергнуть всякую солидарность с образом действий Трепова... Но, предоставив защитнику «въезжать всем дышлом» в вопрос

факта, на почве которого нельзя спорить, не рискуя быть позорно побитым, обвинитель должен уметь подняться над этим фактом в высоту общих государственных соображений; он должен уметь нарисовать картину общества, где царствует кровавый самосуд и где от ума, а следовательно, и от глупости каждого честного человека зависит признать другое лицо виновным и привести над ним в исполнение свой произвольный, узкий, подсказанный озлоблением приговор. На этой высоте должен укрепиться прокурор и, увлекши защиту за собою в эту область, разбить ее оружием здравого смысла. Прокурор должен поступить как Геркулес в мифе об Антее. Известно, что Антей по временам становился неодолимо силен, и Геркулес заметил, что это бывает тогда, когда он касается ногами почвы, которая и дает ему эту чудодейственную силу. Тогда он поднял его на воздух и там, оторвав от почвы, задушил. Почва Антея в деле Засулич — это факт наказания Боголюбова. Надо сделать этому факту надлежащую оценку в унисон с защитником, но затем оторвать его от почвы и победить в области общих соображений. Это, по моему мнению, единственный прием для правильного исхода обвинения, и с этой точки зрения Андреевский, на которого вы так негодуете, прав, затрудняясь поддерживать обвинение, стыдливо умалчивая о мотивах преступления... Как же, однако, представлена прокуратура по этому делу? Вы знаете, граф, что я несколько пристрастен к Кесселю и, может быть, даже несколько преувеличиваю его достоинства, но могу вас уверить, что трудно сделать более неудачный выбор обвинителя... Он уже теперь волнуется и пугается этого дела. Он никогда не выступал по таким серьезным делам; хороший «статист» и знаток следственной части, он — совершенно ничтожный противник для Александра...» — «Да, но кого же назначить, когда «эти подлецы» отказались?! — воскликнул Пален и прибавил с кисло-сладкой улыбкой: — Такой обвинитель, о котором вы говорите, был лишь один, это А. Ф. Кони, но его, к несчастью, уже нет...» — «По-вашему и вопреки его желанию, — прибавил я, — но вы имеете еще большие силы в прокуратуре; у вас есть Масловский, умный и серьезный обвинитель, ведший с большим тактом политические дела, к которым, по своему характеру, близко подходит дело Засулич; есть Смирнов, талантливый, энергический обвинитель игуменьи Митрофании... поручите одному из них...» — «Но ведь они — товарищи прокурора палаты». — «Имеющие по закону право обвинять в окружном суде», — перебил я. «Да, конечно, —

возразил Пален, внезапно впадая в усталый тон,— но это значит — придавать делу слишком важное значение... слишком важное значение», — прибавил он глубокомысленно. «Не вы ли сами придавали ему до сих пор такое значение, граф?!» — «И притом, видите, любезный Анатолий Федорович, назначение обвинителя — дело прокурора палаты; уж добрейший А. А. Лопухин знает, что делает, он все взвесил; нет, знаете, не надо придавать этому делу такое значение... и обвинитель не так важен, мы все-таки больше всего надеемся на вас...» Видя, что он впадает в сонливое оупление, я прекратил беседу, сказав, что дело ввиду общественного настроения имеет большое значение, и повторив просьбу не ожидать от меня каких-либо исключительных действий. «И вы думаете, что может быть оправдательный приговор?» — спросил Пален, зевая. «Да, может быть, и при неравенстве сторон более чем возможен...» — «Нет, что обвинитель! — задумчиво сказал Пален. — А вот о чем я вас очень прошу,— внезапно оживившись, обратился он снова ко мне. — Знаете что? Дайте мне кассационный повод на случай оправдания, а?» — и он хитро подмигнул мне глазом... Я не мог не улыбнуться этой цинической наивности министра юстиции. «Я председательствую всего третий раз в жизни,— сказал я,— ошибки возможны и, вероятно, будут, но делать их сознательно я не стану, считая это совершенно несогласным с достоинством судьи, и принимаю такое предложение ваше просто за шутку...» — «Нет, какая шутка?! — серьезно сказал Пален. — Я вас очень прошу, вы это так умно сумеете сделать...» Я молча встал, и мы расстались...

Выходя от Палена, поразившего на этот раз даже меня своим легкомыслием, я невольно вспомнил, как он еще в 1869 году, негодуя на харьковскую прокуратуру за возбуждение следствия против пьяных и буйных, но влиятельных баричей — Шидловского и Паскевича, оскорбивших в театре частного пристава Смирнитского, просил меня при возвращении моем из-за границы принять обвинение их на себя и на суде от него отказаться и был очень недоволен, встретив несогласие на это со стороны маленького провинциального товарища прокурора. Он, очевидно, ничему не научился и ничего не забыл из своих старых приемов в протекшие между обоими предложениями девять лет.

В суде меня встретил Крестьянов и, подавая прошение Александра о вызове просимых свидетелей на счет Засулич, торжествующим образом сказал мне: «Ну вот видите, придется вызвать!» Вопрос об обязательности вызова по 576-й статье до такой степени давно уже перестал быть вопро-

сом, что я, занятый чем-то другим, сказал ему: «Да, теперь надо вызвать». Он, очень храбрый и даже грубоватый в коллегии, но постыдно трусливый и нерешительный в одиночку, унес прошение в отделение, в котором председательствовал, и, сделав на нем надпись «вызвать» и, из осторожности, на всякий случай, не подписав ее, приказал немедленно послать повестки свидетелям. Впоследствии эта надпись причинила много тревожных минут этому человеку, мужиковатое псевдопрямодушие которого плохо прикрывало трусливую душонку судебного чиновника.

Между тем день разбирательства приближался...

В обществе рос интерес к делу и распускались самые нелепые толки, а меня заваливали письмами и просьбами о билетах. Особенно интересовались попасть в заседание дамы, и левый ящик моего стола, куда я бросаю письма, был пропитан запахом духов от разноцветных записочек с затейливыми монограммами и гербами.

Нечего было и думать о впуске публики без билетов. Это значило бы вызвать всевозможные беспорядки, скандалы и, может быть, даже увечья. Ввиду массы просьб я должен был принять какую-либо систему раздачи билетов в отвратительные сиденья в душной и темной зале 1-го отделения с.-петербургского окружного суда. У меня сохранился листок, на котором записана раздача билетов, в которой впоследствии усматривалась та же тенденциозность. Вот как были распределены билеты: десяти членам гражданских отделений суда — по одному билету, десяти членам уголовного отделения — по одному, семи товарищам председателя — по два, прокурору палаты — шесть, прокурору суда — два, товарищам прокурора палаты — четыре, товарищам прокурора суда — шесть, старшему нотариусу — один, старшему председателю судебной палаты — четыре, членам палаты — шесть, судебным следователям Кабату и Книриму — по одному, членам совета — десять, сенаторам Ковалевскому и барону Медему — по одному, товарищу обер-прокурора Голубеву — один, управляющему канцелярией министерства юстиции барону Корфу — три, Грум-Гржимайло — один, в III Отделение — три, Трепову — три, М. А. Сольской — один, Е. Е. Ковалевской — один, Цуханову — три, Таганцеву — пять, Склифосовскому — пять, Градовскому — два, г-же Стасюлевич — два, военным судьям — пять, Горемыкину — два, Белостоцкому — один, Посулину — один, г-же Христианович — один, О. И. Чертковой — два, Нарышкиной — один, княгине Барятинской — один, Замятнину — два, княгине Тенишевой — два, Давыдову — два, Ераковым — два, Стра-

хову — один, Хирякову — один, г-жам Прево, Мерц, Ковалевой, Сомовой — по одному, Маслянникову — один.

Присяжные сознавали всю важность предстоящего им дела и отнеслись к нему с некоторой торжественностью. Они поручили судебному приставу, состоящему при отделении, спросить у меня, не следует ли им ввиду важности заседания 31 марта надеть фраки, у кого есть, и белые галстуки...

Я просил передать им, что не нахожу этого нужным.

Вечером 30 марта, пойдя пройтись, я зашел посмотреть, исполнены ли мои приказания относительно вентиляции и приведения зала суда в порядок для многолюдного заседания... Смеркалось, зала смотрела мрачно, и бог знает, что предстояло на завтра. С мыслями об этом завтра вернулся я домой и с ними провел почти бессонную ночь... [...]

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

Резюме председателя А. Ф. Кони

Господа присяжные заседатели! Судебные прения окончены, и вам предстоит произнести ваш приговор. Вам была предоставлена возможность всесторонне рассмотреть настоящее дело, пред вами были открыты беспрепятственно все обстоятельства, которые, по мнению сторон, должны были разъяснить сущность деяния подсудимой, — и суд имеет основания ожидать от вас приговора обдуманного и основанного на серьезной оценке имеющегося у вас материала. Но прежде чем вы приступите к означенному обсуждению дела, я обязан дать вам некоторые указания о том, как и в каком порядке надо приступать к оценке данных дела.

Когда вам предлагается вопрос о виновности подсудимого в каком-либо преступлении, у вас естественно и прежде всего возникает два вопроса: кем совершено деяние и что именно совершено. Вы должны спросить себя, находится ли перед вами лицо, ответственное за свои проступки, то есть не такое, в котором старость ослабила, молодость не вполне развила, болезнь погасила умственные силы. Вы должны убедиться, что перед вами находится человек, сознающий свои поступки и, следовательно, могущий подлежать за них ответственности.

В настоящем деле нет указаний на душевную болезнь, нет и вопроса о возрасте, и если защитник говорил перед вами о состоянии «постоянного аффекта», то есть гнетущего и страстного порыва, то и он не указывал на то, чтобы этим состоянием у подсудимой затемнялось сознание. Что же ка-

сается до нервности подсудимой, следы которой не могли ускользнуть от вас, то нервность лишь вызывает большую впечатлительность.

Поэтому я думаю, что первый вопрос не представит для вас особых трудностей. Но второй вопрос труднее. Вы должны знать, на основании твердых данных, что именно совершено. Мало знать, что то или другое преступное деяние совершено, — необходимо знать, для чего оно совершено, то есть знать цель и уяснить себе намерение подсудимого.

А затем возникает более общий вопрос: из каких побуждений сделано то, что привело подсудимого пред вас.

Есть дела, где эти вопросы разрешаются сравнительно легко, где в самом преступлении содержится уже и его объяснение, содержится указание на его цель. В таких делах, по большей части, для всякого ясно, к чему стремится обвиняемый. Так, кража в огромном большинстве случаев совершается для завладения чужим имуществом тайно, грабеж — для похищения его явно, изнасилование — для удовлетворения животной страсти и т. д.

Но есть дела более сложные. В них неизбежно надо исследовать внутреннюю сторону деяния. Один факт еще ничего не говорит или, во всяком случае, говорит очень мало. Таково у б и й с т в о. Убийство — есть лишение жизни. Оно является преступным, когда совершается не для самообороны. Но оно может быть совершаемо различно. Я могу совершить убийство необдуманно, играя заряженным оружием; я могу убить в драке, нанося удары направо и налево; могу прийти в негодование и в порыве гнева убить оскорбителя; могу, не ослепляемый раздражением, сознательно лишить жизни другого и могу, наконец, воспитать в себе прочную ненависть и под влиянием ее в течение многих иногда дней подготовить себя к тому, чтобы решительным, но задолго предвиденным ударом лишить кого-либо жизни. Все это будут ступени одной и той же лестницы, все они называются убийством, но какая между ними разница! И для того, чтобы ошибочно не стать ступенью ниже или, в особенности, ступенью выше, чем следует по справедливости, — необходимо рассмотреть внутреннюю сторону преступления. Это рассмотрение укажет, какое это убийство, если только это убийство.

Но в настоящем деле обвинением поднят вопрос о покушении. Вам из явлений обыденной жизни известно, что такое покушение. Оно может быть различно. Бывают случаи, когда человек сам останавливается, приступив к совершению преступления. Стыд, страх, внутренний голос,

слабость воли могут остановить его в самом начале. Но когда и выстрелил человек, когда замахнулся оружием, могут быть разные исходы: удар пришелся мимо, последовал промах, или удар пришелся в защищенное, случайно или неслучайно, место и, встретив препятствие, не причинил вреда, или же, наконец, удар дошел по назначению, но особенности организма того, кому он был назначен, уничтожили, ослабили смертоносную силу. Удар может быть нанесен так, что есть полная вероятность, что он разрушит такие части тела, с невредимостью которых связана самая жизнь, а между тем случайное отклонение лезвия ножа или пути, избранного пулею, оставит важные внутренние органы без существенных повреждений или причинит такие, для борьбы против которых окажется достаточно жизненной силы у поврежденного организма. В этих последних случаях закон считает, что обвиняемый исполнил все, что от него зависело. Смерть не произошла не по его воле, и не от него уже зависело устранить ее, отдалить ее приход.

С таким именно случаем, по мнению представителя обвинительной власти, имеее вы теперь дело. Вы вдумаетесь в обстоятельства дела и в то, что было объясняемо вам здесь, и решите — есть ли прочные данные для этого вывода.

Картина самого события в приемной градоначальника 24 января должна быть вам ясна. Все свидетельские показания согласны между собою в описании того, что сделала Засулич. Револьвер, брошенный ею, пред вами. Объяснение, почему она его бросила, вы слышали. Оно подтверждается как устройством спуска курка револьвера, так и тою, предвиденною ею, суматохою около нее после выстрела, о которой обстоятельно рассказывали здесь Курнеев и Греч. Некоторое сомнение может возбудить лишь показание потерпевшего, прочитанное здесь на суде. Но это сомнение будет мимолетное. Для него нет оснований, и предположение о борьбе со стороны Засулич и о желании выстрелить еще раз ничем не подтверждается. Надо помнить, что показание потерпевшего дано почти тотчас после выстрела, когда под влиянием физических страданий и нравственного потрясения, в жару боли и волнения, генерал-адъютант Трепов не мог вполне ясно различать и припоминать все происходившее вокруг него. Поэтому, без ущерба для вашей задачи, вы можете не останавливаться на этом показании.

Факт выстрела, причинившего рану, несомненен. Но какая это рана, какой ее исход, каково ее значение? Здесь были выслушаны эксперты. Эксперты — те же свидетели. Они так же говорят о том, что видели или слышали. Но они

отличаются одним свойством от свидетелей обыкновенных. Обыкновенный свидетель — человек простой, относящийся непосредственно к виденному и слышанному. Его личные впечатления и выводы иногда затемняют то красноречие фактов, которое содержится в его показании. Но эксперт — свидетель, по преимуществу вооруженный научным знанием и специальным опытом. Поэтому он не только может, но должен говорить о значении того, что он видит и слышит; его выводы освещают дело, устраняют многие сомнения и неясность обыденных представлений заменяют определенным взглядом, основанным на строгих данных науки.

И к свидетелям и к экспертам можно относиться с большим или меньшим доверием. Я напоминаю вам, что доверие к свидетелю на суде должно основываться на нравственном, а если они даны экспертом, то и на научном его авторитете.

Вы примените эти условия к показаниям экспертов, бывших перед вами. Если вы найдете, что эксперты относились к делу с полным спокойствием и вниманием, что они, несмотря на разнообразное свое положение, вполне свободно сошлись в одних и тех же выводах, то вы, вероятно, отнесетесь к ним с доверием. Если затем вы припомните, что здесь перед вами были трое из наиболее выдающихся хирургов столицы, и в том числе два профессора хирургии, и что они имели возможность проследить ранение и его последствия, так сказать, по горячим следам, у постели больного, то вы придадите их показаниям научный авторитет. Сущность этих показаний от вас не ускользнула: рана нанесена, как оказывается из осмотра опаленного места на мундире, почти в упор — рана тяжелая и грозившая опасностью жизни.

Внутренняя сторона деяния Засулич будет затем подлежать особому вашему обсуждению. Здесь надо приложить всю силу разума, чтобы правильнее оценить цель и намерение, вложенные в действия подсудимой. Я укажу лишь на то, что более выдающимися основаниями для осуждения представляются здесь: во-первых, собственное объяснение подсудимой и, во-вторых, обстоятельства дела, не зависящие от этого объяснения, но которыми во многих отношениях может быть проверена его правильность или неправильность.

Собственное объяснение подсудимой прежде всего оценивается по тому доверию, какое вообще внушает или не внушает личность подсудимой. На скамью обвиняемых являются люди самых различных свойств. Обстановка, в которой они действовали до появления на этой скамье,

обыкновенно отражается и на степени доверия, внушаемого их объяснениями перед судом. В большинстве случаев к объяснениям подсудимого надо относиться с осторожностью. Он слишком близкий к делу человек, он слишком большое участие в нем принимает, чтобы относиться к нему со спокойствием, чтобы иногда, под влиянием своего положения, невольно не смотреть на деяние свое односторонне, то есть не вполне согласно с истиной. Это настолько понятное явление, что обращаться к подсудимому с укором не следует, а следует лишь искать проверки объяснения подсудимого в сложившихся так или иначе фактах дела. Но собственное объяснение подсудимого, в особенности в делах, подобных настоящему, всегда должно быть принимаемо во внимание.

Существует, если можно так выразиться, два крайних типа по отношению к значению даваемых ими объяснений. С одной стороны — обвиняемый в преступлении, построенном на своекорыстном побуждении, желавший воспользоваться в личную выгоду плодами преступления, хотевший скрыть следы своего дела, бежать сам и на суде продолжающий то же, в надежде лживыми объяснениями выпутаться из беды, которой он всегда рассчитывал избежать, — игрок, которому изменила ловкость, поставивший на ставку свою свободу и желающий отыграться на суде. С другой стороны — отсутствие личной выгоды в преступлении, решимость принять его неизбежные последствия, без стремления уйти от правосудия, — совершение деяния в обстановке, которая заранее исключает возможность отрицания вины.

Между этими двумя типами укладываются все обвиняемые, бывающие на суде, приближаясь то к тому, то к другому. Очевидно, что обвиняемый первого типа заслуживает менее доверия, чем обвиняемый второго. Приближение к тому или другому типу не может уничтожать преступности деяния, приведшего обвиняемого к необходимости давать свои объяснения на суде, но может влиять на степень доверия к этим объяснениям.

К какому типу ближе подходит Вера Засулич — решите вы и сообразно с этим отнесетесь с большим или меньшим доверием к ее словам о том, что именно она имела в виду сделать, стреляя в генерал-адъютанта Трепова. Вы слышали объяснения Засулич здесь, вы помните сущность ее объяснения тотчас после происшествия. Оно приведено в обвинительном акте. Оба эти показания, в сущности, сводятся к желанию нанесением раны или причинением смерти отомстить генерал-адъютанту Трепову за наказание розгами Бо-

голюбова и тем обратить на случившееся в предварительной тюрьме общее внимание. Этим, по ее словам, она хотела сделать менее возможным на будущее время повторение подобных случаев.

Вы слышали прения сторон. Обвинитель находит, что подсудимая совершила мщение, имевшее целью убить генерал-адъютанта Трепова.

Обвинитель указывал вам на то нравственное осуждение, которому должны подвергаться избранные подсудимую средства, даже и в тех случаях, когда ими стремятся достигнуть нравственных целей. Вам было указано на возможность такого порядка вещей, при котором каждый, считающий свои или чужие права нарушенными, постановлял бы свой личный, произвольный приговор и сам приводил бы его в исполнение. Рассматривая с этой точки зрения объяснения подсудимой и проверяя их обстановкою преступления, прокурор находил, что подсудимая хотела лишить жизни потерпевшего.

Вы слышали затем доводы защиты. Они были направлены преимущественно на позднейшее объяснение подсудимой, в силу которого рана или смерть генерал-адъютанта Трепова была безразлична для Засулич, — важен был выстрел, обращавший на причины, по которым он был произведен, общее внимание. Таким образом, по предположению защиты, подсудимая считала себя поднимающею вопрос о восстановлении чести Боголюбова и разъяснении действительного характера происшествия 13 июля, и не только перед судом России, но и перед лицом Европы. То, что последовало после выстрела, не входило в расчеты подсудимой.

Вы посмотрите спокойным взглядом на те и другие доводы, господа присяжные заседатели. Вы останьтесь на их беспристрастном разборе и, произведя его, вероятно, встретитесь с вопросами.

Если нужно обращать на что-либо общее внимание, хотя бы путем необыкновенного или даже незаконного поступка, то является ли стрельба из револьвера и на расстоянии, на котором трудно промахнуться, единственным неизбежным средством? Общее внимание исключительно ли связано с действиями, которые почти неминуемо сопровождаются пролитием крови? Выстрел, направленный не в человека, но с внешними признаками покушения, не так же ли может поднять вопрос? Наконец, поднятие вопросов, хотя бы и о действительно больных сторонах общественной жизни, способом, избранным подсудимую, не является ли резким нарушением правильного устройства этой жизни, не являет-

ся ли лекарством, которое оставляет болезненные следы, так как определение в каждом данном случае вопроса, который должен быть таким образом поднят, ставится в зависимость от произвола, от развития, от разума или неразумия отдельного лица.

Обратясь к показанию Засулич, вы поищите в нем доказательства того, что она могла быть твердо уверена, что дело ее будет разбираться обыкновенным судом, публичным, гласным; ввиду этого вопроса я должен вам напомнить, что она здесь, на суде, объяснила именование себя Екатериною Козловой боязнию за своих знакомых, так как предполагала, что дело о ней будет производиться политическим порядком. А по этим делам закон разрешает закрывать двери суда всегда, когда это будет признано судом нужным.

Обсуждая доводы прокурора, вам придется остановиться на том, что надо понимать под мщением. Придется разобрать значение первоначального заявления подсудимой о желании отомстить. Быть может, в самом этом слове вы найдете и объяснение практической цели, для которой был произведен выстрел, если вы согласитесь с обвинителем в его взгляде на поступок Засулич.

Чувство мщения свойственно немногим людям; оно не так естественно, не так тесно связано с человеческой природой, как страсть, например, ревность, но оно бывает иногда весьма сильно, если человек не употребит благороднейших чувств души на подавление в себе стремления отомстить, если даст этому чувству настолько ослепить себя и подавить, что станет смешивать отомщение с правосудием, забывая, что враждебное настроение — плохое подспорье для справедливости решения. Каждый более или менее, в эпоху, когда еще характер не сложился окончательно, испытывал на себе это чувство. Состоит ли оно в неприменном желании уничтожить предмет гнева, виновника страданий, вызвавшего в душе прочное чувство мести? Или наряду с желанием уничтожить — и притом гораздо чаще — существует желание лишь причинить нравственное или физическое страдание или и то и другое страдание вместе? Акты мщения встречаются, к сожалению, в жизни в разнообразных формах, но нельзя сказать, чтобы в основе их всегда лежало желание уничтожить, стереть с лица земли предмет мщения.

Вы знаете жизнь, вы и решите этот вопрос. Быть может, вы найдете, что в мщении выражается не исключительное желание истребить, а и желание причинить страдание и подвергнуть человека нравственным ударам. Если вы най-

дете это, то у вас может явиться соображение, что указание Засулич на желание отомстить еще не указывает на ее желание непременно убить генерал-адъютанта Трепова.

Разрешить так или иначе вопрос о степени доверия к показанию подсудимой нельзя, не перейдя к проверке его данными дела. И здесь вы снова встретитесь с рядом вопросов. Во-первых, вы обратите внимание на оружие и на то, что оно куплено по поручению подсудимой. Показание Лежена охарактеризовало перед вами свойства револьвера. Это — один из сильнейших. Вместе с тем по конструкции своей он один из самых коротких. Вы припомните мнение обвинителя, что калибр револьвера, его боевая сила указывают на желание убить, но вы не упустите из виду и того соображения, что размер револьвера делал удобным его ношение в кармане и незаметное вынутие оттуда, причем не цель непрямого убийства могла быть в виду, а лишь обстановка, в которой придется стрелять. Во-вторых, вы обсудите расстояние, с которого произведен выстрел, и место, куда он произведен. То, что он произведен почти в упор, может служить указанием на желание причинить смертельное повреждение, но не надо упускать из виду, что расстояние между генерал-адъютантом Треповым и Засулич обуславливалось обстановкою и, быть может, с другого места выстрела уже и нельзя было произвести. Вы решите, было ли расстояние, с которого был произведен столь близкий выстрел, выбрано Засулич произвольно и не было ли удобнее для целей убийства стрелять с несколько большего расстояния, так как тогда можно, не стесняясь расстоянием, навести пистолет в наиболее опасную часть тела. При этом вы сделаете и оценку выбора места, куда произведен был выстрел. Вы припомните, что говорил обвинитель о волнении подсудимой, мешавшем ей сделать выстрел иначе, но не забудете также и того, что, по обыденным понятиям и по медицинскому исходу настоящего ранения, наиболее опасными местами для причинения смерти являются голова и грудь. Вы вообще обратите особое внимание на оценку данных самого события.

Перед вами здесь было высказано, что для определения того, что Засулич не хотела убить, не нужно особенно останавливаться на фактах, — они, по-видимому, представляются не имеющими значения. Но я не могу со своей стороны дать вам такого совета. Я думаю, что на факты нужно во всяком деле обращать особое внимание. На одних предположениях и теоретических выводах судебного решения — обвинительного или оправдательного безразлично — строить нельзя.

Предположения и выводы являются иногда прочною и верною связью между фактами, но сами по себе еще ничего не доказывают. Всего лучше и несомненное цифры, где нет цифр, там остаются факты, но если цифр нет, если факты отбрасываются в сторону, то всякий вывод является произвольным и лишенным оснований. Поэтому, повторяю, при обсуждении двух возникающих из дела вопросов о покушении на убийство и о нанесении раны вдумайтесь в факты и подвергните их тщательному разбору. Отвечая на первый из поставленных вам вопросов, вы ответите на запрос о ране — тяжелой и обдуманной заранее; отвечая не только на первый, но и на второй вопрос, вы отвечаете на вопрос об убийстве, которое, как вы видите из прежнего вопроса, предполагается не совершившимся только от причин, которые устранить или создать было не в силах Засулич.

Ответ на все эти вопросы дает полную картину покушения на убийство, ответ на один первый — дает картину нанесения, сознательно и обдуманно, тяжелой раны.

При признании подсудимой виновною вам придется выбирать между этими двумя ответами. Быть может, у вас возникнут сомнения относительно выбора одного из этих ответов. Ввиду этого я должен вам напомнить, что по общему юридическому и нравственному правилу всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого; в применении к двум обвинениям в различных преступлениях это значит, что избирается обвинение в преступлении слабейшем.

Остается указать еще на ту часть вопроса первого, одинаково применимую и к покушению на убийство и к нанесению тяжелой раны, которая говорит о заранее обдуманном намерении.

Каждое действие чем серьезнее, тем более оно обдуманно; то же и по отношению к преступлению. Обвинительная власть находит, что подсудимая учинила свое деяние, задолго его обдумав и приготовясь к нему; защита полагает, что ничего обдуманного заранее не было и что Засулич, думая о том, что она впоследствии совершила в приемной градоначальника, находилась в состоянии постоянного аффекта, то есть в состоянии постоянного гнетущего и страстного раздражения. Преступления, совершенные в состоянии раздражения, существенно отличаются от обдуманных заранее. Если вы признаете, что подсудимая в то время, когда стреляла в генерал-адъютанта Трепова, находилась в состоянии вызванного в ней незадолго перед тем раздражения и гнева, то вы отвергнете обдуманность и исключите ее из первого

вопроса, прибавив к нему, в случае утвердительного ответа на прочие его части, «но без обдуманного намерения».

Закон, однако, признает запальчивость и раздражение как последствия внезапно налетевшего гнева, который вполне овладевает человеком. Неожиданная обида, насилие, явное притеснение, возмутительное поведение могут в очевидцах или в потерпевшем вызвать негодование, которое заставит его забыть об окружающем и броситься на обидчика или, вступив с ним в объяснение, постепенно потерять всякое самообладание и свершить над ним преступное деяние, последствий которого совершитель за час, за полчаса иногда вовсе и не предвидел и которых он в спокойном состоянии сам ужаснулся бы. Но где есть некоторое время подумать, побыть с самим собою, где на первом плане не гнев, а более спокойное и более глубокое враждебное чувство, там убийство является уже умышленным. Там же, где желание причинить вред или убить существует более или менее продолжительное время, где человек встает и ложится с одной мыслью, с одной решимостью, где он приобретает средства для своего деяния и затем, однажды все обдумав и предусмотрев и на все решившись, идет на свершение своего дела, — там мы, с точки зрения закона, имеем дело с преступлением предумышленным, то есть совершенным с заранее обдуманным намерением. Каждый день, в течение долгого приготовления и обдумывания, человек этот может негодовать на свою будущую жертву, каждый день воспоминание о ней может возбуждать и гнев, и раздражение, и все-таки, если это продолжалось много-много дней и в течение их мысль о будущем созрела и развивалась, закон указывает на предумышление.

Не в гневе, не в страстном негодовании отличие преступления, совершенного предумышленно, от деяния, сделанного в раздражении, а в промежутке времени, дающем возможность одуматься, критически отнестись к себе и к задуманному делу и, призвав на помощь силу воли, отказаться от заманчивого плана. Там, где была эта возможность критики, возможность отказа, возвращения назад, возможность раздумия, там закон видит условия обдуманности. Где этого нет, когда человек неожиданно поглощен страстным порывом, там закон видит аффект.

Господа присяжные! Мне нечего говорить вам о порядке ваших совещаний: он вам известен. Нечего говорить о важности ваших обязанностей как представителей общественной совести, призванных творить суд. Открывая заседание, я уже говорил вам об этом, и то внимание, с которым вы от-

носились к делу, служит залогом вашего серьезного отношения к вашей задаче. Указания, которые я вам делал теперь, есть не что иное, как советы, могущие облегчить вам разбор данных дела и приведение их в систему. Они для вас нисколько не обязательны. Вы можете их забыть, вы можете их принять во внимание. Вы произнесете решительное и окончательное слово по этому важному, без сомнения, делу. Вы произнесете это слово по убеждению вашему, глубокому, основанному на всем, что вы видели и слышали, и ничем не стесняемому, кроме голоса вашей совести.

Если вы признаете подсудимую виновною по первому или по всем трем вопросам, то вы можете признать ее заслуживающею снисхождения по обстоятельствам дела. Эти обстоятельства вы можете понимать в широком смысле. К ним относится все то, что обрисовывает перед вами личность виновного. Эти обстоятельства всегда имеют значение, так как вы судите не отвлеченный предмет, а живого человека, настоящее которого всегда прямо или косвенно слагается под влиянием его прошлого. Обсуждая основания для снисхождения, вы припомните раскрытую перед вами жизнь Засулич. Быть может, ее скорбная, скитальческая молодость объяснит вам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойною, более впечатлительною и более болезненною по отношению к окружающей жизни, и вы найдете основания для снисхождения.

(К старшине). Получите вопросный лист. Обсудите дело спокойно и внимательно, и пусть в приговоре вашем скажется тот «дух правды», которым должны быть проникнуты все действия людей, исполняющих священные обязанности судьи.

(Присяжные удалились для совещания.)

ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Прерывая заседание с уходом присяжных, я вошел в свой кабинет очень усталый, но с чувством некоторого облегчения, вполне понятного в председателе, который после трудного и чреватого событиями судебного следствия и остренных прений отпустил присяжных совещаться. Я не мог, конечно, предрешить приговора, но я создавал, что ни присяжные, ни общество не вправе упрекнуть суд «в игре в правосудие». Пред первыми было открыто все внутреннее содержание дела, и их совесть могла возвысить свой голос, не смущаясь предположением, что что-либо утаено, скрыто, спрятано под сукно угодливыми или трепетными судьями.

Все, что было известно суду о личности подсудимой, о мотивах и обстановке ее действий, было выяснено пред присяжными, и если они чего-либо игравшего роль в поступке Засулич не знали, то это было лишь то, чего не знал и сам суд. И общество в лице своих разнообразных и многочисленных представителей было свидетелем широкого применения начал нового суда, невзирая на исключительность дела и особенности участников. Оно имело пред собою суд «для всех равный». От присяжных зависело, если они находили это справедливым, показать, что это — суд «милостивый», а граф Пален позаботился, со своей стороны, чтобы он был и «скорый»...

Обращаясь мыслью к приговору, который обсуждался в эти минуты за закрытыми дверями комнаты присяжных, я боялся надеяться, но желал, чтобы разум присяжных возобладавал над чувством и подсказал им решение, в котором признание вины Засулич соединялось бы со всеми смягчениями и относительно этой вины, и относительно состава преступления, признание ее вины в нанесении тяжелой раны — со «снисхождением»; такое решение, не идя вразрез ни с фактами дела, ни с требованиями общественного порядка, давало бы суду возможность применить к виновной наказание сравнительно не тяжкое.

Кроме того, ввиду признания присяжными, что одно насилие (со стороны власти) не уполномочивает на другое (со стороны подвластных), суд получил бы полное основание, особо отнеив первое из этих насилий, почерпнуть в произведенном им впечатлении и в житейской обстановке подсудимой поводы для ходатайства перед государем о дальнейшем смягчении, о милосердии... Последствия этого были бы самые благотворные во всех отношениях. Представление суда — подробное и твердое — указывало бы государю на то, как беззастенчиво преступают его сановники границы законности и уважения к человеческому достоинству; наказание, понесенное Засулич, дважды смягченное, не возмущало бы никого своею жестокостью; самый поступок Засулич, шедшей на кару и принявшей ее, приобретал бы характер действительного, несомненного самоотвержения, и, наконец, главное всего — пред всею Россией и даже, ввиду важности процесса, пред всею Европою развернулась бы картина суда настоящего, не боящегося смотреть в глаза истине и бестрепетно ищущего только правды. Мы, слуги нового суда, могли бы сказать всем тайным и явным его врагам: «Смотрите! Наряду с исключительными судами, не внушающими к себе ни доверия, ни уважения, есть суд, ко-

торый, соблюдая все гарантии правосудия и давая все средства защиты обвиняемому, умеет достигать справедливых приговоров, не возмущая совести общества и в то же время научая его узнавать свои язвы...» Обвинительный приговор, выражая слово порицания кровавому самосуду, в то же время был бы результатом такого судебного исследования, которое ясно показывало бы всем «властителям и судиям», что *nil inultum remanebit; quidquid latet apparebit*¹.

Судьба судила, однако, иначе... В кабинете у себя я застал Ковалевского и Чичерина. Мне важно было узнать мнение первоприсутствующего уголовного кассационного департамента о ходе дела на суде, тем более что в этом отношении М. Е. Ковалевский издавна и по справедливости считался авторитетом. «Ну что, мой строгий судья?..» — спросил я его. «Обвинят, несомненно», — отвечал он мне, не поняв вопроса. «Нет! А как шло дело?» — «Очень хорошо! — сказал он, крепко сжимая мою руку. — Вы сумели соединить строгий порядок с предоставлением сторонам самых широких прав, и, даже желая вас, по дружбе, раскритиковать, я не могу ни к чему придаться... Иначе этого дела и нельзя бы вести...» Чичерин удивлялся, как такое дело можно вести с присяжными. «Оно имеет несомненный политический оттенок, — говорил он, — и если присяжные вынесут обвинительный приговор (в чем он не сомневался), то этим они покажут, что они умнее тех, кто передал это дело на их суд. Но можно ли, однако, их подвергать таким испытаниям...»

Вслед за тем вошел Лопухин и таинственно сообщил мне, что на улице беспокойно, что можно ожидать беспорядков и он боится, чтобы присяжные не пострадали за свой обвинительный приговор от каких-либо насилий толпы. Действительно, из окон приемной, выходящих на Шпалерную, видна была толпа в несколько сот человек. Она совершенно запрудила собою улицу от Литейной до дома предварительного заключения. Преобладали широкополые шляпы, высокие сапоги и пледы; были видны зеваки и любопытные; но центр толпы ожидал чего-то, очевидно, сознательно и тревожно. В нем резко жестикулировали, оживленно разговаривали, и смутный шум глухого говора, доносясь сквозь открытую форточку, наполнял легким гулом своды пустой приемной. Чувствовалось, что вокруг суда волнуются политические страсти, что пена и брызги их разбиваются у са-

¹ ничто не останется безнаказанным; все тайное становится явным (*лат.*).

мых его дверей. Лопухин интересовался очень, знает ли полиция об этом сборище и приняты ли меры к его рассеянию, по-видимому, готовый войти с нею в обсуждение необходимых мероприятий. Я советовал ему не волноваться, сказав, что в случае обвинительного приговора я задержу присяжных в суде, покуда толпа не разойдется... «Обвиняй! Обвиняй наверняка!» — воскликнул он и отправился любезно болтать в судейскую комнату, полную табачного дыма и любопытствующих звездноносцев, из которых некоторые почувствовали себя не совсем спокойно, когда он указал им в окно на толпу, тоже, по-своему, любопытствующую...

«Звонок, звонок присяжных!» — сказал судебный пристав, просовывая голову в дверь кабинета... Они вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую... Настала мертвая тишина... Все притаили дыхание... Старшина дрожащею рукою подал мне лист... Против первого вопроса стояло крупным почерком: «Нет, не виновна!..» Целый вихрь мыслей о последствиях, о впечатлении, о значении этих трех слов пронесся в моей голове, когда я подписывал их... Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич. То же серое, «несуразное» лицо, ни бледнее, ни краснее обыкновенного; те же поднятые кверху, немного расширенные глаза... «Нет! — провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла ее щеки, но глаза так и не опустились, упорно уставившись в потолок... — Не вин...», но далее он не мог продолжать...

Тому, кто не был свидетелем, нельзя себе представить ни взрыва звуков, покрывших голос старшины, ни того движения, которое, как электрический толчок, пронеслось по всей зале. Крики несдержанной радости, истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: «Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!» — все слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем более демократическом отделении для публики обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали... Один особенно усердствовал над самым моим ухом. Я оглянулся Помощник генерал-фельдцейхмейстера граф А. А. Баранцев, раскрасневшийся седой толстяк, с азартом бил в ладоши. Встретив мой взгляд, он остановился, сконфуженно улыбнулся, но, едва я отвернулся, снова принялся хлопать...

В первую минуту судебные приставы бросились было к публике, вопросительно глядя на меня. Я остановил их знаком и, сказав судьям: «Будем сидеть», — не стал даже звонить. Все было бы бесполезно, а всякая активная попытка водворить порядок могла бы иметь трагический исход. Все

было возбуждено... Все отдавалось какому-то бессознательному чувству радости... и поток этой радости легко мог обратиться в поток ярости при первой серьезной попытке удержать его полицейскою плотиною. Мы сидели среди общего смятения неподвижно и молча, как римские сенаторы при нашествии на Рим галлов. Но крики стали мало-помалу замолкать, и, наконец, настала особая, если можно так выразиться, взволнованная тишина. Мне оставалось объявить Засулич свободною и закрыть заседание. Но настроение публики было таково, что сказать Засулич: «Вы свободны, вы можете оставить ваше место!» — значило отдать ее на руки восторженной и возбужденной толпе и вызвать самые беспорядочные и, быть может, даже безобразные по форме проявления триумфа. Нельзя было делать стены суда местом буйно-радостных демонстраций, которые за дверьми суда, на улице, среди собравшейся толпы, могли разрастись до размеров, вызывающих вмешательство силы. Я решился отступить от правила о немедленном освобождении подсудимых. «Вы оправданы! — сказал я Засулич. — Отправьтесь в дом предварительного заключения и возьмите ваши вещи; приказ о вашем освобождении будет прислан немедленно. Заседание закрыто!»

Публика с шумом и возгласами хлынула внутрь залы заседаний, перескакивая через барьеры, и окружила скамью подсудимой и место защитника. Ласковые слова сыпались на Засулич; присяжных поздравляли; Александров не успевал отвечать на рукопожатия и едва спустился с лестницы, как был подхвачен на руки и с криками торжества пронесен до самой Литейной. Зала опустела.

Проходя к себе, взволнованный и смущенный всем происшедшим, я увидел, что с угла Литейной на Шпалерную скорым шагом, в шинелях внакидку, входит команда жандармов, человек в тридцать. Она потеснила толпу, которая все больше и больше волновалась, ближе к дому предварительного заключения. «Из ворот этого дома, в самую пасть этой толпы выйдет Засулич, — подумал я, — будет встречена шумным восторгом, подхвачена на руки, несена с триумфом, а жандармы, конечно, вызваны, чтобы «тащить» и «не пущать», — и произойдет столкновение, быть может, кровавое. Всего этого можно было бы избежать, осуществив освобождение Засулич, не выпуская ее на Шпалерную. Для этого ее можно было привести по соединительному ходу назад, в суд, и выпустить через обыкновенно запертые ворота на Захарьевскую, объявив затем толпе, что она уже уехала. Но сделать такое распоряжение по дому предварительного

заклучения могла лишь местная прокуратура. На вопрос: «Где прокурор суда и прокурор палаты?» — мне отвечали, что оба «изволили уехать к министру», оставив здание судебных установлений, в котором Лопухин, в качестве инспектора, был блюстителем порядка, с шумящею публикою внутри и с грозно разраставшеюся толпою снаружи... Предчувствуя неминуемое столкновение молодежи с полициею и уличные беспорядки, я решил прибегнуть к единственному доступному мне средству и пригласил к себе полицеймейстера Дворжицкого. Трепов, возложив на него за полгода перед тем сечение Боголюбова, поручил ему же управление чинами полициии, командированным в суд.

Будущий спутник государя на роковом пути по Екатерининскому каналу предстал предо мною с злорадною улыбкою на красивом лице. Объяснив ему мои опасения, я сказал ему, что за отсутствием обоих прокуроров он один как представитель местной полициии имеет теперь право делать какие-либо распоряжения в доме предварительного заключения, управляющий которым находится в прямом подчинении градоначальнику. «Вы лучше меня знаете, что может произойти на улице, если Засулич будет выпущена к толпе, осаждающей ворота дома предварительного заключения, — говорил я. — На вашей обязанности лежит устранить возможность беспорядков, размер которых нельзя заранее и определить. Я не имею власти в доме предварительного заключения, но прошу вас отправиться туда немедленно, внутренним ходом из [зала] суда и, пригласив с собою Засулич, провести ее на судебный двор. Я прикажу смотрителю здания немедленно отворить ворота на Захарьевскую и выпустить Засулич через них. Толпа ждет на Шпалерной; Захарьевская широка и пустынна, и никто не думает, что из суда есть выход на нее; начинает смеркаться, и Засулич спокойно удалится, куда хочет, не возбуждая ничьего внимания. Когда она уедет, толпе можно будет объявить, что она вышла на Захарьевскую, и все обойдется благополучно. Сделайте это, прошу вас убедительно и настоятельно...» Дворжицкий поклонился с военной грацией, приподнимая свои полковничьи эполеты, и сказал: «Слушаю-с! — прибавив с усмешкою: — Только я попрошу сделать в здании суда надлежащие распоряжения, чтобы не вышло потом каких-либо недоразумений». — «Заприте немедленно ворота суда с Литейной и прикажите отомкнуть ворота на Захарьевскую, передав ключ господину Федосееву, — сказал я позванному немедленно смотрителю, указывая ему на расторопного судебного пристава. — Вы же, господин Федосеев, отправьтесь

вместе с господином полицеймейстером в дом предварительного заключения и проводите Засулич на Захарьевскую, заперев затем ворота... Теперь торопитесь, господин Дворжицкий, так как предписание суда уже послано в дом предварительного заключения. Можно быть спокойным, что вы все сделаете, как мы говорим?» — «Будьте уверены, ваше превосходительство, — отвечал, любезно раскланиваясь, тревожский ликтор, — наша обязанность — не допускать беспорядков...»

Оставшись один и несколько успокоенный тем, что тревоги этого дня, по-видимому, исчерпаны, я уже собирался уходить, но был задержан членом одного из наших высших учреждений [Деспот-Зеновичем], высоким, худым стариком с Александровской звездой на груди... «Пришел вас поблагодарить за билет, данный мне для семейства, — говорил он. — Ну, что скажете вы о нынешнем дне? А?!» — «День этот еще не окончен, и все, что произошло, еще так близко, так не остыло, — отвечал я, — что трудно сказать что-либо определенное... но боюсь, чтобы для нашего суда присяжных... он не был день роковой». — «Счастливейший день моей жизни! Счастливейший день моей жизни! — вскричал сановник, ударяя с силою по звезде, и лицо его внезапно покраснело, и старческие нервные слезы заблестали в его глазах. — Счастливейший день!» — повторил он тихо, крепко сжимая мою руку.

С трудом пробравшись сквозь толпу на Шпалерной, я встретил при повороте на Литейную торопливо идущего молодого человека в высоких сапогах и старой медицинской фуражке. «Позвольте узнать, — спросил он меня, запыхавшись, — не были ли вы в суде? Не знаете ли, чем кончилось дело? Куда ее присудили, или оно еще идет?» — «Дело кончено; Засулич оправдана». — «Неужели?! Оправдана! Боже мой!» Крепкие руки порывисто меня обняли, по щеке моей скользнули влажные губы и жесткие усы, и фуражка помчалась далее... Через несколько минут мимо церкви Сергия рысью промчался по направлению к суду взвод жандармов... Семья Арцимовичей, у которых я обещал обедать, уже сидела за столом вместе с гостями, пришедшими из суда после того, как присяжные ушли совещаться... Все были уверены в обвинении Засулич, и мое заявление, что она оправдана, было принято сначала за шутку. Не успел окончиться обед, как почти вбежал новый гость — А. А. А. «Вы здесь спокойно сидите, — взволнованно сказал он, — а знаете ли, что происходит на улице?.. Там стреляют, дерутся с жандармами; недалеко отсюда, на Воскресенском проспекте,

лежит убитый». Оказалось, что через четверть часа после моего ухода из суда Засулич была выпущена из дома предварительного заключения прямо в толпу, на Шпалерную. Дворжицкий сдержал свое обещание «предотвратить беспорядки»... Когда я возвращался домой, истомленный тревогами и впечатлениями этого дня, по улицам с грохотом мчались пожарные и в стороне окружного суда вставало яркое зарево близкого пожара. За Невою, на Выборгской, горела огромная фабрика, и темно-багровые облака, медленно клубясь, нависали над местностью, где разыгралось дело, возбудившее страсти глубоко и надолго...

На другой день, рано утром, ко мне приехал Косоговский, бывший псковский губернатор, выбранный Тимашевым в директора полиции. Исполнительный, пустой и узкий бюрократ, искушенный в производстве административных исследований, имевших целью всегда доказать, что «все обстоит благополучно» и что «напрасно вольтерьянцы доказывают»; человек бумаги, соглашений и компромиссов — он был во вражде с Треповым, с которым имел по службе постоянные отношения. Он составлял велеречивые доклады, писал шуточные стихотворения, переводил Alfred de Musset¹ и, разъезжая по России, принимал роскошные обеды и «местные вина» от чинов полиции. Трепов с трудом мог написать несколько строк, делая в слове, состоящем из трех букв, четыре ошибки («есчо», то есть еще); в литературе признавал только «Полицейские ведомости» и ни в какие фамильярности с подчиненными не вступал. Трепов был — энергия, движение, во всем искал непосредственных, практических результатов и искренно желал усовершенствований в своем деле. Косоговский был — застой, инерция и тщательно ограждал свое ведомство от всяких «непристойных» (его любимое выражение) запросов жизни целыми баррикадами отписок, справок и докладов, выросших на почве добрых отношений с «нужными человечками». Между тем этим двум людям почти ежедневно приходилось входить в служебные соприкосновения, причем Трепов кипел, негодовал и постоянно выходил из формальных рамок, в которые старался его вдвинуть директор департамента. Иногда их вражда принимала острый характер, и в комитете по управлению домом предварительного заключения взаимное раздражение их очень часто грозило вызвать бурную сцену, так что председатель, князь Лобанов-Ростовский, смущался и переставал верить во всемогущество своих приятных манер и забавных анекдотов.

¹ Альфред де Мюссе (фр.).

Я встретился впервые с Косоговским в комиссии по осуждению сочинений о тюрьмах, представленных на конкурс, объявленный тюремным комитетом; потом мы сошлись в 1876 году под председательством седого и хитрого Китицына, бывшего, несмотря на свое совершенное невежество не только в юриспруденции, но и в грамоте, юрисконсультом двух министерств — двора и внутренних дел. Это было в мертворожденной комиссии, куда были переданы все жалобы администрации на судебные учреждения для разработки вопросов о безусловной доказательной силе полицейских протоколов, об отмене права судей делать предостережения чинам полиции, о порядке служебных сношений между представителями администрации и судьями, о церемониале приемов и т. д. Тогда благодаря невежеству и лени Китицына и тому, что Косоговский писал шуточные куплеты (в чем я его усердно поощрял), а представитель III Отделения Еремеев рисовал женские торсы, ножки и головки, мне и покойному Пясецкому удалось свести все эти вопросы на [нет]. Начальство негодовало на то, что Китицын ничего не умел провести, и не дало ему никакой награды, но опасные вопросы были на время погребены, чтобы, к сожалению, отчасти и притом с успехом всплыть впоследствии и уже по инициативе министра юстиции. Через год я встретил Косоговского на Кавказе, в Кисловодске, где он был неразлучен со «своим другом», звероподобным начальником пересыльной части, грязным циником, генерал-лейтенантом Беленченко. Маскрадный герой и «почетный член» домов терпимости, Беленченко оставил во мне весьма живое воспоминание по одной сцене, бывшей в тюремной комиссии под председательством Зубова. Будучи вызван как эксперт по пересыльной части, он поразил всех заявлением, что в России и Сибири административно пересылаются ежегодно от восьми до десяти тысяч человек.

В комиссию ездил весьма деятельно Шувалов, стремясь изъять тюрьмы из ведения министерства внутренних дел и приурочить тюремную статистику, то есть места заключения, к министерству юстиции, поставив последнее в необходимость отдать тюремную динамику, то есть пересыльную часть, в руки жандармского корпуса и III Отделения и, таким образом, сверх закона 19 мая о политических дознаниях связать свое ведомство еще новою пуповиной — с министерством юстиции. Заявление Беленченко передернуло его, и, крутя свой тонкий ус, он запальчиво сказал, что это неправда. К нему присоединились некоторые члены, доказывая, что, вероятно, Беленченко помещает в это число и пересы-

лаемых по судебным приговорам, вследствие подлежащих статей Уложения о наказаниях, а также непринятых обществами, водворяемых на родину по их желанию и т. д. «Ведь у вас есть статейные списки, разве вы не различаете по ним оснований пересылки?» — раздраженно спросил Шувалов. Беленченко встал во весь свой громадный рост и, обиженный вопросом Шувалова, сказал, широко разевая плотоядный рот: «Да помилюте, ваше сиятельство, зачем мне смотреть основания?! Не смотрел и смотреть не намерен! Зачем мне их знать? Ко мне приводят человека и говорят: «В Якутск!» — «Слушаю-с!» Кладу его в колесо, повернул, — и он сделал быстрое круговое движение рукою, — трах! Он в Якутске. А кто он, зачем и почему — мне-то какое дело? Я, ваше сиятельство, — машина; повернул колесо: раз, раз — и готово; раз, раз — и готово! А до личности мне и дела нет! С какой радости?!» — и он сел, поглаживая лысину, улыбаясь и самодовольно оглядывая слушателей, «срезанных» его *profession de foi*¹...

Приехав ко мне на другой день после дела Засулич, Косоговский, захлебываясь от удовольствия, стал рассказывать, какое благотворное впечатление произвел приговор и как все порядочные люди рады разоблачению «непристойных действий» Трепова. Косвенное порицание недруга, выразившееся в приговоре присяжных, его восхищало, и, позабыв свой официальный консерватизм, он превозносил их, уверяя, что они не могли иначе поступить и что теперь, конечно, «этого непристойного самодура» уберут. Приглашение к министру юстиции помогло мне отделаться от этого господина, истинная цена и источник чувств и взглядов которого в данную минуту мне были ясны.

Я нашел Палена гораздо более спокойным, чем ожидал. «Ну, вот видите, каковы они, ваши присяжные! — встретил он меня. — Ну, уж пусть теперь не взыщут, пусть не взыщут!» Но затем стал, без особого волнения, говорить о деле, по-видимому, более негодуя на уличные последствия процесса, чем на самый приговор. Я рассказал ему некоторые подробности процесса и ту роль, которую разыграл Дворжицкий. «Этого нельзя так оставить! — возмущался он. — Надо написать или сказать Трепову, а то это еще поставят нам на счет, пусть он взыщет!..» — «Нет, — сказал я, — писать официально Трепову неудобно, так как заботы по устранению беспорядков на улице вовсе не входили в мои служебные обязанности, да и вообще с ним всегда удобнее

¹ символом веры (*фр.*).

и успешнее дело идет при личных объяснениях; я заеду к нему сегодня и расскажу все подробно...» — «Да! Да! — твердил Пален. — Наделали мне эти присяжные хлопот! Но я слышал, что в а м и дело было ведено превосходно и безукоризненно... это мне говорили очевидцы...»

От Палена я поехал к Трепову. Хоть мне не хотелось его видеть, так как я [предвидел], что разговор о действиях Дворжицкого неизбежно перейдет и к приговору присяжных, который не мог не уязвить старика глубоко, пошатнув его внешний авторитет... Но я не считал возможным оставить случай с Дворжицким без последствий. Умышленность действий этого господина и злорадное желание усугубить последствия оправдания Засулич были слишком очевидны. Я нашел старика в фальшиво-сентиментальном настроении. Он твердил, что «благодарит бога» за оправдание Засулич, так как не желал и не желает ей зла, но тут же рядом с недоумением спрашивал, что он сделал присяжным и за что они его так жестоко оскорбили своим приговором? «Я хлопотал всегда о пользах города и благоустройстве его — и вот теперь награда...» — твердил он с видимой горечью и снова возвращался к тому, что был рад, узнав об оправдании, и при первой вести о нем будто бы даже перекрестился, сказав: «Ну и слава богу!» Он, видимо, впервые примерял одежду «христианского смирения», избрав со свойственным ему умом наиболее приличный и подходящий к случаю костюм. Я поспешил прекратить этот разговор, сказав ему, что оправдание Засулич выражает собою прежде всего сострадание к ее житейским бедствиям и что если в нем можно видеть протест присяжных, то, во всяком случае, лишь против нарушения закона, выразившегося в случае с Боголюбовым, а отнюдь не стремление оскорбить или унижить лично его, Трепова. Затем я перешел к случаю с Дворжицким. Трепов, который в прежнее время, обыкновенно, кипятился и пылал гневом на бездеятельность своих агентов, отнесся к моему рассказу очень хладнокровно. Он, очевидно, был предупрежден и настроен надлежащим образом. «Да, конечно, жаль, что Дворжицкий не исполнил вашего желания, — сказал он, снова напуская на себя меланхолию, — но, видите ли, Анатолий Федорович, мои меня очень любят и уважают — и Дворжицкий в том числе, — и они все, и он в том числе, не могли не быть оскорблены и расстроены приговором присяжных... Ну, а где же от расстроенного и огорченного человека требовать внимания и сообразительности. Дворжицкий, может быть, и хотел бы исполнить все, что вы ему говорили, да вспомнил все, что произошло, ну

и забыл... Нет, уж тут, по правде, не он, а присяжные винюваты — они и его, и всех так расстроили...»

Мне стало ясно, что у них решено поставить уличный беспорядок и пролитую кровь «нам на счет», как выражался Пален, и я прекратил беседу со стариком, снова вставшим в тон «христианского смирения».

Оправдание Засулич разразилось над петербургским обществом, подобно электрическому удару, радостно возбудив одних, устрасив других и всех равно взволновав. Повсюду только и было разговором, что о нем, а газетные отчеты, сообщая в течение нескольких дней все перипетии процесса, держали общественное любопытство в возбужденном состоянии и знакомили провинцию «с нашею злобою дня», которая приобрела значение знаменательного общественного явления. В огромной части образованного общества оправдание это приветствовалось горячим образом. В нем видели урок, предостережение; близорукие любители сравнений говорили уже не только о русской Шарлотте Корде, но и о «взятии Бастилии»... Чувствовалось, что приговор присяжных есть гласное, торжественное выражение негодования по поводу административных насилий, и большинство только с этой точки зрения его и рассматривало, окрашивая деятельность суда в политический колорит. В этом же смысле, и весьма единодушно, высказывалась и петербургская печать. Передовые статьи большей части газет рассматривали решение присяжных именно как протест общественной совести, которая была возмущена явным нарушением закона и грубым насилием и не нашла в себе слова осуждения для той, которая явилась выразительницей негодования, накопившегося в душе многих... Приговор присяжных, быть может, и не правилен юридически, но он верен нравственному чутью; он не согласен с мертвой буквой закона, но в нем звучит голос житейской правды; общество ему не может отказать в сочувствии и *saveant consules*¹!

Таково было содержание большей части статей и замечаний, появившихся в первые дни после процесса. Особенной горячностью отличался воскресный фельетон «Голоса». Он производил очень сильное впечатление. В написанных с неподдельным увлечением и талантом строках Григорий Градовский рассказывал пережитое им во время процесса. Пред ним зала суда, наполненная «избранною публикою», блестящая звездами, «так тесно» сидящими, точно на Млечном

¹ консулам — быть на страже! (лат.)

пути, — и бледная подсудимая; но все это застилает галлюцинация... ему кажется, что не ее, а его и с ним все общество судят и что защита говорит обвинительную речь, отнимая у них всякую надежду на оправдание. Но галлюцинация проходит — чредою проносятся обстоятельства дела, и событие 13 июля восстает пред ним во всей своей отталкивающей наготы, заслоняя недавние «болгарские» ужасы... Он не в силах передать в подробностях эту «страницу человеческой жестокости» — пусть читатели прочтут сами, — но он чувствует, что все это совершено не одним «потерпевшим», а всеми, всем обществом, которое молчало, когда совершалось поругание закона, всею печатью, которая не поднимала своего голоса, и что все они своею апатиею, своим равнодушием к попранию справедливости, воздвигли руку Засулич, у которой были отняты, без вины и приговора, ее молодость и малейшая надежда на будущее. И вот, когда среди общего томления раздается покрываемое взрывом восторга слово оправдания, ему снова грезится, что не она, а он сам оправдан, что теперь все пойдет хорошо после ряда неудач и горя и что наступила желанная, хотя и тяжелая, минута, с которой должно начаться общественное выздоровление...

В таком же тоне высказывались и другие органы печати. Одно «Новое время» молчало. Оно, по-видимому, начинало прислушиваться к камертону из Москвы и начинало «гнуть свою линию» в том направлении, которого оно стало с таким позорным успехом и беззастенчивостью держаться в последующие годы.

Но исход дела и напугал многих. Правительство почувствовало общественное значение решения присяжных, принятого с таким восторгом. Все те, кто, быть может, лично и брезгая насилием, были не прочь допустить его в руках других «для порядка», увидели, что за это приходится дорого платиться; многих возмутило то, что в решении «каких-то присяжных» прозвучал голос осуждения сановнику, генерал-адъютанту, крупному представителю власти... Давно начавшийся разлад между административною практикою и теоретическими требованиями, выросшими на почве преобразований Александра II, сказался резко, громко, во всеуслышание — и победа, нравственная победа, осталась не за практикою. Поле битвы оказалось перенесенным в чужую, независимую сферу, и в ней мероприятия административного произвола не нашли ни ценителей, ни знатоков. Склониться перед этим фактом значило войти в узкие рамки закона, стеснить себя навсегда, сознательно отречься от того,

что поэт называл «необходимостью самовластья и прелестями кнута». Надо было стать на защиту колеблемого авторитета, ибо «сегодня Трепов, а завтра кто-нибудь повыше», а там и еще повыше, ведь «кто богу не грешен, царю не виноват», и т. д. Наконец, очень многие были возмущены отрицанием виновности подсудимой при наличии факта преступления и сознания в нем. При полном непонимании, которое существует в нашем обществе относительно судебных порядков и способов отправления правосудия, почти для всех вопрос: «Виновен ли?» — и до сих пор равносильен вопросу: «Сделал ли?» И когда человеку, который сам сознается, что «сделал», говорят: «Не виновен», — то в обществе поднимается крик возмущения неправосудием, крик, в котором искренность недовольства равняется лишь глубине невежества. В деле Засулич был именно такой случай, и почти никто не хотел понять, что, говоря «не виновна», присяжные вовсе не отрицали того, что она сделала, а лишь не вменяли ей этого в вину. Мне рассказывали, что в это именно время в одном из клубов заслуженный генерал, негодуя на исход процесса, кричал: «Помилуйте, да и могло ли быть иначе при таком председателе?! Она говорила сама, что стреляла, а господин Кони спрашивает у присяжных, виновна ли она?! Нет! Как это вам нравится: виновна ли она? А?!»

В правительственных сферах забили тревогу, как только после первого впечатления явилось сознание, что общество, выйдя из пассивной роли, выразило осязательно и наглядно в громе рукоплесаний и криках восторга свое неодобрение, свое резкое порицание самому началу незаконных действий видного сановника и в его лице — всей предрержащей власти. В этих сферах были не прочь полиберальничать за обеденным столом и повздыхать о конституции за дымящейся сигарою; готовы были молчаливо-одобрительно выслушивать и даже поощрять самые низкие клеветы и сплетни про этого самого сановника; с удовольствием шутили насчет «небесного» царя, а иногда насчет «земного», и притом насчет последнего весьма злобно и грязно, но «публичное доказательство» недовольства и возможности критики казалось опасным и нетерпимым. И вот те, кто называл Трепова «старым вором», кто удивлялся, как может государь верить столицу этому «краснорожему фельдфебелю», этой «полицейской ярыге», как его называли некоторые, стали на его защиту и завопили о колебании правосудия и о том, что «если так пойдет, то надо бежать из России»...

В Английском клубе поднялась тревожная болтовня, и приговор над судом присяжных был подписан совокупностью сановных желудков, обладатели которых вдруг почувствовали себя солидарными с Треповым. Таким образом, в обществе образовалось два взаимно-противоположных взгляда, проводимых со страстностью и нетерпимостью, давно невиданными. Для одних решение по делу Засулич было вполне правильным выражением политического настроения общества, и в этом состояла его высота и целесообразность. Для других это решение было проявлением революционных страстей и начавшегося разложения государственного порядка. Людей, которые бы видели в этом решении роковое последствие целого ряда предшествующих прискорбных явлений и тревожный симптом болезненной неудовлетворенности общества, было немного. Для огромного большинства дело представлялось не так. Одни находили, что суд может, не теряя своего значения и смысла и оставаясь все-таки судом, сделаться органом проявления политических страстей, за неимением для них другого выхода; другие считали, что горячий материал, так ярко вспыхнувший по поводу этого дела, создан решением присяжных и что, не будь суда для проявления недовольства, не было бы и недовольства. Они, вопреки старому юридическому правилу, думали наоборот, что *sublatus effectus — tollitur causa*¹.

В кружках, на которые распадается образованное общество, почти не существует никакой внутренней дисциплины. Нет ее, в особенности, в среде людей либерального образа мыслей. Трудно себе представить больший разлад, нетерпимость, тупую либеральную ортодоксальность, которые существуют между ними. Говоря о том, что «мы друг друга едим и тем сыты», Посошков духовными очами провидел нашу либеральную партию, которая менее всего думает о необходимости сплоченности ввиду общих недугов — невежества, косности и произвола. Следы некоторой дисциплины есть, однако, в среде консерваторов, или, вернее, ретроградов. Там есть кое-какое единение, бываюи известные лозунги... Это проявилось и после дела Засулич.

Пока либералы жужжали о «проявлении общественного самосознания» и ликовали по поводу «взятия Бастилии», бюрократы и всякого сорта «друзья порядка» вырабатывали себе однообразный взгляд на дело и соответственную *ligne*

¹ устраните результат — уничтожится причина (*лат.*).

de conduite¹. Признать, что общественное мнение и даже совесть общества выразились в приговоре присяжных — значило нравственно наложить на себя руку. Итак, присяжные выразили лишь самих себя в решении, постановленном к негодованию всего «благомыслящего общества». Их, однако, двенадцать человек, они свободны, независимы и пришли в суд свежими и чуждыми рутине и предвзятым мнениям, а между тем произнесли такое решение. Значит, они почерпнули его в своей совести? Нет, не в совести, а в неразумении, усиленном неподготовленностью к сильным, искусственно созданным впечатлениям. Они введены в заблуждение, и их нечего винить. Но кто же искусственно подготовил эти вредоносные впечатления? Кто ввел их в заблуждение? Суд! Коронный суд! Он допустил говорить о действиях Трепова, и это произвело сильное впечатление; он дозволил защитнику говорить о сечении и потрясти этим слушателей; он не оградил присяжных от влияния на их чувства картины, образа; он не сказал им лаконически: «Вот — Засулич, она стреляла и созналась; больше вам нечего знать — судите ее!» Вот кто виноват! И прежде и более всего — председатель. Нечего видеть в этом приговоре проявление общественного негодования и этим тревожиться. Это просто ошибки, в особенности председателя... вот и все! И вот отправная точка: глупые присяжные, скверные судебные порядки и красный нигилист — председатель. На этом и станем твердо и бесповоротно!..

И вот дня через два после дела начала реветь буря негодования на действия суда, буря, в которой первую скрипку со свойственным ему вредным талантом начал играть Катков.

Но еще прежде чем разразилась буря, произошел один комический эпизод, достойный спасения от забвения. Вечером, в воскресенье 2 апреля ко мне в мое отсутствие являлся адъютант принца Петра Георгиевича Ольденбургского и просил прибыть на другой день к его высочеству ровно в десять часов утра. Во дворце, куда я пришел, запоздав, на лестнице меня встретил встревоженный Алопеус, директор Училища правоведения, где я читал лекции уголовного судопроизводства. «Что такое, зачем меня зовет принц?» — «Ах, вы опоздали, Анатолий Федорович, он уже два раза спрашивал о вас! Идите, идите! Теперь некогда объяснять вам, но такая история, что мы просто не знаем, что и делать, — лепетал мне этот хотя и «прискорбный умом», но

¹ линия поведения (фр.).

не без хитрецы человек. — Там — Таганцев», — прошептал он в большой тревоге; и я вошел к принцу в большой кабинет, окнами на Неву, по которой, озаренный первым весенним солнцем, шел лед...

Феноменально глупый, добрый и честный в душе, с драгоценной для карикатуриста физиономией и наивными голубыми глазами, принц быстро пошел ко мне навстречу и усадил за старинный ломберный стол, против Таганцева, который посмотрел на меня многозначительно, слегка покажав плечами. «Вот, — начал принц, торопясь, сбиваясь и говоря в нос, — и вы! Я очень рад, мы приступим; так, по моему мнению, дело идти не может, и я созвал вас, чтобы вместе обсудить... Приговор об этой девке переполнил чашу моего терпения; теперь уж для всех ясно, что такое суд присяжных; вы оба знаете мой взгляд, мы не раз об этом говорили, помните, а? Помните?» Я наклонил голову в знак того, что помню, и действительно я не мог забыть того, как, принимая меня при поступлении моем в Училище, добродушный принц доказывал мне ошибочность моего взгляда на присяжных, объясняя, что этот суд введен в России лишь благодаря коварству такого красного (sic¹), как Н. И. Стояновский, и что вообще он построен «на эшафотах казненных королей». Когда я напомнил ему, что Людовик XVI осужден конвентом, Карл I — парламентом, а Максимилиан Мексиканский — военным судом, то он замахал руками и вскричал: «Что вы! Что вы! Это все был суд присяжных, это всем известно». Через год, присутствуя у меня на экзамене, он спросил воспитанника, который взял билет об английских судебных учреждениях: «Какой король ввел присяжных в этой стране?» Экзаменующийся (это был Стахович) замялся и взглянул вопросительно. «Он этого не знает, ваше высочество, я им об этом не говорил». — «Отчего же не говорили?» — укоризненно сказал принц. «Да я сам этого не знаю...» Он выпучил с изумлением глаза, сморщил брови и спросил: «Как! Вам это неизвестно?! Не может быть!» — «Уверяю вас, ваше высочество, до сих пор я думал, что суд присяжных в Англии образовался постепенно, сложившись исторически, путем разных видоизменений и обычаев, как слагались, например, наша община и артель, но если вы поделитесь со мною сведениями по этому предмету, я буду очень вам обязан...» Он взглянул на меня торжествующим образом и громко сказал: «Суд присяжных в Англии ввел Карл I Стюарт... и сейчас же был казнен», —

¹ так, именно! (лат.)

добавил он вполголоса, наклоняясь ко мне, чтобы не вводить в соблазн воспитанников. «Я всегда говорил государю о необходимости уничтожить это вредное учреждение,— продолжал он свою беседу со мной и с Таганцевым.— Я прямо это говорил; знаете, я всегда прямо, я ведь имею *sine gewisse Narrenfrechheit*¹,— прибавил он с трогательным добродушием.— Вот, теперь это дело. Ведь это ужас! Как можно было оправдать?! Но у себя этого я терпеть не намерен. Я решил, что чины и воспитанники Училища должны подать государю адрес и выразить свое негодование по поводу оправдания Засулич и неправильных действий суда присяжных вообще. Нельзя оставлять отправление правосудия в руках этих сапожников. Я хочу прочесть вам проект адреса, написанный мною сегодня ночью. Вчера еще я приказал Алопеусу и Дорну (инспектор классов), чтобы все было готово к подписанию адреса воспитанниками и преподавателями. Но я желаю знать ваше мнение о редакции. Надо торопиться!» И он пошел к своей конторке, где лежал какой-то исписанный лист... Смущение и тревога Алопеуса, который, сделавшись недавно директором, конечно, не решался возражать принцу, становились понятны. Затеялось и летело на всех парах к исполнению дело бессмысленное и ни с чем не сообразное. Таганцев иронически улыбался и молчал, очевидно, предоставляя мне объясняться с принцем.

«Позвольте, ваше императорское высочество, прежде чтения адреса обратить ваше внимание на совершенную необычность такого заявления перед государем со стороны воспитанников учебного заведения. Я не знаю ни одного случая подачи подобного адреса»,— сказал я. «Как! А адреса университетов по случаю выстрела Каракозова и по поводу недавней войны?» — «Да, такие адреса были поданы, но война есть событие, касающееся всей страны от мала до велика, да и адрес этот был подписан лишь профессорами, желавшими доказать, что идея борьбы за славян находит себе сочувственный отголосок и в ученом мире, а адрес по поводу 4 апреля содержал в себе выражение радости о спасении любимого монарха. Не знаю, подписывали ли его студенты, но не сомневаюсь, что ваше высочество не допускаете мысли об отождествлении покушения на жизнь государя с покушением на жизнь Трепова...»

Стрела попала в цель, и принц в негодовании забормотал: «Ах! как можно, как можно! Какое мне дело до Трепо-

¹ истинная нецеремонность скомороха (*нем.*).

ва, но вот эти присяжные...» — «Присяжные, ваше высочество, установлены законом, данным государем; учреждение этого суда санкционировано державной волей. Удобно ли, чтобы ученики, готовящиеся быть специальными служителями закона и государственных учреждений, выражали свое порицание форме суда, установленной государем? Отчего тогда не допустить порицаний с их стороны и другим государственным учреждениям? И кто же будет порицать? Мальчишки, не знающие жизни и никогда даже и в суде-то не бывавшие... Притом они готовятся в судьи, прокуроры, адвокаты и, следовательно, к постоянному соприкосновению с судом присяжных. Что, если государю не угодно будет даже и после адреса уничтожить этот суд? В каком неловком, недостойном положении будет впоследствии эта молодежь, действуя рука об руку, в неразрывной связи с судом, о негодности и вредоносности которого она торжественно свидетельствовала пред своим государем? А что, если притом, познакомясь с судом присяжных, многие из этой молодежи найдут свое мнение о нем, высказанное в адресе, легкомысленным и поспешным? Помянут ли они добром Училище, в стенах которого их принудили к протесту, заставляющему их, с годами опыта, устыдиться? И уверены ли вы, ваше высочество, что государь, прочитав этот адрес, отменит суд присяжных?»

Принц покраснел, грустно поник головой и пробормотал: «Нет, я не уверен... нет! Государь этого не сделает, потому что, потому... что... ну, одним словом, aus politischer Klugheit!»¹ — «Так какую же цель будет иметь этот адрес?» — «А мнение преподавателей? А? Это уже люди зрелые...» — сказал он, уклоняясь от ответа. «Из которых, однако, — продолжал я, — лишь двое вполне компетентны судить о правильности действий присяжных, это — Н. С. Таганцев и я, то есть преподаватели уголовного права и судопроизводства, а между тем наших-то подписей и не может быть под адресом...» — «Как? Отчего?!» — вскричал принц, нетерпеливо вскакивая с кресла. Таганцев сочувственно наклонил голову, видимо одобряя мой план кампании против «высочайшей нелепости»... «Оттого, что я вел дело Засулич и по закону скрепил своей подписью решение присяжных. Поэтому мне как судье неприлично подписывать протест против приговора, постановленного при моем участии, тем более что закон указывает правильный и единственный путь протеста — в кассационном порядке. Находя

¹ исходя из политической мудрости (нем.).

присяжных учреждением негодным, могу ли я оставаться председателем суда, действующего именно при помощи этого учреждения? Точно так же мне думается, что и Н. С. Таганцев мог бы подписать такой исключительный адрес, лишь если бы и все его товарищи по университету, где проходит его главнейшая служба и с которым он связан тесными узами, признали и со своей стороны необходимым поднести такой же адрес государю. Я думаю, что не ошибаюсь...» Принц взглянул на Таганцева недовольно и вопросительно. Тот подтвердил мои слова. Старик стал теряться, сердиться... «Так вы признаете приговор этих «сапожников» правильным, хорошим, похвальным? Убила человека, и права?! А?» — спрашивал он, волнуясь... Мы стали объяснять ему, что приговор юридически неправилен, но понятен, так как присяжные не могли отнестись с сочувствием к действиям Трепова и, кроме того, видели, что именно «убитого-то человека» и нет в деле, а это всегда действует на строгость их приговора... «Ну что ж, он высек, — горячился принц, — что ж из этого? Ведь эдак во всех нас станут стрелять!» Мы возразили, что случай насилия над Треповым — случай исключительный и притом связанный с его жестокой и несправедливой расправой, стрелять же в него, принца, искренне любимого всеми за доброту и заботу о благе своих питомцев, может только сумасшедший, так что, ставя себя на одну доску с Треповым, он нарочно забывает ту общую симпатию, которой уже давно и прочно окружено его имя... Но добрый старик, не обидевший сознательно на своем веку муху, упорно стоял на своем. «В меня будут стрелять, — твердил он и, внезапно придав лицу решительное выражение, — я тоже высек!!!» — сказал он отрывисто и оглянул нас взором человека, представившего неотразимый аргумент... «Но кого? За что? Это не безразлично!» — спросили мы. «Воспитанника Гатчинского института!.. Такой негодяй! Знаете, что он сделал?.. Он взял в рот бумаги, нажевал ее эдак: м-м-м-м, — и он показал своими губами с комической большой бородавкой, как жевал виновный бумагу, — пожевал и так «пфль»... — и он изобразил плевок, — прямо в лицо... Каков?! Я его приказал высечь!» — «И хорошо сделали, — сказал я, едва сдерживая улыбку. — Но позвольте узнать, сколько ему лет?» — «Двенадцать лет! Двенадцать... Теперь и он станет в меня стрелять!» — «Да ведь это еще ребенок, шалун, а не студент университета», — возразили мы. «Все равно! Он вырастет и будет тогда стрелять, вы увидите!» — волновался наш августейший собеседник... Наступило молчание... «Так вы не можете подпи-

сать адрес?» — «Нет, ваше высочество, не считаем возможным». — «Ну, без этого его и подавать нельзя, когда такой... такой Widerstand¹ с вашей стороны... А жаль! Я думал, что это было бы полезно... и целую ночь писал проект... вот он, прочтите и скажите ваше мнение; я не особый стилист, но я хотел все это выразить, все это выразить...» — сказал он уныло, протягивая мне взятый с конторки лист. Он, очевидно, сдавался на капитуляцию. Взять лист, обсуждать его содержание — означало: напрасно тянуть тягостные переговоры и, пожалуй, вызвать в нем горячую защиту мертворожденного литературного детища. Положив лист на стол и поставив на него шляпу: «Нет! Ваше высочество, — решительно сказал я, — мы не будем читать проект; нам было бы больно видеть, сколько труда, времени, необходимого для отдыха и, следовательно, здоровья, потрачено вами на этот бесплодный труд», — и я протянул к нему лист обратно. Принц вздохнул, разорвал проект на мелкие куски и молча подал нам руку, давая знать, что аудиенция окончена... «Ну что? Ну что? — с тревожным любопытством спрашивал на лестнице Алопеус. — Будем подавать адрес?» Но догнавший нас адъютант позвал его к принцу, дав ему возможность услышать ответ от самого виновника тревоги.

На следующий день, во вторник утром, ко мне пришел старший председатель судебной палаты, сенатор С. А. Мордвинов, любимец и товарищ по университету графа Палена, который вытянул его из одесской таможни в короткое время на место председателя петербургского судебного округа и в сенат, несмотря на сомнения по части семейных добродетелей, возбуждаемые Мордвиновым в своем покровителе. Веселый собеседник, дамский угодник, знаток и поклонник красоты, скромно сознававший и доказавший способность выпить в один присест бутылку коньяку, Мордвинов должен был быть очаровательным начальником таможенного округа. Но как судья, как юрист он отличался чрезвычайной поверхностью. Судебные деятели, имевшие с ним дело, никак не хотели *le prendre au sérieux*², а он, со своей стороны, вращаясь, вследствие женитбы на М. А. Милютиной, странной, угловатой, но чрезвычайно правдивой женщине, в высшем служебном кругу, не хотел признавать своих сослуживцев по палате товарищами и, отзываясь о них пре-

¹ отпор (нем.).

² принимать его всерьез (фр.).

зрительно в обществе, гадил разными несправедливыми наветами некоторым из них в министерстве, создавая дурную служебную репутацию людям, которым по их сравнительно с ним трудолюбию, добросовестности и знанию он недостоин был развязать ремня у сапога. Слывя почему-то умным человеком, будучи лишь человеком ловким, он умел впоследствии примазаться к сенаторским ревизиям Лорис-Меликова, к Кахановской комиссии, где «старички собирались играть в администрацию по маленькой», и к учреждению, заменившему комиссию прошений; ораторствуя в гостиных и засыпая, отягченный винными парами, в заседаниях юридического общества, доказывая, что центр тяжести судебных уставов есть «дисциплинарные производства», упорно не заглядывая при ревизии новгородского суда в кассу потому, что «там есть признаки несомненной растраты...», он носил личину консерватизма и утверждал, между прочим, что виновником и, так сказать, отцом революционного настроения среди петербургского общества был К. Д. Кавелин.

«Однако картинка-то у вас в гостиной не совсем удобная для председателя», — сказал он, свежий, здоровый и изящный, входя в кабинет и показывая на гравюру, изображающую Руже де Лиля, поющего в первый раз марсельезу, напоминающая тем графа Палена, который, увидев у меня, в доме министерства юстиции, на стене «Шутов Анны Иоанновны» академика Якоби, с грустным упреком спрашивал: «Зачем вы держите такую картину, такую... неприятную картину?!» — «Какой у вас взгляд, — сказал я Мордвинову, смеясь, — вы сейчас видите товар, не очищенный в политической таможе! Впрочем, успокойтесь, герой картины поет песню, теперь признанную казенным гимном французского государства, своего рода «боже, царя храни», но только наоборот и с французскими приспособлениями». — «Да! Острийте, острийте, — отвечал он, — недаром вас считают красным. Вы знаете, что ведь на вас теперь восстанут и стар, и млад. В Английском клубе, особенно после статьи Каткова, вас предадут проклятию, а вчера в собранном по поводу дела Засулич совете министров, под председательством государя, Валуев доказывал, что вы — главный и единственный виновник оправдания ее и что вообще судебные чины чрезвычайно распущены и проникнуты противоправительственным духом. Все министры его поддержали; все, за исключением одного...» — «Ну, а граф Пален?» — «Его положение очень, очень трудное», — уклончиво ответил Мордвин.

Впоследствии я узнал, что граф Пален отдал меня на

растерзание, без малейшей попытки сказать хоть слово в разъяснение роли председателя на суде присяжных, а этот «один» министр, не разделявший поспешных обвинений против меня и искавший причин оправдания глубже, был Д. А. Милютин, лично мне незнакомый...

«Что делать,— сказал я Мордвинову,— буря была неизбежна, и следовало предвидеть, что невежественные в судебном деле люди, хотя бы и русские министры, будут закрывать глаза на истинные причины оправдания, а станут искать «человека» и на него направлять свои удары. Таким человеком, по выдающемуся в процессе положению председателя, представляюся я. На меня и посыплется укоры, наветы и инсинуации. Но меня интересует мнение юристов-практиков, которые понимают, какая трудная задача выпала мне на долю. Вы сидели, С. А., все заседание сзади меня — ну, вы что скажете? Можно ли было вести дело иначе?» — «Нельзя! Положительно, нельзя! Вы сделали все, что, по моему мнению, можно и должно. Я так и объяснил это весьма подробно графу Палену, доказывая ему как очевидец и как старший председатель всю несправедливость нападений на вас. А статью Каткова прочтите: она производит большой эффект!..»

Статья московского громовержца, резюмируя энергичским образом тот взгляд на дело Засулич, по которому в «неслыханном, возмутительном оправдании виноват суд», живописала «безумие петербургской интеллигенции и вакханалию петербургской печати», требуя привлечения к ответственности виновных в том, что действительным подсудимым являлся Трепов. Избиение студентов мясниками Охотного ряда, происшедшее в Москве 3 апреля при перевозке ссылаемых киевских студентов, признавалось проявлением здорового политического чувства в противоположность растленным нравам невской интеллигенции и чиновных нигилистов.

С этой статьи начался ряд статей Каткова, появлявшихся через довольно долгие периоды, в которых звучало его вечное *ceterum censeo*¹ по поводу дела Засулич и инсинуации против председателя обращались уже прямо к лицу г-на Кони, который, «подобрав присяжных, взятых с улицы, подсунул им оправдательный приговор».

Каждый день приносил с собой новые известия, показывавшие, что приговор присяжных произвел глубокое впечатление в правительственных сферах, которое усиливалось

¹ впрочем, полагаю (*лат.*).

все более и более и заставляло ожидать разных «мероприятий» по судебной части. Было достоверно, что в министерстве юстиции кипит работа и под руководством Манасеина изготавливаются самым поспешным образом проекты законодательных актов, которые должны урезать суд присяжных и внушить адвокату «правила веры и образ кротости». Все *bravi*¹, которые всегда водились около Палена, но на время присмирели, подняли голову. Они чувствовали, что «на их улице наступает праздник» и что можно, опираясь на «негодование всех благомыслящих людей», с уверенностью в успехе и благодарности начальства воткнуть свои наемные перья в живое мясо судебных уставов. Из шкафов министерства юстиции вынимались разные более или менее прочно погребенные «проекты» исправления этих уставов, и услужливые чиновничьи руки, дрожа от радостного волнения, спешили гальванизировать эти трупы, подрумянивая их соответственно «прискорбным явлениям» последнего времени.

Но 5 апреля, придя к Палену после обеда по присланному мне утром приглашению, я увидел, что «мероприятия» предположены не только против учреждений, но и против личностей. «Я просил вас к себе для очень серьезного и неприятного объяснения,— встретил меня Пален самым официальным и сухим тоном.— Известно ли вам, какие обвинения возводятся на вас со всех сторон по делу Засулич?» — «Я читал статью Каткова и слышал, что в Английском клубе мною очень недовольны...» — «Не в клубе,— перебил меня, раздражаясь, Пален,— не в клубе, а гораздо выше, и такие лица, такие лица, мнения которых должны быть для вас безразличны. Вас обвиняют в целом ряде вопиющих нарушений ваших обязанностей, в оправдательном резюме, в потачках этому негодю Александрову, в вызове свидетелей, чтобы опозорить Трепова, в позволении публике делать неслыханные скандалы, в раздаче билетов разным нигилистам. Все говорят, что это было не ведение дела, а демонстрация, сделанная судом под вашим руководством. Какие у вас могут быть оправдания?» — резко спросил он, очевидно забывая свой первый разговор со мной после процесса. Его необычный тон и приемы сразу обрисовали мне положение дела. «Вашему сиятельству известно,— сказал я холодно,— что по закону председатель суда не имеет надобности представлять оправдания министру юстиции. Для этого есть особые судебные инстанции. Им, и только им из-

¹ наемные убийцы (*ит.*).

лагает он свои оправдания на законно сформулированное обвинение. Я не считаю себя обязанным отвечать на ваш вопрос и опровергать более чем странные обвинения, которые вы, по-видимому, разделяете...» — «Да-с! — вспыхнул он. — Я разделяю их и объявляю вашему превосходительству, что государь император завтра же, может быть, потребует от меня изготовления указа о вашем увольнении! Это случится несомненно! Что вы на это изволите сказать?!» — «Вот оно!» — подумал я... «Я могу скорее спросить у вашего сиятельства, что вы на это скажете? — сказал я, сдерживая невольное волнение. — Что ответите на такое требование государя вы — министр юстиции, блюститель закона, знающий, что судьи несменяемы без уголовного суда... Я же скажу только, что это будет нарушением закона, которое никому не запишется в счет заслуг...» — «Предоставьте мне самому знать свои обязанности по отношению к государю, — высокомерно сказал Пален и вдруг, меняя тон, вскричал: — Я не намерен, я не могу пререкаться из-за этого с государем! Я не хочу рисковать! Благодарю покорно! Я не хочу нести ответственность за ваши неправильные действия!» — «Я не понимаю, что же вам от меня угодно? Зачем меня пригласили?» — сказал я, берясь за шляпу. «Но, однако, Анатолий Федорович, — отвечал Пален, утихая, — ведь поймите же мое положение! Все, все говорят, что ваши действия неправильны, люди, которые еще вчера были к вам *radem do nog*¹, не находят слов для вашего осуждения... а вы уклоняетесь от объяснений...» — «Кто же эти люди? Вы сообщили мне прошлый раз о совсем других отзывах. Да и какое серьезное значение могут иметь мнения людей, ничего не понимающих в судебном деле? Крики их меня несколько не огорчают; иное дело — порицания серьезных юристов, но я покуда их не слышал...» — «Вы ошибаетесь, — перебил он, — это говорят не невежды, не крикуны; это — голос опытных юристов, которые знакомы с ведением дела и мнение которых очень веско...» Я взглянул вопросительно. «Да! — продолжал он. — Вот, например, все это говорит С. А. Мордвинов!» — «Он?!» — невольно вырвалось у меня. «Да! Да! Он, вот видите! — с торжеством подтверждал Пален, очевидно, по-своему истолковывая мое удивление... — И он не может объяснить себе ваших действий на суде, как и я, как и многие!.. Я себе говорю, — продолжал он тоном грустного раздражения, — вероятно, Анатолий Федорович не предвидел всего, что произошло, и не умел найти на суде,

¹ *припадаю к ногам (пол.)*

потеряв голову! А?» — «Я не считаю возможным оправдываться, граф, когда вы требуете от меня официальных объяснений, но раз мы заговорили о необъяснимости моих действий, я готов несколько рассеять ваши недоумения и устранить предположения о моей «растерянности». Вы видите, граф, что я не теряю спокойствия и теперь, когда мне грозит увольнением, не терял я его и на суде... Меня упрекают за оправдательное резюме... Оно напечатано во всех газетах, со всею подробностью... Те, кто упрекает, не читали его или злобно извращают его смысл. Я старался быть совершенно объективным, но, читая его сам в печати, я подметил в нем скорее некоторый обвинительный оттенок: «Следует признать виновность в нанесении раны и дать снисхождение» — вот что, мне кажется, сквозит из этого резюме... Скажут, что из резюме видно, что я не гну на сторону обвинения, не поддерживаю во что бы то ни стало слабого прокурора, но я вас дважды предупреждал, что не должен и не стану этого делать... На меня нападают за **п о т в о р с т в о** Александрову, то есть находят, что следовало его обрывать, стеснять и даже лишить слова. Но за что? Речь его была талантлива, тон ее — сдержанный и прочувственный — производил большое впечатление, но талантливость и влиятельное слово — достоинства в защитнике, противодействовать которым вовсе не входит в задачу суда. Против них надо сражаться не остановками и перерывами, а противопоставлением тех же свойств в лице прокуратуры. Я предупреждал вас, граф, о необходимости уравнивания в этом отношении сторон и не мог забывать роли судьи, стараясь помешать защите подавить собою вялую и трепетную прокурорскую болтовню. Допустить остановки по поводу тона, по поводу силы слова — значит сделать суд ареною самых печальных злоупотреблений. Права председателя не безграничны. Закон запрещает защитнику говорить с неуважением о религии и нравственности, колебать авторитет закона и оскорблять чью-либо личность. Только при этих нарушениях имеет право председатель останавливать защитника. Александров не касался вовсе религии и вопросов нравственности; он преклонялся пред законом, освободившим русских людей от телесных наказаний, и ни малейшим намеком не колебал значения закона, карающего убийство. Он говорил о Трепове в выражениях, соответственных служебному положению и преклонному возрасту градоначальника. За что же, по какому же поводу стал бы я его останавливать? Да и с какою целью? Я слишком давно имею дело с присяжными, чтобы не знать, что всякая неосновательная

остановка защитника, всякое придирчивое ему замечание — есть удар, нанесенный обвинению. И притом самое сильное место речи Александрова — «экскурсия в область розог» — было построено очень искусно, начинаясь очерком благодетельных государя, избавившего Русь от постыдного свиста плетей и шороха розог и тем поднявшего дух своего народа. Запрещение говорить об этом было бы совершенно бестактно, а ввиду ловкой находчивости защитника могло бы вызвать заявление, что он со скорбью подчиняется требованию молчать о благих деяниях монарха, именем которого творится суд... Вы скажете, граф: а содержание речи, а наполнение ее биографией Засулич и описанием сечения Боголюбова?! Что же? Это содержание вытекало из существа дела. Суд обязан судить о живом человеке, совершившем преступное деяние, а не об одном только деянии, отвлеченно от того, кто его совершил. Суд действует не в пустом пространстве. Закон разрешает давать снисхождение «по обстоятельствам дела», но несомненно, что самое выдающееся из всех обстоятельств дела — сам подсудимый, его личность, его свойства. Недаром же его ставят налицо перед судом, требуют его явки, а не говорят о нем, по примеру старых годов, как о номере дела, как об имени и прозвище, за которыми не стоит ничего реального, живого... Поэтому подробности о жизни подсудимой, о ее прошлом имеют законное место в речи защитника. Если они не верны, если они лживы — дело прокурора указать на это. Если вместо фактов приводятся одни лишь предположения — дело прокурора разбить их, противопоставить им другие. Александров говорил о прошлом Засулич на основании фактов, не подлежащих сомнению. И опять я скажу о присяжных. Это суд щекотливый и восприимчивый, как химические весы. Легкое подозрение, что их стараются провести, что от них что-либо стараются спрятать, утаить, подрывает их доверие к суду, уничтожает готовность их согласиться с обвинением. Если защитник скажет: «Подсудимая просит меня рассказать вам, господа присяжные, несколько фактов ее жизни, роковым последствием которых явилась для нее скамья подсудимых; она заранее склоняется перед вашим приговором, но она лишь просит вас узнать, кого вы судите...» — и председатель прервет его, запретив говорить об этом как не относящемся к делу, то присяжные, наверно, скажут: «А, значит, нам хотели сказать что-то, что от нас стараются скрыть, — хорошо! Мы, конечно, не знаем, о чем идет дело, но одно для нас несомненно — это то, что скрываемое говорит в пользу подсудимой, так как об оглашении его просит

защитник...» И они примут это к сведению и полагат при обсуждении вины на весы в чашку сомнений, причем груз этот будет тем тяжелей, чем он неопределенней. И в результате обвинение, во всяком случае, ничего не выиграет, достоинство же суда, во всяком случае, проиграет!.. Наконец, защитник имеет право, несомненное и полное, говорить о всем, о чем говорилось на судебном следствии. Поэтому рассказ о сечении в доме предварительного заключения, как основанный на показаниях свидетелей, был вполне законен в речи Александрова. Признавать его не относящимся к делу, прерывать защитника не мог бы никакой судья, понимающий свои обязанности. Кассационный сенат твердо и определенно высказал, что запрещение ссылаться на показания допрошенных свидетелей есть несомненный повод кассации. Кроме того, запретить говорить о событии 13 июля — значило запретить говорить о мотиве преступления, выставленном даже в обвинительном акте. Но как обсудить вину, не зная мотива, как определить мотив, не зная фактов, на которых он вырос? Согласитесь, что вы разное взглянули бы на убийцу, который совершил свое злое дело, чтобы заплатить настоящий карточный долг, и на убийцу, который лишил жизни растлителя своей малолетней дочери. А для того, чтобы разное, то есть справедливо, отнести к обоим, вы должны бы знать, каков был факт, из которого зародилась мысль об убийстве. Да и что за печальную, недостойную картину представлял бы суд, в котором присяжным, «судьям по совести», говорилось бы с председательского места: «Вот — выстрел и вот — сознание... кто такой выстреливший, вам знать не для чего; что вызвало в нем решимость выстрелить — до вас не касается; какой внутренний процесс, какая борьба предшествовали его дурному делу — вопрос праздного любопытства; что его ожидает после осуждения — закон воспрещает вам говорить... ну, а теперь отвечайте: «Виновен ли он?» И хотя вы должны руководствоваться внутренним убеждением, но для достижения целей правосудия мы даем вам лишь доступный внешним чувствам осязательный голый факт...» Общество должно верить в свой суд, должно уважать его деятелей, и оно будет с доверием относиться к его ежедневной, рядовой деятельности, к его приговорам о безвестных Иванях, Сидорах, Егорах, когда по привлекающим общее внимание делам, по делам, волнующим и выходящим из ряда, оно будет видеть, что суд спокоен и действует безмятежно, не утаивая ничего, ничего не изменяя, не прибегая к исключительным способам и приемам. Вера в правосудие поддер-

живается не тысячами ежедневных справедливых приговоров, а редкими случаями, когда можно было опасаться, что суд станет угодливым, потворствующим, прислуживающимся — в данном случае он таким не оказался. Присяжные — не дети. Они не принимают, развеса уши, все, что им скажут. Если показания свидетелей о событии 13 июля повлияли на них, то, очевидно, в их душе это событие было тесно связано с делом Засулич; если же они действительно не относятся вовсе к делу, то и повлиять не могли. Тогда они составляют лишь потерю времени для суда и для присяжных. Но в последнем случае это еще не такая ужасная вещь, чтобы по этому поводу подымать крик против суда... «Но зачем было вызывать свидетелей?» Это — третье обвинение, возводимое на меня... Свидетели вызваны на основании точного предписания закона, освященного притом долголетнею практикой суда. Пока этот закон существует, его требование «о немедленном распоряжении» о вызове свидетелей на счет подсудимого обязательно для председателя. До сих пор сенат твердо поддерживал это правило, и пока он не истолкует статью 576-ю Устава угол[овного] суд[опроизводст]ва иначе и притом противно ее точному смыслу, до тех пор ни один уважающий закон председатель не уклонится от исполнения своей «немедленной» обязанности... Меня упрекают в том, что я не нарушил закона. Но я — судья, а не агент власти, действующей по усмотрению. Моя цель в каждом деле — истина, а не осуществление начала «шито-крыто». И за кого же меня принимали мои порицатели, «падая до ног», когда они думают, что я решился бы обойти указания закона, для меня ясного и разумного, только потому, что показания вызываемых свидетелей могут доставить un mauvais quart d'heure¹ градоначальнику. Он был вызван в суд, мог явиться, мог потребовать суд к себе и лично опровергнуть и парализовать неприятные для него показания. Но он не явился, несмотря на то, что его каждый день видят катающимся по городу и что он исполняет свои служебные обязанности. Я мог лишь выразить — и выразил в постановлении суда, — что вызываемые свидетели излишни, так что суд не принимает на себя их вызова... Больше этого я делать не имел права, будучи председателем суда, а не управы благочиния или вотчинной расправы... Я разрешил затем публике делать «неслыханные скандалы»... Желая, чтобы я вел с присяжными дело, держа «карты под столом», от меня требуют и ка-

¹ крошечная неприятность (фр.).

кой-то особой опеки над чувствами публики. Но и в этом отношении мои обязанности как председателя ограничены. Вы знаете, граф, что у нас председательствующий судья не имеет французского «*rouvoir discrétionnaire*»¹. Если публика ведет себя шумно в заседании, председатель может ее предостеречь и предупредить, что в случае повторения беспорядков она будет удалена. Следовательно, при первом беспорядке публика должна быть лишь предупреждена о последствиях повторения, но не удалена, разве бы она дозволила себе беспорядки самого крайнего свойства. Так гарантирует закон гласность суда. Что же делала публика в заседании по делу Засулич? Она покрыла аплодисментами то место речи Александрова, где он говорил о наказании Боголюбова. Я тотчас остановил эти рукоплескания и при водворившейся тишине предупредил публику, что зала будет очищена, если повторятся шумные выражения одобрения. Больше этого я сделать не имел ни права, ни основания. И затем все шло спокойно. Но провозглашение решения присяжных вызвало вновь целую бурю восторга. Тут я уже имел и право, и основание очистить залу. И я этого не сделал сознательно и решительно. Я видел, что ни мои распоряжения, ни требования немногих судебных приставов не побудят восторженную толпу оставить залу, что она наполовину не поймет, среди общего шума, этих распоряжений, не услышит этих требований. Но раз приказав — очистить залу, я уже должен был быть последователен и при неуспешности действий приставов потребовать военную команду из нижнего этажа и поручить ей силою осуществить мое требование. Вы не были в суде, а я был; я видел, как была наэлектризована публика, какой порыв овладел ею, и я знал, что появление военной силы привело бы тех, кто рыдал, крестился и ликовал, в ярость. Насилие, победу над которым они торжествовали, предстало бы перед их отуманенными глазами в лице солдат со штыками... Кто знает, какие сцены разыгрались бы в самой зале суда при столкновении восторженных и возбужденных людей с силою, действующею машинально. Раз начав очищение залы, необходимо было бы довести его до конца и уже во что бы то ни стало... Но с какою целью? Для водворения тишины? Но крики радости сменились бы лишь криками гнева, злобными звуками свалки... Для устранения давления на присяжных? Но они уже сделали свое дело и стали частными людьми, которые, вероятно, разделяли ликование толпы... Для уничтожения

¹ неограниченная власть (фр.).

помехи к ходу дела? Но весь дальнейший ход дела состоял лишь в объявлении Засулич свободною и заседания закрытым... И вот для этих-то эфемерных целей я должен был вызвать столкновение, быть может, кровавое, с тем чтобы после очищения зала, сделавшейся театром уже действительно небывалого скандала, ввиду поломанной мебели и беспорядка, вызванного побоищем, обратиться к пустым стенам и сказать с любезною улыбкою: «Заседание закрыто!» Да за кого же, снова спрошу я, принимают меня все эти господа и вы, граф? Я спокойно беру на себя вину в том, что не очистил залу, радуясь, что не принял на себя гораздо большей — очистив залу и, весьма вероятно, осквернив ее ненужным кровопролитием... Я не без основания говорю о кровопролитии: вспомните, что произошло вслед за тем на улице, при столкновении жандармов с толпою. Где ручательство, что такие же сцены не разыгрались бы и в суде? Притом, очищая залу, знаете ли, с кого я должен был бы начать? С теснившихся сзади меня сановников с государственным канцлером во главе. Они шумели в первый раз и ликовали во второй не менее публики, сидевшей в трибунах и явившейся по билетам, розданным мною людям, чуждым по своему общественному положению того, что вы называете «нигилизмом». Мне остается только пожалеть плечами на обвинение в раздаче билетов нигилистам. В среде публики было много ваших личных знакомых, и они могут подтвердить вам, что нелепость этого обвинения равносильна его лживости. Публика состояла из представителей среднего образованного класса, к которому примыкали лица из литературно-ученой среды и великосветские дамы, от назойливых просьб которых я не мог отделаться. Если в публике и была увлекающаяся молодежь, сочувствующая кружкам, в которых вращалась подсудимая, то она далеко не составляла большинства и явилась бы в гораздо большем числе, не будь установлено билетов. Наконец, имейте в виду, что из трехсот билетов сто были розданы чинам судебного ведомства, для их друзей и знакомых. Поэтому крики о подборе публики под одну масть есть клевета, рассчитанная на легковерие слушателей... Я понимаю, что всего более производит впечатление тот восторг, с которым было принято оправдание Засулич. Но мне кажется, что в этом отношении дело это, столь возмущающее вас, оказало своего рода услугу...» Пален вышел из своего нахмуренного уныния и взглянул на меня изумленно-вопросительно. «Да, услугу, — продолжал я, — потому что рукоплескания официальной и неофициальной публики показали, на чьей стороне

ее сочувствие и что возбуждает ее негодование. Средний образованный класс петербургского общества, представленный весьма разнообразно на суде, сказал своими восторгами, нашедшими отголосок в статьях большинства газет, что он понимает, что он разделяет мотив действий подсудимой. Он, в лице присяжных, при шумном одобрении выразил, что насилие и произвол правительственных агентов возмущают его настолько, что из-за них он закрывает глаза на кровавый самосуд и считает его делом вынужденным и поэтому вполне извинительным. Общественное мнение отказалось поддерживать правительство в его борьбе с противообщественными действиями. Оно сказала: «Врач, исцелился сам!» — и сказала это при рукоплесканиях видных представителей этого самого правительства. Это — признак опасный; но зато он указывает, в чем злое общество требует законности. Оно ясно показало, что на его сочувствие и поддержку нечего рассчитывать, если оно не будет убеждено в законности действий органов правительства. Когда правительство, указывая на своего агента, говорит: «Обидели!» — оно должно быть готово к спокойному и прямодушному ответу: «За что?» Давно уже чувствуется разлад между общественным мнением и правительством. Он было притих на время войны, но теперь проявился с большею силою. И это надо иметь в виду. Общество показало на деле Засулич, чего от него ожидать в будущем, если не изменить внутреннюю политику. Революционная пропаганда между тем идет, и не приговорами, хотя бы и самыми строгими, остановить ее. Нужно содействие общества. А оно не удовлетворено, раздражено, возмущено. Вспомните, граф, слова Бисмарка: «Силу революции придают не крайние требования меньшинства, а неудовлетворенные законные желания большинства». Общественное мнение, выразившееся по поводу дела Засулич, показало вам, что эти желания не удовлетворены, — и... *á bon entendeur — salut!*¹ — «Помилуйте! — вскричал окончательно вышедший из своей мрачной задумчивости Пален. — Это разве — общественное мнение? Это все — дрянь, на которую нельзя обращать внимания. Ей надо показать! — прибавил он с неопределенною угрозой. — Если бы вы хотели, ничего бы этого не случилось! Дело ведь такое ясное, простое! Но когда я узнал, что Кессель не отвел ни одного присяжного и отказался от своего права, я сказал: это — школа Анатолия Федоровича! Он всегда мне говорил, что отводить присяжных не следует...» — «Да, я

¹ имеющий уши — да услышит! (*фр.*)

всегда это говорил, граф, потому что отвод присяжных, без ясных и неопровержимых фактов относительно их недобросовестности, а лишь на основании слухов, предположений и антипатий есть подбор присяжных, недостойный уважающей себя прокуратуры... Суд присяжных, образованный по неоднократно жребию, есть суд божий, в образовании которого воля единичного лица, да притом еще и стороны в деле, должна принимать наименьшее участие. Так говорил я всегда, будучи прокурором; немудрено, что Кессель, бывший когда-то моим товарищем, разделил и припомнил мой взгляд, безо всякого совета с моей стороны». — «Да-с, это все прекрасные теории, — сказал иронически Пален и, взглянув на часы, продолжал: — Ну, Анатолий Федорович, быть может, вы и правы и ваши действия юридически правильны, но этого никогда не поймут в тех сферах, где вас обвиняют. Я постараюсь все это высказать, но не ручаюсь, не ручаюсь... за самые неприятные для вас последствия...» Я молчал, отдавшись моим мыслям. Замолчал и он. «Вот что! — сказал он, наконец, добрым и даже заискивающим тоном, ласково глядя на меня. — Вот что! Уполномочьте меня доложить государю, что вы считаете себя виновным в оправдании Засулич и, сознавая свою вину, просите об увольнении от должности председателя, а?» Я молчал. «Могу вас уверить, — продолжал он, — что государь, по своей доброте, не станет долго гневаться на вас. Он оценит ваше сознание: он так благороден! Я ему напомним о ваших прежних трудах и заслугах, и он вас скоро... он скоро оставит это... это дело». Я молчал. «Уполномочьте меня, — продолжал Пален, — я вам могу обещать, что вы даже скоро получите новое назначение... например, в прокуратуре, но, конечно, не в «действующей армии». Мое молчание его, видимо, конфузило. «А там все пойдет своим чередом; вы еще молоды, у вас много впереди; это будет лишь временная отставка... А? Так?»

«Я не могу вас уполномочить, — ответил я, — я не могу дать вам право говорить государю то, чего я не признаю. Удивляюсь, как после всего, что я сейчас говорил вам, после всего, что говорил я до процесса, вы можете мне предлагать признать себя виновным...»

«А! — вспыхнул Пален, изменившись в лице, — когда так, то уж не взыщите! Не взыщите! Я умою себе руки...»

«Вы их умыли уже в совете министров», — сказал я.

«Я вам еще раз объясняю, что вам грозит увольнение без прошения, если вы не хотите принять моего предложения...»

«Вы можете с помощью высочайшего повеления у б и т ь меня в служебном смысле, — прервал я его, — но вы совершенно напрасно предлагаете мне совершить в этом отношении с а м о у б и й с т в о. Я не согласен ни на какие компромиссы! Пусть меня увольняют!.. Но сам я моего места именно теперь не оставляю...»

«Но позвольте, — спросил меня ядовито Пален, — что вас так удерживает на этом месте? Вы думаете, что вам легко будет его занимать?»

«Я не жду ничего отрадного на моем месте, — отвечал я тем же тоном. — В адвокатуре («В помойной яме!» — вскрикнул Пален)... в адвокатуре, двери которой для меня открыты, я всегда, без особого труда, получу вдесятеро более, чем получаю теперь, и буду лет через десять иметь возможность сказать навсегда «прости» стране, где можно вести с судьей такие разговоры, какие вы, граф, ведете со мною... Поэтому не материальное вознаграждение меня удерживает. Я не честолюбив и спокойно смотрю на награды, чины и звезды, которых лишит меня отныне министерство юстиции. Мало привлекает меня и мое положение. Я знаю, как тягостно положение главы коллегии, находящегося в опале. Желая остаться председателем, я готовлю себе ряд трудных годов. Но меня удерживает, помимо соображения, что я могу быть полезен на моем месте, еще одно — и удерживает более всего. На мне должен разрешиться, судя по всему, практически вопрос о несменяемости. Несменяемость — лучшая гарантия, лучшее украшение судейского звания. Благодаря ей легко переносится и скудное вознаграждение, и тяжкая работа судей. Она поддерживает, она ободряет многих деятелей внутри России; она дает им доверие к своим силам в столкновениях со всякою неправдою... И вы хотите, чтобы эти далекие деятели, живущие только службою, узнали, что председателя первого суда в России, человека, имеющего судебное имя, занимающего кафедру, которого ждет несомненный и быстрый успех в адвокатуре и для которого служба — далеко не исключительное и неизбежное средство существования, достаточно было поугаать несправедливым неудовольствием в ы с ш и х с ф е р, чтобы он тотчас, добровольно, с готовностью и угодливым поспешностью отказался от лучшего своего права, приобретенного годами труда и забот, — отказался от несменяемости... «Если уже его, стоящего на виду и сравнительно независимого, можно было так припугнуть, — скажут они, сидя в каком-нибудь Череповце или Изюме, — то что же могут сделать с нами?! На нас станут кричать и топтать но-

гами, обвиняя нас в своих ошибках...» Вот во имя этих-то череповецких и изюмских судей я и не могу дать вам полномочия, о которых вы... говорите...»

«А знаете ли вы,— перебил меня граф Пален,— что даже А. А. Сабуров говорит, что он на вашем месте подал бы в отставку, чтобы протестовать против решения присяжных! Надеюсь, что для вас он-то хоть авторитет?!»

«Если действительно он в этом смысле говорит,— отвечал я, с горьким чувством подумав: «et tu quoque»¹, — то, конечно, для меня он не авторитет, а человек, позабывший на административной службе лучшие судебные традиции. Последовать его мнению — было бы «отречением апостола Петра». Я решительно отвергаю эту новую доктрину протеста председателя против присяжных выходом в отставку. Да у вас, в таком случае, не осталось бы ни одного председателя. Когда Сабуров был уважаемым товарищем председателя в Петербурге, ему в голову не приходили такие протесты... Граф! — сказал я, желая окончить этот тягостный разговор и боясь потерять власть над и без того чрезвычайно расстроенными нервами.— Я понимал бы вопрос о моем выходе в отставку в одном только случае... Можете ли вы поручиться, что этим будет куплена совершенная неприкосновенность суда присяжных? Что он останется, безусловно, нетронутым?..»

«Нет! Нет! — заговорил Пален.— Это вопросы несовместимые. Государю угодно привести этот суд в порядок. Нет! Против присяжных необходимы меры; надо изъять у них эти дела! Это решено!..»

«Вы помните, граф, что в бытность мою в департаменте я постоянно говорил и даже писал о необходимости изменить состав комиссий; уничтожить право немотивированного отвода и разные отяготительные формальности в судебном следствии; дозволить говорить о наказании и т. д. Всем этим предложениям упорно не было дано ходу... Теперь, быть может, эти преобразования, весьма полезные и необходимые для улучшения суда присяжных, удовлетворили бы хулителей этого учреждения. Зачем ломать самый объем действий этого суда?»

«Это решено,— твердил Пален,— решено бесповоротно; надо изъять, побольше изъять; я теперь уже не хочу слушать эти академические рассуждения, у меня Манасеин пишет. Это решено!»

Я встал и, взяв шляпу, сказал: «Я остаюсь при несогла-

¹ «и ты тоже!» (лат.)

сии на ваше предложение и спокойно жду завтрашнего доклада, заранее желая успеха моему будущему преемнику...»

«Но послушайте, Анатолий Федорович, — заговорил, тоже вставая, Пален, и обходя разделявший нас стол, — я не могу всего этого разъяснить государю; я постараюсь, конечно, но это так трудно, и он велит подать к подписанию указ... подумайте!.. Подумайте еще, не говорите решительно, еще до завтра есть время!»

«Я не изменю своего ответа и завтра, граф», — сказал я. Он холодно протянул мне руку. И это был, как тогда казалось, наш последний разговор в этой жизни.

Смутное чувство владело мною, когда я, выйдя от Палена, ехал в Мариинский театр на представление Росси. Оно не рассеялось ни под влиянием чудной его игры, ни в разговоре с милою, умной соседкой Л. К. Клокачевой, которая оживленно передавала мне свои впечатления о деле Засулич. Мои глаза видели Макбета, величественного и трогательного при своем трагическом конце; видели растроганный и взволнованный партер и в нем физиономию Фриша, который при встрече со мной придал лицу своему строго-окаменелое и как бы оскорбленное выражение... Но внутренний взор обращался далеко назад, на счастливые годы судебной реформы в Харькове и в Казани, на годы веры в новый суд и его прочность, на годы упорного труда, тяжких забот и постоянных тревог в прокуратуре и министерстве, на отвергнутые соблазны адвокатуры... Я не мог, говоря словами Макбета, «изгладить врезанную в мозг заботу, очистить грудь от ядовитой дряни», накопленной последними днями и будущий рост которой я предвидел... Как ни старался я развлечься, одна мысль неотвязчиво стояла в голове. Лично я не боялся увольнения, и новая жизнь — в адвокатуре — раскрывалась предо мной довольно заманчиво. Не это, но мысль о том, что наступило время, когда министр юстиции может решиться требовать от судьбы, которого он внутренне — я это чувствовал — признает правым, требовать выхода в отставку; мысль о том, что беззаботный насчет судебных уставов государь способен действительно подписать поднесенный трепещущим Паленом указ и тем нанести жесточайший нравственный удар в самое сердце судебного ведомства, — вот что меня огорчало глубоко и горячо... Мне был жалок то грозящий, то просящий Пален. Из-за всех его слов ясно виднелся смертельный страх за свое личное положение, за квартиру и оклад. Трудность положения, очевидно, превышала его силы. Он смотрел на свое министерство как на корабль, в котором открылась опасная пробои-

на. Он звал меня в этот вечер к борту в надежде убедить и даже заставить меня выпрыгнуть за борт и тем облегчить и, быть может, спасти тонущее судно. Не имея ни умения, ни желания поставить вопрос на принципиальную почву, спутывая понятия об обязанностях министра юстиции с понятием о долге отца многочисленного семейства, которое требует «пищевого довольства», и притом довольства роскошного и обильного, Пален чувствовал, что надо непременно указать «виновного» и отдать его на распятие. Нельзя же было сознаться в ошибочном направлении дела («а зачем ты направлял?»), или в негодности и бездарности прокурора («а чего же ты смотрел?..»), или же, наконец, в возмутительности действий Трепова («а зачем же ты ему советовал?..»). Представлялся один исход: выбрать в качестве виновника человека, про которого можно сказать: «Что же с ним делать? Он независим! Он делал по-своему, ничего и никого не слушал!» И если возможно будет при этом прибавить: «Он сам, ваше величество, сознает свою вину и, подавленный ею, как милости, просит отставки», — то, конечно, наверное, можно будет смягчить и, во всяком случае, отклонить от себя гнев монарха... Виновная личность устранена; виновное учреждение будет немедленно исправлено — чего же еще? А там придут следующие дни, и «в злобе им довлеющей» потонет *incident Sassulitch*¹, так что со временем можно будет лицемерно пожалеть о малодушной поспешности председателя и в порыве обдуманного великодушия сунуть его на какое-нибудь безобидное и невлиятельное место... И вот я был избран «козлицем отпущения», и, осуществляя свое *Recht des Notstandes*², Пален предлагал мне «уполномочить» его принести меня на алтарь отечества...

Перебирая в уме весь наш разговор, я был внутренне доволен, что не дал ему ни на одну минуту возможности думать, что это жертвоприношение может удасться. Но вместе с тем во мне явилась тревога о том, что, решившись пожертвовать мною *quand même*³, почтенный *minister sprawiedliwóscy* все-таки скажет царю о принесении мною «повинной головы» и затем, как уже раз сделал с Мотовиловым, спуская его, против воли, в прокуратуры московской палаты, будет ссылаться, что «не так понял меня»... Надо было предупредить это. И я решился, приехав из театра, написать ему письмо для подтверждения моего отказа испол-

¹ инцидент Засулич (фр.).

² право исключительности (нем.).

³ во что бы то ни стало (фр.).

нить его странную просьбу. К этому присоединилось и другое побуждение: из слов Палена вытекало, что мое увольнение, так сказать, решено в принципе. Я знал, что Пален любил злоупотреблять именем государя, влагая ему в уста не сказанные слова и в голову не выраженные предположения. Но на этот раз я имел основание ему поверить ввиду всего происшедшего за два дня в совете министров. Указ сенату с увольнением без прошения составил бы самую печальную и беспримерную доселе страницу в истории судебной реформы. Одним этим указом фактически и бесповоротно уничтожалась бы несменяемость. Статьи учреждения, говорящие о ней, звучали бы насмешкой. Надо было сделать все возможное для избежания такого указа, для устранения такого опасного, развращающего прецедента. Я решился вызвать Палена на объявление мне от лица государя желания об оставлении службы. Тогда, ввиду категоричности такого желания, не признавая постыдным образом несуществующей виновности, я мог бы подать в отставку, не вызывая появления развращающего судебное ведомство указа.

Ночью я написал Палену следующее письмо. «Слова ваши не могли не заставить меня вновь, наедине и углубясь в себя,— писал я,— обсудить вопрос, столь близко касающийся моей служебной деятельности. Я призвал себя на свой собственный строгий суд, потребовал у себя отчета в каждом своем действии, во всем, что я делал и допускал делать на суде, и, сообразив все это с тем, что произошло бы при образе действий противоположном, не могу признать себя в чем-либо виновным против моей родины и государя, несмотря на ропот неодобрения вчерашних друзей — сегодняшних врагов. Припоминая все трудности этого исключительного дела и все требования закона, безусловно обязательные для судьи, я перед лицом моей совести не могу признать себя недостойным моего звания или негодным для связанных с ним обязанностей. Когда негодование, возбуждаемое исходом этого дела, уляжется немного, найдутся люди, которые, обсудив беспристрастно весь процесс, признают способ ведения его единственно возможным и целесообразным для избежания ряда неуместных выходов и все-таки оправдательного приговора. *Les vaincus ont toujours tort*¹, и, быть может, те, кто не находит слов, чтобы порицать меня и превратно истолковывать мои побуждения, восхищались бы моими судебными-стратегическими способностями в случае даже снисходительного приговора присяжных. Тщетно об-

¹ Победенные всегда неправы (*фр.*).

ращаюсь я к своей совести, чтобы найти в ней отголоски этих укоров. Она мне говорит, что в действиях моих не было ни неумелости, ни тенденциозности». Заявляя поэтому о безусловной невозможности принять предложение Палена, даже и в виде перемещения на другую должность, что было бы равносильно наказанию за вину, которой я не признаю, я говорил в письме, что, несмотря на обещанное Паленом разъяснение, государь все-таки может признать меня несоответствующим требованиям службы вообще. Не желая создавать целому ведомству новые затруднения и думая с глубокою болью о возможности колебания, ради меня, высокого и еще не нарушенного закона о несменяемости, я выражал в конце письма, что подчинюсь необходимости оставить службу лишь в том случае, когда Пален от имени государя как статс-секретарь объявит мне высочайшее повеление о том, чтобы я подал в отставку по личной инициативе.

Письмо это, памятное мне дословно (черновик его, к сожалению, где-то завяз между моими бумагами вместе с некоторыми документами и двумя фотографическими карточками Засулич, снятыми тотчас после выстрела в Трепова), обсуждаемое мною теперь, после многих лет, кажется мне слишком мягким по тону и любезным в отношении к человеку, который хотел моего содействия своему предательству. Но это теперь, когда сквозь призму времени эгоистические черты его представляются мне особенно рельефно. Тогда же его жалкий, потерянный и беспомощный вид произвел на мои угнетенные нервы слишком сочувственное впечатление и некоторая симпатия к этому ничтожному министру, но, в сущности, не злему и по-своему порядочному человеку еще жила в моем сердце. Я не мог на него сердиться и негодовать: он мне был жалок, и тон письма вышел менее резок, чем то было заслужено.

Утром рано я его отослал, и в 12 часов, в то время как Пален входил с докладом к государю, я входил в комнаты Государственного совета, в заседание Комиссии о государственном экзамене под председательством И. Д. Делянова.

ОТДЕЛ ПЯТЫЙ

Эта комиссия заслуживает подробного описания, которое, однако, здесь было бы не у места. Под скромным и симпатичным флагом уничтожения прав на чины, даваемые высшим образованием, она, в сущности, имела прикровенную задачу введение государственного экзамена, который, в

свою очередь, как мне впоследствии цинически объяснял знаменитый «отец русского классицизма» Георгиевский, дал бы возможность влиять на ценность, содержание и даже самостоятельность университетского преподавания. По тогдашним временам, однако, ввести такой экзамен прямо было трудно. В Государственном совете нашлись бы серьезные оппоненты. Поэтому Толстой придумал образование при Государственном совете комиссии с особыми правами, под председательством старого хитреца Делянова, который, введя в нее Георгиевского и нескольких своих сателлитов, разослал министерствам официальные приглашения о командировании депутатов. Министерства, очевидно, не понимая значения работ этой комиссии, прислали самых бесцветных представителей, за исключением министерства финансов, которое командировало директора Петербургского технологического института И. А. Вышнеградского (впоследствии министра финансов), и военного, представителем которого явился выдающийся по уму и стойкости полковник Васютинский. Исправляя должность директора департамента, я командировал в комиссию самого себя. Заседания происходили в старом помещении Государственного совета, и им, по прежнему обычаю, предшествовал обильный завтрак, угнетающим образом действовавший на мышление таких членов комиссии, как какой-то директор архивов морского министерства или, в особенности, представитель министерства путей сообщения — начальник инспекторского стола в департаменте общих дел действительный статский советник Л. В. Брандт.

В первом же заседании карты были раскрыты. Об уничтожении чинов почти не было и речи, а все свелось к вопросу о государственном экзамене, причем Делянов заявил, что нам надлежит лишь обдумать, как устроить экзамен, ибо самое его введение уже предрешено высочайшим повелением об учреждении комиссии. Против этого горячо восстали Вышнеградский, Васютинский и я, и в виде уступки на наши доводы Делянов решил послать за границу Георгиевского для изучения организации государственных экзаменов на месте, то есть в Германии, и заседания комиссии были отсрочены более чем на полгода.

Этой отсрочкой мы воспользовались, чтобы выработать план кампании против государственного экзамена, причем особенную деятельность проявил Вышнеградский, вступивший с остальными единомышленниками в оживленную переписку.

Мы постарались также и об изменении бесцветного со-

става комиссии. Благодаря Вышнеградскому был разумно заменен молчаливый и отупевший морской архивариус, а я убедил директора департамента общих дел министерства путей сообщения Жемчужникова прислать юрисконсульта министерства, глубокого мыслителя Стронина, на место Брандта. Старый литератор и усердный сотрудник «Северной пчелы», Брандт во всей своей маленькой и комической фигуре имел отдаленное и карикатурное сходство с Наполеоном I, чем чрезвычайно гордился, под рукой многозначительно давая понять, что великий полководец при возвращении из России ночевал в доме его родителей и что его мать отличалась чрезвычайной красотой и произвела на Наполеона сильное впечатление. Эти рассказы, вместе с изданною им глупую книжкою «Наполеон, сам себя изображающий», вызывали весьма недвусмысленные насмешки в печати 40-х годов. В конце 50-х годов Л. В. Брандт сошел с литературной сцены, чтобы выплыть, чрез много лет, в том виде, в каком я его встретил в комиссии. При первом же завтраке он обильно «нагрузился» и продремал все заседание, но оживился по окончании его и, выйдя на набережную Невы вместе со мною, размахивая пестрым, с табачными пятнами, фуляровым платком и взяв меня по старикинской привычке за борт пальто, сказал мне: «Совершенно с вами согласен. Эта комиссия очень опасная, а? А почему? А?» Зная, что он дремал все заседание, я повторил ему вкратце мои доводы об опасности отдать в руки одного министра народного просвещения не только озеро высшего образования, но и море государственной службы, посадив его не только у шлюза для входа во второе, причем право регулировать требования от держащих государственный экзамен подействует деморализующим образом и на университетское преподавание и на молодежь, создав ускоренную подготовку по учебникам во вкусе Потсдамской Schnell Assessoren — Fabrik¹. «Да, — ответил он мне, продолжая махать платком, — пожалуй! Но вы меня извините. Вы еще молоды, а? И смотрите неглубоко. Тут есть нечто поважнее! По-моему, государственный экзамен есть первая ступень к радикальному уничтожению чинов вообще, а? Позвольте! Я теперь по службе дошел до чина действительного статского советника: я, так сказать, генерал, а? И вдруг чины будут уничтожены! Ведь я тогда — ничто?...» — «Да, действительно, вы — ничто», — сказал я ему, и мы расстались. Это было летом 1877 года. Когда мы собрались в апреле 1878 года, то прежнее мень-

¹ фабрика скородумных судейских (нем.)

шинство обратилось в большинство, причем к нам перешел обиженный каким-то заявлением Делянова и директор лесного департамента, известный нумизмат и очень льстивый человек, граф Эмерик-Гуттен-Чапский. Увидя себя в меньшинстве, Делянов повздыхал и в один прекрасный день заявил нам, что комиссия прекращает свои занятия и что ее труды будут приняты во внимание при переработке университетского устава, которым впоследствии и был торжественно водворен в Российской империи государственный экзамен.

Вот в одно из таких заседаний, в тревожный для меня день 5 апреля, и пришел я, встреченный некоторым смущением и соболезнующим любопытством. Я взял, однако, в руки свое исстрадавшееся сердце и разбитые нервы и с веселым видом, остря и ставя вопросы ребром, стал разбирать доклад Георгиевского. Делянов посматривал на меня не без удивления, а Георгиевский начал свой ответ заявлением, что ему очень трудно бороться с разрушительным красноречием г-на председателя окружного суда.

Мне неизвестно, докладывал ли граф Пален мое письмо государю и что вообще говорил он ему по этому поводу. Но несомненно одно, что государь не потребовал моей отставки, хотя довольно долго продолжал, как мне говорил Набоков, вспоминать с упреком о деле Засулич. Мысль о моей виновности в чем-то по этому делу, очевидно, была плотно посеяна в его душе и давала по временам ростки. Однажды это выразилось даже трогательным образом. В 1879 году меня постигло жестокое семейное несчастье, поразившее во мне одновременно и невольное родственное самолюбие, и чувство русского гражданина, и строгое миросозерцание судьи. Оно обрушилось на меня в момент тяжелой болезни, последовавшей за смертью моего отца, и вызвало временный паралич языка и верхней части тела; заставило меня пережить трагическую необходимость указать любимому и близкому человеку безусловную нравственную его обязанность сломать всю свою жизнь и тяжелыми материальными испытаниями искупить свою вину перед обществом. Конечно, чаша всего, что полагается в таких случаях, была испита мною до дна. Бессонные от тяжких дум ночи сменялись днями безысходной тоски; боязнь за другое, дорогое мне старое существо, пораженное одинаковым со мною ударом; оскорбительными расспросами и намеками, болезненным молчанием немногих друзей, лицемерными вздохами и рукопожатиями равнодуш-

ных приятелей и беззастенчивым ликованием многочисленных врагов. В это время, еще слабый от болезни, я должен был по какому-то делу быть у министра Набокова. Он не мог не коснуться большого вопроса, но при этом сказал мне: «Когда я доложил государю о происшедшем, он спросил меня, имеет ли это какое-либо отношение к вам, и, узнав, что имеет и самое близкое, сказал мне: «Передай ему от меня, что хотя я и сердит на него за дело Засулич, но я понимаю, как ему должно быть тяжело теперь, и искренне его сожалею. Скажи ему это!»

Но ближайшие советники государя и разные «командующие на заставах» были менее великодушны, чем он, и, конечно, гораздо более несправедливы, ибо могли быть лучше осведомлены. Не добив меня «мытьем», попробовали применить ко мне «катанье», которое началось почти тотчас после процесса. Председатели московского и петербургского окружных судов ввиду дороговизны столичной жизни уже несколько лет как получали из остатков кредита на личный состав полторы тысячи добавочного содержания. Обыкновенно оно выдавалось после 1 апреля, по заключению сметы. Я был, однако, лишен этой прибавки, и она стала производиться председателю суда лишь через четыре года, то есть после моего перехода с этого места.

Усталый душевно, я уехал на пасху в Харьков, где, впрочем, напрасно искал отдохновения среди друзей. Их расспросы и бесконечные разговоры о деле тяготили меня, а в некоторых я замечал тот начавшийся отлив добрых и искренних ко мне отношений, который разлился потом на широком пространстве. Так, прокурор палаты Мечников, в котором я привык видеть самостоятельного судебного деятеля, неожиданно поразил меня заявлением, что удивляется, как я, при моем уме, полез в такое дело, имея право и возможность оставить его на руках одного из товарищей и предоставив последнему «отправляться вместе с делом к черту». Слухи о том, что студенты замышляют демонстративно выразить мне свое сочувствие, заставили меня поспешить отъездом из Харькова.

Первое лицо, о котором я услышал, придя в суд по возвращении, был товарищ прокурора Кессель. Еще когда я жил в Казани, но был уже переведен прокурором в Петербург, граф Пален указывал мне на Вебера и Кесселя как на крайне строптивых следователей и заявлял, что в случае каких-либо новых «выходок» последнего он, если я пожелаю, будет причислен к министерству. Действительно, в Петербурге Кессель проявил себя рядом капризов и пререка-

ний со смиренным товарищем прокурора Случевским, причем в этих столкновениях право и судебная правда всегда были на стороне последнего. Но я не допускал и мысли воспользоваться данным мне графом Паленом разрешением и относил все это к неудовлетворенности болезненного самолюбия Кесселя — человека с желчным видом и больной печенью. Ценя его трудолюбие и некоторые теоретические знания, я предложил ему место товарища прокурора, прямо с городским окладом, и затем всегда относился к нему с особым вниманием и даже лаской. Я поручил ему, между прочим, обвинение по серьезному делу Ниппа о похищении купонов городского кредитного общества, и мне смешно вспомнить, с каким чувством радости прочел я весной 1875 года в Воронеже, возвращаясь с дознания по делу Овсянникова, маленькую заметку «Голоса», лестно отозвавшегося о речи Кесселя. Перейдя в министерство, я часто приглашал его на маленькие собрания моих знакомых, откровенно делился с ним мыслями и впечатлениями, рекомендовал его Гарткевичу для подготовительных работ по Уложению о наказаниях и, узнав, что он хандрит и скучает от однообразия своей деятельности, устроил его уполномоченным Красного Креста для сопровождения на место военных действий отряда сестер милосердия, особенно откомендовав его организаторше этих отрядов принцессе Евгении Максимилиановне Ольденбургской, которая поэтому приняла его с особой любовью. О том, как отнесся Кессель к своей обязанности обвинителя по делу Засулич, я говорил уже выше. Оказалось, что ему пришлось составить под надзором и по внушениям прокурора палаты и кассационный протест по делу. В нем, указывая на фиктивные нарушения, допущенные без возражений или вызванные им же самим, он не постыдился сказать, что действия председателя окружного суда по делу Засулич «явно клонились» к затемнению истины в интересах оправдания Засулич. Протест посылался на просмотр в министерство и был оттуда возвращен с одобрением, а г-н Кессель был, по-видимому, крайне удивлен, что я перестал подавать ему руку, несмотря на его неоднократные попытки при встречах отнестись ко мне как будто ничего не произошло.

Одновременно с принесением протеста в министерство юстиции закипела горячая работа по представлению в Государственный совет проектов об изъятии дел о преступлениях против порядка управления из ведения суда присяжных и о полном подчинении деятельности адвокатуры дискреционной власти министра юстиции. К обоим проектам при-

ложили руку страстность заменившего меня на директорском посту Манасеина и холодная угодливость Фриша. Когда протест поступил в сенат, ко мне пришел Михаил Евграфович Ковалевский — новый первоприсутствующий уголовного кассационного департамента. Старые дружеские отношения, доказанные мною спасением в 1875 году его честного имени, впутанного в дело Овсянникова г-жей Ворониной, которую любил Ковалевский, от растерзания клеветой и злорадством, по-видимому, еще продолжали влиять на этого, когда-то сердечно любимого мною человека. «По делу Засулич, — сказал он мне, — министерство будет оказывать давление на сенаторов. Я мало знаком с личным составом, который набран с бору да с сосенки. Вам многие из них лучше известны. Как вы думаете, кому бы поручить доклад? Что вы скажете о Дейере?» — «Мне кажется, — отвечал я, — что этот выбор будет хорош. Я Дейера лично не знаю, но он очень умело провел дело Струсберга. Я слышал о нем как о человеке независимом и самостоятельном, хотя и довольно крутом».

Говоря это, я, к сожалению, не знал лишь впоследствии попавшего мне в руки в номерах московских газет руководящего его напутствия по делу Нечаева, выданного нашему правительству Швейцарией для осуждения его не за политическое, а за общее преступление. Это напутствие представляет собой полнейшее нарушение председательского беспристрастия и спокойствия. Впоследствии сделавшись обер-прокурором, я ближе узнал этого человека и постиг всю глубину омерзения, которое возбуждала его духовная личность, облеченная в соответствующую физическую оболочку. Маленький, с шаткой походкой и трясущейся головой, преисполненный злобы против всех и вся, яростный ругатель власти и в то же время ее бездушный и услужливый раб, Петр Антонович Дейер импонировал многим своим злым языком и дерзким, вызывающим тоном. Сенаторы его боялись, и нужно было употреблять большое напряжение, чтобы в некоторых случаях парализовать его влияние, а влияние это всегда было вредным. По преступлениям против веры он никогда не знал никакой терпимости и с большим искусством комкал кассационные поводы, чтобы свести их к желанному «без последствий». Я не помню в этих делах ни одной кассационной жалобы, которую бы он уважил. Еще хуже было его отношение к национальностям. Достаточно было быть евреем, чтобы не добиться у Дейера никакого правосудия. Иногда, однако, вследствие личных отношений к товарищам по старой московской службе он делал

ся ярым кассатором и лез на стену, говоря всем дерзости, в пользу отмены обвинительного приговора. Таким было, например, возмутительное дело московского нотариуса Назарова, покушавшегося изнасиловать несчастную девушку Черемнову, заманенную им в западню Эрмитажа, и устроившего с полицией дело так, что ее по осмотре признали имевшею неоднократные совокупления с мужчинами. Оскорбленная этим и не веря в земное правосудие, она застрелилась на паперти храма Спасителя и при вскрытии была найдена вполне целомудренной. Несмотря на ловкую защиту Андреевского, московские присяжные осудили Назарова, и за него-то распинался Дейер.

Подобным же делом было дело московского дворянина Крутицкого, сделавшего предложение шестнадцатилетней гимназистке, объявленного ее женихом и заманившего ее под предлогом осмотра будущей квартиры в какие-то номера, где несчастный полуробенек был им напоен и растлен, причем он отказался жениться, ссылаясь на развратные наклонности своей невесты. Несмотря на полную правильность обвинительного приговора присяжных, союзником защитника обвиняемого, грязного чиновника комиссии прошений по бракоразводным делам Завадовского (выгнанного из товарищей прокурора харьковского окружного суда за приглашение к себе на любовные свидания, на официальном бланке, жены арестованного им политического преступника), явился Дейер. С пеною у рта доказывал он, что дело об изнасиловании возбуждено судебной палатой неправильно, опираясь на то, что мать потерпевшей, по очевидному незнанию терминологии, описав фактическую сторону изнасилования, просила о наказании за обольщение. Не щадивший ругательных эпитетов против представителей власти всех степеней, Дейер, однако, охотно принял на себя обязанности первоприсутствующего Особого присутствия по политическим делам в сенате и проявил по ним такое черствое инквизиторство, что все порядочные люди в сенате радовались, когда подобные дела, по тем или другим соображениям, передавались в военный суд, вообще гораздо более гуманный, чем суд господ сенаторов. Об этой передаче мог пожалеть исключительно г-н Дейер, который приобрел привычку после каждого дела со смертными приговорами получать из министерства юстиции крупную сумму для поправления своего драгоценного здоровья. Я живо помню его фигуру безобразного гнома в заседании по делу о приготовлении к убийству разрывными снарядами Александра III ранней весной 1887 года. Интимизируя подсудимых, он приказал

им стоя выслушать длинейший обвинительный акт, а когда подсудимые, с невидимыми, но неизбежными петлями на шее, заранее приговоренные к смерти, сказали свои последние объяснения при судебном следствии, он, нервно вертя руками длинный карандаш, выразил желание пополнить эти объяснения некоторыми разъяснениями. И тогда между ним и подсудимой Гефтман, обвинявшейся в укрывательстве товарищей по заговору, миловидной и скромной девушкой, произошел следующий диалог: «Где вы учились?» — «В Елисаветградской гимназии». — «На чей счет?.. На казенный?» — «Нет, на счет родителей». — «А какой веры ваши родители?» — «Иудейской». — «Гм! Значит — евреи. А чем они занимаются?» — «Коммерцией», — смущенно отвечает подсудимая. «Коммерцией?! — язвительно возглашает Дейер. — Значит, гешефтом?» Краска заливает лицо несчастной девушки, и она молчит. «Садитесь!» — торжествующим тоном говорит Дейер и продолжает судорожно вертеть карандаш...

«Ну вот и отлично, — сказал Ковалевский, — ему я и поручу. А вам я должен высказать свое чрезвычайное удовольствие по поводу вашего подробного объяснения, представленного сенату. Оно так разъясняет все вопросы, что я не могу себе представить, как можно кассировать это дело. На днях меня брат Евгений (мой сослуживец по суду еще с Харькова) спрашивает, увидев у меня дело с вашим объяснением: «Ну, что твой Кони?» А я ему и сказал: «Мой моим и остался...» Поскорей бы только сбить с плеч эту канитель!..»

Я не знаю сущности доклада Дейера, потому что не был в заседании. Но знаменитое решение за № 35 за 1878 год налицо — то решение, которое упразднило 576-ю статью Устава угол[овного] суд[опроизводст]ва, вменило мне в вину точное исполнение ее указаний и установило нелепую практику, по которой суд, раз отказав в вызове свидетеля подсудимому, не может пересмотреть свое решение и отменить его по существу. Трудно себе представить весь вред, который принесло действительному правосудию такое сенатское толкование, узаконяющее произвол суда и дающее ему возможность для сокращения судебного заседания отнимать у подсудимого то, в чем он иногда видит единственную возможность своего оправдания. Им была установлена целая категория свидетелей, которых судебная практика принялась называть лишними, не относящимися к делу или

же не имеющими для дела значения. Широкая мысль судебных уставов, создавшая 576-ю статью, была сведена на нет, и наши суды с позорной готовностью принялись топтать ее в грязь своей лени и бездушия. В бытность мою обер-прокурором я пробовал хотя отчасти восстановить ее значение и ограничить область судейского произвола. Но когда я ушел в сенаторы, то при посредстве почтенного сенатора Платонова, друга и наперсника князя Мещерского, и при постыдном попустительстве Таганцева старое толкование было установлено с новой силой и резкостью по делу Котельниковых, в котором двукратная просьба двух престарелых сектантов о вызове близко их знающего Бориса Николаевича Чичерина как свидетеля об их нравственности была отвергнута судом, нашедшим, что при обвинении (по 204-й статье Уложения о наказаниях) кого-либо в деянии «гнусном и противонравственном» свидетель о нравственной чистоте подсудимого «не имеет значения для дела»!

В заседании по делу Засулич после трескучего заключения товарища обер-прокурора Шрейбера произошли страстные дебаты, причем образовалось большинство за кассацию, а часть сенаторов, во главе с ничтожнейшим Н. С. Арсеньевым, когда-то грозившим в заседании московского окружного суда «высечь» четырнадцатилетнюю свидетельницу, требовало даже предания меня суду. Когда выяснилось большинство, Ковалевский перестал отбирать голоса и на вопрос Арцимовича: «А ваше мнение, Михаил Евграфович?» — ответил, что оно уже не имеет значения, так как образовалось большинство, и стал затем уговаривать Арцимовича присоединиться к большинству, чтобы не делать разногласий. «Вы забываете, — сказал ему почтенный старик, — что у меня есть дети...»

Заседание ознаменовалось еще и тем, что защитник Засулич, Александров, не был допущен к представлению объяснений на том основании, что не предъявил формальной доверенности, явленной у нотариуса, со стороны оправданной, которую полиция искала по всему городу, чтобы по совершенно противозаконному распоряжению вновь посадить под стражу. Вечером в тот же день, в заседании юридического общества, присутствующие были свидетелями того, как к профессору Таганцеву, бывшему днем в сенате и взволнованно рассказывавшему о происшедшем, подошел Кессель и, протягивая руку, развязно спросил его: «Что подделываете, Николай Степанович?» — «Да вот, — сказал на всю залу Таганцев, не принимая руки, — был сегодня в сенате, слушал хамское решение по хамскому протесту». Це-

лая пропасть, по-видимому, разделяла тогда этих двух людей... В какую едва уловимую линию обратилась она, когда через 20 лет тот же Таганцев не постыдился приложить свою руку к решению по делу Котельниковых, поддерживая словесные «покивания головой» Платонова по моему адресу с постоянными ссылками на дело Засулич...

Кассация решения по делу Засулич имела два ближайших последствия. Во-первых, министр юстиции предложил соединенному присутствию 1-го и кассационного департаментов рассмотреть неправильные действия суда, и соединенное присутствие с услужливой готовностью сделало мне и составу суда замечание в дисциплинарном порядке, даже не потребовав от нас, вопреки закону и обычаю, объяснения; и, во-вторых, Андреевский и Жуковский, отказавшиеся обвинять Засулич, были подвергнуты взысканию: первый причислен к министерству, а второй переведен товарищем прокурора в Пензу. Жуковский тотчас же вышел в отставку, а Андреевский, уехавший больным в Киев, впал в совершенное отчаяние, не зная, как быть без средств с женою и двумя детьми, и не надеясь на адвокатский заработок. К счастью для него, я был знаком с председателем международного банка Лясским, и он, по моей просьбе, с необыкновенной предупредительностью немедленно взял к себе Андреевского в юрисконсульты на весьма хорошее содержание. Таким образом, полужнакомый мне поляк, не говоривший даже по-русски и которому я ничем не мог быть полезен, участливо отнесся к просьбе за товарища со стороны опального судьи, в то время как многие люди, обязанные последнему серьезным образом, совершали своего рода состязания «на предательство и злобность».

Так лишилось судебное ведомство двух талантливых деятелей, могших служить его украшением. Оба они быстро достигли обеспечения и широких гонораров. Но растлевающее влияние узко понятой профессии на слабую русскую натуру, лишенную чувства личной солидарности с общественными интересами, сказалось на них. Жуковский, впрочем, сам остался в душе обвинителем, смотрел на свою защиту в громких делах, иногда не безопасную для его клиента, как на рекламу, и однажды на вопрос мой о том, как идут дела, цинически ответил: «Да плохо! Зарабатываю двадцать тысяч, но этого мало. Я ведь смотрю на адвокатуру так... — И он вытянул при этом руку с крючковатыми пальцами: — Цап! И ушел. А это мне не удастся».

Андреевский, ставший очень симпатичным поэтом и тонким литературным критиком, занял, бесспорно, одно из вид-

нейших по талантности мест в адвокатуре, но и в нем развилась неразборчивость в делах, приведшая его к защите помещика Белозора, жестокого истязателя своих рабочих руками подкупленной полиции, и московского купца Елагина, сажавшего бедную девочку, взятую им в товарки малолетней дочери, обнаженными половыми частями на несколько часов на обширные горчичники и ставившего на колени, с которых путем таких же горчичников была предварительно содрана кожаца...

Среди таких распоряжений графа Палена, дававших чувствовать его предсмертные, в качестве министра юстиции, содрогания, бывали и комические эпизоды. Так, ничтоже сумняшеся, добродушный и оригинальный старейший член суда Сербинович, отличавшийся рядом своеобразных выходов на суде, сунулся к нему просить ежегодного пособия, необходимого бедняку, бегавшему по урокам, чтобы восполнить скудное судейское содержание. На вопрос графа Палена: «Как мог суд допустить такой приговор, какой вынесли присяжные по делу Засулич?» — Сербинович — человек не от мира сего, — думая сказать Палену приятное, выпалил, что «мы хотели решить дело либерально». Это слово подействовало на графа Палена, как красный платок на быка на испанской арене. Он вышел из себя и прогнал несчастного Сербиновича ни с чем. Когда затем у него по какому-то личному остзейскому вопросу был мой покойный сослуживец, благородный рыцарь, Оттон фон Ден, тоже бывший в составе суда в злополучном заседании (во время которого у него родился первенец-сын), Пален разразился градом упреков против меня и на спокойные указания со стороны своего собеседника, что приговор произнесли присяжные, ответил: «Ну что ж! Если бы Кони был на высоте своего положения, он бы должен был уничтожить этот приговор». — «То есть как же это?» — спросил Ден. «Ах, боже мой! — воскликнул Пален. — Ведь он видел, что в нем написано! Взял бы вместо песочницы чернильницу, да и залил весь приговор!» Ден не нашелся на это ничего ответить, но от Палена поехал ко мне и рассказал все это.

Конец министерства Палена наступил вскоре. Государственный совет согласился с его проектом об ограничении компетенции присяжных, но отверг проект о подчинении адвокатуры, причем ему пришлось выслушать немало неприятных вещей. Тогда в нем проснулось чувство собственного достоинства, временно заглушенное желанием удержать портфель, и он совершил то, что для тогдашнего русского министра было равносильно подвигу: подал в отстав-

ку. Вслед за этим был назначен прощальный прием суда у уходящего министра. Когда мы собрались пред его кабинетом, разнеслась весть о мерах, принятых против Жуковского и Андреевского. Многие возмутились, и граф Гейден, Ден и барон Бистром не хотели оставаться и собрались демонстративно уехать. Мне стоило большого труда убедить их остаться отдать последний долг сошедшему со сцены, с редким у нас достоинством, министру. Прощание было холодное. Пален сказал несколько слов с указанием на смутное время, и мы расстались.

Я встретился с ним близко через 16 лет, на похоронах Александра III, при которых мне в качестве сенатора пришлось быть ассистентом при императорской короне, а ему нести скипетр. Жизнь изменила нас обоих. И мы встретились дружески. Я встречал, после разлуки с Паленом, такую массу ничтожных и своекорыстных людей, чуждых даже внешним приемам порядочности, что стал более ценить хорошие стороны его природы, уцелевшие, несмотря ни на что, под тлетворным влиянием придворной и бюрократической обстановки. А он, пожив в деревне, получил возможность яснее увидеть то лакированное варварство, которое все более и более завладевало кормилом правления, совершенно беспринципное и не думающее о завтрашнем дне. За последнее десятилетие граф Пален явился в Государственном совете представителем хороших традиций царствования Александра II и защищал многие из лучших сторон судебных уставов со своеобразным и внушающим к себе уважение красноречием, хотя — увы! — по большей части бесплодным. Можно даже сказать, что он стал самую симпатичную фигуру в Государственном совете и живым ударом своим преемникам по своему чувству долга перед родной юстицией. Я давно простил ему те скорби и огорчения, которые он мне причинил, и ныне (в 1904 г.) с искренним уважением приветствую в нем ту эволюцию, по поводу которой его противники в Государственном совете говорят: *le comte Palen a tourné au sucre*¹. «Мы оба с вами многому научились», — сказал он мне при одном из свиданий после долголетнего перерыва. «Но ничего не позабыли, граф», — сказал я ему, продолжая известную фразу о Бурбонах².

¹ граф Пален помягчел (букв.: засахарился) (*фр.*).

² Через много лет мы встретились с графом Паленом в Государственном совете; он был его старейшим членом, я — его младшим. Между нами установились вежливые, официальные отношения. Годы шли, он занемог и перестал ездить в Государственный совет. Когда вышла моя книга «На жизненном пути», немцы из Государственного сове-

Дело Засулич вызвало яростные нападки на меня и на суд со стороны Каткова, продолжавшиеся почти до самой его смерти. Ему вторила значительная часть провинциальной печати, преимущественно южной. В начале 80-х годов он дошел, как я уже упоминал, до того, что напечатал буквально следующее: «г. Кони, подобрав присяжных, оправдал Засулич». Под первым впечатлением я хотел преследовать его за клевету в печати, и так как в то время еще «il y avait des juges à Berlin»¹, то, вероятно, последовал бы обвинительный приговор, и, во всяком случае, москов-

та стали мне говорить: «Анатолий Федорович, граф Пален с большим интересом читает вашу книгу и очень жалеет, что не может повидать вас, побеседовать с вами». Мне это приходилось слышать не раз, то от одного, то от другого, наконец я решился. Мы оба уже старики (ему тогда было 83 года), большая часть жизни прошла, то, что нас разъединило, давно позади, и я к нему поехал. Он очень мне обрадовался, рассказал много интересного о том, что тогда происходило за кулисами, а потом вдруг посмотрел на меня и сказал: «Вы меня простили?» — «Да что вы, граф, я вас не понимаю, в чем я могу вас простить?» — «Нет, вы отлично меня понимаете: я столько причинил вам неприятностей, даже горя, я отравил столько лет вашей жизни... но простите меня, старика, я не понимал вас тогда, я многого тогда не понимал; теперь я понял, я теперь другой человек, но поздно». — «Какая может быть речь о прощении в общественной жизни, граф, я вас ни в чем по отношению к себе не виню; напротив, за то, что вы сделали со мною, я вам даже благодарен». — «Благодарны? За что?» — «А вот за что. Если после процесса Засулич я не оказался бы в опале и не был бы подвергнут различным притеснениям и преследованиям, я бы продолжал взбираться по иерархической лестнице и, наверно, как мне это многие предсказывали, в один день очутился бы на министерском кресле. И передо мною оказалась бы альтернатива — или же с первых шагов сломать себе шею и быть сданным в архив, или же, что еще хуже, пойти на компромисс, на сделку со своею совестью: сперва уступить в одном деле, намереваясь уже зато в другом настоять на своем, но мало-помалу покатиться по этой наклонной плоскости, пока совершенно не потеряю своего лица. А так вышло гораздо лучше; у меня оказалось гораздо больше свободного времени, я написал свою книгу «Судебные речи», за которую два университета присудили мне степень доктора прав honoris causa (в знак почета); я написал еще целый ряд книг; я был криминалистом, а благодаря новому назначению познакомился с гражданским судопроизводством; я свою судьбу доволен и не жалею о тех неприятностях, которые пришлось мне одно время испытать». — «Итак, вы простите меня, vous ne m'en voulez pas?» (вы на меня за это не сердитесь?) — «Mais du tout» (ничуть). Я пожал ему руку. «Ну как я рад, как я рад, у меня камнем на сердце лежало сознание, что я был несправедлив по отношению к вам и причинил вам столько незаслуженных огорчений... Заходите ко мне, я лишился ног, уже не могу выезжать, а мы с вами старые трабанты, у нас есть о чем поговорить!» Я ему обещал бывать у него. Старческой тяжелой походкой он проводил меня до дверей, мы простились, он крепко пожал мне руку. А через несколько дней он умер. (Примеч. автора.)

¹ были же судьи в Берлине (фр.)

скому трибуну пришлось бы прогуляться по всем инстанциям. Но я припомнил годы своего студенчества и впечатление статей Каткова в 1863 году, пробудивших русское национальное самосознание, оградивших единство России и впервые создавших у нас достойное серьезного публициста положение... Ввиду этих несомненных заслуг у меня не поднялась рука, или, вернее, перо, для частной жалобы на Каткова, и я очень доволен, что умел стать выше личного самолюбия, отдав в глубине души справедливость ожесточенному врагу в том, что было хорошего в его деятельности. Но эти статьи действовали, однако, на общественное мнение и в связи с молвою о недовольстве государя и о том, что я только лишь терпим на службе, создавали в обществе враждебную для меня обстановку. Печатать что-либо в защиту меня и суда было запрещено. Иностранная печать говорила о деле, по обыкновению ничего не понимая и валя все в одну кучу, называемую «революцией в России», а русская свободная печать в брошюре Драгоманова «За что обидели старика» нападала на меня за обязательные по закону вопросы, предложенные Засулич, называя их придирчивостью к подсудимой и ставя меня на одну доску с Желеховским, иронически восклицала: «И эти люди будут терпеть в свое время конституции?!»

[...] Были и комические проявления. Так, мне рассказывали, что в Неаполе на сцене одного из маленьких популярных театров шла драма, названия которой я не помню, взятая из процесса Засулич, обильно приправленного романтическими подробностями. В последнем действии были представлены здание суда и волнующаяся толпа, ожидающая решения присяжных. На балкон этого здания выходил я — *il primo presidente della corte*¹ — в красной мантии и седых локонах и, объявив, что Засулич невиновна, благосклонно раскланивался на крики толпы: *eviva!*²

Настроение иных представителей так называемых культурных слоев по отношению ко мне сказывалось во множестве случаев, из которых приведу лишь некоторые. Так, мне пришлось быть летом в том же году на похоронах сенатора Барановского и увидеть там графиню Ностиц, с которой я встречался у Гернгросс и у Трепова по поводу различных вопросов тюремного комитета. Когда я вошел в церковь, она не ответила на мой поклон и, грозно сверкнув злыми черными глазами, стала что-то оживленно говорить

¹ первый председатель суда (*ит.*); в России — первоприсутствующий.
² да здравствует! (*ит.*)

г-же Гернгросс, указывая глазами и движениями головы на меня. «Представьте себе, — сказала мне в тот же вечер г-жа Гернгросс (мы оба жили в Петергофе и часто виделись), — что графиня Ностиц в церкви, указывая на вас и волнуясь от гнева, говорила мне: «Скажите ему, чтобы он вышел из церкви! Как он смеет входить в храм после того, как оправдал Засулич и обвинил бедного Трепова?»

В это же лето, желая переменить квартиру и поселиться, по совету вдовы писателя Погоского, в том же доме Владимирской церкви, я просил ее справиться об условиях у старшего отца протоиерея, заведовавшего домом. «Извините, ваше превосходительство, — сказал ей добрый служитель алтаря, — очень бы хотел исполнить вашу просьбу и иметь жильца по вашей рекомендации, но господину Кони квартиры в нашем доме мы отдать не можем. Человеку, оправдавшему Засулич, нет места под кровом церковного дома».

Вспоминается мне и еще один эпизод с генерал-губернатором Западной Сибири Казнаковым — человеком очень симпатичным, который предлагал мне за два года перед тем место тобольского губернатора и постоянно обращался ко мне за различными советами юридического и законодательного свойства. В последний раз во время приезда в Петербург он просил меня за неделю до процесса дать ему заключение по вопросу, касавшемуся судоустройства во вверенном ему крае. Я написал ему заключение вкратце и повез ему лично, чтобы дополнить необходимыми словесными объяснениями. Не застав его дома и узнав, что он пошел гулять на набережную Невы, я, торопясь уехать в Харьков, поехал на набережную, где и увидел его спокойно гуляющим. Он поблагодарил меня за заключение, но, видимо, был несколько сконфужен моим намерением пройтись с ним вместе и по дороге дать свои пояснения. Он слушал меня довольно рассеянно, и вдруг его лицо изобразило ужас, а глаза застыли с выражением муки на каком-то предмете впереди нас. Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел, что навстречу нам, в десяти шагах, шел государь в белой конногвардейской фуражке. «Хорошо-с! Да-с! Благодарю-с!» — довольно растерянно стал говорить мне, видимо, желая от меня отделаться, Казнаков, испытанный, очевидно, смертельный страх, что государь увидит, с кем он идет и разговаривает. Но в данном случае я был жесток и заставил его выпить чашу до дна, то есть до встречи с государем. Чувствуя, вероятно, всю неловкость своего положения, Казнаков на другой день приехал ко мне, но я его не принял, приказав сказать, что уезжаю в Харьков и мне некогда.

Таких, как он, оказалось много. Те, которые, по образному выражению Палена, были мне «*radem do nog*» до дела Засулич, первые перестали меня узнавать при встречах и первые же через семь-восемь лет, когда, уцелев, я взошел на кафедру обер-прокурора, стали со мною почтительно раскланиваться. Но... тут уж я перестал их узнавать. В числе их был и Косоговский, приходивший выразить мне радость по поводу приговора по делу Засулич, покаравшего «непристойную» деятельность Трепова.

Нужно ли говорить, что отношение министерства юстиции ко мне сделалось холодно-враждебным, отражаясь и на суде. Последнее очень тягостно отзывалось на моей деятельности, так как создало против меня партию ничтожных, но тем не менее зловредных людей, которые шипели на то, что благодаря мне никто не получает наград и что председатель суда не имеет в этом смысле никакого авторитета в министерстве. Действительно, министерство три года подряд не уважало моих представлений о наградах и пособиях, стараясь при всяком удобном случае дать мне понять мою неугодность. Одним словом, сбылось все то, что я и предсказывал в разговоре с графом Паленом. Набоков был в министерстве человек новый, а Фриш при редких встречах со мною принимал величаво-обиженный вид, хотя сам в своих заключениях в сенате как товарищ обер-прокурора и затем обер-прокурор толковал 576-ю статью Устава угол[овного] судопроизводства именно так, как она была понимаема мною. Трудно и тягостно перечислять все случаи, в которых министерство юстиции старалось мне показать свою враждебность, начиная с мелочей и кончая назначением в комиссии, в которых присутствие живого юриста звучало какою-то насмешкою над ним, вроде комиссии об установлении правил о разборе старых архивных дел. Иногда эта враждебность принимала характер дерзкого нарушения моих прав, не оставшегося, впрочем, без отпора. Так, например, в 1879 году, когда Мирский совершил покушение на шефа жандармов Дрентельна, дело о нем решено было слушать в окружном суде, по удобству соседства с домом предварительного заключения, где он содержался. Мне не только не было сообщено об этом ничего официально, но даже в один прекрасный день председатель военного суда, генерал Лейхт, зайдя мимоходом в мой кабинет и вздыхая о трудности предстоящей ему задачи, любезно предложил мне билет для входа в заседание, которое должно состояться через три дня в зале 1-го отделения окружного суда, где он уже распорядился сделать некоторые перестановки. Рас-

прощавшись с ним с наружным спокойствием, я потребовал смотрителя здания, который объяснил, что заседания с присяжными, происходившие в зале 1-го отделения, прокурор судебной палаты Плева (он же и инспектор здания) приказал перевести через два дня в залу одного из департаментов палаты. Это наглое вторжение в ту сферу, где я один был хозяином, заставило меня немедленно написать письмо Плева о том, что, считая распоряжение министерства и его не подлежащими никакому исполнению без предварительного испрошения моего на то согласия, я прикажу запереть в день заседания на делу Мирского все двери в залу 1-го отделения и напечатаю в газетах объявление, что вследствие самовольного захвата помещения окружного суда сессия присяжных прерывается впредь до восстановления законного порядка. Письмо подействовало. Плева, зная, что я способен исполнить то, чем угрожаю, и опасаясь публичной огласки, явился с извинениями и с просьбою дать мое согласие на слушание дела в окружном суде, когда ко мне поступят просьбы министра юстиции и временного генерал-губернатора Гурко, что и было сделано вечером в тот же день. С тех пор министерство юстиции было со мною осторожнее. Но проникнутым совершенно мною неожиданным характером оказалось отношение ко мне Ивана Яковлевича Голубева, заменившего Манасеина в должности директора департамента в самый разгар гонений на меня. Дней через десять после процесса Засулич этот обер-прокурор гражданского департамента, прославленный кружком правоведов цивилист, в сущности, не только духом, но и видом «хладный скопец» и узкий законник, встретивши меня у Летнего сада и, очевидно, поддаваясь настроению лучшей части общества, спросил меня, правда ли, что от меня требуют выхода в отставку, и на мой утвердительный ответ, с несвойственным ему одушевлением и крепко пожимая мне руку, сказал: «Держитесь! Держитесь! Не уступайте! Отстояте начала несменяемости и докажите, что она существует!» — «Постараюсь», — ответил я, чувствуя новое ободрительное пожатие руки. Когда вводилась судебная реформа в царстве Польском, от разных расходов в распоряжении министерства осталась сумма в 2000 рублей. Я просил Палена отдать ее на учреждение особого отдела библиотеки министерства, крайне обветшавшей и наполненной полусгнившими и негодными по содержанию книгами, и по получении его согласия приобрел для нее через посредство Пассовера, бывшего в сношениях с лейпцигскими книжными антиквариями, несколько дорогих изданий по

весьма сходной цене. Таковы были сочинения Faustin Helie и «Dictionnaire de Jurisprudence generale» Dalloz'a¹, составлявший большую редкость и находившийся в Петербурге лишь в библиотеке II Отделения. Вся новая библиотека была помещена в особый шкаф красного дерева, ключ от которого хранился в статистическом отделении. Я с любовью составил каталог этой библиотеки, которую, к сожалению, никто не пользовался, и испросил разрешение Палена продолжать ею пользоваться, как делом своих рук. Некоторые томы Dalloz'a, полученные мною на дом, были мне чрезвычайно полезны для справок по моим докладам в юридическом обществе о суде присяжных, о председательском заключительном слове и о закрытии дверей заседаний. И вот, когда столь сочувствовавший мне Голубев сделался директором департамента и стал дышать атмосферой чиновничьей ненависти ко мне, он прислал редактора Решетникова требовать от меня возвращения книг. Узнав от Решетникова, что они никому не нужны, я поручил ему объяснить директору, что прошу его оставить их у меня еще на некоторое время, так как одна из моих работ еще не была окончена. Но на другой день Решетников написал мне, что г-н директор по докладу моей просьбы приказал повторить свое требование. Полагая, что тут какое-нибудь недоразумение, я написал Голубеву письмо, в котором, рассказав историю возникновения и составления библиотеки, просил его не ограничивать без надобности моего пользования ею для ученых трудов, выражая готовность по первому требованию возвращать каждую из взятых мною книг. Ответом на это явилось письмо на официальном бланке директора, в котором Голубев отказывал мне в моей просьбе, ссылаясь на то, что библиотека принадлежит к департаменту министерства юстиции и не может быть предоставлена в пользование лицам, для департамента посторонним. Так приложил ко мне свое копыто почтенный деятель, умышленно забывший, что несколько лет подряд этот «посторонний человек» исправлял в том же департаменте одинаковые с ним обязанности.

Не было недостатка и в дружеских советах. В январе 1879 года ко мне пришел Михаил Евграфович Ковалевский и начал издали речь о том, в каком трудном положении находится Набоков, которому государь нет-нет да и напомнит о деле Засулич. «Он думает,— сказал Ковалевский,— что положение это значительно облегчилось бы, если бы вы

¹ Фаустен Эли и «Словарь общего правоведения» Даллоза (фр.)

вышли в отставку». — «Набоков поручил вам это мне сказать?» — «Нет, но я думаю, что и в самом деле... вы отстояли свою самостоятельность и показали свою независимость, чего же вам больше ждать? А ваш выход в отставку поставил бы крест на все дело». — «Я слушаю вас с душевной болью, — сказал я. — Я испытал ряд оскорблений и неприятностей за истекший год, но, признаюсь вам, то, что вы мне говорите, горше всего, и я менее всего ожидал, что с таким советом и предложением обратится ко мне — одинокому, всеми покинутому судье — первый по своему положению судья в государстве, знающий притом, что я не могу признать себя виновным и что я избран козлом отпущения. Нет! Вы можете передать министру, что я оставляю свой пост лишь тогда, когда сам найду это нужным». Мы расстались... [...] Через три года еще мне пришлось прийти проститься с этим когда-то горячо любимым человеком, легшим в гроб после кратковременных ужасных страданий, вызванных какою-то таинственной причиной. Мы грустно переглянулись с Кавелиным, когда увидели, какие люди в качестве новых друзей подходили с лицемерным смирением поклониться его праху.

Между ними, к сожалению, одним из первых подходил прощаться, с аффектированной скорбью на бледном, хищного типа лице, генерал-лейтенант Селиверстов, исправлявший должность шефа жандармов, — человек бездушный и шпион по призванию. В качестве богатого человека он задавал в «здании у Цепного моста» роскошные фестивали, на которых не гнушался бывать и Ковалевский, очевидно, задаваясь ложной идеей о какой-то «правительственной солидарности». Меня познакомил с Селиверстовым в 1873 году в Остенде старик Стахович. Тогда это был отставной пензенский губернатор, уволенный от должности за попустительство циркулярному предписанию исправников по волостям о поднесении ему при объезде губернии серебряных блюд с хлебом-солью. Я держался с ним холодно, но двукратный визит его вынудил меня исполнять неприятный в этом случае долг вежливости. Подойдя к дверям его номера в гостинице, я услышал трехэтажные русские ругательства, произносимые захлебывающимся от злости голосом, и на мой стук предстал сам Селиверстов с искаженным гневом лицом. Уловив мой вопросительный и удивленный взгляд, он сказал мне приблизительно следующее: «Вы застаете меня в ужасном негодовании. Представьте себе: у меня был по корпусу товарищ, однокашник. Наши дороги разошлись. Он служил в глубокой армии, а я дошел до губернатора. Болельщик страстно любимой им жены и необходимость ее ле-

чить за границей заставила его запутаться в денежных делах и допустить разные погрешности по должности полкового казначея. Пришлось выйти в отставку, а жена все-таки умерла. Он стал чрезвычайно бедствовать и обратился ко мне за помощью, но я хотя и очень богат, но не люблю помогать впустую. Поэтому, помня, что он был в молодости веселого нрава и хорошо рассказывал, я взял его вроде домашнего секретаря, и действительно, он меня не раз развлекал и разгонял мое дурное расположение духа вследствие болезни печени. В нынешнем году я взял его с собой за границу. Он укладывал мои вещи и исполнял разные поручения, но в Кельне с ним произошла странная перемена: он сделался задумчив, рассеян, стал все перепутывать и, когда я начинал с ним шутовую беседу, стал отвечать мрачно и односложно. Мне это надоело, и я ему заметил, что не за тем взял его за границу. Что же вы думаете?! Он вдруг весь побагровел и говорит: «Здесь, в этих местах умерла моя жена, которая была мне дороже жизни и чести, а ты хочешь (мы ведь были на ты!), чтоб я был твоим шутком. Я тебе не лакей и не шут! Не хочу с тобой дальше ехать! Ни за что не хочу!» И расплакался, как старая баба. Этакая дрянь! Это после всего-то, что я для него сделал. «Я на тебя истратил деньги, вез тебя сюда, — сказал я ему, — ну, а на обратный путь одному денег не дам». — «И не надо! — отвечает мерзавец, — пешком уйду, а не останусь!» И, представьте, ушел. Я было хотел обратиться даже за содействием к консулу: все же ведь между нами было соглашение, хоть и словесное, и он обманным образом ввел меня в расход, да не хотел срамить русского имени. Вот здесь пришлось жить одному. Теперь хочу уезжать в Париж, и надо самому укладываться, потому что из-за этого скота я даже не взял камердинера. Это такая тоска — укладываться. Всю поясницу разломило! Вот я и бешусь и ругаюсь. Нет, какова скотина! А еще товарищ по корпусу!..»

Этот поучительный монолог заставил меня прекратить с ним знакомство навсегда, и известие о последовавшей насильственной смерти в 80-х годах в Париже этого «благодетельного товарища» оставило меня довольно равнодушным. По слухам, он добровольно принял на себя обязанности главы политического сыска по отношению к проживавшим в Париже русским эмигрантам, которые, однако, не дали ему возможности пожать лавры в этом своеобразном спорте.

Дело Засулич имело для меня чувствительный отголосок и в сфере, далекой от судебной. С 1876 года я читал в

Училище правоведения лекции теории и практики уголовного судопроизводства. Курс был разработан с любовью и вниманием и принимался моими слушателями, из которых некоторые теперь уже сенаторы, с видимым интересом. На экзамены являлся принц П. Г. Ольденбургский, а иногда он заходил и на мои лекции. Дело Засулич не повлияло на его отношение ко мне, но в 1881 году добрый старик скончался и его место заступил его сын Александр Петрович, в котором добрые намерения перекрещивались с бешеными порывами и попытки принести пользу — с безжалостными проявлениями грубейшего насилия. Еще при жизни его отца мне рассказывали, что старик заочно ворчал на меня, ссылаясь на слова осуждения, вырвавшиеся против меня у Бисмарка, и на какие-то наветы графа Палена по отношению к моей преподавательской деятельности, едва ли терпимой после дела Засулич. Но Бисмарка легко мог не понять доверчивый и недалекий принц, а в наветы Палена мне до боли не хотелось верить, и я считал намеки в этом отношении Победоносцева результатом их взаимной личной ненависти. Но молодой принц повел дело иначе и пожелал проявить себя с высоко консервативной стороны. Когда в октябре 1882 года я уехал на ревизию новгородского суда, он явился в старший класс, где я преподавал, и по какому-то поводу сказал правоведам речь, в которой выразил надежду, что они будут истинными слугами престола и отечества и не будут следовать примеру председателя по делу Засулич. Вернувшись и узнав об этом, я написал инспектору классов профессору Дорну, что желаю с ним объяснить. Дорн пришел сконфуженный и запуганный, как всегда, и, признавая, что принц действительно сказал такую речь, объяснил мне, что принц не скрывает своего желания, чтобы я оставил Училище, так как он признает совершенно неудобным, чтобы такой красный, как я, преподавал молодежи. Все это было сказано со всевозможными оговорками, с просьбой не говорить никому о нашей беседе, потому что иначе принц выгонит его вон. «Und was soll ich dann machen?! — добавил он. — Holz hauen?»¹. Бедняк, никак не могший представить диссертацию на доктора и потому лишь исправлявший должность экстраординарного профессора права в университете, очень дорожил своим местом инспектора классов в Училище правоведения и трепетал перед принцем, который имел жестокость терзать его пугливое воображение и довел его до сумасшествия, кончившегося самоповешением в пси-

¹ «И что я тогда должен делать?! — Дрова рубить?» (нем.).

хиатрической больнице в Риге. После беседы с Дорном я сообщил директору Училища Алопеусу, что, имея достоверные сведения о выходе принца, я желаю знать, разделяет ли совет Училища, пригласивший меня преподавателем, взгляд принца? Алопеус засуетился, завздыхал и стал просить меня не обращать на это внимания. Но я настаивал на своем требовании разъяснения, и тогда Алопеус, приехав ко мне, заявил, что принц приглашает меня к себе для личных объяснений. «Надеюсь, что все объяснится и уладится». — «Передайте принцу, — сказал я ему, — что моя нога не переступит его порога и что никакие объяснения ни к чему не поведут. Я рассматриваю его слова как совершенно неприличный способ отделаться от меня, и если он желает действительно, чтобы я остался в Училище, то он должен приехать на мою лекцию и выразить мне при всех сожаление о своих словах и о том, что они меня могли оскорбить. Передайте ему также, что об обязанностях судьи призван преподавать я, а не он, и что двух противоречивых преподавателей по одному предмету быть не может. Если вам не угодно будет это передать, то я напишу это принцу сам». — «Нет, нет, ради бога, — залепетал Алопеус. — Я завтра же доложу его высочеству». И, действительно, на следующий день он заехал ко мне сказать, что принц готов мне дать самые удовлетворительные объяснения и успокоить меня, но от слов своих отказаться не может. Я этого, впрочем, и ожидал, и для меня было ясно, что, во всяком случае, дальше оставаться в Училище невозможно, так как я не мог допустить, чтобы какой-нибудь августейший гольштинский капрал заставлял меня руководиться в моей судейской деятельности соображениями об охранении моего спокойствия и достоинства как педагога. Я вручил Алопеусу лаконическое письмо о том, что не считаю возможным продолжать чтение лекций, и по его усиленной просьбе указал на мое место Случевского, которому пришлось немало пережить тяжелого от принца Ольденбургского. Мои объяснения с Алопеусом и причина моего ухода огласились и произвели своеобразное действие на некоторых из почтенных членов совета Училища. Профессор Мартенс, которому мне пришлось отдавать в это время визит, не только не нашел возможным выразить мне какое-либо сочувствие, но в разговоре со мною всячески егизил, чтобы как-нибудь обойти возможность упоминания о моем уходе из Училища, чтобы не быть вынужденным выразить свое мнение. Еще лучше поступил Таганцев, который после дела Засулич, на выпускном обеде правоведов предложил им тост за меня как за «доблестного представителя

принца» и потребовал, чтобы я выпил с ним брудершафт, дав мне при этом авансом иудино лобзание, а также прислав мне свой учебник с надписью «многострадальному А. Ф. Кони». Он прямо стал избегать меня и при встречах лицом к лицу спешил словесно уйти в сторону, чтобы только не коснуться вопроса о моем уходе. Да и остальные мои товарищи по преподаванию оказались не лучше! Я ни от кого из них не видел ни малейшего знака сочувствия. Они как будто не понимали, что грубое психическое насилие, совершенное по отношению ко мне, грозило и им. Волна холопской приниженности и восторгов, начавшая разливаться по смерти Александра II, успела их захлестнуть. Впоследствии, в сенате, Таганцев начал говорить о принце с восторгом, называя его заочно не иначе, как «его высочество». В это время, впрочем, он был уже в полном разгаре той эволюции в сторону беззастенчивого отречения от всего, чему он служил и что преподавал до 1881 года. Один несчастливец Дорн сохранил в душе ощущение стыда и, когда я был впоследствии назначен обер-прокурором, прибежал меня поздравлять, с радостью пожимая мне руки и нервно повторяя в качестве «романиста»: «*per aspera ad astra, per aspera ad astra?*»¹

Таковыми эпизодами было богато почти все время моего пребывания председателем суда, причем, конечно, мне не раз приходилось чувствовать на себе трудность своего положения среди множества сослуживцев и подчиненных, сознававших, что я не могу им быть полезен в служебном отношении и что поэтому со мною можно иногда и не особенно стесняться. Правда, что в каждом из таких случаев последним приходилось убедиться, что звание председателя столичного суда имеет силу само по себе, даже и при опале свыше. Тем не менее теперь, через четверть века, я вспоминаю о времени, проведенном мною в суде, с теплым чувством. Общий нравственный строй суда был прекрасный.

Нередко утомленный разными крупными и мелкими неприятностями вне суда, я с любовью входил в свой официальный кабинет и смотрел на длинный зеленый стол общих собраний, чувствуя, что тут, в этой коллегии, живут и бескорыстный труд, и самостоятельное исполнение своего долга, и возвышенное понимание звания судьи. За небольшими исключениями состав суда еще оставался верен традициям первых лет судебной реформы, а общение с такими людьми, как, например, граф Гейден, укрепляло и ободряло нравственно. Работать приходилось очень много, административ-

¹ Через тернии — к звездам? (лат.)

ная и финансовая ответственность была сложная и тяжелая, но сознание, что я — кормчий судебного корабля, с достоинством несущего свой флаг, с экипажем, верным заветам судебных уставов, облегчало всю эту трудность. Живое дело кипело вокруг, и я сам служил ему всеми силами души, председательствуя по всем важнейшим уголовным делам и стараясь выработать правильную систему руководящих напутствий присяжным. Дела Гулак-Артемовской, Жюжан, восточного займа, Юханцева и других проходят предо мною вереницею дней, полных напряженного труда и святого сознания долга, оставляя в душе благодарное воспоминание.

Последнее из дел связано было с поворотом в отношенииях ко мне нового министра Набокова. Назначенный на место Палена и попавший в атмосферу, полную мстительной неприязни ко мне, он первое время, по-видимому, смотрел на меня как на рокового человека, в руках которого находятся концы электрической проволоки, которые стоит сомкнуть у Литейного моста, чтобы министр юстиции в генерал-прокурорском доме взлетел на воздух. При первом же служебном объяснении со мною у себя в кабинете он заговорил о деле Засулич, высказав, что когда прочел мое резюме, то сказал себе: «Ну, председатель суда разжевал и положил в рот присяжным оправдание Засулич» — «Вы не читали моего резюме», — сказал я ему холодно. «Нет-с, читал!» — «А я утверждаю, что не читали, — сказал я, — ибо говорить то, что вы говорите, может только человек, который вместо чтения слушает односторонние отзывы. Никто, не исключая и графа Палена, не решался до сих пор обвинять меня в том, что я изменил роли судьи для роли адвоката». — «Да, — прервал меня Набоков, — но граф Пален думает, что вы могли это сделать ради искания популярности». — «Граф Пален никогда не решился бы сказать это мне, так как он знал, что я могу не позволить делать такие на свой счет предположения или повторять их с чьих-либо слов!» Набоков, очевидно, совершенно не ожидал подобного ответа, пробормотал какое-то бессвязное извинение, и мы расстались. Все остальные, неизбежные наши встречи отличались большою взаимною холодностью и формальным тоном с обеих сторон.

Мне пришлось вести дело Юханцева о растрате двух с половиною миллионов в Обществе взаимного поземельного кредита в крайне тяжелой обстановке. Мой отец медленно и мучительно умирал от гнойного плеврита, редко приходя в себя и почти постоянно бредя. Смерти можно было ожидать со дня на день, но отсрочить слушанье дела было невозможно, потому что оно совпало с созывом экстренного со-

брания заемщиков, которому должны были быть доложены все открывшиеся на суде беспорядки в ведении дел Общества, для уяснения себе которых в суд была откомандирована от общего собрания особая комиссия. О передаче этого сложного дела кому-нибудь из товарищей председателя по разным причинам не могло быть и речи. Дело длилось несколько дней. В перерывы заседания и на ночь я приезжал к умирающему отцу и обдумывал свое заключительное слово под его постоянный бред и мирное похрапывание сестры милосердия. Это слово должно было иметь большое и, быть может, решающее значение в деле, так как подсудимый и защита очень искусно извратили уголовную перспективу дела, разрабатывая тезис: «Не клади плохо, вора в грех не вводи», причем самый вор оказывался таковым лишь потому, что давал пиры второстепенным великим князьям и получал от страстно любимой жены отказы в желаемом физическом удовлетворении. Ко времени произнесения заключительного слова в суд приехал Набоков. По дороге в зал заседания я был остановлен судебным приставом, который подал мне записку, экстренно присланную из квартиры отца. В ней стояло: «Федор Алексеевич кончается. Сестра милосердия Скорлыгина». Для меня не могло быть колебаний. Дело, шедшее несколько дней, потребовавшее напряжения сил присяжных, суда и всех участников, подходило к концу. Отсрочка заключительного слова была нравственно невозможна. Но я остановился на минуту, чтобы овладеть собою, и, вероятно, изменился в лице, потому что Набоков с вежливой тревогой спросил меня, что со мною. Я молча подал ему записку и открыл заседание. Когда я кончил двухчасовое заключение, поставив в нем все на свое место, и отпустил присяжных совещаться, Набоков был неузнаваем. Он крепко сжал мою руку и сказал мне, что, слышав в свое время резюме лучших председателей за границей, он не предполагал, что можно дойти до такого совершенства, которое я проявил, по его мнению, несмотря на тяжкие мысли, которые должны были меня осаждать, и что он считает своим долгом высказать мне свою радость, что имел случай лично меня узнать. И действительно, с этих пор понемногу лед между нами растаял, хотя и были случаи довольно неприятных разговоров.

Вспоминаю один, довольно характерный. В Харькове жило семейство моих старых друзей Хариных. Второй сын А. Г. Хариной — Николай, студент второго курса, взял по просьбе товарища, которому угрожал обыск, на сохранение запрещенные брошюры и прокламации. Но обыск был про-

изведен и у него; он был заключен в тюрьму, и о нем начато дело в порядке политических дознаний. И хотя по личным его свойствам его участие в антиправительственном движении было совершенно поверхностное и напускное, он провел в тюрьме полгода и по заключению графа Лорис-Меликова был выслан в Вятку под надзор полиции. Я знал, как была убита всем этим его мать и до чего она боялась за нравственную судьбу своего юного, никогда не жившего одиноко сына в провинциальной глуши. Зная, что в харьковском обществе произошел обычный у нас отлив симпатий к ней, я утешал ее, как мог, и написал о ее сыне представителю вятского суда Ренненкампфу и товарищу председателя Лескову, прося их принять участие в Николае Харине, не дать ему впасть в отчаяние или погрязнуть в тоске одиночества среди провинциальной тины. Оба они исполнили мою просьбу и с широким гостеприимством и теплым вниманием ввели молодого человека в свои семьи. В это время я получил приглашение от Набокова, который встретил меня с озабоченным и суровым видом, который вовсе не шел к его добрым глазкам на довольно комическом лице. «Я должен иметь с вами,— сказал он мне,— неприятное объяснение. Вы знаете Николая Харина? Что вы писали о нем чинам судебного ведомства в Вятке?» Поняв, в чем дело, я сказал: «Да ведь вы, вероятно, читали эти письма или вам подробно передано их содержание теми, кто полюбобытствовал с ними познакомиться?» — «Ну, да! — сказал он. — Я содержание писем знаю! Но скажите, разве это возможно?! Председатель петербургского окружного суда является заступником за важного политического преступника и противодействует видам правительства?! Еще будь он сослан по распоряжению графа Тотлебена (в Одессе), который делает черт знает что, я бы это понял. Но ведь это — граф Лорис-Меликов?!» (А граф Лорис-Меликов был уже в это время диктатором в Петербурге.) — «Мне кажется, что моя переписка, раз она не содержит в себе признаков какого-либо с моей стороны преступления, не имеет отношения к моей службе», — сказал я. «Нет-с, имеет! — перебил меня многозначительно Набоков. — Ибо государь император изволил выразить по этому случаю крайнее против вас неудовольствие». — «Николай Харин принадлежит к семейству моих старых друзей и, конечно, не важный преступник, ибо граф Лорис-Меликов, имевший право и возможность его повесить, ограничился высылкой его в губернский город, и я сомневаюсь, чтобы в виды правительства входило поставление увлечшихся молодых людей в такое положение, в котором они мо-

гут спиться с кругу от тоски и отчаяния. А если бы это входило в их виды, то, не скрою от вас, я бы всегда и всюду старался противодействовать такому результату. Дружеские отношения налагают известные обязанности, и, прося Ренненкампа и Лескова не дать погибнуть молодому человеку, я исполнял их, как буду и впредь делать в подобных случаях. Я глубоко чту и сердечно люблю государя за все, что он сделал для России, и за многие сладкие минуты, пережитые моим поколением, и мне крайне тяжело думать, что я дал повод к его неудовольствию, но справедливым это неудовольствие признать не могу. Скажу больше, — прибавил я, смеясь, — вот государь недоволен мною за мои письма, а я так недоволен на него за то, что он читает чужие письма». Набоков не мог удержать улыбки, напускная серьезность сошла с его лица, и, сказав мне: «А все-таки надо быть осторожнее», — он перешел к разговору о делах суда.

Харин пробыл в Вятке год, затем перешел с разрешения Лорис-Меликова в Дерптский университет, где и окончил курс и был оставлен при университете по кафедре минералогии. Но его увлекли личные хозяйственные дела, и вскоре, несмотря на все усилия, самый проникательный наблюдатель не открыл бы в нем никаких следов опасного для государства человека, а, пожалуй, усмотрел бы, быть может, и нечто обратное. Интересно то, что через несколько лет Набоков, вспомнив о нем и узнав от меня о его дальнейшей карьере, сказал мне с трогательною наивностью: «Ну вот видите, как хорошо мы с вами сделали, что его тогда поберегли».

Натянутым нервам, как и натянутой струне, есть предел, и через четыре года после моего назначения председателем окружного суда я принял предложение Набокова занять место председателя гражданского департамента петербургской судебной палаты. Я нуждался в душевном отдыхе и перемене рода занятий. Роль гражданского судьи подействовала на меня успокоительно. Я снова узрел альпийские вершины римского права, вспомнил лекции незабвенного Никиты Крылова и горячо принялся за работу, отдавая ей в первое время по четырнадцать часов в день. Через полгода я вполне почувствовал себя «в седле» и со спокойной уверенностью стал приступать к решению таких больших и сложных дел, как дело «Главного общества железных дорог» со своими учредителями о процентном вознаграждении из чистого дохода, дело «Общества петербургских водопроводов с Думою» и т. п.

Но годы шли... Однообразие практики начинало меня утомлять; добрые старики, с которыми я сидел, добросовестно застывшие в рутине и болезненно самолюбивые, действовали на меня нередко удручающим образом, а в груди оживало и билось в стенки своего гроба заживо похороненное живое слово. Потянулись серые дни однообразной деятельности, грозящей принять ремесленный характер. При таком моем настроении в конце 1884 года ко мне зашел мой товарищ по университету и старый сослуживец по Москве, блиставший остроумием и разнородными знаниями присяжный поверенный А. Я. Пассовер, и стал меня уговаривать выйти в адвокатуру, указывая на то, что министерство, отняв у меня живое слово и поставив меня в «стойло», обрекло мои способности на преждевременное увядание. Указывая на то, что я достаточно своим примером и личностью послужил принципу несменяемости, он утверждал, что дальнейшее пребывание на службе, где меня не ценят и стараются всеми мерами затереть, является донкихотством и сознательным лишением судебного дела моих живых и действительных услуг по разработке процессуальных и правовых вопросов. Не желая возражать по существу против деятельности адвоката в том виде, как она выработалась у нас, я, чтобы отделаться от Пассовера, сказал ему, что выход в адвокатуру без какого-либо готового большого дела представляется рискованным, и уперся на том, несмотря на его возражения. Через неделю Пассовер явился снова, как демон-искуситель, и предложил мне прямо защиту вместе с ним купца Вальяно, обвинявшегося в подкупе чиновников для подлога отвесного листка таганрогской таможни, к которому казною был предъявлен иск в полтора миллиона рублей золотом, объясняя при этом, что дело совершенно чистое и строго юридическое, так как Государственный совет уже решил, что лиходатели не могут считаться участниками подлога, совершаемого лихоимцами, а сами по себе за лихоительство не отвечают. При этом на мое заявление о том, что должность несменяемого судьи дает мне хотя и скромное, но верное ежегодное обеспечение в пять тысяч, он сказал мне, что то же предложит мне и Вальяно. «Но ведь это одновременно, а тут я обеспечен ежегодно», — сказал я, продолжая избегать указывать адвокату на несимпатичные мне стороны адвокатуры как служения частному интересу. Пассовер сделал удивленные глаза, потом засмеялся и сказал мне с расстановкой: «В день подписания условия о принятии на себя защиты я уполномочен вручить вам чек на сто тысяч. Это и есть ваши пять тысяч ежегодно!» — «Оста-

вим этот разговор», — сказал я, мысленно обращаясь к нему со словами: «Отойди от меня, сатана». Но он ответил, что не принимает моего отказа и зайдет через неделю снова. Эта неделя прошла у меня не без внутренней борьбы. Мысль снова получить в свое распоряжение тоскующее и вопиющее по простору слово, получить обеспеченное положение и «наплевать» на правительство, так недобросовестно и упорно меня угнетавшее, заставив его, быть может, не раз пожалеть об утрате когда-то служивших ему дарований, была очень соблазнительна, но старая привычка служить государству и любовь к судебному ведомству взяли верх, и соблазны вскоре улетучились. Я сказал себе словами поэта: «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». «Большой корабль» был суд, которому я отдал свои лучшие силы и годы, и мне было поздно отвязывать свой челнок. Когда Пассовер пришел вновь и стал настаивать на истинных причинах моего отказа, я вынужден был объяснить, что для защиты по несложному делу, где нет необходимости разбирать и опровергать улики, вполне достаточно одного защитника и мой «дар слова» не может даже найти себе применения. «Я понимаю, что для Вальяно, имеющего огромные торговые связи в Англии, важно получить возможность сказать, что обвинение против него было настолько неосновательно и даже возмутительно, что председатель столичного апелляционного суда решился сложить с себя это высокое звание, чтобы пойти его защищать. Таким образом, нужны не мои умение и знание, а мое имя. Но им я не торгую!..» И мы расстались. А через год мне, уже в должности обер-прокурора, пришлось давать кассационное заключение по этому же самому делу и настаивать на утверждении обвинительного приговора о том же самом Вальяно.

Дело Засулич, конечно, было большим козырем в руках официальных и литературных реакционеров, и его стали пристегивать почти к каждому политическому убийству или покушению на него. Как только совершалось подобное печальное событие, Катков и его подражатели начинали говорить о приговоре по делу Засулич как о пагубном примере, подстрекающем политических убийц и внушающем им идею об их безнаказанности. При этом, конечно, перед читателями и слушателями умалчивалось о том, что при суде коронном, который был призван вести дела против порядка управления, никакой мысли о безнаказанности быть не могло и что сравнивать покушение на жизнь грубого истязателя, при отправлении должности, с посягательством на жизнь

главы государства по меньшей мере натянуто. Процесс Засулич содержал в себе одно драгоценное для политика указание — указание на глубокое общественное недовольство правительством и равнодушие к его судьбам. Но именно на эту-то сторону — то близоруко, то умышленно — не обращалось никакого внимания. Нечего и говорить, что мое имя при этом повторялось постоянно со всевозможными комбинациями — «Carthaginem esse delendam!»¹. Особенной недобросовестностью в этом отношении отличался Катков, дохотивший до того, что обвинял меня, между прочим, в предупредительной любезности к преступникам за то, что я, в силу закона и основного принципа уголовного процесса о молчании подсудимого, объяснял последнему, что он имеет право не отвечать на предлагаемые ему вопросы о виновности и что это не может быть поставлено ему в вину... «Как будто господину Кони неизвестно, — восклицал с пафосом Катков, — что никто из русских подданных не имеет права отговариваться незнанием закона и что поэтому напоминание подсудимому о таком его праве есть неуместная либеральная выходка».

До какой недобросовестности доходило отношение ко мне, доказывается эпизодом, связанным с делом Лансберга. Перед заседанием по делу этого изящного гвардейского сапера, танцевавшего на светских балах с разными принцессами, принятого в лучших домах Петербурга и зарезавшего ростовщика Власова и его кухарку для похищения своих векселей, защитник его Войцеховский умолял суд вызвать туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана в качестве свидетеля о личности подсудимого. Я обусловил удовлетворение его ходатайства по 576-й статье Устава уголовного судопроизводства согласием Кауфмана явиться лично в суд, а не требовать нелепой церемонии допроса себя на дому. Кауфман выразил согласие и лишь просил точно определить час, когда ему надлежит явиться в суд, так как в этот день он должен был обедать у государя в Царском Селе. В день заседания с утра все помещение суда и даже двор были до такой степени заполнены любопытной публикой, запрудившей все проходы, что пришлось потребовать усиленный наряд полиции для того, чтобы восстановить свободное движение в проходах. Места за судьями тоже были переполнены. Почти в самый момент выхода суда ко мне в кабинет ворвался, несмотря на протесты курьера и сторожей, пожилой полковник и стал требовать пропуска его в места

¹ Карфаген должен быть разрушен! (лат.)

за судьями в качестве друга генерала Кауфмана. Указав ему на отсутствие свободных мест, я обратил его внимание на то, что ведь по чину своему, согласно наказу суда, он не имеет права претендовать на места, назначенные для высших сановников. Но он продолжал запальчиво настаивать, мешая мне идти в заседание. Чтобы отделаться от него и не утрачивать необходимого спокойствия, я поручил судебному приставу провести его в места стенографов и там устроить.

«Очень хорошо-с! — сказал он мне, иронически раскланиваясь. — Благодарю вас, я не забуду вашей любезности...» — и злобная усмешка кривила его бледное лицо. Это был знаменитый полковник Богданович, староста Исаакиевского собора и издатель елейно-холопских брошюр, которыми впоследствии, вымогая себе субсидии от правительства, он усердно и широко отравлял самосознание русского народа.

Кауфман был встречен в назначенное им время товарищем председателя Цухановым и проведен в мой кабинет. Получив известие о его прибытии и оберегая суд от всякого, хотя бы и неосновательного, повода к нареканиям на него, я сделал перерыв в показании допрашиваемого свидетеля и пригласил Кауфмана в залу заседаний. Он держал себя скромно и с достоинством, почтительно отвечая на вопросы суда, и, очевидно, не хотел, хотя и мог бы, говорить дурно о подсудимом. Между нами произошел обязательный для председателя диалог, причем я, предлагая неизбежные вопросы, всячески старался не оскорбить самолюбия старого и заслуженного воина, привыкшего на дальней восточной окраине к особенному почету. «Вы — туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант Константин Петрович фон Кауфман?» — «Да». — «Какого вы вероисповедания? Если лютеранского, то я должен привести вас к присяге сам, за отсутствием пастора». — «Я — православный». — «Высокое положение, вами занимаемое, избавляет меня от необходимости предупреждать вас о святости присяги. Знаете ли вы подсудимого и что можете показать по настоящему делу?» По окончании допроса я предложил Кауфману сесть в места за судьями, но он отказался, ссылаясь на необходимость ехать по делам. На другой день я нашел у себя его карточку и, застав его на следующий день дома, выслушал от него выражение признательности за любезное к нему отношение и за то внимание, каким он был окружен в суде. При этом он просил меня высказать ему свое мнение по разным вопросам, связанные с введением нового суда в Туркестанском крае. Уехав вслед за тем за границу, я получил уже в

Шварцвальде номер «Московских ведомостей», где была громовая статья Каткова о том, как г-н Кони дерзким обращением с заслуженным слугою престола и отечества доказывает, что у него две чаши весов и что достаточно быть генерал-адъютантом русского императора, чтобы не испытать на себе той утонченной вежливости, на которую так расточителен председатель окружного суда по отношению к преступникам по политическим мотивам. При этом была сделана ссылка на корреспонденцию из Петербурга, помещенную в том же номере, а в ней неизвестный корреспондент, пылая негодованием, передавал допрос Кауфмана в следующем виде: «Свидетель Кауфман, кто вы такой?» — «Генерал-адъютант, туркестанский генерал-губернатор». Председатель, откинувшись на спинку кресел: «А... а... какого вы вероисповедания (язвительно), конечно, лютеранского? Были ли вы под судом и следствием?» — «Нет». — «Помните, что вы примете присягу, и если вздумаете говорить неправду, то можете подвергнуться лишению прав и ссылке в Сибирь! Ну-с, что скажете?» Оказалось, что автором корреспонденции, написанной в духе и во вкусе Каткова, был г-н Богданович. Так оплатил он мне за свое удобное место среди стенографов.

Излишне говорить, как действовала вся эта многолетняя травля на мое душевное спокойствие при необходимости притом постоянно соблюдать внешнее равновесие и невозмутимость духа при бесконечных и самых разнообразных сношениях со множеством людей, на которые обречен председатель столичного окружного суда. Каждое политическое преступление вновь растравляло мои внутренние раны и влекло за собой новое оживление намеков, инсинуаций и клевет, новое торжество невежественного злорадства и новое проявление трусости со стороны тех, кто знал, однако, в чем правда по делу Засулич.

Тем не менее, я видел постепенное нарастание справедливости в оценке моей деятельности со стороны Набокова. В половине февраля 1881 года он пригласил меня к себе и заявил, что рад предложить мне участие в качестве члена комиссии по составлению нового уголовного уложения. Я принял с благодарностью это предложение, как открывавшее мне поле чрезвычайно интересной и важной законодательной работы, в которую я мог внести ввиду моей долгой практики свою несомненную долю пользы. Он объявил с видимым удовольствием старику Арцимовичу, что мое участие в комиссии — вопрос решенный.

Но настало зловещее 1 марта, и в опубликованном через

две недели высочайшем указе о членах комиссии моего имени не было. Я оказался замененным бесцветным чиновником Розиным и как утешение получил приглашение состоять в комиссии... по разбору старых сенатских дел. Но... все к лучшему в лучшем из миров, как говорит мудрый руководитель Кандида, и в настоящее время я доволен, что мне пришлось быть участником скудной по содержанию работы, которая заменила ясный и образный язык старого уложения пустотелым канцелярским кирпичом, построив из него здание, не могущее удовлетворить ни правому народному чувству, ни тем идеалам, к которым должен стремиться законодатель как нравственный учитель народа. Две главных области русского уголовного закона, возмущающие чувства справедливости и веротерпимости, остались неприкосновенными. Свобода совести русского человека по-прежнему опутана кандалами, и по-прежнему смертная казнь раскинула свое окровавленное крыло над всеми, даже и некровавыми, попытками негодующей души добиться лучшей участи для своей несчастной родины... И все это изложено непонятным для народа, вялым и вязким языком, как будто взятым напрокат у бездарного переводчика с немецкого. И все это сопровождается лицемерными объяснениями, вроде тех, в которых господ Фриш, Таганцев и Фойницкий, объяснив на десяти страницах безнравственность, нецелесообразность и непоправимость смертной казни за политические преступления, внезапно заключают о необходимости оставить ее в нашем кодексе, предоставив мудрости Государственного совета разделить их взгляды и исключить ее из уложения, вместо того чтобы прямодушно отказаться от ее омерзительного влияния и предоставить сомнительной мудрости и холопскому бесстыдству Государственного совета ее ввести. Правда, что при таком «поступке» с их стороны им, вероятно, не пришлось бы получить по рассмотрении проекта в Государственном совете «свои «сребреники» в размере пятидесяти тысяч Фришу, тридцати тысяч Таганцеву и пятнадцати тысяч каждому из остальных членов. И в этом отношении дело Засулич по неисповедимой благодати господней оказало мне добрую услугу. Последним прямым отголоском дела Засулич для меня было предложение мне в 1894 году начальником Военно-юридической академии кафедры уголовного судопроизводства, причем он несколько поторопился, так как в конференции возникли голоса против меня как лица, скомпрометированного политически делом Засулич. По словам П. Р. Боровского, главным оппонентом в этом смысле был профессор Гольмстен. И это в то время, как я уже был сена-

тором, исполняющим обязанности обер-прокурора в течение восьми лет. Вся история завершилась заявлением военного министра Ванновского начальнику академии о том, что он удивляется, как конференция могла подумать, что он когда-либо утвердит профессором человека, который был председателем по делу Засулич. Но вообще, заключая через 26 лет мои воспоминания об этом деле и его последствиях лично для меня, я без малейшего чувства горечи и с благодарностью судьбе оглядываю прошлое...

Не будь этого дела, я, вероятно, уже давно занял бы выдающийся министерский пост. Все складывалось в этом смысле и направлении, и граф Пален совершенно серьезно предсказывал мне, что я буду сидеть в его кабинете как один из ближайших его преемников. Весьма возможно, что при благоприятно сложившихся обстоятельствах это и случилось бы. Обязанности министра юстиции, понимаемого как исполнителя личной воли монарха, могли бы заставить меня подчинить голос сердца коварному и лживому голосу так называемого *raison d'Etat*¹ и принимать участие в обсуждении и применении и мер, направленных к подавлению законных потребностей общества, выросшего из пеленок, в которых его держало своекорыстное самовластие. Это не могло бы, конечно, продолжаться долго, и возмущенная совесть заставила бы меня «сломать себе шею» не менее прочно, чем по делу Засулич, унеся в душе неизгладимые раны и воспоминания, заставляющие краснеть...

Я не был способен на то «отречение Петра», которому предали после 1881 года многие люди, казавшиеся порядочными, с цинизмом растоптавшие ногами ради звезд, чинов и власти все то, чему они еще так недавно проповедовали «поклонение, как святыне».

Я не умел бы стать «способным чиновником» и, вероятно, в то же время был бы вынужден исказить в себе черты общественного деятеля на правовом поприще. Гонения по делу Засулич дали мне возможность познать немногих истинных друзей и среди пустыни человеческой низости и предательства испытать минуты сладкого отдыха в редких, но дорогих оазисах сочувствия и понимания.

Смирив свои личные желания и ясно увидев тщету честолюбивых мечтаний, я не дал овладеть собою унынию и не утратил веры в лучшие свойства человеческой природы. То, что наступило после 1881 года, показало, что и польза, которую, быть может, попробовал я принести на широком

¹ государственная польза (фр.)

государственном поприще, была бы хрупкою и непродолжительною. Там, где дело целого царствования, обновившего Россию, можно было, при содействии и сочувствии большинства, обратить бы вспять, там полезная деятельность одного человека, не согласованная с общими властными вождениями, легко могла бы быть вырвана с корнем. Такие же соображения вынудили меня гораздо позже, в 1906 году, отказаться от предложенного мне портфеля министра юстиции.

Судьба послала мне остаться верным слугою тех начал, на службу которым я вступил с университетской скамьи, а дружеское уважение таких людей, как Кавелин и Градовский, Арцимович, граф Милютин, Чичерин и граф Л. Н. Толстой, с избытком искупило мне растлевающее расположение «сфер» августейших «особ» и предательский привет «палаты и воинства» их.

*Лето 1904—1906 гг.
Сестрорецкий курорт*

〈АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ФРАГМЕНТ〉

Октябрьская революция застала меня в звании первоприсутствующего в общем собрании кассационных департаментов сената и в должности члена Медицинского совета, т. е. высшего врачебного учреждения в России. Когда эти учреждения были упразднены, пришлось искать применения своих душевных сил, знаний и опыта долгой жизни. Поэтому я с особой готовностью откликнулся на предложение Первого и Второго Петербургских университетов занять в них кафедру учения об уголовном суде, а также Института живого слова о чтении в нем курса ораторского искусства с участием и в практических занятиях по последнему.

Пятьдесят шесть лет назад я был оставлен при Московском университете для приготовления к занятию кафедры уголовного права, вследствие одобренного советом юридического факультета и напечатанного затем в «Университетских известиях» моего кандидатского сочинения «О праве необходимой обороны». Это соответствовало моим лучшим упованиям, тем более что судебная реформа существовала еще лишь «im Werden»¹. 1866 год разбил эти надежды, так как предложенная посылка оставленных при университете

¹ в будущем, в процессе становления, в теории (нем.).

за границу для дальнейшей подготовки была отсрочена на неопределенное время вследствие перемены в министерстве народного просвещения, когда место Головнина занял мрачной памяти граф Дмитрий Толстой, а руководивший за границей занятиями молодежи незабвенный Н. И. Пирогов был отозван. Принять предложение ректора Московского университета, профессора уголовного права Баршева немедленно приступить к чтению лекций по общей части уголовного права, несмотря на всю заманчивость этого предложения, я не считал себя нравственно вправе, ибо не был достаточно подготовлен к изложению самостоятельного курса, а «jugare in verba magistri»¹ не хотел. Ожидать времени, когда могли бы возобновиться командировки, пребывая в «немом бездействии печали», мне было невозможно, тем более что я мог ожидать в будущем новых затруднений, так как министром внутренних дел Валуевым был возбужден вопрос о преследовании автора «Необходимой обороны» по новому закону о печати, кончившийся тем, что совету университета было объявлено замечание министра народного просвещения за напечатание труда, содержащего зловредные мысли о праве обороны против незаконного насилия власти и ее агентов.

Пришлось поступить на службу сначала в незадолго пред тем преобразованный государственный контроль, где — к слову сказать — нашли себе работу многие из тогдашних литераторов, — и затем в только что открытые судебные установления и иметь счастье участвовать во введении Судебной реформы в Петербургском, Московском, Харьковском и Казанском судебных округах. По пути подчас очень трудного служения делу правосудия, по крайнему своему разумению, мне пришлось два раза быть преподавателем судопроизводства в Училище правоведения и в Александровском лицее. Но многие условия и обстановка этих учреждений не давали мне забыть несбывшуюся мечту о кафедре в университете перед свободными слушателями из широкого моря житейского. Эта мечта меня не обманула.

Несмотря на многие условия переживаемого времени, сводящие у многих всю мысль к «хлебу насущному» в буквальном смысле слова, я встретил в учащейся молодежи обоего пола несомненную жажду знания и интерес к нему, причем не раз пришлось испытывать отрадное чувство духовной связи лектора со слушателями. Во Втором универ-

¹ Букв. «клясться словами учителя» (*лат.*), т. е. пользоваться чужими знаниями либо сведениями.

ситете я читал с осени 1918-го по 1920 год, а затем этот университет был упразднен. В коренном Петербургском университете я читаю до последнего времени, причем с прошлого года мне пришлось заменить и безвременно скончавшегося профессора Розина. Несмотря на отрадное чувство, выносимое мною из аудитории, в 1919 году я был поставлен в невозможность продолжать в ней мои чтения, так как застарелый перелом ноги при падении из поезда Сестрорецкой железной дороги вызывает у меня все более увеличивающуюся тяжелую хромоту, которая препятствует мне безболезненно и свободно ходить пешком и вынуждает даже на короткие расстояния и для подъема на лестнице запастись двумя костыльками. Отсутствие извозчиков и полная невозможность по моему физическому состоянию втискиваться, висеть и выпихиваться при пользовании трамваем заставили меня с грустью прийти к мысли покинуть мою аудиторию на далеком от меня Васильевском Острове, о чем я объявил в 1919 году моим слушателям. Однако совершенно неожиданно я получил уведомление, что, по распоряжению Комиссариата просвещения, с целью облегчения моих поездок на отдаленные расстояния для чтения лекций, мне будет присылаться по моему предварительному заявлению лошадь. Оказалось, что мои слушатели обратились в Комиссариат с письменною, а затем и словесною просьбою о доставлении им возможности меня слушать посредством мне средств передвижения. Трогательная необычность этого шага и, быть может, мое ошибочное мнение о приносимой моими чтениями некоторой пользе побудили меня изменить мое намерение покинуть университет, тем более что пользование таким средством передвижения не было связываемо ни с какими ожидаемыми от меня обязательствами.

В Институте живого слова я читаю с 1918 года теорию ораторского искусства и историю этого искусства в России, имея, в особенности в последний год, многочисленную аудиторию, из среды которой некоторые слушательницы проявляли особую даровитость в искусстве владения живую речью и ее постройкою. В этом же институте в течение 1919 и 1920 годов я читал курс «этики общежития», повторив его затем в Доме просвещения при Мурманской железной дороге и в сокращенном виде в Институте кооператоров.

Общие начала этики преподаются большею частью в виде отрывков из истории философии и не особенно удерживаются в памяти, а между тем неотложный труд и тревоги практической жизни требуют немедленного ответа на возбуждае-

мые ею вопросы, ожидающие фактического разрешения в различных областях деятельности. Поэтому я наметил и разработал особый курс под общим названием «этики общежития». Он состоит из краткого обзора нравственных учений выдающихся мыслителей и из посильного разрешения вопросов, возникающих в областях: судебной (учение о поведении судебного деятеля), врачебной (врачебная тайна, явка к больному, откровенность с ним, гипноз, вивисекция и т. д.), экономической (различные источники дохода), политической (свобода совести, веротерпимость, права отдельных народностей и их языка и т. д.); в области общественного порядка (развлечения и жестокие зрелища); литературы, искусства и театра; в областях воспитания и личного поведения.

Одновременно с этим я читал лекции преимущественно по истории русской литературы и по истории русского суда по приглашению разных просветительных учреждений и в просветительных отделах Виндаво-Рыбинской ж. д., библиотеки имени Григоровича и в доме имени Герцена, сопровождая эти чтения моими личными воспоминаниями о Толстом, Некрасове, Достоевском, Гончарове, Писемском, Апухтине, Соловьеве, Кавелине и Тургеневе. В школе русской драмы пришлось прочесть несколько лекций по истории русского театра в XIX веке и о выдающихся артистах второй его половины; а в Музее театров на выставке в память Мартынова передать личные воспоминания о великом артисте; предполагаю прочесть об И. Ф. Горбунове, скончавшемся 25 лет назад, когда осенью настоящего года будет открыта выставка в его память. Рядом с этим я участвовал в устроенных Домом литераторов чтениях в память Пушкина и скончавшегося недавно Венгерова и прочел ряд ежемесячных публичных лекций до июля настоящего года в Доме литераторов и его отделении в Физическом институте Петербургского университета и в Доме искусства, между прочим, «о психологии памяти и внимания»; «о самоубийстве» («Житейские драмы» и «Гамлетовский вопрос»); «о порче русского языка»; «об отношении Толстого к суду»; «о Мертвом доме и Сахалине» и «о русских ораторах». Наконец, на Педагогических курсах в Аничковом дворце я читал в 1919 и 1921 годах лекции «о старом Петербурге» и связанных с последним исторических и биографических воспоминаниях. Могу еще упомянуть об отдельных чтениях по литературе — в Доме ученых и в Невском народном университете, обслуживающем интересы пригородного населения, которые, к большому моему сожалению, мне не при

шлось продолжать за чрезмерною дальностью расстояния, а также о ряде чтений в Тенишевском зале и др.

Из письменных работ мною написаны некрологи Гиршмана, Давыдова, Молчанова, Полонской, Евгения Трубецкого и др.; предисловие к изданию «Тургенев и Савина»; статьи для двух педагогических журналов; отрывок из моих мемуаров о «Петре IV» (графе П. А. Шувалове) в «Голосе минувшего» и о законе 19 мая 1871 года в журнале «Дела и дни».

Для будущего издания III и IV томов моей книги «На жизненном пути», если ему суждено состояться при моей жизни, я приготовил в окончательном виде материалы — значительно дополнил отдельное издание биографии Ф. П. Гааза и оканчиваю обработку моих воспоминаний о деле Засулич и об исследовании крушения царского поезда в 1888 году в Борках.

Должен сказать, что, ввиду моего возраста (около 78 лет) и нередких сердечных припадков, упомянутая выше работа вызывает у меня сильное утомление, но как результат вынесенных из долгой жизни «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» доставляет мне нравственное удовлетворение и наполняет содержанием мою личную жизнь, давая возможность переносить некоторые ее грустные стороны.

В заключение, подражая английскому юмористу, к сожалению, вынужден прибавить, что известия некоторых зарубежных и русских газет о моей смерти лишены достоверности, а сопровождающие их, как мне говорили, некрологи несколько преждевременны.

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ ОБ А. Ф. КОНИ

А. П. АНДРЕЕВА

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА КОНИ

Мне посчастливилось не только видеть Анатолия Федоровича Кони и на протяжении трех лет слушать его лекции, но и быть принятой им и лично с ним беседовать.

После Великой Октябрьской социалистической революции двери высших учебных заведений широко раскрылись для детей рабочих и крестьян, и в вузы устремилась, может быть, недостаточно подготовленная, но жаждущая знаний молодежь. Среди студентов правового отделения факультета общественных наук Петроградского университета в 1921 г. оказалась и я. [...]

Студенчество ревностно следило за тем, где и когда предполагается лекция Анатолия Федоровича, стараясь не пропустить ни одной из них. 1921 год. Голодный и холодный Петроград. Большинство зданий, в том числе и учебные заведения, совершенно не отапливались. Преподаватели и слушатели в аудиториях не раздевались. В этом году мне довелось слушать А. Ф. Кони в Кооперативном институте и в Институте живого слова. В Институте живого слова он читал лекции по ораторскому искусству, судебному красноречию, об отправлении правосудия. Анатолий Федорович на занятиях воссоздал суд присяжных, как он должен был существовать по замыслу Судебной реформы 1864 г. Чтобы слушатели поняли всё надлежащим образом, в целях наиболее ясного представления о роли участников процесса часто устраивались настоящие «судебные процессы». Анатолий Федорович вспоминал какое-нибудь дело из своей практики и предлагал провести его разбирательство. Из числа студентов избирались председательствующий, прокурор, адвокат, подсудимые, гражданские истцы и присяжные заседатели. Остальные были публикой. Сначала проводился

«процесс», а затем следовал нелицеприятный разбор услышанного. Анатолий Федорович терпеть не мог ложного пафоса, манерности. От председательствующего он требовал соблюдения принципа «судья — слуга, а не лакей правосудия», он не имеет права решать вопросы, исходя из принципа «я так хочу», а должен руководствоваться положением «я не могу иначе», ибо такое решение подсказывает смысл закона. От прокурора и адвоката требовались строгая логичность, глубокая аргументация, тонкий психологический анализ, необходим был объективный и обстоятельный разбор доказательств. А. Ф. Кони учил умелому использованию богатств русского языка и не терпел вульгаризмов.

Трудно переоценить воздействие на слушателей подобной формы обмена опытом. Часто после инсценированных «процессов» зачитывались выдержки из речей самого Анатолия Федоровича, а также других юристов, с которыми ему приходилось встречаться. Допуская инсценировки суда в Институте живого слова, Кони не одобрял в то же время театрализованных постановок отправления правосудия. 4 февраля 1922 г. такая постановка состоялась в Большом оперном театре, где был назначен суд над Катюшей Масловой, Нехлюдовым, Бочковой и Картинкиным. На роль председателя приглашался Анатолий Федорович, ему предлагался большой гонорар. Однако он отказался, не допуская и мысли о том, чтобы суд превращался в театрализованное зрелище.

В роли прокурора выступал юрист Струве, Маслову защищал адвокат Пушкин, роли подсудимых исполняли артисты академических театров. Судьи были из публики, присяжные заседатели избирались по жребию. Речи сторон сопровождалась аплодисментами. Публика восприняла инсценировку не как суд общественной совести, а как возможность послушать ораторов и посмотреть игру актеров. Анатолий Федорович на очередном занятии даже не спрашивал своих слушателей о впечатлениях от этой постановки.

К сожалению, не многие из начинающих юристов присутствовали на лекциях и «процессах» в Институте живого слова. Зато на них можно увидеть глубоких, убеленных сединами старцев, таких как Василий Иванович Немирович-Данченко (его всегда сопровождала дочь) и других представителей литературных кругов, для которых было большим удовольствием послушать Анатолия Федоровича.

В Кооперативном институте чаще всего мы слушали лекции: «Встречи на жизненном пути», «Этика общежития», «Великое наследие Пушкина», беседы о бережном отноше-

нии к достоинству человека, беззаветном служении своему народу.

Мы узнавали о писателях, которых волновали проблемы правосудия, вины, ответственности, психологии преступников, которые считали своим долгом дать собственную оценку принципу состязательности сторон и высказать нравственное отношение к наблюдаемому. Особенно интересно было слушать о Толстом, Достоевском, Короленко и Чехове, которые затрагивали вопросы, близкие юристу. Образы писателей Григоровича, Писемского, А. Н. Островского, Горбунова, Некрасова, Апухтина, Тургенева, Гончарова вставали перед нами как живые.

Тяжело было наблюдать за старым маленьким человеком, который на костыликах передвигался по улице, часто останавливаясь для отдыха. Добравшись до места, Анатолий Федорович опускался на стул, вытирал вспотевшее, усталое лицо, ставил костылики рядом, удобней усаживался и постепенно преображался. Лицо обретало спокойное выражение, глаза становились озорно-молодыми, очень слабый вначале старческий голос постепенно становился уверенным, и мы забывали, что перед нами старик. Аудитория всегда бывала переполненной. Иногда не хватало места на скамейках или на стульях, и слушатели располагались прямо на полу, стараясь занять место поближе к Анатолию Федоровичу. Глядя на него и слушая его образную речь, часто перемежающуюся шутками, острым словом, изображением рассказываемого в лицах (он был прекрасным лицедеем), мы готовы были слушать оратора до бесконечности.

На какие только запросы не откликался Кони! Каких проблем он не затрагивал! Вспоминая о своих встречах на жизненном пути, он подчеркивал, что такой жадной к знаниям аудитории раньше не встречал.

С его лекций мы уходили в приподнятом настроении, взволнованными и счастливыми от сознания, что не в пример большинству наших профессоров-наставников, которые ограничивались академическим преподнесением существовавших в то время теорий, Анатолий Федорович Кони делился с нами сокровищами своих разносторонних знаний и с готовностью отвечал на любые вопросы.

Необходимо учесть, что юридический факультет в начале двадцатых годов не был в моде. Царские законы, суд присяжных — сданы в архив. Новых кодексов (за исключением трудового и о браке и семье) не было. Профессура в подавляющем своем большинстве если не враждебно, то выжидательно относилась к Советской власти. Многие смот-

рели на юристов как на классовый пережиток, а некоторые высказывались даже о вредности и ненужности юридических факультетов. Среди интеллигенции наблюдался идейный разброд. Отсутствие стойкого самостоятельного мировоззрения в 19 лет приводило к мучительным сомнениям и исканиям в выборе своего будущего.

С кем поговорить? Кому открыть душу и получить наставление и совет? И вот отправлено лихорадочное письмо Анатолию Федоровичу Кони без твердой надежды получить ответ. В предполагаемый срок отзыва не было, прошел слух о болезни Анатолия Федоровича. Потеряв надежду, я уехала из Петрограда на зимние каникулы. Какова же была моя радость, когда в январе 1922 г. мне передали письмо от А. Ф. Кони, принесенное какой-то старушкой. Я прочла: «Многоуважаемая Анна Петровна! Извините мой запоздалый ответ на Ваше письмо, я был болен и очень занят. Если во вторник, 2 января, в 3 часа Вы свободны, то я буду Вас ожидать. Готовый к услугам, А. Кони».

Я пришла к Анатолию Федоровичу на Надеждинскую, 3, в новый назначенный срок — 31 января 1922 г. По меловой надписи на стене «Кони» нашла его квартиру и позвонила. Старушка, оказавшаяся Е. В. Пономаревой, провела меня в кабинет. Анатолий Федорович сидел за просторным письменным столом, где стоял большой бюст Пушкина. Комната была холодной. Одет он был в летнее пальто, небольшая шапочка на голове, на руках перчатки, без двух пальцев на правой руке. Вид у него был болезненный, усталый. Я смутилась, начала извиняться, что затрудняю его и выразила готовность уйти, но он, не скрывая своего нездоровья, пригласил остаться. «Я с волнением прочитал ваше письмо. Отрадно, что среди молодежи есть такие трепетные натуры, ищущие свое место в жизни. Мне хочется скорей успокоить вас и убедить в том, что стоите вы на правильном пути и видите свое определенное место в жизни. Вы немного разочаровались в себе, но это не беда, это встречается часто у людей, которые сильно хотят чего-то достигнуть и на своем пути имеют большие препятствия. Вам говорят окружающие, что адвокатура и вообще судебно-прокурорская деятельность — не женское дело и что юристы не нужны. Это неверно. Юристы нужны в любом обществе и любом государстве. Не сможет обойтись без них и современное молодое государство. Появятся кодексы, неизбежно будут созданы судебно-прокурорские учреждения, будет и адвокатура».

Так и произошло. Вскоре были приняты положения о

прокуратуре, адвокатуре, изданы Уголовный и Гражданский кодексы. «Неправы те, — продолжал А. Ф. Кони, — кто утверждает, что это не женское дело. Еще во времена старого правительства я всячески пытался доказать необходимость участия женщин в судебной деятельности». Много позже я узнала, что 23—24 января 1913 г. в Государственном совете состоялось обсуждение законопроекта о допущении лиц женского пола в число присяжных и частных поверенных, где А. Ф. Кони выступал с речью в защиту законопроекта. Из 150 членов Государственного совета за отклонение высказались 84, против — 66, и женщинам попрежнему не разрешилось участвовать в процессе.

«Поставленные молодым государством задачи грандиозны, — продолжал Анатолий Федорович. — Народ темен и неграмотен, очень нужны грамотные, культурные люди, в том числе и юристы. Женщина всегда утешает, часто облегчает тяготы и иногда исцеляет. В ней сильно развито чувство правды, в вопросах этики она более щепетильна и, мне думается, она должна будет внести обновление и в адвокатуру. Дело прошлое, и я, откровенно говоря, за всю свою долготлетнюю судебную практику знал только двух адвокатов, которые были абсолютно безупречны, не допускали компромиссов с требованиями морали и нравственности. Юрист должен хорошо разбираться в психологии, должен быть широко образованным человеком и ненасытно стремиться к освоению культуры прошлого. Юрист должен быть активным пропагандистом правовых и общих знаний и ставить себе главной целью — быть полезным своему народу. Я, немощный старик, которому скоро исполнится 80 лет, — не бросаю общения с людьми и стараюсь делиться своими знаниями».

Анатолий Федорович старался успокоить, ободрить меня, внушить уверенность в правильности избранного пути. «Судя по письму, вы свободно владеете словом. Думаю, что так же можете и говорить и быть неплохим оратором, что очень важно для юриста». Он встал, подошел ко мне, по-стариковски благословил и поцеловал в лоб. «Идите, идите по избранному пути и не думайте, что это утопия». Я горячо поблагодарила Анатолия Федоровича и как на крыльях вылетела из кабинета.

Больше у меня не было колебаний и сомнений относительно выбора профессии. В 1924 г. я закончила университет и, будучи первым советским юристом в Рязанской области, все силы отдала воспитанию кадров юристов. В органах юстиции я проработала с 1925 по 1960 г. непрерывно,

а с 1960 г. веду посильную работу на общественных началах. [...] Запомнился еще день 10 февраля 1924 г., когда в Академии наук (ныне Пушкинский Дом) состоялось юбилейное чествование Анатолия Федоровича по случаю его 80-летия. Собрались представители многих научных учреждений, от узкоспециальных до учреждений изящной словесности. От коллектива университета выступали наши профессора А. А. Жижиленко и М. Я. Пергамент. Они охарактеризовали заслуги Кони как ученого и судебного деятеля. А. А. Жижиленко закончил свое выступление словами Кони о вечно живущей юности. Убедительно и сильно прозвучала благодарность от тех, кто имел счастье вырасти непосредственно под руководством Анатолия Федоровича или под влиянием его трудов.

В адресе Пушкинского Дома говорилось о большом значении Кони для русской литературы. «Ваша биография теснейшим образом переплетается с именами крупнейших наших писателей и поэтов и многие их величайшие произведения непосредственно связаны с Вашей творческой мыслью».

Оригинальным было приветствие от театра передвижников (театр П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской). Был инсценирован «суд» над А. Ф. Кони. Против него выдвигалось обвинение в злостном вторжении в область науки и искусства. Принимая во внимание его происхождение из литературно-артистической семьи, он признавался «прирожденным преступником». Ввиду того, что в законе нет статьи, под которую попадали бы его действия, было принято решение: «Передать вынесение приговора и определение наказания верховному суду истории».

Об этом приветствии-шутке артистов передвижного театра вспоминал А. Ф. Кони в письме к А. И. Южину-Сумбатову от 18 февраля 1924 г. Другие выступления как-то не сохранила память.

В своем ответном слове Анатолий Федорович, отмечая роль идущего на смену молодого поколения — строителя нового общественного строя, подчеркнул, что оно должно вкладывать в свой труд не только профессиональные знания, но и опираться на высокие нравственные начала. Я счастлив, сказал А. Ф. Кони, что на склоне лет судьба послала мне общение с ними. И закончил шуткой: «В одном из провинциальных судов с присяжными заседателями, сразу после введения Судебной реформы случился такой трагикомический случай. После совещания присяжные вынесли вердикт: хотя подсудимый и не виновен, но заслуживает

снисхождения. Так же и я, слýшая все сыплющиеся на меня обвинения, думаю, что «не виновен, но заслуживаю снисхождения».

В письме к М. Н. Ермоловой от 15 октября 1925 г. Анатолий Федорович как бы подытоживает свой жизненный путь: «Вы подвизаетесь на мировой арене драматич[еского] искусства и участвуете в драмах, трагикомедиях и водевилях, но и я 50 лет работал на большой сцене уголовного суда и правосудия, и мне приходилось участвовать в драмах, трагедиях и комедиях жизни. Скажу больше, я исполнял все старинные амплуа — я был злодеем как прокурор в глазах обвиняемого; был благородным отцом, руководя присяжными и оберегая их от ошибок; был резонером, ибо как обер-прокурор должен был разъяснять закон старикам-сенаторам и — наконец — был и состою первым любовником богини Фемиды, присутствуя при ее появлении на Руси взамен прежнего бессудия и бесправия, любил ее всей душой и приносил ей жертвы. Она теперь постарела, зубы повыпали, волосы поседели, повязка упала с глаз, но я ее все-таки люблю и готов служить ей... «Я прожил свою жизнь так, что мне не за что краснеть [...]»

Г. К. КРЫЖИЦКИЙ

ОБАЯНИЕ УМА

1

«Только в творчестве и есть радость — все остальное прах и суета», — признавался в одном из писем к М. Г. Савиной Анатолий Федорович Кони. В этом признании нет преувеличения: он вносил творчество во все сферы своей деятельности — и в самоотверженную работу юриста, и в бесчисленные публичные выступления, и в писательский труд за столом, и в те устные миниатюрные рассказы, которыми он так охотно делился в интимной обстановке с близкими и друзьями. И даже сидя на каком-нибудь скучнейшем заседании и для вида «слушая краем уха утомительные элоквенции гг. адвокатов», он размышляет об искусстве, делает заметки о писателях, о театре, об актерах.

Восхищаясь ораторским мастерством Кони, утверждали, что он стал бы замечательным актером, если бы не предпочел профессию юриста. Многолетней своей корреспондентке Савиной он писал, что чувствует себя полезным, только

«вступив на наиболее свойственное ему амплуа «резонеров» в Государственном совете».

Это сказано с юмором, не покидавшим Анатолия Федоровича даже в самые серьезные и трудные минуты жизни.

Среди «диких невежд сената и седых злодеев Государственного совета», как характеризовал Герцен высших государственных деятелей Российской империи в связи с осуждением Чернышевского, Кони был чем-то вроде белой вороны. В Государственном совете он занимал крайнюю левую позицию, дружил со знаменитым исследователем Средней Азии — соседом по креслу в совете — Семеновым-Тянь-Шанским, всегда с иронией, а зачастую и с нескрываемым отвращением отзываясь о многих своих «коллегах». С крайней неприязнью относился он к сенатору Кесселю — представителю обвинения по делу Веры Засулич. Реакционеры торжественно отмечали какой-то юбилей Кесселя. В этот день Кони зашел к нам — мы жили на одной лестнице с Кесселем. На шуточный вопрос, не заходил ли и он приветствовать юбиляра, Анатолий Федорович сердито ответил: «Таких я не поздравляю».

Ему несколько раз предлагали портфель министра юстиции в периоды, когда правительство пыталось заигрывать с общественным мнением. Он отказывался, требуя изъятия тюремного ведомства из ведения министерства юстиции. А шутя говорил, что предпочитает сохранять независимое положение и что по той же причине он остался холостяком.

— Представьте себе, — иронизировал он, — большая казенная квартира. Анфилада комнат. Ну, жена... туалеты... выезды... наряды... Несколько детских. Гувернеры, бонны, гувернантки... А что, если вы не угодили начальству и вас выкинули из теплого местечка?..

Так и прожил он жизнь бобылем, один в большой квартире, всегда аккуратно прибранной, несмотря на заваленность книгами, архивными материалами, делами. Только в самые последние годы над глубоким стариком «взяла шефство» дочь его бывшего сослуживца Е. Пономарева, скрасившая его одинокую старость.

Прямота, независимость и бескомпромиссная честность — вот что характеризовало общественную деятельность Кони. Его называли идеологом «справедливого права», его воодушевлял девиз: «Быть слугою, а не лакеем правосудия». В своей кандидатской диссертации он ратовал за неприкосновенность домашнего очага, возражал против незаконных посягательств власти на неприкосновенность личности.

С его судебной деятельностью связан любопытный случай, о котором Кони рассказывал с неподражаемым, чисто горбуновским мастерством. На всем этом, словно выхваченном из живой жизни, эпизоде лежит отпечаток «горбуновской» манеры. Я записал его много лет тому назад под свежим впечатлением.

...Кони возвращался как-то поздно ночью из здания окружного суда домой, на Фурштадтскую (ныне улица Петра Лаврова). На углу одного из переулков к нему подходит какой-то довольно прилично одетый господин и предлагает купить у него трость с золотым набалдашником. Это часа в два ночи! Опытный юрист, Анатолий Федорович сразу же заподозрил недоброе: палка, очевидно, ворованная.

Затягивая разговор с незнакомцем и якобы рассматривая и оценивая палку, Кони решил дойти до ближайшего городского и там задержать мошенника. Но только он собрался окликнуть городского, как собеседник, опередив Кони, заявил блюстителю порядка, что вот этот «тип» (указующий жест на Кони) собирался-де всучить ему ворованную вещь. Огорошенный Кони хотел было возразить, но «господин» сунул городскому визитную карточку — и был таков.

Кони снова попытался разъяснить недоразумение, но городской, окинув критическим взглядом невзрачный вид Кони в сильно поношенном пальто, не стал даже и слушать.

— Идем в участок, там разберут.

Пришлось на время забыть тезисы блестящей диссертации о неприкосновенности личности и отправиться под конвоем в часть. И вот один из лучших вершителей российского правосудия сам оказался ввергнутым в узилище и запертым вместе с задержанными проститутками, карманниками, пьяницами.

Кони мастерски описывал обстановку полицейского участка: облезлые стены, часы с кирпичом вместо гири, железная решетка, сонные рожи надзирателей, спертый воздух.

Околоточный надзиратель и пристав опрашивали задержанных, проверяли бумаги, снимали показания, писали протоколы. Попытки Кони обратить на себя внимание властей предержавших привели только к тому, что начальство грубо его одернуло, предложив «знать свое место», и внушительно заявило, что ежели он не угомонится, то его препроводят и в холодную. Убедившись в серьезной постановке дела в участке, Анатолий Федорович поневоле поко-

рился судьбе и решил использовать случай для изучения методов работы ночной полиции. Наконец, уже под утро, совершенно сонный околоточный позвал его к столу, взял новый листок бумаги и, пуская из ноздрей струи дыма, начал допрос.

— Фамилия?

— Кони.

— Чухна?

— Нет, русский.

— Врешь. Ну, да ладно. Там разберут. Звание? Чем занимаешься?

— Прокурор Санкт-Петербургского окружного суда.

Немая сцена... «Еффе́хт», как говорит один из персонажей Островского. Злополучного пристава чуть на месте тут же не хватил «кондрашка». Он умолял не губить жену, детишек... Словом, дальше все разыгралось почти так, как в чеховском рассказе о чиновнике, чихнувшем на лысину своего начальника. Кони успокоил полицейских, заявив, что был рад на деле познакомиться с обстановкой и ведением дела в учреждениях, подведомственных министерству внутренних дел.

— Хотелось бы только побольше свежего воздуха и... вежливости, — добавил он, насмешливо улыбаясь.

Рассказ этот, насколько я знаю, нигде не был напечатан, но я уверен, что Анатолий Федорович не преминул при случае подцепить этим происшествием представителей ненавистного ему полицейского ведомства.

Кони учил отличать сознательное преступление закона от невольного нарушения, «преступление от несчастья, навет от правдивого свидетельского показания», иными словами — гнусный тайный донос от бесспорно установленного факта совершения преступления, требовал уважения к человеческому достоинству «объекта правосудия». [...]

Как-то раз, уже в последние годы жизни, в своей квартире на Надеждинской (ныне улица Маяковского), Анатолий Федорович познакомил меня с некоторыми материалами своего архива. Он показывал фотографии преступников и их жертв, но живые образы вставляли не со снимков, а из его описаний и рассказов.

...Вот два снимка. Заросший бородач и худощавый бритый человек. Разные лица, не правда ли? Но Кони закрывает физиономии картоном с прорезом для глаз и верхней части лица, и вы убеждаетесь, что перед вами один и тот же человек.

Поведал он мне тогда и о своих судебных ошибках. Одна

из них оставила в его жизни особенно тягостный след. Дело было так.

Анатолий Федорович заметил, что во время его обвинительной речи подсудимый все время улыбался. Возмущенный Кони обратился непосредственно к присяжным, утверждая, что преступник, очевидно, потерял всякую совесть. «Он смеется над судом, над вами, господа присяжные заседатели, надо мной, над самим правосудием!»

Прием прямого обращения к присяжным имел успех: к обвиняемому применили строгую меру наказания. Но он и тут смеялся!

— Анатолий Федорович! — воскликнул в кулуарах суда один из его коллег. — Как вы могли так жестоко поступить? Ведь подсудимый и не думал смеяться: он плакал!

Тяжело переживал эту свою ошибку Анатолий Федорович, судья-гуманист и тонкий психолог, подвергавший личность преступника тщательному анализу, глубоко выясняя причины, приведшие к совершению того или иного противозаконного поступка. [...]

Кони — жизнелюб и человеколюб, и недаром один из его лучших литературных портретов посвящен «другу несчастных», знаменитому доктору Ф. П. Гаазу, главному врачу московских тюрем, всю свою жизнь отдавшему облегчению тяжелой доли каторжан, отправляемых по этапу в сибирские рудники. Гааз требовал справедливости без жестокости, деятельного сострадания к несчастью и призрения больных, а ведь в царских тюрьмах томились старики, женщины, дети. Гааз, рассказывал Кони, создал мастерские для арестантов, школы для их детей. Быть может (думается, что это было именно так), портрет Гааза удался Кони потому, что этот «друг несчастных» был чем-то внутренне близок самому автору — юристу, ученому, писателю.

2

Обаяние ума — вот в чем заключалась сила Кони. В его пристально-остром взгляде всегда светилась живая мысль, и вы совершенно забывали о его некрасивом, резко характерном лице. Он походил на старого шкипера, не хватало только трубки. Повредив ногу, он передвигался сначала при помощи одной, а затем двух палок, пока, наконец, под старость ему не пришлось пользоваться костылями. Но чувство юмора никогда не покидало его. Узнав, что одна его нога навсегда останется короче другой, он философски заметил: «Ну что ж, значит, я теперь со всеми буду на короткой ноге».

Я никогда не видел Анатолия Федоровича в парадной форме (да и была ли она у него?), ни «при орденах». Ненавидел он чиновничество. Однажды лечился он на одном из немецких курортов. Владельцы отелей наперебой информировали приезжих об остановившихся у них знатных иностранцах.

— Как прикажете вас записать? — обратился один из них к Кони. — Сиятельство? Превосходительство? Нет? Тогда, может быть, тайный или надворный советник? Кто же?

— Землевладелец. Имение «Ваганьково», — ответил Анатолий Федорович, вспомнив о принадлежавшем ему участке на Ваганьковском кладбище.

Охотно рассказывал он и о забавных случаях, связанных с его физическими недостатками. Повстречавшись с Кони после перенесенной им тяжелой болезни, одна его знакомая сочувственно воскликнула:

— Как вы плохо выглядите, Анатолий Федорович! На вас просто лица нет!

— Сударыня, — спокойно ответил Кони, — на мне от рождения лица нет.

Появляясь в обществе в неизменном черном сюртуке, Анатолий Федорович считал возможным в течение долгих лет носить потрепанное старомодное пальтишко, испытывавшее на себе все невзгоды «оскорбительного», по выражению Гончарова, петербургского климата. Вот и позвонил он однажды в этом наряде у подъезда особняка одного из своих коллег по Государственному совету, чтобы вручить свою визитную карточку. Старый швейцар с медалями, презрительно оглядев прохожего сквозь едва приоткрытую дверь, сурово пробурчал:

— Проходи, старичок, проходи, — здесь не подают.

Кони сам рассказывал об этом с лукавой усмешкой, с какой охотно «обыгрывал» свою фамилию, к слову сказать, не то финскую, не то датскую: Кони. Так, отказываясь от запрещенного ему врачами кушанья, он острил: «Не в коня — вернее: не в коней — корм».

Назначение Кони в 90-х годах в сенат было встречено консервативными кругами с большим неудовольствием. Черносотенный нововременский журналист Буренин откликнулся на это назначение злой эпиграммой:

В сенат коня Калигула привел,
Стоит он убранный и в бархате, и в злате.
Но я скажу, у нас такой же произвол:
В газетах я прочел, что Кони есть в сенате.

Кони не остался в долгу, ответив следующим четверостишием:

Я не люблю таких ироний.
Как люди непомерно злы!
Ведь то прогресс, что нынче Кони,
Где прежде были лишь ослы...

В нем заговорила кровь отца, автора злободневных куплетов, в свое время не побоявшегося осмеять «самого» Фаддея Булгарина.

Анатолий Федорович был близким другом нашей семьи, часто бывал у нас, знал моего отца — пейзажиста К. Я. Крыжицкого. Особенно сдружился он с нами в последние годы жизни, вел оживленную переписку с моей матерью, писал и мне [...]

Сын знаменитого водевилиста, редактора-издателя журнала «Пантеон» и известной актрисы и писательницы Ирины Семеновны Сандуновой (кабинет Кони украшали бережно хранимые портреты родных), Анатолий Федорович унаследовал от родителей любовь к театру и несомненную артистическую жилку. Но хотя в жилах его и текла «театральная кровь», он не только не стал актером, но и никогда не актерствовал ни как оратор на трибуне, ни как рассказчик в интимном кругу, ни как лектор в широкой аудитории. Он не расцвечивал свои ораторские выступления пестрыми «цветами красноречия», никогда не рисовался перед слушателями, но говорил так выразительно и живо, что вы с пластической отчетливостью видели все то, о чем он рассказывал. Это были великолепные монологи, убеждавшие ясной, отточенной мыслью, увлекавшие образностью, живостью повествования.

Любил он рассказывать о себе, о своих житейских встречах с писателями и артистами, о случаях из своей судебной практики. У него имелся, так сказать, набор любимых рассказов, пластинок, которые он охотно и часто проигрывал. Ему, присяжному оратору и неутомимому говоруну, нужны были не собеседники, а внимательные слушатели. Он всегда сразу завладевал разговором. При нем все смолкали. И хотя многие его рассказы друзья знали наизусть, все же слушать их вновь и вновь было истинным удовольствием.

Перелистывая сейчас страницы его книг, находишь довольно точную запись его устного изложения. И все же тот, кто никогда не слышал «живого Кони», никак не может составить себе представления о его манере речи, о его

мастерстве живого слова. Совершенно прав А. Р. Кугель, утверждавший в некрологе Кони, что его устные рассказы намного превосходили записанные мемуары. Ученик Кони по Училищу правоведения, стяжавший мрачную известность царский министр И. Г. Щегловитов, завидуя ораторскому таланту учителя и остро ненавидя его за приверженность к строгой законности, издевательски называл Кони «соловьем, который сладко поет» и «дамским угодником», намекая на успех, который, несмотря на свою неказистую внешность, Кони имел у женщин.

В пятитомник «На жизненном пути» Кони включил не только описание крупных судебных процессов, но и свои литературные воспоминания о русских писателях, с которыми дружил и близко соприкасался в жизни и творческом труде — о Достоевском, Тургеневе, Гончарове. Но насколько же выигрывали эти страницы воспоминаний в его устной передаче! Хотя бы рассказ о заброшенности Тургенева в доме Биардо — с каким нежным сочувствием и грустной горечью говорил он о том, как, отправляясь с Кони обедать в один из парижских ресторанов, Тургенев хотел надеть вместо поношенного бархатного пиджака серый сюртук, но оказалось, что одна пуговица оторвана совсем, другая держится на ниточке.

Не все, что рассказывал Кони, вошло в его пятитомник.

Любил он говорить и о Толстом. Ведь это именно он, Кони, дал Льву Толстому сюжеты «Власти тьмы» и «Воскресения» — в черновом наброске Толстой назвал его «конивская повесть». Анатолий Федорович всегда брал под защиту жену писателя. Хорошо зная царившую в Ясной Поляне семейную атмосферу, он доказывал, как трудно быть женой великого человека, женой автора «Крейцеровой сонаты».

Круг литературных интересов Кони был очень широк. В 1915 году он подарил мне отдельный оттиск своей чрезвычайно любопытной статьи под названием «Земноводный круг», скромно назвав ее «библиографической справкой». В ней говорится о старинных русских книгах, содержащих описание разных заморских стран, даются характеристики нравов и обычаев тамошних жителей. В подборке что ни цитата — перл. Смакуя, выписывает автор чудесные старинные обороты речи, эпитеты, словечки, выражения. Вот, например, сообщение о «монокулях об одной ноге, а коли солнце печет, и они могут покрыться ногою, как лапой». Или вот как современник описывает красавицу Ксению Годунову: «бровми союза, телом избыльна... волосы имея черны, аки трубы на плечах лежащи».

И дарственную надпись на этой своей работе Анатолий Федорович, разумеется, сделал в стиле того далекого времени «совопрснику мира сего».

3

Если в наши дни Кони помнят как юриста и литератора, то его театральная деятельность мало кому известна и, в сущности, еще совсем не изучена. А между тем, его театральное наследие велико, а связи его с представителями театрального мира достаточно обширны.

Вот статья Кони «Из далекого прошлого» — рассказ о самых ранних театральных впечатлениях. Еще ребенком видел он Каратыгина в «Тарасе Бульбе», великого Щепкина в «Матросе», а позже Садовского в ролях Юсова («Доходное место») и Оброшенова («Шутники»). Неизгладимый след оставили в его душе корифеи Малого театра, который обогащал его впечатлениями, имевшими силу жизненного урока. «Если университет, — пишет Кони, — давал знания, то яркие образы, даваемые Малым театрам, указывали на необходимые нравственные условия человеческой деятельности». Посещая Щепкина, отец Кони иногда брал с собою сына — так довелось Анатолию Федоровичу повидать прославленного негритянского трагика Айру Олдриджа. Запомнился ему и автор «Аскольдовой могилы» Верстовский, знаменитые актрисы Репина и Львова-Синецкая. [...]

Станиславский называл себя «неисправимым реалистом». Таким же был и А. Ф. Кони. Чуждый декадентски-модернистским течениям в искусстве, он был верным другом Московского Художественного театра и Александринки, как петербуржцы ласково называли свой любимый театр.

Анатолий Федорович любил рассказывать об обвинительной речи, с которой он обратился на торжественном банкете к создателям Художественного театра, обвинив их во взломе «четвертой стены» и убийстве милой, всеми горячо любимой... рутины! К. С. Станиславский, как известно, включил эту «прокурорскую» речь Кони в свою книгу воспоминаний. Запись довольно точно передает текст речи, но в изустной передаче Кони сопровождал рассказ великолепной мимикой, иллюстрировал живыми интонациями: он говорил суровым тоном государственного обвинителя, его негодование все возрастало, и только под конец, предлагая подвергнуть виновных самому суровому наказанию — навсегда заключить их в наши сердца, лукаво улыбнулся...

Весной 1917 года, после свержения царского режима,

по предложению Кони и Н. А. Котляревского, Станиславский был избран почетным академиком. Константин Сергеевич сердечно благодарил Кони за «неизменное доброе внимание» к нему лично и к Художественному театру, за духовную поддержку, особенно ценную в те тяжелые дни, когда молодому театру «приходилось с большим трудом завоевывать себе право существования». «И вот тогда,— писал Станиславский А. Ф. Кони,— Ваше авторитетное слово давало нам веру, бодрость и защиту». Станиславский назвал Кони верным другом театра и артистов. Он им и был на протяжении всей своей долгой жизни.

Яркий свет на личность Кони проливает его переписка с М. Г. Савиной. Он преклонялся перед ее талантом — артистка делилась с ним своими радостями и горестями, ждала его дружеских советов в делах житейских и театральных. Когда в 1883 году молодая Савина, расстроенная административными порядками казенного театра, решила уйти из Александринки, Кони послал ей теплое, сердечное письмо, доказывая всю пагубность такого опрометчивого решения. «Савина,— писал он,— не есть только имя личное — это имя собирательное, представляющее собою соединение лучших традиций, приемов и преданий с талантом и умом. Вы сами по себе школа — и должны как солдат стоять на бреши, пробитой в искусстве нелепыми представителями театральной дирекции»¹.

Анатолия Федоровича сближала с Савиной также любовь к их «взаимному другу» — Тургеневу, память которого оба свято чтит. Изданию переписки Тургенева с Савиной Кони предпослал обширную, чрезвычайно интересную статью, прекрасно обрисовав духовный облик обоих корреспондентов, которых близко знал и горячо любил.

Верный друг театра и артистов, Кони с глубокой скорбью пережил смерть трех старейших мастеров Александринского театра — в 1915 году ушли из жизни Савина, Стрельская, Варламов.

Любопытно, что даже как театральный зритель Кони оставался юристом. Так, сцену убийства Цезаря в спектакле Художественного театра он использовал для доказательства недостоверности свидетельских показаний: на вопрос, как произошло убийство, все «свидетели», то есть зрители, дали самые разноречивые ответы. Вот и доверяй после этого рассказам очевидцев!

Хочется упомянуть еще об одном поступке Кони, сви-

¹ М. Савина и А. Кони. Переписка.— Л.; М., 1938.— С. 29.

детельствующем о его необычайной душевной теплоте, об удивительном умении прийти на помощь в трудную минуту добрым и мудрым словом.

Осенью 1897 года на первом представлении в Александринском театре провалилась чеховская «Чайка». Критики единодушно обрушили на автора поток недоброжелательных, а порою злых и даже издевательских рецензий. (Один из критиков заявил, что это не «Чайка», а просто дичь!) Кони оказался в числе немногих, сумевших по-настоящему понять и оценить этот шедевр. Чехова не могло не тронуть теплое и умное письмо Кони. Сделанный им глубокий анализ этой пьесы до сих пор цитируется исследователями драматургии Чехова.

4

После смерти отца мы переехали в более скромную квартиру на углу Знаменской (ныне улица Восстания) и Ковенского переулка и оказались близкими соседями Кони. Но квартира помещалась на четвертом этаже, и, поздравив нас с новосельем, Анатолий Федорович с грустью писал, что встречи теперь невозможны, так как он не в силах подниматься так высоко без лифта. Но желание видеть его преодолело эту трудность: на всех лестничных площадках в дни его прихода расставлялись стулья, и он без особенного напряжения, в несколько «присестов», осиливал подъем.

Именно в эти предреволюционные годы мне довелось чаще всего встречаться с Кони обычно у нас за обеденным столом, когда завязывалась оживленная беседа на самые разнообразные темы — от модного тогда спиритизма, над увлечением которым все мы весело подсмеивались, или получившего в то время широкое распространение учения о переселении душ (тут, приходится сознаться, мнения расходились!) до политических вопросов.

Умным, зорким глазом вглядывался он в развивавшиеся тогда грозные события. Когда в 1912 году вспыхнула Балканская война, Кони, помню, говорил, что это только начало, пролог к неизбежной схватке великих держав. А когда разразилась Первая мировая война, отвечая на волновавший всех нас тогда тревожный вопрос — куда же мы идем? — он отвечал: «К революции». Он понимал ее неизбежность. [...]

1917 год. Октябрь.

Кони шел тогда уже восьмой десяток. Но, отставленный от дел и скучнейших заседаний в прекратившем свое существование Государственном совете, а затем и сенате, он не оказался выброшенным за борт, а сумел найти себе место и в новой жизни как писатель, лектор, докладчик, издавая книги и выступая с публичными беседами об этике общежития, о смысле жизни. Он преподавал в университете, в Институте живого слова и даже в Пролеткульте!

Соемещая юриспруденцию с художественной речью, он, верный друг театра, устраивал силами учащихся инсценированные суды, обучал приемам ораторского искусства, наблюдал за чистотою речи.

И вот что важно и ценно: старый царский сановник нашел общий язык с новой аудиторией, выступая перед рабочими, студенческой молодежью, даже матросами. Новые, советские слушатели горячо благодарили его за содержательные, умные беседы.

Однажды ему довелось выступить в Аничковом дворце, в той самой зале, в которой — как рассказал Анатолий Федорович одному из своих друзей — Александр III в грубых и резких выражениях высказал ему свое недовольство оправданием Веры Засулич. «А ныне,— говорит Кони,— в этой самой зале я читаю лекции собравшимся учителям, и весь порядок вещей, олицетворявшийся Александром Третьим, и основанный на нем «образ действий» канул, надеюсь, в вечность».

Кони делил свою сознательную жизнь на четыре периода. «До двадцати лет,— говорил он,— я был дурнем, с двадцати до сорока — молодость, от сорока до шестидесяти — творческий расцвет, ну а после этого — старость...»

Юмор не покидал его до конца дней. Ему трудно было добираться в университет с Надеждинской, где он прожил последнюю часть жизни. За ним присылали лошадь. Но вот бывшее конюшенное ведомство перевели в Москву, и ему пришлось отказаться от чтения университетского курса. Но он и тут шутил: «Подумайте, лошади в Москве, а Кони — в Петрограде!»

Очень любил Анатолий Федорович рассказывать о встрече с одним из своих старших соратников по судебной реформе шестидесятых годов 90-летним Вилленбаховым. Тот пожаловался, что вот в прошлом году поскользнулся у

Исаакиевского собора, с тех пор почему-то «ножка стала пошаливать».

— Да, впрочем, мне ведь уже девять десятков. А вам сколько, Анатолий Федорович?

— Семьдесят пять, — ответил Кони.

— Завидный возраст! — вздохнул Вилленбахов.

Достижение Анатолием Федоровичем этого завидного возраста совпало с тяжелым 1919 годом. Пять лет спустя общество «Старый Петербург» скромно отметило его восьмидесятилетие, а через три года его не стало. К смерти Анатолий Федорович относился как истинный философ. В связи с этим вспоминается еще один любимый его рассказ, которым он часто делился со своими слушателями.

Однажды острый приступ тяжелого недуга приковал Кони к постели. Он обратился за помощью к одному из своих друзей — врачу Н. Тот его внимательно выслушал, похмыкал и задумался. А вместо ответа на вопрос Кони, что же ожидает его дальше, приятель указал на стоптанные туфли у постели пациента и сделал рукой жест (Кони великолепно его имитировал), обозначавший полет и безбрежные воздушные просторы.

Но Кони не только пережил своего друга-эскулапа, но, по причудливому капризу судьбы, оказался его душеприказчиком. И вот, разбирая бумаги покойного, он наткнулся... на свой некролог, написанный доктором в тот самый день, когда он так деликатно сравнил сердце пациента с истрепанными туфлями. Врач только оставил место, чтобы проставить число: месяц кончины был заранее указан!

Кони до конца дней сохранил работоспособность и ясность мысли. На девятом десятке он вставал, как обычно, в 5—6 часов утра и садился за письменный стол. Работал без очков, прекрасно слышал. Днем иногда выступал, читал лекции. В хорошую погоду сидел в больничном садике напротив своего дома¹. Вечерами делал доклады, много читал [...]

Жизнь Анатолия Федоровича может служить прекрасным примером идеальной честности и бескомпромиссности, огромного трудолюбия, преданной любви к родной речи, к русской литературе, к нашему искусству, к человеку. А книги его будут давать пищу уму еще многих и многих поколений читателей [...]

¹ Теперь на доме, где жил и умер А. Ф. Кони, установлена мемориальная доска.

ТРИ ВСТРЕЧИ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ УШЕДШИХ

Это было впервые после Октября, зимой, не помню точно в каком месяце. Во всяком случае, незадолго до этого я окончательно занял министерство народного просвещения по Чернышевскому переулку. Еще почти не было у меня никаких чиновников, — одни курьеры да ответственные работники, — но уже закипела жизнь, уже начали восстанавливаться бесчисленные социальные провода, которые должны были соединить рождающийся Наркомпрос со всем просветительным миром в громадной стране.

И вот однажды ко мне явился кто-то, — уже не помню ни фамилии, ни даже облика, ни пола, — с таким заявлением: Анатолий Федорович Кони очень хотел бы познакомиться с вами и побеседовать. К сожалению, он сильно болен, плохо ходит, а откладывать беседу ему не хотелось бы. Он надеется, что вы будете так любезны заехать к нему на часок. При этом передан был его адрес. Я, конечно, прекрасно понимал всю исключительную значительность этого блестящего либерала, занявшего одно из самых первых мест в нашем передовом судебном мире эпохи царей. Мне самому чрезвычайно хотелось видеть маститого старца и знать, что, собственно, хочет он мне сказать, мне — пролетарскому наркому, начинающему свою деятельность в такой небывалой мировой обстановке.

Кони был уже стар — в это время ему было 72—73 года. Кабинет, в который меня ввели, хранил еще следы его нормальной жизни. Это был кабинет серьезного работника, с большим количеством книг, с удобными рабочими креслами вокруг письменного стола. Комната была несколько затемнена, да и было это зимой, когда в Ленинграде света в окошках не много. Кони встал на своих нестойких ногах, но я поспешил попросить его сесть. Свои острые колени он накрыл чем-то вроде пледа и довольно пристально разглядывал меня, пока я усаживался. Он сохранил тот свой облик, который хорошо известен всякому по его портретам. Только борода и бакенбарды, облегающие кругом щек и под подбородком его бритое лицо, были уже седыми и показались мне даже желтоватыми, а лицо его было совсем желтым, словно старая слоновая кость, да и черты его казались вырезанными очень искусным, тонким резчиком по слоновой кости, такие определенные в своем старчестве, такие четкие и изящно отточенные.

Глаза Анатолия Федоровича, очень пронизательные и

внимательные, отличались в то время большим блеском, почти молодым, но смотрел он на меня с некоторым недоверием, как-то искоса, словно хотел что-то во мне прочесть и понять. Так как некоторое время тянулось молчание, то я обратился к нему: чем могу ему служить. Когда я шел к Анатолию Федоровичу, мне казалось, что он непременно обратится ко мне с просьбой — ведь времена были очень трудные, даже самые простые условия комфорта, особенно для старого человека, привыкшего жить богато, стали желанной, но недоступной вещью. Не могу не отметить, что в этом полутемном кабинете было довольно-таки холодно, так что я даже пожалел, что снял с себя пальто. Но Кони очень торопливо на этот раз, как будто даже испугавшись столь естественной мысли, как возможность личной просьбы ко мне, заговорил:

— Мне лично решительно ничего не нужно. Я разве только хотел спросить вас, как отнесется правительство, если я по выздоровлении кое-где буду выступать, в особенности с моими воспоминаниями. У меня ведь чрезвычайно много воспоминаний. Я записываю их отчасти, но очень многое не вмещается на бумагу. Кто знает, сколько времени я проживу! Людей, у которых столько на памяти, как у меня, — очень не много!

На это я ответил ему, что Наркомпрос будет чрезвычайно сочувствовать всякому его выступлению с соответственными воспоминаниями, будь то в письменной форме, будь то в форме лекций.

— Впрочем, — сказал он, и его большой нервный и скептический рот немного жалко подернулся, — я очень плохо себя чувствую, и я совсем калека.

Немного помолчав, он начал говорить, и тут уже можно было узнать Анатолия Федоровича. Правда, я никогда его не слыхивал ни в эпоху его величия, как одного из крупнейших ораторов нашей страны, ни до, ни после единственного моего разговора, который я описываю, но многие говорили о необыкновенном мастерстве его в искусстве разговора и о замечательной способности оживлять прошлое, о необыкновенном богатстве интонаций, об увлекательности, которая заставляла его собеседников буквально заслушиваться словами, слетающими с этого большого, словно созданного в качестве носителя слова, рта.

Он говорил мне, что решил пригласить меня для того, чтобы сразу выяснить свое отношение к совершившемуся перевороту и новой власти. А для этого он-де хотел начать с установления своего отношения к двум формам старой вла-

сти — к самодержавию и к Временному правительству. Вероятно, в сочинениях Кони можно найти многие из тех фраз, не говоря уже об образах и событиях, которые рассказал мне тогда Анатолий Федорович. Но, во всяком случае, для той специальной цели, которую он себе поставил, — разговаривания, — они были по-иному и рассказаны в необыкновенном освещении. С огромным презрением, презрением тонкого ума и широкой культуры, глядел сверху вниз Анатолий Федорович на царей и их приближенных. Он сказал мне, что знал трех царей. Он говорил об Александре II как о добродушном военном, типа представителя английского мелкого джентри, у него и идеалом было быть английским джентльменом, он гордился своей любовью к английским формам спорта и внутренне страстно желал ограничить как можно меньшим кругом своей жизни свои «царственные заботы» и как можно больше уйти в мирную комфортабельную жизнь, в свою личную любовь, в свои личные интересы. Быть может, он был на самом деле добродушен, но в то время, когда Анатолий Федорович мог его наблюдать, это был абсолютно испуганный человек, царская власть казалась ему проклятием, она не только не привлекала Александра II, но она пугала его. Подлинно он считал шапку Мономаха безобразной, гнетущей тяжестью, и не потому, чтобы ему присуще было такое глубокое сознание своего долга перед страной, а потому, что он, как загнанный зверь, боялся террористов. Именно этот страх, окружающий всякого царя, «риск царственного ремесла», казался ему непереносимой приправой власти. Эта духовная ограниченность и слабость и вместе с тем ужас перед опасностью делали его готовым, наподобие его тетки и дяди, отдать Россию любому Аракчееву.

Еще колоритнее рассказывал мне Кони о втором из царей, которого наблюдал, — об Александре III. Это был «бегемот в эполетах», человек тяжелый, самое присутствие которого и даже самое наличие в жизни словно накладывало на все мрачную печать. Подозрительный, готовый ежеминутно, как медведь, навалиться на все, в чем он мог почуять намек на сопротивление, — какой уже там «первый дворянин своего королевства»! — нет, первый кулак своего царства на престоле.

Говоря о Николае II, Кони только махнул рукой. Но ведь, по существу говоря, он всю жизнь оставался на том уровне умственного развития, который вряд ли сделает его способным прилично командовать ротой. И вот с таким умом извольте править государством. И этот тоже хотя и

любил власть, — кому же охота выпускать скипетр из своих рук! — по существу, ею тяготился и устранился от нее. Он мог бы быть добрым семьянином, натура удивительно мещанская, бездарная до последнего предела. Кони утверждал, что он глубоко убежден в способности царя с легчайшим сердцем примириться с отречением, если бы только ему доставлена была возможность жить комфортабельной семейной жизнью.

Я заметил Кони, что его наблюдения относительно внутренней отчужденности некоторых царей от власти, свидетельствующей о каком-то чисто политическом вырождении монархии, не имеют такого большого значения для характеристики правительств, так как правительство далеко не сводится к монархам и редко даже действительно обеспечивает за монархом видное место, кроме, конечно, демонстративного и показательного.

Тогда Кони заговорил о бездарности министров. Для очень немногих делал он исключение — бездарность, бесчестность, безответственность, взаимные интриги, полное отсутствие широких планов, никакой любви к родине, кроме как на словах, жалкое бюрократическое вырождение.

Несмотря на скептическое оплевывательное отношение к старой власти, оно еще показалось мне сносным по сравнению с тем, что говорил Кони о Временном правительстве. Какая-то судорога сарказма пробежала по его большим губам.

— В этих я ни на одну минуту не верил, — сказал он. — Это действительно случайные люди. Конечно, если бы февральский режим удержался в России, в конце концов произошла бы какая-то перетасовка, лучшие люди либеральных партий подобрались бы и, может быть, что-нибудь вышло бы. Но история судила другое. Во всяком случае, то, что тут было — Львовы, Керенские, Черновы, правда, я наблюдал их издали, и я уже был не столько очевидцем этих событий, сколько их несколько удаленным свидетелем, однако разве не ясно, что это за нерешительность, что это за дряблость, какое жалкое употребление сделали они из революционных фраз и какими слабыми оказались, когда за ширмами этих фраз пытались доказать, что они — власть, способная ввести в берега разъяренный океан народа, в котором веками скопилось столько ненависти и мести.

Кони задумался и, опять взглянув на меня тем же косым внимательным и недоверчивым взглядом, сказал мне:

— Может быть, я очень ошибаюсь. Мне кажется, что

последний переворот действительно великий переворот. Я совсем не знаю, почти абсолютно никого не знаю, ну, никак не знаю ни одного из ваших деятелей, [разве только] понаслышке, по статьям, но я чувствую в воздухе присутствие действительно сильной власти. Да, если революция не создаст диктатуры — диктатуры какой-то мощной организации, — тогда мы, вероятно, вступим в смутное время, которому ни конца ни края не видно и из которого бог знает что выйдет, может быть даже и крушение России. Вам нужна железная власть и против врагов, и против эксцессов революции, которую постепенно нужно одевать в рамки законности, и против самих себя. Ведь в таком быстро организуемом правительственном аппарате, который должен охватить землю от Петербурга до последней деревушки, всегда попадается множество сора. Придется резко критиковать самих себя. А сколько будет ошибок, болезненных ошибок, ушибов о разные непредвиденные острые углы! И все же я чувствую, что в вас действительно огромные массы приходят к власти. Тут действительно открывается возможность широчайшего подбора властителей по доверию народа, проверенных на деле. Ваши цели колоссальны, ваши идеи кажутся настолько широкими, что мне — большому оппортунисту, который всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которую я жил, — все это кажется гигантским, рискованным, головокружительным. Но если власть будет прочной, если она будет полна понимания к народным нуждам... что же, я верил и верю в Россию, я верил и верю в гиганта, который был отравлен, опоен, обобран и спал. Я всегда предвидел, что, когда народ возьмет власть в свои руки, это будет в совсем неожиданных формах, совсем не так, как думали мы — прокуроры и адвокаты народа. И так оно и вышло. Когда увидите ваших коллег, передайте им мои лучшие пожелания.

Кони опять встал на своих слабых ногах и протянул худую старческую руку. Я крепко пожал ему руку и сказав, что постараюсь запомнить то, что слышал от него, так как это слышанное с глазу на глаз в полутемном кабинете мне показалось неожиданным из его уст и поучительным. Сейчас я жалею, что, придя домой, я не записал этой беседы, но ведь и тогда, и после было столько встреч и среди них столько интересных, и где уж нам писать дневники! Мне кажется, однако, что за вычетом обаятельного красноречия, необыкновенно конкретизирующей образности, я верно передаю основу тогдашних слов Кони. Я не знаю, как

относился Кони позднее к нашей борьбе и нашему строительству. У меня есть только два довольно ярких факта. Во-первых, письмо Анатолия Федоровича по поводу некоторого недоразумения относительно издания им воспоминаний о Витте. В этом письме он пишет:

«Дорогой Анатолий Васильевич, меня удивляет, что Советская власть или, по крайней мере, ее орган находят что-то предосудительное в моей брошюре. Дело в том, что она насквозь правдива. Я не верю, чтобы правда о прошлом могла в какой бы то ни было степени вредить революции и росту сознания свободного народа. Очень прошу вас, заступитесь за мою брошюру. У меня остается один долг и одна радость — успеть сказать побольше правды о прошлом. Пишу мемуары и хочу думать, что делаю этим нужное дело».

В то время я сейчас же принял меры к устранению этого недоразумения.

Второй факт — это те теплые выражения, в которых Ленинградский Совет охарактеризовал заслуги Кони, и те строки в этих словах доброй памяти, где говорится о добровольном и плодотворном содействии Кони, даже в годы его глубокой старости, нашей культурной работе [...]

Р. М. ХИН-ГОЛЬДОВСКАЯ
ПАМЯТИ СТАРОГО ДРУГА

[...] Я знала Кони, как знала его вся русская интеллигенция моей эпохи: знаменитый оратор, председатель петербургского суда, пострадавший за Веру Засулич, автор книги «Судебные речи», которой все зачитывались... Я даже видела его раза два случайно, но так мимолетно, что не помнила его лица... И вот, я еду к нему вроде как с «наказом» от его университетского товарища и друга. Четверть века назад, их голоса — одного с трибуны прокурора, другого из-за пульта защитника, — провозгласили в безгласной России рождение гласного суда...

Когда-то «опальный» защитник Нечаева, Урусов давно отрезвился от иллюзий шестидесятих годов... Другое дело Кони... Обер-прокурор сената, оплот суда присяжных, всеми признанный авторитет...

Было от чего волноваться.

Урусов предупредил его письмом о моем приезде. Кони ответил, что будет меня ждать в такой-то день в 11 часов утра.

Меня встретил в приемной человек небольшого роста, худой, державшийся очень прямо, с бледным, строгим лицом, уже тогда изрезанным характерными морщинами, с внимательным взглядом умных, холодных глаз. Одет он был в аккуратный коричневый сюртук, шею облегал аккуратный стоячий воротничок и тонкий черный галстук бантиком, блестящие манжеты с матовыми запонками, блестящие ботинки... Все такое чистенькое, аккуратное... «Какой чиновник», — подумала я.

«Пойдемте ко мне в кабинет, там удобнее беседовать», — сказал Анатолий Федорович усталым, мягким, удивительно приятным, простым голосом и продолжал на ходу: — Вчера я был страшно занят, а сегодня освободил для вас — вот столько времени!» — Он широко расставил руки и улыбнулся.

Лицо сразу помолодело, стало милое и доброе.

Кабинет говорил за хозяина. Книги в шкафах, книги на полках, книги на столах, портреты с длинными автографами, несколько картин, альбомы, юбилейные подношения, большой письменный стол, диван.

[...] «Вы позволите мне ходить? Мне так много приходится сидеть, что, шагая по комнате, я отдыхаю... Ну, давайте знакомиться».

Он опять заговорил. Я слушала и думала только об одном, чтобы он не умолкал. Это была не речь, не беседа, а мастерская импровизация. Передо мной, точно в живой панораме, проходила русская жизнь, русские судьбы, русская ширь и русская теснота, наше сумбурное богатство и наша дикая нищета, наша несравненная литература и варварское невежество, изысканный аристократизм и пошлое самодовольство так называемого общества. А надо всем фарисейское лицемерие, расплзающееся из петербургских «сфер» и канцелярий по рабской стране.

Из разных углов вдруг забили часы. Я вздрогнула. Анатолий Федорович засмеялся. «Испугались? У меня несколько часов, и они бьют разом. Я слежу, чтобы они не расходились... Это моя маленькая мания...» — «А это на вас не наводит тоску, Анатолий Федорович?» — «Нет. Я люблю слушать «шаги времени»...»

Так началось мое знакомство с Анатолием Федоровичем, знакомство, перешедшее в дружбу, выдержавшую все, а порой довольно тяжелые «шаги времени»...

[...] Редкое имя в России — в течение более чем полувека — пользовалось такой популярностью, было окружено ореолом такого обаяния, как имя Кони. Его знали люди

всякого «толка», даже такие, которые, казалось бы, не имели ни малейшего касательства ни к какой стороне его разнообразной деятельности.

Конечно, он был знаменитый юрист, оратор, писатель, один из образованнейших людей своего времени... Но ведь это еще не дает власти над сердцами... Какой же дар привлекал к нему, по выражению Владимира Соловьева, «людей всяких вер»?.. Мне кажется, что это происходило от редкого в нем сочетания противоположных сил. Обычно, в результате такого сочетания, получаются изломанные, несчастные характеры, и лишь в исключительных случаях, когда воля подчиняет себе темперамент, оно создает гармонический образ. Преобладающая сила Кони заключалась в уме, — пронизательном, аналитическом, холодном, уме не следователя, а исследователя.

Но в этом же уме жил и большой художник, большой артист — и нужна была железная рука, чтобы артист и художник не опрокидывали ума «холодных наблюдений»...

Наивно было бы предполагать, что Кони был чужд «земных страстей». Он жил на миру, окруженный соблазнами, и «ничто человеческое ему не было чуждо». «У каждого, — говаривал он, — есть свои собаки; чтобы они не разорвали, надо их держать на цепи»... И он умел их держать. На помощь приходила выкованная в жизненной борьбе воля, огромная работоспособность и всепоглощающее чувство ответственности и долга. А главное, ему всегда было некогда. Он не мог запретить сердцу «пылать» — и оно не раз пылало, но он не позволял ему забываться...

«Жена... Дети... — вздыхал Анатолий Федорович, шагая по комнате и дымя сигарой. — Это так заманчиво, особенно, когда думаешь об одинокой старости... Но, с другой стороны, на какие «концессии» — ради семьи — идут даже очень стойкие люди! Болезни, бедность, взаимное разочарование, озлобление на неудачных детей, в которых супруги обвиняют друг друга... Сколько таких «пар» из Дантова ада мне приходилось наблюдать!.. А ведь и для них была веселая пора Фета: «шепот, робкое дыхание, трели соловья». И все это они давно забыли под пятою будничных забот... Нет, нет!.. Свободен только одинокий — его ошибки и грехи падают только на его голову...»

Как бы для иллюстрации такой личной независимости, мне припоминается один психологический «момент», когда даже старые друзья Кони недоумевали, почему он не подал в отставку в ответ на «немилостивые слова», обращенные

к нему, после его назначения обер-прокурором сената, Александром III.

Осуждение людей, которых он любил и уважал, его задело и огорчило.

Он много раз и всегда с волнением возвращался к этому эпизоду.

«Думают, что я из честолюбия, ради карьеры... Однако! Что меня ждет на старости лет... Жалкая пенсия... Ведь перейти в адвокатуру и через год купить себе виллу на озере Лугано гораздо умнее... Но что-то мешает... Я долго обдумывал: что важнее? мелькать в поле зрения гатчинского глаза, прикасаясь к августейшей руке, или держать в своей руке всю русскую уголовную юстицию... Я решил дело в пользу своей законной жены, «г-жи юстиции», и махнул рукой на августейшую руку... Этот каламбур пусть останется *entre nous*», — прибавил он, смеясь.

Сила и талант Кони заключались несомненно в живом слове. Он прежде всего был человек трибуны, кафедры, эстрады. Ему, как воздух, нужна была аудитория, и этим, помимо всего прочего, объясняется его любовь к студентам, к молодежи, его всегдашняя готовность, несмотря на бремя обязательных занятий, читать публичные лекции, его неизреченная щедрость, с которой он отдавал свое слабое здоровье и часы отдыха голодающим, курсисткам, врачам, бедствующим литераторам...

Надо изумляться универсальности этого юриста по профессии, который в самых разнообразных областях человеческого ума вращался не как дилетант, а как мастер.

Литература и театр были его родными стихиями. Ведь он был то, что французы называют *enfant de la rampe*, дитя ramпы. Мать его — актриса Ирина Сем. Юрьева-Сандунова, совмещала, как полагалось в ее время, амплуа *ingénue* и певицы. Отец — Федор Алексеевич Кони, — редактор-издатель литературно-театрального журнала «Пантеон», был талантливый критик, поэт, автор веселых водевилей и едких куплетов, остряк, навлекший на себя гнев императора Николая Павловича. Когда разразилась Крымская война, «Пантеону» не разрешили перепечатывать из «Инвалида» телеграммы с театра военных действий. Журнал зачах. Семья Кони была разорена, и четырнадцатилетний «Толя», вернувшись однажды из гимназии домой, нашел всю домашнюю обстановку опечатанной, так что он мог сесть только на подоконник. Чтобы продолжать свое образование после «Аннен-Шуле» во II гимназии, ему пришлось, взамен платы за учение, взять на себя обязанности

репетитора в младших классах. Впоследствии на торжественных юбилеях в «Аннен-Шуле» с гордостью упоминалось, что в числе ее именитых питомцев находился Анатолий Кони. Он сам с трогательной благодарностью вспоминал свою немецкую школу, хотя вышел из ее младших классов. Затем, не кончив курса II гимназии, уже 15-летним мальчиком держал экзамен экстерном в Петербургский университет, отсюда, через год, перешел на юридический факультет Московского университета и уж никогда не порывал с ним связи... Как, однако, ни увлекательна была наука права, пандекты не могли вытеснить из его души первые впечатления «бытия» в атмосфере литературы и театра. Волшебная власть художественных образов, воплощенных в слове, приковала его к себе на всю жизнь. Вот почему он всегда был чужой среди сановников и свой среди писателей и актеров.

Перед Пушкиным он благоговел, называл его величайшим гением России, ее оправданием перед миром. Вся пушкинская плеяда легла в основу его художественной сокровищницы. Путь от Пушкина и Гоголя к Толстому и Достоевскому есть исторический путь русской культуры.

Анатолий Федорович знал лично почти всех «отцов» нашей новой литературы. Мальчиком он видал Некрасова в доме своих родителей еще во времена «Пантеона». Свидетель вновь с знаменитым поэтом ему пришлось в начале 70-х годов при исключительных обстоятельствах. Петербург возмущен самоубийством атташе турецкого посольства, проигравшего огромную сумму компании слишком счастливых игроков. Городская молва называла в числе участников этого дела Некрасова. К Кони — тогда прокурору Петербургского суда — приехал Николай Алексеевич для «частной» беседы о печальном происшествии. Он обстоятельно изложил молодому прокурору свою «систему» игры, заключающуюся отнюдь не в крапленых картах, а в большом самообладании, отсутствии нервозности и трезвом расчете. Такая «тренировка», по его мнению, неминуемо обрекала на поражение терявшего голову и приходившего все в больший азарт противника.

С тех пор и вплоть до смерти Некрасова их дружеские отношения не прерывались. Анатолий Федорович не идеализировал Некрасова, но ему нравилась своеобразная, жестковатая фигура певца поработенного народа, создавшего «песню, подобную стогу». Он бывал у него, знал «Зину», последнюю простодушную и бескорыстную подругу поэта, с которой он обвенчался на смертном одре и которой посвящены стихи:

Двести уж дней, двести ночей
Муки мои продолжаются,
Ночью и днем в сердце твоём
Стоны мои отзываются...

Верный писателям-«отцам», Кони принял в свое сердце их детей и даже внуков.

Чехова он ставил необычайно высоко и страшно негодовал на петербургскую публику и Александринский театр за провал «Чайки»... «Актеры ничего не поняли, — писал он мне, — они не сумели даже подойти к этому великолепному произведению, в котором отразился весь трагизм русского сумбура»...

Но когда за «Чайкой», воскресшей в Художественном театре, пришел «Дядя Ваня», за ним «Три сестры», и «Вишневый сад», — Анатолий Федорович был умилен. «Ваши московские художники — откровение, — говорил он. — Это рождение нового театра...»

Сбежав из Петербурга от своего, кажется, 35-летнего юбилея, он приехал в Москву и просил в гостинице не прописывать его паспорта, а друзей — скрыть его присутствие в Москве. Как раз в это время пришлось второе представление «Доктора Штокмана». Анатолий Федорович так и загорелся. — Непременно поедемте, непременно!.. — Достать ложу было почти невозможно. Мы предлагали ему: «Напишите Станиславскому или Немировичу. Вас-то они наверно устроят». — «Ни за что! Надо достать ложу. Вы все сядете впереди, а я спрячусь за вами, как за стенкой...» — Удалось купить даже две ложки — в одной поместились «старшие», а рядом молодежь. Анатолий Федорович поместился за нами, но во время действия, когда зал погружался в темноту, мы немножко раздвигались, чтобы ему было виднее. Когда Штокман говорил свою речь перед «столпами общества», я шепнула Анатолию Федоровичу: «На кого похож Станиславский?» — «На Владимира Соловьева, — тоже шепотом ответил Анатолий Федорович. — Вылитый Владимир Сергеевич, когда он летом снимал свою львиную гриву...» — И мы оба вздохнули.

В антракте Анатолий Федорович не остерегся — выглянул в зал. В театре было много адвокатов. Его узнали, газеты еще утром оповестили, что он уехал из Петербурга от юбилея. Масса биноклей устремилась на нашу ложу. Анатолий Федорович нырнул за спину Николая Ильича Стороженко, да уж было поздно. В ложу к нам вошел В. И. Немирович-Данченко и, несмотря ни на какие отговорки, увел Анатолия Федоровича за кулисы. Его звали актеры — та

«побочная» его семья, права которой на себя он никогда не отрицал...

С большим интересом и симпатией к его оригинальной личности Кони встретил появление Горького, но гораздо холоднее отнесся к его творчеству... Его смущала дерзкая, самодовлеющая декламация горьковских бунтарей. «Какая разница с Достоевским,— вздыхал он.— Достоевский упавшему в пропасть человеку говорит: «взгляни на небо, ты можешь подняться»!.. А босяк Горького говорит: «взгляни на небо и плюнь»!.. — Но и тут сказывалось уменье А. Ф. ценить die Sache in sich...¹ Когда ему возражали: «А «На плотях»?.. а «Скуки ради»?» — Он одобрительно кивал головой с улыбкой, сразу освещавшей все его лицо: «Ну, это — hors concours, «На плотях» — драгоценная жемчужина, а «Скуки ради» с гордостью бы мог подписать Мопассан».

Бурное вторжение декадентов сначала оттолкнуло Анатолия Федоровича, прежде всего отсутствием содержания. Он, обожавший проникновенную поэзию Тютчева, просто растерялся.

Слезы людские, о, слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...

И вдруг, не угодно ли!.. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать...».

«Что это? — говорил он, — к чему это поведет? Неприкрытая эротика. Отныне наши лоботрясы совсем распояшутся и начнут почитать себя «сверхсвятыми»...

Но первое ошеломление прошло. Кони вчитался в новую поэзию и отдал ей должное. Богатство творчества, неожиданность образов, мастерство и разнообразие ритма, смелость и динамика в самой фактуре стиха его поражали. Да и мог разве Анатолий Федорович, любивший жизнь в ее безграничной пестроте, стать «запоздалой тенью»? Конечно, не мог. Каково бы ни было «изнеможение в кости», он никогда не «брел», а шел навстречу солнцу и движению «за новым племенем». Андрея Белого он долго не признавал. Как классический стилист, он не мог примириться с «членовредительством», которое автор «Северной симфонии» наносил русскому языку.

Но после «Серебряного голубя» и особенно после «Петербург» он его принял и даже находил, что для «хмарного» Петербурга и язык Белого есть самый настоящий.

¹ Вещь в себе (нем.)

«Это уже не литература, а разъятая стихия»,— говорил Анатолий Федорович. Когда я его упрекала в измене старым кумирам, он отшучивался, перефразируя стихи Баратынского: «Что делать. Грешен... грешен»,— произносил он лукавым кающимся речитативом,—

Другим курю я фимиам,
Но тех ношу в святые сердца,
Молюся новым образом,
Но... с беспокойством староверца...

Кони оставил нам целую галерею незабвенных портретов. Достоевский, Некрасов, Тургенев, Гончаров, Владимир Соловьев, Писемский и т. д. оживают под его пером всегда с неожиданной стороны. Тем, кто имел счастье слышать из уст Анатолия Федоровича живую повесть этих, уже сошедших с земной сцены, людей, казалось, что они видят их воочию, слышат звук их голоса. Такое счастье, да еще в простой обстановке деревенского дома, выпало на долю моей семьи. Анатолий Федорович очень любил нашу скромную усадьбу в Тверской губернии. У него было три деревенских «причала»: Ясная Поляна, которую он называл «дезинфекцией души от Петербурга», величественный «Караул» Б. Н. Чичерина, который утешал его своим высокоевропейским укладом, и наше маленькое Катино, куда он приезжал, как к себе домой. Он проводил у нас — в продолжение длинного ряда лет — рождественские праздники, раннюю весну в пасху. Наезжал и летом, и осенью, иной раз всего на три-четыре дня, чтобы «передохнуть».

Его приезды всегда были радостью не только для нас, но и для наших соседей. Благодушный старик-генерал с женой, которых для краткости называли «генералы», предводитель-земец, до японской войны считавшийся «правым», но после разочарования в Стесселе круто повернувшийся «налево», мизантропка-учительница, фрондирующие доктора и фельдшерицы, всегда со всеми согласный аптекарь и никогда ни в чем с ними не согласная, обиженная на весь мир, его супруга... Компания — что греха таить — немощко «чеховская», но и для нее приезды Анатолия Федоровича бывали событием. Все справлялись, ждали, и когда, проезжая мимо нашей усадьбы на станцию, видели огонек, то сообщали друг другу: «В катинской гостиной горит красная лампа, должно быть, приехал «Златоуст»...

Мой сын, вначале маленький гимназист, потом студент, и его товарищ — будущий защитник Фрунзе — были бес-

сменными адъютантами Анатолия Федоровича. К тем же праздникам принаравливал свои приезды к нам Николай Ильич Стороженко, всегда почти в сопровождении своей юной дочери, которая с такой неудержимой верой и звонким смехом мчалась навстречу жизни, что это могло заразить самых мрачных скептиков. Какое оживление вносили эти старые и молодые московские студенты в наш тихий дом! Днем каждый занимался своим делом, а по вечерам сходились вместе, слушали музыку, читали стихи и прозу, иной раз танцевали... А то Анатолий Федорович вдруг затеет парады. В ход пускались самые примитивные средства: садовые фонари, ширмы, бельевые корзины, простыни, купальные халаты, из сундуков вытаскивали старые платья, шубы и т. п.

Но самое прекрасное бывало, когда, после какой-нибудь шумной беготни по парку, «гости» разъедутся, мы остаемся одни и Анатолий Федорович позовет нас в библиотеку. Это была его любимая комната. В камине пылают, трещат и рассыпаются искрами толстые поленья и еловые шишки; несколько ламп без малейшего намека на «электрификацию»; на письменном столе в подсвечнике под колпаком — две свечи... В глубоком кресле Анатолий Федорович покуривает сигару, а перед ним большие переплетенные тетради.

Несколько лукавых слов... — Сигара уже лежит в пепельнице и вот замелькали перевертываемые быстрыми пальцами страницы, иногда несколько зараз... Анатолий Федорович начал читать и рассказывать о своих встречах «на жизненном пути»... Многие из этих встреч теперь напечатано, многое еще ждет своей очереди, но тогда он — да и все мы — думали, что только потомки наши прочтут о них в «Русской старине».

Юмор, находчивость, исключительное мастерство голоса и языка — от народной речи до тончайших лирических оттенков, от драматического диапазона до горбуновского гротеска, — поражали даже привычных слушателей, а новые смотрели на него во все глаза. Помню, как одна молодая женщина, долго жившая за границей, слушала, как очарованная, его рассказы в лицах о старых актерах, московских и петербургских. «Ах, Анатолий Федорович! — воскликнула она. — Как жаль, что вы не сделались актером». Все рассмеялись, хотя всем стало немножко неловко. Милая женщина почувствовала, что у нее вырвалось что-то нескладное, — и страшно сконфузилась. Только Анатолий Федорович улыбнулся какой-то особенно доброй улыбкой и, вздох

нув, произнес: «Да, мой голубчик, я и сам часто думаю, что ошибся в своем призвании...»

И, как знать, может быть, наивная слушательница была не так неправа. Кони был бы, несомненно, очень большим актером и жизнь его потекла бы тогда по другим рельсам легче и свободнее...

Кони не был ни присяжным филологом, ни беллетристом, ни поэтом... Откуда же он почерпал свой богатейший словарь? А эта многогранная игра диалога, в которой всегда чувствовалось: «с подлинным верно...». Все это у него было из бездонных глубин одного родника — из России... Он знал ее от курной избы до царских дворцов, от «калик перехожих» до Андрея Белого и Максимилиана Волошина.

«Самое сложное в искусстве — да и в жизни — простота, — говаривал Анатолий Федорович, — но хороша только та простота, которая дорого стоит. Посмотрите на «мужичков» Тургенева. Иван Сергеевич завещал нам Лукерью в «Живых мощах» — этот кристалл народной красоты, но и отлично знал, что «голоплецкий Еремей» надует либералов».

Провозглашенная «священной» мировая бойня повергла Анатолия Федоровича в полное уныние. Уже в сентябре 1914 года он пишет мне: как ужасно зрелище народа, переходящего «von Humanität durch Nationalität zur Bestialität». Его пугал «рефлекс на эти гадости у нас». Он уже видел этот рефлекс «в грубых и зловещих лубочных картинках и начинающейся травле недостаточных патриотов...»

Как Анатолий Федорович отнесся к революции? Он принял ее, как закономерное следствие затянувшейся войны, вскрывшей истлевшие устои, на которых держался импозантный фасад бывшей Российской империи.

Кони не был революционером. Он был философ-гуманист. Человеческую личность он считал величайшей ценностью [...] Среди ужасов гражданской войны, под обвалом векового строя, в разгар голода, в хаосе братоубийственной ненависти — этот бывший сенатор, а теперь больной старик, со сломанной ногой, на двух костыльках, появился перед только что вышедшей на свет аудиторией, настороженной и недоверчивой. Чему же он стал ее учить? Он стал ей рассказывать о том, что такое «этика общежития»... Его приняли вначале с осторожностью, отдаленно, а затем все ближе и дружелюбнее. Талисман, пленявший былую молодежь, пленил ему и новую. Этот талисман — неистребимая вера в жизнь, какие бы она ни принимала формы. В 1921 го-

ду, в день его рождения, к нему пришла делегация от его новых слушателей и принесла ему... белый хлеб. «Никогда, — писал он мне, — никакие цветы так меня не трогали и не радовали». И все эти годы, вплоть до последней болезни, он работает, приводит в порядок свои мемуары, пишет о Чехове, читает лекции на всевозможные темы. Ведь, начиная с 1918 года и до своей болезни, Анатолий Федорович, оказывается, прочитал тысячу лекций! Он не может расстаться с аудиторией, только она держит его на волнах грозного моря...

[...] Мне невольно вспомнился рассказ самого Анатолия Федоровича о его матери. Это было накануне ее смерти. Ей было 82 года, и она жаловалась, что сердце ее «не слушается». Анатолий Федорович, чтобы ее подбодрить, сказал: «Это тебе кажется, мама. У тебя совсем молодые глаза». — «Ах, мой друг, — возразила мать, — моим глазам всегда будет шестнадцать лет!»

Очевидно, мать передала свои глаза сыну.

О последних минутах Анатолия Федоровича мне пишет находившаяся при нем безотлучно Е. В. Пономарева:

«Анатолий Федорович, казавшийся уже в забытии, вдруг воскликнул, как бы обращаясь к аудитории: «Воспитание... воспитание... это главное. Нужно перевоспитать... Человек выощенный не то же самое, что человек воспитанный... Воспитание глубоко... Глубоко... Глубоко...»

Таковы были предсмертные слова этого учителя нравственного общежития, оставившего грядущим поколениям завет смиренного тюремного доктора и великого человеколюбца Гааза: «Торопитесь делать добро!..» [...]

М. С. КОРОЛИЦКИЙ

А. Ф. КОНИ

СТРАНИЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Он умирал так, как умирают немногие: умирая, он не переставал вспоминать то, что наполняло его столь богатую внешним блеском и внутренним содержанием жизнь. [...] Ослабело тело, износилась физическая оболочка, но мыслительный аппарат не тускнел. [...] Анатолий Федорович любил пересыпать свои увлекательные рассказы блестками остроумия [...] Это остроумие никогда не покидало Анатолия Федоровича. Я вспоминаю его рассказ о том, как, будучи обер-прокурором уголовного кассационного департамен-

та сената, он возвращался с дачи из Сестрорецка, причем в поезде с ним случилось несчастье, последствия которого так и остались на всю жизнь,— сломал ногу. На другой день утренние газеты оповестили о трагическом случае, и представители медицинского мира поспешили один за другим навестить больного Анатолия Федоровича. Между прочим явился и лейб-хирург, профессор военно-медицинской академии В. В. Павлов, давший ряд строжайших указаний, заметив при этом, что если Анатолий Федорович не исполнит его предписаний в точности, то одна нога останется у него короче другой. «Ну что же,— молвил с улыбкой страдания на лице Анатолий Федорович,— я тогда буду со всеми на короткой ноге».

[...] Читает Анатолий Федорович в Москве три публичные лекции при переполненной аудитории. Юридическое общество устраивает в честь именитого гостя пышное заседание, на котором ряд профессоров восхваляет его неисчислимые заслуги. Растроганный Анатолий Федорович выражает благодарность; говорит, что испытывает необычайное смущение, выслушав такие преувеличенные себе похвалы; и, в виде ответа, единственное, что ему остается сказать, это перефразировать известные слова Потемкина-Таврического Фонвизину после представления «Недоросля» («Умри, Денис! Лучше не напишешь!»): «Умри, Кони! лучшего не услышишь!»

Входившим с ним в общение сценическим деятелям он как-то однажды, шутя, сказал, что у него с ними много общего — и он значительную часть своей жизни разыгрывал роли: первого любовника (до самозабвения влюблен был в являющуюся ему, точно Венера из морской пены, с повязкой на глазах Фемиду); резонера (напутственные речи присяжным по должности председателя суда); страшного злодея (казнил порок и требовал возмездия за содеянные преступления в качестве прокурора); добродетельного отца (отстаивал интересы малолетних) и т. д.

Убеленному сединами общественному деятелю и литератору, на торжественном заседании в честь его сорокапятилетнего юбилея, А. Ф. заявляет, что в нем, А. Ф., просыпается обвинитель и что он требует для юбиляра за учиненные им «дела» высшей меры наказания — долголетней деятельности на поприще литературы и общественности на его дальнейшем жизненном пути.

Эта атмосфера остроумия всегда как-то ощущалась вокруг А. Ф., всегда как бы от него излучались эта легкость и игра мысли.

Указанная черта была, однако, одним из элементов его сложной личности, в которой главенствовали иные ноты, иные настроения, особый комплекс чувствований и переживаний. А. Ф. брал жизнь, культуру, человечество в их общем, большом объеме, с точки зрения устоев, на которых зиждется текущий фазис европейской цивилизации. Он говорил о внутреннем вырождении в Европе, тщете прогресса, иррациональности достижений; говорил о сумерках духа, тоске и разочаровании мысли. И А. Ф. уходил от столбвых дорог, по которым мчится мировая жизнь, искал отвлечения и находил забвение в думах о прошлом, в воспоминаниях о былом, этом «единственном рае», из которого, по остроумному замечанию Жан-Поля Рихтера, человек не может быть изгнан.

[...] Я живо помню рассказ А. Ф. о том, как, находясь вместе с Гончаровым в Дуббельне в момент смерти Тургенева, он тотчас же вывесил в карауле депешу, уведомляющую об этой потрясшей всех, пришедшей из Буживали вести, сообщив о ней и Гончарову, причем тот, всю жизнь, как известно, до болезненности враждовавший с Тургеневым, ответил: «Не верьте: притворяется!»

Или в другой раз, А. Ф. вошел в кабинет к Гончарову, где за рабочим столом, в обычной позе в халате, с сигарой во рту, за чашкой чая, невозмутимо сидел писатель, совершенно как бы забыв, что они накануне условились с А. Ф. вместе в этот день обедать у знакомых. Предстояло пройти расстояние с версту, а времени, чтобы поспеть к назначенному часу, оставалось мало. А. Ф. напомнил Гончарову и, когда тот удалился за ширму и принялся со спокойной медлительностью приводить в должный вид свой туалет, снова стал поторапливать его. Замешкавшийся Гончаров поспешнее стал одеваться, при этом повторял: «Чичас, чичас...» Когда уже вышли на дорогу, А. Ф. обратился к Гончарову: «Иван Александрович! Ведь вот вы говорили, что не читаете Тургенева; между тем слова, произнесенные вами за ширмой, — из рассказа Тургенева «Несчастливая». Гончаров, смутившись, отвечал: «Да видите ли, принесли из лавочки покупки, завернутые в корректуры; я поинтересовался: да, недурно, недурно!»

А. Ф. любил предаваться воспоминаниям, расцветивая их со всею яркостью своего образного и выразительного слова: это был какой-то живой калейдоскоп, где на фоне эпох вставали лица, события, происшествия, взаимоотношения самых разнообразных видов и оттенков, но всегда исполненных серьезного смысла и значения.

Чрезвычайно забавно рассказывал [...] А. Ф., как он, выступая в сенате докладчиком по делу одного из первых земских начальников, некоего Протопопова, свирепо расправлявшегося путем порок с крестьянами, назвал его, в ответ на его ссылки и неоднократные подчеркивания, что он кандидат прав, — «кандидатом бесправия». Раздосадованный таким заключением Анатолия Федоровича, Александр III на докладе министра из списка получавших дополнительное жалование сенаторов, которое равнялось полутора или двум тысячам в год, вычеркнул фамилию Кони. Если помножить эту цифру на число лет, в течение которых он лишался означенной суммы, то получится, — иронизировал А. Ф., — что «кандидат бесправия» обошелся ему в 50 тысяч.

А. Ф. иной раз подолгу рассказывал о борьбе карьер, мелких самолюбий в среде высшего бюрократического са-новничества.

Виленская еврейская община возбуждает ходатайство о разрешении ей открыть дом трудолюбия. Генерал-губернатор фон Валь в этом отказывает. Дело по жалобе виленских евреев поступает и разбирается в комиссии попечительства о домах трудолюбия в составе министров под председательством Александры Федоровны, под покровительством которой находились дома трудолюбия. В этот комитет привлечены были некоторые из сенаторов, в их числе А. Ф. Первым высказывается министр внутренних дел Плеве в том смысле, что, пока он — министр, никаких поблажек и послаблений евреям сделано не будет в виду их активного участия в революционном движении; дом же трудолюбия в Вильне он все же предлагает разрешить именно в целях отвлечения еврейской бедноты, еврейской массы от увлечения революцией. Вслед за тем выступает Витте и говорит, что, пока он министр финансов, ни гроша на еврейские благотворительные учреждения дано не будет, отнюдь не потому, что евреи революционеры — они, по его мнению, никакой революцией не занимаются, — а единственно потому, что не подобает-де русской царице покровительствовать евреям; тем более что если сегодня дать разрешение виленской общине, то почему завтра не предоставить того же общине витебской, ковенской, гродненской, минской, могилевской и т. д. Это говорил тот самый Витте, который в соответствующих случаях, когда ему было нужно, склонен был считать евреев истыми революционерами, равно как выдавать себя за юдофила. В данном случае суть была в том, что раз Плеве говорит одно, он, Витте, его постоянный соперник, должен говорить другое, ди-

аметрально противоположное. Кончилось тем, что управляющий делами канцелярии хитроумный царедворец Танеев предложил за поздним часом дело решением отложить, а вернее — положить под сукно. А. Ф. вскоре после того, после нескольких очередных заседаний, вышел из комитета, мотивируя свой выход перед Александрой Федоровной следующим образом: «Полтораста лет тому назад Екатерина Великая проезжала по недавно завоеванной Новороссии. Перед ее умиленными взорами расстилалась эффектная обстановка, роскошные здания, все кругом утопало в роскоши и блеске. Но когда ее восторги несколько улеглись, ей объяснили, что все, что она видела, — были одни лишь декорации. Так все, что происходит вокруг нас, — тоже одна только декорация».

«Россия, — говорил французский министр в приезд его к нам в период мировой войны, — должна быть очень богатой и уверенной в своих силах, чтобы позволить себе роскошь иметь такое правительство, как ваше, в котором премьер-министр — бедствие (*un desastre*), а военный министр — катастрофа (*une catastrophe*)», — читаем мы у Родзянко в его «Крушении империи».

Такое же отношение к нашим высшим сановникам сквозило порой в характеристиках А. Ф. Эти характеристики в ярких линиях и широких, выразительных чертах обрисовывали живые образы, полные нравственного маразма фигуры людей, их личностей целых четырех царствований, — людей, на которых, по образному сравнению А. Ф., точно на руке одного из бессмертных образов Шекспира леди Макбет остались навеки несмываемые пятна. С этого рода людьми А. Ф. остался навсегда непримиримым. Ему в одинаковой мере претило и «надменное бесчестие», и «селейное, проникнутое смирением фарисейство». Придя в Государственный совет, А. Ф. сел в академическую группу, заодно с М. М. Ковалевским и другими представителями русской передовой интеллигенции, противопоставившей себя людям, по выражению А. Ф., с «оглядкой назад, на XV и XVI века и с канцелярским мировоззрением». И не забудутся, не затеряются полные гордого сознания и моральной удовлетворенности речи А. Ф. в том же Государственном совете!

В этических вопросах, в вопросах принципов, кардинальных вопросах личной и общественной чести, индивидуальной и коллективной совести А. Ф. не знал «средних решений», а придерживался решений безусловных, категорических. И в этой нравственной непоколебимости, мораль-

ной твердости и бесповоротности была какая-то особенно своеобразная красота. Здесь уместно будет вспомнить, как однажды трусливый редактор журнала с великой робостью убеждал А. Ф. изменить одно, только однозначное слово в статье А. Ф., причем получил категорический отказ. Или в другой раз, после события 1 марта 1881 года, когда А. Ф. начинал заказанную ему статью для одной из либеральных того времени газет следующими словами: «Черные флаги реют над Зимним дворцом; черные мысли гнездятся в уме...» — профессор-редактор, струсив, предложил А. Ф. изменить загадочную фразу, но тоже получил не менее категорический отказ.

Прямота А. Ф., стойкость его публичных выступлений внушали особую к нему неприязнь со стороны людей противоположного лагеря, которые нередко метали в него отравленные ядом стрелы. Эта среда, среда высшей бюрократии, как и все ретроградное, имела все основания не любить А. Ф. [...]

Вообще слово, слово-образ, слово-мысль играло громадную, первостепенную роль в его подвиге жизни [...], в том, что он называл «шестым чувством — чувством совести». [...]

Он живо ощущал изумительную прелесть и неизреченную красоту родного языка, которым с таким блистательным совершенством владел и пользовался. Он нередко с неподдельной грустью говорил о засорении языка, об употреблении чуждых ему оборотов и слов — язык для А. Ф. был тою восхитительно стихией, с помощью которой он находил средства для выражения своих красочных помыслов и ясной, нестареющей и умудренно-сосредоточенной думы. И читая, как и слушая изустную речь А. Ф., мы неизменно убеждались в том, что старость, которая, по словам Монтеня, «оставляет больше морщин на умственном облике нашем, чем на лице», совершенно не отразилась на его светлом интеллекте. [...] Но уже близок был закат, и А. Ф. это ясно чувствовал. «Смерть не страшна, — говаривал он, — страшно умирание». [...] Незлобивым и небрюзжащим, он, напротив того, искренне радовался росту жизни, тем ее проявлениям, где он видел здоровое развитие, различал живые начала. Он, бывало, с восхищением говорил о тех силах и свежих дарованиях, которые ему доводилось порой открывать в современной ему молодежи; говорил о тех возможностях, которые таят в себе эти молодые, стремящиеся к свету и теплу побегу. И в устах 83-летнего старца такое его восторженное отношение ко всему яркому и талантливому в молодежи звучало особенно выразительно. А. Ф. всегда

готов был помочь всему, что выходило за черту ординарности, в чем он улавливал признаки недюжинной индивидуальности и дарования.

Он жил на грани эпох, в смену культур, социальных устоев... Уходил корнями в прошлое, неразрывно был с ним связан. Но и поколения грядущие немало почерпнут из того, что составило его «жизненный путь», что освещено им с такою образною живостью и с таким мудрым спокойствием его выдающегося словесного дара.

ПРИМЕЧАНИЯ

Дело Овсянникова

Очерк впервые опубликован в либерально-демократическом историческом журнале «Русская старина» (1907.— № 10), под рубрикой «Из прокурорской службы» — в числе других материалов цикла «Из записок и воспоминаний судебного деятеля». Вошел в т. 1 «На жизненном пути» (все издания) и в т. 1 Собрания сочинений в 8 томах (М., 1968).

Дело столичного хлеботорговца Степана Тарасовича Овсянникова, потомственного почетного гражданина, коммерции советника, первогильдийного купца, слушалось в Петербурге в конце 1875 года и нашло широкое отражение в прессе, заинтересованно обсуждалось столичной общественностью разных лагерей. Личность подсудимого была незаурядною; в его так называемом «формулярном списке», оглашенном на процессе, значилось и награждение очень ценными в купеческой среде медалями «За полезное» и «За усердие», но вместе с тем фигурировали и неоднократные судимости; кроме того, он пустил в ход все методы, дабы «прикрыть дело», употребив взятки, подкуп, угрозы, шантаж должностных лиц, свидетелей, экспертов. В сущности,— это все понимали,— нечистый на руку, свободный от нравственных и гражданских обязанностей делец бросал вызов новому суду, и Кони недаром назвал итоги процесса «торжеством» этого суда. Хотя на «государственном» уровне хищников, армейских интендантов, воровавших вкупе с подсудимым, привлечь не удалось. «Проверенная» (т. е. гнилая, стяжательская) система хлебных поставок армии в канун войны с Османской империей осталась неприкосновенной.

С. 15. *граф Пален К. И.* (1830—1912) — товарищ министра и министр юстиции (1867—1878), креатура шефа жандармов и начальника III отделения П. А. Шувалова.

С. 15. *Кокорев В. А.* — крупный предприниматель, публицист.

С. 16. *Милюгин Д. А.* (1816—1912) — военный министр (1861—1881).

С. 17. *цивилист* — юрист, занимающийся гражданскими делами. *Боровиковский А. Л.* (1844—1905) — известный юрист, адвокат, поэт, придерживавшийся прогрессивных взглядов.

С. 20. *часть* — полицейское городское учреждение, имевшее арестные помещения для предварительного содержания под стражей.

С. 20. *Спасович В. Д.* (1829—1907) — профессор, выдающийся адвокат, ученый, публицист. Многолетний знакомый Кони, почитавшего его своим учителем.

Игуменья Митрофания

Напечатано в «Русской старине» (1908.— № 3), вошло в первые тома «На жизненном пути» и Собрания сочинений.

В октябре 1874 г. Московский окружной суд присудил игуменью к ссылке в Енисейскую губернию на 3 с половиной года, и ей было запрещено покидать Сибирь на протяжении 11 лет.

С. 23. *наместника Кавказа* — барона Г. В. Розена (1831—1837)

Темное дело

Очерк появился в «Русской старине» (1906.— № 11) и потом вошел в первые тома «На жизненном пути» и Собрания сочинений без изменений.

С. 31. *Тардьё* Амбруаз — французский судебный медик и ученый.

С. 32. *Миногавр* (миф.) — чудовище на о. Крит, пожиравшее жертвы в Лабиринте.

Пропавшая серьга

Очерк появился в газете «Неделя» (1901.— № 33). Поэт А. Н. Апухтин (1840—1893) на материале очерка создал поэму «Последняя ночь» (опубликована «Вестником Европы» в № 4 за 1889 г. под названием «Из бумаг прокурора»).

Из казанских воспоминаний

Появились в «Русской старине» (1907.— № 10) и вошли в первые тома «На жизненном пути» и Собрания сочинений.

С. 39. *криминолог Ломброзо* Чезаро (1835—1909) — итальянский врач-психиатр, автор антропологического учения о прирожденной преступности; русская демократическая печать (писатели, социологи, ученые) резко восстала против этой теории.

Иван Дмитриевич Путилин

Биографический очерк напечатан в «Русской старине» (1907 - № 12) Вошел в первые тома «На жизненном пути» и Собрания сочинений.

С. 42. *градоначальник Ф. Ф. Трепов* (1803—1889) — после 1866 г (покушение Д. Каракозова) один из проводников курса контрреформ, тип *бурбона*, исполнителя «старой школы», всегда готового «тащить и не пущать». В то же время не забывал о личных выгодах, запуская руку в казну Дело В. Засулич раскрыло с разных сторон эту фигуру.

С. 42. *Горбунов И. Ф.* (1831—1895) — актер, талантливый рассказчик. писатель, друг Кони.

С. 44. *Сперанский М. М.* (1772—1839) — выдающийся государственный деятель, составитель Основных законов империи (1832), возносился и подвергался опалам при Александре I и Николае I.

Путилин И. Д. (1830—1893(99)?) в 60—80-х годах руководил столичной сысковой полицией; Кони, близко соприкасавшийся с ним, высоко ставил его профессиональные качества и верность служебному долгу Однако Путилин выглядит у автора односторонне добрым, благодущным, в то время как он сыграл незавидную роль в политических делах М. Л. Михайлова, Н. Г. Чернышевского и др. революционеров (см.: Лемке М. К. Политические процессы в России 1860-х годов. — М.; Пг., 1923), выслеживал деятелей освободительной борьбы, оказывал помощь III отделению.

По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем

Обвинительная речь А. Ф. Кони вошла в его книгу «Судебные речи (1868—1888)» (Спб., 1888), посвященную учителю — профессору римского права Никите Ивановичу Крылову. Издавались «Судебные речи» в 1890, 1897, 1905 гг. с неизменным посвящением. Включена в т. 3 Собрания сочинений.

Автору был очень дорог этот сборник. «В своем четвертом издании «Судебных речей» объемом в 1150 стр.,— писал он знакомой,— в введении и предисловии я обществу отдаю отчет в моей службе за 40 лет. 30 сентября 1905 г. будет сорокалетний юбилей» (Собр. соч.— Т. 3.— С. 489). Это издание автор посвятил другому своему учителю — юристу, историку Борису Николаевичу Чичерину.

Дело об утоплении Емельяновой слушалось 12 декабря 1872 г. в Петербургском окружном суде с участием присяжных заседателей. Обвинение поддерживал А. Ф. Кони, защищал обвиняемого В. Д. Спасович, очень сильный противник, один из ярких представителей плеяды выдающихся адвокатов пореформенной поры. Он сказал Кони, профессионально оценивая результаты следствия: «Вы, конечно, откажетесь от обвинения: дело не дает вам никаких красок...» — «Нет,— отвечал я ему,— пишет Кони,— краски есть: они на палитре самой жизни и в роковом стечении на одной узкой тропинке подсудимого, его жены и его любовницы». (Собр. соч.— Т. 4.— С. 130). Кони часто обращался к воспоминаниям о деле столичного банщика Егора Емельянова. В статье «Приемы и задачи прокуратуры» (1911) он рассказал о методах своей работы. «Ознакомясь с делом,— писал Кони,— я приступал прежде всего к мысленной постройке защиты, выдвигая перед собою резко и определенно все возникающие и могущие возникнуть по делу сомнения, и решал поддерживать обвинение лишь в тех случаях, когда эти сомнения бывали путем напряженного раздумья разрушены и на развалинах их возникало твердое убеждение в виновности. Когда эта работа была окончена, я посвящал вечер накануне заседания исключительно мысли о предстоящем деле, стараясь представить себе, как именно было совершено преступление и в какой обстановке. После того, как я пришел к убеждению в виновности путем логических житейских и психологических соображений, я начинал мыслить образами. Они иногда возникали предо мною с такою силой, что я как бы присутствовал невидимым свидетелем при самом совершении преступления» (Собр. соч.— Т. 4.— С. 152).

Эти поразительные по искренности и профессиональной точности строки прежде всего применимы к делу мужа-убийцы. «Придя к твердому убеждению в его виновности (в чем он и сам после суда сознался),— отмечает Кони,— несмотря на то, что полиция нашла, что здесь было самоубийство,— я в ночь перед заседанием, обдумывая свои доводы и ходя, по тогдашней своей привычке, по трем комнатам своей квартиры, из которых лишь две крайние были освещены, с такой ясностью видел, входя в среднюю комнату, лежащую в воде ничком, с распущенными волосами,

несчастную Лукерью Емельянову, что мне, наконец, стало жутко» (там же).

Выступал на этом процессе Кони столь ярко, так убедительна была его речь обвинителя, что учитель вынужденно согласился с победой ученика и речь его назвал «романом, рассказанным прокурором», а присяжные вынесли свое: «Да, виновен». Суд признал Емельянова виновным в «насильственном лишении жизни своей жены, но без предумышления и по обстоятельствам дела заслуживающим снисхождения». Его лишили всех прав состояния и отправили на 8 лет на каторгу.

Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако

Очерк помещен в т. 2 «На жизненном пути» (1-е и 2-е изд.— Спб., 1912 и 1913), а под новым названием и с рядом вставок вошел в широко известное издание Кони «Отцы и дети судебной реформы» (М., 1914) Включен составителями в т. 5 Собрания сочинений.

Оба персонажа очерка — выдающиеся деятели пореформенной поры, известные и популярные в широких кругах общества прежде всего как ораторы-гуманисты, отстаивающие демократические и нравственные начала в русском «новом суде».

Как защитник Нечаева (см. очерк «Из казанских воспоминаний» Урусов (1843—1900) подвергся гонениям — административной высылке из столицы, а затем ряд лет принужден был занимать по службе места, не отвечающие его талантам юриста и масштабам его личности. В пору реакции выступал как защитник несправедливо гонимых «инородцев» и ревнителей веры. Известен и как литературный и театралный критик.

О Плевако (1843—1908), чья слава и популярность в широких демократических кругах столиц и провинции были необычайны, известный писатель В. В. Вересаев сказал лапидарно и точно: «Главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, прямо колдовской заразительности чувства, которым он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы» (Вересаев В. В. Соч.— Т. 4.— М., 1948.— С. 446). Большой резонанс получили защитительные речи Плевако на процессах революционера Петра Моисеевко — организатора морозовской стачки (1886 г.) и рабочих фабрики Коншина в Серпухове (1897 г.).

С. 71. *дело М. Волоховой* слушалось в феврале 1867 г. в Московском окружном суде.

...на громком процессе.— Дело Н. Кострубо-Карицкого и В. Дмитриевой разбиралось в Рязанском окружном суде в январе 1871 г.

С. 76. *Увар Иванович* — персонаж из романа «Накануне».

К истории нашей борьбы с пьянством

Статья-исследование появилась в столичном журнале «Новая жизнь» (1915.— № 4).

В основу статьи легли положения речей А. Ф. Кони, с которыми он много раз выступал в Государственном совете, членом которого был на-

значен 1 января 1907 г. и в работе которого принимал самое деятельное и энергичное участие. Государственный совет считался «верхней палатой», «вижней» почитали думу. Человеку прогрессивному, озабоченному не личными, а общественными, гражданскими интересами (в отличие от большинства членов совета), сенатору Кони тяжело давалась его деятельность. «Я здесь окружен этими господами...— делился он со знакомой.— Если бы знали, какой это неисчерпаемый кладезь трусости, лакейства перед тем, что скажут» (Собр. соч.— Т. 4.— С. 502). Тем не менее, при каждом удобном случае Кони сражался за свободу совести, слова, печати, за неприкосновенность реформ 60-х годов, права женщины, народное образование и просвещение, за здоровье народное — одним из лютых врагов которого почитал пьянство.

Свои речи по последнему вопросу Кони старался серьезно обосновать статистически, социологически, нравственно. Под пьянством, доказывал он, понимают «привычную нетрезвость, которая постепенно от привычки переходит в слабость, из слабости обращается в порок, а от порока выражается часто в преступление, а еще чаще в болезнь. Поэтому борьба с пьянством должна состоять в борьбе с этого рода порочной привычкою, а не с потреблением вина вообще». «Борьба с пьянством,— доказывал Кони,— должна быть направлена на ту порочную привычку постоянной нетрезвости, благодаря которой образуется особый контингент пьяниц, особое не только бесполезное, но и вредное наслоение среди населения» (Государственный совет: Стенографические отчеты 1908—1909 гг.— Спб., 1909.— С. 1209—1210). Статьи и очерки по этому вопросу вошли в т. 2 «На жизненном пути» и т. 4 Собрания сочинений.

«Петр IV»

Очерк напечатан в историко-революционном журнале «Голос минувшего» (1919.— № 5(12)).

С. 85. *государь... напуган... и... огорчен.*— Отношение Кони к Александру II было неоднозначным, в отличие от мнения о его сыне и внуке. Он ценил «великие начинания» царя-«Освободителя», сменившие «тьму» «светом преобразования», при нем для Кони оказался «зажжен, как маяк, огонь настоящего правосудия», но царь приближал и реакционеров типа Шувалова, искажавших положительные начала его реформ.

С. 86. *Жигарев С. С.* «прославился» особой жестокостью как глава прокурорского дознания по делу участников «хождения в народ» и «процессу 193-х».

С. 86—87. Факт, имевший место в 1826 году, с образованием зловещего III отделения.

С. 89. *Нечаев С. Г.* (1847—1882) — революционер, теоретик и практик казарменно-палаческих, заговорщических методов революционной борьбы; вместе с тем мужественно держался и погиб в Петропавловской крепости.

Представление Александру III в Гатчине

Впервые опубликовано в т. 2 Собрания сочинений; рукопись хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ф. 134 — А. Ф. Кони).

С. 94. *«бесмысленные мечтания»* — печально знаменитая фраза Николая II, имевшего в виду надежды русского общества на какие-то конституционные ограничения самодержавного правления и созыв народных представителей. Заявлено 17 января 1895 г. молодым царем на приеме депутатов земств и городов России.

С. 95. *Манасеин Н. А.* (1835—1895) — директор департамента, а затем министр юстиции (1885—1894).

в 1892 году. — В этом голодном году недород и болезнь захватили в основном Поволжье. Власти устранились, и помощь голодающим оказывали в основном земские и филантропические общества, в деятельности которых принимали участие также Л. Толстой, Короленко, Чехов; «холерные беспорядки» доведенных до отчаяния, брошенных начальством крестьян сопровождалась, в частности, избиениями поспешивших на помощь медицинских работников.

С. 96. *Боткин С. П.* (1832—1889) — неизвестный врач-терапевт

С. 97. *императрица* — до выхода замуж за Александра III датская принцесса Дагмара, в православии Мария Федоровна.

Открытие I Государственной думы

Впервые опубликовано в т. 2 Собрания сочинений на основании рукописи, находящейся в ф. 134 рукописного отдела Пушкинского Дома и ЦГАОР (ф. 564).

Дума, созванная в соответствии со «свободами» 17 октября 1905 г., просуществовала с 27 апреля по 8 июля следующего года и была «распущена», т. е. разогнана царским манифестом.

С. 100. *Цез В. А., Желеховский В. А.* — юристы, сенаторы, коллеги Кони по службе в министерстве юстиции и сенате; второй, как и *палач Дейер П. А.* — председатель (первоприсутствующий) на процессах Нечаева и «второго 1 марта» (1887 г.), где осуждены А. И. Ульянов с товарищами, — отличался особой безжалостностью в преследованиях революционеров.

Николай II

Впервые опубликовано в т. 2 Собрания сочинений по рукописи, хранящейся в Пушкинском Доме (ф. 134).

С. 104. *«Вестник Европы»* (1866—1918) — авторитетный в либерально-демократических кругах литературный и историко-политический журнал, основанный и бесценно руководимый до 1908 г. историком профессором М. М. Стасюлевичем — другом Кони. В журнале публиковали свои произведения многие писатели, публицисты, историки, социологи, в том числе Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Ключевский, Кавелин; Кони большей частью тоже печатался здесь (см. его большой очерк-воспоминание «Вестник Европы» — Собр. соч. — Т 7)

С. 105. Николай II носил звание и форму полковника.

С. 108—109. Принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская после принятия православия стала именоваться Александрой Федоровной.

С. 109. *Ровинский Д. А.* (1824—1895) — юрист, сенатор, видный искусствовед и исследователь народного творчества и быта, друг Кони. Ему посвящена большая статья-воспоминание «Дмитрий Александрович Ровинский» (см.: Собр. соч.— Т. 5).

С. 111. *Герье* — профессор, врач.

С. 112. *Танеев А. С.* — многолетний главноуправляющий царской канцелярией.

С. 112. *Галкин-Врасский М. Н.* — начальник главного тюремного управления.

Страничка из жизни Пушкина

Впервые опубликовано в столичном «Журнале для всех» (1904.— № 12). Статья появилась в разных редакциях, в настоящем сборнике печатается по последнему прижизненному варианту: На жизненном пути.— Ревель; Берлин, 1923, повторенному в т. 6 Собрания сочинений.

С. 115. Приводятся строки из стихотворения П. А. Вяземского «Памятник Петру I в Карлсбаде»; ниже приведены строки из его стихотворения о «сфинксе» — Александре I.

С. 116. *я мыслю о себе выше. Посылка на саранчу...* — Стараниями генерала М. С. Воронцова (1782—1856), всесильного наместника Новороссии, Пушкин был выдворен из Одессы в его псковское имение. Анекдотический эпизод с унижительной посылкой «коллежского секретаря» Пушкина «на саранчу» имел продолжением ответные действия поэта — его смешливый рапорт: «Саранча летела, летела и села, все съела и опять улетела». Последним поводом к высылке стало перехваченное письмо Пушкина к В. К. Кюхельбекеру (здесь, в частности, поэт упоминал о получаемых им «уроках чистого афеизма»). «Любознательный почтмейстер» из «Ревизора» занимается перлюстрацией писем.

С. 117. *в тине жизни.* — Пушкин тяжело переживал резкое ухудшение отношений с отцом, по слабости души или из верноподданнического страха перед начальством согласившимся в михайловском заточении сына осуществлять домашний полицейский надзор за ним, что сделало их отношения на какое-то время невыносимыми.

однажды высказано... — В интересной статье «Нравственный облик Пушкина» (1899, вошла в книгу Кони «Очерки и воспоминания» (Спб., 1906) и в т. 4 «На жизненном пути») подчеркивались и «любовь к правде» Пушкина, и раннее его мужание как поэта и гражданина, и прямого и смелость в объяснениях с «высшим» начальством (Милорадович, Бенкендорф и сам Николай I).

С. 118. *Москва приняла Пушкина.* — См. «Рассказы о Пушкине» С. И. Шевырева. *Шевырев С. П.* (1806—1864) — поэт, критик, историк литературы.

Соболевский С. А. (1803—1870) — литератор, друг Пушкина.

С. 119. *Чичерин Б. Н.* (1828—1904) — известный историк, юрист, публицист, ученый пореформенной поры, с Кони его связывали дружеские отношения, близость идейных воззрений.

Вельтман А. Ф. (1800—1870) — писатель, родственник Кони по матери.

С. 120. Записки В. П. Зубкова изданы в 1906 г.

замечательные цивилисты... — знатоки гражданского права. Признавая К. П. Победоносцева (1827—1907) как ученого, своего педагога в университете, Кони резко отрицательно оценивал его зловещую роль как деятеля общественного, особенно руководителя синода в пору реакции, «серого кардинала» двух последних царствований (обоим цесаревичам по иронии судьбы преподавал законоведение).

С. 121. *Зачем безвременную скуку...* — Стихи посвящены другой женщине и уже позднее переадресованы С. Ф. Пушкиной.

С. 123. *Гаевский В. П.* — историк литературы, его статья «Перстень Пушкина» напечатана в «Вестнике Европы» (1888. — № 2).

получил выговор. — Некролог принадлежит не А. А. Краевскому, а близкому знакомому Кони, замечательному человеку — прозаику, критику, композитору В. Ф. Одоевскому (1803—1869), которому посвящена большая, тепло написанная статья-воспоминание (см.: Собр. соч. — Т. 6).

С. 124. *Корф М. А.* — лицейский товарищ Пушкина, вышедший в саванники; в увидевших свет в 1887 г. воспоминаниях дал искаженный портрет поэта, которого он воспринимал в мещански-бытовом плане.

Довгочлун Иван Никифорович — персонаж повести Н. В. Гоголя.

Ирина Семеновна Кони

Статья напечатана в т. IX «Русского биографического словаря» (Пб., 1903).

Анастолій Федорович на протяжении всей жизни матери относился к ней с чувством огромной любви и сыновней верности. Их связывали не только кровные, но и крепкие духовные узы. Кони унаследовал от матери — вместе с литературным талантом, тягою к миру театра — альтруистское стремление помогать людям, дар просветительства (Ирина Семеновна, уже оставив сцену, вела большую общественно-филантропическую деятельность).

Тургенев

Очерк опубликован в майском номере «Вестника Европы» за 1908 г. Вошел в подборку воспоминаний о писателях: «Тургенев. Достоевский. — Некрасов. — Апухтин. — Писемский. — Языков». Очерк входил во все три издания 2-го тома «На жизненном пути» (Спб., 1912 и 1913; М., 1916). Печатается по т. 6 Собрания сочинений, с некоторыми обоснованными этим изданием сокращениями.

С. 127. ...Журнальный вариант и издание 1913 г. включали любопытный

комический эпизод с Тургеневым, Герценом и французским ученым и политическим деятелем Эмилем Литтре (1801—1881). Русские писатели посетили создателя знаменитого «Словаря французского языка» (Париж, 1863—1872.— Т. 1—4), и разгорелся бурный спор из-за какого-то выражения в нем. «Герцен,— рассказывает Кони со слов Тургенева,— очень горячился, нервно ходил по комнате и залпом выпил два стакана бережно разлитого хозяином вина. Наконец, спор утих, и мы стали собираться уходить... И тут хозяин спросил, как им понравилось его вино, на что Герцен, еще, видимо, не остывший от спора и под влиянием его не разобравший, что пил, ответил рассеянно: недурное винишко («petit vin»). Хозяин возразил потрясенно: ведь это шамбертен тридцать седьмого года, 30-летняя драгоценность, которую раскупорил только для русских друзей... И очень огорчился Герцен, для которого творческая полемика затмевала все на свете: «Зачем он не сказал, какое это вино и какого года: я бы его совсем по-другому пил!..»

С. 128. *состоит членом-корреспондентом...*— с конца 1860 г.

С. 129. *Устный рассказ* вылился в одномоментное «насильственное» написание Тургеневым статьи «Пергамские раскопки», которые М. М. Стасюлевич опубликовал в своем «Вестнике Европы» (1880.— № 4).

С. 130. *Кони Ф. А.* (1809—1879) — театральный драматург, критик, издатель, отец Кони. Ему посвящен отдельный очерк А. Ф. Кони, впервые напечатанный в журнале «Нива» № 14 за 1909 г. (к 100-летию со дня рождения).

С. 130. *Виардо-Гарсия Полина* (1821—1910) — французская певица (сопрано), в 1830—1860 гг. выступала с гастролями в Петербурге. Предмет многолетней трудной, мучительной любви И. С. Тургенева.

С. 132. *Кавелин К. Д.* (1818—1885) — выдающийся либеральный историк, публицист западнической ориентации, друг Кони, который написал о нем очерк, вошедший в его книгу «Очерки и воспоминания» (СПб.) и в 4-й том «На жизненном пути».

С. 133. *Стих Некрасова* — из стихотворения «Несчастные».

С. 134. *Золя в «Вестнике Европы»* сотрудничал в 1875—1880 гг., напечатаны его «Парижские письма», рассказы, очерки, статьи.

С. 136. *А. Н. Островский назвал в своей речи...*— 7 июня 1880 г в Москве на обеде членов Общества любителей российской словесности: «Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов!.. нынче на нашей улице праздник». — Островский А. Н. Полн. собр. соч.— М., 1952.— Т. XIII.

Полонский Я. П. (1819—1898), *Плещеев А. Н.* (1825—1893) — известные поэты; посвященные Пушкину стихи вошли в сборник «Венок на памятник Пушкину» (СПб., 1880).

С. 137. *Евреинова А. М.* (1844—1919) — первая из русских женщин стала доктором права (Лейпциг, 1875), в 1885—1890 гг. издавала столичный журнал демократического направления «Северный вестник».

С. 138. *Ключевский В. О.* (1841—1911) — выдающийся историк, со-

ученья Кони по студенческим годам, ему посвящен прочувствованный очерк последнего (На жизненном пути.— Т. 2).

денежная помощь шла революционно-демократическому зарубежному журналу «Вперед», руководимому П. Л. Лавровым. В газете Каткова Тургенев непрестанно подвергался шельмованию.

С. 139. *Писемский А. Ф.* (1821—1881) — выдающийся русский писатель. Кони был знаком с Писемским с молодых лет и оставил яркие воспоминания о нем (Собр. соч.— Т. 6).

С. 140. *«вы можете споткнуться»*... — «Порог» напечатан в прокламации «Тургенев», написанной членом революционной «молодой «Народной воли» поэтом Якубовичем в дни похорон великого писателя. В подцензурной печати (журнал В. Г. Короленко «Русское богатство».— 1905.— № 12) смог появиться лишь в пору первой русской революции.

Николай Алексеевич Некрасов

Впервые напечатан в «Вестнике Европы» (1908.— № 5) как 3-й раздел «Отрывков из воспоминаний». В составе цикла «Тургенев.— Достоевский.— Некрасов.— Апухтин.— Писемский.— Языков» помещен во 2-м томе «На жизненном пути» во всех трех изданиях (Спб., 1912; Спб., 1913 и М., 1916); также был включен в книгу Кони «1821—1921. Некрасов, Достоевский. По личным воспоминаниям» (Пб., 1921). Это юбилейное издание автор сопроводил вступлением, в котором, в частности, писал: «На моем долгом жизненном пути судьба послала мне личное знакомство с Некрасовым и Достоевским, Львом Толстым и Майковым, Тургеневым и Гончаровым, Писемским, Соловьевым, Апухтиным, Кавелиным и др. Воспоминаниям о двух из них посвящается настоящая книжка, ввиду того, что в настоящем году исполнилось и исполняется 100 лет с рождения Некрасова и Достоевского». Очерк вошел в 5-й том мемуаров «На жизненном пути». Печатается по т. 6 Собрания сочинений.

С. 140. *«поэзия и не ночевала»* — слова Тургенева в письме к Полонскому от 13/25 января 1868 г. (Полн. собр. соч. и писем: Письма.— Т. VII.— М.; Л., 1964); вообще для Тургенева в его отношении к поэту характерна (и закономерна!) обусловленная разницей идейно-художественных задач эволюция, принявшая особенно резкие формы после раскола в «Современнике»; до этого Тургенев признавал, что многие стихи поэта «пушкински хороши», а иные даже «жгутся», будучи собранными «в один фокус» (Там же.— Т. II, III.— М.; Л., 1961, по указателю).

С. 140. строки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

С. 141. из стихотворения «В неведомой глуши, в деревне полудикой...» очерк «Петербургские углы» вошел в состав альманаха «Физиология Петербурга» (Спб., 1845.— Т. I—II), где кроме Некрасова — редактора и автора, как в других его сборниках, участвовал еще ряд писателей.

С. 147. *в потрясающих стихах* — «Про холопа примерного — Якова верного» (поэма «Кому на Руси жить хорошо»).

С. 148. из стихотворений «Поэт» и «До сумерек».

Ф. А. Викторова, которую Некрасов называл Зиною (? — 1915), последняя жена поэта.

С. 149. о *судье Загубалове* едко отозвались «Отечественные записки» (№ 10 за 1872 г.) заметкой публициста-демократа Н. А. Демерта. Получив от мирового ответ, журнал снова вернулся к этой истории, окончательно разоблачив последнего: он наложил штраф на меня как на «бесцензурную литературу».

С. 150. из стихотворений «Рыцарь на час» и «Ликует враг».

С. 151. *пьяные люди... добрые люди* — мысли Снегирева, персонажа романа «Братья Карамазовы».

Боровиковский А. Л. — талантливый юрист, поэт демократических взглядов. Далее — начальная строка из стихотворения «На смерть Некрасова» (Отечественные записки. — 1878. — № 1), умершего в последние дни 1877 года.

С. 152. строки из стихотворения «Умру я скоро...», написанных за 10 лет до кончины.

С. 153. К. Д. Кавелин в молодости посещал кружок Герцена-Грановского, дружил с Белинским, позднее был близок к кругу Чернышевского, что не помешало ему в пору монархических увлечений «сильной властью», «понимающей» интересы народа, оправдать расправу над ним; автор верноподданнической записки на имя царя «О нигилизме и мерах против него необходимых» (1866). Вместе с тем — под влиянием Некрасова — проявил определенный неподдельный демократизм в своих воззрениях, на что и указывает Кони.

С. 156. *усадьба Некрасова* — ныне дом-музей Некрасова возле поселка Чудово Новгородской обл.

Ф. М. Достоевский

Впервые — в «Вестнике Европы» (1908. — № 8), заключительный раздел очерка составила заметка «У гроба Достоевского» (газета «Порядок» № 29 от 30 января 1881). Очерк вошел в известный писательский цикл «Тургенев. — Достоевский. — Некрасов. — Апухтин. — Писемский. — Языков», который был очень популярен в читательских кругах и включался автором во все три издания «На жизненном пути» (т. 2), а также в дополненном виде в юбилейную книгу Кони «1821—1921. Некрасов. — Достоевский. По личным воспоминаниям» (Пб., 1921), вошел также в т. 5 мемуаров, вышедших посмертно в Ленинграде в 1929 г. Печатается по т. 6 Собрания сочинений.

С. 157. «*Петербургский сборник*» появился менее чем через год, в январе 1846 г., и включал произведения Белинского, Герцена, Тургенева, В. Одовского, составителя Некрасова. Открывался он повестью никому не известного Федора Достоевского «Бедные люди».

С. 158. *Пеллико Сильвио* — итальянский писатель, борец за независимость. Наиболее известны автобиография «Мои темницы» (1832) и трагедия «Франческа да Римини» (1815). Выражение «Citta dolente» взято из дантовской «Божественной комедии».

С. 158. *оценку своего таланта...*— Н. К. Михайловский (1842—1904), сотрудник и соратник Щедрина по «Отечественным запискам», назвал свою статью о Достоевском «Жестокий талант» (1882), выразив отношение к писателю значительной части революционной и демократической молодежи. Эту оценку разделяли многие передовые писатели (Г. Успенский, В. Короленко и др.).

из «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь».

Возюэ Эжен — историк литературы, активный пропагандист русской литературы в Европе (Русский роман.— 1886).

из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений» (1815).

С. 160. *«клевета на молодое поколение»* — так утверждал в пылу полемики участник освободительной борьбы, публицист «Современника» Г. З. Елисеев в 1866 г. (Современник.— № 2—3).

С. 161. *постыдная газета* — «Гражданин» Достоевского (1872—1878) и «Гражданин» мракобеса и доносителя князя В. П. Мещерского (1882—1914) — по сути органы разной политической, литературной, нравственной ориентации. Кони по мере возможности помогал писателю в значительной отсрочке исполнения приговора.

в... бедной обстановке жил... один из величайших русских писателей.— Далее уже в текст советского времени автор очерка вписал характерное для него: «роскошестввуя лишениями» (Материалы к лекции о Достоевском от 23 января 1927 г. ИРЛИ, ф. 134), опубликовано в т. 6 Собрания сочинений, с. 630.

С. 166. Н. К. Михайловский этот *«временный просвет»*; связанный с недолгой деятельностью графа М. Т. Лорис-Меликова (1825—1888) и возглавляемой им Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и спокойствия (1880—1881), удачно называет политикой «волчьего рта и лисьего хвоста». В статье Кони о Лорис-Меликове односторонне позитивно освещена эта двойственная фигура и двусмысленное поведение Лорис-Меликова, характерное не столько стремлением успокоить интеллигенцию обещанием пряминых «свобод», сколько намерением укротить ее страхом репрессий.

С. 167. *«судьбой отсчитанных дней»* — «Евгений Онегин», письмо Онегина к Татьяне.

Аксаков И. С. (1823—1886) — поэт, публицист славянофильского лагеря.

С. 169. *Миллер О. Ф.*— известный фольклорист, литературовед.

набросок... с умершего — не И. Е. Репина, а И. Н. Крамского.

С. 171. *«У гроба Достоевского»* — вошло в книгу С. А. Андреевского (Стихотворения.— Спб., 1886). В библиотеке Пушкинского Дома находится дарственный экземпляр автора: «Моему доброму гению, отцу моей музы А. Ф. Кони, горячо любящий неизменный друг С. Андреевский. 1 янв. 1886». Кони оставил о поэте и юристе очерк (т. 5 «На жизненном пути», т. 5 Собрания сочинений).

С. 172. *недалеко время...*— Пушкинское общество основано в конце

XIX в., действовало до 1917 г. Толстовское общество функционировало в 1909—1917 гг., Тургеневское — в 1919—1921-м; оно создало «Тургеневский сборник» (Пг., 1918), куда вошли воспоминания Кони «Савина и Тургенев» («На жизненном пути», т. 3, Собрание сочинений, т. 6).

Лев Николаевич Толстой

Воспоминания о великом писателе появились в 1908 г. в популярном столичном еженедельнике «Нива», книга 8 (литературное приложение) неоднократно переиздавались при жизни автора с изменениями и дополнениями. Печатается по т. 6 Собрания сочинений.

С. 173. *его кончины*. — Толстой тяжело болел в 1902 г.

звездное небо... — Кант Иммануил (1724—1804) — великий немецкий философ. В знаменитой работе «Критика чистого разума» сформулировал в лапидарно-афористической формуле поразившую читателей и последователей, в том числе и русских, соотношенность между областью рационально-чувственного познания и нравственной сферой: «звездное небо над нами, моральный закон в нас». Отец Кони воспитал обоих сыновей «по Канту», в доме постоянно слышались ссылки на германского мыслителя. В своей работе «Общие черты судебной этики» (М., 1902) Кони отмечал близкое ему в Канте, чем он с юношеских лет руководствовался сам: «Осуществление безусловных требований нравственного долга» выражается прежде всего в уважении к человеческому достоинству и в любви к человеку как к носителю нравственного закона, сознание которого вместе с видом звездного неба наполняло душу великого мыслителя вос торгом и верою в бессмертие души...

С. 174. Пушкин, «Второе послание к цензору» (неточно).

С. 175. из очерка «Севастополь в мае» (1855).

С. 176. *Стахович А. А.* — знакомый Толстого.

С. 177. «Мертвые души», глава 6-я.

Лабуль Эдуард — французский писатель, упомянутая книга переиздавалась в России в 60—90-х гг.

Позднышев — персонаж «Крейцеровой сонаты».

С. 178. из стихотворения Пушкина «Герой».

С. 178—179. О том, какое впечатление произвел Толстой на Кони, свидетельствует отправленное в первый же день пребывания в Ясной Поляне письмо Кони к знакомому (6 июня 1887 г.): «Трудно передать Вам то высокое, гармоническое и благородное впечатление, которое производит личность графа Толстого. Все рассказы об эксцентричности его образа жизни, одежды, привычек и взглядов лишены всякого основания. Он принял меня с незапущенной доброю и вниманием — мы проводим все время вместе, и я поселен в его кабинете, так что имею возможность взглянуть в его жизнь, полную труда, глубоких и плодотворных дел и трогательной простоты. Это прежде всего добрый человек, никому не навязывающий своих взглядов, радующийся, когда окружающим хорошо и весело, сменяющий физическую работу умственной (большой труд

«О жизни и смерти»), приветливый и простой, но не фамильярный с крестьянами, всегда добрый, легко поддающийся смеху, вовсе не слащаво благодушный, а называющий зло — злом, а гадость — гадостью, — человек, образованный разносторонне, простой в потребностях и аристократ во вкусах... При этом чудесная, львиная голова, — из-под густых бровей два чудесных, сияющих добротой, серых глаза — и легкая походка крепких ног, несущих стан, несогбенный ни бременем лет, ни тяжким раздумьем смущенной совести. Вокруг хлопочет умная, красивая жена — веселятся и суетятся 9 человек детей (всех было 12!)... Все ходят какие-то свободные, бодрые и как будто осуществляют то, что сказал мне Л. Н.: «Человек обязан быть счастлив, как обязан быть чистоплотен; как он замечает, что он грязен — ему надо помыться, как чувствует, что несчастен — ему надо почиститься нравственно... и счастье придет само собою...» (ИРЛИ, ф. 134, чит. по: Собр. соч. — Т. 6. — С. 636).

С. 179. *об одном из дел...* — вне сомнения, о процессе Веры Засулич.

С. 184. «...великое явление русской жизни» — Белинский о Пушкине.

С. 185. *...проклятие смоковницы...* — Евангелие от Матфея, 21, 19.

С. 190. из романа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль».

крупный сановник, слышавший... либералом... — В ранней редакции Кони указал имя — князь Д. А. Оболенский. Зная нравы цензуры, Кони убрал из речи Толстого указание, что речь идет о государственных преступлениях.

С. 193. *словами Некрасова...* — из стихотворения «Когда из мрака заблужденья...»

С. 195. имеется в виду мысль, изложенная Кантом в его этическом учении.

С. 196. Издательство «Посредник», организованное Толстым и его единомышленниками-просветителями И. И. Горбуновым-Посадовым и В. Г. Чертковым, ставило целью выпуск дешевых изданий для народа (существовало в 1884—1925 гг.).

Бирюков — биограф Толстого, *Хилков* — последователь его учения.

С. 199. Кони намечал работу «Толстой и суд», замысел дальше конспективного наброска не продвинулся (ИРЛИ, ф. 134).

С. 201. Кони подарил свою книгу «Федор Петрович Гааз. Биографический очерк» (М., 1897) о «святом докторе» с надписью «Дорогому Л. Н. Толстому от автора».

С. 202. Эпизод описан в трактате Толстого «Что такое искусство?»

С. 203. На самом деле рассказ А. И. Куприна назывался «Ночная смена» (1899).

С. 204. *Мемлинг Ганс* — нидерландский художник XV века.

в нарисованных Толстым... образах... — Герой рассказа, революционер, вспоминает слова из Евангелия от Иоанна: известное выражение о зерне пшеницы, которое, «падши на землю», может умереть либо принести «много плода»... «Вот я и упадаю в землю...»

С. 208. Редактируя воспоминания, автор исключил рассказы о работе

Пушкинской юбилейной комиссии и о выдвижении Толстого на Нобелевскую премию в январе 1906 года. Приводим фрагмент последнего рассказа:

«Возникли возражения вообще по поводу указания на Толстого. Одни находили, что «Великий грех» есть слабое произведение и что, за неимением ничего другого, лучше отказаться от представления кого-либо, другие находили, что Академия не может отделять политико-литературную деятельность Толстого от его беллетристики и ввиду характера первой из них не может указать на Т[олстого] как на достойного премии, и, наконец, признавали, что Т[олстой] в сущности популяризирует Евангелие... С помощью Шахматова удалось утихомирить оппонентов и избавить Академию от необходимости к позору потери Россиию армии, флота, внутреннего порядка и внешнего достоинства присоединить еще позор признания, что у нее нет писателя, достойного конкурировать на Нобелевскую премию. В конце концов мне совместно с Кондаковым было поручено изложить в окончательной редакции представление Академии, и оно в переводе было препровождено в Стокгольм...»

С. 210. Воспоминания А. А. Толстой появились в 1911 г.

Отлучение Толстого от церкви произошло в начале 1901 г.

С. 211. *Около того времени...*— От этих слов и до «Братьев Карамазовых» в рукописи следовал фрагмент: «Около того времени в многолюдном собрании Философского общества при Петербургском университете Мережковский в присутствии своей супруги — «хлыстовской богородицы» и всей ее своры — доказывал с наглостью, не оправдываемой никаким талантом, что Толстой в своей частной жизни и произведениях — нигилист, анархист, олицетворение казака Ерочки в «Казаках». На «лакейское» сравнение Мережковского не поднялось ни одного протестующего голоса, кроме священника Петрова, которого за это чуть не сослали в отдаленный приход Архангельской губернии... Толстому грозило нашествие г-на Мережковского с супругою, который уже после издания своего «Толстого и Достоевского» писал ему, что желает с ним ближе познакомиться, и просил гостеприимства... Я не желал встречаться с этим господином и с его супругою, настоящею «хлыстовскою богородицею» особого литературного кружка. Я не любитель краснеть вчуже за других или созерцать циническое лицемерие».

Веселовский А. Н., Шахматов А. А.— видные ученые — историк литературы и языковед, с последним Кони был в дружеской переписке.

С. 214. *возмутительное дело...*— Княгина Хилкова добилась у царя передачи ей незаконных и некрещеных детей ее сына, просьба же Винер, жены сына, была Александром III отклонена. Кони, выполняя просьбу Толстого, писал для последней прошение о возвращении ей детей.

молоденькое... существо...— Жена Горбунова-Посадова за пропаганду среди столичных рабочих поплатилась ссылкой в Астрахань; Кони добился перевода ее в Калугу.

С. 215. *этой... женщины.*— Имеется в виду В. М. Величина, пресле-

довавшаяся за принадлежность к РСДРП; через несколько месяцев весной 1902 г она была освобождена.

А. С. Пушкин — «В часы забав и праздной скуки...»

С. 216. Пушкин — «Евгений Онегин», Некрасов — «Медвежья охота» («святое недовольство»).

Страхов Н. Н. (1828—1896) — критик, публицист, философ (письмо 1894 г.)

В. Г. Короленко и суд

Очерк написан вскоре после смерти Короленко в декабре 1921 г Печатается по т. 5 «На жизненном пути».

Мултанское дело прочно связало имена Кони и Короленко. Объективно деятельность их была направлена против разжигания «племенных страстей», межнациональной розни между русским народом и другими народами, населяющими Поволжье, на что рассчитывали устроители этого позорного процесса. Опасность разжигания, по выражению Кони, «национальной, племенной и религиозной исключительности» отлично поняли оба. Как злое дело мултанских крестьян-вотяков (1894—1896), так и позднейший пресловутый процесс над Бейлисом — скромным приказчиком кирпичного завода в Киеве (1913) выходили далеко за пределы «тяжких испытаний», которым подверглись в том и другом случае несправедливо обвиненные мужики-удмурты и труженики-еврей. «Достоинство правосудия, — писал Кони, — подвергается тяжкому испытанию по делу Бейлиса, которое вырывает еще глубже пропасть между евреями и русскими и вместо единственно возможного сближения и ассимиляции ведет к ожесточению и затаенному мщению» (Собр. соч. — Т. 8. — С. 281—282).

А. П. Чехов писал в 1898 г. знакомому: первыми должны «поднять тревогу лучшие люди, идущие впереди нации»; к таким Чехов относил Кони и Короленко. «Вспомните Короленко, — напоминал он в том же письме, — который защищал мултанских язычников и спас их от каторги». М. Горький отмечал: «Мултанское жертвоприношение, процесс не менее позорный, чем дело Бейлиса, принял бы еще более мрачный характер, если бы В. Г. Короленко не вмешался в этот процесс, не заставил бы прессу обратить внимание на идиотское мракобесие самодержавной власти».

Перипетии Мултанского дела нашли отражение в цикле очерков В. Г. Короленко «Мултанское жертвоприношение», печатавшихся в 1895—1898 гг. в газете «Русские ведомости» и в журнале «Русское богатство», все 10 очерков включены были автором в Полное собрание сочинений (Пг., 1914. — Т. 4), а также вошли в т. 9 десятитомного Собрания сочинений писателя, издававшегося в 50-х гг. Из последних изданий — см. однотомник В. Короленко «Война пером» (М., 1988), составитель М. А. Соколова (вошли три очерка). История процесса освещена также в книге Г. М. Миронова «Короленко» (М., 1962. — «ЖЗЛ»), глава «Света, больше света на это темное дело!».

С. 217. Все упоминаемые города и населенные пункты относились к тогдашней Казанской губернии.

С. 218. *вторично кассировать...*— кассационное заключение от 22 декабря 1895 г. Включено Кони в состав его книги речей, статей, сообщений, публикаций «За последние годы» (Спб., 1898.—2-е изд.). Короленко обильно цитировал его в очерке «Решение сената по Мултанскому делу», (Русское богатство.— 1896.— № 1). Вошло в том 3 Собрания сочинений.

меня посетил Владимир Галактионович — в середине ноября 1895 г. *последующие... в Академии наук.*— Короленко, Кони, Чехов, Вл. Соловьев стали почетными академиками в начале 1900 г. Летом 1902 г., протестуя против отмены выборов М. Горького, Короленко и Чехов сложили с себя почетные звания (переговоры состоялись в начале апреля, когда Короленко приезжал в столицу). Несмотря на свою «холодность к Академии» (выражение Кони в письме к П. Д. Боборыкину, тоже «почетному», весной 1902 г.), слагать с себя почетное звание он не стал: одной из причин явилась та, что Кони опасался вторжения на освобожденные места «разных современных Сенковских и Булгариных» (письмо к тому же Боборыкину.— Собр. соч.— Т. 8.— С. 183—184).

Короленко очень тепло относился к Кони, высоко ставя его неустанную борьбу в защиту гражданских прав простого человека, близкую ему самому. 28 октября 1905 г. в прогрессивной газете «Полтавщина» писатель поместил статью «Два юриста», в которой его сердечное отношение к Кони проявилось в полной мере. См. отрывок: Кони и А. Ф. Воспоминания о писателях.— Л., 1965.— С. 367.

С. 219. *в Москве в 1896 году.*— Отчет был опубликован сначала осенью 1895 г. в «Русских ведомостях», в начале следующего — под заглавием «Дело мултанских вотяков, обвиняемых в принесении человеческой жертвы языческим богам» отдельной брошюрой; в числе записчиков и составителей книги был Короленко, он же отредактировал ее и снабдил примечаниями.

С. 219. *в защите подсудимых...*— Короленко выступил на процессе дважды; его речи, проникнутые горячей верой русского писателя в невозможность жертвоприношения в среде простого деревенского люда, третируемого как инородцы и язычники, произвели неизгладимое впечатление. Короленко произнес вторую речь со слезами, и публика отвечала тем же; оправдательный вердикт был встречен рыданиями и аплодисментами.

С. 220. *Раевский Н. И.*— товарищ прокурора Сарапульского окружного суда, один из устройств «дела» против удмуртов.

Муравьев Н. В.— министр юстиции в 1894—1905 гг.

С. 221. *Плеве В. К.*— юрист, министр внутренних дел и шеф жандармов (1902—1904); крайний реакционер, сторонник жестоких расправ с революционерами; казнен эсерами.

Воспоминания о Чехове

Очерк опубликован в однотомнике Чехова, выпускавшемся Пушкинским Домом к 20-летию со дня смерти писателя: Чехов А. П. Затерянные произведения. Неизданные письма. Воспоминания. Библиография. Л., 1925. Включен в т. 5 «На жизненном пути» и в т. 7 Собрания сочинений.

С. 222. *тревожила его на закате дней.*— «Он сознавал,— вспоминает о Чехове современник,— что неудачная война может дать толчок к коренным реформам, но ему не хотелось и поражений» (Приазовская речь.— 1910.— № 48).

С. 223. *«в мрачных пропастьях земли»*...— Пушкин — «19 октября 1827 года»

Кеннан Джордж (1845—1924) — американский публицист-филантроп, проехал каторжную и ссылочную Сибирь в 1885—1887 гг. Его книга «Сибирь и ссылка» (Лондон, 1891) русской цензурой запрещалась до 1906 г. и доставлялась в страну нелегально. Кеннан был в добрых отношениях со многими русскими революционерами.

С. 224. *товарищей по заточению.*— Подвергшаяся порке народоволка Надежда Сигида приняла яд, то же сделали и ее товарищи по каторжной тюрьме. События вызвали волну протестов в России и за рубежом.

Якубович П. Ф. (1860—1911) — поэт, прозаик, критик, в юности активный участник «Народной воли», оставил замечательные воспоминания «В мире отверженных. Записки бывшего каторжанина» (1896—1899, в 2 т.).

книга о Сахалине выбранными главами напечатана в московской «Русской мысли» в 1893 г., отдельным изданием появилась в 1895 г.

С. 227 *меня посетил Чехов*...— В письме от 18 января 1891 г. Чехов сообщал родным о посещении им Кони и разговоре о Сахалине, о намерении съездить к Нарышкиной.

о такой отмене.— Александр III подписал закон об отмене телесных наказаний для ссыльных женщин в марте 1893 г.

следующее письмо — от 26 января того же 1891 года.

С. 229. По договору в Портсмуте (США), подписанному Витте осенью 1905 г., южная часть Сахалина отошла к Японии.

С. 230. *высших женских курсов*...— Имеются в виду популярные в кругах учащейся женской молодежи Бестужевские курсы (1878—1918), сыгравшие заметную роль в российском просвещении, в деле получения женщинами высшего образования.

С. 239. *иные пути для драмы.*— Провал «Чайки» произошел 17 октября 1896 г. Кони уже тогда считал пьесу «великолепным произведением», которое не поняли сыгравшие ее актеры (и сам Чехов особенно резко отозвался об исполнительской игре). Кони отправил Чехову письмо, в котором благодарил автора «за глубокое наслаждение», полученное от пьесы, отметил, что «Чайка» — вещь «эпическая», «произведение, выходя-

щее из ряду по своему замыслу, по новизне мыслей, по вдумчивой наблюдательности над житейскими положениями. Это сама жизнь на сцене с ее трагическими союзами, нравственным бездушием и молчаливыми страданиями,— жизнь обывденная, всем доступная и почти никем не понимаемая в ее внутренней, жестокой иронии,— жизнь, до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, и способен сам принять участие в происходящей пред тобою беседе... я люблю Вас за те минуты душевных движений, которые мне доставили и доставляют Ваши сочинения,— и хочу издалека и наудачу сказать Вам слово сочувствия, быть может, Вам вовсе и ненужное»

Чехов в письме к знакомому подчеркнул, что письмо Кони было среди тех, что доставили ему как автору «немало хороших минут» (7 ноября 1896 г.).

С. 233. Некрасов — «Я сегодня был грустно настроен...»

С. 234. *за поздравление с женитьбой...*— Чехов женился на актрисе О. Л. Книппер 25 мая 1901 г.

В Московском художественном театре «Чайку» ждал заслуженный триумф. Книппер дебютировала в пьесе 17 декабря 1898 г.

его горячее русское сердце...— Чехов прожил в Германии менее месяца и умер 2(15) июля 1904 г.

С. 235. Пушкин — «Поэту».

«Ничтожество свое сознавай...» — из письма к брату Михаилу. *Капитолийский холм и Тарпейская скала* — синонимы величия и падения, заимствованные из истории Древнего Рима.

Петербург. Воспоминания старежила

Историко-литературный «путевой» очерк создан в 1921 г. и на следующий год вышел отдельной брошюрой (Пг., 1922); включен в т. 5 «На жизненном пути» и т. 7 Собрания сочинений.

С. 240. Добролюбов — «Посещение Новгорода»

Николаевская дорога открыта в 1851 г., Царскосельская — в 1838-м. Первая железнодорожная линия появилась в 1825 г. в Англии, через 3 года — во Франции, в 1835-м — в Германии.

С. 242. *у Ровинского... и... у Л. Н. Толстого...*— В статье об известном исследователе искусств и народного быта, друге и коллеге Ровинском Кони приводит сцену страшного наказания: «Что сказать о шпицрутенах сквозь тысячу, двенадцать раз, без медика! — восклицает Ровинский.— Надо видеть однажды эту ужасную пытку, чтобы уже никогда не позабыть ее. Выстраивается тысяча бравых русских солдат в две шпалеры, лицом к лицу; каждому дается в руки хлыст — шпицрутен; живая «зеленая улица», только без листьев, весело движется и помахивает в воздухе. Выводят преступника, обнаженного по пояс и привязанного за руки к двум ружейным прикладам; впереди двое солдат, которые позволяют ему подвигаться вперед только медленно, так чтобы каждый шпицрутен имел время оставить след свой на «солдатской шкуре»; сзади вывозится на

дровнях гроб. Приговор прочтен, раздается зловеющая трескотня барабанов, раз, два... и пошла хлестать «зеленая улица», справа и слева. В несколько минут солдатское тело покрывается сзади и спереди широкими рубцами, краснеет, багровеет, летят кровавые брызги... «Братцы, пощадите!..» — прорывается сквозь глухую трескотню барабана; но ведь падать — значит самому быть пороту — и еще усерднее хлещет «зеленая улица». Скоро спина и бока представляют одну сплошную рану, местами кожа сваливается клочьями — и медленно двигается на прикладах живой мертвец, обвешанный мясными лоскутками, безумно выкатив оловянные глаза свои... вот он свалился, а бить еще осталось много, — живой труп кладут на дровни и снова возят, взад и вперед, промеж шпалер, с которых сыплются удары шпиритенов и рубят кровавую кашу. Смолкли стоны, слышно только какое-то шлепанье, точно кто по грязи палкой шалит, да трещат зловеющие барабаны». (Кони А. Ф. За последние годы. — 2-е изд. — Спб., 1898. — С. 635—636).

С. 244. Некрасов — «О погоде».

С. 245. Стихотворение Е. П. Гребенки «Почтальон».

С. 246. *строго воспрещается* — после смерти Николая I запрет был снят.

С. 247. Спор критика и писателя происходил летом 1844 г. «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, — сказал он мне однажды с горьким упреком, — а вы хотите есть!» (Тургенев И. С. Соч. — Т. XIV. — М.; Л., 1967. — С. 29).

Некрасов — «Памяти Белинского».

С. 248. *запятнал.* — Кличка «Фиглярин», как и эпиграмма, принадлежат скорее всего П. А. Вяземскому.

С. 249. *памятник Пушкину* — работа А. М. Опекушина (1884).

С. 250 *славу России.* — Н. И. Пирогову (1810—1881) Кони посвятил очерк-исследование «Пирогов и школа жизни» (Собр. соч. — Т. 7).

Сухомлинов В. А. — военный министр в годы первой мировой войны, подозревался в государственной измене, но только после февраля 1917 г. осужден на бессрочную каторгу.

С. 251. А. Дюма-отец посетил Россию в 1858 г.

С. 252. А. Н. Апухтину посвящен отдельный очерк Кони (см.: Собр. соч. — Т. 7).

по делу о скопцах и основателе секты Селиванове Кони выступал обвинителем (см.: Собр. соч. — Т. 3).

С. 255. из стихотворений Лермонтова «Я не хочу, чтоб свет узнал...» и «Благодарность»; из пушкинского «Медного всадника» и из стихотворения В. С. Соловьева «Панмонголизм» (1894).

С. 256. *Духов день* — 5 июня.

С. 258. *Писемскому А. Ф.* (1821—1881) Кони посвятил биографический очерк-воспоминание (Собр. соч. — Т. 6). Писемский редактировал «Библиотеку для чтения» в 1860—1863 гг.

С. 262—263. Герцен А. И. Былое и думы // Полн. собр. соч.: В 30 т. — М., 1956. — Т. X. — С. 159.

С. 264—265. Спор двух видных историков состоялся 19 марта 1860 г. Погодин заключил: «Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели до публичных лекций». Рассказывая об этом, Л. Ф. Пантелеев добавил: «Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым вынесли из зала на руках» (Воспоминания.— М., 1958.— С. 233)

С. 265. *Литературный фонд* учрежден в 1859 г. для помощи нуждающимся литераторам и ученым при участии многих видных писателей Некрасова, Щедрина, Тургенева, Чернышевского и др.

В «*Ревизоре*» и «*Женитьбе*» участвовали и родители Кони: мать — Анна Андреевна и сваха, отец играл купца (см. очерк о Писемском).

С. 266. «*Месяц в деревне*» — Тургенев лишь через много лет (1855—1869) сумел вернуть произведению первоначальный вид.

С. 272. Тютчев — «29 января 1837»

Некрасов — «О погоде».

С. 277. История с Неваховичем описана Кони в «Житейских встречах» (На жизненном пути.— Т. 2).

Воспоминания о деле Веры Засулич

Впервые напечатаны (частично) в сборнике «Звенья» (1933.— № 2) и в том же году появились отдельной книгой с предисловием И. А. Теодоровича и с примечаниями М. Ф. Теодоровича (М.; Л., 1933). Исправленные и сверенные с другими редакциями текста, вошли в т. 2 Собрания сочинений, по которому воспроизводятся здесь с некоторыми сокращениями.

К работе над «Историей дела Засулич» и «Воспоминаниями» (первое заглавие) Кони приступил по горячим следам событий. По-видимому, работа шла с перерывами до 1904 г., когда мемуары были подготовлены для печати, хотя и этот вариант автором правился, дорабатывался, возможно, под влиянием цензурных послаблений, вырванных первой революцией. Известно, что в тесном кругу близких людей Кони читал мемуары в кавун первой мировой войны. Окончательное редактирование пришло к середине 20-х годов.

Сам процесс Засулич (продолжался 31 марта 1878 г. всего восемь часов — с 11 утра до 7 вечера) — непревзойденный профессиональный образец для многих поколений судей, выразившийся в умении вести заседание деловито, собранно, строго и объективно (на образцовый профессионализм ведения сложного дела исследователи как-то мало обращали внимания). Но резонанс этих восьми часов надолго отозвался в политической, общественной, правовой жизни России и имел глубокие последствия.

С. 280. *Демонстрация у Казанского собора* 6 декабря 1876 г. собрала до полутысячи студентов и рабочих; на ней было поднято красное знамя (его держал 17-летний рабочий Яков Потапов), выступал с речью земледелец Георгий Плеханов. То была «первая социально-революционная демонстрация» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.— Т. 5.— С. 369), где под одним лозунгом: «Да здравствует свобода!» — выступили революционеры-

народники и сознательные рабочие. Дело о казанской демонстрации слушалось в январе 1877 г. В числе осужденных на каторгу был Алексей Боголюбов (революционный псевдоним рабочего Андрея Емельянова). Это его распорядился высечь Трепов в доме предварительного заключения.

С. 281. *по закону 19 мая 1876 г.* следственные политические дела стали вести жандармские органы.

смертный приговор Желязову, Перовской...— Фукс впоследствии признавался, что под нажимом министра юстиции Д. Н. Набокова, выполнявшего волю придворных кругов, оказывал давление на подсудимых, не был беспристрастным, давал свободу слова одной стороне и «закрывал рот» другой (см.: Шпицер С. Как судили первомайцев // Суд идет.— 1926.— № 4); интересно сравнить поведение на процессах двух председательствующих — Кони и Фукса, как бы олицетворявших два рода действий законослужителей в русской юстиции на политических процессах.

С. 283. *процесс «50»* проходил в феврале — марте 1877 г., в числе обвиняемых и затем приговоренных — Петр Алексеев, сестры Любатович, Софья Бардина... Некрасов и Боровиковский посвятили им стихи («Смолкли честные, доблестно павшие...» и «К судьям»: «Мой тяжкий грех...»).

С. 287. *Особое совещание* — внесудебный карательный орган «соединенных» министерств, созданный для борьбы с освободительным движением. Короленко позднее называл это явление «скорострельной юстицией». По странной (или закономерной) случайности в годы культа Сталина под тем же названием действовал «свободный» от закона и права орган, судивший свои жертвы заочно «пачками», т. е. списками.

С. 288. *Горинович С. Н.* был наказан за свое предательство киевскими народниками летом 1876 г. — его ранили и облили лицо серной кислотой.

С. 298. *крайнее возбуждение среди арестантов.*— Писатель С. Глаголь в воспоминаниях «Процесс первой русской террористки» (Голос минувшего.— 1918.— № 7—8.— С. 149) свидетельствует: едва Трепов поднял руку на их товарища, «как в воздухе уже стон стоял от негодующих бешеных криков заключенных и все, что можно было просунуть сквозь решетку: жестяные кружки, книги и т. п.,— все это градом полетело во двор в Трепова».

С. 299. *жигаревское дело* — затеянное по инициативе саратовского прокурора С. С. Жихарева огромное дело по следам «движения в народ» революционной молодежи летом 1874 г. Взято было под стражу более 2 тысяч, из них 193 отдано под суд, который состоялся лишь через 3 года (конец 1877 — начало 1878 г.). Многие получили каторгу, но и оправданные полатились административной ссылкой.

С. 304. *«око за око...»* — Известный революционер Н. А. Морозов (1854—1946) так передавал настроения свои и товарищей: «За это надо отомстить... я отомщу не Трепову. Назначающий нашими властелинами таких людей должен отвечать за них!» (Повести моей жизни.— Т. 2.— М., 1962.— С. 196).

С. 304. «слезами и кровью». — Ф. В. Волховский (1846—1914) — поэт, активный участник освободительной борьбы, проходил по ряду дел, многолетний каторжник и ссыльно-поселенец, бежал при помощи Дж. Кеннана из Сибири, в эмиграции публицист и издатель журнала «Свободная Россия» (в Лондоне на англ. языке).

С. 305. *рапорт Фукса* раскрывал вопиющие факты насилия и издевательств над протестовавшими, над больными заключенными, среди них — будущие писатели Голоушев («Слово — глаголь»), Каронин-Петропавловский, Волховский и др. Д. М. Герценштейн, в ту пору тюремный врач в доме предварительного заключения, свидетельствовал о тамошних порядках в позднейших воспоминаниях: «Для меня это был не фантастический, а реальный уголок ада, который ждет еще своего Алигери» (30 лет тому назад//Былое.— 1907.— № 6.— С. 247).

С. 307. *великий князь Константин Николаевич* — председатель Государственного совета.

Желеховский был обвинителем на «процессе 193-х». 24 января 1878 г. в него должна была стрелять Мария Коленкина, подруга Веры Засулич.

С. 308. *Арсеньев К. К.* — видный адвокат, критик, в 70-х гг. на прокурорских постах сената.

С. 317. *Корде Ш.* — контрреволюционерка, убийца Марата. Сопоставление с В. Засулич, распространенное даже у радикалов, имело в виду чисто внешнюю связь: покушение.

С. 319. *4 апреля 1866 г.* Дмитрий Каракозов неудачно покушался на Александра II.

С. 331. *Тилигульская... катастрофа* произошла в декабре 1875 г. близ Одессы.

С. 337. В настоящей публикации опущены материалы судебного заседания: допрос свидетелей, прения сторон — присяжного поверенного Александрова и прокурора Кесселя, допрос обвиняемой, показания свидетелей, в их числе писателей Петропавловского и Голоушева, которыми были избличены противоправные действия Трепова. Допрос Засулич, решившейся «хотя ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью» (Т. 2.— С. 120), возбудил в зале сочувствие и симпатии к отважной революционерке. Речь прокурора была вялой, бесцветной, зато ярко сверкнуло на ее фоне выступление защитника. Он затронул самое наболевшее: «В книгах наших уголовных, гражданских и военных законов розга испещряла все страницы. Она составляла какой-то легкий методический перерыв в общем гремогласном гуле плети, кнута и шпицрутенов». Но вот розгу отменили — частично. «В то время было много опасений, — пронизывает адвокат, — за полное уничтожение розги, опасений, которых не разделяло правительство, но которые волновали некоторых представителей интеллигенции. Им казалось вдруг как-то неудобным и опасным оставлять без розог Россию, которая так долго вела свою историю рядом с розгой,

Россию, которая, по их глубокому убеждению, сложилась в обширную державу и достигла своего величия едва ли не благодаря розгам» (Т. 2.— С. 141) «...отмена телесного наказания,— подчеркнул Александров,— оказала громадное влияние на поднятие в русском народе чувства человеческого достоинства» (Т. 2.— С. 142). Речь присяжного поверенного прервали аплодисменты, крики «браво!». После угрозы Кони очистить зал они больше не повторялись, и защитник закончил речь словами о том, что впервые в России мстила женщина, «для которой в преступлении не было личных интересов, личной мести» и которая из зала суда «может выйти осужденной, но она не выйдет опозоренной, и остается только пожелать, чтобы не повторились причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников».

Пресса откликнулась почти единодушно — речь признавали «неподражаемой», «образцовой», «блестящей». Герценштейн вспоминал об Александрове, что «ни до того, ни после он больше не доходил до того пафоса, до той сатиры, которыми блестела вся его речь» (Былое.— 1907.— № 6.— С. 252). Знаменитый Н. П. Карабчевский сказал о коллеге в некрологе: «Защита Веры Засулич сделала адвоката Александра всемирно известным... Одною этою речью П. А. Александров обеспечил себе бессмертие» (Около правосудия.— Спб., 1908.— С. 156).

С. 354. *дело, возбудившее страсти...*— Вот рассказ очевидца, революционера Николая Буха: «Присяжные заседатели удалились в совещательную комнату. А толпа на улице все росла. Время от времени к ней выходили сочувствующие лица, которым удалось проникнуть в судебную палату, и сообщали о всех деталях процесса.

Около 8 часов присяжные вышли из совещательной комнаты и произнесли свое историческое: «Нет, не виновна». Зал огласился громом аплодисментов. Ни публика, ни революционеры, ни жандармы, ни полиция не ожидали такого приговора, не подготовились к нему и, главное, не сообразили всех его последствий. А маленький Кони, глубокий законник, привычной рукой уже писал приказ о немедленном освобождении из-под стражи. К этому обязывал его закон: так он и поступил. Все поздравляли Веру Засулич, смотритель дома предварительного заключения торопил ее: «Уходите, уходите, а то жандармы спохватятся и вновь арестуют вас». Трудно себе представить восторг публики, когда, держа в руках небольшой узелок со своими вещами, показалась Вера Засулич. Ее понесли на руках, потом усадили в карету. Карета, сопровождаемая восторженной публикой, двинулась по Литейному проспекту, но полиция и жандармы направили ее в менее людную улицу. Здесь они набросились на публику с обнаженными шашками... Карета отделилась от сопровождавшей ее публики и рысью двинулась дальше. Навстречу ей летел конный отряд жандармов с обнаженными шашками. Отряд этот, миновав карету, бросился на толпу, загнал в соседние дворы и подверг ее избиению. А карета спокойно двигалась все дальше и дальше. Проехав большое расстояние от избиваемой толпы, она остановилась у большого дома, в котором прожи-

вала семья, знакомая одному из сопровождавших В. Засулич. Здесь был сделан первый привал. Долго оставаться тут было нельзя: ясно, что жандармы скоро спохватятся, бросятся по следам кареты. Так оно и случилось. Но когда явились сюда жандармы, Вера Засулич была уже в другом месте.

Дня через два я навестил ее... Засулич сидела одна, читала русские и иностранные газеты, жаловалась на скуку. «Все приходящие сюда,— говорила она,— считают своим долгом петь мне дифирамбы. Коробит меня от этих похвал...» Спустя несколько дней Вера Засулич под вооруженным конвоем, состоявшим из Клеменца, брата, Карпушки и меня, была переведена от Жемчужникова на Невский проспект, в квартиру Веймара. Она справедливо протестовала против такой свиты, находя, что это не конспиративно, но конвой, как понимал, все же исполнил свой долг. В публике ходили слухи, что Вера Засулич скрывается в Зимнем дворце, у какой-то фрейлины. Из квартиры Веймара Вера Засулич благополучно была переброшена в квартиру Грибоедова, а затем в Швейцарию» (Бух Н. К. Воспоминания.— М., 1928.— С. 163—165).

〈Автобиографический фрагмент〉

Впервые напечатано в «Вестнике литературы» (Пг.— 1921.— № 9)

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ ОБ А. Ф. КОНИ

А. П. Андреева

Впервые опубликовано в журнале «Правоведение» (1978.— № 4)
Печатается с сокращениями.

Г. К. Крыжицкий

Впервые опубликовано в журнале «Звезда» (1966.— № 10)

С. 437. *Крыжицкий К. Я.* (1858—1911) — художник-пейзажист.

С. 438. *Кугель А. Р.* — театральный деятель.

Щегловагов И. Г. (1861—1918) — министр юстиции в 1906—1915 гг., крайний монархист-черносотенец.

С. 440. *Котляревский Н. А.* (1863—1925) — известный литературовед, академик.

А. В. Луначарский

Впервые опубликовано в журнале «Огонек» (1927.— № 40.— 2 окт.)
под заголовком «Три встречи» (первая — с Кони)

С. 446. *тезка и дядя* — имеется в виду Александр I.

Р. М. Хин-Гольдовская

Впервые опубликовано в сборнике «Памяти А. Ф. Кони» (М; Л., 1929). Печатается с сокращениями.

Рашель Мионовна Хин-Гольдовская (1863—1928) — писательница.

С. 454. *Стороженко Н. И.* (1836—1906) — историк литературы председатель Общества любителей российской словесности.

С. 456. *Стессель А. М.* — генерал, опозоривший свое имя необоснованной сдачей Порт-Артура в русско-японскую войну.

М. С. Королицкий

Печатается (с сокращениями) по книге: Королицкий М. С. А. Ф. Кони: Странички воспоминаний. — Л., 1928.

С. 461. *Дуббельн* — прежнее название пос. Дубулты (входит ныне в состав г. Юрмала Латвийской ССР).

А. Ф. КОНИ. БИОХРОНИКА

- 1844, 9 февраля — родился в Петербурге.
- 1855—1858 — учился в немецкой школе при церкви св. Анны.
- 1858 — перешел в 4-й класс 2-й гимназии (впоследствии Александровской) математического профиля.
- 1861, июнь — уходит из 6-го класса гимназии в университет, выдерживает экзамен и учится (июнь — декабрь) на математическом факультете Петербургского университета до его закрытия.
- 1862, август — записался в число студентов 2-го курса юридического факультета университета в Москве.
- 1865, январь — начал работать над кандидатской диссертацией «О праве необходимой обороны».
- 1865, 11 мая — Кони предложили остаться на кафедре уголовного права Московского университета.
- 1865, июнь — окончил курс обучения со степенью кандидата прав.
- 1865, декабрь — диссертация Кони напечатана в виде приложения к «Московским университетским известиям».
- 1866, апрель — назначен на должность помощника секретаря Петербургской судебной палаты.
- 1866, сентябрь — декабрь — гонения на диссертацию Кони.
- 1866, декабрь — назначен на должность секретаря прокуратуры Московской судебной палаты.
- 1867, ноябрь — Кони — товарищ прокурора в Сумском и Харьковском окружных судах.
- 1868 — награжден орденом Св. Станислава II степени.
- 1869, лето — путешествует по Бельгии и Франции.
- 1870, январь — назначен товарищем прокурора Петербургского окружного суда.
- 1870, июнь—апрель — работает в прокуратуре Самарского и Казанского судов.
- 1871, май — назначен прокурором Петербургского окружного суда.
- 1871, лето — путешествует по Бельгии.
- 1873, сентябрь — путешествует по Италии, живет в Неаполе, на Капри
- 1874 — награжден орденом Св. Владимира IV степени.
- 1875, июль — назначен вице-директором департамента министерства юстиции.
- 1876—1883 — читает лекции по уголовному судопроизводству в Училище правоведения.
- 1877, апрель — назначен директором департамента министерства юстиции.

- 1877, 24 декабря — назначен председателем Петербургского окружного суда.
- 1878, 31 марта — участвует в судебном заседании по делу Веры Засулич.
- 1880 — началось сотрудничество с журналом «Вестник Европы», в котором публиковались многие литературные произведения Кони; сотрудничество это продолжалось 40 лет.
- 1881, 2 февраля — первая литературная работа Кони: доклад «Достоевский как криминалист» на заседании Юридического общества (опубликован 8 февраля 1881 г.).
- 1881, октябрь — назначен на должность председателя гражданского департамента Петербургской судебной палаты.
- 1885, 30 января — назначен обер-прокурором уголовного кассационного департамента Правительствующего сената.
- 1886 — награжден орденом Св. Владимира III степени.
- 1888 — вышло первое издание «Судебных речей» Кони.
- 1888, октябрь — расследует дело о крушении царского поезда в районе станции Борки.
- 1889 — награжден орденом Св. Станислава I степени.
- 1890, апрель — Харьковский университет присуждает Кони ученую степень доктора уголовного права *гонорис кауза*.
- 1891, июнь — освобожден от обязанностей обер-прокурора, назначен сенатором.
- 1892, октябрь — снова назначен обер-прокурором с оставлением звания сенатора.
- 1895 — награжден орденом Св. Анны I степени.
- 1896, 7 декабря — первое избрание в почетные академики.
- 1897 — вышло из печати первое крупное литературное произведение — очерк-исследование «Федор Петрович Гааз».
- 1898 — награжден орденом Св. Владимира II степени.
- 1900, 8 января — избран почетным членом Академии наук по разряду изящной словесности.
- 1901, ноябрь — награжден Академией наук Пушкинской Золотой медалью за критический разбор сочинения Н. Телешова «Повести и рассказы»
- 1905, октябрь — награжден Золотой медалью Академии наук за рецензирование художественных произведений.
- 1906 — награжден орденом Белого орла.
- 1906 — опубликована книга «Очерки и воспоминания (Публичные чтения, речи, статьи и заметки)». Здесь помещены статьи «Страничка из жизни Пушкина», «Федор Михайлович Достоевский», «Пропавшая серьга» и др.
- 1907, 1 января — назначен членом Государственного совета с оставлением звания сенатора.
- 1907, октябрь — награжден Золотой медалью Академии наук за рецензирование произведений А. П. Чехова «Очерки и рассказы»

- 1907** — публикует литературную работу «Из заметок и воспоминаний судебного деятеля».
- 1908** — публикует книгу «Житейские встречи (Отрывки из воспоминаний)».
- 1909, март** — награжден Золотой медалью Академии наук за критический разбор художественных произведений.
- 1910** — присвоен чин действительного тайного советника.
- 1912** — выходит 2-й том воспоминаний «На жизненном пути» (помещены статьи «Лев Николаевич Толстой», «Тургенев», «Достоевский», «Некрасов»...).
- 1913** — увидел свет 1-й том «На жизненном пути. Из записок судебного деятеля»; сюда вошли статьи «Дело Овсянникова», «Из казанских воспоминаний», «Игуменья Митрофания», «Иван Дмитриевич Путилин», «Темное дело»...
- 1914** — вышла из печати книга «Отцы и дети Судебной реформы (К 50-летию Судебных Уставов). 1864». Здесь опубликована статья «Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако».
- 1915** — награжден орденом Александра Невского.
- 1917, май** — назначен Временным правительством первоприсутствующим в общем собрании кассационных департаментов сената.
- 1917—1920** — популярнейший лектор в Петрограде, прочитавший около тысячи лекций.
- 1918, 10 января** — избран профессором кафедры уголовного судопроизводства Первого Петроградского университета.
- 1922** — выходит в свет 3-й том книги «На жизненном пути».
- 1923** — выходит 4-й том книги «На жизненном пути».
- 1924, 9 февраля** — на общем собрании Академии наук торжественно отмечалось 80-летие Кони.
- 1926, март** — назначена пенсия по представлению Академии наук.
- 1927, 17 сентября** — скончался в Ленинграде. Ныне могила на Литераторских мостках Волкова кладбища.

СОДЕРЖАНИЕ

«Я любил свой народ, свою страну...» *Г. Миронов, Л. Миронов* . . . 3

I. ИЗ ЗАПИСОК И ВОСПОМИНАНИЙ СУДЕБНОГО ДЕЯТЕЛЯ

Дело Овсянникова	15
Игуменья Митрофания	23
Темное дело	31
Пропавшая серьга	35
Из казанских воспоминаний	39
Иван Дмитриевич Путилин	42

II. СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

По делу об утоплении крестьянки Емельяновой ее мужем	49
--	----

III. ВОСПОМИНАНИЯ О СУДЕБНЫХ ДЕЯТЕЛЯХ

Князь А. И. Урусов и Ф. Н. Плевако	63
--	----

IV. СТАТЬИ

К истории нашей борьбы с пьянством	77
--	----

V. СТАТЬИ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЯХ

«Петр IV»	85
Представление Александру III в Гатчине	94
Открытие I Государственной думы	100
Николай II	104

VI. СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЯХ

Страничка из жизни Пушкина	115
Ирина Семеновна Кони	125
Тургенев	126
Николай Алексеевич Некрасов	140
Ф. М. Достоевский	157
Лев Николаевич Толстой	172
В. Г. Короленко и суд	217
Воспоминания о Чехове	222

VII. МЕМУАРЫ

Петербург. Воспоминания старожила	239
Воспоминания о деле Веры Засулич	277
〈Автобиографический фрагмент〉	420

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ ОБ А. Ф. КОНИ

<i>А. П. Андреева.</i> Памяти Анатолия Федоровича Кони	425
<i>Г. К. Крыжицкий.</i> Обаяние ума	431
<i>А. В. Луначарский.</i> Три встречи. Из воспоминаний об ушедших	444
<i>Р. М. Хин-Гольдовская.</i> Памяти старого друга	449
<i>М. С. Королицкий.</i> А. Ф. Кони. Странички воспоминаний	459
Примечания	466
А. Ф. Кони. Биохроника	492

Анатолий Федорович Кони

ИЗБРАННОЕ

Редактор
Т. М. Мугуев
Художественный редактор
Б. Н. Юдкин
Технические редакторы
Г. О. Нефедова, Л. А. Фирсова
Корректоры
Т. А. Лебедева, Т. Б. Лысенко

ИБ № 5304

Сдано в набор 02.02.89. Подп. в печать 14.09.89. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 30,22. Тираж 750 000 экз. (1-й завод 1—220 000 экз.) Зак. 2568. Цена 5 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ-245.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



